МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Театральный роман

М. Булгаков

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ВИКТОР ПЕТЕЛИН
Составление,
предисловие, подготовка текста

1
ДЬЯВОЛИАДА

2
РОКОВЫЕ ЯЙЦА

3
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

4
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

5
БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

6
КАБАЛА СВЯТОШ

7
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

8
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

9
МАСТЕР И МАРГАРИТА

10
ПИСЬМА

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ВОСЬМОЙ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Москва
«ГОЛОС»
1999

УДК 882
ББК 84 (2 Рос-Рус)
Б90

Редакционный совет издательства:

П.Ф.АЛЕШКИН — председатель, Т.В.АЛЕШКИНА,
В.С.ГОЛУБЕВ, П.А.КОШЕЛЬ,
В.В.ПЕТЕЛИН (зам. председателя), И.Р.ФОМИН,
Р.И.ФОМИН

Художник Г.Д.РАСТОРГУЕВ

ИЗДАНИЕ
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ:

КОММЕРЧЕСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

109240, Москва, ул. Гончарная, 1
Телефон: 915-29-14
Факс: 915-29-16
Телетайп: 207012 АЛАМАР
Телекс: 414818 ODYSS SU

Президент — Светлана Викторовна КУЗЬМИНА
Главный бухгалтер — Вадим Павлинович НИЗОВ

ISBN 5-7117-0311-0 (т.8)
ISBN 5-7117-0304-8

© Составление В.В.Петелин, 1999
© Оформление. Издательство «Голос», 1999

ХУДОЖНИК И ДИКТАТ ВРЕМЕНИ

1

«Однажды мы встретились с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым за кулисами МХАТа — разговорились. Я рассказал какой-то забавный случай, один из тех, которые почему-то часто со мной происходят. Рассказ понравился писателю, кажется, понравилось, и как я рассказываю.

— Почему вы это не напишете? — спросил он.

— Но... я не умею...

— Чего ж тут уметь? Пишите так, как сейчас рассказывали.

Именно так и писал сам Булгаков. Писал — как рассказывал. А рассказывал поистине мастерски. Обладая природным юмором, он так хитро подстраивал «ловушки» для разжигания нетерпеливого любопытства слушателя, что невозможно было предугадать — к печальной или веселой развязке клонится его повествование.

Не забуду рассказ о его первом дебюте в литературе: голодный, иззябший, без гроша в карманах рваной солдатской шинели, принес Булгаков редактору какого-то журнала свой первый литературный опус — последний шанс на спасение. Принят был сухо. Редактор через губу бросил:

— Через неделю.

А неделю-то надо прожить!

Через неделю с прыгающим сердцем и ноющим желудком, еле держась на ногах, входит начинающий автор в кабинет, и... о чудо! — прием совсем другой. Редактор выскакивает из кресла, хватает его за руки, восклицает:

— Амфитеатров!. Амфитеатрова знаете?

— Н-н-нет, — запинаясь, произносит автор.

— Непременно прочтите. Вы же пишете почти как он. Дорогой мой! Талантище!

— Значит, фельетон понравился?

— Что за вопрос! Гениально!

— Значит, напечатаете?

— Ни в коем случае! У меня семья! — так же жизнерадостно восклицает редактор. — Но непременно заходите! Приносите еще что-нибудь. Позабористее! До скорого! Амфитеатрова прочтите непременно!

Надо было слышать, как рассказывал это сам Михаил Афанасьевич! Какое впечатление производил он на слушателей неожиданным

финалом!» — в этих воспоминаниях народного артиста СССР В. Топоркова дана великолепная характеристика одной из сторон человеческого и писательского облика Михаила Булгакова и высказаны глубокие мысли о его незаконченном романе «Записки покойника», над которым Булгаков начал работать в середине 30-х годов.

И снова хочется подчеркнуть автобиографические черты в образе писателя и драматурга Максудова. Как и в «Белой гвардии», в «Записках юного врача» и других произведениях, в «Записках покойника» автор повествует о злоключениях, переживаниях, чувствах, творческих озарениях человека, в котором до известной степени угадываются и некоторые биографические черты самого Михаила Афанасьевича.

Роман о театре, театральный роман Булгаков начал писать еще в конце 20-х годов, но срочная работа над пьесами заставила его отложить захвативший было замысел рассказать о злоключениях, которые происходили с ним или его друзьями в современных театрах. Каждый раз, когда ему становилось плохо (снимали в очередной раз постановку какой-либо его пьесы, расторгали договор на представленную в срок рукопись, предъявляли глупые претензии к готовым, по его мнению, сценариям, пьесам и пр.), он брался за театральный роман, в котором ему хотелось от души посмеяться над складывающимися нравами и горько поплакать над судьбой талантливого человека, оказавшегося в зависимости от случайных людей в искусстве, от их самодурства и гнета их собственного мнения, если они пишущие и влиятельны.

Вновь Булгаков взялся за театральный роман в конце 1936 года, когда многие неудачи с постановкой его пьес чуть не сломили его. Столько времени он отдал этим пьесам, сценариям, инсценировкам, определенно рассчитывая на то, что они помогут ему «выскочить» из долгов, ведь жизнь требует заработков, а заработки даются нелегко, часто приходилось браться за любую работу. Ну вот зачем ему было браться за инсценировку «Мертвых душ»? С каким удовольствием он работал над фантастическим романом о похождениях дьявола в Москве или над столь же фантастической пьесой «Блаженство»... Но приходилось делать то, что предлагали...

Наступил наконец момент в биографии Булгакова, когда ему все надоело, он устал сражаться с театрами, кинорежиссерами, доказывать, убеждать в своей правоте, он отказался делать поправки «Пушкина», по требованию театра Вахтангова, отказался продолжать работу над «Виндзорскими проказницами», считая, что претензии Горчакова вздорные. Он ушел из МХАТа, перешел на службу в Большой театр.

Для заработка он писал либретто, а для души — «Записки покойника», театральный роман.

Роман остался незавершенным, но и в этом состоянии он представляет огромный интерес для современных читателей. Прежде всего как одно из документальных свидетельств о положении творческой личности художника в обществе. И потом — здесь столько живых картин театральной и литературной жизни того времени, столько характеров, полных жизни, характеров разнообразных по своим индивидуальностям и темпераментам, по своим склонностям и манерам...

...Ты еще не начал читать, но уже предчувствие чего-то тайного и прекрасного начинает исподволь томить тебя, и ты невольно веселе-

ешь, незаметно меняется настроение, начинают преобладать более жизнерадостные тона, и ты уже полностью готов к восприятию какой-то совсем другой жизни, воссозданной настоящим художником. Ведь ты уже знаешь, что ждет тебя нечто необычное и удивительное. Ты приходишь домой, оставляя за дверью весь сегодняшний мир, с его неоконченными делами, разговорами и заботами, тревогами и ожиданиями чего-то доброго и хорошего, проходит какое-то время, необходимое для того, чтобы со всем этим «покончить», и погружаешься в тот неизведанный и незнакомый мир, который после себя оставил художник.. Прочитана первая страница, вторая, третья.. И нет уже сил оторваться... Истинное художество, как могучий волшебник, переносит тебя в иной мир, и ты уже начинаешь вживаться в эту новую для тебя жизнь...

«Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах.

Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весною прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо.

В бандероли оказались эти записки, а письмо было удивительного содержания.

Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки с тем, чтобы я — единственный его друг — выправил их, надписал своим именем и выпустил в свет...»

И действительно, перед нами вскоре предстает необычный, странный человек, живущий как бы двойной жизнью: днем он сотрудник «Пароходства», старался как можно меньше истратить сил на работе, которую ненавидел, а ночью, когда квартира затихала, он садился и начинал писать роман, который возник случайно, после одного очень грустного сна, когда ему снились родной город, снег, зима, гражданская война. Как приступ неврастении он воспринял свою жажду воспроизвести картины семейного уюта во время бури гражданской войны. Что-то не получалось у него, но он был упорен и каждую ночь погружался в тот мир, который уже никогда не вернется в своих устойчивых, привычных формах. Наконец он закончил роман. Нужно было проверить его на людях, и он созвал гостей и прочитал им за четыре «присеста» весь роман. О романе много говорили, критиковали язык, критиковали некоторые главы и страницы, но вдруг неожиданно возник вопрос: «А пропустят ли роман?» — то есть напечатают ли. И по всеобщему мнению выходило, что роман «не пропустят» и времени на это тратить не следует. Вскоре Максудов убедился в этом сам. Куда бы ни посылал он главы из романа, отовсюду ему приходили бандероли с резолюцией: «Не подходит». Жить становилось невыносимо. Неужели всю жизнь прослужить в «Пароходстве»? Нет, уж лучше умереть. Он выкрал браунинг из письменного ящика своего друга, пришел домой и приготовился застрелиться, но тут послышалась божественная музыка из «Фауста», скорбные слова Фауста, разуверившегося во всем и готового покончить счеты с жизнью, а затем появился и Мефистофель со словами: «Вот и я!»

Превосходно описывает Булгаков состояние человека, решившего покончить счеты с жизнью. Но смертельный ужас, объявший его при одной мысли о смерти, делал его движения неверными и нерешительными, а мысли крутились вокруг одного и того же: ну вот послушаю Фауста, тогда уж; ну пусть появится Мефистофель... Максудов, как и Булгаков, очень любил музыку, а значит, и жизнь... Так что же могло произойти, если он все-таки бросился с Цепного моста...

Максудов мало задумывался о жизни, которая его окружает, о людях, которые жили рядом с ним и работали вместе с ним. Его захватила мысль о романе, и уже ничто не могло остановить его, ни служба, ни голод, ни обязанности, которые у него, как и у всякого человека, были. Но он все отбросил и писал. Начинается процесс раздвоения личности: на службе он формально присутствует, бережет свои силы, а ночью движется его корабль, движется жизнь в романе, строгая, непридуманная. Роман он писал по вдохновению, писал, как думал, не приспосабливаясь, даже не зная о таких понятиях: пройдет или не пройдет. Он попытался правдиво отразить переживания человеческие в смутное время, когда много раз меняются власти, возникают чуть ли не каждый день какие-то приказы, отменяющие те, которые совсем недавно были законом для жителей города... Ведь так было... Почему же не пройдет? Не знал Максудов, что появились литераторы, которые уже прекрасно знали, что пойдет в печать, а что не пойдет. Он писал, корабль его двигался, он жил мечтой, которая уходила своими корнями в старую жизнь, когда все было привычно и устойчиво... И вдруг корабль остановился, мир, который он воссоздавал, словно бы тоже остановился, перестали двигаться его персонажи, застыли в своей вечной неподвижности. И он увидел опять свою неуютную комнатку, омерзительную в своей повседневности, назойливую и противную лампочку, старую и больную кошку, которую он подобрал у ворот дома.

Роман не пропустили, мечта разлетелась в прах, так стоит ли жить... И ответ возникал единственный — не стоит...

И если б не редактор-издатель частного журнала «Родина» (вспомните, читатель, что в это время Булгаков передал Лежневу, издателю частного журнала «Россия», роман «Белая гвардия», который был напечатан лишь частично) Илья Иванович Рудольфи, предложивший Максудову напечатать его роман... Недолго сопротивлялся Максудов, не пожелавший сначала давать роман Рудольфи, но сам под напором этого энергичного человека уже тянулся к ящику, где лежал роман. Точные детали, превосходно передающие состояние человека, только что готовившегося уйти из жизни и возвращенного к ней этим чудесным и неожиданным появлением издателя, с которым уже столько было связано: «Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя бы даже в виде Мефистофеля. Но, с другой стороны, роман ему мог не понравиться, а это было бы неприятно... Кроме того, я чувствовал, что самоубийство, прерванное на самом интересном месте, теперь уже не состоится и, следовательно, с завтрашнего же дня я опять окажусь в пучине бедствий. Кроме того, нужно было предложить чаю, а у меня не было масла. Вообще в голо-

ве была каша, в которую к тому же впутывался и зря украденный револьвер».

И вот начинаются «приключения» Максудова. Он бросил работу в «Вестнике пароходства», попытался найти свое место в мире литераторов, которые всегда привлекали его глубиной и талантом — ведь это мир Толстого и Достоевского, Пушкина и Гоголя... И как же он был разочарован теми, с кем так мечтал познакомиться... Под внешней благопристойностью скрывался мир пошлый и гнусный... Пустота, лесть, зависть господствовали в этом мире загадочных творцов прекрасного. Пусть первые столкновения с этим миром породили в нем противоречивые чувства: с одной стороны, замечательный Рудольфи, который и дня не мог прожить без любимого редакторского дела, без толстого журнала, в котором хочется напечатать самое талантливое и самое «читабельное», а с другой, такие проходимцы, как издатель Макар Рвацкий, в фамилии которого уже заложена оценка его издательской деятельности... Лишь бы побольше сорвать, лишь бы извлечь доход, прибыль... Но все перенес Максудов, даже безапелляционный суд молодого читателя, нашедшего, что роман Максудова «элементарно неграмотен», что все в нем «эклектично, подражательно, беззубо как-то. Дешевая философия, скольжение по поверхности... Плохо, плоско...» Подражает «самому обыкновенному Аверченко».

Каково же было удивление Максудова, когда он на следующий день, встретив этого молодого человека на вечеринке, устроенной критиком Конкиным по случаю возвращения двух знаменитых писателей из-за границы — Измаила Александровича Бондаревского из Парижа и Егора Агапёнова из Китая, — услышал из его уст совершенно иное мнение о романе: оказывается, этот молодой человек читал роман всю ночь, и роман начал ему нравиться.

И вот встреча с тем миром, куда он стремился попасть... Будут лучшие писатели, весь цвет современной литературы. Сбылась его мечта, этот мир раскроется перед ним с самой лучшей его стороны. И все складывалось благополучно, и выглядело все торжественно и пристойно: «Я оглянулся — новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная, стол был накрыт примерно на двадцать пять кувертов; хрусталь играл огнями, даже в черной икре сверкали искры; зеленые свежие огурцы порождали глуповато-веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем. Тут же меня познакомили с известнейшим автором Лесосековым и Тунским — новеллистом...» Но так было в начале вечера, когда автор записок видел лишь внешнюю сторону жизни литераторов, внешнюю сторону этого мира... Но как только пришли знаменитости Бондаревский и Агапёнов и заговорили... Какое глубокое разочарование возникло в душе молодого Максудова. Ему мучительно хотелось узнать про Париж, он жадно ловил каждое слово Бондаревского, ожидая, наконец, что тот заговорит о чем-нибудь важном и серьезном, но ничего подобного он так и не услышал: шуточки, анекдоты, скандальные истории так и сыпались из уст Бондаревского, хохот сидевших вокруг него почти не смолкал, а Максудов, разочарованный и скучный, уселся за столиком с кофе и обдумывал все увиденное и услышанное: нет, он не понимал, почему так «щемило душу и почему Париж вдруг

представился каким-то скучным, так что даже и побывать в нем вдруг перестало хотеться».

И здесь перед нами не странный чудак, который, характеризуя сам себя, говорит, что он боится людей... Нет, и не только мягкий чудак, которого все норовят поучать. Здесь он раскрывается с ранее не замеченной стороны — он противостоит всей этой пошлости и пустоте. Он протестует против мещанства, которое захлестывает литераторов не только в быту, но и в святая святых — художестве. В бреду, во время свалившей его после вечеринки болезни, когда все, что лежит на душе, прямодушно высказывается, он кричит: «Я хочу сказать правду, полную правду. Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он — чужой мир. Отвратительный мир! Надо держать это в полном секрете...»

Самое страшное — это не первый мир, который оказывался ему чужим. Он ушел из университетской лаборатории, после невероятных приключений во время гражданской войны он очутился в «Пароходстве»: мечтал стать писателем. Он ушел из «Пароходства», надеясь войти в чудесный мир писателей, но и этот мир показался ему нестерпимым. Так что же, пребывать в пустоте? Никуда не соваться... Да, кстати, и зачем куда-то ходить, сочиняй второй роман... А о чем, этот второй роман. Максудов не знал... Он может писать только правду... Художник имеет право на духовную самостоятельность, без которой ничего не получится в искусстве... А что же пишут знаменитые писатели Бондаревский и Агапёнов? Максудов внимательно изучил их творчество. Прочитал «Парижские кусочки» Бондаревского. Книга состояла из тех самых рассказов, историй и анекдотов, которые Максудов уже слышал на вечере у Конкина: «Измаил Александрович писал с необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость, и поселил у меня чувство какого-то ужаса в отношении Парижа».

Агапёнов тоже не произвел никакого впечатления на Максудова. Лесосеков просто непонятен, начинал читать, но вскоре забывал, что же было в начале романа... Читал другие произведения, но ничего сколько-нибудь утешительного эти произведения ему не дали. Напротив, мир писательский да и само писательство ему опостылели, он не увидел для себя никакого выхода из создавшегося тупика...

Но неожиданно для себя он нашел еще один мир, куда потянуло его с неведомой силой. Снова он проснулся в слезах, видел во сне все тот же город, все тех же людей, все тот же рояль, выстрелы и упавшего на снег человека. «Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись. Но что же делать с ними?»

Булгаков прекрасно описывает творческий процесс возникновения замысла пьесы, ее течение, вплоть до галлюцинаций... Люди, события, детали, подробности явственно возникают перед ним, приобретают свой «всамделишный» облик, вплоть до цветовой окраски каждой детали, вплоть до звучания голоса того или иного персонажа... «Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах выступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папахах? И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист... И ночью однажды я решил эту волшебную камеру

описать. Как же ее описать? А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа; бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу — напевает. Пишу: «напевает». Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить ни на вечеринки, ни в театр ходить не нужно. Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу третьей ночи я понял, что сочиняю пьесу...»

Как он обрадовался, когда его пригласили в театр и предложили по роману написать для них пьесу. Это как раз совпадало с его творческими планами и настроением духа: он уже писал эту пьесу.

Максудов, рассказывая о себе, о своем отношении к театру, о его служителях и актерах, чуточку иронизирует над собой как человеком, попавшим совсем в другой, непривычный для него мир, потому что и в этом мире — свои законы, свои отношения, свое миропонимание. Он простодушен в своей любви к театру, ему кажется, что как раз в этом мире все должно быть идеально; ведь искусству театра могут служить только замечательные люди, бескорыстные, чуждые зависти, подлости, подсиживания, ведь на сцене должны оказываться неподдельные таланты, зрителя не обманешь фальшивой игрой, он не поверит в создаваемое на сцене. Чудо Жизни... «Это мир мой!» — шепчет он сам себе, восторженно думая о театральном мире, где все так необычно и прекрасно. Его мало волнуют первые огорчения, которые касаются материальной стороны дела. Неважно, на какой сцене, большой или малой, будут играть его пьесу, какие сборы она будет собирать, большие или малые; его не так уж огорчает и то, что его явно обманули, выдав ему в качестве аванса не две тысячи, а пятьсот рублей. Его давний приятель обратил его внимание на кабальный договор, который он подписал и в котором говорится лишь об обязанностях автора и ничего не говорится о его правах. Но он так был очарован возможностью видеть свою пьесу на сцене, что и на это не обратил внимания, просто отмахнулся, ладно, справится со своими обязанностями, ничего страшного, лишь бы играли. С каким нетерпением он ждал вечера, чтобы пойти в театр и увидеть на сцене подлинную театральную жизнь. И как горько становилось у него на душе, когда он уходил из театра: «Мне очень хотелось надеть точно такой же кафтан, как и на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый пьяный нос, в табачном кафтане, с тростью и табакеркой в руке, и сказать очень смешное, и это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносили другие смешное, сочиненное другим, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого...»

Наконец Максудов завершил пьесу, и — «началось». Правда, после первой читки пьесы в театре многие говорили, что это — «прекрасная пьеса», «хорошая пьеса», и в самом ближайшем времени расклеили афиши, из которых следовало, что пьеса «Черный снег» вклю-

чена в репертуар театра. Пьеса прочитана, договор подписан, есть режиссер, который будет ставить пьесу... Что еще нужно автору... И автор довольный ходил по театру и знакомился с этим прекрасным миром. Первые же шаги в театре повергли его в задумчивость: «Этот мир чарует, но полон загадок...» Но это было только началом. Главный режиссер Независимого театра Иван Васильевич, выслушав пьесу, предложил Максудову «начать работать над этим материалом...» «И Иван Васильевич, все более входя во вкус, стал подробно рассказывать, как работать над этим материалом. Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених, а у пятидесятипятилетней матери (Иван Васильевич тут же окрестил ее Антониной) жениха, конечно, быть не могло, то у меня вылетала из пьесы целая роль, да, главное, которая мне очень нравилась.. В голове у меня начался какой-то кавардак. Стучали молоты в виске. От голода у меня что-то взмывало внутри и перед глазами скашивалась временами комната. Но, главное, сцена на мосту улетала, а с нею улетал и мой герой.

Нет, пожалуй, самым главным было то, что совершается, по-видимому, какое-то недоразумение... Но дальше произошло совсем уже непредвиденное и даже, как мне казалось, немыслимое...»

Иван Васильевич предлагает Максудову написать пьесу совсем другого содержания, но, видя, что автор ему не внемлет, как талантливый человек сразу понимает, что перед ним сидит «упрямый человек». «Вы человек неподатливый», — резюмирует разговор Иван Васильевич. И это уже было началом катастрофы: сначала появился злобный фельетон об авторе еще не вышедшей пьесы и не вышедшего романа, потом разнесся слух, что Ивану Васильевичу пьеса не понравилась, потом ее обсудили на худсовете «основоположников», в ходе которого автор понял, что от него хотят совсем другую пьесу. И тут Максудов проявил твердый характер: «Насколько я понял, пьеса моя не подошла, и я прошу вернуть мне ее».

Пьесу не вернули, но и играть ее не стали, просто положили в «долгий ящик», как говорится, и все тут.

«Трудно вам придется... Готовьтесь претерпеть все», — предсказывает Максудову доброжелательный Петр Бомбардов, который совершенно уверен в том, что если б Максудов ни в чем не перечил Ивану Васильевичу, со всеми его, даже вздорными, предложениями соглашался, то пьеса уже была бы в работе, ее бы репетировали.

Превосходен монолог Максудова «о золотом коне»... Нет, он вовсе не согласен мириться с устоявшимися шаблонами знаменитого некогда театра, он протестует против сложившейся теории Ивана Васильевича: «не бывает никаких теорий!», «попрошу не противоречить мне, вы притерпелись, я же — новый, мой взгляд остр и свеж!».

Мучительно переживает Максудов неудачу с пьесой. Он запретил себе даже справляться о театре, он поклялся не думать о театре, но вскоре понял, что клятва глупая: думать запретить нельзя. И еще он пришел к выводу, что «писать пьесы и не играть их — невозможно».

Казалось бы, Максудов долго не возьмется за очередную пьесу, но вот неожиданно для него в одной из нижних комнат начали разучивать вальс, «и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно

странные и редкие...» Так возникал замысел новой пьесы Максудова, отдаленно напоминающий «Зойкину квартиру» самого Булгакова.

И вот снова неожиданный поворот событий — Независимый театр, раскритикованный в печати за отрыв от современности, решил срочно ставить «Черный снег». И вот Максудов снова в театре, на репетиции своей пьесы, но эти месяцы резко изменили его душевное и физическое состояние: «...я чувствовал себя как бы избитым, все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно». Да, он снова почувствовал себя нужным человеком, почувствовал себя «наново» родившимся человеком, жизнь снова обрела для него смысл, «жизнь моя изменилась до неузнаваемости», «как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение»

Но самое тяжкое испытание еще впереди — за постановку пьесы взялся сам Иван Васильевич... Каких чудес только не происходило во время репетиции, каких сумасбродств не насмотрелся бедный Максудов, который все-таки еще плохо знал театр и никак не мог постигнуть тех нелепостей, которые творились на его глазах. В итоге репетиции стали его раздражать настолько, что «лицо начинало дергаться»

Три недели репетиций пьесы окончательно убедили Максудова, пришедшего в отчаяние, в том, что он «усумнился в теории Ивана Васильевича». «Да, эта теория не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а, пожалуй, была и вредна ей».

Максудов разочаровался в теории Ивана Васильевича, но, «иссушаемый любовью к Независимому театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли...»

Это последние слова неоконченного «Театрального романа». Естественно, возникает множество вопросов после того, как закрыл последнюю страницу романа... И прежде всего: неужто Иван Васильевич — это действительно Станиславский, а Аристарх Платонович — это Немирович-Данченко? Ведь столько наслышались о дружбе двух великих режиссеров, а вот о вражде почти ничего не было известно широкому читателю и зрителю. В. Топорков и многие другие театральные деятели сейчас вспоминают, что в образе Ивана Васильевича «есть некоторые черты самого Станиславского», а разногласия Станиславского и Немировича-Данченко по многим творческим и житейским вопросам подтверждаются их перепиской. Приведу лишь одно письмо Немировича-Данченко Станиславскому, которое относится к 10 ноября 1914 года: «...Вы сами так зарылись в путях, что потеряли цель. Не меняете ли Вы роль пророка на роль жреца? В путях к исканию Бога забываете его самого, потому что заняты исключительно обрядностями. А когда Бог нечаянно для Вас очутился около, — потому что он вездесущ и его пути неисповедимы, то Вы и не замечаете, не чувствуете. Утрачивая душевное или духовное чутье пророка, жрец, приемлет только то, что согласно с установленным им ритуалом» (Немирович-Данченко В. И. Письма, т. 2, М., 1979)

В большом, прекрасно одетом парижскими портными, «несколько полноватом» Измаиле Александровиче Бондаревском, который был «чист, бел, свеж, ясен, весел, прост», сразу внесшем суету и веселье

любящем поесть и выпить, рассказать сочный анекдот или скандальную историю из парижской жизни, легко угадывается действительно знаменитый писатель того времени. В Егоре Агапёнове, только что вернувшемся из Китая, — тоже знаменитая реальная личность. Егор Агапенов советует Максудову почитать свою книгу «Тетюшанская гомоза», скромно добавляя: «Хорошая книга получилась». Максудов читал эту книгу, и она не понравилась ему, книга легковесна, натуралистична..

В дневнике Э. Ф. Циппельзона есть запись от 29 августа 1930 года: «Между прочим окончательно выяснил, что М. А. не любит Пильняка, не считает его, как я, большим художником. Как едко и зло он заметил, что в «Повести о непогашенной луне» во время операции врачи моют руки сулемой, чего на самом деле никогда не бывает. (Булгаков по образованию врач.) На мое замечание, что это мелочь и такие ошибки встречаются даже у классиков, М. А. с несвойственным ему оживлением и многоречием в общественном месте (обыкновенно он упорно молчит) зло и долго говорил о Пильняке, называя его, Пильняка, косноязычным, не русским писателем: «Он не рассказывает, а дергает (такая бывает игрушка на веревочке), — ставя его гораздо ниже Вс. Иванова, которого, очевидно, М. А. очень ценит».

Не будем расшифровывать зашифрованные имена и фамилии Особой в этом нет нужды[1]. Главное в том, что Максудов не приемлет тех, кто так легко и быстро приспосабливается к возникающим требованиям действительности, кто второпях, косноязычно, вываливает на свои страницы «непереваренные», неотсортированные куски действительности, выдавая все это за ее художественное исследование.

Сам Максудов, скромный журналист «Вестника пароходства», полон достоинства и уважения к избранной им профессии. С презрением он относится к тем, кто, вроде Ликоспастова, во всем видит что-то подводное и подспудное: «...ловок ты, брат... Как ты Рудольфи обработал, ума не приложу .. А поглядеть на тебя — тихоня». Не художественные качества романа, не гражданская смелость редактора, а именно ловкость Максудова видится прежде всего в факте публикации романа, который, по его мнению, «напечатать нельзя, просто невозможно» А когда Ликоспастов узнал, что пьесу «Черный снег» будут играть на Главной, а не Учебной, сцене, то он сразу же «побледнел и тоскливо глянул в сияющее небо»... Здесь и зависть, и недоумение, а главное — какими уловками и хитростью обвел Максудов театральных работников, тут работаешь-работаешь, угождаешь-угождаешь, а ничего не получается... Так, и только так, можно понять характер этого приспособленца, который рядится в «тогу» писателя. Как противно стало в этом мире писателей начинающему Максудову.

Начинающий он и в мире Театра. И насколько он ближе, роднее, симпатичнее всех тех, кто уже успел приспособиться к рутине устаревшего, оторвавшегося от сегодняшней действительности Независи-

---

[1] Желающие узнать тех, кто скрывается под вымышленными именами, могут посмотреть том 4 Собрания сочинений в пяти томах, Москва, Художественная литература, 1990, с. 665—667.

мого театра. В этом названии — особый смысл... Как раз зависимого от Ивана Васильевича, от его капризов, от его теории, которая к новым пьесам неприменима, даже вредна им.

И с этого чарующего мира, каким он казался начинающему драматургу Максудову, постепенно сползает пелена, которая так обманчиво скрывала подлинное лицо Независимого театра. Оказывается, в этом «чарующем» мире столько непогоды, столько столкновений, подводных течений, подводных камней, которые может обойти только искусный пловец. И есть наставники, которые, желая добра начинающему, советуют действовать осторожно, уступчиво, со всем соглашаться, что посоветует Иван Васильевич. «Но лучше смерть, чем позор!» — помните, кричит Коротков из «Дьяволиады» и кончает жизнь самоубийством. В сущности, ведь с таким же криком бросается с Цепного моста и Максудов. Так что и продолжать-то роман не было особой нужды, замысел четко и рельефно прояснился в первых же главах второй части. Конечно, история с постановкой пьесы не закончена, но страдания героя уже четко обозначились, а на первых же страницах мы узнаем конец его трагической судьбы.

2

24 марта 1937 года Михаил Булгаков писал своему другу П. Попову: «Не написал тебе до сих пор потому, что все время живем мы бешено занятые, в труднейших и неприятнейших хлопотах. Многие мне говорили, что 1936-й потому, мол плох для меня, что он високосный, — такая есть примета. Уверяю тебя, что эта примета липовая. Теперь вижу, что в отношении меня 37-й не уступает предшественнику.

В числе прочего второго апреля пойду судиться — дельцы из Харьковского театра делают попытку вытянуть из меня деньги, играя на несчастье с «Пушкиным». Я теперь без содрогания не могу слышать слово — Пушкин — и ежечасно кляну себя за то, что мне пришла злосчастная мысль писать пьесу о нем.

Некоторые мои доброжелатели избрали довольно странный способ утешать меня. Я не раз слышал уже подозрительно елейные голоса: «Ничего, после вашей смерти, все будет напечатано!» Я им очень благодарен, конечно!

Желаю сделать антракт: Елена Сергеевна и я просим Анну Ильиничну и тебя прийти к нам 28-го в 10 часов вечера попить чаю...» А Новый, 1937 год встречали дома, — встречали весело и дружно. Пришел старший сын Елены Сергеевны Евгений Шиловский, вчетвером встретили Новый год. Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна вместе с Женечкой и Сережей веселились, играли, как дети. Вручали друг другу подарки; гораздый на выдумки, Михаил Афанасьевич приготовил несколько сюрпризов для детей и Елены Сергеевны; получив их, все вместе смеялись над выдумками. Особое удовольствие получили все, когда с громом и треском били чашки о надписью «1936-й год», лишь для этого купленные. Михаил Афанасьевич не отставал от мальчишек в этом диком наслаждении — уж очень тяжким был для него 1936 год.

«Ребята от этих удовольствий дико утомились, а мы еще больше, — записывала 1 января 1937 года Елена Сергеевна в дневнике по горячим следам событий. — Звонили Леонтьевы, Арендты, Мелик, — а потом, в два часа, пришел Ермолинский — поздравить.

Дай Бог, чтобы 1937-й год был счастливей прошедшего!»

Но первые же дни 1937 года показали, что эти надежды вряд ли оправдаются: сразу же после бурного новогоднего веселья заболел скарлатиной Сергей, потянулись томительные дни ожидания его выздоровления, долгое сидение дома, собственное нездоровье. Одновременно с этим чудовищной тяжестью навалились вести из Парижа: вместе с радостью ожидания постановки «Зойкиной квартиры» во французской адаптации пришло письмо Николая Булгакова, в котором он сообщал о новых притязаниях разных мошенников на его литераторский гонорар. Серьезно беспокоил его и французский текст «Зойкиной квартиры», не будет ли допущено в тексте каких-либо искажений и отсебятины, носящей антисоветский характер, совершенно неприемлемых и неприятных для него, как для гражданина СССР. Это самое главное. И в этом отношении он вскоре успокоился. Николай Афанасьевич заверил его, что постановщики и переводчик с уважением отнеслись к тексту пьесы, лояльно относятся к Советскому Союзу, никаких искажений не допустят в постановке, но в том же письме озадачил Михаила Афанасьевича сообщением, что вскоре после постановки пьесы могут всплыть «на поверхность стаи всевозможных темных личностей, жадных к чужому добру и весьма опасных». Снова возник Захарий Каганский, который наследовал издательские права Ладыжникова-Фишера... Тот самый, которому удалось обобрать его гонорар, причитавшийся ему за «Дни Турбиных», изданные и поставленные за границей.

Пришлось обежать несколько учреждений, чтобы получить и заверить доверенность Н. А. Булгакову и специальному агенту Societe des auteurs Альфреду Блоху для ведения дел по защите его авторских прав. Михаил Афанасьевич направил письма к Фишеру и Альфреду Блоху на русском языке с просьбой к Николаю Афанасьевичу перевести последнее на французский язык. Что он мог еще сделать для того, чтобы оградить от мошенников свое авторское достояние? В свое время прислали ему бюллетени, с просьбой подписать их, в них упоминалась пьеса «Новый дом», но уже тогда, смутно догадываясь, что речь может идти только о «Зойкиной квартире», он категорически отказался подписать этот бюллетень, ссылаясь на то, что такой пьесы у него нет. Но может ли это давнее письмо служить препятствием попыткам увезти его гонорар в Германию? 5 февраля 1937 года Булгаков послал Николаю Афанасьевичу подлинное письмо Б. Рубинштейна от 22 февраля 1934 года, копию своего письма к Рубинштейну от 1 августа 1934 года и подлинное письмо Ладыжниковской фирмы к нему от 3 октября 1928 года. По его мнению, ни Рубинштейн, ни фирма Ладыжникова не имеют права на какую-либо часть его гонорара по «Зойкиной квартире» в Париже и просит Николая Афанасьевича принять всевозможные меры для того, чтобы никто, кроме него самого, не мог бы получить его денег. Если же кому-нибудь из этой банды мошенников удастся все-таки произвести посягательство на часть его

гонорара, то просит Николая добиться, чтобы его часть гонорара ни в каком случае Общество по охране авторских прав им не выдавало бы. Правда, еще Рубинштейн в письме от 22 февраля намекал, что пьеса пойдет благодаря усилиям издательства Фишера. Но ведь это же неверно! Они только перевели ее на немецкий язык...

Все эти хлопоты не только отнимали драгоценное время, но безмерно огорчала наглость и беспардонность литературных мошенников, давших о себе знать в самый ответственный момент: Театр в Париже объявил о генеральной репетиции в феврале 1937 года. И мошенники во главе с Каганским тут же заявили о своих претензиях.

Как отразить покушение на его гонорар? Послать телеграмму с просьбой не выдавать гонорар таким-то? Или: «Прошу не переводить мой гонорар в Германию?» Или что-нибудь по таким же мотивам. Нет, опытные юристы во Франции отвергнуть такие телеграммы, как не имеющие юридической силы, у них есть авторское право, пусть и устаревшее, но они его твердо соблюдают. Значит, нужно немедленно добыть что-нибудь о Каганском, нужно вновь просмотреть архив и найти старые документы, договоры он ни с одним издательством, ни с одним театром не выбрасывал. Нужно только поискать...

2 февраля 1937 года Николай Афанасьевич прислал письмо, которое очень огорчило Михаила Афанасьевича: все документы, посланные в январе оказались, совершенно непригодными с юридической точки зрения: только подлинное письмо М. Булгакова Ладыжникову от 3 октября 1928 года может дать ответ, на каких условиях заключен контракт, на каких языках и для каких стран издательство Ладыжникова взяло на себя распространение «Зойкиной квартиры», и на какой срок... «Если только издательство Ладыжникова, — писал Николай Афанасьевич, — изданием немецкого перевода закрепило за собой право какого бы то ни было перевода, — т. е. на любой язык и в любой стране — инсценировки, аранжировки, переделки, сценарии и т. д., то ты лично с того момента, т. е. 8 октября 1928 года (в этом твоем ответе издательству Ладыжникова ты письменно согласился с условиями письма его от 3 октября 1928 года никаких прав на «Зойкину» не имеешь — она целиком принадлежит через издательство Ладыжникова Фишеру, а значит — ты не мог дать ни доверенности, ни прав на договоры и получение денег. Этим правом законно обладает издательство С. Фишер в Берлине и не оно ко мне должно было обращаться, а я к нему. Точно также и твой авторский гонорар тебе может выделить лишь С. Фишер...»

Горькое чувство досады испытывал Михаил Афанасьевич при чтении письма брата... Оказывается, Каганский — представитель Фишера, а Фишер — наследник Ладыжникова, с которым он заключил договор 3 октября 1928 года. Какие меры можно предпринять, чтобы парализовать этого предприимчивого делягу хорошо знающего, что французские законы, весьма устарелые и дряблые, как пишет брат, дают возможность Каганскому, от имени Фишера, наложить арест либо на авторский гонорар, либо вообще арестовать по суду все поступления театра — а это пахнет весьма большим скандалом. Действительно, как пишет брат, на постановку затрачены большие средства, до начала спектаклей осталось пять дней, а театр надеется включить

«Зойкину квартиру» в свой репертуар для участия в конкурсе театральных постановок, который состоится на большой весенней мировой выставке искусств в Париже в мае 1937 года. Всплыла снова старая и путаная история с Захаром Каганским, объявившим себя единственным и всемогущим представителем издательства Ладыжникова-Фишера, которому якобы принадлежат все права на «Зойкину» повсюду и навсегда.

5 февраля 1937 года Булгаков отправил Николаю Афанасьевичу в Париж подлинное письмо Ладыжникова, а Альфреду Блоху сообщил, что он никогда и никоим образом не уполномачивал Захария Каганского запищать его права на пьесу «Зойкина квартира».

Что же получается... Фишер писал, что порвал с Каганским, собирался возбудить уголовное дело против него из-за «Зойкиной квартиры», а на поверку ничего этого не было сделано, и Каганский остался представителем Фишера-Ладыжникова.

9 февраля Булгаков писал брату в Париж: «Мне кажется, что главным является то обстоятельство, что по недосмотру в моем письме к Ладыжникову от 8 октября 1928 года не указан срок его действия. Мне кажется совершенно ясным, что оно утратило всякую силу (иначе что же — вечная кабала?!) Но если этого не признают в Париже и борьба за полное мое право ни к чему не приведет, нужно добиться того, чтобы хоть та часть моего гонорара, которая будет признана бесспорной, не была бы отправлена в Берлин (Фишер). Заяви в Societe, что я не могу иметь дело с фирмой в Германии, потому что она не высылает денег. Значит, мой гонорар пропадет совсем. С Каганским борьба должна быть отчаянной, чудовищно думать, что известный определенный мошенник захватит литераторские деньги. Если, в худшем случае, ему удается все-таки профигурировать в качестве «представителя», нужно принять все меры, чтобы хоть бесспорная часть гонорара не была бы выдана ему!

Понимало все трудности, понимаю как велика путаница! А мне как трудно!»

Конечно, он допустил оплошность, не показал свои письма издателям, юристу, специалисту по авторским делам, по той же причине, не оказалось у него и договора между ним и Рейнгардт на постановку пьесы во Франции. Все получилось как-то келейно, она прислала ему частное письмо 5 июля 1933 года, он отправил ей даже два письма с подробной характеристикой действующих лиц, выразил согласие на постановку, и все... А нужно было еще четыре года тому назад заключить договор, но кто же знал, что так обернется...

А ко всем этим огорчениям 3 февраля зашел к Булгаковым Сергей Ермолинский и сказал, что ему очень нужны деньги — давно задолжали ему две тысячи рублей. Елена Сергеевна в тот же день поехала в дирекцию Большого театра с заявлением Михаила Афанасьевича, и Яков Леонтьевич Леонтьев, золотой для Булгаковых человек, к концу дня позвонил и сообщил, что можно получить аванс под «Черное море».

За эти дни нового года Михаил Афанасьевич дописал еще две картины для «Минина и Пожарского», которые потребовали дописать в готовое либретто, послали Асафьеву и сдали в Большой театр. Навес-

тивший Булгаковых Владимир Дмитриев сказал, что Асафьеву эти картины тоже понравились, и он начал работать над оперой.

«У нас тихо, грустно, и безысходно после смерти «Мольера», — писал Булгаков Попову 29 января 1937 года.

И не только смерть «Мольера» порождала эти безысходные чувства. В дни Пушкинского юбилея особенно остро Булгаковы почувствовали несправедливость гибели пьесы «Александр Пушкин», которую и сам Михаил Афанасьевич считал одной из лучших своих пьес, и многие актеры, писатели, ученые, слушавшие в его исполнении сцены этой драмы, восхищались творческой удачей. Как Булгаковы ждали этого юбилея, сколько надежд возлагали на своего «Пушкина», сколько договоров заключили с разными театрами. «А теперь «Пушкин» зарезан, и мы у разбитого корыта», — записывала Елена Сергеевна в дневнике.

Но жизнь диктовала свои условия... Почти каждый день он вставал утром, пил кофе и уходил в Большой театр, читал либретто, правил, работал с авторами, принимал участие в репетициях, беседовал с дирижерами и артистами во время перерывов, рассказывал смешные истории, разыгрывал сценки, остро и тонко подмечая характерные детали и подробности театрального быта... И возвращался домой, закрывался в своей комнате, и пока Елена Сергеевна готовила обед и накрывала на стол, Михаил Афанасьевич успевал написать несколько страничек театрального романа «Записки покойника». Писал быстро, все было продумано, слова и строчки легко ложились на бумагу, сразу набело, без черновиков... Он торопился сделать как можно больше за это время, потому что после обеда нужно было куда-то непременно идти, с кем-то встречаться, то ли на прием к кому-нибудь, то ли на премьеру в какой-либо театр, Елена Сергеевна уже договорилась, ее так просили, что она не могла отказать...

А потом, когда они возвращались, приходили гости, приходили запросто, поговорить, посоветоваться, послушать Михаила Афанасьевича, поесть что-нибудь вкусненького, заранее зная, что Елена Сергеевна наверняка что-нибудь приготовила... «Друзей было немного, — вспоминала Е. С. Булгакова в 1968 году, — но это были те, кто не мог жить без М. А. Он шутил, рассказывал, разыгрывал сценки — это был неисчерпаемый источник веселья, жизнерадостности. Расходились в 5—6 часов утра, и я только умоляла: — Ну, давайте будем расходиться хотя бы в 3!

И только иногда, когда гости уходили и мы оставались одни, он мрачнел и говорил:

— Что же это? Ведь все это уходит в воздух, исчезает, а ведь это могло остаться, могло быть написано.

Тогда я начинала плакать, а он пугался и сразу менял настроение. (М. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. Москва, 1988, № 12, с. 75).

7 февраля 1937 года Елена Сергеевна записала в дневник: «Но самое важное, это — роман. М. А. начал писать роман из театральной жизни. Еще в 1929 году, когда я была летом в Ессентуках, М. А.написал мне, что меня ждет подарок... Я приехала, и он показал мне тет-

радку — начало романа в письмах, и сказал, что это и есть подарок, он будет писать этот театральный роман.

Так вот теперь эта тетрадка извлечена, и М. А пишет с увлечением эту вещь. Слушали уже отрывки: Ермолинский, Оля, Калужский, Вильямсы, Шебалин, Гриша Конский ..»

11 февраля был Федор Михальский, администратор из МХАТа, Булгаков прочитал ему отрывок романа, в котором Максудов описывает работу «конторы» и заведующего внутренним порядком Филиппа Филипповича Тулумбасова, «полного блондина с приятным круглым лицом, с необыкновенно живыми глазами, на дне которых покоилась не видная никому грусть, затаенная, по-видимому, вечная, неизлечимая».

Портрет Фили Федору Михальскому понравился, он был «очень польщен», как записала в дневнике Елена Сергеевна. Тут же произошел и разговор о поездке МХАТа в Париж на выставку, действительно руководство театра заказало Владимиру Дмитриеву новые декорации для «Турбиных».

— Я вам обязательно напишу, как прошел спектакль, — пообещал Федор Михальский, обрадованный отрывком театрального романа, в котором Булгаков так точно и емко описал его деятельность в Театре.

— Я узник... Меня никогда не выпустят отсюда... Я никогда не увижу света, — с тоской сказал Булгаков, как только Михальский ушел. — Дома не играют, а за границей грабят.

«У М. А. отвратительное состояние», — записала в дневнике Елена Сергеевна.

Правда, обозначился и просвет в тучах. Мутных и Леонтьев, высшее начальство Большого театра, предложили Михаилу Афанасьевичу ставить «Минина». Сразу же возник вопрос — а кто художник? Федоровский, Вильямс, Дмитриев? Булгаков предложил Дмитриева. Начальство попросило Михаила Афанасьевича дать телеграмму Дмитриеву, зная об их дружбе. На следующий день Елена Сергеевна дала телеграмму Асафьеву, чтобы порадовать, и Дмитриеву, чтобы делал эскизы, ведь он дружил с Асафьевым и хорошо знал будущую оперу, читал либретто и слушал музыку у Асафьева. Думал и Дмитриева порадовать интересным заказом. Но получилось совсем наоборот: Владимир Владимирович тут же позвонил из Ленинграда и выразил свое недовольство тем, что не дирекция театра, а автор либретто заказывает ему оформление постановки, к тому же заказывает эскизы без заключения договора. А что же мог в этом случае поделать Михаил Афанасьевич? Он обрадовался, что дело с постановкой стронулось с мертвой точки, перешло на практические рельсы, думал порадовать друга, что вместе будут работать над постановкой, а друг недоволен: почему дирекция сама не вступает с ним в переговоры, не заключает договор, а требует показать эскизы. Господи! Сколько сложностей, противоречий в жизни. Думаешь одно, а получаешь другое, чаще всего противоположное задуманному. И все недовольны, раздражены. А дирекция, оказывается, колеблется между ним и Федоровским, поставив Михаила Афанасьевича в сложное положение. Интриги, интриги повсюду. И никак не отряхнешься от них, интриги опутывают человека, как нити лилипутов Гулливера, попробуй разорви их. Нет, интриги сковывают волю, ограничивают свободу действий...

В таком дурном настроении Михаил Афанасьевич, поддавшись на уговоры Елены Сергеевны, пошел в новооткрытое место — Дом актера, где встретились с Дорохиным, Раевским, Ардовым и их женами и мило провели вечер. Настроение чуточку улучшилось, но на следующий день опять возник этот мучительный вопрос — как быть с Дмитриевым, ведь Михаил Афанасьевич послал ему телеграмму. Мутных и Леонтьев, присутствовавшие днем на репетиции все еще колебались. А Булгаков потребовал прямого ответа:

— Или вы давайте телеграмму Дмитриеву о том, чтобы он делал эскизы, или придется аннулировать мою телеграмму.

— Хорошо, что вы эту телеграмму дали, пусть покажет эскизы, а потом мы заключим с ним договор, если театру подойдет.

Эти слова Мутных поразили Булгакова... Как? Дмитриев — известный художник, не раз доказывавший свой высокий профессионализм в театре, должен как приготовишка сначала показать эскизы, а потом получить или не получить заказ на оформление спектакля?

Как и предполагал Михаил Афанасьевич, Дмитриев обиделся на дирекцию и отказался делать эскизы. Только начались переговоры о постановке «Минина», так порадовавшие Булгакова, и сразу так неудачно. Это насторожило Михаила Афанасьевича... Как бы с «Мининым не повторилась печальная история «Мольера», загубленного постановщиками. Любая постановка спектакля зависит от настроения людей, а тут уже в самом начале коллективного дела сталкиваются амбиции... Что ж будет во время постановки спектакля?

«Вечером Вильямсы и Любовь Орлова. Поздно ночью, когда кончали ужинать, позвонил Гр. Александров и сообщил, что Орджоникидзе умер от разрыва сердца. Это всех потрясло», — записала Елена Сергеевна в дневнике 18 февраля 1937 года.

На следующий день попытались попасть в Колонный зал, где лежало тело покойного, но очередь народа тянулась по Тверской и начиналась где-то очень далеко.

Запись 20 февраля: «Проводила М. А. в Большой. Вышли из метро на площадь Дзержинского, потому что на Театральную не выпускали.

М. А. был на репетиции «Руслана», потом его позвали на совещание о том, как организовать приветствие Блюменталь-Тамариной к ее 50-летнему юбилею. А потом он с группой из Большого театра вне очереди был в Колонном зале. Рассказывал, что народ идет густой плотной колонной (группу их из Большого театра присоединили к этой льющейся колонне внизу у Дмитровки). Говорит, что мало что рассмотрел, потому что колонна проходит быстро. Кенкеты в крепе, в зале колоссальное количество цветов, ярчайший свет, симфонический оркестр на возвышении. Смутно видел лицо покойного».

Назначенное чтение «Записок покойного», на котором должны были присутствовать Раевский, Дорохин, Ардов с женами, пришлось отменить. «У М. А. дурное настроение духа», — констатировала Елена Сергеевна.

Донимали Михаила Афанасьевича самодеятельные авторы... Как-то совершенно неожиданно для него зашел к нему бухгалтер Большого театра и попросил прочитать его пьесу. Пришлось прочитать и

всерьез обсуждать очень плохую пьесу, да так, чтобы не обидеть автора, весьма полезного в театре человека, но возомнившего себя драматургом. А на улице как-то встретил знакомого актера, разговорились, оказалось, что и актер написал пьесу, затащил Михаила Афанасьевича к себе домой, прочитал отрывок и выжидающе посмотрел на него: как, дескать, подойдет? И Булгакову приходилось со всей присущей ему деликатностью разбирать, анализировать только что услышанное, предлагать способы улучшения пьесы.

Это уж не говоря о тех либретто, которые дирекция Большого театра официально посылала на отзыв и консультацию. Чаще всего приходили молодые начинающие литераторы, которым вдруг пришло в голову, что они могут писать. В этих случаях Булгаков вспоминал Гоголя, Островского, Чехова... «А вечером — Смирнов, присланный дирекцией Большого театра для консультации по поводу его либретто.

Убийственная работа — думать за других!»

А через три дня Елена Сергеевна записала: «У М. А. был Смирнов, очень доволен — М. А. сразу привел ему в порядок его конспект либретто».

Но все эти треволнения, обычные и повседневные, отошли на второй, третий план, когда Михаил Афанасьевич узнал о трагической болезни замечательного актера Вахтанговского театра Русланова, с которым он в последние месяцы подружился. Не то саркома, не то рак, третий месяц лежит в больнице, а ему только сообщил об этом тоже талантливый актер этого же театра Горюнов. Надо навестить друга, хотя он и знал, как это тяжело. И как только увидел ввалившиеся, полные страдания, глаза Русланова, Булгаков понял, что он безнадежен. Приходилось говорить что-то ободряющее, а это давалось нелегко, приходилось все время напрягаться, чтобы не выдать свое состояние душевной печали, а главное, чтоб Русланов не догадался о своем безысходном положении. И как только Русланов напомнил Булгакову, что он обещал увеличить надпись на «Пушкине», Михаил Афанасьевич тут же этим и занялся — в это время он не видел страдальчески вопрошающих глаз своего друга, который с таким участием и вдохновением репетировал свою роль в «Пушкине». Но не судьба...

А стоило Михаилу Афанасьевичу вернуться домой и рассказать Елене Сергеевне о своих тяжелейших переживаниях в больнице, как зазвонил телефон: Городинский из ЦК напомнил о прослушивании в Комитете «Минина», о необходимости доработки либретто, готовы ли дополнительные картины, о которых просили ответственные сотрудники различных ведомств. Да, конечно, приняты все замечания и уже готовы две дополнительные картины, сданы в театр, но почему-то Асафьеву не отосланы. Асафьев шлет нервные письма и телеграммы, удивляется, почему не репетируют семь готовых картин, если действительно хотят ставить оперу. И почему опера с такими массовыми сценами назначается на филиал Большого театра, а не на основную сцену. Все это Михаил Афанасьевич высказал Городинскому в надежде, что он повлияет на благоприятный исход с постановкой «Минина».

21 марта 1937 года Елена Сергеевна записала: «Днем звонок Мутныха. Хочет говорить о Минине».

Проводила М. А. в дирекцию, сама поехала к Амировой — там мне показали номер газеты «Beaux arts», в котором рецензия о «Зойкиной квартире».

— Вы знали, что она идет?.. Стало быть, у вас там будут большие деньги?.. Вот бы Михаилу Афанасьевичу поехать, ведь это единственный случай поехать... с «Турбиными», с МХАТом...

Почему единственный?

М. А. сказал, что слышал, будто Замятин умер в Париже.

Из Парижа ни от Коли, ни от «Société» никаких известий о «Зойкиной квартире» — уже около двух месяцев. Неужели письма пропадают?

Из Берлина письмо от Фишера. Пишет, что на счету у М. А. — 341 марка.

Вечером проводила М. А .ненадолго на «Фауста, откуда он зашел за мной в контору МХАТа. Потом укорял меня, зачем я не вышла в нему навстречу, ему неприятно бывать во МХАТе.

Дмитриев — забежал перед поездом в Ленинград. Ну, конечно, разговоры о «Минине». Дирекция, видимо, не хочет, чтобы делал Дмитриев. А Дмитриев говорит: — Я не намерен кланяться перед дирекцией!

Ясно, что придется искать другого художника, наладить их отношения уже трудно.

В полночь М. А. позвонил к Вильямсу. Тот принципиально соглашается делать «Минина».

На эти мартовские дни выпало много ненужного и суетливого беспокойства. Предвестником этой многодневной маеты оказался ценный пакет, принесенный почтальоном, внушительность которого насторожила Михаила Афанасьевича, и он тут же заявил:

— Не открывай его, не стоит. Кроме неприятностей, ничего в нем нет. Отложи его на неделю, а то у нас сегодня гости, не стоит портить себе настроение.

Но Елена Сергеевна была неумолима. За эти пять лет совместной жизни она уже столько всего и всякого испытала, что уже ничто ее не могло напугать, а тем более испортить настроение. И она решительно разорвала пакет и достала бумагу, в которой Михаила Афанасьевича Булгакова уведомляли, что Харьковский театр русской драмы намерен взыскать аванс по договору за не поставленного «Пушкина на том основании, что пьесы нет в списке разрешенных к постановке.

— Ах, негодяи! — только и произнес Булгаков.

Зазвонил телефон. Разговор сначала с Евгением Калужским, а потом с Ольгой Сергеевной затянулся, что казалось,никогда не завершится.

Елена Сергеевна выходила «на минутку» и не слышала разговора. А когда она вернулась, Михаил Афанасьевич с огорчением сказал:

— Как говорится, беда не приходит одна... Марианна явно их выживает, по всему чувствуется, что ей нужна комната, которую так лю-

безно подарил им Евгений Александрович; твой бывший муж, конечно, замечательный человек, но и он не сможет перечить своей молодой жене.

— Ну и что же? — Елена Сергеевна никак не могла понять, в чем же дело.

— А в том, что твоя прекрасная сестренка с Женей Калужским намерена переехать к нам... Но этого нельзя делать! Как же работать? Это будет означать, что мы с тобой должны повеситься!

— Ничего, не беспокойся, я все улажу. Но что делать с Харьковским театром?

Решили, что прежде всего необходимо написать об этом Платону Михайловичу Керженцеву, который год тому назад, после разгрома «Мольера», просил Булгакова извещать его о всех трудностях, встававших на его творческом пути. Этот вопрос как раз был в компетенции председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР.

В дурном настроении Булгаков целый день провозился с этим письмом, которое тут же, как только оно было готово, отвезла в Комитет Елена Сергеевна. «Вечером Мелик с Минной, Ермолинские. Надевали маски Сережкины, хохотали, веселились, ужинали. Две картины «Минина» от Асафьева приехали, Мелик принес их и играл. «Кострома» очень хороша», — записывала поздно ночью Елена Сергеевна.

А на следующий день — снова потерянный день... Несколько дней тому назад Михаила Афанасьевича вызвали в Свердловский военкомат на Кузнецком, вызвали на переучет, вручили уведомление, что нужно пройти комиссию... Восемнадцать лет Михаил Афанасьевич не имеет никакого отношения к медицине, но именно как «лекарь с отличием» он понадобился властям.

25 марта взяли такси и поехали на комиссию, заехали с начала не туда, долго искали Ленинградское шоссе, нашли фабрику «Москвошвей», потом — клуб Воздушной академии, где Михаил Афанасьевич прошел переучет; выдали об этом справку. А что последует за этим? Могут ведь дать и какое-то назначение... Неизвестность неприятна, а медицинский диплом дает ему лишь дополнительные неприятности.

А на следующий день начались предсудебные хлопоты. Прежде всего поехали во Всероскомдрам, посоветовались с юристом Городецким, который ничего утешительного не сказал, не нашел поводов для защиты, сказал лишь, что предстоит трудное дело. И сами знали, что дело трудное и хлопотное, но ведь есть же законы, которыми надо уметь пользоваться. «Вечером были Вильямсы. Опять играли с масками — новое увлечение М. А.», — записывает Елена Сергеевна 27 марта.

28 марта Михаил Афанасьевич поехал в Вахтанговский театр, ведь Репертком давал официальное разрешение «Пушкина» на постановку, театр уже распределял роли, а без разрешения это никогда не делалось. Да, подтвердил Борис Евгеньевич Захава, он видел экземпляр «Пушкина» с разрешением Реперткома; а почему не поместили пьесу в список разрешенных к постановке, он не может понять. Вместе с Михаилом Афанасьевичем попытались найти этот экземпляр пьесы с разрешением, это оказалось невозможным: заведующая архивом выходная. Но Захава видел этот экземпляр и готов выступить в суде в качестве свидетеля.

Приехали снова во Всероскомдрам. То ли позвонили от Керженцева, то ли еще по какой-то причине, но Городецкого словно подменили:

— Надо защищаться! Есть соответствующие статьи для защиты, нужно лишь подтвердить в Реперткоме, что было разрешение...

«А вечером мы с Женичкой (моим) на «Чио-Чио-сан».

У нас были Попов и Лямины. М. А. читал им куски из «Записок покойника».

Поздно ночью М. А.:

— Мы совершенно одиноки. Положение наше страшно.

30 марта Михаил Афанасьевич разбирает архив, размышляет, горько сетует, глядя на десятки вариантов всех своих пьес, перебирает варианты «Александра Пушкина», рукопись пьесы, наброски... Сколько потрачено сил... Спешилк юбилею, а юбилей прошел без него, без его пьесы; хорошо, что есть разрешение на постановку... Но удастся ли выиграть процесс? Хочет быть на суде и Вересаев... «Вечером пришли Оля с Калужским... Говорили о их бедствиях из-за квартирного вопроса.

Жиденькие рассказы о МХАТе — пустяки, мелочи.

— Аркадьев уезжает на днях в Париж. По-видимому, МХАТ едет.

Рассказывали, что Мейерхольд на собрании актива работников искусств каялся в своих грехах. Причем это было так неожиданно, так позорно и в такой форме, что сначала подумали, что он издевается. Падает снег и тут же тает. Грязь», — записывает Елена Сергеевна.

Приближалось 2 апреля — день суда, а справки о том, что пьеса была разрешена Реперткомом никак не могут получить. Естественно, побывали у Литовского, давнего недоброжелателя Булгакова, принял весьма любезно, подтвердил, что разрешение он действительно давал и вызвал сотрудника Марингофа с поручением немедленно найти пьесу «Александр Пушкин». Не раз Марингоф возвращался и переспрашивал:

— Вы *наверно*, — на этом слове он делал ударение, — знаете, что пьеса называется «Александр Пушкин»?

Михаилу Афанасьевичу пришлось собрать все свои силы, чтобы не сорваться на грубость и сдержанно ответить на глупейший вопрос.

Литовский пообещал, что справку они дадут на следующий день. Но и 1 апреля весь день промучились в ожидании справки. Самого Литовского не было, он был в Комитете, у Керженцева, не оказалось и его заместителя, пьесу не нашли, а значит, и справку выдать не могут.

— Если пьесы нет под буквой А — ищите ее под П., — с раздражением оказал Михаил Афанасьевич.

Пьесу «Александр Пушкин» в завалах Реперткома наконец-то нашли. Стали искать справку. Бдительная Елена Сергеевна решила вместе с секретаршей перелистывать документы, увидела, как мелькнула нужная им справка, а секретарша сделала вид, что ее не заметила. Попросила вернуться назад, но секретарша, ничуть не смутившись, заявила, что без Литовского она не может выдать справку.

— Дело в том, Михаил Афанасьевич, — сказала Елена Сергеевна, — что в справке сказано, вернее, написано рукой Литовского — разрешение. Вахтанговскому театру приступить, к работе над «Пушкиным» и включить пьесу в репертуар.

— Это как раз то, что нам нужно, чтобы выиграть процесс. Я буду жаловаться Керженцеву, — сказал Михаил Афанасьевич. — Позвоню Ангарову, заместителю Боярского Гольдману, который говорил, что этот иск — безобразие.

Но Ангарова не оказалось на месте, а в это время секретарша дозвонилась до Литовского, сказавшего, что справку он выдаст на следующий день.

И лишь 2 апреля Булгаков получил справку, что пьеса «Александр Пушкин» была разрешена к постановке Вахтанговскому театру, но Комитет по делам искусств приостановил работу над ней.

«Потом — суд. Председатель — женщина, производит очень серьезное впечатление. Первым говорил М. А., показал справку Репертко-ма, вырезки газетные, из которых видно, что пьесу готовились ставить.

Сказал:

— Нам с В. В. Вересаевым не по возрасту вводить в заблуждение театры.

Вторым говорил Городецкий. Дело выиграли.

Большое моральное удовлетворение, что эти негодяи из Харькова хоть тут не смогли сыграть на положении М. А.»

За этими суховатыми строчками дневника Елены Сергеевны — боль, хлопоты, страдания, нервы, тяжкие раздумья о своей судьбе... В таком состоянии и делового заявления не напишешь, какой уж тут роман...

Но моральное удовлетворение от выигранного суда Булгаков испытывал недолго, снова неуверенность в завтрашнем дне заполонила всю его душу. И тому были веские причины.

3.

Что-то лихорадило страну, и Булгаков пытался понять происходящее.

Особенно насторожил февральско-мартовский Пленум ЦК ВКПб, на котором в докладах Молотова, Кагановича, Ежова, Жданова, во многих выступлениях в прениях чаще всего говорилось о том, что в партии, в государстве все еще действуют враги народа и необходимо извлечь уроки из судебных процессов, недавно прошедших в стране. «Уроки, вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов» — вот основной пафос ведущих партийных и государственных деятелей страны. Еще до Пленума в газетах мелькали статьи с хлестскими заглавиями: «Торговцы Родиной», «Подлейшие из подлых», «Троцкистская шайка реставраторов капитализма», «Троцкист-вредитель-диверсант-шпион»... С осуждением «фашистских выродков», «шпионов», «террористов» выступили в «Правде» писатели А. Фадеев, А. Толстой, П. Павленко, Н. Тихонов, Б. Ясенский, Л. Никулин... Вянваре 1937 года закончился Второй открытый московский процесс, на котором Пятаков, Радек, Серебряков, Сокольников и другие обвиняемые признались в том, что они были крепко связаны с Троцким и, выполняя его указания, готовили заговор против

Сталина и других руководителей партии и Советского правительства. А все началось еще на первом открытом процессе в Москве, когда Зиновьев, Каменев, Смирнов, Евдокимов и другие обвиняемые сознались в том, что установили связь с Троцким, переписывались с ним, за границей получали от его связных указания, готовили планы свержения Сталина и его помощников. Все 16 подсудимых были признаны виновными в создании террористического троцкистко-зиновьевского центра и расстреляны. В те же августовские дни прошлого года Томский покончил жизнь самоубийством. Началось следствие по делу Бухарина и Рыкова, вскоре прекращенное «за отсутствием законных оснований для предъявления обвинения». Вслед за этим был арестован Карл Радек, снят со своего поста глава НКВД Ягода и заменен Ежовым. И одновременно с этим возвращались из ссылки академики, реставраторы, архитекторы, слависты, осужденные несколько лет тому назад и отбывшие свой срок. И осенью же 1936 года разрушена Казанская церковь на Красной площади в Москве. А чуть позднее открылся VIII Чрезвычайный съезд Советов, принявший 5 декабря 1936 года новую Конституцию, которая давала всеобщее избирательное право, гарантировала свободу личности и множество других свобод... Тогда еще говорили, что над новой конституцией работала группа коммунистов во главе с Николаем Бухариным... И вот Николай Бухарин арестован, исключен из партии, та же участь постигла и другого видного деятеля государства Рыкова... Наконец газеты сообщили, что Ягода снят с должности и начато следствие за совершенные им преступления уголовного характера. Сразу попали в немилость Авербах, Киршон и вся эта группа воинствующих врагов Булгакова.

— Отрадно думать, что есть Немезида и для таких людей, — сказала Елена Сергеевна, прервав размышления Михаила Афанасьевича — Катаев сообщил мне, что Киршона забаллотировали на общемосковском собрании писателей при выборах президиума.

— Вот увидишь, — сказал Булгаков, — скоро борзописцы напишут, что Вишневский, Киршон, Афиногенов — плохие писатели, никудышные драматурги и вообще враги советской русской литературы. Назвали же Крючкова, секретаря Горького, грязным дельцом. Всезнающий Катаев рассказывал, что совсем недавно, перед этими событиями, будто бы Вишневский сказал, что мы зря потеряли такого драматурга, как Булгаков.

— Вишневский? — воскликнула Елена Сергеевна.

— И что Киршон тоже будто бы сказал, что время показало, что «Турбины» — хорошая пьеса.

— Свежо предание... Ведь они — главные зачинщики травли, сколько бед они нам принесли, а теперь виляют. Видно, действительно что-то серьезное происходит наверху. А ты читал сообщение в «Вечерке» о том, что МХАТ заключил договор с Парижем?

— О «Турбиных», конечно, ни слова? — с надеждой спросил Булгаков.

— Везут «Любовь Яровую», «Бориса Годунова», «Горячее сердце» и «Анну Каренину»...

— Все спектакли Немировича... Как же так? Марков говорил, что

будто бы Сталин горячо высказывался в пользу того, что «Турбиных надо везти в Париж...

— Но так же горячо возражал против этого Молотов, а главное против «Турбиных» Немирович. Он хочет везти только свои постановки и поэтому настаивает на «Врагах» — вместо «Турбиных».

— Что же делать? Обо всем этом, вероятно, придется писать в ЦК. Что-то надо предпринимать, выхода нет... Боюсь, что никогда не увижу Европу.

— Писать в ЦК — зря терять время, — жестко заявила Елена Сергеевна. — Ты ж недавно был у Ангарова, рассказывал ему, что сделали с твоим «Пушкиным».

— Действительно разговор был тяжкий по своей полной безрезультатности, все пытался мне указать правильную стезю, вступив на которую я добьюсь признания, успеха, заграничной поездки. Все хотят заставить меня писать так, как я писать не могу и не буду. Может, Сталину написать...

— А что это тебе даст?

— Мое положение безнадежно, совсем задавили. Надеялся на разговоры с Ангаровым, на Керженцева, но, видно, все напрасно. Не могу больше терпеть такого положения. Буду писать Сталину.

Елена Сергеевна молча согласилась и вышла по своим делам, а Михаил Афанасьевич вновь погрузился в свои раздумья.

А что писать? Что он, Булгаков, не может многое принять в окружающем его мире? Или признаться, что он не согласен с идеей коммунизма, с тактикой Советской власти, с существующими в СССР порядками? Да, он отвергает идею коммунизма и принудительной коллективизации... А что он может предложить взамен? Ясно только одно, что формы государственного строя, существовавшие в 19 веке, отжили, на смену этим формам должно придти что-то новое, более разумное, более соответствующее человеческим нормам, свободным и демократичным... Посмотришь. на Германию и ужаснешься тому, что там происходит. Фашизм подавляет инакомыслящих. Крупные писатели, ученые, инженеры, предприниматели, имевшие несчастье родиться не от тех родителей, убегают из страны, которую из поколения в поколение называли своей Родиной... Безудержный деспотизм, рабовладельческие методы управления в Германии, просто пугают. Но и коммунизм создает такую атмосферу, гнетущую, безысходную, что можно задохнуться. Да, капитализм отжил свое, на смену этому социальному строю должно было придти нечто другое. Но что? Ведь то, что возникает на территории бывшей Российской империи не казалось ему явлением здоровым, нормальным. На своей собственной судьбе он почувствовал, что невозможно существовать в мире, построенном на идее коммунизма и принудительного коллективизма. Ясно, что этот мир, не имеющий твердых опор в русской почве, когда-нибудь рухнет. Есть, видимо, третий путь — путь свободного национального развития, не скованного догматической теорией классовой борьбы, или националистическим диктатом чистокровного арийства, как в Германии. Существует ли этот третий путь? Твердо он сказать не может даже самому себе. Но может одобрить только такой путь построения государства, когда оно обеспечит ему полную свободу жить

так, как ему хочется. А хочет он всего лишь работать, писать, писать то, что ему дорого и близко, писать о том, что он лучше всего знает и понимает... И получать за свой каторжный писательский труд то, что может обеспечить ему и его близким сносные условия существования... Писать о том, что диктует ему совесть его и душа... Но нет! Окружающие его друзья и знакомые чуть ли не каждый день уговаривают его смириться, «перековаться», написать пьесу, нужную времени... Конечно, он знал историю, знал биографию Мольера, знал историю Французской революции... Каждое время по своему диктовало формы бытия, беспощадно и требовательно ломая всех протестующих против этой диктатуры времени. И многих подчиняет этот диктат. Сначала запугивает страшными карами, а потом обещает выход из драматического положения, предлагая соблазнительные жизненные блага за послушание, исполнение требований времени... Нераз близкие знакомые и друзья рассказывали о тех, кто был арестован, содержался в лагерях, униженный и оскорбленный властями, а через какое-то время приспосабливался к условиям, принимал диктат времени и работал по-ударнически... Булгаков сначала отказывался верить в этот абсурд, но ему показали лагерную «Книжку ударника», изданную ГУЛАГом НКВД СССР, и он поразился продуманной системе поощрения заблудших душ. Конечно, в книжке процитированы слова Сталина, ставшие крылатыми: «Самое замечательное в соревновании состоит в том, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд, ибо оно превращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства». Далее в книжке обещают предоставить: «Ударнику — ударные льготы.

Ударник активно участвует в рационализации и изобретательстве. Ударник — первый сигнализатор о всех попытках классового врага вредить, мешать производству и перевоспитанию всей лагерной массы.

Права ударника: 1. Правом на получение льготного зачета рабочих дней, а именно:

а) Лагернику из соцблизкой среды, не лишенному избирательных прав до ареста — при участии в культвоспитработе и выполнении 100 проц. нормы выработки, производится зачет — за 3 дня работы 4 дня срока.

б) Ударникам из лагерников, указанных в пункте «а», которые дают не менее 110 проц. нормы и участвуют активно в культвоспитработе, засчитывается за 2 дня работы 3 дня срока.

2. Правом на получение положенных товаров из ларька вне очереди и на получение особого вознаграждения товарами по талону ударника.

3. Правом на получение дополнительного премиального блюда и улучшенного питания в столовой и буфете.

4. Ударник-производственник снабжается обмундированием, постельными принадлежностями в первую очередь.

5. Правом на внеочередное пользование культурно-бытовыми учреждениями лагеря (клуб, кино и т.д.)

6. Правом на посылку двух дополнительных писем в месяц и на посылку денежных переводов сверх установленной нормы.

7. Правом на получение 1 бесплатного фотографического снимка».

Неужели никому не приходила в голову мысль, что вся эта система ударнического труда в лагере и поощрения ее — ничто иное, как еще одно подтверждение того что марксизм — это величайшая ересь Запада, навязанная насильственным путем России и русскому народу, трудолюбие которого воплощено в многочисленных пословицах и поговорках. И Булгакову вспомнились: «На Бога уповай, а без дела не бывай», «Каково руки родят, таково плеча носят», «Так работаем, что недосуг носу утереть», «Пот ключом льет, а жнец свое берет»...

О чем писать Сталину? — снова возник мучительный вопрос... О своей тяжкой беспросветной судьбе, о кладбище своих пьес, о жажде увидеть чужие страны и полюбоваться европейской цивилизацией... Но об этом он уже не раз писал или пытался писать в мыслях своих... Ничего нового он сказать не может... Уговаривать его не строить социализм-коммунизм с помощью принудительных мер, а предоставить обществу возможность свободного развития народного волеизъявления... Но об этом писали философы, экономисты, писатели... Стоит ли повторять сказанное? Ведь Николай Бердяев, насмотревшись на первые шаги Советской власти, предупреждал, что никогда не удастся социализм. Конечно, попытка построить его займет целый период русской истории, но положительный смысл этого периода будет в том, что откроются новые внутренние противоречия человеческой жизни, которые сделают невозможным осуществление тех задач, поставленных социалистическим движением. «Опыт философии человеческой судьбы» Бердяев видел в том, что социализм никогда не осуществит ни того освобождения человеческого труда, которого Маркс хотел достигнуть связыванием труда, никогда не приведет человека к богатству, не осуществит равенства, а создает лишь новую вражду между людьми, новую разобщенность и новые неслыханные формы гнета... Прав Бердяев и в том, что наиболее труден и трагичен путь свободы, потому что, поистине, нет ничего ответственнее и ничего более героического и страдальческого, чем путь свободы. Бердяев предвидел и развитие событий после революции и пророчески предсказал: «Всякий путь необходимости и принуждения — путь более легкий, менее трагический и менее героический. Вот почему человечество, в своих исторических путях, постоянно сбивается на соблазн подмены путей свободы путями принуждения...» Соблазн этот в прошлом породил историческую инквизицию, в настоящем — религию социализма с ее ЧК, ГПУ, НКВД, результаты совершенно очевидны, все происходящее в СССР основано на подмене путей свободы путями принуждения, на снятии с человека бремени трагической свободы... Разве Бердяев не предсказал нынешнюю драму истории построения социализма с ее двадцатилетней борьбой начала свободы и начала принуждения и постоянным переходом от одного начала к другому... Беда нашего времени в том, что проблема индивидуальной человеческой судьбы осталась неразрешима в пределах истории, в пределах истории оказался неразрешим трагический конфликт судьбы индивиду-

альной с судьбой мировой, с судьбой всего человечества... Какой же это социализм-коммунизм, если он уничтожает тех, кто провозгласил Октябрьский переворот Великой Социалистической Резолюцией? За эти двадцать лет на территории бывшей Российской империи возникло нечто другое, что лишь условно, следуя догматическим постулатам марксистско-ленинской теории, можно назвать социалистическим государством.. Троцкий, друг Ленина, блестящий литератор, теоретик, вождь революционного пролетариата, без жалости и сожаления уничтожавший дворянство, купечество, священников ради достижения высоких социалистических целей, объявлен врагом народа, врагом Российского государства. Теоретически и практически был повержен Сталиным, сначала сослан, а потом и выброшен из России. Но не успокоился, начал борьбу за власть в России, собирая вокруг своего имени и своих идей единомышленников, верных партийных друзей... И таким образом в России ожили идеи троцкизма, идеи реванша в борьбе за власть... Возник трагический конфликт судьбы индивидуальной с судьбой Российского государства, с судьбой всего человечества. И столкнулись разные силы, и олицетворяющий государство победил. В трагедии неизбежен катарсис. Расстреляны Зиновьев, Каменев и многие их подельники. Приговорены к высшей мере наказания Пятаков, Карл Радек, Серебряков, Сокольников и другие их подельники по «антисовететскому троцкистскому центру», шпионившие в пользу Троцкого, который ради достижения власти в России готов был отдать Германии Украину, а Японии — Дальний Восток... Арестованы связанные с осужденными нерасторжимыми узами Бухарин, Рыков, Ягода и многие другие.. А вслед за Ягодой — Авербах, Киршон, Вишневский, Афиногенов, столько лет травившие его как писателя, как человека, как гражданина. Неужели пришла судьба и для них? «Отрадно думать, что есть Немезида и для таких людей», — не раз говорила Елена Сергеевна в надежде на справедливое распределение благ среди людей и карающий меч против тех, кто преступает закон и заслуживает кары. Отрадно думать, что карающий меч Немезиды неотвратимо достанет всех палачей России, распинавшей ее во время переворота и гражданской войны.. Сколько русских офицеров дворян, богатых предпринимателей погубил Зиновьев во время своего царствования в Петрограде... А сколько русских людей погубил Ягода? А Бухарин дал теоретическое обоснование этого «красного террора». Немезида — справедливо негодующая...

В доме Булгаковых часто бывали гости, собирались, обсуждали злободневное: кто-то вернулся из ссылки, кого-то взяли, кого-то освободили, кто-то уехал за границу на какой-нибудь Конгресс, кто-то рассказал о встрече Ромен Роллана с Горьким, Сталиным... Так что Булгаковы получали разную информацию о жизни страны, о театральной и литературной жизни. И много читали, газеты, журналы, книги... Рассказывали, что на Всемирной выставке в Париже доминировала монументальная композиция «Рабочий и колхозница». А пытаясь понять сегодняшние процессы, ожесточение общества против врагов народа, самые информированные возвращались к событиям трехгодичной давности — к убийству Кирова и последовавшим за этим закрытым процессам.

— Сталин любил Кирова и очень переживал его гибель, — рассказывал один из друзей Булгаковых, имевший связи с Кремлем. — У него стояли слезы на глазах, когда он прощался с Кировым. И все самые близкие и самые высокие правители и вожди с напряжением и опаской оглядывались кругом: все ли проверены, все ли свои, только бы все закончилось благополучно. Сталин поднимается на ступеньки гроба, лицо его выражает глубокую скорбь, всхлипывают женщины, всхлипывают мужчины, весь зал рыдает, картина раздирает душу, Сталин наклоняется и целует лоб мертвого Кирова. Также горько заплакав, прощается Серго Орджоникидзе... Сталин очень страдал, рассказывали его близкие. Павел Аллилуев был у него на даче в первые дни после смерти Кирова. И когда они сидели вдвоем в столовой, Сталин подпер голову рукой и сказал: « — Осиротел я совсем». После смерти жены, Надежды Аллилуевой, Киров был самый близкий ему человек, который сумел подойти к Сталину сердечно, просто и дать ему недостающий уют, дать ему тепло человеческого общения. И после гибели Кирова Сталин ожесточился...

4.

Дни мелькали один за другим. Газеты приносили победные реляции с трудового фронта... Введен в строй Харьковский станкостроительный завод, Камский целлюлозно-бумажный комбинат, Мурманский рыбный комбинат, начато строительство Соликамского магниевого завода... О своих достижениях рапортовали наркоматы железнодорожного транспорта, торговли, оборонной промышленности... Входили в строй сотни больших и малых производственных предприятий...»Жить стало лучше, жить стало веселей», лозунг вождя, брошенный в массы год тому назад, воплощался в жизнь. Мощно, ускоренными темпами, поднималась Россия, страна под названием «СССР». С каждым днем возрастала экономическая и оборонная мощь страны, укреплялось социалистическое народовластие, провозглашены и Конституцией закреплены основные демократические права и свободы советских людей: свобода совести, слова, печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки. Но почему ж в таком случае он так беспощадно расправляется со своими бывшими товарищами и соратниками, вместе с ним делавшими эту Великую Октябрьскую революцию. Почему? Да, Булгаков знал, что Сталин любил Кирова, и убийство дорого человека могло ожесточить его сердце. Но со всех сторон посыпались вопросы как на Западе, так и внутри страны, и главный среди них: «почему руководители страны не провели публичное судопроизводство над преступниками-террористами, убийцами Кирова?» — «Да, мы поторопились... Может быть, мы тут действительно руководились чувством вспыхнувшей в нас ненависти к террористам-преступникам, — передавали слова Сталина во время его беседы с Ромэн Ролланом. — Киров был прекрасный человек. Убийцы Кирова совершили величайшее преступление. Это обстоятельство повлияло на нас. Сто человек, которых мы расстреляли, с точки зрения юридической не имели отношения к убийству. Но они

были присланы из Польши, Германии, Финляндии нашими врагами, все они были вооружены и им было дано задание совершать террористические акты против руководителей СССР. Эти сто человек и не думали отрицать своих намерений, и мы расстреляли этих господ, чтобы другим неповадно было замышлять против нас террористические акты. Мы только предупредили это злодеяние. Такова уж логика власти. Власть в подобных условиях должна быть сильной, крепкой и бесстрашной. В противном случае она — не власть и не может быть признана властью. Французские коммунары, видимо, не понимали этого, они были слишком мягки и нерешительны, за что их порицал Карл Маркс. Поэтому они и проиграли, а французские буржуа не пощадили их. Это — урок для нас. Друзья на Западе рекомендуют нам максимум мягкости к врагам, наши друзья в СССР требуют твердости, в частности, потребовали расстрела Зиновьева, Каменева и их приспешников. Этого тоже нельзя было не учитывать. Буржуа на Западе ненавидят нас, советских лидеров, хотят уничтожить, посылают через Германию, Польшу, Финляндию своих агентов, не щадя на это ни своих денег, ни других средств. Но рабочие Запада поддерживают нас, они увидели, что мы построили социализм в СССР, мы на опыте доказали, что можно построить социализм, построить такое государство, где царит труд и где трудящиеся люди пользуются невиданным почетом...»

Булгакову рассказывали, что недавно обнаружили террористические элементы в Кремле. В правительственной библиотеке работали библиотекарши, цель которых заключалась в том, чтобы содержать в порядке библиотеки кремлевских лидеров. Чекисты обнаружили, что эти женщины-библиотекарши ходили с ядом, намереваясь отравить некоторых ответственных руководителей. Их завербовали агенты буржуазии, проникшие в Советский Союз... И сколько таких фактов сообщалось в газетах, рассказывали друзья и знакомые, бывавшие в эти дни у Булгаковых.

Недавно был арестован Авель Сафронович Енукидзе, секретарь ЦИК СССР, — выведен из ЦК, исключен из партии... Булгаков так надеялся на него, подавая заявление на заграничную поездку. Не удалось... Не помогло и вмешательство друзей, лично знавших Енукидзе и хлопотавших о поездке. И что же стало известно после ареста и следствия?

— Если бы вы знали, как я презирала Енукидзе всеми фибрами души за его разложение личное, за его желание разлагать всех вокруг себя, — говорила одна из знакомых Булгакова.

Оказалось, что Авель Енукидзе был развратен и сластолюбив. Обладая огромной властью, он свил гнездо разложения, позорных нравов и быта. Должность позволяла ему колоссально влиять на наш быт, ему доставляло удовольствие заниматься сводничеством, вторгаться в семейную жизнь, разлагать все вокруг себя.

— В своих руках он имел все блага жизни, — продолжала свой рассказ знакомая Булгаковых. — Блага жизни так соблазнительны своей недоступностью для многих. Он и пользовался этим. Покупал женщин и девушек. Тошно говорить об этом, но ясно, что он был эротически ненормальным и очевидно не стопроцентным мужчиной. Он с каж-

дым годом переходил на все более и более юных девиц и, наконец, докатился до девочек в 9—11 лет, развращая их воображение, растлевая их, если не физически, то морально. Это фундамент всех безобразий, которые вокруг него происходили. Женщины, имеющие подходящих дочерей, владели всем, девочки за ненадобностью подсовывались другим мужчинам, более неустойчивым морально. В учреждение набирался штат только по половым признакам, нравившимся Авелю.

Чтоб оправдать свой разврат, он готов был поощрять его во всем — шел широко навстречу мужу, бросавшему семью, детей, или просто сводил мужа с нужной ему балериной, машинисткой и прочими... Чтоб не быть слишком на виду у партии, окружал себя беспартийными, приближал к себе друзей и знакомых из театрального мира. Под видом «доброго» благодетельствовал только тех, которые ему импонировали чувственно прямо или косвенно. Конечно, к нему проникли троцкисты, подчинили своим интересам все его ведомство... Стоило ему поставить интересную девочку или женщину, он забывал про все свои обязанности, все, что угодно, можно было около его носа разделывать... Я не верила в то, что наше государство правовое, что у нас есть справедливость, что можно где-то найти правый суд... А теперь я счастлива, что нет этого гнезда разложения... Пришла Немезида и покарала Авеля Енукидзе и всех его прихлебателей.

Булгаков много думал и над этим фактом.. .К тому же за последние месяцы его работы в Большом театре он столько узнал о личной жизни артистов и артисток, о жизни военных и политических деятелей.

Но эти размышления отходили на второй план, как только помимо его воли всплывали в памяти факты его собственной карьеры как драматурга и либреттиста... Письмо Асафьева напомнило Булгакову о печальной судьбе оперы «Минин и Пожарский». Действительно, пойдет или не пойдет «Минин»? Сначала говорили твердо, что пойдет, а теперь дразнят, что, мол, кто знает, может и пойдет. И прав Асафьев: «почему не начинают работать над постановкой оперы, если опера идет?» 15 апреля Борис Владимирович, чудесный человек, прислал Булгакову письмо, а сил ответить на него нет. Не было сил подойти к столу, а телеграммы давать бессмысленно, в ней нечего телеграфировать. Асафьев поймет его замученность и не станет сердиться на него.

1 мая 1937 года Елена Сергеевна записала в дневник: «Обедали Ермолинский и Шапошников. Ермолинский рассказал, что на собрании вытащили Млечина. Тот начал свою речь так:

— Вы здесь говорили, что я травил Булгакова. Хотите, я вам расскажу содержание его пьесы?

Но ему не дали продолжать. Экий подлец!

Предсказания М. А. оправдались. Книппер, говорят, заявила, что она уходит из Театра. А Ливанов сказал, что он вообще не будет играть, пока ему не дадут народного.

2 мая. Днем М. А. разбирал старые газеты в своей библиотеке. Вечером были у Троицких, там был муж Нины, видимо, журналист, Добраницкий, кажется, так его зовут. Рассказывал о собраниях драматургов в связи с делом Киршона.

М. А. твердо решил писать письмо о своей писательской судьбе. Дальше так жить нельзя. Он занимается пожиранием самого себя.

3 мая. М. А. весь день пролежал в постели; чувствует себя плохо, ночь не спал. Такие вечера действуют на него плохо: один пристает, почему М. А. не ходит на собрания писателей, другой — почему М. А. пишет не то, что нужно, третья — откуда М. А. достал экземпляр «Белой гвардии», вышедшей в Париже...»

Все эти дни Булгакова терзали не столько физические боли, сколько нравственные. В разговорах с друзьями и знакомыми много говорилось о драматических событиях в театральной жизни... Может зря он бросил писать свои «Записки покойника», может, продолжить этот театральный роман... Уж очень колоритны реальные действующие лица, послужившие прототипами его литературных героев. Особенно сейчас, когда происходят столь бурные драматические события в стране и в театрах. С одной стороны, показать оглушительный успех «Анны Карениной», награждение Театра орденом Ленина, а блистательных Хмелева, Добронравова, Аллу Тарасову — званием народных артистов СССР; показать в ложе Театра Сталина и Молотова, смотревших недавно Анну Каренину и споривших между собой о том, что везти Театру в Париж, Сталин был будто бы за то, чтобы везти «Дни Турбиных», а Молотов возражал; показать Немировича, хвалившего два последних акта «Большого дня», когда Киршон представлял эту пьесу в МХАТ, а теперь, когда во всех газетах отзываются дурно о Киршоне и его пьесах, когда и МХАТ упрекают за то, что Киршон хозяйничал в литературе и главным образом в драматургии, диктовал репертуар в театрах... Что говорит сейчас Немирович? Разве это не тема для писателя-историка современных событий? Тем более это интересно для Булгакова, хорошо знавшего, что Немирович сначала хвалил постановку «Дней Турбиных», а потом находил в ней недостатки, а сейчас отказался везти «Турбиных» в Париж... Колоритная фигура для театрального романа, здесь много трагического, иронического и просто комического, а с другой стороны, разве можно обойти в этом романе арест директора Большого Театра В. И. Мутных и связанные в связи с этим волнения в театре. Естественно, поползли самые чудовищные слухи, одни знакомые говорили одно, другие — противоположное... Но как это отразится на судьбе дорогого Якова Леонтьевича Леонтьева? Ведь Мутных взял его в свои замы как раз тогда, когда Станиславский выгнал его из Театра... И что теперь будет в Большом? Будущее и так беспросветно, а тут эти страшные события... Вряд ли возможно коснуться этих событий в современном романе... Столько неизвестного таится в каждом подобном факте, а верхоглядство не для него, пусть строчат об этих событиях такие борзописцы, как Михаил Кольцов и ему подобные. А Булгаков лучше промолчит, а не пойдет на поводу у диктующих событий... Недавно шли с Еленой Сергеевной по Газетному, догоняет их Олеша, который всегда был в курсе всех событий. И тут же предложил Булгакову пойти на собрание московских драматургов и выступить против Киршона. Ведь Киршон был действительно главным организатором травли Булгакова? Это-то правда. Но , во-первых, разве только Киршон травил Булгакова, во-вторых, он просто по этическим соображениям не пойдет на это

собрание, в-третьих, по тем же соображениям он не стал бы выступать, тем более, что он заранее знает, что раздирать на части Киршона будут главным образом те, кто еще несколько дней тому назад подхалимствовал перед ним .. Об этом тоже бы надобно написать в романе... Да и сколько вообще интересных событий происходит в окружающей его жизни, все так и просится в роман... Какая склока развернулась в Театре, как только его наградили орденом .. Не удостоенные звания народного артиста СССР тут же заявили, что уходят из театра, разразился подлинный скандал, о котором, само собой, было доложено в соответствующие инстанции... Скандал был потушен очень быстро: Книппер и Тарханов получили звание народного артиста СССР, Шевченко — народная артистка РСФСР, пять артистов получили ордена Ленина, масса — Трудовое Знамя, много — Орден Почета. Выплакали, или вернее — выскандалили. Но, можетбыть, это единственный путь, чтобы обратить на себя внимание? Может, зря он уничтожил письмо Сталину, почти законченное в черновом варианте? Пожалуй, в эти дни надо поработать над письмом Правительству...

Булгаков подошел к столу, взял белый лист бумаги, даже набросал первые фразы, но вскоре яростно разорвал написанное... Нет! Больше он не будет писать Правительству, оно и без его писем все отлично знает .. Но и роман, тем более театральный, он писать не будет, уж очень узнаваемы персонажи... И он вспомнил, как совсем недавно он читал главу из романа Были в гостях Качалов, Литовцева, Виленкин , Сахновский с женой, Ермолинский, Вильямсы, Шебалин, Мелик-Пашаев с женой. Слушали и смеялись, а потом загрустили: уж очень все узнаваемо... И как только он начал читать о том, что Комаров смеется странным смешком, тут же вошел опоздавший Павел Марков; увидев его, все засмеялись, засмеялся и Марков своим кудахтающим смехом. Получилось забавно, как сказала Елена Сергеевна, когда они остались одни, но он-то понял, почему так скучно прошел ужин. Елена Сергеевна объясняет это тем, что Качалову и Сахновскому не давали пить. Конечно, это стесняло других, но причина разлившейся скуки в том, что мхатчики как-то были ошарашены тем, что их Театр стал местом действия художественного произведения, а они сами его персонажами. И что еще Булгаков про них напишет с его острым ироническим пером...

Рассказывали, что Станиславский взбешен успехом «Анны Карениной», а Немирович празднует свою победу, подчеркивая новаторство своей новой постановки. Станиславский будто бы сказал: «Театр надо закрыть года на два, чтобы актеров выучить его системе». Михаил Афанасьевич тогда в шутку сказал: «— Эх, не знаете вы, что вам делать дальше. Я бы мог такую инсценировочку указать, что вы будете наградами засыпаны!» Конечно, никакой инсценировки у него не было, просто хотелось поддразнить Ольгу и Федю Калужского, ведь зная заранее, что об этой «инсценировочке» тут же будет доложено Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. И что же? Через несколько дней позвонила Ольга и рассказала: «— Владимир Иванович, ломает голову над юбилейной постановкой. Помнит ли Мака, что МХАТу в следующем году — 40 лет? Ведь Мака делал инсценировку «Войны и мира»? Владимир Иванович ее не читал, хочет прочесть... Я сказала,

что Булгаков не придет в Театр с предложением своей пьесы, а Вы не пойдете к нему... А Немирович ответил: нет, отчего же, я пойду .. Так вот официально от имени Владимира Ивановича спрашиваю — согласен ли Мака работать?

Елена Сергеевна в точности передала этот разговор, а Булгаков попросил передать тоже вполне официально, что после разгрома «Бега», «Мольера», «Пушкина» он больше для драматического театра писать не будет, инсценировка же «Войны и мира» неудачная, сделана для одного вечера, а «Войну и мир» в спектакль одного вечера уместить невозможно...

В эти дни возникла маленькая надежда на улучшение своего положения, когда узнал, что в Большой театр звонил Керженцев, разыскивал Булгакова. Потом дважды звонил Леонтьеву с просьбой разыскать Михаила Афанасьевича. Леонтьев, разыскав Булгакова, пообещал.

«— Разговор будет хороший».

А 9 мая Едена Сергеевна записала в дневник: «Ну, что ж, разговор хороший, а толку никакого. Весь разговор свелся к тому, что Керженцев самым задушевным образом расспрашивал: «— Как вы живете? Как здоровье, над чем работаете?» — и все в таком роде.

М. А. говорил, что после всего разрушения, произведенного над его пьесами, вообще сейчас работать не может, чувствует себя подавленно и скверно. Мучительно думает над вопросом о своем будущем. Хочет выяснить свое положение.

На все это Керженцев еще более ласково уверял, что все это ничего, что вот те пьесы не подошли, а вот теперь надо написать новую пьесу, и все будет хорошо.

Про «Минина» сказал, что он его не читал еще, что пусть Большой даст ему. А «Минин» написан чуть ли не год назад, и уже музыка давно написана!

Словом — чепуха.

Вечером у нас Вильямсы и Шебалин. М. А. читал первые главы своего романа о Христе и дьяволе. Понравилось им бесконечно, они просят, чтобы 11-го придти к ним и читать дальше.

Петя сказал, что М. А. предложат писать либретто на музыку Глинки («Жизнь за царя»). Это — после того, — как М. А. написал «Минина»!

Это была тревожная весть. И Булгаков, собравшись с силами, на следующий же день продиктовал Елене Сергеевне письмо Асафьеву: «На горизонте возник новый фактор, это — «Иван Сусанин», о котором упорно заговаривают в театре. Если его двинут, — надо смотреть правде в глаза, — тогда «Минин» не пойдет. «Минин» сейчас в репертkоме, Керженцев вчера говорил со мной по телефону, и выяснилось, что он не читал окончательного варианта либретто.

Вчера ему послали из Большого экземпляр... Приезжайте для разговора с Керженцевым и Самосудом...»

Скорее всего «Жизнь за царя» «двинули», действительно прекрасная патриотическая опера, как раз то ,что нужно было времени. И

снова Булгаков, не найдя понимания у Керженцева, начал работать над письмом Сталину.

14 мая попросил разрешения придти журналист Добраницкий. Пришел в 10 часов вечера. Михаилу Афанасьевичу нездоровилось, извинился, что не может подняться и остался в постели. Настроение было отвратительное, письмо Сталину не получалось, никак не находились нужные слова, а главное — тон.

Добраницкий словно подслушал о разговорах в этой квартире.

— Михаил Афанасьевич, у меня есть поручение от одного очень ответственного товарища переговорить с вами по поводу вашей работы, узнать ваше настроение и заверить вас, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку... Теперь точно выяснилось, что вся эта сволочь в лице Киршона, Афиногенова, Авербаха и других специально дискредитировала вас, чтобы уничтожить, иначе они не могли бы существовать как драматурги и писатели... Вы — лучший драматург, вы очень ценны для республики...

«Сейчас заговорит, чтобы я написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу, или чуть потопчется вокруг моего имени, раскуривая начатый фимиам?» — горько размышлял Булгаков, всматриваясь в этого толкового журналиста.

— Киршона, Литовского, Афиногенова мы выкорчевываем, это не так просто... Но надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт...

— «Вот-вот началось, уже мы оказались на общем драматургическом фронте», — мелькнуло у Булгакова.

— Ведь у нас с вами оказались общие враги и, кроме того, есть общая тема — Родина. Вот увидите, в самое ближайшее время на культурном фронте произойдут большие перемены.

Добраницкий пообещал помогать в работе, он может достать любые книги, необходимые Булгакову для будущей работы.

На следующий день пришел Дмитриев. Елена Сергеевна всегда радовались приезду этого талантливого гостя. И любила слушать их разговоры. «Оба острые, ядовитые, остроумные», — думала она в эти минуты.

И на этот раз Дмитриев ошеломил:

— Пишите агитационную пьесу!

— Скажите, кто вас подослал? — спросил Булгаков, улыбаясь.

— Довольно! — заговорил Владимир Владимирович серьезно. — Вы ведь государство в государстве! Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один Вы остались. Это глупо!

И долго еще крутилась все одна и та же тема. Да, решил Булгаков, надо обращаться наверх.

5.

Потрясающие, новости следовали одна за другой. Самоубийство начальника политуправления Красной Армии Гамарника. Арестованы Гухачевский, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков, Путна, Якир. Состоявшийся скорый суд всех приговорил к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение на следующий день после приговора. Последовали аресты среди высшего командного состава... Во многих учреждениях, в том числе и театрах, происходили митинги, на которых принимали резолюции, требовали высшей меры наказания для изменников.

Неожиданно для всех рухнул всесильный директор МХАТа Аркадьев. Еще вчера он уверенно давал интервью «Правде» о поездке в Париж, а на следующий день в той же «Правде» дано потрясающее сообщение — Аркадьев уволен из Театра «за повторную ложную информацию о гастролях в Париже и репертуаре» и «за прямое нарушение решений правительства».

И радостное событие — Литовский уволен с поста председателя Главреперткома. Карающий меч Немезиды вновь ударил по врагам Булгакова. Может, что-то изменится и в его судьбе?

Озадачила статья в «Правде» «Профессор — насильник-садист». Рассказывалась какая-то чудовищная история о профессоре Плетневе: будто бы года два тому назад профессор, принимая пациентку, укусил ее за грудь, развилась какая-то неизлечимая болезнь. Пациентка начала судебное преследование профессора. «Бред какой-то», — так оценила это сообщение Елена Сергеевна, записывая об этом в дневник.

Порадовались за Мелик-Пашаева, награжденного орденом Трудового Знамени, и за Якова Леонтьева, которому дали Знак Почета.

Много сил и времени отнимала работа в Большом театре. Булгакову приходилось читать, редактировать, а порой и просто переписывать оперные либретто. И чаще возникало недоумение... Вот, например, прочитал он либретто «Арсен»... Дал отрицательный отзыв. Звонит Самосуд, приглашает поговорить об «Арсене». В ходе разговора оказалось, что уже подписан договор на либретто. «Так зачем давать на отзыв? — недоумевал Булгаков. Или все тот же Самосуд прислал к нему Соловьева-Седого с началом оперы. Булгаков провозился с ним не один час, а вечером рассказывал Елене Сергеевне:

— Соловьев — бесспорно талантлив, мелодичен, быстро схватывает то, что я мог ему подсказать. Но я был бессилен, чем-либо ему помочь. Нет либретто, какие-то обрывки, конечно, из колхозной жизни и жизни пограничников. Самосуд предлагает мне написать либретто, а у Соловьева-Седого уже есть либреттист в Ленинграде. Соловьев просит: «— Вы пишите, Михаил Афанасьевич!» А я ему отвечаю: «Что писать, Василий Павлович? Откуда я знаю, что дальше произошло? А главное, куда девать вашего соавтора, живущего в Ленинграде и уже представившего вот эти наброски либретто. Ведь вы уже с ним обвенчаны!» Конечно, Василий Павлович расстроен, видно же, что со мной работать ему больше по душе. Пришлось его упокоить. «— Вы пишите с Воиновым, как вы начали, — говорю ему. — А когда у вас будет сценарий, я вам помогу, посоветую, не входя в вашу работу в качестве соавтора». Вроде бы удалось его успокоить.

— А ты читал, — спросила Елена Сергеевна, — что Киршон, Лернер, Санникова, Городецкий привлечены к уголовной ответственности за их деятельность в Управлении авторских прав?

— Да, читал, но знаешь, даже это вроде бы приятное сообщение не обрадовало меня. Ужасное настроение. Что-то происходит со

мной, те же ощущения, как будто мне снова отказали в заграничной поездке. Помнишь? Тогда я стал бояться ходить по улицам один, и ты провожала меня в Театр, а потом отводила обратно домой... Что-то страшно мне...

— Не паникуй... Время вроде бы поворачивает в твою сторону. С кем ни встретишься — все об одном: «Теперь со всеми событиями в литературной среде положение Булгакова должно измениться к лучшему!

— И не жди! Не будет этого... Помнишь встречу в арбатском переулке с журналистом Перельманом? Он тоже заговорил о том, что мое положение сейчас изменится к лучшему, потому что я не продал себя и не участвовал во всей этой кутерьме. И тут же задал вопрос: «Сколько вы получаете от «Турбиных» и «Мертвых душ»... Ну можно ли с такими людьми ждать чего-нибудь хорошего. Если б ты знала, как убивают меня встречи с такими людьми.

— А я все-таки жду хорошего! — твердо сказала Елена Сергеевна. — Недавно я разговаривала с Яковом Леонтьевичем. У него был разговор с Керженцевым о тебе и, между прочим, о «Турбиных». О том, что их можно бы теперь разрешить по Союзу. Керженцев может это разрешить. Но все-таки Яков посоветовал сходить к нему и поговорить с ним о всех своих литературных делах, о запрещениях пьес, спросить — почему «Турбины» могут идти только во МХАТе?

— Никуда я не пойду. Ни о чем просить не буду. Никакие разговоры не помогут разрешишь то невыносимо тягостное положение, в котором мы оказались. Представляешь, сегодня раздался телефонный звонок. Адриан Пиотровский заказывает из Ленинграда сценарий. Сначала я отказался, но потом из любопытства спросил: «— На какую тему?» — «Антирелигиозную!» А ты говоришь, что что-то изменилось.

— В газетах сообщение — Афиногенова исключили из партии...

Заметив, что Михаил Афанасьевич слабо отреагировал на ее сообщение, Елена Сергеевна продолжала:

— Звонила Оля и сказала буквально следующее: «Думаю, что вам будет интересно услышать: сейчас на активе МХАТ Рафалович в своем выступлении говорил о том, что «вот какая вредная организация была РАПП, какие типы в ней орудовали ...вот что они сделали, например: затравили, задушили Булгакова, так что он вместо того, чтобы быть сейчас во МХАТе, писать пьесы, — находится в Большом театре и пишет оперные либретто... Булгаков и Смидович написали хорошую пьесу о Пушкине, а эта компания потопила пьесу и позволила себе в прессе называть Булгакова и Смидовича драмоделами». Так что думаю, продолжает Ольга, сейчас будет сильный поворот в пользу Маки. Советую ему — пусть поскорей пишет пьесу о Фрунзе!»

— Нет! Либретто не буду переделывать в пьесу! — словно отрезал Булгаков.

Лето 1937 года стояло жаркое. В самые жаркие дни отправлялись на пароходе в Кунцево, купались, загорали. Хотя вода была еще холодной и грязной, но домой возвращались довольные. Бывали и на Москве-реке, в Серебряном Бору, в Филях. А по вечерам Михаил

Афанасьевич работал. Прежде всего занимала плановая работа — либретто оперы «Петр Великий». Редко с кем делился этим замыслом, наученный горьким опытом.

«Как бы уберечь эту тему?» — думал Булгаков в эти минуты, читая книги об эпохе Петра, делая выписки. — Чтобы не вышло, как с Пугачевым». Михаила Афанасьевича давно привлекала эта сложная, противоречивая, трагическая фигура. Рассказал Самосуду, который тут же отверг эту тему. И что же? Вскоре после этого доверительного, как казалось Михаилу Афанасьевичу, разговора, он узнал, что оперу о Пугачеве будет писать Дзержинский со своим братом-либреттистом. Понять Самосуда можно... Иван Дзержинский — молод, популярен, стал восходящей звездой после постановки оперы «Тихий Дон» по роману Шолохова. А сейчас постановкой «Поднятой целины», кажется, весь Большой театр занят, говорят, за этим наблюдают самые высокие правители Советского Союза. Не раз уже приходили и к Булгакову с либретто «Поднятой целины». Что-то приходилось поправлять, братьям Дзержинским не удалось передать сложнейший творческий замысел романа, многое выходило примитивно, прямолинейно, упрощенно. Агитационная опера получалась, но, видно, как раз то, что нужно было времени. Булгаков бывал и на репетиции «Поднятой целины», все шло к успешному завершению. Как вдруг к Булгакову подошел Мордвинов, постановщик оперы, и заявил: «В «Поднятой целине» нет финала, помогите.» Пришлось еще раз ехать в театр и помогать с финалом.

Как всегда в это время года, много разговоров возникало о летнем отдыхе. Но замучило хроническое безденежье Вахтанговцы предложили делать инсценировку «Милого друга» или по «Нана». «А может, Михаил Афанасьевич возьмет что-нибудь из Бальзака?» — спрашивали вахтанговцы. Не хотелось бы заниматься этими «мелочами»... Ачто делать? Придется взяться за инсценировку из-за денег. Может, удастся уехать куда-нибудь летом отдохнуть? Но перечитав все эти произведения, Булгаков понял, что Мопассан и Золя не для советской сцены, а Бальзак скучен. Но вахтанговцы не отставали и предложили Михаилу Афанасьевичу делать инсценировку по «Дон Кихоту». Дирекция в курсе, немедленно готова заключить договор, но и от инсценировку романа «Нана» они не отступятся. Елена Сергеевна тут же записала в свой дневник: «Взбесились они, что ли?» Пусть тешат себя надеждами... Перечитал «Дон Кихот», еще раз убедился в ее гениальности... Но как только согласился заключить договор на «Дон Кихота», так сразу началась обычная волынка. Е. Н. Ванеева согласна заключить договор, но сначала посоветуется с Комитетом искусств. Как всегда, Булгаковы поверили в лучший исход, начали размышлять, куда поехать, если получат деньги, в Крым или Одессу...

Через несколько дней началось отрезвление... Ванеева говорила в Комитете искусств с Боярским: тема для Комитета оказалась неожиданной, так быстро этот вопрос они решить не могут, надо посоветоваться. И поэтому подписание договора придется отложить до осени, дескать, она не может подписать договор без коллектива.

— Собачья чепуха какая-то, — сказал Булгаков, выслушав невнятные оправдания Ванеевой. — Ничего нельзя понять. Ее крыли на ак-

тиве за что-то, понятно, самостоятельность ее сломана, она перепугана. Ясно одно — она трясется за себя и не смеет сделать ни одного решительного шага. Так что о летнем отдыхе нечего и думать. Денег нет и не предвидится.

Михаил Афанасьевич никак не мог привыкнуть к этим ударам судьбы, хотя столько уж раз испытал их силу.

И снова вернулся к начатой работе над «Петром Великим». Очень надеялся, что Владимир Дмитриев привезет из Питера обещанный им дневник Берхгольца, самый интересный материал для «Петра», но забыл на столе Пришлось искать по всей Москве...

С летним отдыхом неожиданно все решилось. Не имей, как говорится, сто рублей, а имей сто друзей. Как и раньше, в доме Булгаковых бывало много друзей, знакомых, бывали журналисты, писатели, актеры, художники, композиторы, дирижеры...

Несмотря на безденежье, жили широко, хлебосольно. По дневнику Елены Сергеевны можно узнать, что в доме Булгаковых часто бывали Топленинов, Добраницкий, Владимир Дмитриев, Мелик-Пашаев, Яков Леонтьев, Вильямсы, Ольга и Федор Калужские, Анна Ахматова, Куза, Соловьев-Седой, Анна Толстая и Патя Попов, Николай Эрдман...

Однажды ужинали у Булгаковых Вильямсы и Григорий Конский, артист МХАТа. Много разговаривали, шутили, смеялись. Зашел разговор и о печальной судьбе Булгакова, как драматурга, столько написано, а ничего, кроме «Турбиных», не идет.

— Скоро могут и «Турбиных» снять, — сказал Булгаков.

Собравшиеся с удивлением посмотрели на него.

— Как-то вышли в город и тут же встретили в Гагаринском переулке Эммануила Жуховицкого, — заговорила Елена Сергеевна. — Обрадовался ,говорил, что очень обижен нами, что мы его изъяли, спрашивал, когда он может придти. Договорились, но пришел, конечно, с большим опозданием и почему-то злой и расстроенный, потрепали его здорово в его учреждении, но мы-то здесь причем... Естественно, тут же возник вопрос о положении Михаила Афанасьевича в сегодняшнем мире. Тут же посыпались угрозы, что снимут и «Турбиных», если Мака не напишет агитационной пьесы. Михаил Афанасьевич тут же его успокоил: «— Ну, я люстру продам». Потом стал расспрашивать о «Пушкине»: почему, как и кем была снята пьеса? Потом о «Зойкиной» в Париже: что и как? Сказали, что уже давно не имеем известий

— Мне этот господин внушает подозрение: тот ли он, за кого себя выдает, — словно вскользь обронил Булгаков. — Расспросы, вранье, провокационные вопросы. Уж очень все это похоже на то, что он мог быть кем-то подослан. Правда, мне становилось все это скучно выслушивать, я уходил к себе в комнату, брал бинокль и наблюдал луну, как раз стояло полнолуние.

— Это для романа, — уточнила Елена Сергеевна.

— Гриша! — неожиданно воскликнул Булгаков. — Как вы думаете, сколько времени может играть радио, если его включить и не выключить?

— Не знаю, Михаил Афанасьевич.

— Это зависит от того, какой приемник. Может, и месяц, может два, а может быть, и дольше. А что? — спросил Петр Владимирович Вильямс. — Купить хотите приемник?

— Да нет, не покупаю... Дело в том, что соседи, которые живут у меня за стеной, в соседней квартире, уехали на зимовку, дома никого не осталось, квартиру опечатали, а они забыли выключить радио. Вот оно и бушует целые сутки, утром и вечером.

— И вы что? На все лето остаетесь в Москве? — сочувственно спросил Григорий Конский.

— Хотели в Крым или Одессу, но денег не достали, — сказала Елена Сергеевна.

— Едем в Житомир, к Степунам. У них там маленькая усадебка. Можно задешево получить полный пансион, есть купанье.

Тут же позвонили Степунам.

— Степун обрадовался, — сообщил Конский. — Говорит, что постарается все наладить так, чтобы Михаил Афанасьевич мог хорошо отдохнуть и поработать.

— Столько книг нужно везти для работы, — сказал Михаил Афанасьевич. — А каждая из них — пуд... Не знаю, не знаю, как быть...

Невозможно везти все материалы, а без них ничего не получится.

— Через несколько дней дадим Степунам окончательный ответ.

— Денег-то все равно нет, — не сдавался Булгаков.

— Денег займем у Екатерины Ивановны. Возьмем у нее 1200 рублей — как раз за двоих, — успокоила Елена Сергеевна.

Все эти дни до отъезда в Житомир Булгаков работал над «Петром». Действительно заняли деньги у Екатерины Ивановны, гувернантки Сережи Шиловского, дали телеграмму Степунам, Гриша Конский прислал обстоятельное письмо: в Житомире очень хорошо и Булгаковых все ждут.

Заказали билеты. Перед отъездом узнали поразившую их новость: арестован некогда всесильный М. П. Аркадьев.

14 августа 1937 года Елена Сергеевна записала в дневнике: «Сегодня вернулись из Житомира. Прасковья оглушила сообщением, что у Сережки аппендицит. Была страшная суматоха, возили врача на дачу. Спасибо Якову Леонтьевичу — дал машину, достал доктора. Исключительные люди Леонтьевы!

На столе — счета. И как всегда — какая-нибудь ерунда при приезде. Лежит безграмотная открытка о том, что будто бы не уплачены взносы по соцстраху — угроза прокурором. М. А-чу — письмо из Бюро драмсекции с вопросом, как подвигается его работа над пьесой к 20-летию. Вопроса — пишет ли он вообще эту пьесу — даже не поставлено.

Разбиты вдребезги — не спали две ночи в поезде.

Прасковья сообщила, что писатель Клычков, — который живет в нашем доме, арестован. Не знаю Клычкова.

Позвонил Сергей Ермолинский, очень обрадовался приезду нашему.

Какой чудесный Киев — яркий, радостный. По дороге к Степунам мы были там несколько часов, поднимались на Владимирскую горку, мою любимую. А на обратном пути прожили больше недели.

Вечером пошли к Леонтьевым на часок — поблагодарить за их участие к Сережке.

Жизнь в Богунье поначалу была прелестна. Места там очень красивые, купались. Поначалу — кормили. Хотя Гриша Конский, который сидел около меня за столом, всегда говорил громко: вкусно́, но мало́ (окая), или «мало́, но вкусно́».

Но потом, так как приехала масса родственников — бесплатных, а платных было очень мало людей — перешли на голодный паек. М. А. не вытерпел, и пища при этом пресная, а он привык к острой (да и вообще, про наш стол М. А. всегда говорит, что у нас лучший трактир во всей Москве) — мы начали с ним через день ходить пешком в Житомир за закусками, приносили сыр, колбасы, икру, ветчину, ну, конечно, масло — хлеб, водку тоже. И таким образом — М. А. по большей части не ходил ужинать, есть эти все лапшевники, а питался дома. Но потом надоело нам, и мы через три недели уехали.»

15 августа Елена Сергеевна записала: «...В городе слухи о писательских арестах Какой-то Зарудин, Зарубин, потом Бруго Ясенский, Иван Катаев, еще кто-то».

А весть об аресте Бухова Елена Сергеевна встретила сдержанно: «Он на меня всегда производил мерзкое впечатление».

16 августа Михаил Афанасьевич продиктовал Елене Сергеевне письма в драмсекцию с просьбой похлопотать о квартире в Лаврушинском переулке и авансе во Всероскомдраме: в доме действительно нет ни копейки.

Арестован Аннаров, сыгравший очень вредную роль в судьбе «Ивана Васильевича» и «Минина».

«Добраницкий очень упорно предсказывает, что судьба М. А. изменится сейчас к лучшему, а М. А. так же упорно в это не верит. Добраницкий:

— А вы не жалеете, что в вашем разговоре 1930-го года со Сталиным вы не сказали, что хотите уехать?

— Это я вас могу спросить, жалеть ли мне или нет. Если вы говорите, что писатели немеют на чужбине, то мне не все ли равно, где быть немым — на родине или на чужбине», — записывала Елена Сергеевна 20 августа 1937 года.

В последующих записях Елена Сергеевна дала точные характеристики Самосуду, Добраницкому, отметила появление у них в доме Гриши Конского, вспоминали смешные истории из летней жизни в предместье Житомира. В Большом театре — тревога: что-то не выходило с «Поднятой целиной».

29 августа последовала запись: «Вечером Мордвинов вызвал М. А. на совещание по поводу «Поднятой целины».

Поразительно — совещание назначено на одиннадцать часов вечера в гостинице «Москва». Самосуда вызвали из номера. А братья Дзержинские появились: Иван в половине первого ночи, а брат его либреттист еще позже. Этот самый либреттист очень испугался, увидев М. А Зачем? Самосуд шепотом ему объяснил, что Булгаков — консультант ГАБТ. Услышав фамилию — Булгаков — поэт Чуркин, который тоже был при этом, подошел к М. А. и спросил:

— Скажите, вот был когда-то писатель Булгаков, так Вы его...

— А что он написал? Вы про которого Булгакова говорите? -- спросил М. А.

— Да я его книжку читал... его пресса очень ругала.

— А пьес у него не было?

— Да, была пьеса, «Дни Турбиных».

-Это я, — говорит М. А.

Чуркин выпучил, глаза.

— Позвольте!! Вы даже не были в попутчиках! Вы были еще хуже!...

— Ну, что может быть хуже попутчиков, — ответил М. А.

По Москве пошел слух, что арестован бывший председатель ВОКСа Аросев. Про арест Абрама Эфроса сначала не поверили, уж очень много было вранья. Аресту Литовского тоже не поверили: «Ну, уж это было бы слишком хорошо». И действительно радость была преждевременной: приехавший через несколько дней после этого слуха Дмитриев сообщил, что видел в Ленинграде Литовского живого и невредимого.

В театральной среде много было разговоров о гастрольной поездке мхатчиков в Париж. МХАТ не произвел такого впечатления, на который рассчитывали... Даже про Аллу Тарасову парижские газеты писали, что она похожа на «дебелую марсельянку». Ливанов скандалил, Хмелев пытался говорить по-французски, но ни один француз его так и не понял. Федор Калужский до полусмерти напивался, некоторые актрисы нарядились в ночные рубашки, считая, что это — вечерние платья. У Добраницкого — перелом ноги. Ездили навещать... Но все эти встречи, пересуды, разговоры отошли на десятый план, как только Булгаков получил письмо Керженцева о либретто «Петр Великий». Десять пунктов Керженцева перечеркивали всю многодневную работу Булгакова.

23 сентября 1937 года Елена Сергеевна записала: « Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить?

Ничего нельзя сделать. Безвыходное положение.

Поехали днем на речном трамвае — успокаивает нервы. Погода прекрасная.

Вечером М. А. на репетиции «Поднятой целины». До часу ночи помогал выправлять текст. Из театра привезли его на машине. С головной болью».

6.

Тревожно было в мире. Гитлер не скрывал своих агрессивных планов. Франция и СССР заключили договор, который мог бы сыграть большую роль в организации коллективной безопасности. Заключен был договор и с Чехословакией. Это были определенные шаги по укреплению всеобщего мира. Но обострилось положение на Востоке: Япония напала на Китай. СССР предложил всем заинтересованным странам заключить региональный тихоокеанский пакт при участии США, СССР, Китая и Японии. Но тут же возник вопрос о привлече-

нии к этому пакту Англии, Франции и Голландии. Но вскоре выяснилось, что Англия заинтересована в усилении Японии против США. США приняли вызов Японии — и на каждый японский корабль строили три. А Китай отделывался общими фразами. Рузвельт сказал советскому послу Трояновскому в конце июня 1937 года, что «пактам веры нет», только сильный военно-морской флот может быть сдерживающей гарантией против японской агрессии. Таким образом, ведущие страны мира не смогли договориться о коллективной безопасности как на Западе, так и на Востоке. Гитлер объявил всеобщую воинскую повинность. Чрезвычайная сессия Лиги наций оказалась бессильной что-либо противопоставить агрессору. Вопрос о переделе мира остро встал в повестку дня.

Булгаков внимательно следил за развитием международных событий...

Тревога и неуверенность в завтрашнем дне прочно вошли в жизнь Булгакова, все чаще беспокоили его душу. Он не оставлял надежду на положительное вмешательство верховных властителей, не раз вспоминал свой разговор со Сталиным, не раз брался за перо и набрасывал первые слова обращения к Генеральному секретарю, но тут же руки опускались, лишь мысли лихорадочно бежали одна за другой, так и не получая своего словесного оформления... Но что же предпринять?

Арестованы Киршон, Борис Пильняк, Добраницкий, снят с должности Бубнов, нарком просвещения РСФСР... Кто следующий?..

По Москве по-прежнему ползли зловещие слухи... Снят наркомвнешторг Розенгольц... С каждым днем увеличивалось число предателей, врагов народа, их обнаружили в Грузии, Армении, Узбекистане, Ленинграде, Смоленске... Вспоминались события Великой Французской революции и Парижской Коммуны: и в те времена вожди тоже были разоблачены как враги народа и уничтожены... Борьба за власть возрождала испытанные и проверенные временем принципы и методы установления личной диктатуры или имперской формы правления государством.

То, что арестован Киршон, Булгакова не опечалило, столько зла и различных гадостей привнес этот человек со своими единомышленниками в его жизнь. Но Борис Пильняк... Очень часто в конце 20-х годов их имена подвергались разносу в одних и тех же статьях и выступлениях. Особенно после того, как Пильняк опубликовал «Красное дерево» в Берлине и «Повесть непогашенной луны».

Потом судьба разделила их, пути их разошлись, хотя Булгаков продолжал внимательно следить за событиями, связанными с судьбой Бориса Пильняка. Совсем недавно какое-то странное предчувствие кольнуло в сердце Булгакова: в «Правде» В. Кирпотин, не раз ругавший и Булгакова, вспомнил, что тему «Повести непогашенной луны» Пильняку подсказал Александр Воронский, а ведь всем к тому времени было известно, что знаменитый критик и редактор уже арестован как троцкист, и эта критическая статья многими воспринималась как донос. И после этого как по команде и другие критики словно проснулись, возобновив свою планомерную травлю. А ведь Пильняк — певец Великого Октября, социалистической ломки в России. Он хорошо начинал. Честно, прямо, правдиво писал, что он признает рево-

люцию, но он против тех, кто пишет о революции и ее достижениях «в тоне неприятного бахвальства и самохвальства»; он открыто говорил, что он не коммунист, не будет писать по коммунистически, но вместе с тем признавал, что коммунистическая власть в России определена ее историческими судьбами, что он с коммунистами, потому что коммунисты с Россией... Признавался, что он должен быть абсолютно объективен, «не лить ни на чью мельницу, никого не морочить». И действительно «Повесть непогашенной луны» и «Красное дерево» — честные и правдивые вещи, но беда в том, что потом, когда поднялся критический визг на страницах чуть ли не всех советских газет, он перепугался, начал оправдываться, много каялся, признавался в своих ошибках, клялся исправиться и написать нужную народу вещь.

Написал роман «Волга впадает в Каспийское море», книгу очерков «Таджикистан — седьмая советская», а год тому назад вышел его новый роман «Созревание плодов»... Казалось бы, сделал все, чтобы доказать, что он «исправился», показал успехи социалистического строительства и непременную перековку человеческого материала под влиянием новой идеологии. Пильняк был в Японии, Америке. Говорят, что его книгу «О' кей, американский роман» с похвалой читали Сталин, Молотов и другие члены политбюро. В чем же он провинился перед советской властью? Вспомнили его фразу, ставшую крылатой: «Приказами литературу не создашь»? А как злободневно звучат его слова: « Беру газеты и книги, и первое, что в них поражает — ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что это? — массовый психоз, болезнь, слепота?» Не он, конечно, высказал эту «крамольную» мысль, но все эти высказывания били не в бровь, как говорится, а глаз всем этим киршонам, авербахам, вишневским... И вот арестованы Пильняк и Авербах, Киршон, крайние в противоборствующих лагерях. Почему же арестован Пильняк? Этот вопрос не давал покоя Булгакову. Ведь ничто не предвещало его ареста. В своих ошибках он искренне покаялся, в его духовной чистоте никто не сомневался. За что? Авербах за то, что был родственником Ягоды; Павел Васильев за то, что назвал Бухарина «человеком величайшего благородства и совестью крестьянской России». В чем же провинился Пильняк?

Сергей Ермолинский, друживший со многими писателями из разных «лагерей» рассказывал, что 12 октября, в день рождения Бориса Андреевича, никто из приглашенных не пришел. Зашли «на минуту», по соседски Погодин и Пастернак, поздравили и ушли. А накануне дня ареста Пильняк побывал в Москве, накупил вина, водки, фруктов, конфет, с женой и няней обсуждали праздничное меню: завтра исполняется три года младшему сыну, пригласили на его день рождения всех детей в округе. Утром следующего дня весело отпраздновали.

А вечером пришел знакомый работник посольства и сказал: «Николай Иванович просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос. Через час вы будете дома. Возьмите свою машину, на ней и вернетесь». Жена вышла в другую комнату, собрала какие-то вещички и протянула узелок Борису Андреевичу. Но посланник Ежова и Борис Пильняк

рассердились на нее, недовольно замахали на нее... Верил ли Пильняк в тот миг, что действительно вернется в семью или подыгрывал этому негодяю, кто ломал эту комедию... Ермолинский не мог ответить на этот вопрос... А соседи по даче в Переделкине замкнулись, даже Пастернак.

Жалко Пильняка, но может все образуется, выяснят что-то и отпустят? А вот арест Добраницкого вызвал панику в душе Булгакова... Добраницкий часто бывал в доме Булгаковых, подолгу беседовал, пытаясь понять причины неблагополучного положения столь одаренного человека... Познакомились случайно, на приеме у кого-то из близких друзей, а потом как-то незаметно вошел в душу, покорил тем, что признал вину партийных верхов в травле Булгакова, обругал Авербаха, Киршона, Литовского, Афиногенова, пообещал сделать все для того, чтобы вернуть пьесы Булгакова в театры. Все время намекал, что он говорит не только от своего имени, но и... Кто за ним стоял, он так и не назвал, да Булгаков и не спрашивал, обещал достать любые книги, нужные для работы... Так и вошел в жизнь... Умен, сметлив... Конечно, Булгаков понял, что и Добраницкий склоняет его к тому, чтобы он написал если и не агитационную, то хоть оборонную пьесу. Это не Владимир Владимирович Дмитриев, который, не успев войти, можно сказать, с порога, сразу бухнул: «— Пишите агитационную пьесу. Довольно! Вы ведь государство в государстве! Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один вы остались. Это глупо». Нет, Добраницкий избрал совсем иную тактику. Он начал с того, что прочитал все пьесы Булгакова, вскоре убежденно заявил:

— Вы увидите, я не исчезну. Я считаю долгом своей партийной совести сделать все возможное для того, чтобы исправить ошибку, которую сделали в отношении Булгакова». Потом еще не раз бывал в доме, приносил книги о гражданской войне, расспрашивал Михаила Афанасьевича о его убеждениях. Можно ли было довериться мало знакомому человеку в столь тяжелое время? Ясно было, что Добраницкий был подослан, чтобы агитировать Булгакова. Но кто стоял за ним? Кто он сам? Эти вопросы так и остались неотвеченными. И вот Добраницкий арестован... А между тем ходили слухи, что его хотели назначить директором МХАТа... Сколько загадок не удается разгадать...

А дни мелькали за днями, полные хлопот и ожиданий. Каждый день возникало что-то новое. По-прежнему бывали гости, слушали, главы «Театрального романа», романа о Христе, задумывались о только что услышанном, высказывали свои замечания, пожелания, свое восхищение. Играли в шахматы, в карты, подолгу засиживались за праздничным столом, отдавая дань с любовью приготовленным Еленой Сергеевной яствам. Конечно, в эти дни ей помогали домработница и воспитательница Сережи, но, естественно, все готовилось под ее руководством.

Бывали и в гостях... Ольга и Федор Калужские получили новую квартиру, пригласили на новоселье. Как же не пойти? Но лучше бы не ходить: Ольга подарила Михаилу Афанасьевичу книгу о МХАТе, составленную Марковым и переведенную на французский для Парижа, Булгаков тут же стал листать ее ,книга прекрасно издана, на хоро-

шей бумаге, но ни одного слова о «Турбиных». Да и в итоговых статьях, интервью никто из мхатчиков не обмолвился ни единым словом о спектакле, который многих из них сделал знаменитыми. А ведь спектакль идет до сих пор, и со всегдашним успехом. Как же тут не расстроиться...

А ведь совсем недавно Елена Сергеевна была на спектакле, Хмелев был болен, но и без него спектакль прошел прекрасно. «Дни Турбиных» живут, — рассказывала Елена Сергеевна после спектакля, — принимается каждая реплика, раскаты смеха в смешных сценах, полнейшая тишина, напряженность внимания — в гимназии, в приносе Николки. Слышала, как Боярский в антракте спрашивал у Феди: «Что это — всегда так принимают спектакль или только сегодня?» После конца — восемь занавесов. Для рядового спектакля — это много».

А может и хорошо, что не упоминают? Быть на виду в такое время опасно...

А сколько нелепых телефонных звонков приходилось терпеть ..

Позвонил как-то Виленкин и сказал, что театральный отдел Комитета искусств запрашивает экземпляр «Бега». Потом с этой же просьбой обратилась Ольга Бокшанская. Но самое поразительное — с этой же просьбой позвонил Смирнов. «Для кого? Кто спрашивает?» спросил Булгаков Елену Сергеевну. « — Говорит, что по телефону сказать не может», — ответила Елена Сергеевна. Решили переписывать «Бег». Несколько дней Булгаков диктовал Елене Сергеевне, сильно сокращая. А когда все было закончено, снабдили всех желающих экземпляром, захотели, узнать, кто заинтересовался пьесой, но попытка узнать «для кого, кто спрашивает?» так и не увенчалась успехом. Опять работа впустую?

— Я работаю на холостом ходу... Я похож на завод, который делает зажигалки... — сказал Булгаков после разговора со Смирновым, взявшим экземпляр «Бега».

Много времени отнимала работа в Большом театре. Сначала Булгаков радовался каждой встрече с новыми людьми, с композиторами, либреттистами, дирижерами, артистами. Но вскоре заметил , что среди либреттистов мало талантливых, приходилось не только читать и давать отзывы, но и зачастую и переписывать либретто. Так было с «Поднятой целиной», премьера которой прошла совсем недавно, и Булгаков прекрасно помнил, сколько ему пришлось работать над текстом, выверяя каждое слово. Особенно раздражала его работа с Соловьевым-Седым, талантливым композитором, но никудышным либреттистом. Наконец Соловьев-Седой понял свое бессилие и предложил Булгакову быть соавтором, но Булгаков решительно отказался, сославшись на нездоровье. С таким же предложением обратился к Булгакову и Потоцкий, написавший либретто о Степане Разине. Текст либретто был настолько дурно написан, что Булгаков отказался принимать участие в этой работе. Расстроенный Потоцкий предложил Булгакову стать соавтором, но Михаил Афанасьевич решительно отказался. «Неприятный вечер», — записала Елена Сергеевна в дневнике после этих переговоров.

По решению правительства Большой театр приступил к постановке оперы Глинки «Жизнь за царя», естественно, с новым либретто и

другим названием: либретто поручили Сергею Городецкому, а оперу решили назвать — «Иван Сусанин». Булгакова привлекли к работе над оперой в качестве консультанта. Работа шла под непосредственным руководством Самосуда и Мордвинова. Обсуждение текста затягивалось до двух-четырех часов ночи. Пианист играл «Жизнь за царя», а Городецкий и Булгаков проверяли текст, подгоняя его к музыке.

Позвонил Куза и попросил начать работу над инсценировкой по «Дон Кихоту». Булгаков хотел отказаться, дескать, очень увлекся работой над романом о Христе, который к этому времени получил свое название — «Мастер и Маргарита», написал много новых глав, читал их друзьям. А «Дон Кихот» потребует большого внимания. Но денег нет, а Куза пообещал тут же заключить договор и выдать деньги.

7 декабря 1937 года Елена Сергеевна записала в дневнике: «Утром М. А. проснулся, как он сказал, в холодном поту. Обнаружил (ночью!) ошибку существенную в либретто «Сусанина» в картине в лесу, зимой. Стал звонить Самосуду, Городецкому, сообщил им все свои соображения.

Днем пошли за деньгами в Вахтанговский театр. По дороге нагнал Федя и пригласил 13 к себе.

Получили деньги, вздохнули легче. А то просто не знала, как жить дальше. Расходы огромные, поступления небольшие. Долги».

Телефонный звонок. Подошла Елена Сергеевна. Звонила Ольга из МХАТа.

— Ольга прочитала письмо Алексея Толстого Немировичу, — ответила Елена Сергеевна на вопросительный взгляд Булгакова. — Депутат Верховного Совета СССР возмущен тем, что ему прислали из театра требование вернуть одну тысячу рублей. «Какую тысячу? Что такое?! Я, кажется, жив еще, пишу пьесы и такие, которые могут пойти во МХАТе...»Это он по поводу того, что у него был договор со МХАТом и он его не выполнил. По словам Оли, сначала она схватилась за голову, потом схватился Виленкин, потом еще кто-то. Она уже позвонила в Ленинград Немировичу...

— Театру это будет стоить еще тысяч двадцать, — уверенно подсчитал Булгаков. — Придется теперь Театру заключать с Толстым новый договор, на пьесу, которую он опять же даст МХАТу... А о «Беге» ничего не говорила?

— Ничего!

— Это означает, что «Бег» снова умер.

— Рассказывала еще, что на «Поднятой целине» в Большом театре был Генеральный секретарь и, разговаривая о репертуаре с Керженцевым, сказал: «— А вот же Булгаков написал «Минина и Пожарского»... Она забыла, что я ей же и рассказывала об этом. Как только Яков Леонтьевич позвонил нам об этой исторической фразе, так я ей при первой же встрече и поведала.

— Керженцев просил вернуться к «Минину», сделать поправки. Сказал, что поляки правильные. А в прошлый раз говорил, что неправильные. Помнишь? Вот и разберись, что он хочет. «Надо увеличить роль Минина, дать ему арию вроде «О, поле, поле...» О «Дон Кихоте» сказал, что надо сделать так, чтобы чувствовалась современная Испания. О, ччерт! — вырвалось у Булгакова при воспоминании о беседе с

Керженцевым. Но я немедленно приступаю к переделкам «Минина». Я просил Керженцева прослушать клавир в последнем варианте, где и Мокеев и Кострома, с тем, чтобы наилучшим образом разместить дополнения, поправки и переделки. Но над своим совершенно некогда работать. Вот приехал из Ленинграда Соловьев-Седой, просидели с ним часа три, выправляя его либретто. Потом побежал на вызов к Самосуду, где сначала был на прослушивании картины все того же Соловьева-Седого и вел по этому поводу разговоры с Самосудом, а потом работал по «Сусанину», выправляя каждое слово текста. Потом начинаются репетиции «Броненосца «Потемкина», а я уже вижу, как на меня надвигается Потоцкий со своим «Разиным»... Надоело писать либретто, править чужие, переделывать свои. Может, Елена, уйти из Большого театра? Выправить роман «Мастер и Маргарита», представить его наверх. Закрыться в квартире и всласть поработать над романом? Ведь совсем нет времени для настоящей творческой работы, пишу все урывками...

Что могла ответить Елена Сергеевна? Надолго ли хватит денег, полученных за «Дон Кихота»? Об уходе из Большого и говорить нечего.

— Пора собираться к Ольге и Федору, Мака!

«У Феди на обеде: Кедров, Раевский с женой, Дорохин, Пилявская, Морес, Комиссаров, Ларин, Якубовская, Шверубович Дима, какой-то Веничка, у которого оказался прелестный тенор... Было шумно, весело. Пели под гармонику — Дорохин играл. Федя привез из Парижа пластинку «Жили двенадцать разбойников», вспоминали «Бег», — записала Елена Сергеевна в дневник.

21 декабря 1937 года Булгаковы посетили Калужских. Были Хмелев, Прудкин, их жены, Герасимов. «Рассказы о Париже. Хмелев очень смешно и талантливо рассказывал, как Женя Калужский лечил его коньяком в Париже от воспаления надкостницы и сам напился вдребезги, — записывала в дневнике Елена Сергеевна. Конечно, много говорили о статье Керженцева «Чужой театр» — о театре Мейерхольда. Столь резкая критика всего театрального пути известного режиссера ничего хорошего не предвещала — все собравшиеся сошлись на одном: театр несомненно закроют.

25 декабря Булгаков писал Асафьеву: «21 декабря я послал Вам письмо, где предупредил, что Вам нужно выехать в Москву. Я ждал единственно возможного ответа — телеграммы о Вашем выезде. Ее нет. Что же: Вам не ясна исключительная серьезность вопроса о «Минине»? Я поражен. Разве такие письма пишутся зря?

Только что я Вам послал телеграмму, чтобы Вы выезжали. Значит есть что-то очень важное, если я Вас так вызываю.

Повторяю: немедленно выезжайте в Москву.

Прошу Вас знать, что в данном случае я забочусь о Вас, и помнить, что о необходимости Вашего выезда я Вас предупредил».

На следующий день позвонила жена Асафьева, много раз повторявшая одну и ту же фразу:

— Ваши письма расстроили Бориса Владимировича!

— Хотел как лучше, — рассердился Михаил Афанасьевич. — Не раз я слышал от влиятельных людей, что музыка Асафьева не нравится, его хотят отодвинуть от «Минина». Вот и посылал ему тревожные

сигналы, думал, поймет. Верно говорят, что ни одно доброе дело не остается без наказания. Поделом мне.

Вечером 26 декабря у Булгаковых были Дмитриев, Вильямсы, Борис и Николай Эрдманы. Попросили почитать из нового романа, Михаил Афанасьевич прочитал главы из романа «Мастер и Маргарита»: «Никогда не разговаривайте с неизвестным», «Золотое копье» и «Цирк».

После этого вечера Михаил Афанасьевич заболел гриппом.

31 декабря Елена Сергеевна записала: «Кончается 1937-й год. Горький вкус у меня от него. У М. А. температура упала. Едем к Оле встречать Новый год».

Новый год встретили весело... Кторов пел, аккомпанируя себе на гитаре; Белокуров тоже был превосходен, Виленкин и Елина тоже были занимательны. А вечером того же дня, после отдыха, провели у Вильямсов. Был и Николай Эрдман. Михаил Афанасьевич прочитал главу из «Театрального романа» — «Дело было в Грибоедове».

А после этого снова слег на несколько дней с гриппом: в последние дни старого года не отлежался, преодолевая недомогание в вихре светской жизни, а когда праздники прошли, затаившаяся болезнь дала о себе знать.

8 января 1938 года прочитали в газетах Постановление Комитета искусств о ликвидации театра Мейерхольда. Что же теперь будет с Мейерхольдом? — этот вопрос не раз возникал в семье Булгаковых.

А 18 января узнали о том, что в правительстве недовольны Керженцевым, в докладе Жданова он назван коммивояжером.

— Закончилась карьера, — сказал Булгаков. — А сколько вреда, путаницы он внес.

20 января Елена Сергеевна записала: « Сегодня — назначение нового председателя Комитета — Назарова. Абсолютно неизвестная фигура.

Днем опять с Седым работа у М. А. Работа не нравится М. А., он злится, нервничает. Положение безвыходное. Из-за моего нездоровья отменили приход Меликов и Ермолинских. Ночью, часов в двенадцать, забрел Дмитриев. Рассказывал, что был у Мейерхольда. У того на горизонте появился Алексей Толстой — с разговором о постановке «Декабристов» Шапорина в Ленинграде. Дмитриев думает, что Мейерхольду дадут ставить оперы. М. А-чу приходится наново сочинять либретто для Седого.

Арестован известный кинодеятель Шумяцкий с женой. Помощник Керженцева застрелился. Слухи снова поползли по Москве...

Секира нависла и над домом Булгаковых. 27 января у них был Николай Эрдман, который был частым гостем в доме Булгаковых, оставался не раз ночевать, и вообще за последние месяцы стал одним из ближайших друзей. Эрдман после ссылки не мог жить в Москве, это существенно ограничивало его возможности как писателя, драматурга, связанного с театром.

Михаил Афанасьевич не мог остаться равнодушным к судьбе друга и сразу решил написать письмо Сталину. Давно он собирался написать Сталину, но все откладывал, всерьез опасаясь привлечь к себе

внимание, а тут сама жизнь продиктовала ему суть письма: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Разрешите мне обратиться к Вам с просьбою, касающейся драматурга Николая Робертовича Эрдмана, отбывшего полностью трехлетний срок своей ссылки в городах Енисейске и Томске и в настоящее время проживающего в г. Калинине.

Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем отечестве, и зная в то же время, что литератор Н. Эрдман теперь лишен возможности применить свои способности вследствие создавшегося к нему отрицательного отношения, получившего резкое выражение в прессе, я позволяю себе обратить внимание на его судьбу.

Находясь в надежде, что участь литератора Н. Эрдмана будет смягчена, если Вы найдете нужным рассмотреть эту просьбу, я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения».

5 февраля Елена Сергеевна отвезла и сдала в ЦК партии это письмо, а на следующий день приехал Дмитриев с горькой вестью: жена его, Елизавета Исаевна, арестована, советовался, как хлопотать.

Елизавета Исаевна вместе с Владимиром Владимировичем не раз бывали в гостях у Булгаковых, ее хорошо знали, радовались встрече. Ее арест ошеломил Булгаковых.

2 марта 1938 года начался третий открытый процесс в Москве.

Перед судом предстали Бухарин, Рыков, бывший глава НКВД Ягода, наркомвнешторг Розенгольц... По количеству подсудимых процесс назвали «процессом 21-го». Все подсудимые были объединены в «правотроцкистский антисоветский блок» и обвинялись в организации заговора против Ленина и Сталина, убийстве Кирова, Куйбышева и Горького, в измене, в саботаже, шпионаже в пользу иностранных государств.

Процесс был открытым. Ход допроса обвиняемых публиковался в печати, транслировали по радио. На суде присутствовали иностранные корреспонденты, дипломаты. Показывали кинохронику процесса, фотографии зала с обвиняемыми.

Сидевшие на скамье подсудимых признали, что были тесно связаны с Троцким, получали от него задания, формировали заговор против Сталина, надеялись свергнуть Сталина и пригласить Троцкого встать во главе Советского Союза. Выявились связи с германской разведкой, тайное сотрудничество с фашистами.

В заключительном слове подсудимые признали себя виновными. Опубликованные в газетах, эти признания производили глубокое впечатление. Бухарин сказал: «Стою коленопреклоненным перед страной, перед партией, перед всем народом». Рыков, признав себя виновным, обратился к своим единомышленникам: «Я хочу, чтобы те, кто еще не разоблачен и не разоружился, чтобы они немедленно и открыто это сделали. Мне бы хотелось, чтобы они на моем примере убедились в неизбежности разоружения...»

Еще будучи на свободе, Бухарин, выступая на февральско-мартовском Пленуме ЦК партии 1937 года, признался: «Заговор, враги наро-

да существуют ,но главные из них находятся в НКВД». Так были арестованы Ягода, Фриновский, Берман...

Булгаков внимательно следил за развернувшейся драмой, в ходе которой уничтожались старые большевики, начавшие революцию, теоретически обосновавшие террор как средство воспитания народа в коммунистическом духе. Уничтожались те, кто подавлял всякое инакомыслие; уничтожался русский большевизм, виновный в пролитии океана русской крови. Что думать по поводу этих событий? Авербах, Киршон и многие другие злопыхатели травили Есенина, Алексея Толстого, Пришвина... Немезида опустила на их головы свой меч справедливости... Но причем здесь Елизавета Исаевна, милый человек, не замешанный в этих партийных и государственных разборках?

В дневнике Елены Сергеевны есть такие записи: «4 марта 1938 года. Вечером был Дмитриев. По-прежнему подавлен арестом жены, размышляет, что бы сделать, чтобы узнать о ее судьбе... 7 марта. Сегодня вечером был Гриша. В Художественном арестован Рафаилович... 13 марта. Приговор — все присуждены к расстрелу, кроме Раковского, Бессонова и Плетнева...»

В политических, военных, государственных, художественных кругах шло планомерное уничтожение малейшей оппозиции идеям И. Сталина — Кагановича... Но жизнь не замирала в ожидании арестов. Многим тогда казалось, что арестованные действительно в чем-то виноваты перед пролетарским государством, а если не виноваты, то вскоре будут отпущены: в то время много говорилось о пролетарской справедливости и гуманности. Люди по-прежнему много думали о будущем, счастливом и светлом, ставили фильмы, спектакли, пронизанные теплом и светом... Сейчас эти противоречия и контрасты невозможно понять. И лишь немногим, таким, как Шолохов, Платонов, Булгаков, удавалось заглянуть дальше и глубже поверхностной правды сиюминутности.

Приведу еще несколько дневниковых записей Е. С. Булгаковой, которые приоткроют читателям «завесу времени»:

«3 мая. Ангарский пришел вчера и с места заявил — «не согласитесь ли написать авантюрный советский роман? Массовый тираж, переведу на все языки, денег тьма, валюта, хотите сейчас чек дам — аванс?»

Миша отказался, сказал это не могу.

После уговоров Ангарский попросил М. А. читать его роман («Мастер и Маргарита»). М. А. прочитал 3 первых главы.

Ангарский сразу сказал: «А это напечатать нельзя».

— Почему?

«Нельзя».

А вот еще об одной встрече рассказывает Елена Сергеевна в дневниковой записи за 23 августа 1938 года: в Лаврушинском Елена Сергеевна встретились с Катаевым, и разговорились. «...Потом пошли пешком, и немедленно Катаев начал разговор о Мишином положении. Смысл ясен: Миша должен написать, по мнению Катаева, небольшой рассказ, представить, вообще вернуться в лоно писательское — с новой вещью — «ссора затянулась» и так далее.

Все уже слышанное, все известное, все чрезвычайно понятное! Все скучное!

Катаев в своей машине меня отвез к М. И., а сам заехал к Мише и говорил все о том же. Кроме того, о дряхлости Куприна, о том, что уже он путается в окружающем.

Ставского, по словам К., уже нет в союзе, во главе его стоит пятерка или шестерка, в которую входит и Катаев».

4 октября 1938 года. «...Настроение у меня сегодня убийственное, и Миша проснулся — с таким же. Все это, конечно, естественно, нельзя жить, не видя результатов своей работы». В тот же день Булгаковы зашли в дирекцию Большого театра. Директор театра, Яков Леонтьевич Леонтьев, «как всегда очаровательный», «неожиданно попросил Мишу помочь ему — написать адрес МХАТу (в эти дни отмечалось 40-летие театра. — *В. П.)* от Большого театра. Миша сказал — Яков Леонтьевич! Хотите, я Вам напишу адрес Вашему несгораемому шкафу? Но МХАТу — зарежьте меня — не могу — не найду слов...» (ГБЛ, к. 28, ед. хр. 27).

И еще две чрезвычайно интересные выписки из дневника Е. С. Булгаковой приведу здесь:

13 декабря 1938 года. «Сегодня Миша позвонил к Чичерину и спросил его, кто такой Кут. Тот ответил, что не знает. Просил Мишу прийти на совещание по поводу пьес и репертуара. Миша ответил, что не придет и не будет ходить никуда, покуда его не перестанут так или иначе травить в газетах».

4 апреля 1939 года. «День начался звонком Долгополова. Первое — просит М. А. сообщить ему содержание «Рашели», т. к. он дает статью о Дунаевском, и Д., говоря о «Рашели», посоветовал обратиться к Мише.

Второе — сообщение о заседании Художественного Совета при Всесоюзном Комитете по делам искусств. Оказывается, Немирович выступал и много говорил о Булгакове: самый талантливый, мастер драматургии и т. п.

Сказал — вот почему вы все про него забыли, почему не используете такого талантливого драматурга, какой у нас есть — Булгакова? Голос из собравшихся (не знаю кто, но постараюсь непременно узнать).

— Он не наш.

Немирович. Откуда вы знаете? Что вы читали из его произведений? Знаете ли «Мольера»? «Пушкина»? Он написал замечательные пьесы, а они не идут. Над «Мольером» я работал, эта пьеса шла бы и сейчас. Если в ней что-нибудь надо было бы мнению критики изменить, это одно. Но почему снять!

В общем, он очень долго говорил, и, как сказал Долгополов, все ему в рот смотрели, и он боится, что стенографистка, тоже смотревшая в рот, пропустила что-нибудь из его речи. Обещал достать стенограмму.

Потом позвонила Ольга — с тем же.

Вечером разговор с Мишей о Немировиче и об этом — «он не наш»; я считаю полезной речь Немировича, а Миша говорит, что лучше бы он не произносил этой речи, и что возглас этот дороже обойдется, чем сама речь, которую Немирович произнес через три года после разгрома.

Да и кому он ее говорит и зачем. Если он считает хорошей пьесой «Пушкина», то почему же он не репетирует ее, выхлопотав, конечно, для этого разрешение наверху...»

Нет, не простил Булгаков руководителям МХАТа того неоспоримого факта, что именно они погубили его «Мольера» и не заступились за него там, «наверху».

Это издание, стало возможным благодаря Светлане Викторовне Кузьминой и Вадиму Павлиновичу Низову, руководителям АКБ «ОБЩИЙ», благодаря генеральному директору ПКП «РЕГИТОН» Вячеславу Евграфовичу Грузинову, благодаря председателю Совета «ПРОМСТРОЙБАНКА» Владимиру Ивановичу Шимко и председателю Правления «ПРОМСТРОЙБАНКА» Якову Николаевичу Дубенецкому, благодаря генеральному директору фирмы «МЕТКАБ» Ларисе Григорьевне Боронко, благодаря заместителю генерального директора фирмы «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» Алексею Васильевичу Боронко, благодаря генеральному директору фирмы «ИММ» Михаилу Владимировичу Баринову, оказавшим материальную помощь издательству «ГОЛОС», отважно взявшемуся за это уникальное издание.

Некоторые из перечисленных здесь спонсоров по тем или иным причинам не оказывали финансовой помощи в издании последних томов ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ М. А. БУЛГАКОВА, но навсегда остались в истории этого неповторимого издания чистыми и благородными радетелями русской культуры, навсегда останутся и в памяти читателей этих книг.

Особо хочется сказать о СВЕТЛАНЕ ВИКТОРОВНЕ КУЗЬМИНОЙ и ВАДИМЕ ПАВЛИНОВИЧЕ НИЗОВЕ, с благотворительного взноса которых от возглавляемого ими в то время БАНКА началось это издание. Они все это время, с 1994 года, внимательно относились к моим просьбам о финансовой помощи, не всегда у них получалось, но даже после августовского кризиса 1998 года, когда вроде бы все рухнуло и рушилось, АКБ «ОБЩИЙ» оказал существенную помощь в издании 6 тома. И только что, в 1999 году, этот замечательный БАНК перевел издательству 50 тысяч рублей как благотворительный взнос на издание 7 и 8 томов.

Запомните, читатель, эти имена и воздайте им должное в вашей памяти и сердцах, независимо от того, как вы отнесетесь к самому изданию М. А. Булгакова в десяти томах.

Виктор ПЕТЕЛИН

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

(Записки покойника)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах.

Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весною прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо.

В бандероли оказались эти записки, а письмо было удивительного содержания:

Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки с тем, чтобы я, единственный его друг, выправил их, подписал своим именем и выпустил в свет.

Странная, но предсмертная воля!

В течение года я наводил справки о родных или близких Сергея Леонтьевича. Тщетно! Он не солгал в предсмертном письме — никого у него не осталось на этом свете.

И я принимаю подарок.

Теперь второе: сообщаю читателю, что самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был, маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства», единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно — роман Сергея Леонтьевича не был напечатан.

Таким образом, записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и фантазии, увы, больной. Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название — меланхолия.

Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких те-

атров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было.

И наконец, третье и последнее: моя работа над записками выразилась в том, что я озаглавил их, затем уничтожил эпиграф, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным.

Этот эпиграф был:

«Коемуждо по делом его...»

И, кроме того, расставил знаки препинания там, где их не хватало.

Стиль Сергея Леонтьевича я не трогал, хотя он явно неряшлив. Впрочем, что же требовать с человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с Цепного моста вниз головой.

Итак...

Часть первая

ГЛАВА 1

НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось.

В сером новом моем костюме и довольно приличном пальто я шел по одной из центральных улиц столицы, направляясь к месту, в котором никогда еще не был. Причиной моего движения было лежащее у меня в кармане внезапно полученное письмо. Вот оно:

«Глубокопочитаемый
Сергей Леонтьевич!

До крайности хотел бы познакомиться с Вами, а равно также переговорить по одному таинственному делу, которое может быть очень и очень небезынтересно для Вас.

Если Вы свободны, я был бы счастлив встретиться с Вами в здании Учебной сцены Независимого Театра в среду в 4 часа.

С приветом *К. Ильчин»*

Письмо было написано карандашом на бумаге, в левом углу которой было напечатано:

«Ксаверий Борисович Ильчин
режиссер Учебной сцены
Независимого Театра».

Имя Ильчина я видел впервые, не знал, что существует Учебная сцена. О Независимом Театре слышал, знал, что это один из выдающихся театров, но никогда в нем не был.

Письмо меня чрезвычайно заинтересовало, тем более что никаких писем я вообще тогда не получал. Я, надо сказать, маленький сотрудник газеты «Пароходство». Жил я в то время в плохой, но отдельной комнате в седьмом этаже в районе Красных ворот у Хомутовского тупика.

Итак, я шел, вдыхая освеженный воздух и размышляя о том, что гроза ударит опять, а также о том, каким образом Ксаверий Ильчин узнал о моем существовании, как он разыскал меня и какое дело может у него быть ко мне. Но сколько я ни раздумывал, последнего понять не мог и, наконец, остановился на мысли, что Ильчин хочет поменяться со мной комнатой.

Конечно, надо было Ильчину написать, чтобы он пришел ко мне, раз что у него дело ко мне, но надо сказать, что я стыдился своей комнаты, обстановки и окружающих людей. Я вообще человек странный и людей немного боюсь. Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки.

Я вошел в резные чугунные ворота, увидел лавчонку, где седой человек торговал нагрудными значками и оправой для очков.

Я перепрыгнул через затихающий мутный поток и оказался перед зданием желтого цвета и подумал о том, что здание это построено давно, давно, когда ни меня, ни Ильчина еще не было на свете. Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь Учебная сцена. Я вошел, и человек маленького роста с бороденкой, в куртке с зелеными петлицами, немедленно преградил мне дорогу.

— Вам кого, гражданин? — подозрительно спросил он и растопырил руки, как будто хотел поймать курицу.

— Мне нужно видеть режиссера Ильчина, — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал надменно.

Человек изменился чрезвычайно, и на моих глазах. Он руки опустил по швам и улыбнулся фальшивой улыбкой.

— Ксаверия Борисыча? Сию минут-с. Пальтецо пожалуйте. Калошек нету?

Человек принял мое пальто с такой бережностью, как будто это было церковное драгоценное облачение.

Я подымался по чугунной лестнице, видел профили воинов в шлемах и грозные мечи под ними на барельефах, старинные печи-голландки с отдушниками, начищенными до золотого блеска.

Здание молчало, нигде и никого не было, и лишь с петличками человек плелся за мной, и, оборачиваясь, я видел, что он оказывает мне молчаливые знаки внимания, преданности, уважения, любви, радости по поводу того, что я пришел и что он, хоть и идет сзади, но руководит мною, ведет меня туда, где находится одинокий, загадочный Ксаверий Борисович Ильчин.

И вдруг потемнело, голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась — за окнами зашумела вторая гроза. Я стукнул в дверь, вошел и в сумерках увидел наконец Ксаверия Борисовича.

— Максудов, — сказал я с достоинством.

Тут где-то далеко за Москвой молния распорола небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина.

— Так это вы, достолюбезный Сергей Леонтьевич! — сказал, хитро улыбаясь, Ильчин.

И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на такой точно диван, как у меня в комнате, — даже пружина в нем торчала там же, где у меня, — посередине.

Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание. Зачем диван? Какие ноты лежали растрепанные на полу в углу? Почему на окне стояли весы с чашками? Почему Ильчин ждал меня в этой комнате, а не, скажем, в соседнем зале, в котором в отдалении смутно, в сумерках грозы, рисовался рояль?

И под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще:

— Я прочитал ваш роман.

Я вздрогнул.

Дело в том...

ГЛАВА 2

ПРИСТУП НЕВРАСТЕНИИ

Дело в том, что, служа в скромной должности читальщика в «Пароходстве», я эту свою должность ненавидел и по ночам, иногда до утренней зари, писал у себя в мансарде роман.

Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна. Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война... Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах. Я зажег свет, пыльную лампочку, подвешенную над столом. Она осветила мою бедность — дешевенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых газет. Бок левый болел от пружины, сердце охватывал страх. Я почувствовал, что я умру сейчас за столом, жалкий страх смерти унизил меня до того, что я простонал, оглянулся тревожно, ища помощи и защиты от смерти. И эту помощь я нашел. Тихо мяукнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. Зверь встревожился. Через секунду зверь уже сидел на газетах, смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал — что случилось?

Дымчатый тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не случилось. В самом деле, кто же будет кормить эту старую кошку?

— Это приступ неврастении, — объяснил я кошке. — Она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. Но пока еще можно жить.

Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о движении. Я успокоился, успокоилась и кошка, закрыла глаза.

Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен.

Днем я старался об одном — как можно меньше истратить сил на свою подневольную работу. Я делал ее механически, так, чтобы она не задевала головы. При

всяком удобном случае я старался уйти со службы под предлогом болезни. Мне, конечно, не верили, и жизнь моя стала неприятной. Но я все терпел и постепенно втянулся. Подобно тому как нетерпеливый юноша ждет часа свидания, я ждал часа ночи. Проклятая квартира успокаивалась в это время. Я садился к столу... Заинтересованная кошка садилась на газеты, но роман ее интересовал чрезвычайно, и она норовила пересесть с газетного листа на лист исписанный. И я брал ее за шиворот и водворял на место.

Однажды ночью я поднял голову и удивился. Корабль мой никуда не летел, дом стоял на месте, и было совершенно светло. Лампочка ничего не освещала, была противной и назойливой. Я потушил ее, и омерзительная комната предстала предо мною в рассвете. На асфальтированном дворе воровской беззвучной походкой проходили разноцветные коты. Каждую букву на листе можно было разглядеть без всякой лампы.

— Боже! Это апрель! — воскликнул я, почему-то испугавшись, и крупно написал: «Конец».

Конец зиме, конец вьюгам, конец холоду. За зиму я растерял свои немногие знакомства, обносился очень, заболел ревматизмом и немного одичал. Но брился ежедневно.

Думая обо всем этом, я выпустил кошку во двор, затем вернулся и заснул — впервые, кажется, за всю зиму — сном без сновидений.

Роман надо долго править. Нужно перечеркивать многие места, заменять сотни слов другими. Большая, но необходимая работа!

Однако мною овладел соблазн, и, выправив первых шесть страниц, я вернулся к людям. Я созвал гостей. Среди них было двое журналистов из «Пароходства», рабочие, как и я, люди, их жены и двое литераторов. Один — молодой, поражавший меня тем, что с недосягаемой ловкостью писал рассказы, и другой — пожилой, видавший виды человек, оказавшийся при более близком знакомстве ужасною сволочью.

В один вечер я прочитал примерно четверть своего романа.

Жены до того осовели от чтения, что я стал испытывать угрызения совести. Но журналисты и литераторы оказались людьми прочными. Суждения их были брат-

ски искренни, довольно суровы и, как теперь понимаю, справедливы.

— Язык! — вскрикивал литератор (тот, который оказался сволочью), — язык, главное! Язык никуда не годится.

Он выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку. Я налил ему вторую. Он ее выпил, закусил куском колбасы.

— Метафора! — кричал закусивший.

— Да, — вежливо подтвердил молодой литератор, — бедноват язык.

Журналисты ничего не сказали, но сочувственно кивнули, выпили. Дамы не кивали, не говорили, начисто отказались от купленного специально для них портвейна и выпили водки.

— Да как же ему не быть бедноватым, — вскрикивал пожилой, — метафора не собака, прошу это заметить! Без нее голо! Голо! Голо! Запомните это, старик!

Слово «старик» явно относилось ко мне. Я похолодел. Расходясь, условились опять прийти ко мне. И через неделю опять были. Я прочитал вторую порцию. Вечер ознаменовался тем, что пожилой литератор выпил со мною совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня «Леонтьич».

— Язык ни к черту! но занятно. Занятно, чтоб тебя черти разорвали (это меня)! — кричал пожилой, поедая студень, приготовленный Дусей.

На третьем вечере появился новый человек. Тоже литератор — с лицом злым и мефистофельским, косой на левый глаз, небритый. Сказал, что роман плохой, но изъявил желание слушать четвертую, и последнюю, часть. Была еще какая-то разведенная жена и один с гитарой в футляре. Я почерпнул много полезного для себя на данном вечере. Скромные мои товарищи из «Пароходства» попривыкли к разросшемуся обществу и высказали и свои мнения.

Один сказал, что семнадцатая глава растянута, другой — что характер Васеньки очерчен недостаточно выпукло. И то и другое было справедливо.

Четвертое, и последнее, чтение состоялось не у меня, а у молодого литератора, искусно сочинявшего рассказы. Здесь было уже человек двадцать, и познакомился я с бабушкой литератора, очень приятной старухой, кото-

рую портило только одно — выражение испуга, почему-то не покидавшего ее весь вечер. Кроме того, видел няньку, спавшую на сундуке.

Роман был закончен. И тут разразилась катастрофа. Все слушатели, как один, сказали, что роман мой напечатан быть не может по той причине, что его не пропустит цензура.

Я впервые услыхал это слово и тут только сообразил, что, сочиняя роман, ни разу не подумал о том, будет ли он пропущен или нет.

Начала одна дама (потом я узнал, что она тоже была разведенной женой). Сказала она так:

— Скажите, Максудов, а ваш роман пропустят?

— Ни-ни-ни! — воскликнул пожилой литератор, — ни в каком случае! Об «пропустить» не может быть и речи! Просто нет никакой надежды на это. Можешь, старик, не волноваться — не пропустят.

— Не пропустят! — хором отозвался короткий конец стола.

— Язык... — начал тот, который был братом гитариста, но пожилой его перебил:

— К чертям язык! — вскричал он, накладывая себе на тарелку салат. — Не в языке дело. Старик написал плохой, но занятный роман. В тебе, шельмец, есть наблюдательность. И откуда что берется! Вот уж никак не ожидал, но!.. содержание!

— М-да, содержание...

— Именно содержание, — кричал, беспокоя няньку, пожилой, — ты знаешь, чего требуется? Не знаешь? Ага! То-то!

Он мигал глазом, в то же время выпивал. Затем обнял меня и расцеловал, крича:

— В тебе есть что-то несимпатичное, поверь мне! Уж ты мне поверь. Но я тебя люблю. Люблю, хоть тут меня убейте! Лукав он, шельма! С подковыркой человек!.. А? Что? Вы обратили внимание на главу четвертую? Что он говорил героине? То-то!..

— Во-первых, что это за такие слова, — начал было я, испытывая мучения от его фамильярности.

— Ты меня прежде поцелуй, — кричал пожилой литератор, — не хочешь? Вот и видно сразу, какой ты товарищ! Нет, брат, не простой ты человек!

— Конечно, не простой! — поддержала его вторая разведенная жена.

— Во-первых... — начал опять я в злобе, но ровно ничего из этого не вышло.

— Ничего не во-первых! — кричал пожилой, — а сидит в тебе достоевщинка! Да-с! Ну, ладно, ты меня не любишь, бог тебя за это простит, я на тебя не обижаюсь. Но мы тебя любим все искренне и желаем добра! — Тут он указал на брата гитариста и другого неизвестного мне человека с багровым лицом, который, явившись, извинился за опоздание, объяснив, что был в Центральных банях. — И говорю я тебе прямо, — продолжал пожилой, — ибо я привык всем резать правду в глаза, ты, Леонтьич, с этим романом даже не суйся никуда. Наживешь ты себе неприятности, и придется нам, твоим друзьям, страдать при мысли о твоих мучениях. Ты мне верь! Я человек большого, горького опыта. Знаю жизнь! Ну вот, — крикнул он обиженно и жестом всех призвал в свидетели, — поглядите; смотрит на меня волчьими глазами. Это в благодарность за хорошее отношение! Леонтьич! — взвизгнул он так, что нянька за занавеской встала с сундука, — пойми! Пойми ты, что не так велики уж художественные достоинства твоего романа (тут послышался с дивана мягкий гитарный аккорд), чтобы из-за него тебе идти на Голгофу. Пойми!

— Ты п-пойми, пойми, пойми! — запел приятным тенором гитарист.

— И вот тебе мой сказ, — кричал пожилой, — ежели ты меня сейчас не расцелуешь, встану, уйду, покину дружескую компанию, ибо ты меня обидел!

Испытывая невыразимую муку, я расцеловал его. Хор в это время хорошо распелся, и маслено и нежно над голосами выплывал тенор:

— Т-ты пойми, пойми...

Как кот, я выкрадывался из квартиры, держа под мышкой тяжелую рукопись.

Нянька с красными слезящимися глазами, наклонившись, пила воду из-под крана в кухне.

Неизвестно почему, я протянул няньке рубль.

— Да ну вас, — злобно сказала нянька, отпихивая рубль, — четвертый час ночи! Ведь это же адские мучения.

Тут издали прорезал хор знакомый голос:

— Где же он? Бежал? Задержать его! Вы видите, товарищи...

Но обитая клеенкой дверь уже выпустила меня, и я бежал без оглядки.

ГЛАВА 3

МОЕ САМОУБИЙСТВО

— Да, это ужасно, — говорил я сам себе в своей комнате, — все ужасно. И этот салат, и нянька, и пожилой литератор, и незабвенное «пойми», вообще вся моя жизнь.

За окнами ныл осенний ветер, оторвавшийся железный лист громыхал, по стеклам полз полосами дождь. После вечера с нянькой и гитарой много случилось событий, но таких противных, что и писать о них не хочется. Прежде всего я бросился проверять роман с той точки зрения, что, мол, пропустят его или не пропустят. И ясно стало, что его не пропустят. Пожилой был совершенно прав. Об этом, как мне казалось, кричала каждая строчка романа.

Проверив роман, я последние деньги истратил на переписку двух отрывков и отнес их в редакцию одного толстого журнала. Через две недели я получил отрывки обратно. В углу рукописи было написано: «Не подходит». Отрезав ножницами для ногтей эту резолюцию, я отнес эти же отрывки в другой толстый журнал и получил через две недели их обратно с такою же точно надписью: «Не подходит».

После этого умерла кошка. Она перестала есть, забилась в угол и мяукала, доводя меня до исступления. Три дня это продолжалось. На четвертый я застал ее неподвижной в углу на боку.

Я взял у дворника лопату и зарыл ее на пустыре за нашим домом. Я остался в совершенном одиночестве на земле, но, признаюсь, в глубине души обрадовался. Какой обузой для меня являлся несчастный зверь.

А потом пошли осенние дожди, у меня опять заболело плечо и левая нога в колене.

Но самое худшее было не это, а то, что роман был плох. Если же он был плох, то это означало, что жизни моей приходит конец.

Всю жизнь служить в «Пароходстве»? Да вы смеетесь!

Всякую ночь я лежал, таращa глаза в тьму кромешную, и повторял — «это ужасно». Если бы меня спросили — что вы помните о времени работы в «Пароходстве»? — я с чистой совестью ответил бы — ничего.

Калоши грязные у вешалки, чья-то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке — и это все.

— Это ужасно! — повторил я, слушая, как гудит ночное молчание в ушах.

Бессонница дала себя знать недели через две.

Я поехал в трамвае на Самотечную-Садовую, где проживал в одном из домов, номер которого я сохраню, конечно, в строжайшей тайне, некий человек, имевший право по роду своих занятий на ношение оружия.

При каких условиях мы познакомились, неважно.

Войдя в квартиру, я застал моего приятеля лежащим на диване. Пока он разогревал чай на примусе в кухне, я открыл левый ящик письменного его стола и выкрал оттуда браунинг, потом напился чаю и уехал к себе.

Было около девяти часов вечера. Я приехал домой. Все было как всегда. Из кухни пахло жареной бараниной, в коридоре стоял вечный, хорошо известный мне туман, в нем тускло горела под потолком лампочка. Я вошел к себе. Свет брызнул сверху, и тотчас же комната погрузилась в тьму. Перегорела лампочка.

— Всё одно к одному, и всё совершенно правильно, — сказал я сурово.

Я зажег керосинку на полу в углу. На листе бумаги написал: «Сим сообщаю, что браунинг № (забыл номер), скажем, такой-то, я украл у Парфена Ивановича (написал фамилию, № дома, улицу, все как полагается)». Подписался, лег на полу у керосинки. Смертельный ужас охватил меня. Умирать страшно. Тогда я представил себе наш коридор, баранину и бабку Пелагею, пожилого и «Пароходство», повеселил себя мыслью о том, как с грохотом будут ломать дверь в мою комнату и т. д.

Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил собачку. В это же время снизу послышались очень знакомые мне звуки, сипло заиграл оркестр, и тенор в граммофоне запел:

Но мне бог возвратит ли все?!

«Батюшки! «Фауст»! — подумал я. — Ну, уж это, действительно, вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу».

Оркестр то пропадал под полом, то появлялся, но тенор кричал все громче:

Проклинаю я жизнь, веру и все науки!

«Сейчас, сейчас, — думал я, — но как быстро он поет...»

Тенор крикнул отчаянно, затем грохнул оркестр.

Дрожащий палец лег на собачку, и в это мгновение грохот оглушил меня, сердце куда-то провалилось, мне показалось, что пламя вылетело из керосинки в потолок, я уронил револьвер.

Тут грохот повторился. Снизу донесся тяжкий басовый голос:

— Вот и я!

Я повернулся к двери.

ГЛАВА 4

ПРИ ШПАГЕ Я

В дверь стучали. Властно и повторно. Я сунул револьвер в карман брюк и слабо крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких сомнений, В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и разметанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо. Пера, правда, не было.

Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих глубоких калошах, а под мышкою держит портфель. «Это естественно, — помыслил я, — не может он в ином виде пройти по Москве в двадцатом веке».

— Рудольфи, — сказал злой дух тенором, а не басом.

Он, впрочем, мог и не представляться мне. Я его узнал. У меня в комнате находился один из самых приметных людей в литературном мире того времени, редактор-издатель единственного частного журнала «Родина», Илья Иванович Рудольфи.

Я поднялся с полу.

— А нельзя ли зажечь лампу? — спросил Рудольфы.

— К сожалению, не могу этого сделать, — отозвался я, — так как лампочка перегорела, а другой у меня нет.

Злой дух, принявший личину редактора, проделал один из своих нехитрых фокусов — вынул из портфеля тут же электрическую лампочку.

— Вы всегда носите лампочки с собой? — изумился я.

— Нет, — сурово объяснил дух, — простое совпадение — я только что был в магазине.

Когда комната осветилась и Рудольфи снял пальто, я проворно убрал со стола записку с признанием в краже револьвера, а дух сделал вид, что не заметил этого.

Сели. Помолчали.

— Вы написали роман? — строго осведомился наконец Рудольфи.

— Откуда вы знаете?

— Ликоспастов сказал.

— Видите ли, — заговорил я (Ликоспастов и есть тот самый пожилой), — действительно, я... но... словом, это плохой роман.

— Так, — сказал дух и внимательно поглядел на меня.

Тут оказалось, что никакой бороды у него не было. Тени пошутили.

— Покажите, — властно сказал Рудольфи.

— Ни за что, — отозвался я.

— По-ка-жи-те, — раздельно сказал Рудольфи.

— Его цензура не пропустит...

— Покажите.

— Он, видите ли, написан от руки, а у меня скверный почерк, буква «о» выходит как простая палочка, а...

И тут я сам не заметил, как руки мои открыли ящик, где лежал злополучный роман.

— Я любой почерк разбираю, как печатное, — пояснил Рудольфи, — это профессиональное... — И тетради оказались у него в руках.

Прошел час. Я сидел у керосинки, подогревая воду, а Рудольфи читал роман. Множество мыслей вертелось у меня в голове. Во-первых, я думал о Рудольфи. Надо сказать, что Рудольфи был замечательным редактором и попасть к нему в журнал считалось приятным и почетным. Меня должно было радовать то обстоятельство,

что редактор появился у меня хотя бы даже и в виде Мефистофеля. Но, с другой стороны, роман ему мог не понравиться, а это было бы неприятно... Кроме того, я чувствовал, что самоубийство, прерванное на самом интересном месте, теперь уж не состоится, и, следовательно, с завтрашнего же дня я опять окажусь в пучине бедствий. Кроме того, нужно было предложить чаю, а у меня не было масла. Вообще в голове была каша, в которую к тому же впутывался и зря украденный револьвер.

Рудольфи между тем глотал страницу за страницей, и я тщетно пытался узнать, какое впечатление роман производит на него. Лицо Рудольфи ровно ничего не выражало.

Когда он сделал антракт, чтобы протереть стекла очков, я к сказанным уже глупостям прибавил еще одну:

— А что говорил Ликоспастов о моем романе?

— Он говорил, что этот роман никуда не годится, — холодно ответил Рудольфи и перевернул страницу. («Вот какая сволочь Ликоспастов! Вместо того, чтобы поддержать друга и т. д.»)

В час ночи мы выпили чаю, а в два Рудольфи дочитал последнюю страницу. Я заерзал на диване.

— Так, — сказал Рудольфи.

Помолчали.

— Толстому подражаете, — сказал Рудольфи.

Я рассердился.

— Кому именно из Толстых? — спросил я. — Их было много... Алексею ли Константиновичу, известному писателю, Петру ли Андреевичу, поймавшему за границей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану Ивановичу или Льву Николаичу?

— Вы где учились?

Тут приходится открыть маленькую тайну. Дело в том, что я окончил в университете два факультета и скрывал это.

— Я окончил церковноприходскую школу, — сказал я, кашлянув.

— Вон как! — сказал Рудольфи, и улыбка тронула слегка его губы.

Потом он спросил:

— Сколько раз в неделю вы бреетесь?

— Семь раз.

— Извините за нескромность, — продолжал Рудольфи, — а как вы делаете, что у вас такой пробор?

— Бриолином смазываю голову. А позвольте спросить, почему все это...

— Бога ради, — ответил Рудольфи, — я просто так, — и добавил: — Интересно. Человек окончил приходскую школу, бреется каждый день и лежит на полу возле керосинки. Вы — трудный человек! — Затем он резко изменил голос и заговорил сурово: — Ваш роман Главлит не пропустит, и никто его не напечатает. Его не примут ни в «Зорях», ни в «Рассвете».

— Я это знаю, — сказал я твердо.

— И тем не менее я этот роман у вас беру, — сказал строго Рудольфи (сердце мое сделало перебой), — и заплачу вам (тут он назвал чудовищно маленькую сумму, забыл какую) за лист. Завтра он будет перепечатан на машинке.

— В нем четыреста страниц! — воскликнул я хрипло.

— Я разниму его на части, — железным голосом говорил Рудольфи, — и двенадцать машинисток в бюро перепечатают его завтра к вечеру.

Тут я перестал бунтовать и решил подчиниться Рудольфи.

— Переписка на ваш счет, — продолжал Рудольфи, а я только кивал головой, как фигурка, — затем: надо будет вычеркнуть три слова — на странице первой, семьдесят первой и триста второй.

Я заглянул в тетради и увидел, что первое слово было «Апокалипсис», второе — «архангелы», и третье — «дьявол». Я их покорно вычеркнул; правда, мне хотелось сказать, что это наивные вычеркивания, но я поглядел на Рудольфи и замолчал.

— Затем, — продолжал Рудольфи, — вы поедете со мною в Главлит. Причем я вас покорнейше прошу не произносить там ни одного слова.

Все-таки я обиделся.

— Если вы находите, что я могу сказать что-нибудь... — начал я мямлить с достоинством, — то я могу и дома посидеть...

Рудольфи никакого внимания не обратил на эту попытку возмущения и продолжал:

— Нет, вы не можете дома посидеть, а поедете со мною.

— Чего же я там буду делать?

— Вы будете сидеть на стуле, — командовал Рудоль-

фи, — и на все, что вам будут говорить, будете отвечать вежливой улыбкой...

— Но...

— А разговаривать буду я! — закончил Рудольфи.

Затем он попросил чистый лист бумаги, карандашом написал на нем что-то, что содержало в себе, как помню, несколько пунктов, сам это подписал, заставил подписать и меня, затем вынул из кармана две хрустящих денежных бумажки, тетради мои положил в портфель, и его не стало в комнате.

Я не спал всю ночь, ходил по комнате, смотрел бумажки на свет, пил холодный чай и представлял себе прилавки книжных магазинов. Множество народу входило в магазин, спрашивало книжку журнала. В домах сидели под лампами люди, читали книжку, некоторые вслух.

Боже мой! Как это глупо, как это глупо! Но я был тогда сравнительно молод, не следует смеяться надо мною.

ГЛАВА 5

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОБЫТИЯ

Украсть не трудно. На место положить — вот в чем штука. Имея в кармане браунинг в кобуре, я приехал к моему другу.

Сердце мое екнуло, когда еще сквозь дверь я услыхал его крики:

— Мамаша! А еще кто?..

Глухо слышался голос старушки, его матери:

— Водопроводчик...

— Что случилось? — спросил я, снимая пальто.

Друг оглянулся и шепнул:

— Револьвер сперли сегодня... Вот гады...

— Ай-яй-яй, — сказал я.

Старушка-мамаша носилась по всей маленькой квартире, ползала по полу в коридоре, заглядывая в какие-то корзины.

— Мамаша! Это глупо! Перестаньте по полу елозить!

— Сегодня? — спросил я радостно. (Он ошибся, револьвер пропал вчера, но ему почему-то казалось, что он его вчера ночью еще видел в столе.)

— А кто у вас был?

— Водопроводчик, — кричал мой друг.

— Парфеша! Не входил он в кабинет, — робко говорила мамаша, — прямо к крану прошел...

— Ах, мамаша! Ах, мамаша!

— Больше никого не было? А вчера кто был?

— И вчера никого не было! Только вы заходили, и больше никого.

И друг мой вдруг выпучил на меня глаза.

— Позвольте, — сказал я с достоинством.

— Ах! И до чего же вы обидчивые, эти интеллигенты! — вскричал друг. — Не думаю же я, что это вы сперли.

И тут же понесся смотреть, к какому крану проходил водопроводчик. При этом мамаша изображала водопроводчика и даже подражала его интонациям.

— Вот так вошел, — говорила старушка, — сказал «здравствуйте»,.. шапку повесил — и пошел...

— Куда пошел?..

Старушка пошла, подражая водопроводчику, в кухню, друг мой устремился за нею, я сделал одно ложное движение, якобы за ними, тотчас свернул в кабинет, положил браунинг не в левый, а в правый ящик стола и отправился в кухню.

— Где вы его держите? — спрашивал я участливо в кабинете.

Друг открыл левый ящик и показал пустое место.

— Не понимаю, — сказал я, пожимая плечами, — действительно, загадочная история, — да, ясно, что украли.

Мой друг окончательно расстроился.

— А все-таки я думаю, что его не украли, — сказал я через некоторое время, — ведь если никого не было, кто же может его украсть?

Друг сорвался с места и осмотрел карманы в старой шинели в передней. Там ничего не нашлось.

— По-видимому, украли, — сказал я задумчиво, — придется в милицию заявлять.

Друг что-то простонал.

— Куда-нибудь в другое место вы не могли его засунуть?

— Я его всегда кладу в одно и то же место! — нервничая, воскликнул мой приятель и в доказательство открыл средний ящик стола. Потом что-то пошептал губами, открыл левый и даже руку в него засунул, потом под ним нижний, а затем уже с проклятием открыл правый.

— Вот штука! — хрипел он, глядя на меня. — Вот штука Мамаша! Нашелся!

Он был необыкновенно счастлив в этот день и оставил меня обедать.

Ликвидировав висевший на моей совести вопрос с револьвером, я сделал шаг, который можно назвать рискованным, — бросил службу в «Вестнике пароходства».

Я переходил в другой мир, бывал у Рудольфи и стал встречать писателей, из которых некоторые имели уже крупную известность. Но все это теперь как-то смылось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки, в ней, все это я позабыл. И лишь не могу забыть одной вещи: это знакомства моего с издателем Рудольфи — Макаром Рвацким.

Дело в том, что у Рудольфи было все: и ум, и сметка, и даже некоторая эрудиция, у него только одного не было — денег. А между тем азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы то ни стало издавать толстый журнал. Без этого он умер бы, я полагаю.

В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров Москвы. Здесь помещался издатель Рвацкий, как пояснил мне Рудольфи. Поразило меня то, что вывеска на входе в помещение возвещала, что здесь — «Бюро фотографических принадлежностей».

Еще страннее было то, что никаких фотографических принадлежностей, за исключением нескольких отрезов ситцу и сукна, в газетную бумагу завернутых, не было в помещении.

Все оно кишело людьми. Все они были в пальто, в шляпах, оживленно разговаривали между собою. Я услыхал мельком два слова — «проволока» и «банки», страшно удивился, но и меня встретили удивленными взорами. Я сказал, что я к Рвацкому по делу. Меня немедленно и очень почтительно проводили за фанерную перегородку, где удивление мое возросло до наивысшей степени.

На письменном столе, за которым помещался Рвацкий, стояли нагроможденные одна на другую коробки с кильками.

Но сам Рвацкий не понравился мне еще более, нежели кильки в его издательстве. Рвацкий был человеком сухим,

худым, маленького роста, одетым для моего глаза, привыкшего к блузам в «Пароходстве», крайне странно. На нем была визитка, полосатые брюки, он был при грязном крахмальном воротничке, а воротничок при зеленом галстуке, а в галстуке этом была рубиновая булавка.

Рвацкий меня изумил, а я Рвацкого испугал или, вернее, расстроил, когда я объяснил, что пришел подписать договор с ним на печатание моего романа в издаваемом им журнале. Но тем не менее он быстро пришел в себя, взял принесенные мною два экземпляра договора, вынул самопишущее перо, подписал, не читая почти, оба и подпихнул мне оба экземпляра вместе с самопишущим пером. Я уже вооружился последним, как вдруг глянул на коробки с надписью «Килька отборная астраханская» и сетью, возле которой был рыболов с засученными штанами, и какая-то щемящая мысль вторглась в меня.

— Деньги мне уплатят сейчас же, как написано в договоре? — спросил я.

Рвацкий превратился весь в улыбку сладости, вежливости.

Он кашлянул и сказал:

— Через две недели ровно, сейчас маленькая заминка...

Я положил перо.

— Или через неделю, — поспешно сказал Рвацкий, — почему же вы не подписываете?

— Так мы уже тогда заодно и подпишем договор, — сказал я, — когда заминка уляжется.

Рвацкий горько улыбнулся, качая головой.

— Вы мне не доверяете? — спросил он.

— Помилуйте!

— Наконец, в среду! — сказал Рвацкий. — Если вы имеете нужду в деньгах.

— К сожалению, не могу.

— Важно подписать договор, — рассудительно сказал Рвацкий, — а деньги даже во вторник можно.

— К сожалению, не могу. — И тут я отодвинул договоры и застегнул пуговицу.

— Одну минуточку, ах, какой вы! — воскликнул Рвацкий. — А говорят еще, что писатели непрактичный народ.

И тут вдруг тоска изобразилась на его бледном лице, он встревоженно оглянулся, но вбежал какой-то моло-

дой человек и подал Рвацкому картонный билетик, завернутый в белую бумажку. «Это билет с плацкартой, — подумал я, — он куда-то едет...»

Краска проступила на щеках издателя, глаза его сверкнули, чего я никак не предполагал, что это может быть.

Говоря коротко, Рвацкий выдал мне ту сумму, которая была указана в договоре, а на остальные суммы написал мне векселя. Я в первый и в последний раз в жизни держал в руках векселя, выданные мне. (За вексельною бумагою куда-то бегали, причем я дожидался, сидя на каких-то ящиках, распространявших сильнейший запах сапожной кожи.) Мне очень польстило, что у меня векселя.

Дальше размыло в памяти месяца два. Помню только, что я у Рудольфи возмущался тем, что он послал меня к такому, как Рвацкий, что не может быть издатель с мутными глазами и рубиновой булавкой. Помню также, как екнуло мое сердце, когда Рудольфи сказал: «А покажите-ка векселя», — и как оно стало на место, когда он сказал сквозь зубы: «Все в порядке». Кроме того, никогда не забуду, как я приехал получать по первому из этих векселей. Началось с того, что вывеска «Бюро фотографических принадлежностей» оказалась несуществующей и была заменена вывескою «Бюро медицинских банок».

Я вошел и сказал:

— Мне нужно видеть Макара Борисовича Рвацкого.

Отлично помню, как подогнулись мои ноги, когда мне ответили, что М. Б. Рвацкий... за границей.

Ах, сердце, мое сердце!.. Но, впрочем, теперь это неважно.

Кратко опять-таки; за фанерной перегородкою был брат Рвацкого. (Рвацкий уехал за границу через десять минут после подписания договора со мною — помните плацкарту?) Полная противоположность по внешности своему брату, Алоизий Рвацкий, атлетически сложенный человек с тяжкими глазами, по векселю уплатил.

По второму через месяц я, проклиная жизнь, получил уже в каком-то официальном учреждении, куда векселя идут в протест (нотариальная контора, что ли, или банк, где были окошечки с сетками).

К третьему векселю я поумнел, пришел к второму Рвацкому за две недели до срока и сказал, что устал.

Мрачный брат Рвацкого впервые обратил на меня свои глаза и буркнул:

— Понимаю. А зачем вам ждать сроков? Можете и сейчас получить.

Вместо восьмисот рублей я получил четыреста и с великим облегчением отдал Рвацкому две продолговатые бумажки.

Ах, Рудольфи, Рудольфи! Спасибо вам и за Макара и за Алоизия. Впрочем, не будем забегать вперед, дальше будет еще хуже.

Впрочем, пальто я себе купил.

И наконец настал день, когда в мороз лютый я пришел в это же самое помещение. Это был вечер. Стосвечовая лампочка резала глаза нестерпимо. Под лампочкой за фанерной перегородкой не было никого из Рвацких (нужно ли говорить, что и второй уехал). Под этой лампочкой сидел в пальто Рудольфи, а перед ним на столе, и на полу, и под столом лежали серо-голубые книжки только что отпечатанного номера журнала. О, миг! Теперь-то мне это смешно, но тогда я был моложе.

У Рудольфи сияли глаза. Дело свое, надо сказать, он любил. Он был настоящий редактор.

Существуют такие молодые люди, и вы их, конечно, встречали в Москве. Эти молодые люди бывают в редакциях журналов в момент выхода номера, но они не писатели. Они видны бывают на всех генеральных репетициях, во всех театрах, хотя они и не актеры, они бывают на выставках художников, но сами не пишут. Оперных примадонн они называют не по фамилиям, а по имени и отчеству, по имени же и отчеству называют лиц, занимающих ответственные должности, хотя с ними лично и не знакомы. В Большом театре на премьере они, протискиваясь между седьмым и восьмым рядами, машут приветливо ручкой кому-то в бельэтаже, в «Метрополе» они сидят за столиком у самого фонтана, и разноцветные лампочки освещают их штаны с раструбами.

Один из них сидел перед Рудольфи.

— Ну-с, как же вам понравилась очередная книжка? — спрашивал Рудольфи у молодого человека.

— Илья Иваныч! — прочувственно воскликнул молодой человек, вертя в руках книжку, — очаровательная книжка, но, Илья Иваныч, позвольте вам сказать со всею откровенностью, мы, ваши читатели, не понима-

ем, как вы с вашим вкусом могли поместить эту вещь Максудова.

«Вот так номер!» — подумал я, холодея

Но Рудольфи заговорщически подмигнул мне и спросил:

— А что такое?

— Помилуйте — восклицал молодой человек. — Ведь, во-первых... вы позволите мне быть откровенным, Илья Иванович?

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал, сияя, Рудольфи.

— Во-первых, это элементарно неграмотно... Я берусь вам подчеркнуть двадцать мест, где просто грубые синтаксические ошибки.

«Надо будет перечитать сейчас же», — подумал я, замирая.

— Ну, а стиль! — кричал молодой человек. — Боже мой, какой ужасный стиль! Кроме того, все это эклектично, подражательно, беззубо как-то. Дешевая философия, скольжение по поверхности... Плохо, плоско, Илья Иванович! Кроме того, он подражает...

— Кому? — спросил Рудольфи.

— Аверченко — вскричал молодой человек, вертя и поворачивая книжку и пальцем раздирая слипшиеся страницы, — самому обыкновенному Аверченко! Да вот я вам покажу. — Тут молодой человек начал рыться в книжке, причем я, как гусь, вытянув шею, следил за его руками. Но он, к сожалению, не нашел того, что искал.

«Найду дома», — думал я.

— Найду дома, — посулил молодой человек, — книжка испорчена, ей-богу, Илья Иванович. Он же просто неграмотен! Кто он такой? Где он учился?

— Он говорит, что кончил церковноприходскую школу, — сверкая глазами, ответил Рудольфи, — а впрочем, спросите у него сами. Прошу вас, познакомьтесь.

Зеленая гниловатая плесень выступила на щеках молодого человека, а глаза его наполнились непередаваемым ужасом.

Я раскланялся с молодым человеком, он оскалил зубы, страдание исказило его приятные черты. Он охнул и выхватил из кармана носовой платок, и тут я увидел, что по щеке у него побежала кровь. Я остолбенел.

— Что с вами? — вскричал Рудольфи.

— Гвоздь, — ответил молодой человек.

— Ну, я пошел, — сказал я суконным языком, стараясь не глядеть на молодого человека.

— Возьмите книги.

Я взял пачку авторских экземпляров, пожал руку Рудольфи, откланялся молодому человеку, причем тот, не переставая прижимать платок к щеке, уронил на пол книжку и палку, задом тронулся к выходу, ударился локтем об стол и вышел.

Снег шел крупный, елочный снег.

Не стоит описывать, как я просидел всю ночь над книгой, перечитывая роман в разных местах. Достойно внимания, что временами роман нравился, а затем тотчас же казался отвратительным. К утру я был от него в ужасе.

События следующего дня мне памятны. Утром у меня был удачно обокраденный друг, которому я подарил один экземпляр романа, а вечером я отправился на вечеринку, организованную группой писателей по поводу важнейшего события — благополучного прибытия из-за границы знаменитого литератора Измаила Александровича Бондаревского. Торжество умножалось и тем, что одновременно чествовать предполагалось и другого знаменитого литератора — Егора Агапёнова, вернувшегося из своей поездки в Китай.

И одевался, и шел я на вечер в великом возбуждении. Как-никак это был тот новый для меня мир, в который я стремился. Этот мир должен был открыться передо мною, и притом с самой наилучшей стороны — на вечеринке должны были быть первейшие представители литературы, весь ее цвет.

И точно, когда я вошел в квартиру, я испытал радостный подъем.

Первым, кто бросился мне в глаза, был тот самый вчерашний молодой человек, пропоровший себе ухо гвоздем. Я узнал его, несмотря на то, что он был весь забинтован свежими марлевыми бинтами.

Мне он обрадовался, как родному, и долго жал руки, присовокупляя, что всю ночь читал он мой роман, причем он ему начал нравиться.

— Я тоже, — сказал я ему, — читал всю ночь, но он мне перестал нравиться.

Мы тепло разговорились, при этом молодой человек сообщил мне, что будет заливная осетрина, вообще был весел и возбужден.

Я оглянулся — новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная, стол был накрыт на двадцать пять примерно кувертов; хрусталь играл огнями; даже в черной икре сверкали искры; зеленые свежие огурцы порождали глуповато-веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем. Тут же меня познакомили с известнейшим автором Лесосековым и с Тунским — новеллистом. Дам было мало, но все же были.

Ликоспастов был тише воды, ниже травы, и тут же как-то я ощутил, что, пожалуй, он будет рангом пониже прочих, что с начинающим даже русокудрым Лесосековым его уже сравнивать нельзя, не говоря уже, конечно, об Агапёнове или Измаиле Александровиче.

Ликоспастов пробрался ко мне, мы поздоровались.

— Ну, что ж, — вздохнув почему-то, сказал Ликоспастов, — поздравляю. Поздравляю от души. И прямо тебе скажу — ловок ты, брат. Руку бы дал на отсечение, что роман твой напечатать нельзя, просто невозможно. Как ты Рудольфи обработал, ума не приложу. Но предсказываю тебе, что ты далеко пойдешь! А поглядеть на тебя — тихоня... Но в тихом...

Тут поздравления Ликоспастова были прерваны громкими звонками с парадного, и исполнявший обязанности хозяина критик Конкин (дело происходило в его квартире) вскричал: «Он!»

И верно: это оказался Измаил Александрович. В передней послышался звучный голос, потом звуки лобызаний, и в столовую вошел маленького роста гражданин в целлулоидовом воротнике, в куртке. Человек был сконфужен, тих, вежлив и в руках держал, почему-то не оставив ее в передней, фуражку с бархатным околышем и пыльным круглым следом от гражданской кокарды.

«Позвольте, тут какая-то путаница...» — подумал я, до того не вязался вид вошедшего человека с здоровым хохотом и словом «расстегаи», которое донеслось из передней.

Путаница, оказалось, и была. Следом за вошедшим, нежно обнимая за талию, Конкин вовлек в столовую

высокого и плотного красавца со светлой вьющейся и холеной бородой, в расчесанных кудрях.

Присутствовавший здесь беллетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно (вообще все были одеты хорошо), но костюм Фиалкова и сравнивать нельзя было с одеждой Измаила Александровича. Добротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм облекал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол:

— Га! Черти!

И тут порхнул и смешок и аплодисмент и послышались поцелуи. Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кой-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белою ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал.

Меня, вероятно принимая за кого-то другого, расцеловал трижды, причем от Измаила Александровича запахло коньяком, одеколоном и сигарой.

— Баклажанов! — вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. — Рекомендую. Баклажанов, друг мой.

Баклажанов улыбнулся мученической улыбкой и, от смущения в чужом, большом обществе, надел свою фуражку на шоколадную статую девицы, державшей в руках электрическую лампочку.

— Я его с собой притащил! — продолжал Измаил Александрович. — Нечего ему дома сидеть. Рекомендую — чудный малый и величайший эрудит. И, вспомните мое слово, всех нас он за пояс заткнет не позже чем через год! Зачем же ты, черт, на нее фуражку надел? Баклажанов?

Баклажанов сгорел со стыда и ткнулся было здороваться, но у него ничего не вышло, потому что вскипел водоворот усаживаний, и уж между размещающимися потекла вспухшая лакированная кулебяка.

Пир пошел как-то сразу дружно, весело, бодро.

— Расстегаи подвели! — слышал я голос Измаила Александровича. — Зачем же мы с тобою, Баклажанов, расстегаи ели?

Звон хрусталя ласкал слух, показалось, что в люстре прибавили свету. Все взоры после третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы: «Про Париж! Про Париж!»

— Ну, были, например, на автомобильной выставке, — рассказывал Измаил Александрович, — открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи... между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка. Ну, француз, конечно, речь говорит... на скорую руку спичишко. Шампанское, натурально. Только смотрю — Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало! Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять! Скандалище колоссальный. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает, но как тут не заметишь... Фрак, шапокляк, штаны тысячу франков стоят. Все вдребезги... Ну, вывели его, напоили водой, увезли...

— Еще! Еще! — кричали за столом.

В это время уже горничная в белом фартуке обносила осетриной. Звенело сильней, уже слышались голоса. Но мне мучительно хотелось знать про Париж, и я в звоне, стуке и восклицаниях ухом ловил рассказы Измаила Александровича.

— Баклажанов! Почему ты не ешь?..

— Дальше! Просим! — кричал молодой человек, аплодируя...

— Дальше что было?

— Ну, а дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зелизе, нос к носу... Табло! И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!..

— Ай-яй-яй!

— Да-с... Баклажанов! Не спи ты, черт этакий!.. Ну-те-с, и от волнения, он неврастеник ж-жуткий, промахнись, и попал даме, совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку...

— На Шан-Зелизе?!

— Подумаешь! Там это просто! А у ней одна шляпка три тысячи франков! Ну конечно, господин какой-то его палкой по роже... Скандалище жуткий!

Тут хлопнуло в углу, и желтое абрау засветилось передо мною в узком бокале... Помнится, пили за здоровье Измаила Александровича.

И опять я слушал про Париж.

— Он, не смущаясь, говорит ему: «Сколько?» А тот... ж-жулик! (Измаил Александрович даже зажмурился.) «Восемь, говорит, тысяч!» А тот ему в ответ: «Получите!» И вынимает руку и тут же показывает ему шиш!

— В Гранд-Опера́?!

— Подумаешь! Плевал он на Гранд-Опера́! Тут двое министров во втором ряду.

— Ну, а тот? Тот-то что? — хохоча, спрашивал кто-то.

— По матери, конечно!

— Батюшки!

— Ну, вывели обоих, там это просто...

Пир пошел шире. Уже плыл над столом, наслаивался дым. Уже под ногой я ощутил что-то мягкое и скользкое и, наклонившись, увидел, что это кусок лососины, и как он попал под ноги — неизвестно. Хохот заглушал слова Измаила Александровича, и поразительные дальнейшие парижские рассказы мне остались неизвестными.

Я не успел как следует задуматься над странностями заграничной жизни, как звонок возвестил прибытие Егора Агапёнова. Тут уж было сумбурновато. Из соседней комнаты слышалось пианино, тихо кто-то наигрывал фокстрот, и я видел, как топтался мой молодой человек, держа, прижав к себе, даму.

Егор Агапёнов вошел бодро, вошел размашисто, и следом за ним вошел китаец, маленький, сухой, желтоватый, в очках с черным ободком. За китайцем дама в желтом платье и крепкий бородатый мужчина по имени Василий Петрович.

— Измашь тут? — воскликнул Егор и устремился к Измаилу Александровичу.

Тот затрясся от радостного смеха, воскликнул:

— Га! Егор! — и погрузил свою бороду в плечо Агапёнова. Китаец ласково улыбался всем, но никакого звука не произносил, как и в дальнейшем не произнес.

— Познакомьтесь с моим другом китайцем! — кричал Егор, отцеловавшись с Измаилом Александровичем.

Но дальше стало шумно, путано. Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно. Кофе в чашке стояло на письменном столе. Василий Петрович пил коньяк. Видел я спящего Баклажанова в кресле.

Накурено было крепко. И как-то почувствовалось, что пора, собственно, и отправиться домой.

И совершенно неожиданно у меня произошел разговор с Агапёновым. Я заметил, что, как только дело пошло к трем часам ночи, он стал проявлять признаки какого-то беспокойства. И кое с кем начинал о чем-то заговаривать, причем, сколько я понимаю, в тумане и дыму получал твердые отказы. Я, погрузившись в кресло у письменного стола, пил кофе, не понимая, почему мне щемило душу и почему Париж вдруг представился каким-то скучным, так что даже и побывать в нем вдруг перестало хотеться.

И тут надо мною склонилось широкое лицо с круглейшими очками. Это был Агапёнов.

— Максудов? — спросил он.

— Да.

— Слышал, слышал, — сказал Агапенов. — Рудольфи говорил. Вы, говорят, роман напечатали?

— Да.

— Здоровый роман, говорят. Ух, Максудов! — вдруг зашептал Агапенов, подмигивая, — обратите внимание на этот персонаж... Видите?

— Это — с бородой?

— Он, он, деверь мой.

— Писатель? — спросил я, изучая Василия Петровича, который, улыбаясь тревожно-ласковой улыбкой, пил коньяк.

— Нет! Кооператор из Тетюшей... Максудов, не теряйте времени, — шептал Агапенов, — жалеть будете. Такой тип поразительный! Вам в ваших работах он необходим. Вы из него в одну ночь можете настричь десяток рассказов и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр, бронзовый век! Истории рассказывает потрясающе! Вы представляете, чего он там в своих Тетюшах насмотрелся. Ловите его, а то другие перехватят и изгадят.

Василий Петрович, почувствовав, что речь идет о нем, улыбнулся еще тревожнее и выпил.

— Да самое лучшее... Идея! — хрипел Агапенов. — Я вас сейчас познакомлю... Вы холостой? — тревожно спросил Агапенов.

— Холостой... — сказал я, выпучив глаза на Агапёнова.

Радость выразилась на лице Агапёнова.

— Чудесно! Вы познакомитесь, и ведите вы его к себе ночевать! Идея! У вас диван какой-нибудь есть? На диване он заснет, ничего ему не сделается! А через два дня он уедет.

Вследствие ошеломления я не нашелся ничего ответить, кроме одного; — У меня один диван...

— Широкий? — спросил тревожно Агапенов.

Но тут я уже немного пришел в себя. И очень вовремя, потому что Василий Петрович уж начал ерзать с явной готовностью познакомиться, а Агапенов начал меня тянуть за руку.

— Простите, — сказал я, — к сожалению, ни в каком случае не могу его взять. Я живу в проходной комнате в чужой квартире, а за ширмой спят дети хозяйки (я хотел добавить еще, что у них скарлатина, потом решил, что это лишнее нагромождение лжи, и все-таки добавил)... и у них скарлатина.

— Василий! — вскричал Агапёнов, — у тебя была скарлатина?

Сколько раз в жизни мне приходилось слышать слово «интеллигент» по своему адресу. Не спорю, я, может быть, и заслужил это печальное название. Но тут я все же собрал силы и, не успел Василий Петрович с молящей улыбкой ответить: «Бы...» — как я твердо сказал Агапёнову:

— Категорически отказываюсь взять его. Не могу.

— Как-нибудь, — тихо шепнул Агапёнов, — а?

— Не могу.

Агапёнов повесил голову, пожевал губами.

— Но, позвольте, он же к вам приехал? Где же он остановился?

— Да у меня и остановился, черт его возьми, — сказал тоскливо Агапёнов.

— Ну, и...

— Да теща ко мне с сестрой приехала сегодня, поймите, милый человек, а тут китаец еще... И носит их черт, — внезапно добавил Агапёнов, — этих деверей. Сидел бы в Тетюшах...

И тут Агапёнов ушел от меня.

Смутная тревога овладела мною почему-то, и, не прощаясь ни с кем, кроме Конкина, я покинул квартиру.

ГЛАВА 6

КАТАСТРОФА

Да, эта глава будет, пожалуй, самой короткой. На рассвете я почувствовал, что по спине моей прошел озноб. Потом он повторился. Я скорчился и влез под одеяло с головой, стало легче, но только на минуту. Вдруг сделалось жарко. Потом опять холодно, и до того, что зубы застучали. У меня был термометр. Он показал 38,8. Стало быть, я заболел.

Совсем под утро я попытался заснуть и до сих пор помню это утро. Только что закрою глаза, как ко мне наклоняется лицо в очках и бубнит: «Возьми», а я повторяю только одно: «Нет, не возьму». Василий Петрович не то снился, не то действительно поместился в моей комнате, причем ужас заключался в том, что он наливал коньяк себе, а пил его я. Париж стал совершенно невыносим. Гранд-Опера, а в ней кто-то показывает кукиш. Сложит, покажет и спрячет опять. Сложит, покажет.

— Я хочу сказать правду, — бормотал я, когда день уже разлился за драной нестираной шторой, — полную правду. Я вчера видел новый мир, и этот мир. мне был противен. Я в него не пойду. Он — чужой мир. Отвратительный мир! Надо держать это в полном секрете, т-сс!

Губы мои высохли как-то необыкновенно быстро. Я, неизвестно зачем, положил рядом с собою книжку журнала; с целью читать, надо полагать. Но ничего не прочел. Хотел поставить еще раз термометр, но не поставил. Термометр лежит рядом на стуле, а мне за ним почему-то надо идти куда-то. Потом стал совсем забываться. Лицо моего сослуживца из «Пароходства» я помню, а лицо доктора расплылось. Словом, это был грипп. Несколько дней я проплавал в жару, а потом температура упала. Я перестал видеть Шан-Зелизе, и никто не плевал на шляпку, и Париж не растягивался на сто верст.

Мне захотелось есть, и добрая соседка, жена мастера, сварила мне бульон. Я его пил из чашки с отбитой ручкой, пытался читать свое собственное сочинение, но читал строк по десяти и оставлял это занятие.

На двенадцатый примерно день я был здоров. Меня удивило то, что Рудольфи не навестил меня, хотя я и написал ему записку, чтобы он пришел ко мне.

На двенадцатый день я вышел из дому, пошел в «Бюро медицинских банок» и увидел на нем большой замок. Тогда я сел в трамвай и долго ехал, держась за раму от слабости и дыша на замерзшее стекло. Приехал туда, где жил Рудольфи. Позвонил. Не открывают. Еще раз позвонил. Открыл старичок и поглядел на меня с отвращением.

— Рудольфи дома?

Старичок посмотрел на носки своих ночных туфель и ответил:

— Нету его.

На мои вопросы — куда он девался, когда будет, и даже на нелепый вопрос, почему замок висит на «Бюро», старичок как-то мялся, осведомился, кто я таков. Я объяснил все, даже про роман рассказал. Тогда старичок сказал:

— Он уехал в Америку неделю тому назад.

Можете убить меня, если я знаю, куда девался Рудольфи и почему.

Куда девался журнал, что произошло с «Бюро», какая Америка, как он уехал, не знаю и никогда не узнаю. Кто таков старичок, черт его знает!

Под влиянием слабости после гриппа в истощенном моем мозгу мелькнула даже мысль, что не видел ли я во сне все — то есть и самого Рудольфи, и напечатанный роман, и Шан-Зелизе, и Василия Петровича, и ухо, распоротое гвоздем. Но по приезде домой я нашел у себя девять голубых книжек. Был напечатан роман. Был. Вот он.

Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. Так что ни у кого не мог я справиться о Рудольфи.

Съездив еще раз в «Бюро», я убедился, что никакого бюро там уже нет, а есть кафе со столиками, покрытыми клеенкой.

Нет, вы объясните мне, куда девались несколько сот книжек? Где они?

Такого загадочного случая, как с этим романом и Рудольфи, никогда в моей жизни не было.

ГЛАВА 7

Самым разумным в таких странных обстоятельствах представлялось просто все это забыть и перестать думать о Рудольфи, и об исчезновении вместе с ним и номера журнала. Я так и поступил.

Однако это не избавляло меня от жестокой необходимости жить дальше. Я проверил свое прошлое.

— Итак, — говорил я самому себе, во время мартовской вьюги сидя у керосинки, — я побывал в следующих мирах.

Мир первый: университетская лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах. Этот мир я покинул во время гражданской войны. Не станем спорить о том, поступил ли я легкомысленно или нет. После невероятных приключений (хотя, впрочем, почему невероятных? — кто же не переживал невероятных приключений во время гражданской войны?), словом, после этого я оказался в «Пароходстве». В силу какой причины? Не будем таиться. Я лелеял мысль стать писателем. Ну и что же? Я покинул и мир «Пароходства». И, собственно говоря, открылся передо мною мир, в который я стремился, и вот такая оказия, что он мне показался сразу же нестерпимым. Как представлю себе Париж, так какая-то судорога проходит во мне и не могу влезть в дверь. А все этот чертов Василий Петрович! И сидел бы в Тетюшах! И как ни талантлив Измаил Александрович, но уж очень противно в Париже. Так, стало быть, остался я в какой-то пустоте? Именно так.

Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело, а на вечеринки можешь и не ходить. Дело не в вечеринках, а в том-то вся и соль, что я решительно не знал, об чем этот второй роман должен был быть? Что поведать человечеству? Вот в чем вся беда.

Кстати, о романе. Глянем правде в глаза. Его никто не читал. Не мог читать, ибо исчез Рудольфи, явно не успев распространить книжку. А мой друг, которому я презентовал экземпляр, и он не читал. Уверяю вас.

Да, кстати: я уверен, что прочитав эти строки, многие назовут меня интеллигентом и неврастеником. Насчет первого не спорю, а насчет второго предупреждаю серьезным образом, что это заблуждение. У меня и тени неврастении нет. И вообще, раньше чем этим словом

швыряться, надо бы узнать поточнее, что такое неврастения, да рассказы Измаила Александровича послушать. Но это в сторону. Нужно было прежде всего жить, а для этого нужно было деньги зарабатывать.

Итак, прекратив мартовскую болтовню, я пошел на заработки. Тут меня жизнь взяла за шиворот и опять привела в «Пароходство», как блудного сына. Я сказал секретарю, что роман написал. Его это не тронуло. Одним словом, я условился, что буду писать четыре очерка в месяц. Получая соответствующее законам вознаграждение за это. Таким образом, некоторая материальная база намечалась. План заключался в том, чтобы сваливать как можно скорее с плеч эти очерки и по ночам опять-таки писать.

Первая часть была мною выполнена, а со второй получилось черт знает что. Прежде всего я отправился в книжные магазины и купил произведения современников. Мне хотелось узнать, о чем они пишут, как они пишут, в чем волшебный секрет этого ремесла.

При покупке я не щадил своих средств, покупая все самое лучшее, что только оказалось на рынке. В первую голову я приобрел произведения Измаила Александровича, книжку Агапёнова, два романа Лесосекова, два сборника рассказов Флавиана Фиалкова и многое еще. Первым долгом я, конечно, бросился на Измаила Александровича. Неприятное предчувствие кольнуло меня, лишь только я глянул на обложку. Книжка называлась «Парижские кусочки». Все они мне оказались знакомыми от первого кусочка до последнего. Я узнал и проклятого Кондюкова, которого стошнило на автомобильной выставке, и тех двух, которые подрались на Шан-Зелизе (один был, оказывается, Помадкин, другой Шерстяников), и скандалиста, показавшего кукиш в Гранд-Опера, Измаил Александрович писал с необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость, и поселил у меня чувство какого-то ужаса в отношении Парижа.

Агапёнов, оказывается, успел выпустить книжку рассказов за время, которое прошло после вечеринки, — «Тетюшанская гомоза». Нетрудно было догадаться, что Василия Петровича не удалось устроить ночевать нигде, ночевал он у Агапёнова, тому самому пришлось использовать истории бездомного деверя. Все было понятно, за исключением совершенно непонятного слова «гомоза».

Дважды я принимался читать роман Лесосекова «Лебеди», два раза дочитывал до сорок пятой страницы и начинал читать с начала, потому что забывал, что было в начале. Это меня серьезно испугало. Что-то неладное творилось у меня в голове — я перестал или еще не умел понимать серьезные вещи. И я, отложив Лесосекова, принялся за Флавиана и даже Ликоспастова и в последнем налетел на сюрприз. Именно, читая рассказ, в котором был описан некий журналист (рассказ назывался «Жилец по ордеру»), я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружиной, промокашку на столе... Иначе говоря, в рассказе был описан... я!

Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза... Ну, я, одним словом! Но, клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист и чепухи такой, как в этом рассказе, никогда не произносил! Невыразима была моя грусть по прочтении ликоспастовского рассказа, и решил я все же взглянуть со стороны на себя построже, и за это решение очень обязан Ликоспастову.

Однако грусть и размышления мои по поводу моего несовершенства ничего, собственно, не стоили, по сравнению с ужасным сознанием, что я ничего не извлек: из книжек самых наилучших писателей, путей, так сказать, не обнаружил, огней впереди не увидал, и все мне опостылело. И, как червь, начала сосать мне сердце прескверная мысль, что никакого, собственно, писателя из меня не выйдет. И тут же столкнулся с еще более ужасной мыслью о том, что... а ну, как выйдет такой, как Ликоспастов? Осмелев, скажу и больше: а вдруг даже такой, как Агапёнов? Гомоза? Что такое гомоза? И зачем кафры? Все это чепуха, уверяю вас!

Вне очерков я много проводил времени на диване, читая разные книжки, которые, по мере приобретения, укладывал на хромоногой этажерке и на столе и попросту в углу. Со своим собственным произведением я поступил так: уложил оставшиеся девять экземпляров и рукопись в ящики стола, запер их на ключ и решил никогда, никогда в жизни к ним не возвращаться.

Вьюга разбудила меня однажды. Вьюжный был март и бушевал, хотя и шел уже к концу. И опять, как тогда, я проснулся в слезах! Какая слабость, ах, какая слабость!

И опять те же люди, и опять дальний город, и бок рояля, и выстрелы, и еще какой-то поверженный на снегу.

Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись. Но что же делать с ними?

Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра, и не раз я жалел, что кошки уже нет на свете и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы!

С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. Правда, если бы кому-нибудь я сказал бы об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу. Сказали бы, что играют внизу под полом, и даже сказали бы, возможно, что именно играют. Но я не обратил бы внимания на эти слова. Нет, нет! Играют на рояле у меня на столе, здесь происходит тихий перезвон клавишей. Но этого мало. Когда затихает дом и внизу ровно ни на чем не играют, я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые и печальные голоса и ноют, ноют. О нет, это не под полом! Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папахах. И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист.

Вон бежит, задыхаясь, человечек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади человечка, выстрел, он, охнув, падает навзничь, как будто острым ножом его спереди ударили в сердце. Он неподвижно лежит, и от головы растекается черная лужица. А в высоте луна, а вдали цепочкой грустные, красноватые огоньки в селении.

Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу... А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда?

И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать?

А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу — напевает. Пишу — напевает.

Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить на вечеринки, ни в театр ходить не нужно.

Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу.

В апреле месяце, когда исчез снег со двора, первая картинка была разработана. Герои мои и двигались, и ходили, и говорили.

В конце апреля и пришло письмо Ильчина.

И теперь, когда уже известна читателю история романа, я могу продолжать повествование с того момента, когда я встретился с Ильчиным.

ГЛАВА 8

ЗОЛОТОЙ КОНЬ

— Да, — хитро и таинственно прищуриваясь, повторил Ильчин, — я ваш роман прочитал.

Во все глаза я глядел на собеседника своего, то трепетно озаряемого, то потухающего. За окнами хлестала вода. Впервые в жизни я видел перед собою читателя.

— А как же вы его достали? Видите ли... Книжка... — я намекал на роман.

— Вы Гришу Айвазовского знаете?

— Нет.

Ильчин поднял брови, он изумился.

— Гриша заведует литературной частью в Когорте Дружных.

— А что это за Когорта?

Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня.

Полоснуло и потухло, и Ильчин продолжал:

— Когорта — это театр. Вы никогда в нем не были?

— Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве.

Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление.

— Гриша был в восторге, — почему-то еще таинственнее говорил Ильчин, — и дал мне книжку. Прекрасный роман.

Не зная, как поступать в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину.

— И знаете ли, какая мысль пришла мне в голову, — зашептал Ильчин, от таинственности прищуривая левый глаз, — из этого романа вам нужно сделать пьесу!

«Перст судьбы!» — подумал я и сказал:

— Вы знаете, я уже начал ее писать.

Ильчин изумился до того, что правою рукою стал чесать левое ухо и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собою.

— Чудесно, чудесно! Вы непременно продолжайте, не останавливаясь ни на секунду. Вы Мишу Панина знаете?

— Нет.

— Наш заведующий литературной частью.

— Ага.

Дальше Ильчин сказал, что, ввиду того что в журнале напечатана только треть романа, а знать продолжение до зарезу необходимо, мне следует прочитать по рукописи это продолжение ему и Мише, а также Евлампии Петровне, и, наученный опытом, уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер.

Величайшее волнение возбуждали во мне все проекты Ильчина.

А тот шептал:

— Вы напишете пьесу, а мы ее и поставим. Вот будет замечательно! А?

Грудь моя волновалась, я был пьян дневной грозою, какими-то предчувствиями. А Ильчин говорил:

— И знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать... А?

Узнав, что я и старика не знаю, он даже головою покачал, и в глазах у него написалось: «Вот дитя природы!»

— Иван Васильевич! — шепнул он. — Иван Васильевич! Как? Вы не знаете его? Не слыхали, что он стоит во главе Независимого? — И добавил: — Ну и ну!..

В голове у меня все вертелось, и главным образом от того, что окружающий мир меня волновал чем-то. Как будто в давних сновидениях я видел его уже, и вот я оказался в нем.

Мы с Ильчиным вышли из комнаты, прошли зал с камином, и до пьяной радости мне понравился этот зал. Небо расчистилось, и вдруг луч лег на паркет. А потом мы прошли мимо странных дверей, и, видя мою заинтересованность, Ильчин соблазнительно поманил меня пальцем внутрь. Шаги пропали, настало беззвучие и полная подземная тьма. Спасительная рука моего спутника вытащила меня, в продолговатом разрезе посветлело искусственно — это спутник мой раздвинул другие портьеры, и мы оказались в маленьком зрительном зале мест на триста. Под потолком тускло горело две лампы в люстре, занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине, поблескивая чуть-чуть, высился золотой, поднявшийся на дыбы, конь.

— У нас выходной, — шептал торжественно, как в храме, Ильчин, потом он оказался у другого уха и продолжал: — У молодежи пьеска разойдется, лучше требовать нельзя. Вы не смотрите, что зал кажется маленьким, на самом деле он большой, а сборы здесь, между прочим, полные. А если старика удастся переупрямить, то, чего доброго, не пошла бы она и на большую сцену! А?

«Он соблазняет меня, — думал я, и сердце замирало и вздрагивало от предчувствий, — но почему он совсем не то говорит? Право, не важны эти большие сборы, а важен только этот золотой конь, и чрезвычайно интересен загадочнейший старик, которого нужно уламывать и переупрямить для того, чтобы пьеса пошла...»

— Этот мир мой... — шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух.

— А?

— Нет, я так.

Расстались мы с Ильчиным, причем я унес от него записочку:

«Досточтимый Петр Петрович!

Будьте добры обязательно устроить автору «Черного снега» место на «Фаворита».

Ваш душевно *Ильчин*».

— Это называется контрамарка, — объяснил мне Ильчин, и я с волнением покинул здание, унося первую в жизни своей контрамарку.

С этого дня жизнь моя резко изменилась. Я днем лихорадочно работал над пьесой, причем в дневном свете картинки из страниц уже не появлялись, коробка раздвинулась до размеров учебной сцены.

Вечером я с нетерпением ждал свидания с золотым конем.

Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» или дурна. Да это меня и не интересовало. Но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка и в коробке выходили одетые в костюмы XVIII века. Золотой конь стоял сбоку сцены, действующие лица иногда выходили и садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды, а я наслаждался.

Горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление и нужно было уходить на улицу. Мне очень хотелось надеть такой же точно кафтан, как и на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый пьяный нос, в табачном кафтане, с тростью и табакеркою в руке и сказать очень смешное, и это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносили другие смешное, сочиненное другим, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого.

На «Фаворите» я, вызывая изумление мрачного и замкнутого Петра Петровича, сидящего в окошечке с надписью «Администратор Учебной сцены», побывал три раза, причем в первый раз во 2-м ряду, во второй — в 6-м, а в третий — в 11-м. А Ильчин исправно продолжал снабжать меня записочками, и я посмотрел еще одну пьесу, где выходили в испанских костюмах и где

один актер играл слугу так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот.

Затем настал май, и как-то вечером соединились наконец и Евлампия Петровна, и Миша, и Ильчин, и я. Мы попали в узенькую комнату в этом же здании Учебной сцены. Окно уже было раскрыто, и город давал знать о себе гудками.

Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах, а Миша поразил меня своим смехом. Он начинал смеяться внезапно — «ах, ах, ах», — причем тогда все останавливали разговор и ждали. Когда же отсмеивался, то вдруг старел, умолкал.

«Какие траурные глаза у него, — я начинал по своей болезненной привычке фантазировать. — Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, — думал я, — и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою». Мне Миша очень понравился.

И Миша, и Ильчин, и Евлампия Петровна показали свое необыкновенное терпение, и в один присест я прочитал им ту треть романа, которая следовала за напечатанною. Вдруг, почувствовав угрызения совести, я остановился, сказав, что дальше и так все понятно. Было поздно.

Между слушателями произошел разговор, и, хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен.

Миша имел обыкновение, обсуждая что-либо, бегать по комнате, иногда внезапно останавливаясь.

— Осип Иваныч? — тихо спросил Ильчин, щурясь.

— Ни-ни, — отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел.

— Вообще старейшины,.. — начал Ильчин.

— Не думаю, — буркнул Миша.

Дальше слышалось: «Да ведь на одних Галиных да на подсобляющем не очень-то...» (Это — Евлампия Петровна.)

— Простите, — заговорил Миша резко и стал рубить рукой, — я давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре!

— А как же Сивцев Вражек? (Евлампия Петровна.)

— Да и Индия, тоже неизвестно, как отнесется к этому дельцу, — добавил Ильчин.

— На кругу бы сразу все поставить, — тихо шептал Ильчин, — они так с музычкой и поедут.

— Сивцев! — многозначительно сказала Евлампия Петровна.

Тут на лице моем выразилось, очевидно, полное отчаяние, потому что слушатели оставили свой непонятный разговор и обратились ко мне.

— Мы все убедительно просим, Сергей Леонтьевич, — сказал Миша, — чтобы пьеса была готова не позже августа... Нам очень, очень нужно, чтобы к началу сезона ее уже можно было прочесть.

Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу. Чем дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя давно уже не звучала, роман потух и лежал мертвый, как будто и нелюбимый. Цветные фигурки не шевелились на столе, никто не приходил на помощь. Перед глазами теперь вставала коробка Учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро, но, по-видимому, им так понравилось на ней рядом с золотым конем, что уходить они никуда не собирались, и события развивались, а конца им не виделось. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе.

Я набрался храбрости и ночью прекратил течение событий. В пьесе было тринадцать картин.

ГЛАВА 9

НАЧАЛОСЬ

Надо мною я видел, поднимая голову, матовый шар, полный света, сбоку серебряный колоссальных размеров венок в стеклянном шкафу с лентами и надписью: «Любимому Независимому Театру от московских присяжных...» (одно слово загнулось), перед собою я видел улыбающиеся актерские лица, по большей части меняющиеся.

Издалека доносилась тишина, а изредка какое-то дружное тоскливое пение, потом какой-то шум, как в бане. Там шел спектакль, пока я читал свою пьесу.

Лоб я постоянно вытирал платком и видел перед собою коренастого плотного человека, гладко выбритого, с густыми волосами на голове. Он стоял в дверях и не спускал с меня глаз, как будто что-то обдумывая.

Он только и запомнился, все остальное прыгало, светилось и менялось; неизменен был, кроме того, венок. Он резче всего помнится. Таково было чтение, но уже не на Учебной сцене, а на Главной.

Уходя ночью, я, обернувшись, посмотрел, где я был. В центре города, там, где рядом с театром гастрономический магазин, а напротив «Бандажи и корсеты», стояло ничем не примечательное здание, похожее на черепаху и с матовыми, кубической формы, фонарями.

На следующий день это здание предстало передо мною в осенних сумерках внутри. Я, помнится, шел по мягкому ковру солдатского сукна вокруг чего-то, что, как мне казалось, было внутренней стеной зрительного зала, и очень много народу мимо меня сновало. Начинался сезон.

И я шел по беззвучному сукну и пришел в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный, где застал пожилого, приятного же человека с бритым лицом и веселыми глазами. Это и был заведующий приемом пьес Антон Антонович Княжевич.

Над письменным столом Княжевича висела яркая радостная картинка... помнится, занавес на ней был с пунцовыми кистями, а за занавесом бледно-зеленый веселый сад...

— А, товарищ Максудов, — приветливо вскричал Княжевич, склоняя голову набок, — а мы уж вас поджидаем, поджидаем! Прошу покорнейше, садитесь, садитесь!

И я сел в приятнейшее кожаное кресло.

— Слышал, слышал, слышал вашу пиэсу, — говорил, улыбаясь, Княжевич и почему-то развел руками, — прекрасная пьеса! Правда, таких пьес мы никогда не ставили, ну, а эту вдруг возьмем да и поставим, да и поставим...

Чем больше говорил Княжевич, тем веселее становились его глаза.

— ...и разбогатеете до ужаса, — продолжал Княжевич, — в каретах будете ездить! Да-с, в каретах!

«Однако, — думалось мне, — он сложный человек, этот Княжевич... очень сложный...»

И чем больше веселился Княжевич, я становился, к удивлению моему, все напряженнее.

Поговорив еще со мною, Княжевич позвонил.

— Мы вас сейчас отправим к Гавриилу Степановичу, прямо ему, так сказать, в руки передадим, в руки! Чудеснейший человек Гавриил-то наш Степанович... Мухи не обидит! Мухи!

Но вошедший на звонок человек в зеленых петлицах выразился так:

— Гавриил Степанович еще не прибыли в театр.

— А не прибыл, так прибудет, — радостно, как и раньше, отозвался Княжевич, — не пройдет и получасу, как прибудет! А вы, пока суд да дело, погуляйте по театру, полюбуйтесь, повеселитесь, попейте чаю в буфете да бутербродов-то, бутербродов-то не жалейте, не обижайте нашего буфетчика Ермолая Ивановича!

И я пошел гулять по театру. Хождение по сукну доставляло мне физическое удовольствие, и еще радовала таинственная полутьма повсюду и тишина.

В полутьме я сделал еще одно знакомство. Человек моих примерно лет, худой, высокий, подошел ко мне и назвал себя:

— Петр Бомбардов.

Бомбардов был актером Независимого Театра, сказал, что слышал мою пьесу и что, по его мнению, это хорошая пьеса.

С первого же момента я почему-то подружился с Бомбардовым. Он произвел на меня впечатление очень умного, наблюдательного человека.

— Не хотите ли посмотреть нашу галерею портретов в фойе? — спросил вежливо Бомбардов.

Я поблагодарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, также устланное серым сукном. Простенки фойе в несколько рядов были увешаны портретами и увеличенными фотографиями в золоченых овальных рамах.

Из первой рамы на нас глянула писанная маслом женщина лет тридцати, с экстатическими глазами, во взбитой крутой челке, декольтированная.

— Сара Бернар, — объяснил Бомбардов.

Рядом с прославленной актрисой в раме помещалось фотографическое изображение человека с усами.

— Севастьянов Андрей Пахомович, заведующий осветительными приборами театра, — вежливо сказал Бомбардов.

Соседа Севастьянова я узнал сам, это был Мольер.

За Мольером помещалась дама в крошечной, набок надетой шляпке блюдечком, в косынке, застегнутой стрелой на груди, и с кружевным платочком, который дама держала в руке, оттопырив мизинец.

— Людмила Сильвестровна Пряхина, артистка нашего театра, — сказал Бомбардов, причем какой-то огонек сверкнул у него в глазах. Но, покосившись на меня, Бомбардов ничего не прибавил.

— Виноват, а это кто же? — удивился я, глядя на жестокое лицо человека с лавровыми листьями в кудрявой голове. Человек был в тоге и в руке держал пятиструнную лиру.

— Император Нерон, — сказал Бомбардов, и опять глаз его сверкнул и погас.

— А почему?..

— По приказу Ивана Васильевича, — сказал Бомбардов, сохраняя неподвижность лица. — Нерон был певец и артист.

— Так, так, так.

За Нероном помещался Грибоедов, за Грибоедовым — Шекспир в отложном крахмальном воротничке, за ним — неизвестный, оказавшийся Плисовым, заведующим поворотным кругом в театре в течение сорока лет.

Далее шли Живокини, Гольдони, Бомарше, Стасов, Щепкин. А потом из рамы глянул на меня лихо заломленный уланский кивер, под ним барское лицо, нафиксатуаренные усы, генеральские кавалерийские эполеты, красный лацкан, лядунка.

— Покойный генерал-майор Клавдий Александрович Комаровский-Эшаппар де Бионкур, командир лейб-гвардии уланского его величества полка. — И тут же, видя мой интерес, Бомбардов рассказал:

— История его совершенно необыкновенная. Как-то приехал он на два дня из Питера в Москву, пообедал у Тестова, а вечером попал в наш театр. Ну, натурально,

сел в первом ряду, смотрит... Не помню, какую пьесу играли, но очевидцы рассказывали, что во время картины, где был изображен лес, с генералом что-то сделалось. Лес в закате, птицы перед сном засвистели, за сценой благовест к вечерне в селенье дальнем... Сморят, генерал сидит и батистовым платком утирает глаза.

После спектакля пошел в кабинет к Аристарху Платоновичу. Капельдинер потом рассказывал, что, входя в кабинет, генерал сказал глухо и страшно: «Научите, что делать? ! »

Ну, тут они затворились с Аристархом Платоновичем...

— Виноват, а кто это Аристарх Платонович? — спросил я.

Бомбардов удивленно поглядел на меня, но стер удивление с лица тотчас же и объяснил:

— Во главе нашего театра стоят двое директоров — Иван Васильевич и Аристарх Платонович. Вы, простите, не москвич?

— Нет, я — нет... Продолжайте, пожалуйста.

— ...заперлись, и о чем говорили, неизвестно, но известно, что ночью же генерал послал в Петербург телеграмму такого содержания: «Петербург. Его величеству. Почувствовав призвание быть актером вашего величества Независимого Театра, всеподданнейше прошу об отставке. Комаровский-Бионкур».

Я ахнул и спросил:

— И что же было?!

— Компот такой получился, что просто прелесть, — ответил Бомбардов. — Александру Третьему телеграмму подали в два часа ночи. Специально разбудили. Тот в одном белье, борода, крестик... говорит: «Давайте сюда! Что там с моим Эшаппаром?» Прочитал и две минуты не мог ничего сказать, только побагровел и сопел, потом говорит: «Дайте карандаш!» — и тут же начертал резолюцию на телеграмме: «Чтоб духу его в Петербурге не было. Александр». И лег спать.

А генерал на другой день в визитке, в брюках пришел прямо на репетицию.

Резолюцию покрыли лаком, а после революции телеграмму передали в театр. Вы можете видеть ее в нашем музее редкостей.

— Какие же роли он играл? — спросил я.

— Царей, полководцев и камердинеров в богатых домах, — ответил Бомбардов, — у нас, знаете ли, все больше насчет Островского, купцы там... А потом долго играли «Власть тьмы»... Ну, натурально, манеры у нас, сами понимаете... А он все насквозь знал, даме ли платок, налить ли вина, по-французски говорил идеально, лучше французов... И была у него еще страсть: до ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисах на стремянке и свистел соловьем. Вот какая странная история!

— Нет! Я не согласен с вами! — воскликнул я горячо. — У вас так хорошо в театре, что, будь я на месте генерала, я поступил бы точно так же...

— Каратыгин, Тальони, — перечислял Бомбардов, ведя меня от портрета к портрету, — Екатерина Вторая, Карузо, Феофан Прокопович, Игорь Северянин, Баттистини, Эврипид, заведующая женским пошивочным цехом Бобылева.

Но тут беззвучной рысью вбежал в фойе один из тех, что были в зеленых петлицах, и шепотом доложил, что Гавриил Степанович в театр прибыли. Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем произнес загадочные слова тихо:

— Будьте тверды... — И его размыло где-то в полумраке.

Я же двинулся вслед за человеком в петлицах, который иноходью шел впереди меня, изредка подманивая меня пальцем и улыбаясь болезненной улыбкой.

На стенах широкого коридора, по которому двигались мы, через каждые десять шагов встречались огненные электрические надписи: «Тишина! Рядом репетируют!»

Человек в золотом пенсне и тоже в зеленых петлицах, сидевший в конце этого идущего по кругу коридора в кресле, увидев, что меня ведут, вскочил, шепотом гаркнул: «Здравия желаю!» — и распахнул тяжелую портьеру с золотым вышитым вензелем театра «НТ».

Тут я оказался в шатре. Зеленый шелк затягивал потолок, радиусами расходясь от центра, в котором горел хрустальный фонарь. Стояла тут мягкая шелковая мебель. Еще портьера, а за нею застекленная матовым стеклом дверь. Мой новый проводник в пенсне к ней не приблизился, а сделал жест, означавший «постучите-с!», и тотчас пропал.

Я стукнул тихо, взялся за ручку, сделанную в виде головы посеребренного орла, засипела пневматическая пружина, и дверь впустила меня. Я лицом ткнулся в портьеру, запутался, откинул ее...

Меня не будет, меня не будет очень скоро! Я решился, но все же это страшновато... Но, умирая, я буду вспоминать кабинет, в котором меня принял управляющий материальным фондом театра Гавриил Степанович.

Лишь только я вошел, нежно прозвенели и заиграли менуэт громадные часы в левом углу.

В глаза мне бросились разные огни. Зеленый с письменного стола, то есть, вернее, не стола, а бюро, то есть не бюро, а какого-то очень сложного сооружения с десятками ящиков, с вертикальными отделениями для писем, с другою лампою на гнущейся серебристой ноге, с электрической зажигалкой для сигар.

Адский красный огонь из-под стола палисандрового дерева, на котором три телефонных аппарата. Крохотный белый огонек с маленького столика с плоской заграничной машинкой, с четвертым телефонным аппаратом и стопкой золотообрезной бумаги с гербами «НТ». Огонь отраженный, с потолка.

Пол кабинета был затянут сукном, но не солдатским, а бильярдным, а поверх его лежал вишневый, в вершок толщины, ковер. Колоссальный диван с подушками и турецкий кальян возле него. На дворе был день в центре Москвы, но ни один луч, ни один звук не проникал в кабинет снаружи через окно, наглухо завешенное в три слоя портьерами. Здесь была вечная мудрая ночь, здесь пахло кожей, сигарой, духами. Нагретый воздух ласкал лицо и руки.

На стене, затянутой тисненным золотом сафьяном, висел большой фотографический портрет человека с артистической шевелюрой, прищуренными глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. Я догадался, что это Иван Васильевич или Аристарх Платонович, но кто именно из двух, не знал.

Резко повернувшись на винте табурета, ко мне обратился небольшого роста человек с французской черной бородкой, с усами-стрелами, торчащими к глазам.

— Максудов, — сказал я.

— Извините, — отозвался новый знакомый высоким

тенорком и показал, что сейчас, мол, только дочитаю бумагу и...

...он дочитал бумагу, сбросил пенсне на черном шнурке, протер утомленные глаза и, окончательно повернувшись спиной к бюро, уставился на меня, ничего не говоря. Он прямо и откровенно смотрел мне в глаза, внимательно изучая меня, как изучают новый, только что приобретенный механизм. Он не скрывал, что изучает меня, он даже прищурился. Я отвел глаза — не помогло, я стал ерзать на диване... Наконец я подумал: «Эге-ге...» — и сам, правда сделав над собою очень большое усилие, уставился в ответ в глаза человеку. При этом смутное неудовольствие почувствовал почему-то по адресу Княжевича.

«Что за странность, — думал я, — или он слепой, этот Княжевич... мухи... мухи... не знаю... не знаю... Стальные, глубоко посаженные маленькие глаза... в них железная воля, дьявольская смелость, непреклонная решимость... французская бородка... почему он мухи не обидит?.. Он жутко похож на предводителя мушкетеров у Дюма... Как его звали... Забыл, черт возьми!»

Дальнейшее молчание стало нестерпимым, и прервал его Гавриил Степанович. Он игриво почему-то улыбнулся и вдруг пожал мне коленку.

— Ну, что ж, договорчик, стало быть, надо подписать? — заговорил он.

Вольт на табурете, обратный вольт, и в руках у Гавриила Степановича оказался договор.

— Только уж не знаю, как его подписывать, не согласовав с Иваном Васильевичем? — И тут Гавриил Степанович бросил невольный краткий взгляд на портрет.

«Ага! Ну, слава богу... теперь знаю, — подумал я, — это Иван Васильевич».

— Не было б беды? — продолжал Гавриил Степанович. — Ну, уж для вас разве! — Он улыбнулся дружелюбно.

Тут без стука открылась дверь, откинулась портьера, и вошла дама с властным лицом южного типа, глянула на меня. Я поклонился ей, сказал: «Максудов»...

Дама пожала мне крепко, по-мужски, руку, ответила:

— Августа Менажраки, — села на табурет, вынула из кармашка зеленого джемпера золотой мундштук, закурила и тихо застучала на машинке.

Я прочитал договор, откровенно говорю, что ничего не понял и понять не старался.

Мне хотелось сказать: «Играйте мою пьесу, мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно, в течение двух часов лежать на этом диване, вдыхать медовый запах табака, слушать звон часов и мечтать!»

По счастью, я этого не произнес.

Запомнилось, что часто в договоре попадались слова «буде» и «поелику» и что каждый пункт начинался словами: «Автор не имеет права».

Автор не имел права передавать свою пьесу в другой театр Москвы.

Автор не имел права передавать свою пьесу в какой-либо театр города Ленинграда.

Автор не имел прав передавать свою пьесу ни в какой город РСФСР.

Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город УССР.

Автор не имел права печатать свою пьесу. Автор не имел права чего-то требовать от театра, а чего — я забыл (пункт 21-й).

Автор не имел права протестовать против чего-то, и чего — тоже не помню.

Один, впрочем, пункт нарушал единообразие этого документа — это был пункт 57-й. Он начинался словами: «Автор обязуется». Согласно этому пункту, автор обязывался «безоговорочно и незамедлительно производить в своей пьесе поправки, изменения, добавления или сокращения, буде дирекция, или какие-либо комиссии, или учреждения, или организации, или корпорации, или отдельные лица, облеченные надлежащими на то полномочиями, потребуют таковых, — не требуя за сие никакого вознаграждения, кроме того, каковое указано в пункте 15-м».

Обратив свое внимание на этот пункт, я увидел, что в нем после слов «вознаграждение» следовало пустое место.

Это место я вопросительно подчеркнул ногтем.

— А какое вознаграждение вы считали бы для себя приемлемым? — спросил Гавриил Степанович, не сводя с меня глаз.

— Антон Антонович Княжевич, — сказал я, — сказал, что мне дадут две тысячи рублей...

Мой собеседник уважительно наклонил голову.

— Так, — молвил он, помолчал и добавил: — Эх, деньги, деньги! Сколько зла из-за них в мире! Все мы только и думаем о деньгах, а вот о душе подумал ли кто?

Я до того во время моей трудной жизни отвык от таких сентенций, что признаться, растерялся... подумал: «А кто знает, может, Княжевич и прав... Просто я зачерствел и стал подозрителен...» Чтобы соблюсти приличие, я испустил вздох, а собеседник ответил мне, в свою очередь, вздохом, потом вдруг игриво подмигнул мне, что совершенно не вязалось со вздохом, и шепнул интимно:

— Четыреста рубликов? А? Только для вас? А?

Должен признаться, что я огорчился. Дело в том, что у меня как раз не было ни копейки денег и я очень рассчитывал на эти две тысячи.

— А может быть, можно тысячу восемьсот? — спросил я, — Княжевич говорил...

— Популярности ищет, — горько отозвался Гавриил Степанович.

Тут в дверь стукнули, и человек в зеленых петлицах внес поднос, покрытый белой салфеткой. На подносе помещался серебряный кофейник, молочник, две фарфоровые чашки, апельсинного цвета снаружи и золоченые внутри, два бутерброда с зернистой икрой, два с оранжевым прозрачным балыком, два с сыром, два с холодным ростбифом.

— Вы отнесли пакет Ивану Васильевичу? — спросила вошедшего Августа Менажраки.

Тот изменился в лице и покосил поднос.

— Я, Августа Авдеевна, в буфет бегал, а Игнутов с пакетом побежал, — заговорил он.

— Я не Игнутову приказывала, а вам, — сказала Менажраки, — это не игнутовское дело пакеты Ивану Васильевичу относить. Игнутов глуп, что-нибудь перепутает, не так скажет... Вы, что же, хотите, чтобы у Ивана Васильевича температура поднялась?

— Убить хочет, — холодно сказал Гавриил Степанович.

Человек с подносом тихо простонал и уронил ложечку.

— Где Пакин был в то время, как вы пропадали в буфете? — спросила Августа Авдеевна.

— Пакин за машиной побежал, — объяснил спрашиваемый, — я в буфет побежал, говорю Игнутову — «беги к Ивану Васильевичу».

— А Бобков?

— Бобков за билетами бегал.

— Поставьте здесь! — сказала Августа Авдеевна, нажала кнопку, и из стены выскочила столовая доска.

Человек в петлицах обрадовался, покинул поднос, задом откинул портьеру, ногой открыл дверь и вдавился в нее.

— О душе, о душе подумайте, Клюквин! — вдогонку ему крикнул Гавриил Степанович и, повернувшись ко мне, интимно сказал:

— Четыреста двадцать пять. А?

Августа Авдеевна надкусила бутерброд и тихо застучала одним пальцем.

— А может быть, тысячу триста? Мне, право, неловко, но я сейчас не при деньгах, а мне портному платить...

— Вот этот костюм шил? — спросил Гавриил Степанович, указывая на мои штаны.

— Да.

— И сшил-то, шельма, плохо, — заметил Гавриил Степанович, — гоните вы его в шею!

— Но, видите ли...

— У нас, — затрудняясь, сказал Гавриил Степанович, — как-то и прецедентов-то не было, чтобы мы авторам деньги при договоре выдавали, но уж для вас... четыреста двадцать пять!

— Тысячу двести, — бодрее отозвался я, — без них мне не выбраться... трудные обстоятельства...

— А вы на бегах не пробовали играть? — участливо спросил Гавриил Степанович.

— Нет, — с сожалением ответил я.

— У нас один актер тоже запутался, поехал на бега и, представьте, выиграл полторы тысячи. А у нас вам смысла нет брать. Дружески говорю, переберете — пропадете! Эх, деньги! И зачем они? Вот у меня их нету, и так легко у меня на душе, так спокойно... — И Гавриил Степанович вывернул карман, в котором, действительно, денег не было, а была связка ключей на цепочке.

— Тысячу, — сказал я.

— Эх, пропади все пропадом! — лихо вскричал Гавриил Степанович. — Пусть меня потом хоть расказнят, но выдам вам пятьсот рублей. Подписывайте!

Я подписал договор, причем Гавриил Степанович разъяснил мне, что деньги, которые будут даны мне, являются авансом, каковой я обязуюсь погасить из первых же спектаклей. Уговорились, что сегодня я получу семьдесят пять рублей, через два дня — сто рублей, потом в субботу — еще сто, а остальные — четырнадцатого.

Боже! Какой прозаической, какой унылой показалась мне улица после кабинета. Моросило, подвода с дровами застряла в воротах, и ломовой кричал на лошадь страшным голосом, граждане шли с недовольными из-за погоды лицами. Я несся домой, стараясь не видеть картин печальной прозы. Заветный договор хранился у моего сердца.

В своей комнате я застал своего приятеля (смотри историю с револьвером).

Я мокрыми руками вытащил из-за пазухи договор, вскричал:

— Читайте!

Друг мой прочитал договор и, к великому моему удивлению, рассердился на меня.

— Это что за филькина грамота? Вы что, голова садовая, подписываете? — спросил он меня.

— Вы в театральных делах ничего не понимаете, стало быть, и не говорите! — рассердился и я.

— Что такое — «обязуется, обязуется», а они обязуются хоть в чем-нибудь? — забурчал мой друг.

Я горячо стал рассказывать ему о том, что такое картинная галерея, какой душевный человек Гавриил Степанович, упомянул о Саре Бернар и генерале Комаровском. Я хотел передать, как звенит менуэт в часах, как дымится кофе, как тихо, как волшебно звучат шаги на сукне, но часы били у меня в голове, я сам-то видел и золотой мундштук, и адский огонь в электрической печке, и даже императора Нерона, но ничего этого передать не сумел.

— Это Нерон у них составляет договоры? — дико сострил мой друг.

— Да ну вас! — вскричал я и вырвал у него договор.

Порешили позавтракать, послали Дусиного брата в магазин.

Шел осенний дождик. Какая ветчина была, какое масло! Минуты счастья.

Московский климат известен своими капризами. Через два дня был прекрасный, как бы летний, теплый день. И я спешил в Независимый. Со сладким чувством, предвкушая получку ста рублей, я приблизился к Театру и увидел в средних дверях скромную афишу.

Я прочитал:

Репертуар, намеченный в текущем сезоне:

Эсхил — «Агамемнон»
Софокл — «Филоктет»
Лопе де Вега — «Сети Фенизы»
Шекспир — «Король Лир»
Шиллер — «Орлеанская дева»
Островский — «Не от мира сего»
Максудов — «Черный снег».

Открывши рот, я стоял на тротуаре, — и удивляюсь, почему у меня не вытащили бумажник в это время. Меня толкали, говорили что-то неприятное, а я все стоял, созерцая афишу. Затем я отошел в сторонку, намереваясь увидеть, какое впечатление производит афиша на проходящих граждан.

Выяснилось, что не производит никакого. Если не считать трех-четырех, взглянувших на афишу, можно сказать, что никто ее и не читал.

Но не прошло и пяти минут, как я был вознагражден сторицей за свое ожидание. В потоке шедших к театру я отчетливо разглядел крупную голову Егора Агапёнова. Шел он к театру с целой свитой, в которой мелькнул Ликоспастов с трубкой в зубах и неизвестный с толстым приятным лицом. Последним мыкался кафр в летнем, необыкновенном желтом пальто и почему-то без шляпы. Я ушел глубже в нишу, где стояла незрячая статуя, и смотрел.

Компания поравнялась с афишей и остановилась. Не знаю, как описать то, что произошло с Ликоспастовым. Он первый задержался и прочел. Улыбка еще играла на его лице, еще слова какого-то анекдота договаривали его губы. Вот он дошел до «Сетей Фенизы». Вдруг Ликоспастов стал бледен и как-то сразу постарел. На лице его выразился неподдельный ужас.

Агапёнов прочитал, сказал: «Гм...»

Толстый неизвестный заморгал глазами... «Он припоминает, где он слышал мою фамилию...»

Кафр стал спрашивать по-английски, что увидели его спутники...

Агапёнов сказал: «Афиш, афиш», — и стал чертить в воздухе четырехугольник. Кафр мотал головой, ничего не понимая.

Публика шла валом и то заслоняла, то открывала головы компании. Слова то долетали до меня, го тонули в уличном шуме.

Ликоспастов повернулся к Агапёнову и сказал:

— Нет, вы видели, Егор Нилыч? Что ж это такое? — Он тоскливо огляделся. — Да они с ума сошли!..

Ветер сдул конец фразы.

Доносились клочья то агапёновского баса, то ликоспастовского тенора.

— ...Да откуда он взялся?.. Да я же его и открыл... Тот самый... Гу... гу... гу... Жуткий тип...

Я вышел из ниши и пошел прямо на читавших.

Ликоспастов первый увидел меня, и меня поразило то изменение, которое произошло в его глазах. Это были ликоспастовские глаза, но что-то в них появилось новое, отчужденное, легла какая-то пропасть между нами...

— Ну, брат, — вскричал Ликоспастов, — ну, брат! Благодарю, не ожидал! Эсхил, Софокл и ты! Как ты это проделал, не понимаю, но это гениально! Ну, теперь ты, конечно, приятелей узнавать не будешь! Где уж нам с Шекспирами водить дружбу!

— А ты бы перестал дурака валять! — сказал я робко.

— Ну вот, слова уж сказать нельзя! Экий ты, ей-богу! Ну, я зла на тебя не питаю. Давай почеломкаемся, старик! — И я ощутил прикосновение щеки Ликоспастова, усеянной короткой проволокой.

— Познакомьтесь! — И я познакомился с толстым, не спускавшим с меня глаз. Тот сказал: «Крупп».

Познакомился я и с кафром, который произнес очень длинную фразу на ломаном английском языке. Так как этой фразы я не понял, то ничего кафру и не сказал.

— На Учебной сцене, конечно, играть будут? — допытывался Ликоспастов.

— Не знаю, — ответил я, — говорят, что на Главной.

Опять побледнел Ликоспастов и тоскливо глянул в сияющее небо.

— Ну что ж, — сказал он хрипло, — давай бог. Давай, давай. Может быть, тут тебя постигнет удача. Не вышло с романом, кто знает, может быть, с пьесой выйдет. Только ты не загордись. Помни: нет ничего хуже, чем друзей забывать!

Крупп глядел на меня и почему-то становился все задумчивее; причем я заметил, что он внимательнее всего изучает мои волосы и нос.

Надо было расставаться. Это было тягостно. Егор, пожимая мне руку, осведомился, прочел ли я его книгу. Я похолодел от страху и сказал, что не читал. Тут побледнел Егор.

— Где уж ему читать, — заговорил Ликоспастов, — у него времени нету современную литературу читать... Ну, шучу, шучу...

— Вы прочтите, — веско сказал Егор, — хорошая книжица получилась.

Я вошел в подъезд бельэтажа. Окно, выходящее на улицу, было открыто. Человек с зелеными петлицами протирал его тряпкой. Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донесся голос Ликоспастова:

— Бьешься... бьешься, как рыба об лед... Обидно!

Афиша все перевернула у меня в голове, и я чувствовал только одно, что пьеса моя, по существу дела, чрезвычайно, между нами говоря, плоха и что что-то надо бы предпринять, но что — неизвестно.

...И вот у лестницы, ведущей в бельэтаж, передо мною предстал коренастый блондин с решительным лицом и встревоженными глазами. Блондин держал пухлый портфель.

— Товарищ Максудов? — спросил блондин.

— Да, я...

— Ищу вас по всему театру, — заговорил новый знакомый, — позвольте представиться — режиссер Фома Стриж. Ну, все в порядочке. Не волнуйтесь и не беспокойтесь, пьеса ваша в хороших руках. Договор подписали?

— Да.

— Теперь вы наш, — решительно продолжал Стриж. Глаза его сверкали, — вам бы вот что сделать, заключить бы с нами договор на всю вашу грядущую продукцию! На всю жизнь! Чтобы вся она шла к нам. Ежели желаете, мы это сейчас же сделаем. Плюнуть раз! — И Стриж плюнул в плевательницу. — Нуте-с, ставить пье-

су буду я. Мы ее в два месяца обломаем. Пятнадцатого декабря покажем генеральную. Шиллер нас не задержит. С Шиллером дело гладкое...

— Виноват, — сказал я робко, — а мне говорили, что Евлампия Петровна будет ставить...

Стриж изменился в лице.

— Какая такая Евлампия Петровна? — сурово спросил он меня. — Никаких Евлампий. — Голос его стал металлическим. — Евлампия не имеет сюда отношения, она с Ильчиным «На дворе во флигеле» будет ставить. У меня твердая договоренность с Иваном Васильевичем! А ежели кто подкоп поведет, то я в Индию напишу! Заказным, ежели уж на то пошло, — угрожающе закричал Фома Стриж, почему-то впадая в беспокойство. — Давайте сюда экземпляр, — скомандовал он мне, протягивая руку.

Я объяснил, что экземпляр еще не переписан.

— Об чем же они думали? — возмущенно оглядываясь, вскричал Стриж. — Вы у Поликсены Торопецкой в предбаннике были?

Я ничего не понял и только дико глядел на Стрижа.

— Не были? Сегодня она выходная. Завтра же захватите экземпляр, идите к ней, моим именем действуйте! Смело!

Тут очень воспитанный, картавый изящный человек появился рядом и сказал вежливо, но настойчиво:

— В репетиционный зал прошу, Фома Сергеевич! Начинаем.

И Фома перехватил портфель под мышку и скрылся, крикнув на прощанье мне:

— Завтра же в предбанник! Моим именем!

А я остался стоять и долго стоял неподвижно.

ГЛАВА 10

СЦЕНЫ В ПРЕДБАННИКЕ

Осенило! Осенило! В пьесе моей было тринадцать картин. Сидя у себя в комнатушке, я держал перед собою старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно, очень изумляя соседа за стенкой. По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает три часа. Тут я сообразил, что во время спектакля бывают антракты, во время

которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на двадцать минут, но положения не спасло. Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. Так, например, стоит актриса и, плача, поправляет в вазе букет. Говорить она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома — одно, а произносить его со сцены — совершенно иное дело.

Надо было еще что-то выбрасывать из пьесы, а что — неизвестно. Все мне казалось важным, а, кроме того, стоило наметить что-нибудь к изгнанию, как все с трудом построенное здание начинало сыпаться, и мне снилось, что падают карнизы и обваливаются балконы, и были эти сны вещие.

Тогда я изгнал одно действующее лицо вон, отчего одна картина как-то скособочилась, потом совсем вылетела, и стало одиннадцать картин.

Дальше, как я ни ломал голову, как ни курил, ничего сократить не мог. У меня каждый день болел левый висок. Поняв, что дальше ничего не выйдет, решил дело предоставить его естественному течению.

И тогда я отправился к Поликсене Торопецкой.

«Нет, без Бомбардова мне не обойтись...» — думалось мне.

И Бомбардов весьма помог мне. Он объяснил, что и эта уже вторично попадающаяся Индия, и предбанник — это вовсе не бред и не послышалось мне. Теперь окончательно выяснилось, что во главе Независимого Театра стояли двое директоров: Иван, как я уже знал, Васильевич и Аристарх Платонович...

— Скажите, кстати, почему в кабинете, где я подписывал договор, только один портрет — Ивана Васильевича?

Тут Бомбардов, обычно очень бойкий, замялся.

— Почему?.. Внизу? Гм... гм... нет... Аристарх Платонович... он... там... его портрет наверху...

Я понял, что Бомбардов еще не привык ко мне, стесняется меня. Это было ясно по этому невразумительному ответу. И я не стал расспрашивать из деликатности... «Этот мир чарует, но он полон загадок...» — думал я.

Индия? Это очень просто. Аристарх Платонович в настоящее время находился в Индии, вот Фома и соби-

рался ему писать заказным. Что касается предбанника, то это актерская шутка. Так они прозвали (и это привилось) комнату перед верхним директорским кабинетом, в которой работала Поликсена Васильевна Торопецкая. Она — секретарь Аристарха Платоновича...

— А Августа Авдеевна?

— Ну, натурально, Ивана Васильевича.

— Ага, ага...

— Ага-то оно ага, — сказал, задумчиво поглядывая на меня, Бомбардов, — но вы, я вам это очень советую, постарайтесь произвести на Торопецкую хорошее впечатление.

— Да я не умею!

— Нет, уж вы постарайтесь!

Держа свернутый в трубку манускрипт, я поднялся в верхний отдел театра и дошел до того места, где, согласно указаниям, помещался предбанник.

Перед предбанником были какие-то сени с диваном, тут я остановился, поволновался, поправил галстук, размышляя о том, как мне произвести на Поликсену Торопецкую хорошее впечатление. И тут же мне показалось, что из предбанника слышатся рыдания. «Это мне показалось...» — подумал я и вошел в предбанник, причем сразу выяснилось, что мне ничуть не показалось. Я догадался, что дама с великолепным цветом лица и в алом джемпере за желтой конторкой и есть Поликсена Торопецкая, и рыдала именно она.

Ошеломленный и незамеченный, я остановился в дверях.

Слезы текли по щекам Торопецкой, в одной руке она комкала платок, другой стучала по конторке. Рябой, плотно сколоченный человек с зелеными петлицами, с блуждающими от ужаса и горя глазами, стоял перед конторкой, тыча руками в воздух.

— Поликсена Васильевна! — диким от отчаяния голосом восклицал человек. — Поликсена Васильевна! Не подписали еще! Завтра подпишут!

— Это подло! — вскричала Поликсена Торопецкая. — Вы поступили подло, Демьян Кузьмич! Подло!

— Поликсена Васильевна!

— Это нижние подвели интригу под Аристарха Платоновича, пользуясь тем, что он в Индии, а вы помогали им!

— Поликсена Васильевна! Матушка! — закричал страшным голосом человек. — Что вы говорите! Чтобы я под благодетеля своего...

— Ничего не хочу слушать, — закричала Торопецкая, — все ложь, презренная ложь! Вас подкупили!

Услыхав это, Демьян Кузьмич крикнул:

— Поли... Поликсена, — и вдруг зарыдал сам страшным, глухим, лающим басом.

А Поликсена взмахнула рукой, чтобы треснуть по конторке, треснула и всадила себе в ладонь кончик пера, торчащего из вазочки. Тут Поликсена взвизгнула тихо, выскочила из-за конторки, повалилась в кресло и засучила ножками, обутыми в заграничные туфли со стеклянными бриллиантами на пряжках.

Демьян Кузьмич даже не вскрикнул, а как-то взвыл утробно:

— Батюшки! Доктора! — и кинулся вон, а за ним кинулся и я в сени.

Через минуту мимо меня пробежал человек в сером пиджачном костюме, с марлей и склянкой в руке и скрылся в предбаннике.

Я слышал его крик:

— Дорогая! Успокойтесь!

— Что случилось? — шепотом спросил я в сенях у Демьяна Кузьмича.

— Изволите ли видеть, — загудел Демьян Кузьмич, обращая ко мне отчаянные, слезящиеся глаза, — послали они меня в комиссию за путевками нашим в Сочи на октябрь... Нуте-с, четыре путевки выдали, а племяннику Аристарха Платоновича почему-то забыли подписать в комиссии... Приходи, говорят, завтра в двенадцать... И вот, изволите ли видеть, — я интригу подвел! — И по страдальческим глазам Демьяна Кузьмича видно было, что он чист, никакой интриги не подводил и вообще интригами не занимается.

Из предбанника донесся слабый крик «ай!», и Демьян Кузьмич брызнул из сеней и скрылся бесследно. Минут через десять ушел и доктор. Я некоторое время просидел в сенях на диване, пока из предбанника не начал слышаться стук машинки, тут осмелился и вошел.

Поликсена Торопецкая, напудренная и успокоившаяся, сидела за конторкой и писала на машинке. Я сделал поклон, стараясь, чтобы это был приятный и в то

же время исполненный достоинства поклон, и голосом заговорил достойным и приятным, отчего тот зазвучал, к удивлению моему, сдавленно.

Объяснив, что я такой-то, а направлен сюда Фомою для того, чтобы диктовать пьесу, я получил от Поликсены приглашение садиться и подождать, что я и сделал.

Стены предбанника были обильно увешаны фотографиями, дагерротипами и картинками, среди которых царствовал большой, масляными красками писанный, портрет представительного мужчины в сюртуке и с бакенбардами по моде семидесятых годов. Я догадался, что это Аристарх Платонович, но не понял, кто эта воздушная белая девица или дама, выглядывающая из-за головы Аристарха Платоновича и держащая в руке прозрачное покрывало. Эта загадка до того меня мучила, что, выбрав пристойный момент, я кашлянул и спросил об этом.

Произошла пауза, во время которой Поликсена остановила на мне свой взор, как бы изучая меня, и наконец ответила, но как-то принужденно:

— Это — муза.

— А-а, — сказал я.

Опять застучала машинка, а я стал осматривать стены и убедился, что на каждом из снимков или карточек был изображен Аристарх Платонович в компании с другими лицами.

Так, пожелтевший старый снимок изображал Аристарха Платоновича на опушке леса. Аристарх Платонович был одет по-осеннему и городскому, в ботах, в пальто и цилиндре. А спутник его был в какой-то кацавейке, с ягдташем, с двухствольным ружьем. Лицо спутника, пенсне, седая борода показались мне знакомы.

Поликсена Торопецкая тут обнаружила замечательное свойство — в одно и то же время писать и видеть каким-то волшебным образом, что делается в комнате. Я даже вздрогнул, когда она, не дожидаясь вопроса, сказала:

— Да, да, Аристарх Платонович с Тургеневым на охоте.

Таким же образом я узнал, что двое в шубах у подъезда Славянского Базара, рядом с пароконным извозчиком — Аристарх Платонович и Островский.

Четверо за столом, а сзади фикус: Аристарх Платонович, Писемский, Григорович и Лесков.

О следующем снимке не нужно было и спрашивать: старик, босой, в длинной рубахе, засунувший руки за поясок, с бровями, как кусты, с запущенной бородой и лысый, не мог быть никем иным, кроме Льва Толстого. Аристарх Платонович стоял против него в плоской соломенной шляпе, в чесучовом летнем пиджаке.

Но следующая акварель поразила меня выше всякой меры. «Не может этого быть!» — подумал я. В бедной комнате, в кресле, сидел человек с длиннейшим птичьим носом, больными и встревоженными глазами, с волосами, ниспадавшими прямыми прядями на изможденные щеки, в узких светлых брюках со штрипками, в обуви с квадратными носами, во фрачке синем. Рукопись на коленях, свеча в шандале на столе.

Молодой человек лет шестнадцати, еще без бакенбард, но с тем же надменным носом, словом несомненный Аристарх Платонович, в курточке, стоял, опираясь руками на стол.

Я выпучил глаза на Поликсену, и та ответила сухо:

— Да, да. Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть «Мертвых душ».

Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само собой у меня вырвалось, невольно:

— Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!

На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причем в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация:

— У таких людей, как Аристарх Платонович, лет не существует. Вас, по-видимому, очень удивляет, что за время деятельности Аристарха Платоновича многие имели возможность пользоваться его обществом?

— Помилуйте — вскричал я, испугавшись. — Совершенно наоборот!.. Я... — но ничего больше путного не сказал, потому что подумал: «А что наоборот?! Что я плету? »

Поликсена умолкла, и я подумал: «Нет, мне не удалось произвести на нее хорошее впечатление. Увы! Это ясно!»

Тут дверь отворилась, и в предбанник оживленной походкой вошла дама, и стоило мне взглянуть на нее, как я узнал в ней Людмилу Сильвестровну Пряхину из портретной галереи. Все на даме было, как на портрете:

и косынка, и тот же платочек в руке, и так же она держала его, оттопырив мизинец.

Я подумал о том, что не худо бы было и на нее попытаться произвести хорошее впечатление, благо это заодно, и отвесил вежливый поклон, но он как-то прошел незамеченным.

Вбежав, дама засмеялась переливистым смехом и воскликнула:

— Нет, нет! Неужели вы не видите? Неужели вы не видите?

— А что такое? — спросила Торопецкая.

— Да ведь солнышко, солнышко! — восклицала Людмила Сильвестровна, играя платочком и даже немного подтанцовывая. — Бабье лето! Бабье лето!

Поликсена поглядела на Людмилу Сильвестровну загадочными глазами и сказала:

— Тут анкету нужно будет заполнить.

Веселье Людмилы Сильвестровны прекратилось сразу, и лицо ее настолько изменилось, что на портрете я теперь бы ее ни в коем случае не узнал.

— Какую еще анкету? Ах, боже мой! Боже мой! — И я уж и голоса ее не узнал. — Только что я радовалась солнышку, сосредоточилась в себе, что-то только что нажила, вырастила зерно, чуть запели струны, я шла, как в храм... и вот... Ну, давайте, давайте ее сюда!

— Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна, — тихо заметила Торопецкая.

— Я не кричу! Я не кричу! И ничего я не вижу. Мерзко напечатано. — Пряхина бегала глазами по серому анкетному листу и вдруг оттолкнула его: — Ах, пишите вы сами, пишите, я ничего не понимаю в этих делах!

Торопецкая пожала плечами, взяла перо.

— Ну, Пряхина, Пряхина, — нервно вскрикивала Людмила Сильвестровна, — ну, Людмила Сильвестровна! И все это знают, и ничего я не скрываю!

Торопецкая вписала три слова в анкету и спросила:

— Когда вы родились?

Этот вопрос произвел на Пряхину удивительное действие: на скулах у нее выступили красные пятна, и она вдруг заговорила шепотом:

— Пресвятая богоматерь! Что же это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать, зачем? Почему? Ну, хо-

рошо, хорошо. Я родилась в мае, в мае! Что еще нужно от меня? Что?

— Год нужен, — тихо сказала Торопецкая.

Глаза Пряхиной скосились к носу, и плечи стали вздрагивать.

— Ох, как бы я хотела, — зашептала она, — чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией!..

— Нет, Людмила Сильвестровна, так невозможно, — отозвалась Торопецкая, — возьмите вы анкету домой и заполняйте ее сами, как хотите.

Пряхина схватила лист и с отвращением стала засовывать его в сумочку, дергая ртом.

Тут грянул телефон, и Торопецкая резко крикнула:

— Да! Нет, товарищ! Какие билеты! Никаких билетов у меня нет!.. Что? Гражданин! Вы отнимаете у меня время! Нету у меня ника... Что? Ах! — Торопецкая стала красной с лица. — Ах! Простите! Я не узнала голоса! Да, конечно! Конечно! Прямо в контроле будут оставлены. И программу я распоряжусь, чтобы оставили! А Феофил Владимирович сам не будет? Мы будем очень жалеть! Очень! Всего, всего, всего доброго!

Сконфуженная Торопецкая повесила трубку и сказала:

— Из-за вас я нахамила не тому, кому следует!

— Ах, оставьте, оставьте все это! — нервно вскричала Пряхина. — Погублено зерно, испорчен день!

— Да, — сказала Торопецкая, — заведующий трупой просил вас зайти к нему.

Легкая розоватость окрасила щеки Пряхиной, она надменно подняла брови.

— Зачем же это я понадобилась ему? Это крайне интересно!

— Костюмерша Королькова на вас пожаловалась.

— Какая такая Королькова? — воскликнула Пряхина. — Кто это? Ах да, вспомнила! Да и как не вспомнить, — тут Людмила Сильвестровна рассмеялась так, что холодок прошел у меня по спине, — на «у» и не разжимая губ, — как не вспомнить эту Королькову, которая испортила мне подол? Что же она наябедничала на меня?

— Она жалуется, что вы ее ущипнули со злости в уборной при парикмахерах, — ласково сказала Торопецкая, и при этом в ее хрустальных глазах на мгновение появилось мерцание.

Эффект, который произвели слова Торопецкой, поразил меня. Пряхина вдруг широко и криво, как у зубного врача, открыла рот, а из глаз ее двумя потоками хлынули слезы. Я съежился в кресле и почему-то поднял ноги. Торопецкая нажала кнопку звонка, и тотчас в дверь всунулась голова Демьяна Кузьмина и мгновенно исчезла.

Пряхина же приложила кулак ко лбу и закричала резким, высоким голосом:

— Меня сживают со свету! Бог господь! Бог господь! Бог господь! Да взгляни же хоть ты, пречистая матерь, что со мною делают в театре! Подлец Пеликан! А Герасим Николаевич предатель! Воображаю, что он нес обо мне в Сивцевом Вражке! Но я брошусь в ноги Ивану Васильевичу! Умолю его выслушать меня!.. — Голос ее сел и треснул.

Тут дверь распахнулась, вбежал тот самый доктор. В руках у него была склянка и рюмка. Никого и ни о чем не спрашивая, он привычным жестом плеснул из склянки в рюмку мутную жидкость, но Пряхина хрипло вскричала:

— Оставьте меня! Оставьте меня! Низкие люди! — и выбежала вон.

За нею устремился доктор, воскликнув «дорогая!» — а за доктором, вынырнув откуда-то, топая в разные стороны подагрическими ногами, полетел Демьян Кузьмич.

Из раскрытых дверей несся плеск клавишей, и дальний мощный голос страстно пропел:

«...и будешь ты царицей ми... и... и...» — он пошел шире, лихо развернулся, — «ра-а...» — но двери захлопнулись, и голос погас.

— Ну-с, я освободилась, приступим, — сказала Торопецкая, мягко улыбаясь.

ГЛАВА 11

Я ЗНАКОМЛЮСЬ С ТЕАТРОМ

Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя,

останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите...» — менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит, бормотал и говорил громко, но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки — хоть сейчас отдавай в типографию.

Вообще Торопецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала:

— Да? Говорите, товарищ, скорее, я занята! Да?

От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок.

Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. В этом я убедился по телефонным звонкам.

— Да, — говорила Торопецкая, — нет, вы не сюда звоните. Никаких билетов у меня нет... Я застрелю тебя! (Это — мне, повторяя уже записанную фразу.)

Опять звонок.

— Все билеты уже проданы, — говорила Торопецкая, — у меня нет контрамарок... Этим ты ничего не докажешь. (Мне.)

«Теперь начинаю понимать, — думал я, — какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно: никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить?»

— Да! Да! — кричала Торопецкая в телефон. — Калькутта, Пенджаб, Мадрас, Аллогобад... Нет, адрес не даем! Да? — говорила она мне.

— Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты, — с жаром говорил я, бегая по предбаннику.

— Невесты... — повторяла Торопецкая. Машинка давала звоночки поминутно. Опять гремел телефон.

— Да! Независимый Театр! Нет у меня никаких билетов! Невесты...

— Невесты!.. — говорил я. — Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон.

— Да? Независимый! У меня никаких билетов нет!.. балкон.

— Анна устремляется... нет, просто уходит за ним.

— Уходит... да? Ах да. Товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго.

— «А н н а. Он застрелится!

Б а х т и н. Не застрелится!»

— Да! Здравствуйте. Да, с нею. Потом Андамонские острова. К сожалению, адрес дать не могу, Альберт Альбертович... Не застрелится!..

Надо отдать справедливость Поликсене Торопецкой: дело свое она знала. Она писала десятью пальцами — обеими руками; как только телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала: «Калькутта не понравилась! Самочувствие хорошее...» Демьян Кузьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке: «Гармоника играет весело, но от этого...»

— Нет, погодите, погодите — вскрикивал я. — Нет, не весело, а что-то бравурное... Или нет... погодите, — я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет. Торопецкая в это время пудрилась, говорила в телефон какой-то Мисси, что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович. Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них, казалось, что я голый один среди одетых, но я быстро привык.

Показывался Миша Панин и каждый раз, проходя, для поощрения меня, жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже узнал, помещался его аналитический кабинет.

Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпяченной нижней губой, председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.

— Миль пардон. Второй акт уже пишете? Грандиозно! — восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь. Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону:

— Мне все равно... я человек без предрассудков... Это даже оригинально — приехали на бега в подштанниках. Но Индия не примет... Всем сшил одинаково — и князю, и мужу, и барону... Совершенные подштанники и по цвету и по фасону!.. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела! Пусть переделывают. А гоните вы его к чертям! Что он врет! Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать! Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе! Петя... Утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит! Опытный человек!

В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот... человек падает... роняет револьвер... кровь течет или не течет?.. — вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула:

— Здравствуйте, душечка. Поликсена Васильевна! Я вам цветочков принесла!

Она расцеловала Поликсену и положила на конторку четыре желтоватые астры.

— Обо мне нет ли чего из Индии?

Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась.

— «Скажите Вешняковой, — прочитала Торопецкая, — что я решил загадку роли Ксении...»

— Ах, ну, ну!.. — вскричала Вешнякова.

— «Я был с Прасковьей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вешнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы...»

— Боже! Как верно! Как глубоко — вскричала Вешнякова. — Верно! То-то мне было неудобно в средних дверях.

— Погодите, — продолжала Торопецкая, — тут есть еще, — и прочитала: — «А впрочем, пусть Вешнякова выходит, откуда хочет! Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает...» Ну, это к вам не относится, — заметила Поликсена.

— Поликсена Васильевна, — заговорила Вешняко-

ва, — напишите Аристарху Платоновичу, что я безумно, безумно ему благодарна!

— Хорошо.

— А мне нельзя ему написать самой?

— Нет, — ответила Поликсена, — он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время его раздумий.

— Понимаю, понимаю! — вскричала Вешнякова и, расцеловав Торопецкую, удалилась.

Вошел полный, средних лет энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул:

— Новый анекдот слышали? Ах, вы пишете?

— Ничего, у нас антракт, — сказала Торопецкая, и полный человек, видимо распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Торопецкой. Руками он в это время сзывал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой. Я слышал: «И в это время муж возвращается в гостиную...» За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха «ах, ах, ах», Полторацкий вскричал: «Грандиозно!» — а полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича:

— Вася! Вася! Стой! Слышал? Новый анекдот продам!

Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Торопецкая.

Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о полном.

— «Передайте Елагину, — читала Торопецкая, — что он более всего должен бояться сыграть результат, к чему его всегда очень тянет».

Елагин изменился в лице и заглянул в письмо.

— «Скажите ему, — продолжала Торопецкая, — что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женою полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь растерянно. У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а...»

— Не понимаю! — заговорил Елагин, — простите, не понимаю, — Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то, — нет, не чувствую я этого. Мне неудобно!.. Жена полковника перед ним, а он чего-то пойдет... Не чувствую!

— Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович? — ледяным голосом спросила Торопецкая.

Этот вопрос смутил Елагина.

— Нет, я этого не говорю... — Он покраснел. — Но, посудите... — И он опять сделал круг по комнате.

— Я думаю, что в ножки следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии...

— Что это у нас все в ножки да в ножки, — вдруг пробурчал Елагин.

«Э, да он молодец», — подумал я.

— Вы лучше выслушайте, что дальше пишет Аристарх Платонович, — и прочитала: — «А впрочем, пусть он делает, как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна».

Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме.

«Какой актер!» — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоновича.

Кровь прилила к лицу Торопецкой, она тяжело задышала.

— Я попросила бы вас!..

— А впрочем, — сквозь зубы говорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: — Не понимаю! — и вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней, недоуменно пожал плечами и скрылся.

— Ох, уж эти середняки! — заговорила Поликсена, — ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?

— Кхм, — ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово «середняки».

К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на два дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку.

Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуреточке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем проис-

ходила кутерьма и беспорядок, который нужно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу — чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся, прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или в фижмах. Меж ними сверкали зубами с фотографий мужчины с цилиндрами в руках. Один из них был в жирных эполетах. Пьяный толстый нос свисал до губы, щеки и шея разрезаны складками. Я не узнал в нем Елагина, пока Поликсена не сказала мне, кто это.

Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампионы, пустую пудреницу, вдыхал чуть ощутимый запах какой-то краски и ароматный запах папирос Поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотание машинки и тихие ее звоночки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины, сухонького вида, пронося груды крахмальных юбок.

Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусков и лестниц, репетируют пьесу «Степан Разин».

Мы начинали писать в двенадцать часов, а в два происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет.

Для того чтобы в него попасть, я должен был покинуть коридор и выйти на лестницу. Тут уже нарушалось очарование молчания. По лестнице подымались актрисы и актеры, за белыми дверями звенел телефон, телефон другой откуда-то отзывался снизу. Внизу дежурил один из вышколенных Августой Менажраки курьеров. Потом железная средневековая дверь, таинственные за нею ступени и какое-то безграничное, как мне казалось, по высоте кирпичное ущелье, торжественное, полутемное. В этом ущелье, наклоненные к стенам его,

высились декорации в несколько слоев. На белых деревянных рамах их мелькали таинственные условные надписи черным: «1 лев. зад», «Граф. заспин.», «Спальня III-й акт». Широкие, высокие, от времени черные ворота с врезанной в них калиткой с чудовищным замком на ней были справа, и я узнал, что они ведут на сцену. Такие же ворота были слева, и выводили они во двор, и через эти ворота рабочие из сараев подавали декорации, не помещавшиеся в ущелье. Я задерживался в ущелье всегда, чтобы предаться мечтам в одиночестве, а сделать это было легко, ибо лишь редкий путник попадался навстречу на узкой тропе между декорациями, где, чтобы разминуться, нужно было поворачиваться боком.

Сосущая с тихим змеиным свистом воздух пружина-цилиндр на железной двери выпускала меня. Звуки под ногами пропадали, я попадал на ковер, по медной львиной голове узнавал преддверие кабинета Гавриила Степановича и все по тому же солдатскому сукну шел туда, где уже мелькали и слышались люди, — в чайный буфет.

Многоведерный блестящий самовар за прилавком первым бросался в глаза, а вслед за ним маленького роста человек, пожилой, с нависшими усами, лысый и столь печальными глазами, что жалость и тревога охватывали каждого, кто не привык еще к нему. Вздыхая тоскливо, печальный человек стоял за прилавком и глядел на груду бутербродов с кетовой икрой и с сыром брынзой. Актеры подходили к буфету, брали эту снедь, и тогда глаза буфетчика наполнялись слезами. Его не радовали ни деньги, которые платили за бутерброды, ни сознание того, что он стоит в самом лучшем месте столицы, в Независимом Театре. Ничто его не радовало, душа его, очевидно, болела при мысли, что вот съедят все, что лежит на блюде, съедят без остатка, выпьют весь гигантский самовар.

Из двух окон шел свет слезливого осеннего дня, за буфетом горела настенная лампа в тюльпане, никогда не угасая, углы тонули в вечном сумраке.

Я стеснялся незнакомых людей, сидевших за столиками, боялся подойти, хоть подойти хотелось. За столиками слышался приглушенный хохот, всюду что-то рассказывали.

Выпив стакан чаю и съев бутерброд с брынзой, я

шел в другие места театра. Больше всего мне полюбилось то место, которое носило название «контора».

Это место резко отличалось от всех других мест в театре, ибо это было единственное шумное место, куда, так сказать, вливалась жизнь с улицы.

Контора состояла из двух частей. Первой — узкой комнатки, в которую вели настолько замысловатые ступеньки со двора, что каждый входящий впервые в Театр, непременно падал. В первой комнатенке сидели двое курьеров, Катков и Баквалин. Перед ними на столике стояли два телефона. И эти телефоны, почти никогда не умолкая, звонили.

Я очень быстро понял, что по телефонам зовут одного и того же человека и этот человек помещался в смежной комнате, на дверях которой висела надпись:

«Заведующий внутренним порядком
Филипп Филиппович Тулумбасов».

Большей популярности, чем у Тулумбасова, не было ни у кого в Москве и, вероятно, никогда не будет. Весь город, казалось мне, ломился по аппаратам к Тулумбасову, и то Катков, то Баквалин соединяли с Филиппом Филипповичем жаждущих говорить с ним.

Говорил ли мне кто-то или приснилось мне, что будто бы Юлий Кесарь обладал способностью делать несколько разных дел одновременно, например, читать что-либо и слушать кого-нибудь.

Свидетельствую здесь, что Юлий Кесарь растерялся бы самым жалким образом, если бы его посадили на место Филиппа Филипповича.

Помимо тех двух аппаратов, которые гремели под руками Баквалина и Каткова, перед самим Филиппом Филипповичем стояло их два, а один, старинного типа, висел на стене.

Филипп Филиппович, полный блондин с приятным круглым лицом, с необыкновенно живыми глазами, на дне которых покоилась не видная никому грусть, затаенная, по-видимому, вечная, неизлечимая, сидел за барьером в углу, чрезвычайно уютном. День ли был на дворе или ночь, у Филиппа Филипповича всегда был вечер с горящей лампой под зеленым колпаком. Перед Филиппом Филипповичем на письменном столе поме-

щалось четыре календаря, сплошь исписанные таинственными записями, вроде: «Прян. 2, парт. 4», «13 утр. 2», «Мон 77727» и в этом роде.

Такими же знаками были исчерчены пять раскрытых блокнотов на столе. Над Филиппом Филипповичем высилось чучело бурого медведя, в глаза которого были вставлены электрические лампочки. Филипп Филиппович был огражден от внешнего мира барьером, и в любой час дня на этом барьере лежали животами люди в самых разнообразных одеждах. Здесь перед Филиппом Филипповичем проходила вся страна, это можно сказать с уверенностью; здесь перед ним были представители всех классов, групп, прослоек, убеждений, пола, возраста. Какие-то бедно одетые гражданки в затасканных шляпах сменялись военными с петлицами разного цвета. Военные уступали место хорошо одетым мужчинам с бобровыми воротниками и крахмальными воротничками. Среди крахмальных воротничков иногда мелькала ситцевая косоворотка. Кепка на буйных кудрях. Роскошная дама с горностаем на плечах. Шапка с ушами, подбитый глаз. Подросток женского пола с напудренным носиком. Человек в болотных сапогах, в чуйке, подпоясан ремнем. Еще военный, один ромб. Какой-то бритый, с забинтованной головой. Старуха с трясущейся челюстью, мертвенными глазами и почему-то говорящая со своей спутницей по-французски, а спутница в мужских калошах. Тулуп.

Те, которые не могли лечь животом на барьер, толпились сзади, изредка поднимая вверх мятые записки, изредка робко вскрикивая: «Филипп Филиппович!» Временами в толпу, осаждавшую барьер, ввинчивались женщины или мужчины без верхнего платья, а запросто в блузочках или пиджаках, и я понимал, что это актрисы и актеры Независимого Театра.

Но кто бы ни шел к барьеру, все, за редчайшими исключениями, имели вид льстивый, улыбались заискивающе. Все пришедшие просили у Филиппа Филипповича, все зависели от его ответа.

Три телефона звенели, не умолкая никогда, и иногда оглашали грохотом кабинетик сразу все три. Филиппа Филипповича это нисколько не смущало. Правой рукой он брал трубку правого телефона, клал ее на плечо и прижимал щекою, в левую брал другую трубку и прижимал

ее к левому уху, а освободив правую, ею брал одну из протягиваемых ему записок, начиная говорить сразу с тремя — в левый, в правый телефон, потом с посетителем, потом опять в левый, в правый, с посетителем. В правый, с посетителем, в левый, левый, правый, правый.

Сразу сбрасывал обе трубки на рычаги, и так как освобождались обе руки, то брал две записки. Отклонив одну из них, он снимал трубку с желтого телефона, слушал мгновение, говорил: «Позвоните завтра в три», — вешал трубку, посетителю говорил: «Ничего не могу».

С течением времени я начал понимать, чего просили у Филиппа Филипповича. У него просили билетов.

У него просили билетов в самой разнообразной форме. Были такие, которые говорили, что приехали из Иркутска и уезжают ночью и не могут уехать, не повидав «Бесприданницы». Кто-то говорил, что он экскурсовод из Ялты. Представитель какой-то делегации. Кто-то не экскурсовод и не сибиряк и никуда не уезжает, а просто говорил: «Петухов, помните?» Актрисы и актеры говорили: «Филя, а Филя, устрой...» Кто-то говорил: «В любую цену, цена мне безразлична...»

— Зная Ивана Васильевича двадцать восемь лет, — вдруг шамкала какая-то старуха, у которой моль выела на берете дыру, — я уверена, что он не откажет мне...

— Дам постоять, — внезапно вдруг говорил Филипп Филиппович и, не ожидая дальнейших слов ошеломленной старухи, протягивал ей какой-то кусочек бумаги.

— Нас восемь человек, — начинал какой-то крепыш, и опять-таки дальнейшие слова застревали у него в устах, ибо Филя уже говорил:

— На свободные! — и протягивал бумажку.

— Я от Арнольда Арнольдовича, — начинал какой-то молодой человек, одетый с претензией на роскошь.

«Дам постоять», — мысленно подсказывал я и не угадывал.

— Ничего не могу-с, — внезапно отвечал Филя, один только раз скользнув глазом по лицу молодого человека.

— Но Арнольд...

— Не могу-с!

И молодой человек исчезал, словно проваливался сквозь землю.

— Мы с женою... — начинал полный гражданин.

— На завтра? — спрашивал Филя отрывисто и быстро.

— Слушаю.

— В кассу! — восклицал Филя, и полный протискивался вон, имея в руках клок бумажки, а Филя в это время уже кричал в телефон: «Нет! Завтра!» — в то же время левым глазом читая поданную бумажку.

С течением времени я понял, что он руководится вовсе не внешним видом людей и, конечно, не их засаленными бумажками. Были скромно, даже бедно одетые люди, которые внезапно для меня получали два бесплатных места в четвертом ряду, и были какие-то хорошо одетые, которые уходили ни с чем. Люди приносили громадные красивые мандаты из Астрахани, Евпатории, Вологды, Ленинграда, и они не действовали или могли подействовать только через пять дней утром, а приходили иногда скромные и молчаливые люди и вовсе ничего не говорили, а только протягивали руку через барьер и тут же получали место.

Умудрившись, я понял, что передо мною человек, обладающий совершенным знанием людей. Поняв это, я почувствовал волнение и холодок под сердцем. Да, передо мною был величайший сердцеведец. Он знал людей до самой их сокровенной глубины. Он угадывал их тайные желания, ему были открыты их страсти, пороки, все знал, что было скрыто в них, но также и доброе. А главное, он знал их права. Он знал, кто и когда должен прийти в Театр, кто имел право сидеть в четвертом ряду, а кто должен был томиться в ярусе, присаживаясь на приступочке в бредовой надежде, что как-нибудь вдруг освободится для него волшебным образом местечко.

Я понял, что школа Филиппа Филипповича была школой величайшей.

Да и как же ему было не узнать людей, когда перед ним за пятнадцать лет его службы прошли десятки тысяч людей. Среди них были инженеры, хирурги, актеры, женорганизаторы, растратчики, домашние хозяйки, машинисты, учителя, меццо-сопрано, застройщики, гитаристы, карманные воры, дантисты, пожарные, девицы без определенных занятий, фотографы, плановики, летчики, пушкинисты, председатели колхозов, тайные кокотки, беговые наездники, монтеры, продавщицы универсальных магазинов, студенты, парикмахеры, конструкторы, лирики, уголовные преступники, профессора,

бывшие домовладельцы, пенсионерки, сельские учителя, виноделы, виолончелисты, фокусники, разведенные жены, заведующие кафе, игроки в покер, гомеопаты, аккомпаниаторы, графоманы, билетерши консерватории, химики, дирижеры, легкоатлеты, шахматисты, лаборанты, проходимцы, бухгалтеры, шизофреники, дегустаторы, маникюрши, счетоводы, бывшие священнослужители, спекулянтки, фототехники.

Зачем же надобны были бумажки Филиппу Филипповичу?

Одного взгляда и первых слов появившегося перед ним ему было достаточно, чтобы знать, на что тот имеет право, и Филипп Филиппович давал ответы, и были эти ответы всегда безошибочны.

— Я, — волнуясь, говорила дама, — вчера купила два билета на «Дона Карлоса», положила в сумочку, прихожу домой...

Но Филипп Филиппович уже жал кнопку звонка и, не глядя более на даму, говорил:

— Баквалин! Потеряны два билета... ряд?

— Одиннадц...

— В одиннадцатом ряду. Впустить. Посадить... Проверить!

— Слушаю! — гаркал Баквалин, и не было уже дамы, и кто-то уже наваливался на барьер, хрипел, что он завтра уезжает.

— Так делать не годится! — озлобленно утверждала дама, и глаза ее сверкали. — Ему уже шестнадцать! Нечего смотреть, что он в коротких штанах...

— Мы не смотрим, сударыня, кто в каких штанах, — металлически отвечал Филя, — по закону дети до пятнадцати лет не допускаются. Посиди здесь, сейчас, — говорил он в это же время интимно бритому актеру.

— Позвольте, — кричала скандальная дама, — и тут же рядом пропускают трех малюток в длинных клешах. Я жаловаться буду!

— Эти малютки, сударыня, — отвечал Филя, — были костромские лилипуты.

Наставало полное молчание. Глаза дамы потухали, Филя тогда, оскалив зубы, улыбался так, что дама вздрагивала. Люди, мнущие друг друга у барьера, злорадно хихикали.

Актер с побледневшим лицом, со страдальческими,

помутневшими глазами, вдруг наваливался сбоку на барьер, шептал:

— Дикая мигрень...

Филя, не удивляясь, не оборачиваясь, протягивал руку назад, открывал настенный шкафик, на ощупь брал коробочку, из нее вынимал пакетик, протягивал страдальцу, говорил:

— Водой запей... Слушаю вас, гражданка.

Слезы выступали у гражданки, шляпка съезжала на ухо. Горе дамы было велико. Она сморкалась в грязный платочек. Оказывается, вчера, все с того же «Дон-Карлоса» пришла домой, ан сумочки-то и нет. В сумочке же было сто семьдесят пять рублей, пудреница и носовой платок.

— Очень плохо, гражданка, — сурово говорил Филя, — деньги надо на сберкнижке держать, а не в сумочке.

Дама таращила глаза на Филю. Она не ожидала, что к ее горю отнесутся с такой черствостью.

Но Филя тут же с грохотом выдвигал ящик стола, и через мгновение измятая сумочка с пожелтевшей металлической наядой была уже у дамы в руках. Та лепетала слова благодарности.

— Покойник прибыл, Филипп Филиппович, — докладывал Баквалин.

В ту же минуту лампа гасла, ящики с грохотом закрывались, торопливо натягивая пальто, Филя протискивался сквозь толпу и выходил. Как зачарованный, я плелся за ним. Ударившись головой об стенку на повороте лестницы, выходил во двор. У дверей конторы стоял грузовик, обвитый красной лентой, и на грузовике лежал, глядя в осеннее небо закрытыми глазами, пожарный. Каска сверкала у него в ногах, а в головах лежали еловые ветви. Филя без шапки, с торжественным лицом, стоял у грузовика и беззвучно отдавал какие-то приказания Кускову, Баквалину и Клюквину.

Грузовик дал сигнал и выехал на улицу. Тут же из подъезда театра раздавались резкие звуки тромбонов. Публика с вялым изумлением останавливалась, останавливался и грузовик. В подъезде театра виден был бородатый человек в пальто, размахивающий дирижерской палочкой. Повинуясь ей, несколько сверкавших труб громкими звуками оглашали улицу. Потом звуки обрывались так же внезапно, как и начинались, и золотые раструбы и русая эспаньолка скрывались в подъезде.

Кусков вскакивал в грузовик, трое пожарных становились по углам гроба, и, провожаемый напутственным Филиным жестом, грузовик уезжал в крематорий, а Филя возвращался в контору.

Громаднейший город пульсирует, и всюду в нем волны — прильет и отольет. Иногда слабела без всякой видимой причины волна Филиных посетителей, и Филя позволял себе откинуться в кресле, кой с кем и пошутить, размяться.

— А меня к тебе прислали, — говорил актер какого-то другого театра.

— Нашли, кого прислать, — бузотера, — отвечал Филя, смеясь одними щеками (глаза Фили никогда не смеялись).

В Филину дверь входила очень хорошенькая дама в великолепно сшитом пальто и с черно-бурой лисой на плечах. Филя приветливо улыбался даме и кричал:

— Бонжур, Мисси!

Дама радостно смеялась в ответ. Вслед за дамой в комнату входил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом, и с тремя следами от ногтей под глазом. Малый тихо икал через правильные промежутки времени. За малым входила полная и расстроенная дама.

— Фуй, Альёша! — восклицала она с немецким акцентом.

— Амалия Иванна! — тихо и угрожающе говорил малый, исподтишка показывая Амалии Ивановне кулак.

— Фуй, Альёшь! — тихо говорила Амалия Ивановна.

— А, здоровы — восклицал Филя, протягивая малому руку.

Тот, икнув, кланялся и шаркал ногой.

— Фуй, Альёшь, — шептала Амалия Ивановна.

— Что же это у тебя под глазом? — спрашивал Филя.

— Я, — икая, шептал малый повесив голову, — с Жоржем подрался...

— Фуй, Альёша, — одними губами и совершенно механически шептала Амалия Ивановна.

— Сэ доммаж![1] — рявкал Филя и вынимал из стола шоколадку.

---

[1] Жаль! *(фр.)*

Мутные от шоколада глаза малого на минуту загорались огнем, он брал шоколадку.

— Альёша, ти съел сегодня читирнадцать, — робко шептала Амалия Ивановна.

— Не врите, Амалия Ивановна, — думая, что говорит тихо, гудел малый.

— Фуй, Альёша!..

— Филя, вы меня совсем забыли, гадкий! — тихо восклицала дама.

— Нон, мадам, энпоссибль! — рявкал Филя. — Мэ ле заффер тужур![1]

Дама смеялась журчащим смехом, била Филю перчаткой по руке.

— Знаете что, — вдохновенно говорила дама. — Дарья моя сегодня испекла пирожки, приходите ужинать. А?

— Авек плезир![2] — восклицал Филя и в честь дамы зажигал глаза медведя.

— Как вы меня испугали, противный Филька! — восклицала дама.

— Альёша! Погляди, какой медведь, — искусственно восторгалась Амалия Ивановна, — якоби живой!

— Пустите, — орал малый и рвался к барьеру.

— Фуй, Альёша...

— Захватите с собой Аргунина, — восклицала как бы осененная вдохновением дама.

— Иль жу![3]

— Пусть после спектакля приезжает, — говорила дама, поворачиваясь спиной к Амалии Ивановне.

— Же транспорт люи.[4]

— Ну, милый, вот и хорошо. Да, Филенька, у меня к вам просьба. Одну старушку не можете ли вы устроить куда-нибудь на «Дон-Карлоса»? А? Хоть в ярус? А, золотко?

— Портниха? — спрашивал Филя, всепонимающими глазами глядя на даму.

— Какой вы противный! — восклицала дама. — Почему непременно портниха? Она вдова профессора и теперь...

---

[1] Нет, это невозможно, но всё дела *(фр.)*.

[2] С удовольствием! *(фр.)*

[3] Он играет! (*фр.*)

[4] Я привезу его *(фр.)*

— Шьет белье, — как бы во сне говорил Филя, вписывая в блокнот:

«Белошвей. Ми. боков, яр. 13-го».

— Как вы догадались! — хорошея, восклицала дама.

— Филипп Филиппович, вас в дирекцию к телефону, — рявкал Баквалин.

— Сейчас!

— А я пока мужу позвоню, — говорила дама. Филя выскакивал из комнаты, а дама брала трубку, набирала номер.

— Кабинет заведующего. Ну, как у тебя? А к нам я сегодня Филю позвала пирожки есть. Ну, ничего. Ты поспи часок. Да, еще Аргунин напросился... Ну, неудобно же мне... Ну, прощай, золотко. А что у тебя голос какой-то расстроенный? Ну, целую.

Я, вдавившись в клеенчатую спинку дивана и закрывая глаза, мечтал. «О, какой мир... мир наслаждения, спокойствия...» Мне представлялась квартира этой неизвестной дамы. Мне казалось почему-то, что это огромная квартира, что в белой необъятной передней на стене висит в золотой раме картина, что в комнатах всюду блестит паркет. Что в средней рояль, что громадный ков...

Мечтания мои прервал вдруг тихий стон и утробное ворчание. Я открыл глаза.

Малый, бледный смертельной бледностью, закатив глаза под лоб, сидел на диване, растопырив ноги на полу. Дама и Амалия Ивановна кинулись к нему. Дама побледнела.

— Алеша! — вскричала дама, — что с тобой?!

— Фуй, Альёша! Что с тобой?! — воскликнула и Амалия Ивановна.

— Голова болит, — вибрирующим слабым баритоном ответил малый, и шапка его съехала на глаз. Он вдруг надул щеки и еще более побледнел.

— О боже! — вскричала дама.

Через несколько минут во двор влетел открытый таксомотор, в котором, стоя, летел Баквалин.

Малого, вытирая ему рот платком, под руки вели из конторы.

О, чудный мир конторы! Филя! Прощайте! Меня скоро не будет. Вспомните же меня и вы!

ГЛАВА 12

СИВЦЕВ ВРАЖЕК

Я и не заметил, как мы с Торопецкой переписали пьесу. И не успел я подумать, что будет теперь далее, как судьба сама подсказала это.

Клюквин привез мне письмо.

«Глубочайше уважаемый
Леонтий Сергеевич!..»

Почему, черт возьми, им хочется, чтобы я был, Леонтием Сергеевичем? Вероятно, это удобнее выговаривать, чем Сергей Леонтьевич?.. Впрочем, это неважно!

«...Вы должны читать Вашу пиэсу Ивану Васильевичу. Для этого Вам надлежит прибыть в Сивцев Вражек 13-го в понедельник в 12 часов дня.

Глубоко преданный

Фома Стриж».

Я взволновался чрезвычайно, понимая, что письмо это исключительной важности.

Я решил так: крахмальный воротник, галстук синий, костюм серый. Последнее решить было нетрудно, ибо серый костюм был моим единственным приличным костюмом.

Держаться вежливо, но с достоинством и, боже сохрани, без намека на угодливость.

Тринадцатое, как хорошо помню, было на другой день, и утром я повидался в театре с Бомбардовым.

Наставления его показались мне странными до чрезвычайности.

— Как пройдете большой серый дом, — говорил Бомбардов, — повернете налево, в тупичок. Тут уж легко найдете. Ворота резные, чугунные, дом с колоннами. С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека в тулупе, он у вас спросит: «Вы зачем?» — а вы ему скажите только одно слово «Назначено».

— Это пароль? — спросил я. — А если человека не будет?

— Он будет, — сказал холодно Бомбардов и продолжал: — За углом, как раз напротив человека в тулупе,

вы увидите автомобиль без колес на домкрате, а возле него ведро и человека, который моет автомобиль.

— Вы сегодня там были? — спросил я в волнении.

— Я был там месяц тому назад.

— Так почем же вы знаете, что человек будет мыть автомобиль?

— Потому, что он каждый день его моет, сняв колеса.

— А когда же Иван Васильевич ездит в нем?

— Он никогда в нем и не ездит.

— Почему?

— А куда же он будет ездить?

— Ну, скажем, в театр?

— Иван Васильевич в театр приезжает два раза в год на генеральные репетиции, и тогда ему нанимают извозчика Дрыкина.

— Вот тебе на! Зачем же извозчик, если есть автомобиль?

— А если шофер умрет от разрыва сердца за рулем, а автомобиль возьмет да и въедет в окно, тогда что прикажете делать?

— Позвольте, а если лошадь понесет?

— Дрыкинская лошадь не понесет. Она только шагом ходит. Напротив же как раз человека с ведром — дверь. Войдите и подымайтесь по деревянной лестнице. Потом еще дверь. Войдите. Там увидите черный бюст Островского. А напротив беленькие колонны и черная-пречерная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках и топит ее.

Я рассмеялся.

— Вы уверены, что он непременно будет и непременно на корточках?

— Непременно, — сухо ответил Бомбардов, ничуть не смеясь.

— Любопытно проверить!

— Проверьте. Он спросит тревожно: «Вы куда?» А вы ответьте...

— Назначено?

— Угу. Тогда он вам скажет: «Пальтецо снимите здесь», — и вы попадете в переднюю, и тут выйдет к вам фельдшерица и спросит; «Вы зачем?» И вы ответите...

Я кивнул головой.

— Иван Васильевич вас спросит первым долгом, кто был ваш отец. Он кто был?

— Вице-губернатор.

Бомбардов сморщился.

— Э... нет, это, пожалуй, не подходит. Нет, нет. Вы скажите так: служил в банке.

— Вот уж это мне не нравится. Почему я должен врать с первого же момента?

— А потому что это может его испугать, а...

Я только моргал глазами.

— ...а вам все равно, банк ли, или что другое. Потом он спросит, как вы относитесь к гомеопатии. А вы скажите, что принимали капли от желудка в прошлом году и они вам очень помогли.

Тут прогремели звонки, Бомбардов заторопился, ему нужно было идти на репетицию, и дальнейшие наставления он давал сокращенно.

— Мишу Панина вы не знаете, родились в Москве, — скороговоркой сообщал Бомбардов, — насчет Фомы скажите, что он вам не понравился. Когда будете насчет пьесы говорить, то не возражайте. Там выстрел в третьем акте, так вы его не читайте...

— Как не читать, когда он застрелился?!

Звонки повторились. Бомбардов бросился бежать в полутьму, издали донесся его тихий крик:

— Выстрела не читайте! И насморка у вас нет!

Совершенно ошеломленный загадками Бомбардова, я минута в минуту в полдень был в тупике на Сивцевом Вражке.

Во дворе мужчины в тулупе не было, но как раз на том месте, где Бомбардов и говорил, стояла баба в платке. Она спросила: «Вам чего?» — и подозрительно поглядела на меня. Слово «назначено» совершенно ее удовлетворило, и я повернул за угол. Точка в точку в том месте, где было указано, стояла кофейного цвета машина, но на колесах, и человек тряпкой вытирал кузов. Рядом с машиной стояло ведро и какая-то бутыль.

Следуя указаниям Бомбардова, я шел безошибочно и попал к бюсту Островского. «Э...» — подумал я, вспомнив Бомбардова: в печке весело пылали березовые дрова, но никого на корточках не было. Но не успел я усмехнуться, как старинная дубовая темно-лакированная дверь открылась, и из нее вышел старикашка с кочергой в руках и в заплатанных валенках. Увидев меня, он испугался и заморгал глазами. «Вам что, гражда-

нин?» — спросил он. «Назначено», — ответил я, упиваясь силой магического слова. Старикашка посветлел и махнул кочергой в направлении другой двери. Там горела старинная лампочка под потолком. Я снял пальто, под мышку взял пьесу, стукнул в дверь. Тотчас за дверью послышался звук снимаемой цепи, потом повернулся ключ в дверях, и выглянула женщина в белой косынке и белом халате. «Вам что?» — спросила она. «Назначено», — ответил я. Женщина посторонилась, пропустила меня внутрь и внимательно поглядела на меня.

— На дворе холодно? — спросила она.

— Нет, хорошая погода, бабье лето, — ответил я.

— Насморка у вас нету? — спросила женщина.

Я вздрогнул, вспомнив Бомбардова, и сказал:

— Нет, нету.

— Постучите сюда и входите, — сурово сказала женщина и скрылась. Перед тем как стукнуть в темную, окованную металлическими полосами дверь, я огляделся.

Белая печка, громадные шкафы какие-то. Пахло мятой и еще какой-то приятной травой. Стояла полная тишина, и она вдруг прервалась боем хриплым. Било двенадцать раз, и затем тревожно прокуковала кукушка за шкафом.

Я стукнул в дверь, потом нажал рукой на громадное тяжкое кольцо, дверь впустила меня в большую светлую комнату.

Я волновался, я ничего почти не разглядел, кроме дивана, на котором сидел Иван Васильевич. Он был точно такой же, как на портрете, только немножко свежее и моложе. Черные его, чуть тронутые проседью, усы были прекрасно подкручены. На груди, на золотой цепи, висел лорнет.

Иван Васильевич поразил меня очаровательностью своей улыбки.

— Очень приятно, — молвил он, чуть картавя, — прошу садиться.

И я сел в кресло.

— Ваше имя и отчество? — ласково глядя на меня, спросил Иван Васильевич.

— Сергей Леонтьевич.

— Очень приятно! Ну-с, как изволите поживать, Сергей Пафнутьевич? — И, ласково глядя на меня,

Иван Васильевич побарабанил пальцами по столу, на котором лежал огрызок карандаша и стоял стакан с водой, почему-то накрытый бумажкою.

— Покорнейше благодарю вас, хорошо.

— Простуды не чувствуете?

— Нет.

Иван Васильевич как-то покряхтел и спросил:

— А здоровье вашего батюшки как?

— Мой отец умер.

— Ужасно, — ответил Иван Васильевич, — а к кому обращались? Кто лечил?

— Не могу сказать точно, но, кажется, профессор... профессор Янковский.

— Это напрасно, — отозвался Иван Васильевич, — нужно было обратиться к профессору Плетушкову, тогда бы ничего не было.

Я выразил на своем лице сожаление, что не обратились к Плетушкову.

— А еще лучше... гм... гм... гомеопаты, — продолжал Иван Васильевич, — прямо до ужаса всем помогают. — Тут он кинул беглый взгляд на стакан. — Вы верите в гомеопатию?

«Бомбардов — потрясающий человеку — подумал я и начал что-то неопределенно говорить:

— С одной стороны, конечно... Я лично... хотя многие и не верят...

— Напрасно — сказал Иван Васильевич, — пятнадцать капель, и вы перестанете что-нибудь чувствовать. — И опять он покряхтел и продолжал: — А ваш батюшка, Сергей Панфилыч, кем был?

— Сергей Леонтьевич, — ласково сказал я.

— Тысячу извинений! — воскликнул Иван Васильевич. — Так он кем был?

«Да не стану я врать!» — подумал я и сказал:

— Он служил вице-губернатором.

Это известие согнало улыбку с лица Ивана Васильевича.

— Так, так, так, — озабоченно сказал он, помолчал, побарабанил и сказал: — Ну-с, приступим.

Я развернул рукопись, кашлянул, обмер, еще раз кашлянул и начал читать.

Я прочел заглавие, потом длинный список действующих лиц и приступил к чтению первого акта:

— «Огоньки вдали, двор, засыпанный снегом, дверь флигеля. Из флигеля глухо слышен «Фауст», которого играют на рояли...»

Приходилось ли вам когда-либо читать пьесу один на один кому-нибудь? Это очень трудная вещь, уверяю вас. Я изредка поднимал глаза на Ивана Васильевича, вытирал лоб платком.

Иван Васильевич сидел совершенно неподвижно и смотрел на меня в лорнет, не отрываясь. Смутило меня чрезвычайно то обстоятельство, что он ни разу не улыбнулся, хотя уже в первой картине были смешные места. Актеры очень смеялись, слыша их на чтении, а один рассмеялся до слез.

Иван же Васильевич не только не смеялся, но даже перестал крякать. И всякий раз, как я поднимал на него взор, видел одно и то же: уставившийся на меня золотой лорнет и в нем немигающие глаза. Вследствие этого мне стало казаться, что смешные эти места вовсе не смешны.

Так я дошел до конца первой картины и приступил ко второй. В полной тишине слышался только мой монотонный голос, было похоже, что дьячок читает по покойнику.

Мною стала овладевать какая-то апатия и желание закрыть толстую тетрадь. Мне казалось, что Иван Васильевич грозно скажет: «Кончится ли это когда-нибудь?» Голос мой охрип, я изредка прочищал горло кашлем, читал то тенором, то низким басом, раза два вылетели неожиданные петухи, но и они никого не рассмешили — ни Ивана Васильевича, ни меня.

Некоторое облегчение внесло внезапное появление женщины в белом. Она бесшумно вошла, Иван Васильевич быстро посмотрел на часы. Женщина подала Ивану Васильевичу рюмку, Иван Васильевич выпил лекарство, запил его водою из стакана, закрыл его крышечкой и опять поглядел на часы. Женщина поклонилась Ивану Васильевичу древнерусским поклоном и надменно ушла.

— Ну-с, продолжайте, — сказал Иван Васильевич, и я опять начал читать. Далеко прокричала кукушка. Потом где-то за ширмами прозвенел телефон.

— Извините, — сказал Иван Васильевич, — это меня зовут по важнейшему делу из учреждения. — Да, — по-

слышался его голос из-за ширм, — да... Гм... гм... Это все шайка работает. Приказываю держать все это в строжайшем секрете. Вечером у меня будет один верный человек, и мы разработаем план...

Иван Васильевич вернулся, и мы дошли до конца пятой картины. И тут в начале шестой произошло поразительное происшествие. Я уловил ухом, как где-то хлопнула дверь, послышался где-то громкий и, как мне показалось, фальшивый плач, дверь, не та, в которую я вошел, а, по-видимому, ведущая во внутренние покои, распахнулась, и в комнату влетел, надо полагать осатаневший от страху, жирный полосатый кот. Он шарахнулся мимо меня к тюлевой занавеске, вцепился в нее и полез вверх. Тюль не выдержал его тяжести, и на нем тотчас появились дыры. Продолжая раздирать занавеску, кот долез до верху и оттуда оглянулся с остервенелым видом. Иван Васильевич уронил лорнет, и в комнату вбежала Людмила Сильвестровна Пряхина. Кот, лишь только ее увидел, сделал попытку полезть еще выше, но дальше был потолок. Животное сорвалось с круглого карниза и повисло, закоченев, на занавеске.

Пряхина вбежала с закрытыми глазами, прижав кулак со скомканным и мокрым платком ко лбу, а в другой руке держа платок кружевной, сухой и чистый. Добежав до середины комнаты, она опустилась на одно колено, наклонила голову и руку протянула вперед, как бы пленник, отдающий меч победителю.

— Я не сойду с места, — прокричала визгливо Пряхина, — пока не получу защиты, мой учитель! Пеликан — предатель! Бог все видит, все!

Тут тюль хрустнул, и под котом расплылась полуаршинная дыра.

— Брысь!! — вдруг отчаянно крикнул Иван Васильевич и захлопал в ладоши.

Кот сполз с занавески, распоров ее донизу, и выскочил из комнаты, а Пряхина зарыдала громовым голосом и, закрыв глаза руками, вскричала, давясь в слезах:

— Что *я* слышу?! Что я слышу?! Неужели мой учитель и благодетель гонит меня?! Боже, боже!! Ты видишь?!

— Оглянитесь, Людмила Сильвестровна! — отчаянно закричал Иван Васильевич, и тут еще в дверях появилась старушка, которая крикнула:

— Милочка! Назад! Чужой!..

Тут Людмила Сильвестровна открыла глаза и увидела мой серый костюм в сером кресле. Она выпучила глаза на меня, и слезы, как мне показалось, в мгновенье ока высохли на ней. Она вскочила с колен, прошептала: «Господи...» — и кинулась вон. Тут же исчезла и старушка, и дверь закрылась.

Мы помолчали с Иваном Васильевичем. После долгой паузы он побарабанил пальцами по столу.

— Ну-с, как вам понравилось? — спросил он и добавил тоскливо: — Пропала занавеска к черту.

Еще помолчали.

— Вас, конечно, поражает эта сцена? — осведомился Иван Васильевич и закряхтел.

Закряхтел и я и заерзал в кресле, решительно не зная, что ответить, — сцена меня нисколько не поразила. Я прекрасно понял, что это продолжение той сцены, что была в предбаннике, и что Пряхина исполнила свое обещание броситься в ноги Ивану Васильевичу.

— Это мы репетировали, — вдруг сообщил Иван Васильевич, — а вы, наверное, подумали, что это просто скандал! Каково? А?

— Изумительно, — сказал я, пряча глаза.

— Мы любим так иногда внезапно освежить в памяти какую-нибудь сцену... гм... гм... этюды очень важны. А насчет Пеликана вы не верьте. Пеликан — доблестнейший и полезнейший человек!..

Иван Васильевич поглядел тоскливо на занавеску и сказал:

— Ну-с, продолжим!

Продолжить мы не могли, так как вошла та самая старушка, что была в дверях.

— Тетушка моя, Настасья Ивановна, — сказал Иван Васильевич. Я поклонился. Приятная старушка посмотрела на меня ласково, села и спросила:

— Как ваше здоровье?

— Благодарю вас покорнейше, — кланяясь, ответил я, — я совершенно здоров.

Помолчали, причем тетушка и Иван Васильевич поглядели на занавеску и обменялись горьким взглядом.

— Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?

— Леонтий Сергеевич, — отозвался Иван Васильевич, — пьесу мне принес.

— Чью пьесу? — спросила старушка, глядя на меня печальными глазами.

— Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу!

— А зачем? — тревожно спросила Настасья Ивановна.

— Как зачем?.. Гм... гм...

— Разве уж и пьес не стало? — ласково-укоризненно спросила Настасья Ивановна. — Какие хорошие пьесы есть. И сколько их! Начнешь играть — в двадцать лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?

Она была так убедительна, что я не нашелся, что сказать. Но Иван Васильевич побарабанил и сказал:

— Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил!

Тут старушка встревожилась.

— Мы против властей не бунтуем, — сказала она.

— Зачем же бунтовать, — поддержал ее я.

— А «Плоды просвещения» вам не нравятся? — тревожно-робко спросила Настасья Ивановна. — А ведь какая хорошая пьеса. И Милочке роль есть... — она вздохнула, поднялась. — Поклон батюшке, пожалуйста, передайте.

— Батюшка Сергея Сергеевича умер, — сообщил Иван Васильевич.

— Царство небесное, — сказала старушка вежливо, — он, чай, не знает, что вы пьесы сочиняете? А отчего умер?

— Не того доктора пригласили, — сообщил Иван Васильевич. — Леонтий Пафнутьевич мне рассказал эту горестную историю.

— А ваше-то имечко как же, я что-то не пойму, — сказала Настасья Ивановна, — то Леонтий, то Сергей! Разве уж и имена позволяют менять? У нас один фамилию переменил. Теперь и разбери-ко, кто он такой!

— Я — Сергей Леонтьевич, — сказал я сиплым голосом.

— Тысячу извинений, — воскликнул Иван Васильевич, — это я спутал!

— Ну, не буду мешать, — отозвалась старушка.

— Кота надо высечь, — сказал Иван Васильевич, — это не кот, а бандит. Нас вообще бандиты одолели, — заметил он интимно, — уж не знаем, что и делать!

Вместе с надвигающимися сумерками наступила и катастрофа.

Я прочитал:

— «Бахтин *(Петрову)*. Ну, прощай! Очень скоро ты придешь за мною...

Петров. Что ты делаешь?!

Бахтин *(стреляет себе в висок, падает, вдали послышалась гармони...)*»

— Вот это напрасно! — воскликнул Иван Васильевич. — Зачем это? Это надо вычеркнуть, не медля ни секунды. Помилуйте! Зачем же стрелять?

— Но он должен кончить самоубийством, — кашлянув, ответил я.

— И очень хорошо! Пусть кончит и пусть заколется кинжалом!

— Но, видите ли, дело происходит в гражданскую войну... Кинжалы уже не применялись...

— Нет, применялись, — возразил Иван Васильевич, — мне рассказывал этот... как его... забыл... что применялись... Вы вычеркните этот выстрел!..

Я промолчал, совершая грустную ошибку, и прочитал дальше:

— *«(...моника и отдельные выстрелы. На мосту появился человек с винтовкой в руке. Луна...)»*

— Боже мой! — воскликнул Иван Васильевич. — Выстрелы! Опять выстрелы! Что за бедствие такое! Знаете что, Лео... знаете что, вы эту сцену вычеркните, она лишняя.

— Я считал, — сказал я, стараясь говорить как можно мягче, — эту сцену главной... Тут, видите ли...

— Форменное заблуждения — отрезал Иван Васильевич. — Эта сцена не только не главная, но ее вовсе не нужно. Зачем это? Ваш этот, как его?..

— Бахтин.

— Ну да... ну да, вот он закололся там вдали, — Иван Васильевич махнул рукой куда-то очень далеко, — а приходит домой другой и говорит матери: — Бехтеев закололся!

— Но матери нет, — сказал я, ошеломленно глядя на стакан с крышечкой.

— Нужно обязательно! Вы напишите ее. Это нетрудно. Сперва кажется, что трудно — не было матери, и вдруг она есть, — но это заблуждение, это очень легко. И вот старушка рыдает дома, а который принес известие... Назовите его Иванов...

— Но ведь Бахтин герой! У него монологи на мосту... Я полагал...

— А Иванов и скажет все его монологи!.. У вас хорошие монологи, их нужно сохранить. Иванов и скажет — вот Петя закололся и перед смертью сказал то-то, то-то и то-то... Очень сильная сцена будет.

— Но как же быть, Иван Васильевич, ведь у меня же на мосту массовая сцена... там столкнулись массы...

— А они пусть за сценой столкнутся. Мы этого видеть не должны ни в коем случае. Ужасно, когда они на сцене сталкиваются! Ваше счастье, Сергей Леонтьевич, — сказал Иван Васильевич, единственный раз попав правильно, — что вы не изволите знать некоего Мишу Панина!.. (Я похолодел.) Это, я вам скажу, удивительная личность! Мы его держим на черный день, вдруг что-нибудь случится, тут мы его и пустим в ход... Вот он нам пьесочку тоже доставил, удружил, можно сказать, — «Стенька Разин». Я приехал в театр, подъезжаю, издали еще слышу, окна были раскрыты, — грохот, свист, крики, ругань, и палят из ружей! Лошадь едва не понесла, я думал, что бунт в театре! Ужас! Оказывается, это Стриж репетирует! Я говорю Августе Авдеевне: вы, говорю, куда же смотрели? Вы, спрашиваю, хотите, чтобы меня расстреляли самого? А ну как Стриж этот спалит театр, ведь меня по головке не погладят, не правда ли-с? Августа Авдеевна, на что уж доблестная женщина, отвечает: «Казните меня, Иван Васильевич, ничего со Стрижем сделать не могу!» Этот Стриж — чума у нас в театре. Вы, если его увидите, за версту от него бегите куда глаза глядят. (Я похолодел.) Ну конечно, это все с благословения некоего Аристарха Платоныча, ну его вы не знаете, слава богу! А вы — выстрелы! За эти выстрелы знаете, что может быть? Ну-с, продолжимте.

И мы продолжили, и, когда уже стало темнеть, я осипшим голосом произнес: «Конец».

И вскоре ужас и отчаяние охватили меня, и показалось мне, что я построил домик и лишь только в него переехал, как рухнула крыша.

— Очень хорошо, — сказал Иван Васильевич по окончании чтения, — теперь вам надо начать работать над этим материалом.

Я хотел вскрикнуть:

«Как?!»

Но не вскрикнул.

И Иван Васильевич, все более входя во вкус, стал подробно рассказывать, как работать над этим материалом. Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених, а у пятидесятипятилетней матери (Иван Васильевич тут же окрестил ее Антониной) жениха, конечно, быть не могло, то у меня вылетала из пьесы целая роль, да, главное, которая мне очень нравилась.

Сумерки лезли в комнату. Побывала фельдшерица, и опять принял Иван Васильевич какие-то капли. Потом какая-то сморщенная старушка принесла настольную лампочку, и стал вечер.

В голове у меня начался какой-то кавардак. Стучали молоты в виске. От голода у меня что-то взмывало внутри, и перед глазами скашивалась временами комната. Но, главное, сцена на мосту улетала, а с нею улетал и мой герой.

Нет, пожалуй, самым главным было то, что совершается, по-видимому, какое-то недоразумение. Перед моими глазами всплывала вдруг афиша, на которой пьеса уже стояла, в кармане хрустел, как казалось мне, последний непроеденный червонец из числа полученных за пьесу, Фома Стриж как будто стоял за спиной и уверял, что пьесу выпустит через два месяца, а здесь было совершенно ясно, что пьесы вообще никакой нет и что ее нужно сочинить с самого начала и до конца заново. В диком хороводе передо мною танцевал Миша Панин, Евлампия, Стриж, картинки из предбанника, но не было пьесы.

Но дальше произошло совсем уже непредвиденное и даже, как мне казалось, немыслимое.

Показав (и очень хорошо показав), как закалывается Бахтин, которого Иван Васильевич прочно окрестил Бехтеевым, он вдруг закряхтел и повел такую речь:

— Вот вам бы какую пьесу сочинить... Колоссальные деньги можете заработать в один миг. Глубокая психологическая драма... Судьба артистки. Будто бы в некоем царстве живет артистка, и вот шайка врагов ее травит, преследует и жить не дает... А она только воссылает моления за своих врагов...

«И скандалы устраивает», — вдруг в приливе неожиданной злобы подумал я.

— Богу воссылает моления, Иван Васильевич?

Этот вопрос озадачил Ивана Васильевича. Он покряхтел и ответил:

— Богу?.. Гм... гм... Нет, ни в каком случае. Богу вы не пишите... Не богу, а... искусству, которому она глубочайше предана. А травит ее шайка злодеев, и подзуживает эту шайку некий волшебник Черномор. Вы напишите, что он в Африку уехал и передал свою власть некоей даме Икс. Ужасная женщина. Сидит за конторкой и на все способна. Сядете с ней чай пить, внимательно смотрите, а то она вам такого сахару положит в чаек...

«Батюшки, да ведь это он про Торопецкую!» — подумал я.

— ...что вы хлебнете, да ноги и протянете. Она да еще ужасный злодей Стриж... то есть я... один режиссер...

Я сидел, тупо глядя на Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползала с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые.

— Вы, как видно, упрямый человек, — сказал он весьма мрачно и пожевал губами.

— Нет, Иван Васильевич, но просто я далек от артистического мира и...

— А вы его изучите! Это очень легко. У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них... Сразу полтора акта пьесы готовы! Такие расхаживают, что так и ждешь, что он или сапоги из уборной стянет, или финский нож вам в спину всадит.

— Это ужасно, — произнес я больным голосом и тронул висок.

— Я вижу, что вас это не увлекает... Вы человек неподатливый! Впрочем, ваша пьеса тоже хорошая, — молвил Иван Васильевич, пытливо всматриваясь в меня, — теперь только стоит ее сочинить, и все будет готово...

На гнущихся ногах, со стуком в голове я выходил и с озлоблением глянул на черного Островского. Я что-то бормотал, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице, и ставшая ненавистной пьеса оттягивала мне руки.

Ветер рванул с меня шляпу при выходе во двор, и я поймал ее в луже. Бабьего лета не было и в помине. Дождь брызгал косыми струями, под ногами хлюпало, мокрые листья срывались с деревьев в саду. Текло за воротник.

Шепча какие-то бессмысленные проклятия жизни, себе, я шел, глядя на фонари, тускло горящие в сетке дождя.

На углу какого-то переулка слабо мерцал огонек в киоске. Газеты, придавленные кирпичами, мокли на прилавке, и неизвестно зачем я купил журнал «Лик Мельпомены» с нарисованным мужчиной в трико в обтяжку, с перышком в шапочке и наигранными подрисованными глазами.

Удивительно омерзительной показалась мне моя комната. Я швырнул разбухшую от воды пьесу на пол, сел к столу и придавил висок рукой, чтобы он утих. Другой рукою я отщипывал кусочки черного хлеба и жевал их.

Сняв руку с виска, я стал перелистывать отсыревший «Лик Мельпомены». Видна была какая-то девица в фижмах, мелькнул заголовок «Обратить внимание», другой — «Распоясавшийся тенор ди грациа», и вдруг мелькнула моя фамилия. Я до такой степени удивился, что у меня даже прошла голова. Вот фамилия мелькнула еще и еще, а потом мелькнул и Лопе де Вега. Сомнений не было, передо мною был фельетон «Не в свои сани», и героем этого фельетона был я. Я забыл, в чем была суть фельетона. Помнится смутно его начало:

«На Парнасе было скучно.

— Чтой-то новенького никого нет, — зевая, сказал Жан-Батист Мольер.

— Да, скучновато, — отозвался Шекспир...»

Помнится, дальше открывалась дверь, и входил я — черноволосый молодой человек с толстейшей драмой под мышкой.

Надо мною смеялись, в этом не было сомнений, — смеялись злобно все. И Шекспир, и Лопе де Вега, и ехидный Мольер, спрашивающий меня, не написал ли я чего-либо вроде «Тартюфа», и Чехов, которого я по книгам принимал за деликатнейшего человека, но рез-

вее всех издевался автор фельетона, которого звали Волкодав.

Смешно вспоминать теперь, но озлобление мое было безгранично. Я расхаживал по комнате, чувствуя себя оскорбленным безвинно, напрасно, ни за что ни про что.

Дикие мечтания о том, чтобы застрелить Волкодава, перемежались недоуменными размышлениями о том, в чем же я виноват?

— Это афиша! — шептал я. — Но я разве ее сочинял? Вот тебе! — шептал я, и мне мерещилось, как, заливаясь кровью, передо мною валится Волкодав на пол.

Тут запахло табачным нагаром из трубки, дверь скрипнула, и в комнате оказался Ликоспастов в мокром плаще.

— Читал? — спросил он радостно. — Да, брат, поздравляю, продернули. Ну, что ж поделаешь — назвался груздем, полезай в кузов. Я как увидел, пошел к тебе, надо навестить друга, — и он повесил стоящий колом плащ на гвоздик.

— Кто этот Волкодав? — глухо спросил я.

— А зачем тебе?

— Ах, ты знаешь?..

— Да ведь ты же с ним знаком.

— Никакого Волкодава не знаю!

— Ну как же не знаешь! Я же тебя и познакомил... Помнишь, на улице... Еще афиша эта смешная... Софокл...

Тут я вспомнил задумчивого толстяка, глядевшего на мои волосы... «Черные волосы!..»

— Что же я этому сукину сыну сделал? — спросил я запальчиво.

Ликоспастов покачал головою.

— Э, брат, нехорошо, нехо-ро-шо. Тебя, как я вижу, гордыня совершенно обуяла. Что же это, уж и слова никто про тебя не смей сказать? Без критики не проживешь.

— Какая это критика?! Он издевается... Кто он такой?

— Он драматург, — ответил Ликоспастов, — пять пьес написал. И славный малый, ты зря злишься. Ну, конечно, обидно ему немного. Всем обидно...

— Да ведь не я же сочинял афишу? Разве я виноват в том, что у них в репертуаре Софокл и Лопе де Вега... и..

— Ты все-таки не Софокл, — злобно ухмыльнувшись, сказал Ликоспастов, — я, брат, двадцать пять лет пишу, — продолжал он, — однако вот в Софоклы не попал, — он вздохнул.

Я почувствовал, что мне нечего говорить в ответ Ликоспастову. Нечего! Сказать так: «Не попал, потому что ты писал плохо, а я хорошо!» Можно ли так сказать, я вас спрашиваю? Можно?

Я молчал, а Ликоспастов продолжал:

— Конечно, в общественности эта афиша вызвала волнение. Меня уж многие расспрашивали. Огорчает афишка-то! Да я, впрочем, не спорить пришел, а, узнав про вторую беду твою, пришел утешить, потолковать с другом...

— Какую такую беду?!

— Да ведь Ивану-то Васильевичу пьеска не понравилась, — сказал Ликоспастов, и глаза его сверкнули, — читал ты, говорят, сегодня?

— Откуда это известно?!

— Слухом земля полнится, — вздохнув, сказал Ликоспастов, вообще любивший говорить пословицами и поговорками, — ты Настасью Иванну Колдыбаеву знаешь? — И, не дождавшись моего ответа, продолжал: — Почтенная дама, тетушка Ивана Васильевича. Вся Москва ее уважает, на нее молились в свое время. Знаменитая актриса была! А у нас в доме живет портниха, Ступина Анна. Она сейчас была у Настасьи Ивановны, только что пришла. Настасья Иванна ей рассказывала. Был, говорит, сегодня у Ивана Васильевича новый какой-то, пьесу читал, черный такой, как жук (я сразу догадался, что это ты). Не понравилось, говорит, Ивану Васильевичу. Так-то. А ведь говорил я тебе тогда, помнишь, когда ты читал? Говорил, что третий акт сделан легковесно, поверхностно сделан, ты извини, я тебе пользы желаю. Не послушался ведь ты! Ну, а Иван Васильевич, он, брат, дело понимает, от него не скроешься, сразу разобрался. Ну, а раз ему не нравится, стало быть, пьеска не пойдет. Вот и выходит, что останешься ты с афишкой на рука . Смеяться будут, вот тебе и Эврипид! Да говорит Настасья Ивановна, что ты и надерзил Ивану Васильевичу? Расстроил его? Он тебе стал советы по-

давать, а ты в ответ, говорит Настасья Иванна, — фырк! Фырк! Ты меня прости, но это слишком! Не по чину берешь! Не такая уж, конечно, ценность (для Ивана Васильевича) твоя пьеса, чтобы фыркать...

— Пойдем в ресторанчик, — тихо сказал я, — не хочется мне дома сидеть. Не хочется.

— Понимаю! Ах, как понимаю! — воскликнул Ликоспастов. — С удовольствием. Только вот... — он беспокойно порылся в бумажнике.

— У меня есть.

Примерно через полчаса мы сидели за запятнанной скатертью у окошка ресторана «Неаполь». Приятный блондин хлопотал, уставляя столик кой-какою закускою, говорил ласково, огурцы называл «огурчики», икру — «икоркой понимаю», и так от него стало тепло и уютно, что я забыл, что на улице беспросветная мгла, и даже перестало казаться, что Ликоспастов змея.

ГЛАВА 13

Я ПОЗНАЮ ИСТИНУ

Ничего нет хуже, товарищи, чем малодушие и неуверенность в себе. Они-то и привели меня к тому, что я стал задумываться — уж не надо ли, в самом деле, сестру-невесту превратить в мать?

«Не может же, в самом деле, — рассуждал я сам с собою, — чтобы он говорил так зря? Ведь он понимает в этих делах!»

И, взяв в руки перо, я стал что-то писать на листе. Сознаюсь откровенно: получилась какая-то белиберда. Самое главное было в том, что я возненавидел непрошеную мать Антонину настолько, что, как только она появлялась на бумаге, стискивал зубы. Ну, конечно, ничего и выйти не могло. Героев своих надо любить; если этого не будет, не советую никому браться за перо — вы получите крупнейшие неприятности, так и знайте.

«Так и знайте!» — прохрипел я и, изодрав лист в клочья, дал себе слово в театр не ходить. Мучительно трудно было это исполнить. Мне же все-таки хотелось знать, чем это кончится. «Нет, пусть они меня позовут», — думал я.

Однако прошел день, прошел другой, три дня, неде-

ля — не зовут. «Видно, прав был негодяй Ликоспастов, — думал я, — не пойдет у них пьеса. Вот тебе и афиша и «Сети Фенизы»! Ах, как мне не везет!»

Свет не без добрых людей, скажу я, подражая Ликоспастову. Как-то постучали ко мне в комнату, и вошел Бомбардов. Я обрадовался ему до того, что у меня зачесались глаза.

— Всего этого следовало ожидать, — говорил Бомбардов, сидя на подоконнике и постукивая ногой в паровое отопление, — так и вышло. Ведь я же вас предупредил?

— Но подумайте, подумайте, Петр Петрович! — восклицал я. — Как же не читать выстрел? Как же его не читать?!

— Ну, вот и прочитали! Пожалуйста, — сказал жестко Бомбардов.

— Я не расстанусь со своим героем, — сказал я злобно.

— А вы бы и не расстались...

— Позвольте!

И я, захлебываясь, рассказал Бомбардову про все: и про мать, и про Петю, который должен был завладеть дорогими монологами героя, и про кинжал, выводивший меня в особенности из себя.

— Как вам нравятся такие проекты? — запальчиво спросил я.

— Бред, — почему-то оглянувшись, ответил Бомбардов.

— Ну, так!..

— Вот и нужно было не спорить, — тихо сказал Бомбардов, — а отвечать так: очень вам благодарен, Иван Васильевич, за ваши указания, я непременно постараюсь их исполнить. Нельзя возражать, понимаете вы или нет? На Сивцев Вражке не возражают.

— То есть как это?!

— Никто и никогда не возражает? — Никто и никогда, — отстукивая каждое слово, ответил Бомбардов, — не возражал, не возражает и возражать не будет.

— Что бы он ни говорил?

— Что бы ни говорил.

— А если он скажет, что мой герой должен уехать в Пензу? Или что эта мать Антонина должна повеситься?

Или что она поет контральтовым голосом? Или что эта печка черного цвета? Что я должен ответить на это?

— Что печка эта черного цвета.

— Какая же она получится на сцене?

— Белая, с черным пятном.

— Что-то чудовищное, неслыханное!..

— Ничего, живем, — ответил Бомбардов.

— Позвольте! Неужели же Аристарх Платонович не может ничего ему сказать?

— Аристарх Платонович не может ему ничего сказать, так как Аристарх Платонович не разговаривает с Иваном Васильевичем с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года.

— Как это может быть?

— Они поссорились в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году и с тех пор не встречаются, не говорят друг с другом даже по телефону.

— У меня кружится голова! Как же стоит театр?

— Стоит, как видите, и прекрасно стоит. Они разграничили сферы. Если, скажем, Иван Васильевич заинтересовался вашей пьесой, то к ней уж не подойдет Аристарх Платонович, и наоборот. Стало быть, нет той почвы, на которой они могли бы столкнуться. Это очень мудрая система.

— Господи! И, как назло, Аристарх Платонович в Индии. Если бы он был здесь, я бы к нему обратился...

— Гм, — сказал Бомбардов и поглядел в окно.

— Ведь нельзя же иметь дело с человеком, который никого не слушает!

— Нет, он слушает. Он слушает трех лиц: Гавриила Степановича, тетушку Настасью Ивановну и Августу Авдеевну. Вот три лица на земном шаре, которые могут иметь влияние на Ивана Васильевича. Если же кто-либо другой, кроме указанных лиц, вздумает повлиять на Ивана Васильевича, он добьется только того, что Иван Васильевич поступит наоборот.

— Но почему?!

— Он никому не доверяет.

— Но это же страшно!

— У всякого большого человека есть свои фантазии, — примирительно сказал Бомбардов.

— Хорошо. Я понял и считаю положение безнадежным. Раз для того, чтобы пьеса моя пошла на сцене, ее

необходимо искорежить так, что в ней пропадает всякий смысл, то и не нужно, чтобы она шла! Я не хочу, чтобы публика, увидев, как человек двадцатого века, имеющий в руках револьвер, закалывается кинжалом, тыкала бы в меня пальцами!

— Она бы не тыкала, потому что не было бы никакого кинжала. Ваш герой застрелился бы, как и всякий нормальный человек.

Я притих.

— Если бы вы вели себя тихо, — продолжал Бомбардов, — слушались бы советов, согласились бы и с кинжалами, и с Антониной, то не было бы ни того, ни другого. На все существуют свои пути и приемы.

— Какие же это приемы?

— Их знает Миша Панин, — гробовым голосом ответил Бомбардов.

— А теперь, значит, все погибло? — тоскуя, спросил я.

— Трудновато, трудновато, — печально ответил Бомбардов.

Прошла еще неделя, из театра не было никаких известий. Рана моя стала постепенно затягиваться, и единственно, что было нестерпимо, это посещение «Вестника пароходства» и необходимость сочинять очерки.

Но вдруг... О, это проклятое слово! Уходя навсегда, я уношу в себе неодолимый, малодушный страх перед этим словом. Я боюсь его так же, как слова «сюрприз», как слов «вас к телефону», «вам телеграмма» или «вас просят в кабинет». Я слишком хорошо знаю, что следует за этими словами.

Итак, вдруг и совершенно внезапно появился в моих дверях Демьян Кузьмич, расшаркался и вручил мне приглашение пожаловать завтра в четыре часа дня в театр.

Завтра не было дождя. Завтра был день с крепким осенним заморозком. Стуча каблуками по асфальту, волнуясь, я шел в театр.

Первое, что бросилось мне в глаза, это извозчичья лошадь, раскормленная, как носорог, и сухой старичок на козлах. И неизвестно почему, я понял мгновенно, что это Дрыкин. От этого я взволновался еще больше. Внутри театра меня поразило некоторое возбуждение, которое сказывалось во всем. У Фили в конторе никого не было, а все его посетители, то есть, вернее, наиболее

упрямые из них, томились во дворе, ежась от холода и изредка поглядывая в окно. Некоторые даже постукивали в окошко, но безрезультатно. Я постучал в дверь, она приоткрылась, мелькнул в щели глаз Баквалина, я услышал голос Фили:

— Немедленно впустить!

И меня впустили. Томящиеся на дворе сделали попытку проникнуть за мною следом, но дверь закрылась. Грохнувшись с лесенки, я был поднят Баквалиным и попал в контору. Филя не сидел на своем месте, а находился в первой комнате. На Филе был новый галстук, как и сейчас помню — с крапинками; Филя был выбрит как-то необыкновенно чисто.

Он приветствовал меня как-то особенно торжественно, но с оттенком некоторой грусти. Что-то в театре совершалось, и что-то, я чувствовал, как чувствует, вероятно, бык, которого ведут на заклание, важное, в чем я, вообразите, играю главную роль.

Это почувствовалось даже в короткой фразе Фили, которую он направил тихо, но повелительно Баквалину:

— Пальто примите!

Поразили меня курьеры и капельдинеры. Ни один из них не сидел на месте, а все они находились в состоянии беспокойного движения, непосвященному человеку совершенно непонятного. Так, Демьян Кузьмич рысцой пробежал мимо меня, обгоняя меня, и поднялся в бельэтаж бесшумно. Лишь только он скрылся из глаз, как из бельэтажа выбежал и вниз сбежал Кусков, тоже рысью и тоже пропал. В сумеречном нижнем фойе протрусил Клюквин и неизвестно зачем задернул занавеску на одном из окон, а остальные оставил открытыми и бесследно исчез.

Баквалин пронесся мимо по беззвучному солдатскому сукну и исчез в чайном буфете, а из чайного буфета выбежал Пакин и скрылся в зрительном зале.

— Наверх, пожалуйста, со мною, — говорил мне Филя, вежливо провожая меня.

Мы шли наверх. Еще кто-то пролетел беззвучно мимо и поднялся в ярус. Мне стало казаться, что вокруг меня бегают тени умерших.

Когда мы безмолвно подходили уже к дверям предбанника, я увидел Демьяна Кузьмича, стоящего у дверей. Какая-то фигурка в пиджачке устремилась было к

двери, но Демьян Кузьмич тихонько взвизгнул и распялся на двери крестом, и фигурка шарахнулась, и ее размыло где-то в сумерках на лестнице.

— Пропустить! — шепнул Филя и исчез.

Демьян Кузьмич навалился на дверь, она пропустила меня и... еще дверь, я оказался в предбаннике, где сумерек не было. У Торопецкой на конторке горела лампа. Торопецкая не писала, а сидела, глядя в газету. Мне она кивнула головою.

А у дверей, ведущих в кабинет дирекции, стояла Менажраки в зеленом джемпере, с бриллиантовым крестиком на шее и с большой связкой блестящих ключей на кожаном лакированном поясе.

Она сказала «сюда», и я попал в ярко освещенную комнату.

Первое, что заметилось, — драгоценная мебель карельской березы с золотыми украшениями, такой же гигантский письменный стол и черный Островский в углу. Под потолком пылала люстра, на стенах пылали кенкеты. Тут мне померещилось, что из рам портретной галереи вышли портреты и надвинулись на меня. Я узнал Ивана Васильевича, сидящего на диване перед круглым столиком, на котором стояло варенье в вазочке. Узнал Княжевича, узнал по портретам еще нескольких лиц, в том числе необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом, усеянном, как звездами, пуговицами жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шляпка лихо сидела на седеющих волосах дамы, глаза ее сверкали под черными бровями и сверкали пальцы, на которых были тяжелые бриллиантовые кольца.

Были, впрочем, в комнате и лица, не вошедшие в галерею. У спинки дивана стоял тот самый врач, что спасал во время припадка Милочку Пряхину, и также держал теперь в руках рюмку, а у дверей стоял с тем же выражением горя на лице буфетчик.

Большой круглый стол в стороне был покрыт невиданной по белизне скатертью. Огни играли на хрустале и фарфоре, огни мрачно отражались в нарзанных бутылках, мелькнуло что-то красное, кажется, кетовая икра. Большое общество, раскинувшись в креслах, шевельнулось при моем входе, и в ответ мне были отвешены поклоны.

— А! Лео!.. — начал было Иван Васильевич.

— Сергей Леонтьевич, — быстро вставил Княжевич.

— Да... Сергей Леонтьевич, милости просим! Присаживайтесь, покорнейше прошу! — И Иван Васильевич крепко пожал мне руку. — Не прикажете ли закусить чего-нибудь? Может быть, угодно пообедать или позавтракать? Прошу без церемоний! Мы подождем. Ермолай Иванович у нас кудесник, стоит только сказать ему и... Ермолай Иванович, у нас найдется что-нибудь пообедать?

Кудесник Ермолай Иванович в ответ на это поступил так: закатил глаза под лоб, потом вернул их на место и послал мне молящий взгляд.

— Или, может быть, какие-нибудь напитки? — продолжал угощать меня Иван Васильевич. — Нарзану? Ситро? Клюквенного морсу? Ермолай Иванович! — сурово сказал Иван Васильевич. — У нас достаточные запасы клюквы? Прошу вас строжайше проследить за этим.

Ермолай Иванович в ответ улыбнулся застенчиво и повесил голову.

— Ермолай Иванович, впрочем... гм... гм... маг. В самое отчаянное время он весь театр поголовно осетриной спас от голоду! Иначе все бы погибли до единого человека. Актеры его обожают!

Ермолай Иванович не возгордился описанным подвигом, и, напротив, какая-то мрачная тень легла на его лицо.

Ясным, твердым, звучным голосом я сообщил, что и завтракал и обедал, и отказался в категорической форме и от нарзана и клюквы.

— Тогда, может быть, пирожное? Ермолай Иванович известен на весь мир своими пирожными!..

Но я еще более звучным и сильным голосом (впоследствии Бомбардов, со слов присутствующих, изображал меня, говоря: «Ну и голос, говорят, у вас был!» — «А что?» — «Хриплый, злобный, тонкий...») отказался и от пирожных.

— Кстати, о пирожных, — вдруг заговорил бархатным басом необыкновенно изящно одетый и причесанный блондин, сидящий рядом с Иваном Васильевичем, — помнится, как-то мы собрались у Пручевина. И приезжает сюрпризом великий князь Максимилиан Петрович... Мы обхохотались... Вы Пручевина ведь зна-

ете, Иван Васильевич? Я вам потом расскажу этот комический случай.

— Я знаю Пручевина, — ответил Иван Васильевич, — величайший жулик. Он родную сестру донага раздел... Ну-с.

Тут дверь впустила еще одного человека, не входящего в галерею, — именно Мишу Панина. «Да, он застрелил...» — подумал я, глядя на лицо Миши.

— А! Почтеннейший Михаил Алексеевич! — вскричал Иван Васильевич, простирая руки вошедшему. — Милости просим! Пожалуйте в кресло. Позвольте вас познакомить, — отнесся Иван Васильевич ко мне, — это наш драгоценный Михаил Алексеевич, исполняющий у нас важнейшие функции. А это...

— Сергей Леонтьевич! — весело вставил Княжевич.

— Именно он!

Не говоря ничего о том, что мы уже знакомы, и не отказываясь от этого знакомства, мы с Мишей просто пожали руки друг другу.

— Ну-с, приступим! — объявил Иван Васильевич, и все глаза уставились на меня, отчего меня передернуло. — Кто желает высказаться? Ипполит Павлович!

Тут необыкновенно представительный и с большим вкусом одетый человек с кудрями вороного крыла вдел в глаз монокль и устремил на меня свой взор. Потом налил себе нарзану, выпил стакан, вытер рот шелковым платком, поколебался — выпить ли еще, выпил второй стакан и тогда заговорил.

У него был чудесный, мягкий, наигранный голос, убедительный и прямо доходящий до сердца.

— Ваш роман, Ле... Сергей Леонтьевич? Не правда ли? Ваш роман очень, очень хорош... В нем... а... как бы выразиться, — тут оратор покосился на большой стол, где стояли нарзанные бутылки, и тотчас Ермолай Иванович просеменил к нему и подал ему свежую бутылку, — исполнен психологической глубины, необыкновенно верно очерчены персонажи... Э... Что же касается описания природы, то в них вы достигли, я бы сказал, почти тургеневской высоты! — Тут нарзан вскипел в стакане, и оратор выпил третий стакан и одним движением брови выбросил монокль из глаза.

— Эти, — продолжал он, — описания южной природы... э... звездные ночи, украинские... потом шумящий

Днепр... э... как выразился Гоголь... э .Чуден Днепр, как вы помните... а запахи акации... Все это сделано у вас мастерски...

Я оглянулся на Мишу Панина — тот съежился затравленно в кресле, и глаза его были страшны.

— В особенности... э... впечатляет это описание рощи... сребристых тополей листы... вы помните?

— У меня до сих пор в глазах эти картины ночи на Днепре, когда мы ездили в поездку! — сказала контральто дама в соболях.

— Кстати о поездке, — отозвался бас рядом с Иваном Васильевичем и посмеялся: — Препикантный случай вышел тогда с генерал-губернатором Дукасовым. Вы помните его, Иван Васильевич?

— Помню. Страшнейший обжора! — отозвался Иван Васильевич. — Но продолжайте.

— Ничего, кроме комплиментов... э... э... по адресу вашего романа сказать нельзя... но... вы меня простите... сцена имеет свои законы!

Иван Васильевич ел варенье, с удовольствием слушая речь Ипполита Павловича.

— Вам не удалось в вашей пьесе передать весь аромат вашего юга, этих знойных ночей. Роли оказались психологически недочерченными, что в особенности сказалось на роли Бахтина... — Тут оратор почему-то очень обиделся, даже попыхтел губами: — П... п... и я... э... не знаю, — оратор похлопал ребрышком монокля по тетрадке, и я узнал в ней мою пьесу, — ее играть нельзя... простите, — уж совсем обиженно закончил он, — простите!

Мы тут встретились взорами. И в моем говоривший прочитал, я полагаю, злобу и изумление.

Дело в том, что в романе моем не было ни акаций, ни серебристых тополей, ни шумящего Днепра, ни... словом, ничего этого не было.

«Он не читал! Он не читал моего романа, — гудело у меня в голове, — а между тем позволяет себе говорить о нем? Он плетет что-то про украинские ночи... Зачем они меня сюда позвали?!»

— Кто еще желает высказаться? — бодро спросил, оглядывая всех, Иван Васильевич.

Наступило натянутое молчание. Высказываться никто не пожелал. Только из угла донесся голос:

— Эхо-хо...

Я повернул голову и увидел в углу полного пожилого человека в темной блузе. Его лицо мне смутно припомнилось на портрете... Глаза его глядели мягко, лицо вообще выражало скуку, давнюю скуку. Когда я глянул, он отвел глаза.

— Вы хотите сказать, Федор Владимирович? — отнесся к нему Иван Васильевич.

— Нет, — ответил тот.

Молчание приобрело странный характер.

— А может быть, вам что-нибудь угодно?.. — обратился ко мне Иван Васильевич.

Вовсе не звучным, вовсе не бодрым, вовсе не ясным, я и сам это понимаю, голосом я сказал так:

— Насколько я понял, пьеса моя не подошла, и я прошу вернуть мне ее.

Эти слова вызвали почему-то волнение. Кресла задвигались, ко мне наклонился из-за спины кто-то и сказал:

— Нет, зачем же так говорить? Виноват!

Иван Васильевич посмотрел на варенье, а потом изумленно на окружающих.

— Гм... гм... — И он забарабанил пальцами, — мы дружественно говорим, что играть вашу пьесу — это значит причинить вам ужасный вред! Ужасающий вред. В особенности если за нее примется Фома Стриж. Вы сами жизни будете не рады и нас проклянете...

После паузы я сказал:

— В таком случае я прошу вернуть ее мне.

И тут я отчетливо прочел в глазах Ивана Васильевича злобу.

— У нас договорчик, — вдруг раздался голос откуда-то, и тут из-за спины врача показалось лицо Гавриила Степановича.

— Но ведь ваш театр ее не хочет играть, зачем же вам она?

Тут ко мне придвинулось лицо с очень живыми глазами в пенсне, высокий тенорок сказал:

— Неужели же вы ее понесете в театр Шлиппе? Ну, что они там наиграют? Ну, будут ходить по сцене бойкие офицерики. Кому это нужно?

— На основании существующих законоположений и разъяснений ее нельзя давать в театр Шлиппе, у нас до-

говорчик! — сказал Гавриил Степанович и вышел из-за спины врача.

«Что происходит здесь? Чего они хотят?» — подумал я и страшное удушье вдруг ощутил в первый раз в жизни.

— Простите, — глухо сказал я, — я не понимаю. Вы играть ее не хотите, а между тем говорите, что в другой театр я ее отдать не могу. Как же быть?

Слова эти произвели удивительное действие. Дама в соболях обменялась оскорбленным взором с басом на диване. Но страшнее всех было лицо Ивана Васильевича. Улыбка слетела с него, в упор на меня смотрели злые огненные глаза.

— Мы хотим спасти вас от страшного вреда! — сказал Иван Васильевич. — От вернейшей опасности, караулящей вас за углом.

Опять наступило молчание и стало настолько томительным, что вынести его больше уж было невозможно.

Поковыряв немного обивку на кресле пальцем, я встал и раскланялся. Мне ответили поклоном все, кроме Ивана Васильевича, глядевшего на меня с изумлением. Боком я добрался до двери, споткнулся, вышел, поклонился Торопецкой, которая одним глазом глядела в «Известия», а другим на меня. Августе Менажраки, принявшей этот поклон сурово, и вышел.

Театр тонул в сумерках. В чайном буфете появились белые пятна — столики накрывали к спектаклю.

Дверь в зрительный зал была открыта, я задержался на несколько мгновений и глянул. Сцена была раскрыта вся, вплоть до кирпичной дальней стены. Сверху спускалась зеленая беседка, увитая плющом, сбоку в громадные открытые ворота рабочие, как муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны.

Через минуту меня уже не было в театре.

Ввиду того, что у Бомбардова не было телефона, я послал ему в тот же вечер телеграмму такого содержания:

«Приходите поминки. Без вас сойду с ума, не понимаю».

Эту телеграмму у меня не хотели принимать и приняли лишь после того, как я пригрозил пожаловаться в «Вестник пароходства».

Вечером на другой день мы сидели с Бомбардовым за накрытым столом. Упоминаемая мною раньше жена мастера внесла блины.

Бомбардову понравилась моя мысль устроить поминки, понравилась и комната, приведенная в полный порядок.

— Я теперь успокоился, — сказал я после того, как мой гость утолил первый голод, — и желаю только одного — знать, что это было? Меня просто терзает любопытство. Таких удивительных вещей я еще никогда не видал.

Бомбардов в ответ похвалил блины, оглядел комнату и сказал:

— Вам бы нужно жениться, Сергей Леонтьевич. Жениться на какой-нибудь симпатичной, нежной женщине или девице.

— Этот разговор уже описан Гоголем, — ответил я, — не будем же повторяться. Скажите мне, что это было?

Бомбардов пожал плечами.

— Ничего особенного не было, было совещание Ивана Васильевича со старейшинами театра.

— Так-с. Кто эта дама в соболях?

— Маргарита Петровна Таврическая, артистка нашего театра, входящая в группу старейших или основоположников. Известна тем, что покойный Островский в тысяча восемьсот восьмидесятом году, поглядев на игру Маргариты Петровны — она дебютировала, — сказал: «Очень хорошо».

Далее я узнал у моего собеседника, что в комнате были исключительно основоположники, которые были созваны экстреннейшим образом на заседание по поводу моей пьесы, и что Дрыкина известили накануне, и что он долго чистил коня и мыл пролетку карболкой.

Спросивши о рассказчике про великого князя Максимилиана Петровича и обжору генерал-губернатора, узнал, что это самый молодой из всех основоположников.

Нужно сказать, что ответы Бомбардова отличались явной сдержанностью и осторожностью. Заметив это, я постарался нажать своими вопросами так, чтобы добиться все-таки от моего гостя не одних формальных и сухих ответов, вроде «родился тогда-то, имя и отчество такое-то», а все-таки кое-каких характеристик. Меня до глубины души интересовали люди, собравшиеся тогда в комнате дирекции. Из их характеристик должно было

сплестись, как я полагал, объяснение их поведения на этом загадочном заседании.

— Так этот Горностаев (рассказчик про генерал-губернатора) актер хороший? — спросил я, наливая вина Бомбардову.

— Угу-у, — ответил Бомбардов.

— Нет, «угу-у» — это мало. Ну вот, например, насчет Маргариты Петровны известно, что Островский сказал «очень хорошо». Вот уж и какая-то зазубринка! А то что ж «угу-у». Может, Горностаев чем-нибудь себя прославил?

Бомбардов кинул исподтишка на меня настороженный взгляд, помямлил как-то...

— Что бы вам по этому поводу сказать? Гм, гм... — И, осушив свой стакан, сказал: — Да вот недавно совершенно Горностаев поразил всех тем, что с ним чудо произошло... — И тут начал поливать блин маслом и так долго поливал, что я воскликнул:

— Ради бога, не тяните!

— Прекрасное вино напареули, — все-таки вклеил Бомбардов, испытывая мое терпение, и продолжал так: — Было это дельце четыре года тому назад. Раннею весною, и, как сейчас помню, был тогда Герасим Николаевич как-то особенно весел и возбужден. Не к добру, видно, веселился человек! Планы какие-то строил, порывался куда-то, даже помолодел. А он, надо вам сказать, театр любит страстно. Помню, все говорил тогда: «Эх, отстал я несколько, раньше я, бывало, следил за театральной жизнью Запада, каждый год ездил, бывало, за границу, ну, и натурально, был в курсе всего, что делается в театре в Германии, во Франции! Да что Франция, даже, вообразите, в Америку с целью изучения театральных достижений заглядывал». — «Так вы, — говорят ему, — подайте заявление да и съездите». Усмехнулся мягкой такой улыбкой. «Ни в коем случае, отвечает, не такое теперь время, чтобы заявления подавать! Неужели я допущу, чтобы из-за меня государство тратило ценную валюту? Лучше пусть инженер какой-нибудь съездит или хозяйственник!»

Крепкий, настоящий человек! Нуте-с... (Бомбардов поглядел сквозь вино на свет лампочки, еще раз похвалил вино) нуте-с, проходит месяц, настала уже и настоящая весна. Тут и разыгралась беда. Приходит раз Гера-

сим Николаевич к Августе Авдеевне в кабинет. Молчит. Та посмотрела на него, видит, что на нем лица нет, бледен как салфетка, в глазах траур. «Что с вами, Герасим Николаевич?» — «Ничего, отвечает, не обращайте внимания». Подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу, стал насвистывать что-то очень печальное и знакомое до ужаса. Вслушалась, оказалось — траурный марш Шопена. Не выдержала, сердце у нее по человечеству заныло, пристала: «Что такое? В чем дело?»

Повернулся к ней, криво усмехнулся и говорит: «Поклянитесь, что никому не скажете!» Та, натурально, немедленно поклялась. «Я сейчас был у доктора, и он нашел, что у меня саркома легкого». Повернулся и вышел.

— Да, это штука... — тихо сказал я, и на душе у меня стало скверно.

— Что говорить! — подтвердил Бомбардов. — Ну-с Августа Авдеевна немедленно под клятвой это Гавриилу Степановичу, тот Ипполиту Павловичу, тот жене, жена Евлампии Петровне; короче говоря, через два часа даже подмастерья в портновском цехе знали, что Герасима Николаевича художественная деятельность кончилась и что венок хоть сейчас можно заказывать. Актеры в чайном буфете через три часа уже толковали, кому передадут роли Герасима Николаевича.

Августа Авдеевна тем временем за трубку и к Ивану Васильевичу. Ровно через три дня звонит Августа Авдеевна к Герасиму Николаевичу и говорит: «Сейчас приеду к вам». И, точно, приезжает. Герасим Николаевич лежит на диване в китайском халате, как смерть сама бледен, но горд и спокоен.

Августа Авдеевна — женщина деловая и прямо на стол красную книжку и чек — бряк!

Герасим Николаевич вздрогнул и сказал:

— Вы недобрые люди. Ведь я не хотел этого! Какой смысл умирать на чужбине?

Августа Авдеевна стойкая женщина и настоящий секретарь! Слова умирающего она пропустила мимо ушей и крикнула:

— Фаддей!

А Фаддей верный, преданный слуга Герасима Николаевича.

И тотчас Фаддей появился.

— Поезд идет через два часа. Плед Герасиму Николаевичу! Белье. Чемодан. Несессер. Машина будет через сорок минут.

Обреченный только вздохнул, махнул рукой.

Есть где-то, не то в Швейцарии на границе, не то не в Швейцарии, словом, в Альпах... — Бомбардов потер лоб, — словом, неважно. На высоте трех тысяч метров над уровнем моря высокогорная лечебница мировой знаменитости профессора Кли. Ездят туда только в отчаянных случаях. Или пан, или пропал. Хуже не будет, а, бывает, случались чудеса. На открытой веранде, в виду снеговых вершин, кладет Кли таких безнадежных, делает им какие-то впрыскивания саркоматина, заставляет дышать кислородом, и, случалось, Кли на год удавалось оттянуть смерть.

Через пятьдесят минут провезли Герасима Николаевича мимо театра по его желанию, и Демьян Кузьмич рассказывал потом, что видел, как тот поднял руку и благословил театр, а потом машина ушла на Белорусско-Балтийский вокзал.

Тут лето наскочило, и пронесся слух, что Герасим Николаевич скончался. Ну, посудачили, посочувствовали... Однако лето... Актеры уж были на отлете, у них поездка начиналась... Так что уж очень большой скорби как-то не было... Ждали, что вот привезут тело Герасима Николаевича... Актеры тем временем разъехались, сезон кончился. А надо вам сказать, что наш Плисов...

— Это тот симпатичный с усами? — спросил я. — Который в галерее?

— Именно он, — подтвердил Бомбардов и продолжал: — Так вот он получил командировку в Париж для изучения театральной машинерии. Немедленно, натурально, получил документы и отчалил. Плисов, надо вам сказать, работяга потрясающий и в свой поворотный круг буквально влюблен. Завидовали ему чрезвычайно. Каждому лестно в Париж съездить... «Вот счастливец!» — все говорили. Счастливец он или несчастливец, но взял документики и покатил в Париж, как раз в то время, как пришло известие о кончине Герасима Николаевича. Плисов личность особенная и ухитрился, пробыв в Париже, не увидеть даже Эйфелевой башни. Энтузиаст. Все время просидел в тюрьмах под сценами, все изучил, что надобно, купил фонари, все честно исполнил. Наконец

нужно уж ему и уезжать. Тут решил пройтись по Парижу, хоть глянуть-то на него перед возвращением на родину. Ходил, ходил, ездил в автобусах, объясняясь по преимуществу мычанием, и, наконец, проголодался, как зверь, заехал куда-то, черт его знает куда. «Дай, думает, зайду в ресторанчик, перекушу». Видит — огни. Чувствует, что где-то не в центре, всё, по-видимому, недорого. Входит. Действительно, ресторанчик средней руки. Смотрит — и как стоял, так и застыл.

Видит: за столиком, в смокинге, в петлице бутоньерка, сидит покойный Герасим Николаевич, и с ним какие-то две француженки, причем последние прямо от хохоту давятся. А перед ними на столе в вазе со льдом бутылка шампанского и кой-что из фруктов.

Плисов прямо покачнулся у притолоки. «Не может быть! — думает, — мне показалось. Не может Герасим Николаевич быть здесь и хохотать. Он может быть только в одном месте, на Ново-Девичьем!»

Стоит, вытаращив глаза на этого, жутко похожего на покойника, а тот поднимается, причем лицо его выразило сперва какую-то как бы тревогу, Плисову даже показалось, что он как бы недоволен его появлением, но потом выяснилось, что Герасим Николаевич просто изумился. И тут же шепнул Герасим Николаевич, а это был именно он, что-то своим француженкам, и те исчезли внезапно.

Очнулся Плисов лишь тогда, когда Герасим Николаевич облобызал его. И тут же все разъяснилось. Плисов только вскрикивал: «Да ну!» — слушая Герасима Николаевича. Ну и действительно, чудеса.

Привезли Герасима Николаевича в Альпы эти самые в таком виде, что Кли покачал головой и сказал только: «Гм...» Ну, положили Герасима Николаевича на эту веранду. Впрыснули этот препарат. Кислородную подушку. Вначале больному стало хуже, и хуже настолько, что, как потом признались Герасиму Николаевичу, у Кли насчет завтрашнего дня появились самые неприятные предположения. Ибо сердце сдало. Однако завтрашний день прошел благополучно. Повторили впрыскивание. Послезавтрашний день еще лучше. А дальше — прямо не верится. Герасим Николаевич сел на кушетке, а потом говорит: «Дай-ко я пройдусь». Не только у ассистентов, но у самого Кли глаза стали круглые. Коротко гово-

ря, через день еще Герасим Николаевич ходил по веранде, лицо порозовело, появился аппетит... температура 36,8, пульс нормальный, болей нету и следа.

Герасим Николаевич рассказывал, что на него ходили смотреть из окрестных селений. Врачи приезжали из городов, Кли доклад делал, кричал, что такие случаи бывают раз в тысячу лет. Хотели портрет Герасима Николаевича поместить в медицинских журналах, но он наотрез отказался — «не люблю шумихи!»

Кли же тем временем говорит Герасиму Николаевичу, что делать ему больше в Альпах нечего и что он посылает Герасима Николаевича в Париж для того, чтобы он там отдохнул от пережитых потрясений. Ну вот Герасим Николаевич и оказался в Париже. А француженки, — объяснил Герасим Николаевич, — это двое молодых местных парижских начинающих врачей, которые собирались о нем писать статью. Вот-с какие дела.

— Да, это поразительны — заметил я. — Я все-таки не понимаю, как же это он выкрутился!

— В этом-то и есть чудо, — ответил Бомбардов, — оказывается, что под влиянием первого же впрыскивания саркома Герасима Николаевича начала рассасываться и рассосалась!

Я всплеснул руками.

— Скажите — вскричал я. — Ведь этого никогда не бывает!

— Раз в тысячу лет бывает, — отозвался Бомбардов и продолжал: — Но погодите, это не всё. Осенью приехал Герасим Николаевич в новом костюме, поправившийся, загоревший — его парижские врачи, после Парижа, еще на океан послали. В чайном буфете прямо гроздьями наши висели на Герасиме Николаевиче, слушая его рассказы про океан, Париж, альпийских врачей, и прочее такое. Ну, пошел сезон как обычно, Герасим Николаевич играл, и пристойно играл, и тянулось так до марта... А в марте вдруг приходит Герасим Николаевич на репетицию «Леди Макбет» с палочкой. «Что такое?» — «Ничего, колет почему-то в пояснице». Ну, колет, и колет, и колет. Поколет — перестанет. Однако же не перестает. Дальше — больше... синим светом — не помогает... Бессонница, спать на спине не может. Начал худеть на глазах. Пантопон. Не помогает! Ну, к доктору, конечно. И вообразите...

Бомбардов сделал умело паузу и такие глаза, что холод прошел у меня по спине.

— И вообразите... доктор посмотрел его, помял, помигал... Герасим Николаевич говорит ему: «Доктор, не тяните, я не баба, видел виды... говорите — она?» Она!! — рявкнул хрипло Бомбардов и залпом выпил стакан. — Саркома возобновилась! Бросилась в правую почку, начала пожирать Герасима Николаевича! Натурально — сенсация. Репетиции к черту, Герасима Николаевича — домой. Ну, на сей раз уж было легче. Теперь уж есть надежда. Опять в три дня паспорт, билет, в Альпы, к Кли. Тот встретил Герасима Николаевича, как родного. Еще бы! Рекламу сделала саркома Герасима Николаевича профессору мировую! Опять на веранду, опять впрыскивание — и та же история! Через сутки боль утихла, через двое Герасим Николаевич ходит по веранде, а через три просится у Кли — нельзя ли ему в теннис поиграть! Что в лечебнице творится, уму непостижимо. Больные едут к Кли эшелонами! Рядом второй, как рассказывал Герасим Николаевич, корпус начали пристраивать. Кли, на что сдержанный иностранец, расцеловался с Герасимом Николаевичем троекратно и послал его, как и полагается, отдыхать, только на сей раз в Ниццу, потом в Париж, а потом в Сицилию.

И опять приехал осенью Герасим Николаевич — мы как раз вернулись из поездки в Донбасс — свежий, бодрый, здоровый, только костюм другой, в прошлую осень был шоколадный, а теперь серый в мелкую клетку. Дня три рассказывал о Сицилии и о том, как буржуа в рулетку играют в Монте-Карло. Говорит, что отвратительное зрелище. Опять сезон, и опять к весне та же история, но только в другом месте. Рецидив, но только под левым коленом. Опять Кли, потом на Мадейру, потом в заключение — Париж.

Но теперь уж волнений по поводу вспышек саркомы почти не было. Всем стало понятно, что Кли нашел способ спасения. Оказалось, что с каждым годом под влиянием впрыскиваний устойчивость саркомы понижается, и Кли надеется и даже уверен в том, что еще три-четыре сезона, и организм Герасима Николаевича станет сам справляться с попытками саркомы дать где-нибудь вспышку. И, действительно, в позапрошлом

году она сказалась только легкими болями в гайморовой полости и тотчас у Кли пропала. Но теперь уж за Герасимом Николаевичем строжайшее и неослабное наблюдение, и есть боли или нет, но уж в апреле его отправляют.

— Чудо! — сказал я, вздохнув почему-то.

Меж тем пир наш шел горой, как говорится. Затуманились головы от напареули, пошла беседа и живее и, главное, откровеннее. «Ты очень интересный, наблюдательный, злой человек, — думал я о Бомбардове, — и нравишься мне чрезвычайно, но ты хитер и скрытен, и таким сделала тебя твоя жизнь в театре...»

— Не будьте таким! — вдруг попросил я моего гостя. — Скажите мне, ведь сознаюсь вам — мне тяжело... Неужели моя пьеса так плоха?

— Ваша пьеса, — сказал Бомбардов, — хорошая пьеса. И точка.

— Почему же, почему же произошло все это странное и страшное для меня в кабинете? Пьеса не понравилась им?

— Нет, — сказал Бомбардов твердым голосом, — наоборот. Все произошло именно потому, что она им понравилась. И понравилась чрезвычайно.

— Но Ипполит Павлович...

— Больше всего она понравилась именно Ипполиту Павловичу, — тихо, но веско, раздельно проговорил Бомбардов, и я уловил, так показалось мне, у него в глазах сочувствие.

— С ума можно сойти... — прошептал я.

— Нет, не надо сходить... Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего...

— Говорите! Говорите! — вскричал я и взялся за голову.

— Пьеса понравилась до того, что вызвала даже панику, — начал говорить Бомбардов, — отчего все и стряслось. Лишь только с нею познакомились, а старейшины узнали про нее, тотчас наметили даже распределение ролей. На Бахтина назначили Ипполита Павловича. Петрова задумали дать Валентину Конрадовичу.

— Какому... Вал... это, который...

— Ну да... он.

— Но позвольте — даже не закричал, а заорал я. — Ведь...

— Ну да, ну да... — проговорил, очевидно понимавший меня с полуслова, Бомбардов, — Ипполиту Павловичу — шестьдесят один год, Валентину Конрадовичу — шестьдесят два года... Самому старшему вашему герою Бахтину сколько лет?

— Двадцать восемь!

— Вот, вот. Нуте-с, как только старейшинам разослали экземпляры пьесы, то и передать вам нельзя, что произошло. Не бывало у нас этого в театре за все пятьдесят лет его существования. Они просто все обиделись.

— На кого? На распределителя ролей?

— Нет. На автора.

Мне оставалось только выпучить глаза, что я и сделал, а Бомбардов продолжал:

— На автора. В самом деле — группа старейшин рассуждала так: мы ищем, жаждем ролей, мы, основоположники, рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и... здравствуйте пожалуйста! Приходит серый костюм и приносит пьесу, в которой действуют мальчишки! Значит, играть мы ее не можем?! Это что же, он в шутку ее принес?! Самому младшему из основоположников пятьдесят семь лет — Герасиму Николаевичу.

— Я вовсе не претендую, чтобы мою пьесу играли основоположники! — заорал я. — Пусть ее играют молодые!

— Ишь ты как ловко! — воскликнул Бомбардов и сделал сатанинское лицо. — Пусть, стало быть, Аргунин, Галин, Елагин, Благосветлов, Стренковский выходят, кланяются — браво! Бис! Ура! Смотрите, люди добрые, как мы замечательно играем! А основоположники, значит, будут сидеть и растерянно улыбаться — значит, мол, мы не нужны уже? Значит, нас уж, может, в богадельню? Хи, хи, хи! Ловко! Ловко!

— Все понятно — стараясь кричать тоже сатанинским голосом, закричал я. — Все понятно!

— Что ж тут не понять! — отрезал Бомбардов. — Ведь Иван Васильевич сказал же вам, что нужно невесту переделать в мать, тогда играла бы Маргарита Павловна или Настасья Ивановна...

— Настасья Ивановна?!

— Вы не театральный человек, — с оскорбительной улыбкой отозвался Бомбардов, но за что оскорблял, не объяснил.

— Одно только скажите, — пылко заговорил я, — кого они хотели назначить на роль Анны?

— Натурально, Людмилу Сильвестровну Пряхину.

Тут почему-то бешенство овладело мною.

— Что-о? Что такое?! Людмилу Сильвестровну?! — Я вскочил из-за стола. — Да вы смеетесь!

— А что такое? — с веселым любопытством спросил Бомбардов.

— Сколько ей лет?

— А вот этого, извините, никто не знает.

— Анне девятнадцать лет! Девятнадцать! Понимаете? Но это даже не самое главное. А главное то, что она не может играть!

— Анну-то?

— Не Анну, а вообще ничего не может!

— Позвольте!

— Нет, позвольте! Актриса, которая хотела изобразить плач угнетенного и обиженного человека и изобразила его так, что кот спятил и изодрал занавеску, играть ничего не может.

— Кот — болван, — наслаждаясь моим бешенством, отозвался Бомбардов, — у него ожирение сердца, миокардит и неврастения. Ведь он же целыми днями сидит на постели, людей не видит, ну, натурально, испугался.

— Кот — неврастеник, я согласен! — кричал я. — Но у него правильное чутье, и он прекрасно понимает сцену. Он услыхал фальшь! Понимаете, омерзительную фальшь. Он был шокирован! Вообще, что означала вся эта петрушка?

— Накладка вышла, — пояснил Бомбардов.

— Что значит это слово?

— Накладкой на нашем языке называется всякая путаница, которая происходит на сцене. Актер вдруг в тексте ошибается, или занавес не вовремя закроют, или...

— Понял, понял...

— В данном случае наложили двое — и Августа Авдеевна и Настасья Ивановна. Первая, пуская вас к Ивану Васильевичу, не предупредила Настасью Ивановну о том, что вы будете. А вторая, перед тем как пускать

Людмилу Сильвестровну на выход, не проверила, есть ли кто у Ивана Васильевича. Хотя, конечно, Августа Авдеевна меньше виновата — Настасья Ивановна за грибами ездила в магазин...

— Понятно, понятно, — говорил я, стараясь выдавить из себя мефистофельский смех, — все решительно понятно! Так вот, не может ваша Людмила Сильвестровна играть.

— Позвольте! Москвичи утверждают, что она играла прекрасно в свое время...

— Врут ваши москвичи! — вскричал я. — Она изображает плач и горе, а глаза у нее злятся! Она подтанцовывает и кричит «бабье лето!», а глаза у нее беспокойные! Она смеется, а у слушателя мурашки в спине, как будто ему нарзану за рубашку налили! Она не актриса!

— Однако! Она тридцать лет изучает знаменитую теорию Ивана Васильевича о воплощении...

— Не знаю этой теории! По-моему, теория ей не помогла!

— Вы, может быть, скажете, что и Иван Васильевич не актер?

— А, нет! Нет! Лишь только он показал, как Бахтин закололся, я ахнул: у него глаза мертвые сделались! Он упал на диван, и я увидел зарезавшегося. Сколько можно судить по этой краткой сцене, а судить можно, как можно великого певца узнать по одной фразе, спетой им, он величайшее явление на сцене! Я только решительно не могу понять, что он говорит по содержанию пьесы.

— Все мудро говорит!

— Кинжал!!

— Поймите, что лишь только вы сели и открыли тетрадь, он уже перестал слушать вас. Да, да. Он соображал о том, как распределить роли, как сделать так, чтобы разместить основоположников, как сделать так, чтобы они могли разыграть вашу пьесу без ущерба для себя... А вы выстрелы там какие-то читаете. Я служу в нашем театре десять лет, и мне говорили, что единственный раз выстрелили в нашем театре в тысяча девятьсот первом году, и то крайне неудачно. В пьесе этого... вот забыл... известный автор... ну, неважно... словом, двое нервных героев ругались между собой из-за наследства, ругались, ругались, пока один не хлопнул в другого из

револьвера, и то мимо... Ну, пока шли простые репетиции, помощник изображал выстрел, хлопая в ладоши, а на генеральной выстрелил в кулисе по-всамделишному. Ну, Настасье Ивановне и сделалось дурно — она ни разу в жизни не слыхала выстрела, а Людмила Сильвестровна закатила истерику. И с тех пор выстрелы прекратились. В пьесе сделали изменение, герой не стрелял, а замахивался лейкой и кричал «убью тебя, негодяя!» и топал ногами, отчего, по мнению Ивана Васильевича, пьеса только выиграла. Автор бешено обиделся на театр и три года не разговаривал с директорами, но Иван Васильевич остался тверд...

По мере того, как текла хмельная ночь, порывы мои ослабевали, и я уже не шумно возражал Бомбардову, а больше задавал вопросы. Во рту горел огонь после соленой красной икры и семги, мы утоляли жажду чаем. Комната, как молоком, наполнилась дымом, из открытой форточки била струя морозного воздуха, но она не освежала, а только холодила.

— Вы скажите мне, скажите, — просил я глухим, слабым голосом, — зачем же в таком случае, если пьеса никак не расходится у них, они не хотят, чтобы я отдал ее в другой театр? Зачем она им? Зачем?

— Хорошенькое дело! Как зачем? Очень интересно нашему театру, чтобы рядом поставили новую пьесу, да которая, по-видимому, может иметь успех! С какой стати! Да ведь вы же написали в договоре, что не отдадите пьесу в другой театр?

Тут у меня перед глазами запрыгали бесчисленные огненно-зеленые надписи «автор не имеет права» и какое-то слово «буде»... и хитрые фигурки параграфов, вспомнился кожаный кабинет, показалось, что запахло духами.

— Будь он проклят! — прохрипел я.

— Кто?!

— Будь он проклят! Гавриил Степанович!

— Орел! — воскликнул Бомбардов, сверкая воспаленными глазами.

— И ведь какой тихий и все о душе говорит!..

— Заблуждение, бред, чепуха, отсутствие наблюдательности! — вскрикивал Бомбардов, глаза его пылали, пылала папироса, дым валил у него из ноздрей. — Орел, кондор. Он на скале сидит, видит на сорок километров

кругом. И лишь покажется точка, шевельнется, он взвивается и вдруг камнем падает вниз! Жалобный крик, хрипение... и вот уж он взвился в поднебесье, и жертва у него!

— Вы поэт, черт вас возьми! — хрипел я.

— А вы, — тонко улыбнувшись, шепнул Бомбардов, — злой человек! Эх, Сергей Леонтьевич, предсказываю вам, трудно вам придется...

Слова его кольнули меня. Я считал, что я совсем не злой человек, но тут же вспомнились и слова Ликоспастова о вольчьей улыбке...

— Значит, — зевая, говорил я, — значит, пьеса моя не пойдет? Значит, все пропало?

Бомбардов пристально поглядел на меня и сказал с неожиданной для него теплотой в голосе:

— Готовьтесь претерпеть все. Не стану вас обманывать. Она не пойдет. Разве что чудо...

Приближался осенний, скверный, туманный рассвет за окном. Но, несмотря на то, что были противные объедки, в блюдечках груды окурков, я, среди всего этого безобразия, еще раз поднятый какой-то последней, по-видимому, волной, начал произносить монолог о золотом коне.

Я хотел изобразить моему слушателю, как сверкают искорки на золотом крупе коня, как дышит холодом и своим запахом сцена, как ходит смех по залу... Но главное было не в этом. Раздавив в азарте блюдечко, я страстно старался убедить Бомбардова в том, что я, лишь только увидел коня, как сразу понял и сцену, и все ее мельчайшие тайны. Что, значит, давным-давно, еще, быть может, в детстве, а может быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней. И вот пришел!

— Я новый, — кричал я, — я новый! Я неизбежный, я пришел!

Тут какие-то колеса поворачивались в горящем мозгу, и выскакивала Людмила Сильвестровна, взвывала, махала кружевным платком.

— Не может она играть! — в злобном исступлении хрипел я.

— Но позвольте!.. Нельзя же...

— Попрошу не противоречить мне, — сурово говорил я, — вы притерпелись, я же новый, мой взгляд остр и свеж! Я вижу сквозь нее...

— Однако!

— И никакая те... теория ничего не поможет А вот там маленький, курносый, чиновничка играет, руки у него белые, голос сиплый, но теория ему не нужна, и этот, играющий убийцу в черных перчатках... не нужна ему теория!

— Аргунин... — глухо донеслось до меня из-за завесы дыма.

— Не бывает никаких теорий! — окончательно впадая в самонадеянность, вскрикивал я и даже зубами скрежетал и тут совершенно неожиданно увидел, что на сером пиджаке у меня большое масляное пятно с прилипшим кусочком луку. Я растерянно оглянулся. Не было ночи и в помине. Бомбардов потушил лампу, и в синеве стали выступать все предметы во всем своем уродстве.

Ночь была съедена, ночь ушла.

ГЛАВА 14

ТАИНСТВЕННЫЕ ЧУДОТВОРЦЫ

Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно все это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик? Ну, месяц, стало быть, который пошел вслед за пьяной ночью, был ноябрь. Ну, тут, конечно, дождь вперемежку с липким снегом. Ну, вы Москву знаете, надо полагать? Стало быть, описывать ее нечего. Чрезвычайно нехорошо на ее улицах в ноябре. И в учреждениях тоже нехорошо. Но это бы еще с полгоря, худо, когда дома нехорошо. Чем, скажите мне, выводить пятна с одежды? Я пробовал и так и эдак, и тем и другим. И ведь удивительная вещь: например, намочишь бензином, и чудный результат — пятно тает, тает и исчезает. Человек счастлив, ибо ничто так не мучает, как пятно на одежде. Неаккуратно, нехорошо, портит нервы. Повесишь пиджак на гвоздик, утром встанешь — пятно на прежнем месте и пахнет чуть-чуть бензином.

То же самое после кипятку, спитого чаю, одеколону. Вот чертовщина! Начинаешь злиться, дергаться, но ничего не сделаешь. Нет, видно, кто посадил себе пятно на одежду, так уж с ним и будет ходить до тех самых пор, пока не сгниет и не будет сброшен навсегда самый костюм. Мне-то теперь уж все равно — но другим пожелаю, чтобы их было как можно меньше.

Итак, я выводил пятно и не вывел, потом, помнится, все лопались шнурки на ботинках, кашлял и ежедневно ходил в «Вестник», страдал от сырости и бессонницы, а читал как попало и бог знает что. Обстоятельства же сложились так, что людей возле меня не стало. Ликоспастов почему-то уехал на Кавказ, приятеля моего, у которого я похищал револьвер, перевели на службу в Ленинград, а Бомбардов заболел воспалением почек, и его поместили в лечебницу. Изредка я ходил его навещать, но ему, конечно, было не до разговоров о театре. И понимал он, конечно, что как-никак, а после случая с «Черным снегом» дотрагиваться до этой темы не следует, а до почек можно, потому что здесь все-таки возможны всякие утешения. Поэтому о почках и говорили, даже Кли в шуточном плане вспоминали, но было как-то невесело.

Всякий раз, впрочем, как я видел Бомбардова, я вспоминал о театре, но находил в себе достаточно воли, чтобы ни о чем его не спросить. Я поклялся себе вообще не думать о театре, но клятва эта, конечно, нелепая. Думать запретить нельзя. Но можно запретить справляться о театре. И это я себе запретил.

А театр как будто умер и совершенно не давал о себе знать. Никаких известий из него не приходило. От людей, повторяю, удалился. Ходил в букинистические лавки и по временам сидел на корточках, в полутьме, роясь в пыльных журналах и, помнится, видел чудесную картинку... триумфальная арка...

Тем временем дожди прекратились, и совершенно неожиданно ударил мороз. Окно разделало узором в моей мансарде, и, сидя у окна и дыша на двугривенный и отпечатывая его на обледеневшей поверхности, я понял, что писать пьесы и не играть их — невозможно.

Однако из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и

редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл — «третьим действием». Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом, поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?

Да я и не записывал придуманное. Возникает вопрос, конечно, и прежде всего он возникает у меня самого — почему человек, закопавший самого себя в мансарде, потерпевший крупную неудачу, да еще и меланхолик (это-то я понимаю, не беспокойтесь), не сделал вторичной попытки лишить себя жизни?

Признаюсь прямо: первый опыт вызвал какое-то отвращение к этому насильственному акту. Это, если говорить обо мне. Но истинная причина, конечно, не в этом. Всему приходит час. Впрочем, не будем распространяться на эту тему.

Что касается внешнего мира, то все-таки вовсе отрезаться от него невозможно, и давал он себя знать потому, что в тот период времени, когда я получал от Гавриила Степановича то пятьдесят, то сто рублей, я подписался на три театральных журнала и на «Вечернюю Москву».

И приходили номера этих журналов более или менее аккуратно. Просматривая отдел «Театральные новости», я нет-нет да и натыкался на известия о моих знакомых.

Так, пятнадцатого декабря прочитал:

«Известный писатель Измаил Александрович Бондаревский заканчивает пьесу «Монмартрские ножи», из жизни эмиграции. Пьеса, по слухам, будет предоставлена автором Старому Театру».

Семнадцатого я развернул газету и наткнулся на следующее известие:

«Известный писатель Е. Агапёнов усиленно работает над комедией «Деверь» по заказу Театра Дружной Когорты».

Двадцать второго было напечатано:

«Драматург Клинкер в беседе с нашим сотрудником поделился сообщением о пьесе, которую он намерен

предоставить Независимому Театру. Альберт Альбертович сообщил, что пьеса его представляет собою широко развернутое полотно гражданской войны под Касимовым. Пьеса называется условно «Приступ».

А дальше как бы град пошел: и двадцать первого, и двадцать четвертого, и двадцать шестого. Газета — и в ней на третьей полосе мутноватое изображение молодого человека, с необыкновенно мрачной головой и как бы бодающего кого-то, и сообщение, что это Прок И. С. Драма. Кончает третий акт.

Жвенко Онисим. Анбакомов. Четыре, пять актов.

Второго января я обиделся. Было напечатано:

«Консультант М. Панин созвал совещание в Независимом Театре группы драматургов. Тема — сочинение современной пьесы для Независимого Театра».

Заметка была озаглавлена «Пора, давно пора!», и в ней выражалось сожаление и укоризна Независимому Театру в том, что он единственный из всех театров до сих пор еще не поставил ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. «А между тем, — писала газета, — именно он, и преимущественно он, Независимый Театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич и Аристарх Платонович».

Далее следовали справедливые укоры и по адресу драматургов, не удосужившихся до сих пор создать произведение, достойное Независимого Театра.

Я приобрел привычку разговаривать с самим собой.

— Позвольте, — обиженно надувая губы, бормотал я, — как это никто не написал пьесу? А мост? А гармоника? Кровь на затоптанном снегу?

Вьюга посвистывала за окном, мне казалось, что во вьюге за окном все тот же проклятый мост, что гармоника поет и слышны сухие выстрелы.

Чай остывал в стакане, со страницы газеты глядело на меня лицо с бакенбардами. Ниже была напечатана телеграмма, присланная Аристархом Платоновичем совещанию:

«Телом в Калькутте, душою с вами».

— Ишь какая жизнь кипит там, гудит, как в плотине, — шептал я, зевая, — а я как будто погребен.

Ночь уплывает, уплывает и завтрашний день, уплывут они все, сколько их будет отпущено, и ничего не останется, кроме неудачи.

Хромая, гладя больное колено, я тащился к дивану, начинал снимать пиджак, ежился от холода, заводил часы.

Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, — было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти — ничего не помню.

Так тянулось до конца января, и вот тут отчетливо я помню сон, приснившийся в ночь с двадцатого на двадцать первое.

Громадный зал во дворце, и я будто бы иду по залу. В подсвечниках дымно горят свечи, тяжелые, жирные, золотистые. Одет я странно, ноги обтянуты трико, словом, я не в нашем веке, а в пятнадцатом. Иду я по залу, а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключалась не в том, что я явный правитель, а именно в этом кинжале, которого явно боялись придворные, стоящие у дверей. Вино не может опьянить так, как этот кинжал, и, улыбаясь, нет, смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям.

Сон был прелестен до такой степени, что, проснувшись, я еще смеялся некоторое время.

И тут стукнули в дверь, и я подошел в одеяле, шаркая разорванными туфлями, и рука соседки просунулась в щель и подала мне конверт. Золотые буквы «НТ» сверкали на нем.

Я разорвал его, вот он и сейчас, распоротый косо, лежит передо мною (и я увезу его с собой!). В конверте был лист опять-таки с золотыми готическими буквами, и крупным, жирным почерком Фомы Стрижа было написано:

«Дорогой Сергей Леонтьевич!

Немедленно в Театр! Завтра начинаю репетировать «Черный снег» в 12 часов дня.

Ваш *Ф. Стриж.»*.

Я сел, криво улыбаясь, на диван, дико глядя в листок и думая о кинжале, потом почему-то о Людмиле Сильвестровне, глядя на голые колени.

В дверь тем временем стучали властно и весело.

— Да, — сказал я.

Тут в комнату вошел Бомбардов. Бледный с желтизной, показавшийся выше ростом после болезни, и голосом, от нее же изменившимся, он сказал:

— Знаете уже? Я нарочно заехал к вам.

И, встав перед ним во всей наготе и нищете, волоча по полу старое одеяло, я поцеловал его, уронив листок.

— Как же это могло случиться? — спросил я, наклоняясь к полу.

— Этого даже я не пойму, — ответил мне дорогой мой гость, — никто не поймет и даже никогда не узнает. Думаю, что это сделали Панин со Стрижом. Но как они это сделали — неизвестно, ибо это выше человеческих сил. Короче: это чудо.

Часть вторая

ГЛАВА 15

Серой тонкой змеей, протянутый через весь партер, уходящий неизвестно куда, лежал на полу партера электрический провод в чехле. От него питалась малюсенькая лампочка на столике, стоящем в среднем проходе партера. Лампочка давала ровно столько света, чтобы осветить лист бумаги на столе и чернильницу. На листе была нарисована курносая рожа, рядом с рожей лежала еще свежая апельсинная корка и стояла пепельница, полная окурков. Графин с водой отблескивал тускло, он был вне светящегося круга.

Партер настолько был погружен в полумрак, что люди со свету, входя в него, начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал глаз.

Сцена была открыта и слабо освещена сверху из выносного софита. На сцене стояла какая-то стенка, задом повернутая на публику, причем на ней было написано: «Волки и овцы — 2». Стояло кресло, письменный стол, два табурета. В кресле сидел рабочий в косоворотке и пиджаке, а на одном из табуретов — молодой человек в пиджаке и брюках, но опоясанный ремнем, на котором висела шашка с георгиевским темляком.

В зале было душно, на улице уже давно был полный май.

Это был антракт на репетиции — актеры ушли в буфет завтракать. Я же остался. События последних месяцев дали себя знать, я чувствовал себя как бы избитым, все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно. Такое состояние, впрочем, нередко перемежалось вспышками нервной энергии, когда хотелось двигаться, объяснять, говорить и спорить. И вот теперь я сидел в первом состоянии. Под колпачком лампочки густо слоился дым, его всасывало в колпачок, и потом он уходил куда-то ввысь.

Мысли мои вертелись только вокруг одного — вокруг моей пьесы. С того самого дня, как прислано было Фомою Стрижом мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости. Как будто наново родился человек, как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными, и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение.

Но мысли были прикованы только к одному, к пьесе, она заполняла все время — даже сны, потому что снилась уже исполненной в каких-то небывающих декорациях, снилась снятой с репертуара, снилась провалившейся или имеющей огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, и играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни. Автор почему-то находился тут же, расхаживая по углым перекладинам так же свободно, как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой.

В первом наичаще снился вариант — автор, идя на генеральную, забыл надеть брюки. Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приготовлял оправдание для прохожих — что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки, мол, за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, искал разносчика газет, его не было, хотел купить пальто, не было денег, скрывался в подъезд и понимал, что на генеральную опоздал...

— Ваня! — слабо доносилось со сцены. — Дай желтый!

В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось, из ложи косо падал луч раструбом, на полу сцены загоралось желтое круглое пятно, ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взъерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке.

Чем ближе к концу шел антракт, тем больше шевелилась сцена. Высоко поднятые, висящие бесчисленными рядами полотнища под небом сцены вдруг оживали. Одно из них уходило вверх и сразу обнажало ряд тысячесвечовых ламп, режущих глаза. Другое почему-то, наоборот, шло вниз, но, не дойдя до полу, уходило. В кулисах появлялись темные тени, желтый луч уходил, всасывался в ложу. Где-то стучали молотками. Появлялся человек в брюках гражданских, но в шпорах и, звеня ими, проходил по сцене. Потом кто-то, наклонившись к полу сцены, кричал в пол, приложив руку ко рту щитком:

— Гнобин! Давай!

Тогда почти бесшумно все на сцене начинало уезжать вбок. Вот повлекло бутафора, он уехал со своим канделябром, проплыло кресло и стол. Кто-то вбежал на тронувшийся круг против движения, заплясал, выравниваясь, и, выравнявшись, уехал. Гудение усилилось, и показались, становясь на место ушедшей обстановки, странные, сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашеных крутых лестниц, перекладин, настилов. «Едет мост», — думал я и всегда почему-то испытывал волнение, когда он становился на место.

— Гнобин! Стоп! — кричали на сцене. — Гнобин, дай назад!

Мост становился. Затем, брызнув сверху из-под колосников светом в утомленные глаза, обнажались пузатые лампы, скрывались опять, и грубо измазанное полотнище спускалось сверху, становилось по косой. «Сторожка...» — думал я, путаясь в геометрии сцены, нервничая, стараясь прикинуть, как все это будет выглядеть, когда вместо выгородки, сделанной из первых попавшихся сборных вещей из других пьес, соорудят наконец настоящий мост. В кулисах вспыхивали лупоглазые прожекторы в козырьках, снизу сцену залило теплой живой волной света. «Рампу дал...»

Я щурился во тьму на ту фигуру, которая решительным шагом приближалась к режиссерскому столу.

«Романус идет, значит, сейчас произойдет что-то...» — думал я, заслоняясь рукой от лампы.

И действительно, через несколько мгновений надо мною показывалась раздвоенная бородка, в полутьме сверкали возбужденные глаза дирижера Романуса. В петлице у Романуса поблескивал юбилейный значок с буквами «НТ».

— Сэ нон э веро, э бен тровато[1], а может быть, еще сильней! — начинал, как обычно, Романус, глаза его вертелись, горя, как у волка в степи. Романус искал жертвы и, не найдя ее, садился рядом со мною.

— Как вам это нравится? А? — прищуриваясь, спрашивал меня Романус.

«Втянет, ой, втянет он меня сейчас в разговор...» — думал я, корчась у лампы.

— Нет, вы, будьте добры, скажите ваше мнение, — буравя меня глазом, говорил Романус, — оно тем более интересно, что вы писатель и не можете относиться равнодушно к безобразиям, которые у нас происходят.

«Ведь как ловко он это делает...» — тоскуя до того, что чесалось тело, думал я.

— Ударить концертмейстера и тем более женщину тромбоном в спину? — азартно спрашивал Романус. — Нет-с. Это дудки! Я тридцать пять лет на сцене и такого случая еще не видел. Стриж думает, что музыканты свиньи и их можно загонять в закуту? Интересно, как это с писательской точки зрения?

Отмалчиваться больше не удавалось.

— А что такое?

Романус только и ждал этого. Звучным голосом, стараясь, чтобы слышали рабочие, с любопытством скопляющиеся у рампы, Романус говорил, что Стриж затолкал музыкантов в карман сцены, где играть нет никакой возможности по следующим причинам: первое — тесно, второе — темно, а в-третьих, в зале не слышно ни одного звука, в-четвертых, ему стоять негде, музыканты его не видят.

— Правда, есть люди, — зычно сообщал Романус, —

---

[1] Если это и неправда, то хорошо найдено *(ит.)*.

которые смыслят в музыке не больше, чем некоторые животные...

«Чтоб тебя черт взял!» — думал я.

— ...в некоторых фруктах!

Усилия Романуса увенчивались успехом — из электротехнической будки слышалось хихиканье, из будки вылезала голова.

— Правда, таким лицам нужно не режиссурой заниматься, а торговать квасом у Ново-Девичьего кладбища!.. — заливался Романус.

Хихиканье повторялось.

Далее выяснялось, что безобразия, допущенные Стрижом, дали свои результаты. Тромбонист ткнул в темноте тромбоном концертмейстера Анну Ануфриевну Деньжину в спину так, что...

— рентген покажет, чем это кончится!

Романус добавлял, что ребра можно ломать не в театре, в пивной, где, впрочем, некоторые получают свое артистическое образование.

Ликующее лицо монтера красовалось над прорезом будки, рот его раздирало смехом.

Но Романус утверждает, что это так не кончится. Он научил Анну Ануфриевну, что делать. Мы, слава богу, живем в Советском государстве, напоминал Романус, ребра членам профсоюзов ломать не приходится. Он научил Анну Ануфриевну подать заявление в местком.

— Правда, по вашим глазам я вижу, — продолжал Романус, впиваясь в меня и стараясь уловить меня в круге света, — что у вас нет полной уверенности в том, что наш знаменитый председатель месткома так же хорошо разбирается в музыке, как Римский-Корсаков или Шуберт.

«Вот тип!» — думал я.

— Позвольте!.. — стараясь сурово говорить, говорил я.

— Нет уж, будем откровенны! — восклицал Романус, пожимая мне руку. — Вы писатель! И прекрасно понимаете, что навряд ли Митя Малокрошечный, будь он хоть двадцать раз председателем, отличит гобой от виолончели или фугу Баха от фокстрота «Аллилуйя».

Тут Романус выражал радость, что хорошо еще, что ближайший друг...

— ...и собутыльник!..

К теноровому хихиканью в электрической будке присоединялся хриплый басок. Над будкой ликовало уже две головы.

...Антон Калошин помогает разбираться Малокрошечному в вопросах искусства. Это, впрочем, и не мудрено, ибо до работы в театре Антон служил в пожарной команде, где играл на трубе. А не будь Антона, Романус ручается, что кой-кто из режиссеров спутал бы, и очень просто, увертюру к «Руслану» с самым обыкновенным «Со святыми упокой»!

«Этот человек опасен, — думал я, глядя на Романуса, — опасен по-серьезному. Средств борьбы с ним нет!»

Кабы не Калошин, конечно, у нас могли бы заставить играть музыканта, подвесив его кверху ногами к выносному софиту, благо Иван Васильевич не появляется в театре, но тем не менее придется театру заплатить Анне Ануфриевне за искрошенные ребра. Да и в союз Романус ей посоветовал наведаться, узнать, как там смотрят на такие вещи, про которые действительно можно сказать:

— Сэ нон э веро, э бен тровато, а может быть, еще сильнее!

Мягкие шаги послышались сзади, приближалось избавление.

У стола стоял Андрей Андреевич. Андрей Андреевич был первым помощником режиссера в театре, и он вел пьесу «Черный снег».

Андрей Андреевич, полный, плотный блондин лет сорока, с живыми многоопытными глазами, знал свое дело хорошо. А дело это было трудное.

Андрей Андреевич, одетый по случаю мая не в обычный темный костюм и желтые ботинки, а в синюю сатиновую рубашку и брезентовые желтоватые туфли, подошел к столу, имея под мышкою неизменную папку.

Глаз Романуса запылал сильнее, и Андрей Андреевич не успел еще пристроить папку под лампой, как вскипел скандал.

Начался он с фразы Романуса:

— Я категорически протестую против насилия над музыкантами и прошу занести в протокол то, что происходит!

— Какие насилия? — спросил Андрей Андреевич служебным голосом и чуть шевельнул бровью.

— Если у нас ставятся пьесы, больше похожие на оперу... — начал было Романус, но спохватился, что автор сидит тут же, и продолжал, исказив свое лицо улыбкой в мою сторону, — что и правильно! Ибо наш автор понимает все значение музыки в драме!.. То... Я прошу отвести оркестру место, где он мог бы играть!

— Ему отведено место в кармане, — сказал Андрей Андреевич, делая вид, что открывает папку по срочному делу.

— В кармане? А может быть, лучше в суфлерской будке? Или в бутафорской?

— Вы сказали, что в трюме нельзя играть.

— В трюме? — взвизгнул Романус. — И повторяю, что нельзя. И в чайном буфете нельзя, к вашему сведению.

— К вашему сведению, я и сам знаю, что в чайном буфете нельзя, — сказал Андрей Андреевич, и у него шевельнулась другая бровь.

— Вы знаете, — ответил Романус и, убедившись, что Стрижа еще нет в партере, продолжал: — Ибо вы старый работник и понимаете в искусстве, чего нельзя сказать про кой-кого из режиссеров...

— Тем не менее обращайтесь к режиссеру. Он проверял звучание...

— Чтобы проверить звучание, нужно иметь кой-какой аппарат, при помощи которого можно проверить, например, уши! Но если кому-нибудь в детстве...

— Я отказываюсь продолжать разговор в таком тоне, — сказал Андрей Андреевич и закрыл папку.

— Какой тон?! Какой тон? — изумился Романус. — Я обращаюсь к писателю, пусть он подтвердит свое возмущение по поводу того, как калечат у нас музыкантов!!

— Позвольте... — начал я, видя изумленный взгляд Андрея Андреевича.

— Нет, виноват! — закричал Романус Андрею Андреевичу. — Если помощник, который обязан знать сцену как свои пять пальцев...

— Прошу не учить меня, как знать сцену, — сказал Андрей Андреевич и оборвал шнурок на папке.

— Приходится! Приходится, — ядовито скалясь, прохрипел Романус.

— Я занесу в протокол то, что вы говорите! — сказал Андрей Адреевич.

— И я буду рад, что вы занесете!

— Прошу оставить меня в покое! Вы дезорганизуете работников на репетиции!

— Прошу и эти слова занести! — фальцетом вскричал Романус.

— Прошу не кричать!

— И я прошу не кричать!

— Прошу не кричать! — отозвался, сверкая глазами, Андрей Андреевич и вдруг бешено закричал: — Верховые! Что вы там делаете?! — и бросился через лесенку на стену.

По проходу уже спешил Стриж, а за ним темными силуэтами показались актеры.

Начало скандала со Стрижом я помню.

Романус поспешил к нему навстречу, подхватил под руку и заговорил:

— Фома! Я знаю, что ты ценишь музыку и это не твоя вина, но я прошу и требую, чтобы помощник не смел издеваться над музыкантами!

— Верховые! — кричал на сцене Андрей Андреевич. — Где Бобылев?!

— Бобылев обедает, — глухо с неба донесся голос.

Актеры кольцом окружили Романуса и Стрижа.

Было жарко, был май. Сотни раз уже эти люди, лица которых казались загадочными в полутьме над абажуром, мазались краской, перевоплощались, волновались, истощались... Они устали за сезон, нервничали, капризничали, дразнили друг друга. Романус доставил огромное и приятное развлечение.

Рослый голубоглазый Скавронский потирал радостно руки и бормотал:

— Так, так, так... Давай! Истинный бог! Ты ему все выскажи, Оскар!

Все это дало свои результаты.

— Попрошу на меня не кричать! — вдруг рявкнул Стриж и треснул пьесой по столу.

— Это ты кричишь!! — визгнул Романус.

— Правильно! Истинный бог! — веселился Скавронский, подбадривая то Романуса: — Правильно, Оскар! Нам ребра дороже этих спектаклей! — то Стрижа: — А актеры хуже, что ли, музыкантов? Ты, Фома, обрати свое внимание на этот факт!

— Квасу бы сейчас, — зевая, сказал Елагин, — а не репетировать... И когда эта склока кончится?

Склока продолжалась еще некоторое время, крики неслись из круга, замыкавшего лампу, и дым поднимался вверх.

Но меня уже не интересовала склока. Вытирая потный лоб, я стоял у рампы, смотрел, как художница из макетной — Аврора Госье ходила по краю круга с измерительной рейкой, прикладывала ее к полу. Лицо Госье было спокойное, чуть печальное, губы сжаты. Светлые волосы Госье то загорались, точно их подожгли, когда она наклонялась к берегу рампы, то потухали и становились как пепел. И я размышлял о том, что все, что сейчас происходит, что тянется так мучительно, все получит свое завершение...

Склока меж тем кончилась.

— Давайте, ребятушки! Давайте — кричал Стриж. — Время теряем!

Патрикеев, Владычинский, Скавронский уже ходили по сцене меж бутафорами. На сцену же проследовал и Романус. Его появление не прошло бесследно. Он подошел к Владычинскому и озабоченно спросил у того, не находит ли Владычинский, что Патрикеев очень уж злоупотребляет буфонными приемами, вследствие чего публика засмеется как раз в тот момент, когда у Владычинского важнейшая фраза: «А мне куда прикажете деваться? Я одинок, я болен...»

Владычинский побледнел как смерть, и через минуту и актеры, и рабочие, и бутафоры строем стояли у рампы, слушая, как переругиваются давние враги Владычинский с Патрикеевым. Владычинский, атлетически сложенный человек, бледный от природы, а теперь еще более бледный от злобы, сжав кулаки и стараясь, чтобы его мощный голос звучал бы страшно, не глядя на Патрикеева, говорил:

— Я займусь вообще этим вопросом! Давно пора обратить внимание на циркачей, которые, играя на штампиках, позорят марку театра!

Комический актер Патрикеев, играющий смешных молодых людей на сцене, а в жизни необыкновенно ловкий, поворотливый и плотный, старался сделать лицо презрительное и в то же время страшное, отчего гла-

за у него выражали печаль, а лицо физическую боль, сиплым голоском отвечал:

— Попрошу не забываться! Я актер Независимого Театра, а не кинохалтурщик, как вы!

Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом, голоса ссорящихся покрывал голос Стрижа, кричавшего из кресел:

— Прекратите это сию минуту! Андрей Андреевич! Давайте тревожные звонки Строеву! Где он? Вы мне производственный план срываете!

Андрей Андреевич привычной рукою жал кнопки на щите на посту помощника, и далеко где-то и за кулисами, и в буфете, и в фойе тревожно и пронзительно дребезжали звонки.

Строев же, заболтавшийся в предбаннике у Торопецкой, в это время, прыгая через ступеньки, спешил к зрительному залу. На сцену он проник не через зал, а сбоку, через ворота на сцену, пробрался к посту, а оттуда к рампе, тихонько позвякивая шпорами, надетыми на штатские ботинки, и стал, искусно делая вид, что присутствует он здесь уже давным-давно.

— Где Строев? — завывал Стриж. — Звоните ему, звоните! Требую прекращения ссоры!

— Звоню! — отвечал Андрей Андреевич. Тут он повернулся и увидел Строева. — Я вам тревожные даю! — сурово сказал Андрей Андреевич, и тотчас звон в театре утих.

— Мне? — отозвался Строев. — Зачем мне тревожные звонки? Я здесь десять минут, если не четверть часа... минимум... Мама... миа... — он прочистил горло кашлем.

Андрей Андреевич набрал воздуху, но ничего не сказал, а только многозначительно посмотрел. Набранный же воздух он использовал для того, чтобы прокричать:

— Прошу лишних со сцены! Начинаем!

Все улеглось, ушли бутафоры, актеры разошлись к своим местам. Романус в кулисе шепотом поздравил Патрикеева с тем, как он мужественно и правдиво возражал Владычинскому, которого давно уж пора одернуть.

ГЛАВА 16

УДАЧНАЯ ЖЕНИТЬБА

В июне месяце стало еще жарче, чем в мае.

Мне запомнилось это, а остальное удивительным образом смазалось в памяти. Обрывки кое-какие, впрочем, сохранились. Так, помнится дрыкинская пролетка у подъезда театра, сам Дрыкин в ватном синем кафтане на козлах и удивленные лица шоферов, объезжавших дрыкинскую пролетку.

Затем помнится большой зал, в котором были беспорядочно расставлены стулья, и на этих стульях сидящие актеры. За столом же, накрытым сукном, Иван Васильевич, Стриж, Фома и я.

С Иваном Васильевичем я познакомился поближе за этот период времени и могу сказать, что все это время я помню, как время очень напряженное. Проистекало это оттого, что все усилия свои я направил на то, чтобы произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление, и хлопот у меня было очень много.

Через день я отдавал свой серый костюм утюжить Дусе и аккуратно платил ей за это по десять рублей.

Я нашел подворотню, в которой была выстроена утлая комнатка как бы из картона, и у плотного человека, у которого на пальцах было два бриллиантовых кольца, купил двадцать крахмальных воротничков и ежедневно, отправляясь в театр, надевал свежий. Кроме того, мною, но не в подворотне, а в государственном универсальном магазине были закуплены шесть сорочек: четыре белых и одна в лиловую полоску, одна в синеватую клетку, восемь галстуков разной расцветки. У человека без шапки, невзирая на то, какая была погода, сидящего на углу в центре города рядом со стойкой с развешанными на ней шнурками, я приобрел две банки желтой ботиночной мази и чистил утром желтые туфли, беря у Дуси щетку, а потом натирая туфли полой своего халата.

Эти неимоверные, чудовищные расходы привели к тому, что я в две ночи сочинил маленький рассказ под заглавием «Блоха» и с этим рассказом в кармане ходил в свободное от репетиций время по редакциям еженедельных журналов, газетам, пытаясь этот рассказ продать. Я начал с «Вестника пароходства», в котором

рассказ понравился, но где напечатать его отказались на том и совершенно резонном основании, что никакого отношения к речному пароходству он не имеет. Долго и скучно рассказывать о том, как я посещал редакции и как мне в них отказывали. Запомнилось лишь то, что встречали меня повсюду почему-то неприязненно. В особенности помнится мне какой-то полный человек в пенсне, который не только решительно отверг мое произведение, но и прочитал мне что-то вроде нотации.

— В вашем рассказе чувствуется подмигивание, — сказал полный человек, и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением.

Нужно мне оправдаться. Полный человек заблуждался. Никакого подмигивания в рассказе не было, но (теперь это можно сделать) надлежит признаться, что рассказ этот был скучен, нелеп и выдавал автора с головой; никаких рассказов автор писать не мог, у него не было для этого дарования.

Тем не менее произошло чудо. Проходив с рассказом в кармане три недели и побывав на Варварке, Воздвиженке, на Чистых Прудах, на Страстном бульваре и даже, помнится, на Плющихе, я неожиданно продал свое сочинение в Златоустинском переулке на Мясницкой, если не ошибаюсь, в пятом этаже какому-то человеку с большой родинкой на щеке.

Получив деньги и заткнув страшную брешь, я вернулся в театр, без которого не мог жить уже, как морфинист без морфия.

С тяжелым сердцем я должен признаться, что все мои усилия пропали даром и даже, к моему ужасу, дали обратный результат. С каждым днем буквально я нравился Ивану Васильевичу все меньше и меньше.

Наивно было бы думать, что все расчеты я строил на желтых ботинках, в которых отражалось весеннее солнце. Нет! Здесь была хитрая, сложная комбинация, в которую входил, например, такой прием, как произнесение речей тихим голосом, глубоким и проникновенным. Голос этот соединялся со взглядом прямым, открытым, честным, с легкой улыбкой на губах (отнюдь не заискивающей, а простодушной). Я был идеально причесан, выбрит так, что при проведении тыльной стороной кисти по щеке не чувствовалось ни малейшей шероховато-

сти, я произносил суждения краткие, умные, поражающие знанием вопроса, и ничего не выходило. Первое время Иван Васильевич улыбался, встречаясь со мною, потом он стал улыбаться все реже и реже и, наконец, совсем перестал улыбаться.

Тогда я стал производить репетиции по ночам. Я брал маленькое зеркало, садился перед ним, отражался в нем и начинал говорить:

— Иван Васильевич! Видите ли, в чем дело: кинжал, по моему мнению, применен быть не может...

И все шло как нельзя лучше. Порхала на губах пристойная и скромная улыбка, глаза глядели из зеркала и прямо и умно, лоб был разглажен, пробор лежал как белая нить на черной голове. Все это не могло не дать результата, и, однако, выходило все хуже и хуже. Я выбивался из сил, худел и немного запустил наряд. Позволял себе надевать один и тот же воротничок дважды.

Однажды ночью я решил произвести проверку и, не глядя в зеркало, произнес свои монолог, а затем воровским движением скосил глаза и взглянул в зеркало .для проверки и ужаснулся.

Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задняя мысль. Я схватился за голову, понял, что зеркало меня подвело и обмануло, и бросил его на пол. И из него выскочил треугольный кусок. Скверная примета, говорят, если разобьется зеркало. Что же сказать о безумце, который сам разбивает свое зеркало?

— Дурак, дурак, — вскричал я, а так как я картавил, то показалось мне, что в тишине ночи каркнула ворона, — значит, я был хорош, только пока смотрелся в зеркало, но стоило мне убрать его, как исчез контроль и лицо мое оказалось во власти моей мысли и... а, черт меня возьми!

Я не сомневаюсь в том, что записки мои, если только они попадут кому-нибудь в руки, произведут не очень приятное впечатление на читателя. Он подумает, что перед ним лукавый, двоедушный человек, который из какой-то корысти стремился произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление.

Не спешите осуждать. Я сейчас скажу, в чем была корысть.

Иван Васильевич упорно и настойчиво стремился изгнать из пьесы ту самую сцену, где застрелился Бахтин (Бехтеев), где светила луна, где играли на гармонике. А между тем я знал, я видел, что тогда пьеса перестанет существовать. А ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней истина. Характеристики, данные Ивану Васильевичу, были слишком ясны. Да, признаться, они были излишни. Я изучил и понял его в первые же дни нашего знакомства и знал, что никакая борьба с Иваном Васильевичем невозможна. У меня оставался единственный путь: добиться, чтобы он выслушал меня. Естественно, что для этого нужно было, чтобы он видел перед собою приятного человека. Вот почему я и сидел с зеркалом. Я старался спасти выстрел, я хотел, чтобы услышали, как страшно поет гармоника на мосту, когда на снегу под луной расплывается кровавое пятно. Мне хотелось, чтобы увидели черный снег. Больше я ничего не хотел.

И опять закаркала ворона.

— Дурак! Надо было понять основное! Как можно понравиться человеку, если он тебе не нравится сам? Что же ты думаешь? Что ты проведешь какого-нибудь человека? Сам против него будешь что-то иметь, а ему постараешься внушить симпатию к себе? Да никогда это не удастся, сколько бы ты ни ломался перед зеркалом.

А Иван Васильевич мне не нравился. Не понравилась и тетушка Настасья Ивановна, крайне не понравилась и Людмила Сильвестровна. А ведь это чувствуется!

Дрыкинская пролетка означала, что Иван Васильевич ездил на репетиции «Черного снега» в театр.

Ежедневно в полдень Панин рысцой вбегал в темный партер, улыбаясь от ужаса и неся в руках калоши. За ним шла Августа Авдеевна с клетчатым пледом в руках. За Августой Авдеевной — Людмила Сильвестровна с общей тетрадью и кружевным платочком.

В партере Иван Васильевич надевал калоши, усаживался за режиссерский стол. Августа Авдеевна накидывала Ивану Васильевичу на плечи плед, и начиналась репетиция на сцене.

Во время этой репетиции Людмила Сильвестровна, примостившись неподалеку от режиссерского столика,

записывала что-то в тетрадь, изредка издавая восклицания восхищения — негромкие.

Тут пришла пора объясниться. Причина моей неприязни, которую я пытался дурацким образом скрыть, заключалась отнюдь не в пледе или калошах и даже не в Людмиле Сильвестровне, а в том, что Иван Васильевич, пятьдесят пять лет занимающийся режиссерской работою, изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготовлять свою роль.

Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике.

Я ручаюсь головой, что, если бы я привел откуда-нибудь свежего человека на репетицию, он пришел бы в величайшее изумление.

Патрикеев играл в моей пьесе роль мелкого чиновника, влюбленного в женщину, не отвечавшую ему взаимностью.

Роль была смешная, и сам Патрикеев играл необыкновенно смешно и с каждым днем все лучше. Он был настолько хорош, что мне начало казаться, будто это не Патрикеев, а именно тот самый чиновник, которого я выдумал. Что Патрикеев существовал раньше этого чиновника и каким-то чудом я его угадал.

Лишь только дрыкинская пролетка появилась у театра, а Ивана Васильевича закутали в плед, началась работа именно с Патрикеевым.

— Ну-с, приступим, — сказал Иван Васильевич.

В партере наступила благоговейная тишина, и волнующийся Патрикеев (а волнение у него выразилось в том, что глаза его стали плаксивыми) сыграл с актрисой сцену объяснения в любви.

— Так, — сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла, — это никуда не годится.

Я ахнул в душе, и что-то в животе у меня оборвалось. Я не представлял себе, чтобы это можно было сыграть хоть крошечку лучше, чем сыграл Патрикеев. «И ежели он добьется этого, — подумал я, с уважением глядя на Ивана Васильевича, — я скажу, что он действительно гениален».

— Никуда не годится, — повторил Иван Василье-

вич, — что это такое? Это какие-то штучки и сплошное наигрывание. Как он относится к этой женщине?

— Любит ее, Иван Васильевич! Ах, как любит! — закричал Фома Стриж, следивший всю эту сцену.

— Так, — отозвался Иван Васильевич и опять обратился к Патрикееву: — А вы подумали о том, что такое пламенная любовь?

В ответ Патрикеев что-то просипел со сцены, но что именно — разобрать было невозможно.

— Пламенная любовь, — продолжал Иван Васильевич, — выражается в том, что мужчина на все готов для любимой, — и приказал: — Подать сюда велосипед!

Приказание Ивана Васильевича вызвало в Стриже восторг, и он закричал беспокойно:

— Эй, бутафоры! Велосипед!

Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев поглядел на него плаксиво.

— Влюбленный все делает для своей любимой, — звучно говорил Иван Васильевич, — ест, пьет, ходит и ездит...

Замирая от любопытства и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильвестровны и увидел, что она пишет детским почерком: «Влюбленный все делает для своей любимой...»

— ...так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки, — распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку.

Я не сводил глаз со сцены. Патрикеев взгромоздился на машину, актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный ридикюль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису.

В зале заулыбались.

— Совсем не то, — заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился, — зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него?

Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы.

Когда его вернули, ведя велосипед за руль, Иван Васильевич и этот проезд не признал правильным, и

Патрикеев поехал в третий раз, повернув голову к актрисе.

— Ужасно! — сказал с горечью Иван Васильевич. — Мышцы напряжены, вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их. Неестественная голова, вашей голове не веришь.

Патрикеев проехался, наклонив голову, глядя исподлобья.

— Пустой проезд, вы .едете пустой, не наполненный вашей возлюбленной.

И Патрикеев начал ездить опять. Один раз он проехался, подбоченившись и залихватски глядя на возлюбленную. Вертя руль одной рукой, он круто повернул и наехал на актрису, грязной шиной выпачкал ей юбку, отчего та испуганно вскрикнула. Вскрикнула и Людмила Сильвестровна в партере. Осведомившись, не ушиблена ли актриса и не нужна ли ей какая-нибудь медицинская помощь, и узнав, что ничего страшного не случилось, Иван Васильевич опять послал Патрикеева по кругу, и тот ездил много раз, пока, наконец, Иван Васильевич не осведомился, не устал ли он? Патрикеев ответил, что не устал, но Иван Васильевич сказал, что видит, что Патрикеев устал, и тот был отпущен.

Патрикеева сменила группа гостей. Я вышел покурить в буфет и, когда вернулся, увидел, что актрисин ридикюль лежит на полу, а сама она сидит, подложив руки под себя, точно так же, как и три ее гостя и одна гостья, та самая Вешнякова, о которой писали из Индии. Все они пытались произносить те фразы, которые в данном месте полагались по ходу пьесы, но никак не могли двинуться вперед, потому что Иван Васильевич останавливал каждый раз произнесшего что-нибудь, объясняя, в чем неправильность. Трудности и гостей, и патрикеевской возлюбленной, по пьесе героини, усугублялись тем, что каждую минуту им хотелось вытащить руки из-под себя и сделать жест.

Видя мое изумление, Стриж шепотом объяснил мне, что актеры лишены рук Иваном Васильевичем нарочно, для того, чтобы они привыкли вкладывать смысл в слова и не помогать себе руками.

Переполненный впечатлениями от новых удивительных вещей, я возвращался с репетиции домой, рассуждая так:

— Да, это все удивительно. Но удивительно лишь потому, что я в этом деле профан. Каждое искусство имеет свои законы, тайны и приемы. Дикарю, например, покажется смешным и странным, что человек чистит щеткой зубы, набивая рот мелом. Непосвященному кажется странным, что врач, вместо того чтобы сразу приступить к операции, проделывает множество странных вещей с больным, например, берет кровь на исследование и тому подобное...

Более всего я жаждал на следующей репетиции увидеть окончание истории с велосипедом, то есть посмотреть, удастся ли Патрикееву проехать «для нее».

Однако на другой день о велосипеде никто и не заикнулся, и я увидел другие, но не менее удивительные вещи. Тот же Патрикеев должен был поднести букет возлюбленной. С этого и началось в двенадцать часов дня и продолжалось до четырех часов.

При этом подносил букет не только Патрикеев, но по очереди все: и Елагин, игравший генерала, и даже Адальберт, исполняющий роль предводителя бандитской шайки. Это меня чрезвычайно изумило. Но Фома и тут успокоил меня, объяснив, что Иван Васильевич поступает, как всегда, чрезвычайно мудро, сразу обучая массу народа какому-нибудь сценическому приему. И действительно, Иван Васильевич сопровождал урок интересными и назидательными рассказами о том, как нужно подносить букеты дамам и кто их как подносил. Тут же я узнал, что лучше всего это делали всё тот же Комаровский-Бионкур (Людмила Сильвестровна вскричала, нарушая порядок репетиции: «Ах, да, да, Иван Васильевич, не могу забыть!») и итальянский баритон, которого Иван Васильевич знавал в Милане в 1889 году.

Я, правда, не зная этого баритона, могу сказать, что лучше всех подносил букет сам Иван Васильевич. Он увлекся, вышел на сцену и показал раз тринадцать, как нужно сделать этот приятный подарок. Вообще, я начал убеждаться, что Иван Васильевич удивительный и действительно гениальный актер.

На следующий день я опоздал на репетицию и, когда явился, увидел, что рядышком на стульях на сцене сидят Ольга Сергеевна (актриса, игравшая героиню), и Вешнякова (гостья), и Елагин, и Владычинский, и Ада-

льберт, и несколько мне неизвестных и по команде Ивана Васильевича «раз, два, три» вынимают из карманов невидимые бумажники, пересчитывают в них невидимые деньги и прячут их обратно.

Когда этот этюд закончился (а поводом к нему, как я понял, служило то, что Патрикеев в этой картине считал деньги), начался другой этюд. Масса народу была вызвана Андреем Андреевичем на сцену и, усевшись на стульях, стала невидимыми ручками на невидимой бумаге и столах писать письма и их заклеивать (опять-таки Патрикеев!). Фокус заключался в том, что письмо должно было быть любовное.

Этюд этот ознаменовался недоразумением: именно — в число писавших, по ошибке попал бутафор.

Иван Васильевич, подбодряя выходивших на сцену и плохо зная в лицо новых, поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек в сочинение воздушного письма юного вихрастого бутафора, мыкавшегося с краю сцены.

— А вам что же, — закричал ему Иван Васильевич, — вам отдельное приглашение посылать?

Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать в воздухе и плевать на пальцы. По-моему, он делал это не хуже других, но при этом как-то сконфуженно улыбался и был красен.

Это вызвало окрик Ивана Васильевича:

— А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? Что за несерьезность?

— Бутафор он! Бутафор, Иван Васильевич! — застонал Фома, а Иван Васильевич утих, а бутафора выпустили с миром.

И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много. Видел, как толпа актеров на сцене, предводительствуемая Людмилой Сильвестровной (которая в пьесе, кстати, не участвовала), с криками бежала по сцене и припадала к невидимым окнам.

Дело в том, что все в той же картине, где и букет и письмо, была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем дальнее зарево.

Это и дало повод для большого этюда. Разросся этот этюд неимоверно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачное настроение духа.

Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте, велел всем переживать это зарево.

Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что ему казалось нужным кричать.

— Ах, боже, боже мой!! — кричали больше всего.

— Где горит? Что такое? — восклицал Альберт.

Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:

— Спасайтесь! Где вода? Это горит Елисеев!! (Черт знает что такое!) Спасите! Спасайте детей! Это взрыв! Вызвать пожарных! Мы погибли!

Весь этот гвалт покрывал визгливый голос Людмилы Сильвестровны, которая кричала уж вовсе какую-то чепуху:

— О, боже мой! О, боже всемогущий! Что же будет с моими сундуками?! А бриллианты, а мои бриллианты !!

Темнея, как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит только одно:

— Гляньте... зарево... — и произносит великолепно, что мне совсем неинтересно ждать, пока выучится переживать это зарево не участвующая в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-то сундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня до того, что лицо начинало дергаться.

К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяние охватило меня. Поводов к нему было три. Во-первых, я сделал арифметическую выкладку и ужаснулся. Мы репетировали третью неделю, и все одну и ту же картину. Картин же было в пьесе семь. Стало быть, если класть только по три недели на картину...

— О господи! — шептал я в бессоннице, ворочаясь на диване дома, — трижды семь... двадцать одна неделя или пять... да, пять... а то и шесть месяцев!! Когда же выйдет моя пьеса?! Через неделю начнется мертвый сезон, и репетиций не будет до сентября! Батюшки! Сентябрь, октябрь, ноябрь...

Ночь быстро шла к рассвету. Окно было раскрыто, но прохлады не было. Я приходил на репетиции с мигренью, пожелтел и осунулся.

Второй же повод для отчаяния был еще серьезнее. Этой тетради я могу доверить свою тайну: я усомнился в теории Ивана Васильевича. Да! Это страшно выговорить, но это так.

Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концу первой недели. К концу второй я уже знал, что для мой пьесы эта теория неприложима, по-видимому. Патрикеев не только не стал лучше подносить букет, писать письмо или объясняться в любви. Нет! Он стал каким-то принужденным и сухим и вовсе не смешным. А самое главное, внезапно заболел насморком.

Когда о последнем обстоятельстве я в печали сообщил Бомбардову, тот усмехнулся и сказал:

— Ну, насморк его скоро пройдет. Он чувствует себя лучше и вчера и сегодня играл в клубе на бильярде. Как отрепетируете эту картину, так его насморк и кончится. Вы ждите: еще будут насморки у других. И прежде всего, я думаю, у Елагина.

— Ах, черт возьми! — вскричал я, начиная понимать.

Предсказание Бомбардова и тут сбылось. Через день исчез с репетиции Елагин, и Андрей Андреевич записал в протокол о нем: «Отпущен с репетиции. Насморк». Та же беда постигла Адальберта. Та же запись в протоколе. За Адальбертом — Вешнякова. Я скрежетал зубами, присчитывая в своей выкладке еще месяц на насморки. Но не осуждал ни Адальберта, ни Патрикеева. В самом деле, зачем предводителю разбойников терять время на крики о несуществующем пожаре в четвертой картине, когда его разбойничьи и нужные ему дела влекли его к работе в картине третьей, а также и пятой.

И пока Патрикеев, попивая пиво, играл с маркером в американку, Адальберт репетировал шиллеровских «Разбойников» в клубе на Красной Пресне, где руководил театральным кружком.

Да, эта система не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а пожалуй, была и вредна ей. Ссора между двумя действующими лицами в четвертой картине повлекла за собой фразу:

— Я тебя вызову на дуэль!

И не раз в ночи я грозился самому себе оторвать руки за то, что я трижды проклятую фразу написал.

Лишь только ее произнесли, Иван Васильевич очень оживился и велел принести рапиры. Я побледнел. И

долго смотрел, как Владычинский и Благосветлов щелкали клинком о клинок, и дрожал при мысли, что Владычинский выколет Благосветлову глаз.

Иван Васильевич в это время рассказывал о том, как Комаровский-Бионкур дрался на шпагах с сыном московского городского головы.

Но дело было не в этом проклятом сыне городского головы, а в том, что Иван Васильевич все настойчивее стал предлагать мне написать сцену дуэли на шпагах в моей пьесе.

Я отнесся к этому как к тяжелой шутке, и каковы были мои ощущения, когда коварный и вероломный Стриж сказал, что просит, чтобы через недельку сценка дуэли была «набросана». Тут я вступил в спор, но Стриж твердо стоял на своем. В исступление окончательное привела меня запись в его режиссерской книге: «Здесь будет дуэль».

И со Стрижом отношения испортились.

В печали, возмущении я ворочался с боку на бок по ночам. Я чувствовал себя оскорбленным.

— Небось у Островского не вписывал бы дуэлей, — ворчал я, — не давал бы Людмиле Сильвестровне орать про сундуки!

И чувство мелкой зависти к Островскому терзало драматурга. Но все это относилось, так сказать, к частному случаю, к моей пьесе. А было более важное. Иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли. И вот тут подозрения мои перешли, наконец, в твердую уверенность. Я стал рассуждать просто: если теория Ивана Васильевича непогрешима и путем его упражнений актер мог получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом спектакле каждый из актеров должен вызывать у зрителя полную иллюзию. И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена...

(1936—1937)

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

Либретто оперы в 4-х актах
(9 картинах)

Действующие лица

Петр I.
Екатерина.
Алексей.
Ефросинья.
Меншиков.
Мазепа.
Карл XII.
Реншельд, шведский генерал.
Денщик.
Корабельный мастер.
Адмирал.
Макаров, кабинет-секретарь.
Морков Иван
Дьяк.
Подьячий.
Протопоп.
Юродивый.
Курьер.
Князь-кесарь.
Князь-папа.
Солдат.
Лекарь.
Бутурлин.
Толстой.
Апраксин старший.
Голицын.
Долгорукий.
Репнин.
Народ, гвардия, песенники, плотники, кузнецы, монахи, солдаты, матросы, хор колодников, запорожцы, свита Карла XII, русские генералы: Ренн, Шереметев, Брюс, Боур, Чернышев, Мамонов, Анна, дочь Петра, лекарь, Афанасьев Большой, шведские генералы, драбанты, гренадеры, драгуны, караул во дворце, трубач, ряженые.

АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Июньское утро. Лесистый холм под Полтавой. Шатер со штандартом Карла XII, другой — со штандартом гетмана Мазепы. У первого шатра на часах — драбант, у второго — запорожец. За сценою грохот боя.

Мазепа *(появляется один)*. О, черный яд! О, преисподний тартар! Великий бог, погибло все! Они бегут, глаза меня не обманули, их гонят русские полки... *(Смотрит вдаль.)* Да, это он, в дыму, в огне, мой страшный враг, московский царь! Куда теперь укрыться мне? О, гетьман, гетьман, ты погиб! Да, краше самому себе смерть причинить, чем отдаваться на лютые мученья за измену. *(Берется за пистолет.)* Но, нет, дрожит рука моя, курок взвести не в силах я. Бежать, бежать без промедленья!

Запорожцы *(выбегают)*. Погано дело, гетьман славный! Нас шведы погубили, всех москали нас заберут. Эй, гетьман, на Туретчину веди нас!

Мазепа. Молчать! Все знаю и без вас. Не я, не я, а он виновник, вот он!

Драбанты вносят, высоко подняв на шестах и копьях носилки, в которых раненый Карл XII. Левая нога его в бинтах. За носилками свита Карла.

Карл. Остановитесь здесь, хочу смотреть отсюда. О, если бы я мог подняться! Но рана тяжкая меня сковала, мученья передышки не дают. Я все готов терпеть, огонь и муку, но только дайте мне подняться, чтоб кинуться опять в огонь. Бесстрашных шведов строй, лишь только короля увидит, сомкнется вновь и варваров погонит. Пустите к ним! Пустите к ним! Награду колдуну, тому, кто боль мою задушит, кто вдунет силу в грудь мою! О, шведы, шведы, с вами ваш король, ужели вы не слышите его?

Мазепа. Он в исступленьи и не понимает, что ждет его, а с ним и нас. О, бой проклятый! Король, зачем ты дал его?

Карл. Нет, нет, явись ко мне архангел или дьявол с приказом бить отбой, я не послушал бы и их, клянусь в том королевством!

Реншельд *(вбегает)*. Король, пехота наша сбита! Ваше величество, скорей на Днепр бегите! *(Свите.)* Не медлите, спасайте короля!

Карл. Не верю! В мире силы нет, перед которой дрогнет швед!

Реншельд. О, государь, глядите! *(Указывает вдаль.)* О, государь, я умоляю... *(Отбегает в сторону боя.)* Остановить! Того, кто побежит, я расстреляю! *(Стреляет из пистолета, скрывается.)*

Мазепа. Снимайте прапор, берите золото в шатре и на коне скорее!

Запорожцы. Эй, на конь, на конь, на конь! *(Снимают штандарт Мазепы, вытаскивают бочонки с золотом и скрываются с Мазепой.)*

Свита Карла. Эй, королю коня! Скорее коней! *(Снимают штандарт Карла.)*

Карл. Позор, позор вместо победы... О, лучше б я ослеп, чем это видеть... Шведы, шведы! *(Карла уносят. Свита удаляется вместе с ним.)*

Бой сразу стихает, доносятся обрывки: «Тебе бога хвалим» и полковой музыки. Через некоторое время появляется Меншиков и с ним трубач.

Меншиков. Труби, труби, зови ко мне всех командиров! *(Трубач трубит.)*

Появляются генералы Ренн, Шереметев, Брюс, Боур и другие. Со всех сторон начинают сбегаться офицеры, среди них есть легко раненные.

Бог наше дело завершил, они бегут, нет больше Карла!

Трубы, и за сценой послышались крики — ура!
Появляется Петр. Контуженая голова его без шляпы, повязана тряпкой обожженной, лицо закопчено дымом, он в разорванном сбоку кафтане, со смятым крестом на груди.

Петр. Свети нам, солнце, бог воскрес! Виктория! Виктория! Победа!

Гвардия. Виктория! Виктория! Великая победа!

Петр. Кто грозен и страшен, как Марс, древний бог? Кто полымем ярким Европу зажег? Карл двенадцатый! Кто всех супротивных развеял, как дым? Кто в мире один был непобедим? Карл двенадцатый! А кто нас под Нарвой, как малых, побил? Кто конницу нашу в Нарове топил? Карл двенадцатый! Но часа я ждал, я тебя поджидал, король знаменитый, двенадцатый Карл! И вот мы сошлися, о, свейский король! Скажи нам свой

отзыв, промолви пароль! С тобою на свете места нам нет, вздувай витили, примкни байоннет. И в мире не ждал, не чаял никто баталии преславной, виктории такой! Мы шведу не дали ни пяди земли, и шведов шеренги в крови полегли. Кто чаял, чтоб швед нам хребет показал? Где свейский король, двенадцатый Карл?

Гвардия. Кто чаял, кто ждал, чтоб хребет показал непобедимый двенадцатый Карл?

Петр *(Меншикову)*. Князь, подойди ко мне! Мейн херценкинд, мейн бестен фринт, мин брудер! Сердечный друг, тебе мое лобзанье. Данилыч, никогда России не забыть твои великие деянья! *(Вынув шпагу, кланяясь всем.)* Вас всех благодарю, всем кланяюся низко. Вы древнюю славу Руси обновили, не посрамили знамен, потомки имен не забудут, ваших великих имен! *(Меншикову.)* Чай, гвардия голодна, Данилыч, угости обедом.

Меншиков. Петр Алексеич, сделай честь! *(Трубачу.)* Труби, садиться всем и есть!

Гвардейцы раскрывают шатры, вкатывают бочки с водкой, развязывают вьюки, садятся.

Петр. Первую чарку во славу павшим, пролившим под Полтавой кровь. Им честь и память и любовь! *(Пьют.)* Вторую чарку пью за вас...

Меншиков. Нет, стой, Петр Алексеич, стой! Нет, так ты пьешь не по ранжиру. Вторую чарку Михайлову Петру, преображенцу бомбардиру!

Гвардия. Здравствуй, здравствуй, Петр Алексеевич, здравствуй, многая лета!

Меншиков махнул платком, грянули пушечные выстрелы.
На холм вводят пленных шведских генералов, во главе их — Реншельд, за ними несут шведские знамена.
Меншиков дает знак, и их склоняют перед Петром.

Реншельд. Ваше величество, пред вами генерал фельдмаршал Реншельд. Мы победителям сдаемся в плен. *(Подает свою шпагу Петру.)*

Генералы отдают свои шпаги Меншикову.

Петр. Негоже, зазорно, что славный фельдмаршал был безоружен. В грядущих боях вам меч будет нужен. Мы с вами скрестили железо в бою, вам шпагу на память свою отдаю.

Р е н ш е л ь д. Какая честь и смею ль я?.. *(Принимает шпагу.)*

П е т р. Садитесь с нами, милости прошу. Мы здесь обедаем... своя семья.

Шведов усаживают, наливают им чарки.

Р е н ш е л ь д. Я благодарен, я не пью...

П е т р. Мы и сами не пьем, капли в рот не берем, понеже не видим в том сладости. Да уж день больно радостен! *(Поднимает чарку.)* Во здравье славных шведов! *(Шведам.)* Спасибо вам, великое спасибо!

Р е н ш е л ь д. За что нас царь благодарит?

М е н ш и к о в. За то, что драться научили.

Р е н ш е л ь д *(указывая, на раненого шведа)*. Мы научили, а вы нам плохо заплатили.

Г в а р д и я. Как умели, как умели!

П е т р. А чего же нам зевать? По второй, чтоб не хромать!

Г в а р д и я. Чарка на чарку — не палка на палку!

П е т р *(отзывает Меншикова в сторону)*. Данилыч, а короля-то мы забыли! Короля догони, князь, достань короля! А Мазепу-изменника коль приведешь, я те в ножки паду!

М е н ш и к о в *(Боуру)*. Бери скорей драгун, скачи, что станет мочи, и короля с Мазепою лови в Переволочне!

Б о у р скрывается.

П е т р. А что ж наши гости да приуныли? Скажут, что плохи хозяева. Песенников сюда!

Появляются с о л д а т ы - п е с е н н и к и.

П е с е н н и к и. Ах, вы, сени, мои сени, сени новые мои...

Г в а р д и я. Сени новые, кленовые, решетчатые...

Выбегает солдат-плясун с ложками, пляшет.

П е с е н н и к и. Выпускали сокола из правого рукава... Ты лети, лети, сокол, высоко и далеко...

Вдруг послышался конский топот, загудела земля, донесся свист и хор издали: «И высоко и далеко...»

П е т р. Поехали?

Меншиков. Поехали!

Петр. Крылатый Боур, догони их!

Гвардия. Ах, вы, сени, мои сени, сени новые мои...

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Весенний рассвет в Петербурге. Рабочая комната Петра. Горят свечи. Инструменты, чертежи, часы с музыкой. Над камином — компас. Петр, в домашней одежде, в колпаке, работает на токарном станке.

Петр *(тихонько напевает)*. «Веселый город Саардам», все плотники твердят. Трудился плотник, как Адам, когда чинил фрегат. Готов фрегат, фрегат обшит, наш плотник в радости поет, наш плотник в погребок спешит, его друзей компания ждет! Над Саардамом ночь плывет и месяц гаснет, спать пора! Но плотник пляшет и поет, и будет петь он до утра! «Веселый город Саардам», все плотники твердят, и я бывал когда-то там, и я чинил фрегат!

Часы бьют пять раз, играют. Петр оставляет станок, задувает свечи. Появляется денщик.

Ну, что, там есть уж кто-нибудь?

Денщик. Уж как не быть? Сошлись ни свет и ни заря, давно твердят — буди царя, пора, буди царя!

Петр. Зови.

Первым входит Корабельный мастер.

Корабельный мастер. Желаю здравствовать, ваше величество!

Петр. Здорово, мастер!

Корабельный мастер *(развернув чертеж)*. Корабль «Антоний» весьма гнил, и пушки он носить не может. Как быть прикажешь, государь?

Петр. Давно сие я говорил... Ну, что же, мастер, научи! В долгу я за науку не останусь...

Корабельный мастер. Ну, что ж ученого учить? Ты сам — Михайлов мастер!

Петр. Простой я мастер, а ты славный... *(Рассматривает чертеж.)* Ну, что ж? Укрепить, где можно.

Корабельный мастер *(подавая другой чертеж)*. А здесь?

Петр. Меж палуб окна здесь просечь и старые поправить. Ступай, трудись... На, на дорогу посошок!

Денщик подает корабельному мастеру чарку.

Корабельный мастер. Во здравие твое! *(Пьет, уходит.)*

Денщик впускает адмирала.

Петр. Здравия желаю, господин вице-адмирал!

Адмирал. Мейн герр шаутбенахт!

Петр. Я вас позвал, чтоб вам сказать: у вас эскадра неисправна, и ежели и впредь вы будете так поступать, легко живот свой можете вы потерять!

Адмирал. Государь! Виноват!..

Петр. Не люблю повторять. Ступайте!

Адмирал уходит. Входит кабинет-секретарь Макаров с бумагами.

Макаров. Государь!

Петр. Господин кабинет-секретарь, садитесь.

Макаров подает Петру бумагу.

Макаров. Дворянин Головин человека стал бить и забил его насмерть.

Петр. Ах, он темный злодей! Ну, я выжгу из них сии пакости! Пиши — быть ему в каторге!

Макаров пишет, потом подает Петру другую бумагу.

Петр. Да, беда. Что рожают, в том нету стыда, а вот стыд — сих младенцев отметывать. Не щенки они, люди, ведь жалко их! Строить им при церквах гошпиталии, чтобы матери тайных младенцев сдавали бы!

Макаров подает бумагу.

Макаров. О зазорных младенцах велели мне доложить.

Петр *(прочитав)*. Им немедленно ехать туда, где канал проведен из океана в море Медитеранское, и в другие места, где есть доки, каналы и гавани, чтоб могли присмотреться к машинам и прочему. Посылай их не мешкая!

Макаров *(кланяется)*. Государь... *(Выходит.)*

Дверь открывается, и гренадер вводит Ивана Моркова. Морков в подряснике.

Петр. А, давно поджидал! Господин вологодский помещик! Так ты, стало быть, Морков Иван?

Морков. Был Иваном в миру, государь, а теперь Иосаф я смиренный, недостойный иеродиакон.

Петр. Вот как? Ну, так здравствуй, смиреннейший диакон! *(Начинает таскать Моркова за волосы.)*

Морков. Ох... Ох... Ох... Царский гнев пуще боли терзает...

Петр. Как же мне подлеца не терзать? Ах, ты тать! Для чего же тебя, дармоед, посылали в Венецию? На казенные деньги учить навигацкой великой науке? Он науку прошел и казенные деньги сожрал и, вернувшись, нырнул в монастырь! Отмочил преизрядную штуку!

Морков. Убояхся соблазну мирского...

Петр. Да ты знаешь ли, кто ты таков?

Морков. Сволочь, что ль, государь?

Петр. Угадал, окаянная сволочь! Ну, так я тебя в службу верну! А пока в каземат!

Гренадер выводит Моркова.
Денщик входит.

Денщик. Царевич приехал!

Входит Алексей.

Петр. Здравствуй, сын!

Алексей. Здравствуй, батюшка! Как твое драгоценное здравие?

Петр. Ну, рассказывай, сын, как ты жил, где ты был?

Алексей. Был в далеких краях, все свершил, что мне было указано.

Петр. А! Сие хорошо! Ну, с приездом, мой сын! Эй, вина!

Денщик подает вино.

Петр.
Алексей. } Твое здоровье!

Петр. Рад безмерно я, зон! Возвратился на родину вовремя! Поздравляю тебя — ожидаем поход, и поход состоится великий! Чиним флот, собираем народ, будет двести галер, двадцать тысяч солдат! Чаем шведов порядком порадовать! Ну, с приездом, мой сын! Да науки-то ты не забыл? Чай, духовные книги читал? Сознавайся, мой сын!

Алексей. Что вы... нет, государь! Обращался в науках прилежно я... все свершил, что ты мне приказал, с божией помощью.

Петр. Ну, добро! И не терпится мне посмотреть, как успел ты в чертежной науке. Ну, садись, принесу чертежи... *(Подходит к шкафу, ищет чертежи, выходит в другую комнату.)*

Алексей. Вот напасть! И нежданно, и негаданно... Ведь заставит чертить, а я циркуля в руки не брал! Ненавижу чертежное дело! Светы батюшки, что же мне делать теперь? А тут этот проклятый поход! Вот уж нет на него угомону!.. Осрамлюсь! Знаю батюшкин нрав! Ох, и тяжко придется... Эх, была не была!.. *(Берет пистолет со стола, стреляет себе в руку.)*

Петр появляется в дверях с чертежами. Вбегает денщик.

Ох, прости, государь! Взял пистоль поглядеть, зацепил за курок!..

Петр *(денщику)*. Давай лекаря!

Вбегает караул. Денщик убегает. Петр разрывает платок, перевязывает руку Алексею.

Входит лекарь, берет Алексея под руку, выводит.

Петр двинулся за Алексеем, потом останавливается, осматривает пистолет, смотрит на чертежи.

Нет, не может быть! Не хочу сему верить! Не верю!

Занавес

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Через несколько лет.

Лето. Верфь в Адмиралтействе в Петербурге. В лесах — киль громадного корабля. В стороне отблески в кузнечных горнах. Плотники облепили киль, работают. Со стороны горнов разносятся время от времени тяжкие удары молотов. Петр с топором работает среди плотников.

Плотники. Эх, кручина ты, кручина, эх, кручинушка моя!

Кузнецы *(за сценой)*. Эх, раз! *(Удар.)*

Плотники. Коли хочешь без кручинушки про-

жить, приезжай к нам на Неву-реку! Ах, Нева, Нева-река, холодна да глубока! Как на той на реке чудный город растет, быстро строится. Как из топи, из болота вылезают вдруг ворота, да тесовые, да тесовые!

Кузнецы *(за сценой)*. Делай два! *(Удар.)*

Плотники. Наши плотники-соколики, как возьмут они топорики, махнут вверх, махнут вниз, отходи, поберегись! Эх, топорики звенят, только щепочки летят!

Кузнецы *(за сценой)*. Три! *(Удар.)*

Голос. Шабаш!

Плотники покидают сцену. Петр с топором один обходит киль и удаляется.

Меншиков выходит в парадном кафтане и в орденах.

Меншиков. Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!.. Аки отрок, иду прямо в пещь, пещь же огненная... Чует сердце, что гневен он... Ох, идет!

Петр *(выходит)*. А, светлейший князь! В добром здравии ли?

Меншиков. Ох, нет, государь, уж какое тут здравие? Час от часу печали мои умножаются, а домашние плачут кругом, убиваются. Кровью харкаю я, видно, скоро уж мне отходить, недостойному!

Петр. Вишь ты, горе какое!.. Вот горе то!.. *(Внезапно.)* Ах ты, сукин ты сын!! Что ты сделал в губернии, разбойник, вертеп? Грабежом промышлять начинаешь? Ты кого раздеваешь, народ? Я тебя за казну четвертую! За народный алтын сорву голову, волчью глотку твою залью оловом! Кто ты, князь али вор? Ну, так я те хоромы пожалую, да высокие, с перекладиной!

Меншиков. Гнева я твоего ужасаюся, обнесли меня, царь, супротивники...

Петр. А, так ты запираешься?.. *(Вынимает бумагу из кармана штанов, показывает ее Меншикову.)* А сие ты читал? На кого здесь написан донос, и донос справедливый? Палача мне сюда, палача! *(Бросается на Меншикова, схватывает его за глотку, потом начинает срывать с него ордена.)*

Меншиков *(вырвавшись)*. Бей, руби! Руби голову, а Андрея не трожь Первозванного! За бои мне Андрей был пожалован, аль забыл про сие? *(Бросаясь на колени.)* О, мейн фринт, крест не трожь! Своей скверны и сам

ужасаюся, бес попутал меня, бес глаза помутил! Ты прости, государь, окаянного!

Петр *(утихая)*. Что те надобно? О, несытый зверь! Вознесен паче всех, весь ты в золоте, что те надобно? Ведь ты был у меня, как сосуд драгоценный и избранный! Без порока ты был, из немногих ты первый!

Меншиков. О, прости, государь!

Петр. Поклянись мне!

Меншиков. Клянусь!

Петр. Что украл, все вернешь!

Меншиков. Все верну...

Петр. А коль клятву нарушишь, то знай, я тебя вдругорядь не помилую. И умна голова и нужна, а как с плахи слетит, не подымешь ее никогда. Ведь ты знаешь меня?

Меншиков. Как не знать, государь?

Петр. Уходи с моих глаз.

Меншиков. Всепокорнейший ваш, всенижайший слуга. Первозванному свечку скорее, видно, он меня от смерти спас. *(Уходит.)*

Петр один. Появляется Алексей,

Алексей. Легче б мне в лихорадке лежать, чем сюда на леса подыматься. *(Оглядываясь.)* Тьфу ты, сгинь, парадиз на болоте!.. *(Выходит к Петру.)* Здравствуй, батюшка. Звать изволил меня, государь?

Петр. Слушай, зон, завещанье мое, тестамент мой последний и важный. Стал хворать я, мой сын, видно, годы не те, а я есмь человек, как и каждый. Как уйду я под смертную сень, кто же дом наш российский управит? Ты, мой сын, но гляжу на тебя, ужасаюсь, мой сын, и печаль мое сердце терзает. Ты отцовского дела не любишь, с чернецами связался, мой сын, и в безделии время ты губишь. Одряхлел и ослаб, что враги мои в сердце сыновнем посеяли? Раб ленивый, евангельский раб! Где советы мои? Видно, ветры их в поле развеяли! Ты ж не слеп! Погляди, чего моим бедным трудом для России повсюду достижено! Видишь, город стоит, где в болоте гнилом были черные нищие хижины! Так из тьмы нищеты подымается новое царство! Я умру... Отвечай, как управишь сие государство? Отвечай, ненавидишь ты новое? Повернешь ты все вспять, в тьму невежества?

Алексей. Что ты, царь, государь! Смею ль я ненавидеть твой труд многославный? Только я человек ма-

ломощный умом, я сызмальства худой, неисправный, и боюсь я наследство принять, и не вправе я! А тебе, государь, дай господь многолетнего доброго здравия!

Екатерина появляется в сопровождении денщика и, остановившись в лесах, следит за сценой. У денщика в руках поднос с закуской.

Петр. Лжешь, мой сын, и ведь как хитро лжешь! Стоит всем на тебя подивиться! Но я знаю, я знаю один, что под сими словами таится. Ну, так слушай мой сказ: иль со мной заодно, иль вон от меня, уходи в монастырь!

Алексей. Буди воля твоя, государь! Где ж идти за тобой непотребному слабому сыну? Со смиреньем прошу, государь, монастырского черного чина.

Петр. Вот сказалася правда твоя! Ты не сын мне, не сын! Кто родил тебя — волк и волчица? У, монахи, проклятые птицы! Зло сие все от них и содеялось! Что ответил ты мне, ах, злодей?! *(Лицо Петра искажается, он садится, потом поднимается.)*

Алексей *(отступая)*. Боже, господи, заступитеся...

В это же мгновение Екатерина, сделав знак денщику, быстро выходит и преграждает Петру дорогу.

Петр. Прочь с дороги, уйди! Что тебе, Алексеевна, уходи!

Екатерина. Что ты, батюшка, ангел ты мой! Куда ж уходить от тебя?

Петр. Нет, пусти, говорить буду с ним...

Алексей. Заступись за меня, Алексеевна!

Екатерина. И не время теперь говорить... Вам обедать пора, господин адмирал, аль забыл про регламент? Слушай, слушай!

Пушечный удар, потом по ветру начинает лететь перезвон курантов.

Вишь, из пушки палят и куранты звенят, адмиральский час! *(Берет у денщика поднос, знаком отпускает денщика.)* А ты, царевич, шел бы с богом, теперь не время говорить.

Петр. Одумайся, мой сын, я срок тебе даю!

Алексей кланяется и уходит. Петр выпивает чарку, потом садится на бревно. Екатерина ставит поднос, садится рядом с Петром.

Петр. Алексеевна, скажи, что их, ржа, что ли, ест? Иль один я не прав, Алексеевна?

Екатерина. Прав ты, батюшка, прав, государь, только сей час не думай, закусывай. На все время свое, на все час положен, а поешь, я тебя на корабль провожу, я тебя отдыхать уложу, я те локти худые заштопаю. Хорошо тебе спать в бригантине твоей, разлюбезное, славное дело! В борт волна тихо бьет, хорошо на Неве тебе спится... А заснешь, тут и сон расчудесный придет, глядь, приятное тут и приснится... *(Гладит голову Петру. Петр закрывает глаза, затихает.)* Хороши корабли, хороши, нету в них никакого изъяну, и «Штандарт», и «Самсон», и «Ричмонд», и «Армонд», и проворная шнява «Диана»! Плещут гюйсы на всех кораблях, и прилажены накрепко снасти, и с эскадрой плывет адмирал, корабельный Михайлов, наш мастер. Фордевинд задувает в корму, мы догоним коварного шведа! И не плавать на море ему, и не видеть над нами победы! Эй, гляди... Шаутбенахт! Гляди в ночь, адмирал!

Опять начинают звонить куранты.
Показывается кабинет-секретарь Макаров с бумагами. Екатерина делает ему знак, и он скрывается.

Занавес

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Ночь. На мызе Алексея под Петербургом. За столом Алексей, протопоп, дьяк, дьякон, подьячий, юродивый и несколько монахов. Все пьяны.
За окнами — ветер и дождь, гнилая осень.

Алексей. Афанасьев Большой, подавай сулею! Что, заснул там, на конике?

Афанасьев подает водку.

Дьяк. Эй, отцы, наливай, не зевай! И попьем, и споем, и в литавры побьем!

Подьячий. С какой радости?

Дьяк. Как у Фили мы пили, потом Филю побили...

Подьячий. Охо-хо, о-хо-хо, о-хо-хонюшки!..

Алексей. Что вздыхаешь, отец, что невесел стал?

Подьячий. Как же нам не вздыхать? Как посмотришь кругом, что же в царстве теперь у нас делается? Церкви божии царь разоряет, на войне нашу кровь проливает... Тяжело, тяжело, тяжелехонько... Лес рубить не велит, даже рыбку ловить не велит! Да ведь рыбка в воде не царева, а божья. Вон и с мельниц берут, даже с пчелок дерут... Крест с груди уж последний снимают!

Монахи. Правда, Федор, твоя, горько нам, тяжело, тяжелехонько!

Подьячий. Вот и пала мне мысль: уж не время ль антихристу быть? Не у нас ли он в царстве родится?

Дьяк. Чур меня!

Протопоп. Эх-хе-хе, что толкуешь, родится, родится!.. Ведь ты грамотный, чай? Про антихриста что в книгах сказано?

Монахи. Не томи, говори, что там сказано?

Протопоп. В синаксари приметы даны, и понятны приметы для всякого. Он родится от блудной жены и от Дана, от сына Иакова. Ну, а Дан тот есть аспид и змей, выползает он в тьме на дорогу, и тогда уж не езди по ней, уязвляет он конскую ногу!

Монахи. Ох, ты, господи, господи, господи!

Протопоп. Погодите, не все! Как придет гордый князь, как антихрист придет, назовут его... назовут его... назовут его Петр!

Монахи. Ох, ты, господи! *(Крестятся.)*

Алексей. Вон куда ты метнул! Берегись, протопоп! Ну, а впрочем, чего не бывает!

Юродивый *(приплясывая и гремя веригами)*. Лежит дорога, а через тае дорогу — колода. По той дороге идет сатана, несет он кулек песку да ушат воды. Песком ружье заряжает, водой ружье заливает... Тьфу, сгинь! Как в ухе сера кипит, чтоб в ружье твоем порох кипел! Монарх ты наш Петр, буди проклят!

Протопоп. Царевич, не серчай! Воззри хоть ты на нас, светлопорфирный! Утешь несчастных, поддержи, нам тяжко!

Монахи. Ох, тяжко нам!

Алексей. Чего вы завыли, как бабы? Молчать! Слушайте все мое слово царевича! Плох становится наш государь, и недолго уж бедным нам маяться. Час настанет, помрет государь, не успеет он даже покаяться...

(Афанасьев в ужасе подбегает к Алексею, но тот его отталкивает и продолжает.) Похороним его, и взойдет на престол новый царь Алексей!

Монахи. Светлый ангел ты наш!

Алексей. Я отцовской стезей не пойду, старине я останусь верен. Корабли потоплю иль сожгу, корабли я держать не намерен. Питербурху не быть, не мечтай, государь, на Москве буду жить, как и жили мы встарь, буду жить я в великом покое! И увидим опять, в блеске дивных огней, нашу церковь соборную радостной, разольется по всей по родимой Руси звон великий и мерный и сладостный! Я верну благочиние, верну, благолепие станет чудесное! И услышим опять по церквам на Руси православное пение небесное! Не могу выносить я порядков отца, омерзело мне все, ненавижу его! Умирай, умирай!

Грохот в дверь. Все вскакивают в ужасе.

Монахи. Помилуй нас, грешных, о, боже!

Все, кроме Алексея, скрываются.
Афанасьев открывает дверь, входит курьер.

Курьер. Письмо государя из Дании. *(Подает письмо Алексею, уходит.)*

Алексей *(прочитав письмо)*. Отец зовет меня к себе. Опять война, поход и море. О, горе мне, о, горе! О, призрак страшный, роковой, повсюду ходит он за мной, гнетет меня и давит! Нет, никогда меня он не оставит... Что делать мне? Ослушаться, не ехать? Прикинуться больным? Нет, страшно мне бороться с ним. Довольно! И знаю я, что сделать мне. Афрося, Фрося!

Ефросинья *(входит со свечой)*. Чего кричишь, царевич? Спать пора. Огни повсюду погасили, у нас одних дым коромыслом. Ужели мало тебе дня?

Алексей. Афрося, любишь ли меня?

Ефросинья. А для чего же не любить? Люблю, на то и полюбовница твоя.

Алексей. Прислал мне царь письмо, зовет с собой в поход, грозит монастырем, коль не поеду. Я ехать не хочу к нему, и я бежать надумал.

Ефросинья. Куда бежать? Опомнись, что ты!

Алексей. Куда нам скрыться, знаю я. Мы тайно проберемся в Вену, там цесарь — родственник и друг, не выдаст нас, он нас укроет.

Ефросинья. Я не хочу в чужие страны, чего я не видала там? Тебя отец разыщет и пошлет на плаху за измену, мне страшно, я боюсь, оставь меня!

Алексей. Вот какова твоя любовь! А я смотрел в глаза тебе, я на коленях пред тобою ползал! Царевич я, а стал твоим рабом! Змея ты подколодная, змея! Меня ты зельем опоила, приколдовала, а теперь оставить хочешь! Нет, не бывать тому!

Ефросинья. Не силой я тебе на шею навязалась! Искал бы ты себе жену среди принцесс! Ведь я дворовой девкою была... Ты сам ввел в грех меня, ославил, обесчестил! Оставь меня и поезжай, а я боюся царской мести!

Алексей. Так не поедешь, бросишь? Ин будь по-твоему! Не доставайся ж никому! *(Выхватывает нож.)*

Ефросинья. Убьет, убьет! Ой, страшно мне! Царевич, пожалей, не убивай! Прости меня, свою рабу, по глупости я обронила слово... Алеша, глянь, ведь это я, твоя Афрося!

Алексей. За что меня терзаешь ты, злодейка?

Ефросинья. Прости и позабудь! Покорно за тобой поеду на край света, лелеять буду я тебя, я против слова не скажу.

Алексей. Афрося, верь мне, дай мне срок, я на тебе женюсь, венцом прикрою грех пред богом и людьми. Когда же стану я царем, и ты царицей будешь! Я одного прошу, люби, не покидай меня!

Ефросинья. Царевич, я люблю тебя!

Алексей. Там, в чужих странах, мы сыщем покой, там нас укроет могучий и ласковый цесарь, там мы грозу переждем!..

Ефросинья. Там, в чужих странах, стану твоею женой, верной подругой твоею!..

Алексей. Верной и вечной!..

Ефросинья. Вечной и верной!..

Алексей. В края чужие, но не навек! Доверься мне, мы жизнь свою спасем, там сгинут горести, пройдут печали, там ждет нас счастье и покой!..

Ефросинья. В края чужие, там пройдут печали, там ждет нас счастье и покой! Я верю, я твоя, царевич!

Алексей. Клянись мне, что ты моей до гроба будешь! Клянись!

Ефросинья. Клянусь тебе, твоя навек, твоя, Алеша!

Алексей. Не будем медлить, не будем медлить, бежать!

Ефросинья. Бежать, бежать!

Занавес

АКТ ТРЕТИЙ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Кабинет Петра во дворце в Петербурге. Ночь. Петр один за столом. Входит Ефросинья.

Петр. Ну, здравствуй, Ефросинья Федоровна! Вернулись вы? Я рад тебя увидеть. Как поживала на чужбине с изменником моим?

Ефросинья. Прости меня, всемилостивый государь! Бежала я не волею моею, он силою увлек меня, злодей! Постыла мне была чужбина, я руки на себя едва не наложила, и всякий день его вернуться я просила. Прости, помилуй, государь!

Петр. Да, много крови стоила его измена! А голова твоя мне не нужна, но надобна мне правда, а правду знаешь ты одна. Какие замыслы питал он, когда он к кесарю ушел? Что замышлял он против царства? Живой уйдешь, коль истину откроешь, единый волос с головы не упадет, клянусь я в том судом, который всех нас, смертных, ждет!

Ефросинья. Великий государь! Тебя царевич ненавидит люто и смерти он тебе всегда желал. Сама я слышала, как он при пьяных чернецах тебя бранил и проклинал! А к цесарю бежал он для того, что чаял бунта в государстве, он чаял, что тебя убьют, а он, вернувшись, сядет на престол. И говорил он мне, что всех твоих друзей он смертию казнит и новых изберет себе по воле. А воля его в том, чтоб все, что сделал ты, смести с лица земли. Вот правда сущая моя!

Петр. Сын мой, за что ты послан мне, зачем тебя зачал я? Зачем я вырастил тебя, чтоб смертную печаль ты причинил моей отчизне? *(Ефросинье.)* Все, что сказала ты, мне клятвой подтверди, но не солги, или она твоей последней будет клятвой!

Ефросинья. Клянуся богом всемогущим, клянуся праведным судом!..

Петр. И жизнью сей!

Ефросинья. И жизнью вечной, что правду всю тебе сказала, не таясь!

Петр. Да, ты сказала правду. Ступай, живи, и так живи, чтоб я не вспоминал тебя!

Ефросинья. Великий государь, спасибо!

Петр. Прощай!

Ефросинья уходит, впускают Алексея.

В последний раз тебя призвал я, сын мой, для того, чтоб, наконец, услышать правду.

Алексей. О, царь, ты жизнь мне обещал, и голос твой услышал я, и я на родину вернулся. Я всех назвал злодеев, меня толкнувших на побег, а покаяние принес смиренно. О, царь, ты жизнь мне обещал!

Петр. И жизнь твоя с тобой, ты предо мной стоишь живой, но ты в обмен на жизнь мне правду обещал, но обещанье не сдержал! Злодеев многих ты назвал, их головы уже на кольях! Но правды нет как нет, и главного злодея я не знаю. А он, быть может, ходит здесь, таится где-то между нами и царству гибелью грозит! Откройся мне в последний раз, скажи, что замышлял, когда ты к кесарю бежал? За правду участь облегчу твою. Скажи, хотел ли моей смерти, чтоб захватить престол и уничтожить все, что сделал я?

Алексей. О, что ты, царь? Зачем ты оскорбляешь страшным подозреньем смиренного и верного раба? Злохитрых умыслов я не питал. Злодеи слабый ум мой помутили, и я послушал чернецов. Искал у цесаря я жизни легкой и спокойной, вдали от тягостных трудов. Я горько плакал на чужбине, я чувствовал, что погубил себя, но предан был тебе я там, как вечно предан ныне.

Петр. Какое сердце надобно иметь, чтоб в страшный час перед судом отечества стоять, в лицо судье смотреть, в лицо мне лгать!

Алексей. Все правда, государь!

Петр. О, нет! А правда здесь была. Она стояла предо мной в одежде черной, как она сама! Я помню взгляд ее упорный, я помню все ее слова! Пойми, безумный, правду знаю я! Ты не смиренный раб, ты лжешь, но

лжешь уже напрасно! Ты враг лукавый и опасный! Не мне, а государству враг!

Алексей. О, боже мой, я понял все! Изменница! Изменница! Меня ты не любила! О, прелесть женская, меня ты погубила! О, царь, ты прав, но я молю, услыши милосердья глас!

Часы бьют.

Петр. Нет, поздно, бьет последний час! Пройдут века, и нас не будет, но тени встанут из гробов! Тогда потомки нас рассудят! Эй, караул, ко мне!

Входит караул.

Ваше высочество, вы арестованы! *(Караулу.)* Ведите его в крепость!

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Перед занавесом появляется Меншиков в маскарадном черном костюме голландского бургомистра и двое драгун с трубами. Драгуны трубят.

Меншиков. Да здравствует народ российский, да здравствует великая держава! Отец отечества и император Петр Великий всем объявляет, что мир со шведами мы заключили! Победоносный вечный мир! В знак радости Петр объявляет всенародный праздник! *(Надевает маску, драгуны уходят, вместо них появляются двое арабов с трубами.)* Трубить сигнал к началу машкерада! *(Скрывается.)*

Арабы трубят и уходят.

Занавес открывается. Площадь в Петербурге, и за нею — Нева. Пирамиды бочек, возле которых гренадеры. Столы, на которых туши быков с золочеными рогами. Качели, флаги.

Появляются четыре фигуры в черных маскарадных плащах и масках, с барабанами. Бьют в барабаны, затем сбрасывают плащи и маски, оказываются Петром, Бутурлиным, Чернышевым и Мамоновым, в костюмах голландских матросов. Занимают места за главным столом.

Петр. Начинайте великое шествие!

На площадь хлынул народ, стал размещаться у бочек и за столами. Гренадеры выбивают дно у бочек, начинают угощать народ. Начинается шествие.

Первым на троне несут князя-кесаря в горностаевой мантии, в игрушечной золоченой короне и со скипетром.
За троном идут в шуточной старинной одежде рынды в громадных шапках, с чудовищными секирами.

Народ. Глянь-ка, глянь-ка туда, вишь, на троне несут князя-кесаря! Здравствуй, кесарь-князь, здравствуй, батюшка!

Петр. Князю-кесарю низко кланяюсь! Пресветлейший король, заключили мы мир, вечный, радостный!

Князь-кесарь. Вот приказ от меня, чтоб гулять вам три дня, да без отдыху. Чтоб из пушек палить, чтоб плясать вам и пить, но без просыпу! А кто вздумает спать, того в пиве купать вверх ногами!

Народ. Ой, грозен кесарь-князь! Мы такого, как князь, не видали отродясь!

Князя-кесаря проносят к столу и усаживают.
Затем вслед за тремя камер-юнкерами идет Екатерина в костюме голландской крестьянки, за нею — строй испанок, затем — нимфы, негритянки, скарамуши, арлекины, персиянки, за ними — приплясывающие монахи с игуменьей.

Екатерина. Привела на пир с собой я красавиц целый рой! Здесь голландские крестьянки, негритянки, персиянки, и монашки, и испанки!

Князь-кесарь. Да какие все красотки! Наливай монашкам водки!

Екатерина занимает место за столом. Игуменья поднимается к князю-кесарю, обнимает его и целует, садится рядом с ним на ручку трона.

Народ. Эх, хлебнула мать вина! Глянь, игуменья пьяна!

Идет герцог голштинский со свитой. Все в костюмах французских виноградарей.
За ними гамбургские бургомистры в карикатурных париках, во главе с Меншиковым.
Строй римских воинов. Турки, Китайцы. Испанцы. Капуцины, доминиканцы.
Затем несут князя-папу на громадной бочке. За ним едут его кардиналы в мантиях верхом на волах.

Петр. Князю-папе, всесвятейшему, всешутейшему многая лета!

Народ. Хорошо отцы спасаются! Только пьют да высыпаются! Кардинал-кавалер! Кто же пить тебе велел!

Князь-папа. Наливайте, отцы, чарочки! Одну выпил, выпьешь парочку! Выпьем, в дно побарабаним и в рога коровьи грянем!

Кардиналы трубят в рога.
Несут Бахуса с виноградными гроздьями. За ним идет сатир. Далее — карлики, за ними — великаны.

Народ. Ох, и чудища, ох, и страшные!

За великанами — верхом на медведях едут карикатурные бояре с отрезанными бородами и укороченными полами боярской одежды.
За ними — шуты с пузырями, наполненными горохом.

Народ. Глянь, бояре стали молоды! Отхватил им царь наш бороды!

Шествие кончается, и, когда все занимают места, выходят арабы, трубят сигнал, и после этого начинаются танцы.
Первыми танцуют голландские крестьянки, за ними — турки. Потом — сатир и нимфы, потом французские виноградари, за ними — испанцы и, наконец, медведи.
Потом Петр вскакивает на стол, дает знаки голландским матросам, те начинают пляску, и затем эта пляска становится общей. В воздухе полетели качели с горожанками.
На Неве показывается корабль, на нем фигура морского чудовища, на чудовище — сидящий Нептун с трезубцем.

Занавес

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Осенняя ночь. Буря в Финском заливе,

Солдаты *(вдали)*. Ох, буря! Ох, разгулялася!.. Взбушевалась вода, взбушевалася!.. Хоть и крепки канаты пеньковые, широки паруса полотняные, не случилось бы страшной напасти, не порвало бы ветром нам снасти! Взбушевалась вода, взбушевалася!

Слышен удар.

Ой, беда! Ой, беда приключилася!

На мель выбрасывает бот с солдатами. Бот кренится, его начинает захлестывать волной. Солдаты борются с волнами.

Пропали головушки бедные! Нету в море солдатам спасения! Помогите! Помогите нам!!

Солдат. Был один-то, один я у матери, берегла меня мать пуще глазу! И забрали меня в службу царскую, и забрили мне лоб по указу!.. И послали меня сюда, на море... злые ветры вдруг поднималися, море грозное вдруг всколыхалося... За что погибает солдат? Помогите!!

Солдаты. Не фузеюшки во поле грянули, не свинчатые пули свистнули, не в бою положили мы головы! Нам в пучине морской погибать! Помогите!!

Матросы *(далеко сквозь бурю)*. Кто там в море и плачет и стонет? Отзовитеся, кто в море тонет? Где вы?

Солдаты. Услыхали нас! Здесь солдаты на отмели тонут! Пропадают их души християнские! На отмель держите! На отмели мы!

Петр *(вдали сквозь бурю)*. Слышим, слышим мы вас! К вам на помощь корабль приплывает! Не робейте, солдаты, держитеся! Я на помощь иду, я на помощь иду!

Солдаты. Слышим голос его! Слышим, батюшка, Петр Алексеевич!

Солдат. Поздно... нет моих сил!..

Блеснул свет фонаря. Показались шлюпки, в первой из них громадная фигура Петра.

Петр, увидев тонущего солдата, выбрасывается из шлюпки, по горло в воде приближается к тонущему солдату. За Петром выбрасываются из шлюпок матросы, плывут на помощь к солдатам.

Занавес

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

День. Комната во дворце. Петр лежит в тяжком забытьи. Рядом с постелью его в шатре — походный алтарь, в нем огни. Слышны печальные колокола.

Екатерина *(у алтаря)*. Услышь, услышь мои моленья, не отыми, не отыми! Ты сжалься над его мученьем, с постели смертной подыми! Ужели голос мой молящий не прилетит в златой чертог? Стенанья женщины скорбящей услыши, милосердный бог!

Хор колодников *(за сценой)*. Колодники мы разнесчастные, понапрасну мы чуть не погинули, заковали нас в цепи железные и на шею нам петлю накинули. Но услышал он наши стенания и открыл он темни-

цы холодные. Дай за то ему, господи, здравие! Пожалел он несчастных колодников!

Петр *(очнувшись)*. Кто за окнами плачет и молится?

Екатерина. Повелел ты темницы открыть. За тебя, Петр, колодники молятся.

Петр. Видно, худо мне?

Екатерина. Что ты, батюшка, что ты, сокол мой? Скоро станешь здоров нам на радость всем!

Петр. Скажешь правду аль нет, Алексеевна?

Екатерина. Нет, не стану я лгать, плохо, плохо тебе! Худо так, как еще не бывало! И стоит в церквах плач, и стоит в церквах стон, и толпа на колени упала! О, мой свет, о, мой друг, я устала молиться, и надежд у меня уже нету! Ты великое дело свершил, вывел нас ты из тьмы прямо к свету, ты моря покорил, и за то тебя море убило! О, великий ты мой командор, без тебя как останусь одна?

Петр. Спасибо за все, что сказала, жена, хорошо, что ты правду открыла. Ты не плачь, о, сердечный мой друг!

Екатерина. Ах, печаль, ах, печаль!..

Петр. Завершается круг!..

Екатерина. О, смертельная тяжкая мука!

Петр. И идет мой корабль на причал!

Екатерина. И грозит мне с тобою разлука!

Петр. Почему потемнело вокруг? Свету дайте мне, свету! Катерина, не медли, зови их скорее, зови!

Екатерина. Все скорее сюда! Император зовет!

Поспешно входят двое лекарей, за ними Анна, Меншиков, Толстой и Бутурлин. Лекаря бросаются к Петру.

Петр. Хочу волю свою объявить... дай перо...

Анна подает перо и бумагу.

Но что со мной? Рука перо не держит... *(Роняет перо.)* Так знайте ж все, я завещаю... отдайте все... отдайте все... О, что со мною? Огня сюда! Я вас не вижу! Темно! Потухло солнце!.. *(Затихает.)*

Екатерина. О, Питер мой!

Лекарь. Он больше в память не придет.

Бутурлин.
Екатерина.
Толстой.
} Что делать нам? О, всемогущий боже!

Меншиков *(Бутурлину)*. Зовите гвардию немедленно к дворцу!

Темно. Закрывается комната во дворце. Послышались тревожные сигналы труб. На полуосвещенной авансцене пробегают преображенцы, бросаются к козлам, разбирают мушкеты, убегают. Послышался грохот барабанов.

Занавес

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Затем открывается зал во дворце. Ночь. Множество свечей. Две группы вельмож, во главе первой — Голицын, Долгорукий, Репнин. Во главе второй — Толстой, Апраксин-старший, Бутурлин.

Меншиков *(входит поспешно)*. Он в память больше не придет. Своей он воли не объявит. Итак, решайте вы, кто будет русским царством править!

Первая группа. Тут долго нечего гадать. Единый есть наследник царской крови — сын Алексея!

Вторая группа. Нет, не бывать тому, мы не согласны!

Первая группа. Междоусобной брани вы хотите? Кто на престоле быть достоин?

Меншиков. Лишь тот, кто будет продолжать его великие деянья! Она одна, Екатерина! Она постигла тайны управленья, ей их доверил Петр! Она умна и милосердна, храбра и любит свой народ!

Первая группа. Мы не согласны!

Внезапно послышались барабаны, полковая музыка и песня.

Гвардия *(за сценой)*. Встань, очнись, государь, выйди к гвардии! К тебе гвардия идет, тебя гвардия зовет, государь наш! Все полковники здесь, все майоры тут, при знаменах идут, тебя кличут, зовут, наш полковник!

Репнин. Кто смел гвардию звать без меня? Разве я не фельдмаршал?

Бутурлин. Я велел ей прийти! Пусть она свою волю вам скажет!

Репнин. Хочешь бунта, злодей?

Меншиков. Бунта нет! *(Открывает дверь.)* Здравствуй, гвардия Петрова!

В зал входит громадная толпа гвардейцев-офицеров.

Репнин. Что надобно вам здесь?

Гвардия. Хотим мы знать, что с императором?

Меншиков. Он память потерял, текут его последние минуты! Кто поведет вперед Россию?

Гвардия. Она в походы с ним ходила, делам его была верна, и гвардия ее всегда любила! Да здравствует полковника жена!

Репнин. Что делать нам?

Первая группа. Их сила, князь, нам надо соглашаться!

Екатерина *(вдали). О,* горе нам! О, горе нам!

Меншиков поспешно уходит и тотчас возвращается.

Меншиков. О, горе нам! Скончался Петр Великий!

Первая и вторая группы. В сердцах смятение и страх, кто выведет Россию на дорогу? Он умер, умер!

Гвардия. Он умер, но в гвардии не умрет любовь к Петру, земному богу!

Занавес

Конец

13 сентября 1937 г.

ДОН КИХОТ

Пьеса по Сервантесу
в четырех действиях, девяти картинах

Действующие лица

Ал нсо Кихано, он же Дон Кихот Ламанчский.
Антония — его племянница.
Ключница Дон Кихота.
Сачо Панса — оруженосец Дон Кихота.
Перо Перес — деревенский священник, лиценциат.
Николас — деревенский цирюльник.
Альдонса Лоренсо — крестьянка.
Сансон Карраско — бакалавр.
Паломек Левша — хозяин постоялого двора.
Мариторнес — служанка на постоялом дворе.
Погонщик мулов
Тенорио Эрнандес
Педро Мартинес } постояльцы Паломека.
Слуга Мартинеса }
Работник на постоялом дворе.
Герцог.
Герцогиня.
Духовник Герцога.
Мажордом Герцога.
Доктор Агуэро.
Дуэнья Родригес.
Паж Герцога.
Свиновод.
Женщина.
Первый и Второй старики. Первый и Второй монахи, Первый и Второй слуги, погонщики лошадей, свита Герцога.

Действие происходит в Испании в самом конце XVI века.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Летний вечер. Двор дома Дон Кихота с конюшней, колодцем, скамейкой и двумя калитками: одной — на заднем плане, выводящей на дорогу, и другой — сбоку, ведущей в деревню. Кроме того, внутренность дома Дон Кихота. В комнате Дон Кихота большая кровать за пологом, кресло, стол, старые рыцарские доспехи и множество книг.

Николас *(с цирюльными принадлежностями появляется во дворе)*. Сеньора ключница! Нету ее? *(Поднимается в дом, стучится.)* Сеньор Кихано, можно войти? Сеньор Кихано!.. Видно, никого нет. *(Входит в комнату Дон Кихота.)* Сеньора племянница!.. Куда же это они все девались? А велел прийти стричь! Ну что же, подожду, благо спешить мне некуда. *(Ставит цирюльный тазик на стол, обращает внимание на рыцарские доспехи.)* Скажи пожалуйста, какая вещь! Откуда же он все это взял? А, знаю, эти латы он с чердака снял. Чудак! *(Садится, берет со стола книгу, читает.)* Зер-ка-ло, ры-цар-ства... Гм... До чего он любит этих рыцарей, уму непостижимо...

Дон Кихот *(за сценой)*. Бернардо дель Карпио! Бернардо дель Карпио!

Николас. Его голос? Его. Он идет. *(Высовывается в окно.)*

Дон Кихот *(за сценой)*. Великий Бернардо дель Карпио задушил в Ронсевале очарованного дон Ролдана!..

Николас *(в окне)*. Что это он плетет?

Дон Кихот *(появляется через калитку на заднем плане с книгой в одной руке и с мечом — в другой)*. Ах, если бы мне, рыцарю Дон Кихоту Ламанчскому, в наказание за смертные мои грехи или в награду за то доброе, что я совершил в моей жизни, пришлось бы наконец встретиться с тем, кого я ищу! Ах!..

Николас. Какому Дон Кихоту? Эге-ге, да с ним, кажется, неладно!

Дон Кихот. Да, если бы мне довелось встретиться с врагом моим — великаном Брандабарбараном в змеиной коже...

Николас. Брандабар... Да наш идальго окончательно спятил?!

Дон Кихот. ...я последовал бы примеру Бернардо.

Подняв великана, я задушил бы его в воздухе! *(Отбрасывает книгу и начинает рубить воздух мечом.)*

Николас. Праведное небо!

Дон Кихот поднимается в дом. Николас прячется за рыцарские доспехи.

Дон Кихот. Здесь кто-то есть?.. Кто здесь?

Николас. Это я, милейший сеньор Кихано, это я...

Дон Кихот. А, наконец-то судьба осчастливила меня встречей с тобой, мой кровный враг! Выходи же сюда, не прячься в тени!

Николас. Помилосердствуйте, сеньор Кихано, что вы говорите! Какой я вам враг!

Дон Кихот. Не притворяйся, чары твои предо мной бессильны! Я узнаю тебя: ты — лукавый волшебник Фристон!

Николас. Сеньор Алонсо, придите в себя, умоляю вас! Всмотритесь в черты моего лица, я не волшебник, я цирюльник, ваш верный друг и кум Николас!

Дон Кихот. Ты лжешь!

Николас. Помилуйте!..

Дон Кихот. Выходи на бой со мною!

Николас. О, горе мне, он не слушает меня. Сеньор Алонсо, опомнитесь! Перед вами христианская душа, а вовсе не волшебник! Оставьте ваш страшный меч, сеньор!

Дон Кихот. Бери оружие и выходи!

Николас. Ангел-хранитель, помоги мне!.. *(Выскакивает в окно и выбегает через боковую калитку.)*

Дон Кихот успокаивается, садится, раскрывает книгу. За оградой прошел кто-то, зазвенели струны, и тяжелый бас пропел:

Ах, краса твоя, без спора,
Ярче солнечного дня!
Где же ты, моя сеньора?
Иль забыла ты меня?

Альдонса *(входит во двор с корзиной в руках)*. Сеньора ключница, а сеньора ключница?..

Дон Кихот. Чей голос слышу я? Неужели опять меня смущает колдун?.. Это она!

Альдонса. Сеньора ключница, вы дома? *(Оставляет свою корзину внизу, поднимается в дом, стучится.)*

Дон Кихот. Это она стучит? Нет, нет, стучит мое сердце!

Альдонса *(входит)*. Ах! Простите, почтеннейший сеньор, я не знала, что вы здесь. Это я, Альдонса Лоренсо. Вашей ключницы нет дома? Я принесла соленую свинину и оставила ее внизу, в кухне.

Дон Кихот. Вы появились вовремя, сеньора. Я отправляюсь в путь для встречи с великаном Каракулиамбро, повелителем острова Мамендрания. Я хочу победить его и прислать к вам с тем, чтобы он упал перед вами на колени и просил бы вас распорядиться им по вашему желанию...

Альдонса. Ах, сударь, что вы говорите, помилуй нас господи!

Дон Кихот. Я хочу, чтобы он рассказал вам, как произошло это столкновение с Дон Кихотом Ламанчским... Знайте, безжалостная, что этот Дон Кихот перед вами!

Альдонса. Сеньор Кихано, зачем вы стали на колени?! Я просто не знаю, что и делать...

Дон Кихот. Каракулиамбро расскажет вам, как было дело. А было так... *(Берет книгу и начинает читать.)* «Лишь только румянощекий Аполлон разбросал по земле нити своих золотых волос, а златотронная Аврора поднялась с пуховиков своего ревнивого супруга...»

Альдонса. Перестаньте, сеньор, прошу вас! Я простая девушка, но и мне не пристало слушать такие речи...

Дон Кихот *(читает)*. «В это время Дон Белианис сел на своего коня и тронулся в путь...» *(Берет меч.)*

Альдонса. Побегу, скажу ключнице... *(Бесшумно скрывается.)*

Дон Кихот. Я заменяю имя Белианиса именем Дон Кихота... Дон Кихот отправился навстречу опасностям и мукам с одной мыслью о вас, владычица моя, о Дульсинея из Тобосо! *(Оглядывается.)* Исчезла! Угас блистающий луч! Значит, меня посетило видение? Зачем же, зачем ты, поманив, покинула меня? Кто похитил тебя? И вновь я один, и мрачные волшебные тени обступают меня. Прочь! Я не боюсь вас! *(Поражает воздух мечом, потом успокаивается, берет книгу, садится, читает, бормочет что-то.)*

Сумерки. За оградой послышался тихий таинственный свист. Над оградой показывается голова Санчо Панса. Санчо свистит еще раз, потом .голова его скрывается. Санчо входит во двор, ведя в поводу своего серого осла, нагруженного бурдюком и вьюками. Санчо привязывает осла, тревожно оглядывается, поднимается по лестнице и входит в комнату Дон Кихота, предварительно еще раз свистнув.

Санчо. Сударь...

Дон Кихот. А! Ты опять появился, неугомонный чародей? Ну, теперь ты не уйдешь! Сдавайся!

Санчо *(став на колени)*. Сдаюсь.

Дон Кихот *(приставив острие меча ко лбу Санчо)* Наконец-то ты в моей власти, презренный колдун!

Санчо. Сеньор! Протрите свои глаза, прежде чем выколоть мои! Я сдаюсь, сдаюсь, дважды и трижды. Сдаюсь окончательно, бесповоротно, раз и навсегда. Всмотритесь наконец в меня, грешника! Какой же я, ко всем чертям, колдун? Я — Санчо Панса!

Дон Кихот. Что такое? Этот голос знаком мне. Ты не лжешь? Да это действительно ты, мой друг?

Санчо. Я, сеньор, я!

Дон Кихот. Почему же ты не подал мне условленного сигнала?

Санчо. Сударь, я троекратно подавал сигнал, но проклятый волшебник заложил вам уши. Я свистел, сударь!

Дон Кихот. Ведь ты был на волосок от гибели! Очень хорошо, что ты догадался сдаться. Ты поступил, Санчо, как мудрец, понимающий, что в отчаянном положении самый храбрый бережет себя для лучшего случая.

Санчо. Я сразу догадался, что нужно сдаться, лишь только вы начали тыкать мне в глаза вашим мечом, будь он проклят!

Дон Кихот. Ты прав. Но скажи мне, мой друг, читал ли ты где-нибудь о рыцаре, обладающем большей отвагой, нежели я?

Санчо. Нет, сударь, нигде не читал, потому что я не умею ни читать, ни писать.

Дон Кихот. Ну что ж, садись, и мы окончательно уговоримся обо всем, пока никого нет дома. Итак, ты принимаешь мое предложение стать моим оруженосцем и сопровождать меня во время странствований по свету?

Санчо. Принимаю, сеньор, так как надеюсь, что вы сдержите свое обещание сделать меня губернатором острова, который вы собираетесь завоевать.

Дон Кихот. Никогда не сомневайся в том, что сказано тебе рыцарем. Некоторых оруженосцев за их верную службу рыцари назначали властителями целых царств. И я надеюсь завоевать такое царство в самом скором времени. А так как самому мне оно не нужно, то я подарю его тебе. Ты станешь королем, Санчо.

Санчо. Гм... Об этом надо еще очень и очень подумать...

Дон Кихот. Что тебя смущает?

Санчо. Жена моя, Хуана Тереса. Я опасаюсь, ваша милость, что королевская корона вряд ли придется ей по голове. Пусть уж она лучше будет простой губернаторшей, и дай бог, чтобы она справилась хоть с этим.

Дон Кихот. Положись во всем на волю провидения, Санчо, и сам никогда не унижайся и не желай себе меньшего, чем ты стоишь.

Санчо. Королем все-таки меня делать не надо, а стать губернатором я согласен.

Дон Кихот. Прекрасно. Теперь мы договорились обо всем, и самое время нам уехать тайно, пока никого нет.

Санчо. Это верно, сударь, а то ваша ключница... откровенно сказать вам, это такая женщина... я ее боюсь как огня!

Дон Кихот. Помоги мне надеть доспехи.

Санчо помогает Дон Кихоту надеть доспехи.

Посмотри, какой шлем я соорудил своими силами!

Санчо. Я немного опасаюсь, сударь, достаточно ли он прочен?

Дон Кихот. Ах ты, маловер! Давай испытаем его. Надень его, я нанесу тебе самый сильный удар, какой только в состоянии нанести, и ты увидишь, чего он стоит.

Санчо. Слушаю, ваша милость. *(Надевает шлем.)*

Дон Кихот берет меч.

Стойте сударь! Меня вдруг охватило дурное предчувствие. Давайте-ка лучше испытаем его, поставив на стол. *(Ставит шлем на стол.)*

Дон Кихот. Твоя трусость смешит меня. Смотри! *(Ударяет мечом по шлему и разбивает его вдребезги.)*

Санчо. Благодарю тебя, небо, за то, что в нем не было моей головы!

Дон Кихот. Ах!.. Ах!.. Это несчастье непоправимо! Без шлема мне нельзя тронуться в путь.

Санчо. Сеньор, лучше отправиться в путь совсем без шлема, чем в таком шлеме.

Дон Кихот. Что же нам делать? Ах, я безутешен... Ах, Санчо, гляди! *(Указывает на цирюльный таз.)* Недаром говорится, что если перед кем-нибудь судьба закрывает одну дверь, то немедленно открывается какая-нибудь другая. О радость! Трусливый Фристон, убегая, забыл свой шлем!

Санчо. Сеньор, это цирюльный таз, не будь я сыном своего отца!

Дон Кихот. Колдовство запорошило твои глаза. Смотри и убедись! *(Надевает таз на голову.)* Это шлем сарацинского короля Мамбрино.

Санчо. Вылитый тазик для бритья.

Дон Кихот. Слепец!

Санчо. Как вам будет угодно, ваша милость.

Дон Кихот. Ну вот все готово. Перед тобой нет более мирного идальго Алонсо Кихано, прозванного Добрым! Я присваиваю себе новое имя — Дон Кихота Ламанчского!

Санчо. Слушаю, сударь!

Дон Кихот. А так как рыцарь, у которого нет дамы сердца, подобен дереву без листвы, то своей дамой я выбираю прекраснейшую из всех женщин мира — принцессу Дульсинею из Тобосо. Ты знал ее, наверно, под именем Альдонсы Лоренсо.

Санчо. Как не знать, сеньор! Но только вы напрасно называете ее принцессой, она простая крестьянка. Милейшая девушка, сеньор, а здорова́ до того, что приятно взглянуть на нее. Любого рыцаря она способна одним взмахом выдернуть за бороду из грязи!

Дон Кихот. Перестань, несносный болтун! Пусть в твоих глазах Дульсинея не знатная дама, а крестьянка. Важно то, что для меня она чище, лучше и прекраснее всех принцесс. Ах, Санчо, я люблю ее, и этого достаточно, чтобы она затмила Диану! Я люблю ее, и это значит, что в моих глазах она бела, как снегопад, что ее

лоб — Елисейские поля, а брови — небесные радуги. О недалекий оруженосец! Поэт и рыцарь воспевает и любит не ту, что создана из плоти и крови, а ту, которую создала его неутомимая фантазия! Я люблю ее такой, какой она являлась мне в сновидениях! Я люблю, о Санчо, свой идеал! Понял ли, понял ли ты меня наконец? Или ты не знаешь слова «идеал»?

Санчо. Слова этого я не знаю, но я вас понял, сеньор. Теперь я вижу, что вы правы, а я осел. Да, вы правы, рыцарь печального образа!

Дон Кихот. Как? Как ты сказал?

Санчо. Рыцарь печального образа, сказал я, не гневайтесь на меня, сударь.

Дон Кихот. Почему ты произнес такие слова?

Санчо. Я глядел на вас сейчас при свете луны, и у вас было такое скорбное лицо, какого мне не приходилось видеть. Быть может, вы утомились в боях, или произошло это оттого, что у вас не хватает нескольких зубов справа и спереди. Кто выбил их вам, сеньор?

Дон Кихот. Это несущественно! Интересно то, что внезапно налетевшая мудрость вложила в твои уста эти слова. И знай, что с этого мгновения я так и буду называть себя, а на щите моем я велю изобразить печальную фигуру.

Санчо. Зачем, сеньор, вам тратить на это деньги? Стоит вам открыть лицо — и всякий сразу смекнет, кто стоит перед ним.

Дон Кихот. Э! Под твоей довольно туповатой наружностью скрывается колкий человек! Ну что же, пусть я буду рыцарем Печального Образа — я с гордостью принимаю это наименование, — но этот печальный рыцарь рожден для того, чтобы наш бедственный железный век превратить в век златой! Я тот, кому суждены опасности и беды, но также и великие подвиги! Идем же вперед, Санчо, и воскресим прославленных рыцарей Круглого Стола! Летим по свету, чтобы мстить за обиды, нанесенные свирепыми и сильными — беспомощным и слабым, чтобы биться за поруганную честь, чтобы вернуть миру то, что он безвозвратно потерял, — справедливость!

Санчо. Ах, сеньор рыцарь, хорошо, кабы это все сбылось! А то не раз мне приходилось слышать, что лю-

ди отправляются стричь овец, а возвращаются сами остриженными.

Дон Кихот. Нет, не смущай мою душу своими пословицами... Я не хочу, чтобы меня терзали сомнения! Поспешим, Санчо, пока не вернулись домашние.

Выходят на двор.

Сейчас ты увидишь моего коня, он ничем не хуже Буцефала, на котором ездил Александр Македонский. *(Открывает дверь конюшни.)* Я назвал его Росинантом.

Санчо *(осмотрев Росинанта)*. Кто был этот Македонский, сударь?

Дон Кихот. Я расскажу тебе о нем дорогой. Поспешим. Но позволь, на чем же поедешь ты?

Санчо. На своем ослике, сударь.

Дон Кихот. Э... Мне не приходилось читать, чтобы оруженосцы ездили на ослах...

Санчо. Прекрасный крепкий ослик, сударь...

Дон Кихот. Ну что же поделаешь, едем! Прощай, мое родное и мирное селение, прощай! Вперед, Санчо, луна освещает наш путь, и к утру мы будем далеко-далеко. Вперед!

Санчо. Вперед! Но!..

Уезжают.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Летнее утро. Перекресток дорог. С одной стороны лес, с другой — поле. Видно крыло ветряной мельницы. Выезжают Дон Кихот и Санчо и останавливаются.

Дон Кихот. Вот мы и достигли перекрестка, Санчо. Я уверен, что здесь полными пригоршнями мы будем черпать из озера приключений. *(Смотрит вдаль.)*

Санчо слезает с осла и привязывает его в стороне от дороги.

Судьба благосклонна к нам. Гляди, гляди туда, Санчо!

Санчо. Я ничего не вижу, сеньор.

Дон Кихот. Неужели ты ослеп? Почему ты не поражаешься? Перед нами строй гигантов с длиннейшими костлявыми руками!

Санчо. Помилуйте, сеньор, это ветряные мельницы!

Дон Кихот. Как мало смыслишь ты в рыцарских приключениях. Это злые волшебники-великаны, и я немедленно вступлю с ними в бой! Я истреблю эту злую породу!

Мельницы начинают двигать крыльями.

Вы не испугаете меня, хотя бы рук у вас было больше, чем у великана Бриарея! Не бегите, мерзкие созданья! Против вас только один рыцарь, но он один стоит вас всех!

Санчо. Опомнитесь, сударь, что вы собираетесь делать?

Дон Кихот. А, страх охватил тебя! Ну что же, оставайся здесь под деревьями и читай молитвы! Вперед, во имя прекрасной и жестокой покорительницы сердца Дульсинеи! *(Пришпоривает Росинанта и уезжает.)*

Санчо. Сеньор, остановитесь! Сеньор, куда вы? *(Становится на колени.)* Господи, господи, что же это делает мой господин? Силы небесные, он на крыло бросился с копьем! Сеньор!! Стойте! Так и есть, потащило! Потащило!.. Господи, помилуй нас, грешных!

За сценой тяжелый удар. На сцену выкатывается цирюльный таз, затем падают обломки копья, а затем обрушивается Дон Кихот и остается лежать неподвижен.

Так я и знал!.. Царство ему небесное! Как быстро закончились наши приключения! Ах, подумать только, вчера вечером мы выехали с ним живые и здоровые, полные надежд, и не успел я дослушать до конца рассказ про изумительную лошадь Александра Македонского, как мой почтенный господин с перебитыми ребрами перелетел в другой мир! Эх, эх, эх!.. *(Снимает с осла бурдюк, садится рядом с Дон Кихотом, пьет вино.)* Как же я повезу его домой? Придется положить его поперек седла... А поперек какого седла? *(Смотрит вдаль.)* Бедная лошадь лежит неподвижно, как куль с ячменем. Придется класть его на осла. Бедный друг мой, ты никогда еще не носил такой печальной ноши.

Дон Кихот простонал.

Кто стонет здесь? Мой господин стонать не может, он мертв. Уж не сам ли я простонал от горя? *(Пьет вино.)*

Дон Кихот *(слабо)*. Санчо...

Санчо. Что слышу я? Вы живы, сеньор?

Дон Кихот. Раз я подаю голос, значит, я жив.

Санчо. Благодарение небу, сеньор! А я уже собирался взвалить вас на своего серого, чтобы везти вас в деревню и там похоронить с почестями, которых вы заслуживаете. И при мысли о том, что мне скажет ключница, я отчаянно страдал, сеньор! Хлебните!.. Эх, сударь, сударь, ведь я же вас предупреждал, что это мельницы!

Дон Кихот. Никогда не рассуждай о том, чего ты не понимаешь, Санчо, и знай, что и впереди нас ждут постоянные чародейства и волшебные изменения. Проклятый мудрец, все тот же ненавистный Фристон, лишь только я вонзил свое копье в руку первого из великанов, немедленно превратил их всех в мельницы, чтобы отнять у меня сладость победы. Фристон, Фристон! Доколе меня будет преследовать твоя ненависть и зависть?.. Приведи ко мне моего коня.

Санчо. Даже сам Фристон, сеньор, не в состоянии это сделать. Бедное животное лежит неподвижно. Самое лучшее — дать коню отлежаться, и, если провидению будет угодно, он поднимется сам, если же нет — наша забота о нем будет заключаться только в одном: мы снимем с него его старую шкуру и продадим ее на первом же базаре. Эх, сударь!

Дон Кихот. Подай мне мое копье.

Санчо. Не много проку теперь от этого копья, ваша милость. *(Подает Дон Кихоту обломки копья.)*

Дон Кихот. Ах, это серьезная утрата! Что может сделать рыцарь без копья? Впрочем, не будем тужить. Ведь ты читал, конечно...

Санчо. Ах, сударь, ведь я же говорил вам уже!..

Дон Кихот. Ах да, ведь ты не мог читать.

Санчо. Не мог, сударь, не мог.

Дон Кихот. Ну, так я тебе скажу, что храбрый рыцарь Дон Диего Перес де Варгас, лишившись в бою оружия, отломил от дуба громадный сук и в тот же день перебил им столько мавров, что тела их лежали, как дрова на черном дворе.

Санчо. Как звали его, сударь?

Дон Кихот. Дон Диего Перес де Варгас. Принеси мне сук потяжелее, Санчо.

Санчо. Слушаю, сеньор. *(Уходит и возвращается с*

громадным суком, надевает на него наконечник копья.) Вот вам новое копье. Желаю вам наколотить мавров не меньше, чем наколотил... Эх, выскользнуло из памяти, а красивое имя.

Дон Кихот. Дон Диего Перес де Варгас. Он не один, Санчо, бил мавров. Доблестный Родриго Нарваэсский, алькад крепости Антекера, взял в плен сеньора мавра Абиндараэса как раз в тот момент, когда тот испускал свой страшный боевой клич: «Лелилиес!»

Санчо. Вас совсем перекосило набок, сударь.

Дон Кихот. Да, мой друг, страшнейшая боль терзает меня, и я не жалуюсь на нее лишь потому, что рыцарям запрещено это делать.

Санчо. Если вам запрещено, ничего не поделаешь, молчите. Но про себя я скажу, сударь, что я буду стонать и жаловаться, если со мной случится что-нибудь вроде того, что с вами. Или, быть может, запрещение жаловаться касается и оруженосцев?

Дон Кихот. Нет, в уставе ордена об оруженосцах нет ни слова по этому поводу.

Санчо. Очень рад этому.

Дон Кихот. Постой, постой! Я вижу пыль на дороге. Да, это место незаменимо для приключений! Но, Санчо, я должен тебя предупредить, что сколько бы ни увлекала тебя твоя горячность, ты не должен браться за меч, в какой бы опасности я ни находился, разве что на меня нападут люди твоего звания.

Санчо. Вам не придется повторять два раза этот приказ, сударь.

Дон Кихот. Смотри туда! Я был прав. Ты видишь, идут две черные фигуры в масках, а там вдалеке за ними — карета. Все понятно: эти двое — волшебники, а в карете — принцесса, которую они похищают!

Санчо. Я советую вам немного одуматься, сеньор! Эти двое в черном — монахи, за ними идут их слуги, и никаких волшебников нет!

Дон Кихот. Ты близорук или вовсе слеп!

Санчо. Сударь, это дельце будет похуже, чем с ветряными мельницами!

Дон Кихот. Не мешай мне! Твое дело — следить за боем, а затем овладеть богатейшей добычей, которая нам достанется.

Показываются двое монахов.

Стойте, черные дьяволы!

Санчо прячется за дерево.

Стойте! Я требую, чтобы вы немедленно вернули свободу этой даме в карете! Вы обманом завлекли несчастную в плен!

Первый монах. Что такое? Мы ничего не понимаем, сударь! Какая дама? Мы — мирные бенедиктинцы, следуем своей дорогой и к этой карете не имеем никакого отношения... Она и повернула-то совсем на другую дорогу.

Дон Кихот. Я не поверю вашим обманным словам!

Первый монах. Сударь, вы в каком-то странном заблуждении.

Дон Кихот. Молчать!

Санчо *(за деревом)*. Молчать!

Дон Кихот. Сейчас вы испробуете, коварные, силу моего меча! *(Выхватывает меч.)*

Первый монах. Помогите! Слуги! На помощь! Здесь разбойники! *(Убегает.)*

Второй монах. На помощь!

Дон Кихот *(убегая вслед за Первым монахом)*. Остановись, гнусное отродье! Ты мой, ты побежден!

Санчо *(пронзительно свистит, выскакивает из-за дерева, бросается ко Второму монаху)*. Лелилиес! Ты побежден, ты мой!

Второй монах *(падая на колени)*. О небо, защити меня!

Санчо. Снимай одёжу, проклятый Перес де Варгас! *(Срывает с монаха шляпу и маску.)*

Второй монах. Берите все, но оставьте жизнь! *(Отдает одежду Санчо.)*

В это время вбегают двое слуг.

Защитите меня! *(Убегает.)*

Первый слуга. Ты что же это делаешь, окаянный разбойник, на большой дороге?!

Второй слуга. Грабитель!

Санчо. Ну-ну-ну, отойдите от меня, милые люди, это вас не касается. Моя добыча, и дело с концом! Мы победили волшебников, а не вы!

Второй слуга. Ах ты, наглый бродяга!

Первый слуга. Бей его!

Слуги бросаются на Санчо с палками.

Санчо. Что вы, взбесились, что ли? Сеньор, на помощь! Отнимают добычу у вашего оруженосца!

Первый слуга. Ах ты, мошенник!

Второй слуга. Вот тебе! *(Вцепляется в бороду Санчо.)*

Слуги нещадно бьют Санчо.

Санчо. Сеньор!.. Сеньор!.. Сеньор!.. Лелилиес!.. *(Падает и остается неподвижен.)*

Второй слуга. Будешь знать, как раздевать прохожих!

Слуги убегают с одеждой монаха.

Дон Кихот *(вбегает)*. Убежал презренный, как заяц в поле!.. Что с тобой? Боже, да он мертв!! Что же мне теперь делать?..

Санчо. Ох...

Дон Кихот. Ты жив?!

Санчо. Если я подаю голос — чтоб меня черти взяли! — стало быть, я жив... И если я еще раз...

Дон Кихот. Ах, проклятая память! Если бы я не забыл перед отъездом приготовить склянку Фьерабрасова бальзама, нам с тобой не были бы страшны никакие раны!

Санчо. Что это за бальзам, сударь?

Дон Кихот. Это чудодейственное лекарство, Санчо. Если ты когда-нибудь увидишь, что меня в бою разрубили пополам — а это нередко случается со странствующими рыцарями, — не теряйся. Возьми обе половинки, сложи их, но только поаккуратнее, конечно, и дай мне глотка два этого бальзама. Ты увидишь, что я мгновенно поднимусь на ноги и стану свеж и здоров, как яблоко. Вот какое это лекарство, Санчо.

Санчо. Сударь, мне не нужно губернаторства на острове, которое вы мне великодушно обещали. Снабдите меня рецептом этого бальзама.

Дон Кихот. Не беспокойся, мой друг, я сообщу тебе еще более удивительные тайны и облагодетельствую тебя на всю жизнь.

Санчо. В таком случае, сеньор, я счастлив, что поехал с вами... и даже боль моя как будто стала уменьшаться... *(Разворачивает вьюк, достает провизию.)* Следует подкрепиться, сударь. Впрочем, вы не станете есть моей простой пищи.

Дон Кихот. У тебя неверное представление о рыцарях, мой друг. Рыцари ели хорошо только на торжественных пирах, устраиваемых в их честь, а в обычное время, то есть во время странствований, они питались чем попало, а большей частью, увы, цветами и мечтами.

Санчо. Цветов у меня нет, сударь, есть хлеб, чеснок, сыр и желуди, а мечтание у меня теперь только одно — овладеть рецептом вашего бальзама. Кушайте, сударь.

Дон Кихот. Садись и ты, что же ты стоишь, мой друг? О чем ты задумался?

Санчо. Я вот думаю о том, как вы, рыцарь, едите мою простую пищу?

Дон Кихот. А я думаю о другом. Ты вот сказал: мою пищу. Я думаю о том веке, когда не было этих слов: мое и твое. Когда люди, мирно сидя, вот как мы сейчас сидим с тобой на зеленой траве, щедро делились друг с другом тем, что им послала благостная, ни в чем не отказывающая природа. Да и что людям, пасшим свои стада, было прятать друг от друга? Прозрачные ключи давали им воду, а деревья — плоды. Не было золота, которое породило ложь, обман, злобу и корыстолюбие, и хоть его и не было — этот век, Санчо, назывался золотым веком, и вот мечтание странствующего рыцаря, как я уже говорил тебе, заключается в том, чтобы возродить этот сверкающий век! Ах, Санчо, если бы на мою долю не выпало тревожное счастье стать рыцарем, я хотел бы быть пастухом! Я назвался бы Кихотисом, а ты — Пансино, и мы стали бы бродить по горам и лугам, то распевая романсы, то вздыхая от полноты души. Днем нас спасала бы от жгучего солнца буйная листва дубов, а ночью нам светили бы мирные звезды. Ах, неужели ты не понимаешь, что только в такой жизни человек может найти настоящее счастье, что это его наилучший удел?

Санчо. Вы — ученый человек, сеньор, и знаете множество интересного. Так что если вы начнете рассказывать, вас можно слушать развесив уши целыми часами. Но самое интересное — это бальзам. Быть может, все-таки вы мне сообщите рецепт сейчас? А то потом, чего доброго, во время приключений и забудется...

Дон Кихот. А я-то полагал, что ты задумался о золотом веке. Потерпи: лишь только мы приедем куда-нибудь под кров, я приготовлю бальзам и открою тебе его секрет.

Вдали послышались мужские голоса, кто-то насвистывает песенку.

Кто там такой?

Санчо *(всматриваясь)*. Это компания погонщиков лошадей, сеньор, из Янгуэсского округа. Лихие ребята, сударь, эти янгуэсы и дружные такие! Я полагаю, что они с ярмарки возвращаются.

Вдали послышался хохот.

Дон Кихот. Что их рассмешило?

Санчо. Да один из них ударил вашего Росинанта. Они смеются над ним, сеньор.

Дон Кихот. Что ты сказал? Наглец осмелился затронуть рыцарскую лошадь? Клянусь, что я не успокоюсь до тех пор, пока мы не проучим всю эту компанию негодяев!

Санчо. Помилуйте, сударь, как это мы их проучим, когда их двадцать человек по крайней мере, а нас только двое, или, вернее, полтора человека!

Дон Кихот. Ты забыл, что я один стою больше, чем целая сотня врагов!

Входят трое погонщиков.

Смелее, Санчо, потребуй их к ответу!

Санчо *(Первому погонщику)*. Ты зачем ударил чужую лошадь?

Первый погонщик. Какую такую лошадь?

Санчо. Не строй из себя дурака!

Второй погонщик. Ах эту! Что лежит кверху ногами? А мы думали, что это не лошадь, а скелет.

Входит Четвертый погонщик.

Дон Кихот. Ты, каналья, смеешь смеяться над лошадью славнейшего в мире рыцаря?

Санчо. Да, каналья, я тебя требую к ответу, ты смеешь?

Второй погонщик. Да, смею.

Санчо. Смеешь?

Погонщики. Смеем!

Входит Пятый погонщик.

Санчо. Так на же тебе! *(Дает в ухо Второму погонщику.)*

Второй погонщик. А вот тебе сдачи! *(Дает в ухо Санчо.)*

Санчо. На помощь, сеньор!

Дон Кихот *(ударив плашмя копьем Третьего погонщика)*. Защищайся, презренный сброд!

Третий погонщик. На помощь, ребята!

Первый погонщик. На помощь, ребята! Наших янгуэсов бьют!

Вбегают Шестой и Седьмой погонщики.

Четвертый погонщик *(ударив Санчо)*. Сюда, братцы! Наших янгуэсов бьют!

Пятый погонщик *(ударив Дон Кихота)*. Не выдавай, ребята, наших!

Шестой погонщик *(бросается на Дон Кихота, отнимает у него копье)*. Не робей, ребята.

Седьмой погонщик *(ударив Санчо)*. Сюда, ребята! Наших бьют!

Вбегает Восьмой погонщик.

Погонщики *(набрасываясь на Дон Кихота, валят его на землю)*. Не выдавай, ребята! *(Бьют Санчо.)*

Санчо *(пытаясь защищаться)*. На помощь, сеньор, нас бьют!!

Четвертый погонщик. Защищайся, ребята, на нас напали!

Погонщики бьют Санчо и Дон Кихота смертным боем. Вбегают Девятый, Десятый и Одиннадцатый погонщики, набрасываются на Санчо и Дон Кихота.

Санчо. Караул! Говорил я... Говорил я... Сеньор!!

Дон Кихот *(хрипя)*. Презренные!.. Санчо, на помощь!..

Санчо. Абиндараэс... *(Затихает.)*

Двенадцатый погонщик *(вбегает)*. Стойте, черти, стойте! Обрадовались! В ответ за них попадем! Гляди, они не дышат!

Первый погонщик. Стой, черти, стой!

Второй погонщик. Довольно, черти, стой!

Погонщики. Стой, черти, стой! Стой, стой, стой!..

Первый погонщик. Довольно, ребята! Ну их к дьяволу, этих забияк!

Второй и Третий погонщики. Мы так испугались!..

Второй погонщик. Этот меня по уху раз!..

Первый погонщик. Да ну их к дьяволу, влетит из-за них! Айда отсюда, ребята!

Погонщики. Айда отсюда.

Все погонщики уходят. На траве остаются неподвижные Дон Кихот и Санчо. Грустный ослик стоит возле них.

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Летний вечер. Постоялый двор Паломека Левши. Колодезь, ворота на заднем плане, раскрытый сарай с дырявой крышей, два флигеля. Из окон одного из них слышится хохот, звон стаканов — там ужинает веселая компания постояльцев.

Мариторнес развешивает белье на веревке.

Мариторнес *(напевает)*.

Вот лежит пастух безгласный,
На груди широкой кровь.
Отчего погиб несчастный?
Он зарезан за любовь...

Погонщик мулов. Здорово, красотка!

Мариторнес. Ах! Как не стыдно так пугать людей? Здравствуйте!

Погонщик мулов. Здравствуй, Мариторнес! А я ведь тебя давненько не видал и соскучился по тебе. Надо сказать, что ты очень похорошела за это время!

Мариторнес. Ах, перестаньте шутить!

Погонщик мулов. Я не шучу, драгоценная Мариторнес. Пойди-ка сюда ко мне поближе, я тебе хочу что-то шепнуть.

Мариторнес. Как вам не стыдно!

Погонщик мулов. Вот тебе раз! Да откуда ты знаешь, что́ я хочу тебе шепнуть?

Мариторнес. Нам известно, о чем шепчут на ухо... *(Напевает.)* «Вот лежит пастух безгласный...»

Погонщик мулов. Ну, слушай... сегодня я намерен ночевать у вас... так вот, когда все угомонятся... ты меня навести...

Мариторнес. Ишь, что выдумал! Да ни за что на свете! А где же тебя поместит хозяин?

Погонщик мулов. Я попрошусь в сарай.

Паломек *(во флигеле)*. Мариторнес! Мариторнес!

Мариторнес. Отойди от меня! Слышишь, хозяин зовет!

Паломек *(выглянув в окно)*. Мариторнес! Где эта дрянная девица?

Мариторнес. Что это вы так раскричались? Я здесь, где же мне еще быть?

Паломек. Ты что там делаешь?

Мариторнес. А что же мне делать? Видите, белье вешаю.

Паломек. Знаем мы это белье! С тебя глаз нельзя спускать.

Погонщик мулов *(выходя из-за белья)*. Здоро́во, хозяин! Здравствуйте, сеньор Паломек Левша!

Паломек. Ах вот оно какое белье! Что это за необыкновенная девица! Скажите на милость? Чуть только отвернешься — начинаются шашни!

Погонщик мулов. Нет, хозяин, вы напрасно браните ее, она хорошая девушка. Я только что вошел во двор и не успел ей сказать и трех слов...

Паломек. Разные бывают слова. Иные три слова хуже, чем целая длинная речь. Эта красотка всем известна.

Мариторнес. Мало того, что всякие семейные несчастья вынудили меня служить на постоялом дворе за гроши...

Паломек. Ну-ну-ну, довольно, перестань хныкать, бездельница!

Мариторнес скрывается.

Ты ко мне?

Погонщик мулов. Да, хочу у вас переночевать.

Паломек. Все занято, нет ни одной постели... разве что в сарай... В сарае желаешь?

Погонщик мулов. Это, стало быть, укрываться небом со звездами? Ведь крыша-то у вас дырявая?

Паломек. Ах, простите, почтеннейший сеньор! Ежели бы я знал, что вы пожалуете к нам, я бы приготовил вам дворец под золотой крышей и с шелковыми одеялами. Не нравится — ступай, ночуй в поле. Я ведь тебя не приглашал, говорю, что все занято.

Погонщик мулов. Ну ладно, ладно, согласен в сарай.

Паломек. На́ попону! *(Выбрасывает в окно попону.)* Подстели, заснешь, как на перине, по-королевски, еще все завидовать будут.

Погонщик мулов берет попону и, проходя мимо Мариторнес, делает какие-то таинственные знаки.

Мариторнес *(тихо)*. Что вы, что вы!.. *(Напевает.)* «Отчего же на нем кровь? Нож ему вонзили в сердце, и погиб он за любовь...»

Эрнандес *(в окне флигеля)*. Эй, хозяин! Дайте-ка нам еще винца!

Паломек. Сию минуту, сеньоры! *(Пробегает во флигель с бурдюком, потом возвращается к себе.)*

Из флигеля доносится хохот, зазвенели струны.

Эрнандес *(во флигеле поет)*. «Ах, маркиз мой Мантуанский, Мантуанский, Мантуанский, дядя мой и господин!..»

В ворота входит Санчо, согнувшись в три погибели, и ведет в поводу своего осла. На осле — полуживой Дон Кихот. Сзади идет хромающий Росинант, нагруженный измятыми доспехами и самодельным копьем. Голова Санчо обвязана тряпкой, под глазом синяк, половина бороды выдрана.

Санчо. Благодарение небесам, добрались до постоялого двора! Ох!.. *(Садится на край колодца.)* Эй, девушка... девушка!.. Подойди-ка сюда!

Мариторнес. Вот так так! Таких у нас еще не бывало!

Санчо *(Дон Кихоту)*. Очнитесь, сеньор, приехали на постоялый двор!

Дон Кихот. Что?

Санчо. Держите себя бодрее, сударь, а то вы похожи на мешок с навозом. Мы прибыли на постоялый двор.

Дон Кихот. Что говоришь ты, Санчо? Мы прибыли в замок? Подожди, сейчас выйдет карлик, протрубит, подъемный мост спустят, и мы войдем...

Санчо. Какие там мосты и карлики, сеньор! Очнитесь!

Послышался звук рога Свинопаса.

Дон Кихот. Маловерный оруженосец, ты слышишь трубные звуки? Это нас встречают. *(Кряхтя, слезает с осла.)*

Мариторнес. Вот потеха-то!

Дон Кихот *(Мариторнес)*. О прекрасная сеньора! Позвольте мне представиться вам. Я — странствующий рыцарь Дон Кихот Ламанчский, которого молва прозвала рыцарем Печального Образа. Я — тот рыцарь, подвиги коего затмили подвиги Пылающего Меча и Рейнальдоса де Монтальбана, похитившего золотой идол Магомета! Я — ваш покорный слуга!

Мариторнес. Ах, чувствительно вам благодарна, кавальеро! *(Санчо.)* Он так сладко говорит, так хорошо, но до того чудно, до того чудно, что ничего не поймешь!

Погонщик мулов *(выглядывая из сарая)*. Это что такое? Кажется, эта облезлая крыса подъезжает к Мариторнес?

Мариторнес *(Санчо)*. Он что же, грек, что ли?

Санчо. Грек, грек, только устрой нас, девушка, переночевать.

Мариторнес. Хозяин! Хозяин!

Паломек *(выглядывая из окна)*. Чего тебе надо?

Мариторнес. Принимайте постояльцев.

Паломек *(вытаращив глаза, глядит на Дон Кихота, потом выходит)*. Чем могу служить?

Дон Кихот. Сеньор кастелян, вы видите перед собой рыцаря, принадлежащего к ордену странствующих, и его оруженосца.

Паломек. Как вы говорите?.. Ордена?!

Дон Кихот. Мы были бы вам крайне признательны, если бы вы приютили нас в вашем замке.

Паломек. Сеньор кавальеро, всем, за исключением комнаты и постели — нет ни одной свободной, — могу служить вам.

Дон Кихот. Мы удовольствуемся малым, ибо битва — отдых для рыцаря, оружие — его украшение, а ложе его — твердые скалы.

Погонщик мулов. Ишь как размазывает, черт бы его побрал!

Паломек. Ну, если так, сударь, то лучшего места, чем у меня в сарае, вам не найти!

Погонщик мулов. Кой черт, хозяин, ведь вы же мне отдали сарай.

Паломек. Там и для троих достаточно места. *(Дон Кихоту.)* А где это вас так отделали, сударь?

Санчо. Это он со скалы упал.

Мариторнес. С какой же скалы? Тут у нас и скал-то нет.

Санчо. Раз я говорю, что упал со скалы, значит, есть где-то скала.

Паломек *(Санчо)*. А тебя, что ли, тоже угораздило сверзиться со скалы?

Санчо. Ох, и меня... То есть я не падал, а как увидел, что он упал, сейчас же почувствовал, что и сам весь разбит.

Мариторнес. Ах, это бывает! Я иногда вижу во сне, что падаю, и просыпаюсь совсем, совсем разбитая!

Паломек. Знаем мы, что ты видишь во сне, можешь не рассказывать! Эй!

Вбегает Работник.

Бери лошадь и осла, ставь в конюшню.

Дон Кихот. Я покорнейше прошу вас, сеньор кастелян, позаботиться хорошенько об этой лошади, потому что это лучшая верховая лошадь, какая когда-нибудь существовала на свете!

Погонщик мулов. Вот эта? *(Делает Паломеку знаки, означающие, что Дон Кихот не в своем уме.)*

Работник уводит осла и Росинанта.

Санчо *(Дон Кихоту)*. Вы бы рассказали им, сеньор,

про Македонского, а то они не верят вам. Пойдемте-ка в сарай. *(Уводит Дон Кихота в сарай.)*

Все расходятся со двора.

Как вы полагаете, сеньор, через сколько времени мы с вами будем в состоянии шевелить ногами, я уже не говорю — ходить?

Дон Кихот. Признаю, что во всем том, что произошло, безусловно виноват я. Мне ни в коем случае не следовало поднимать меч против людей, не принадлежащих к рыцарскому званию. Если когда-нибудь еще на нас нападет шайка вроде сегодняшней, мы поступим так: я даже не притронусь к мечу, ты же вынимай свой и руби их безжалостно. Если же за них заступятся рыцари, тогда только я вступлю в дело и уж сумею защитить тебя. Хороший план?

Санчо. Очень хороший, сеньор, пусть меня убьет громом! Вот что, сударь: я — человек миролюбивый, тихий, кроткий, спокойный, добродушный и покладистый, это — во-первых. Во-вторых, у меня нет меча, чему я очень рад, и в-третьих, я не выну его ни против человека простого звания, ни против дворянина, ни против крестьянина, ни против рыцаря, ни против козопаса, свинопаса, черта или дьявола!

Дон Кихот. Как жаль, что у меня от боли захватывает дыхание, а то я возразил бы тебе как следует. Одно могу лишь сказать — что с таким миролюбием, как твое, тебе следует стать пастухом Пансино, а управлять островом тебе нельзя. Ведь ты будешь иметь дело с врагами, а для этого требуется мужество. Несчастный! Пойми, что бури, подобные сегодняшней, неразрывно связаны с нашим званием, и без них оно бы потеряло всякую прелесть.

Санчо. Вы мне скажите только одно, сеньор: урожаи, вроде того, что мы собрали сегодня, беспрерывно будут следовать один за другим, или между ними будут все-таки какие-нибудь промежутки? А то, чего доброго, собрав два из них, мы к третьему можем оказаться и вовсе неспособными?

Дон Кихот. Забудь о горести, постигшей нас, Санчо. Нет воспоминания, которое устояло бы против времени, нет и боли, которую не исцелила бы смерть.

Сейчас мы приступим к приготовлению Фьерабрасова бальзама.

Санчо *(оживившись)*. Что требуется для этого, сударь, скажите? Эй, девушка, девушка!

Мариторнес. Чего вам?

Санчо. Вот что, голубушка: мы сейчас бальзам будем приготовлять...

Мариторнес. Какой бальзам?

Санчо. Это, душенька, бальзам волшебный! Одного, понимаешь ли, в бою разрубили пополам... ох!... дали ему хлебнуть, и он пошел рубить мавров!..

Мариторнес. Дайте мне попробовать хоть немножечко, у меня такая тоска на сердце, как будто его кошка скребет когтями!

Санчо. Так и быть, дадим. *(Дон Кихоту.)* Так чего, сударь, требуется?

Дон Кихот. Возьмите большую кастрюлю...

Санчо *(Мариторнес)*. Слышишь, кастрюлю?

Мариторнес. Кастрюлю.

Дон Кихот. Влейте в нее пять бутылок сладкого красного вина.

Санчо *(Мариторнес)*. Понимаешь?

Мариторнес. Понимаю.

Дон Кихот. Положите туда пригоршню тертого чесноку.

Санчо *(Мариторнес)*. Запомнила — пригоршню чесноку?

Погонщик мулов *(входит)*. Это что такое будет?

Мариторнес. Они бальзам знают... бальзам будут приготовлять. Такой бальзам... Одного, понимаешь, разрубили пополам...

Погонщик мулов. Ага, ага!

Дон Кихот. Соли ложек четыре или пять, больших.

Санчо *(Мариторнес)*. Ты послушай!

Погонщик мулов. Я запомню. Соли пять ложек. Это правильно.

Мариторнес *(загибая пальцы)*. Пять.

Дон Кихот. Щепотку красного перцу... желудей тертых горсть, уксусу, три бутылки лампадного масла и маленькую ложечку купоросного масла.

Погонщик мулов. Все правильно. Я этот бальзам знаю.

Дон Кихот. Все хорошенько размешать и подогреть на огне.

Мариторнес. Поняла, сейчас сделаю.

Погонщик мулов. Я тебе помогу. Это хороший бальзам, он даже мулам помогает, в особенности от чесотки.

Мариторнес, Погонщик мулов и Санчо уходят в кухню.

Паломек *(появляется в сарае)*. Почтенный сеньор, моя служанка сказала мне, что вы владеете секретом всеисцеляющего бальзама. Я счастлив, сеньор, что судьба привела вас ко мне. Все, что требуется, уже выдано мною служанке. Я надеюсь, что и мне вы дадите испробовать этого лекарства? В последнее время меня очень мучает поясница. А я, со своей стороны, готов вам служить наилучшим образом.

Дон Кихот. Я с удовольствием исполню вашу просьбу, сеньор кастелян.

Паломек. Как ножом, режет поясницу!

Работник *(с кружечкой)*. Сударь.

Паломек. Тебе чего надо?

Работник. Бальзаму хочу попросить... Громаднейший ячмень на глазу.

Паломек. Ну-ну-ну, нечего, не помрешь ты от этого!

Дон Кихот. Не гоните его, сеньор кастелян, надо пожалеть и его. Я охотно дам ему этого бальзама.

Паломек. Ну, если вы так великодушны, сеньор...

Появляются Мариторнес с кастрюлей в руках, Санчо, Погонщик мулов и Слуга дона Мартинеса, все с кружечками.

Мариторнес. Готово, сударь.

Паломек *(Слуге Мартинеса)*. А тебе что?

Слуга Мартинеса. Мой господин, дон Педро Мартинес, услышав про бальзам, просит отпустить ему одну порцию.

Паломек. Эге-ге!.. *(Слуге.)* Давай два реала.

Слуга Мартинеса. Пожалуйте. Только самого крепкого. *(Дает деньги Паломеку.)*

Мариторнес. Лучше никто бы не подогрел, сеньор!

Дон Кихот *(простирает руки над кастрюлей и начинает шептать какие-то заклинания)*.

Паломек, Слуга Мартинеса и Погонщик мулов снимают шапки.

Можно пить.

Паломек. Стой, стой, по порядку! *(Разливает бальзам по кружкам.)*

Слуга Мартинеса убегает во флигель. Остальные пьют бальзам. Первому делается плохо Дон Кихоту, он падает навзничь.

Ой!.. Ой!.. Ой! Что же это такое?!

Мариторнес. Хозяин, священника мне... Требую священника за мою верную службу... смерть пришла...

Музыка во флигеле внезапно прекращается, загремела посуда, послышался хохот.

Санчо. Будь он проклят, ваш бальзам, отныне... и во веки веков!..

Паломек срывается с места и убегает, за ним устремляются Мариторнес и Работник. Из флигеля выбегает Дон Педро Мартинес, а за ним — его Слуга с кружкой.

Мартинес. Исчадие ада! Чем же ты напоил меня?! Палач!..

Слуга Мартинеса. Два реала, сеньор, два реала я отдал, как одну полушку... Наилучший бальзам... вы же сами приказали!

Мартинес. Убийца! *(Убегает.)*

Слуга Мартинеса. С чего это он так взбесился? Надо попробовать. *(Допивает остатки бальзама, некоторое время топчется на месте, затем убегает вслед за Мартинесом.)*

Санчо. Что же это вы, сеньор, делаете с людьми?

Погонщик мулов *(медленно пьет бальзам, вытирает рот, обращается к Санчо)*. Что, худо, приятель?

Санчо. Уйди от меня...

Погонщик мулов. Я тебе скажу, в чем дело: мало перцу положили, а так он правильный бальзам. Правда, он забористый бальзам, мы им мулов постоянно лечим. Ну, сперва мул бьется очень сильно, лягается, но зато потом целый год как железный и летит, как стрела из арбалета. Ты не бойся. Сейчас тебе станет еще хуже, а зато потом вскочишь здоровый.

Санчо. Уйди, проклятый, куда-нибудь в сторону! Мне нехорошо, когда ты торчишь перед глазами.

Погонщик мулов. Не унывай, друг! Эге! Кажется, и на меня действует. *(Уходит.)*

Дон Кихот. Я знаю, Санчо, отчего тебе стало худо: ты не посвящен в рыцари, а этот бальзам...

Санчо. Так какого же дьявола, сеньор, вы меня не предупредили!..

Дон Кихот. А мне легче стало. Теперь бы только заснуть... *(Засыпает.)*

Возвращаются Паломек, Мариторнес, Работник.

Паломек. Вот принесло чертей ко мне на постоялый двор! То есть никогда ничего подобного не было в жизни!

Мартинес *(появляется в сопровождении своего Слуги)*. А знаешь, это хорошая штука! Сперва точно немного жутко становится, но зато потом облегчение! Купи еще кружку у этого коновала.

Слуга Мартинеса. Слушаю, сеньор. *(Уходит во флигель с Мартинесом.)*

В сарай возвращается Погонщик мулов.

Санчо. Ох... за что же такое наказание? Днем две взбучки подряд, а вечером этот бальзам... Что же, сударь, вы доконать меня хотите? Что это за жизнь, я вас спрашиваю?

Погонщик мулов. Какие взбучки? Ты же говорил, что со скалы упал?

Санчо. Не приставай ко мне...

Быстро темнеет, вырезывается луна. У Паломека в окне появляется свет, потом гаснет. Во флигеле некоторое время еще слышен хохот, пение, звон стаканов.

Мартинес *(во флигеле)*. Ваше здоровье, сеньоры!

Потом и флигель затихает, окна гаснут. Во дворе появляется Мариторнес.

Мариторнес *(прокрадываясь к сараю)*. Кажется, все заснули. *(Прислушивается.)* Да, спят... Ох, страшно!.. Эй, погонщик, ты спишь?

Дон Кихот *(просыпаясь)*. Что слышу я?

Мариторнес в сарае ищет постель Погонщика.

(Взяв Мариторнес за руку.) Очаровательная сеньора!

Мариторнес. Это ты? Видишь, ты шепнул мне...

Дон Кихот. О страстная сеньора, как бы я хотел быть в должной мере признателен вам за ту честь...

Погонщик мулов *(просыпаясь)*. Это что такое?

Мариторнес. Ах, не тот, не тот! Это не ты!

Дон Кихот. Судьба швырнула меня, израненного...

Мариторнес. Отпустите меня, сеньор!

Дон Кихот. Сеньора...

Погонщик мулов. Эге-ге! Да эта козлиная борода, оказывается, хват! А поглядеть на него — тихоня! Бальзам приготовляет, со скалы упал...

Дон Кихот. Я понимаю ваше намерение...

Мариторнес. Пустите меня, сеньор!

Дон Кихот. Знайте, сеньора, что я верен несравненной Дульсинее Тобосской...

Погонщик мулов. Ну, к черту это пение! *(Подкрадывается к Дон Кихоту, ударяет его тазом по голове.)*

Дон Кихот. Ах, коварный мавр!

Мариторнес. Ах!

Санчо *(проснувшись)*. Кто тут? Кто тут? Ты что здесь делаешь, голубушка? *(Схватывает Мариторнес за руку)*

Погонщик мулов. А ты не лезь не в свое дело! *(Ударяет Санчо.)*

Санчо. Ох, это опять, стало быть, начинается? *(Ныряет под попону.)*

Дон Кихот *(схватываясь за меч)*. Ну погоди же, вероломный, напавший на меня из-за угла! Эй, Санчо!

Санчо. Я сплю, сударь.

Мариторнес. Куда же деваться-то мне?!

Погонщик мулов. Не сюда, не сюда! Хозяин проснулся, увидит тебя!

В окне у Паломека свет.

Лезь через крышу! *(Подсаживает Мариторнес, и та скрывается из сарая. Бросается на свою постель и укрывается попоной.)*

Дон Кихот. Замок очарован! Здесь волшебники! А! Вот вы где притаились, злостные создания! Вас много, я один, но вы не устрашите меня! *(Поражает мечом бурдюк с вином.)* Вот хлынула черная кровь! Ты повержен, злодей!

Мартинес *(во флигеле)*. Что случилось! Эй, огня!

Эрнандес *(во флигеле)*. Огня, огня!

Паломек *(выбегает во двор)*. Что там случилось в сарае? Эй! Голову прозакладываю, что это штуки проклятой Мариторнес! Эй! Мариторнес, где ты, подлая?

Дон Кихот. Враг побежден!

Мариторнес *(в окне)*. Чего вам? Чего вас ночью будит нечистая сила, хозяин?

Паломек. Как? Ты здесь? Я был уверен, что ты уже в сарае!

Во двор вбегают Эрнандес, Мартинес со шпагой, его Слуга с кочергой и еще один Постоялец со светильником.

Мартинес. Кто напал? Что случилось? Эй, кто убит?

Эрнандес. Воры? Где воры? Эй, там, в сарае!..

Светает.

Дон Кихот. Убит мой враг, почтенный кастелян! Смотрите, вот бежит его кровь!

Паломек *(уронив светильник)*. Я желал бы видеть вашу кровь вместо этой! Смотрите, сеньоры, этот сумасшедший пропорол бурдюк с вином!

Погонщик мулов *(делая вид, что проснулся)*. А, какого черта не дают спать?

Санчо. Да, в самом деле, что же это спать не дают ни мне, ни моему рыцарю?

Дон Кихот. Остальные бежали, Санчо! Скорее в путь, мы их догоним!

Санчо. Да, сеньор, нам пора, я предчувствую, что здесь будет большая кутерьма. *(Бежит к конюшне, выводит Росинанта и осла.)*

Появляются Работник и Мариторнес.

Паломек. Полюбуйтесь, сеньоры, на то, что натворила эта парочка полоумных! Вино, мое лучшее вино!

Эрнанде с. Действительно, это какие-то черти! Не правда ли, сеньор Мартинес?

Мартинес. Это — который делал бальзам?

Слуга Мартинеса. Он самый, сударь.

Мартинес. Прекрасный бальзам, только почему их леший будит по ночам?

Дон Кихот *(сидя в седле)*. Сеньор кастелян, я в отчаянии, что мне приходится спешно покинуть ваш гостеприимный замок. Я должен отправиться в погоню за

моими врагами. Благодарю вас за внимание, оказанное мне и моему оруженосцу, и желаю вам всего хорошего.

Погонщик мулов. Опять запел! Накостылять бы ему шею на прощанье!

Санчо. Не надо длинных речей, сеньор, едем.

Паломек. Оставьте ваши благодарности при себе, господин аптекарь, и платите за ночлег, за корм, а главное, за вино, которое вы погубили на моем постоялом дворе!

Дон Кихот. Как, это постоялый двор? Вы говорите правду? Значит, я был в заблуждении, полагая, что нахожусь в замке. Но, впрочем, это ничего не значит. Жар и зной, непогода и холод терзают странствующих рыцарей в то время, как они скитаются по свету для блага человечества, и никто и никогда, нигде не смел требовать с них какой-либо платы. Таков устав ордена. Прощайте.

Паломек. Стойте! Правосудие, сеньоры!

Дон Кихот *(угрожая копьем)*. Прочь, если дорожишь жизнью, жадный трактирщик! *(Уезжает в ворота.)*

Паломек. Правосудие! Правосудие! Меня ограбили! Держите второго! *(Работнику.)* Закрывай ворота!

Санчо окружают.

Ты будешь платить, каналья, или нет?

Санчо. Жар и зной... терзают наш орден... Пропустите-ка меня.

Паломек. Вы видите, сеньоры, каковы мошенники?!

Эрнандес. Проучить его, негодяя?

Мартинес. Повторяю: бальзам великолепный, но он действительно жулик! Давай сюда одеяло!

Санчо. На помощь, сеньор!.. Не бейте, презренные созданья! На помощь!..

Голова Дон Кихота появляется за оградой. На Санчо набрасываются и валят его на одеяло.

Дон Кихот *(за оградой)*. Гнусные негодяи! Отпустите сейчас же моего оруженосца!

Санчо подбрасывают.

Паломек *(в паузе)*. Ты будешь платить?

Санчо. И рад бы, да не могу...

Паломек. Швыряйте его в самое небо!

Мартинес. Довольно! Ну его к черту!

Паломек *(овладевая бурдюком Санчо).* Отдавай бурдюк и убирайся с глаз моих, темный мошенник.

Все расходятся со двора, кроме Мариторнес и Погонщика мулов.

Погонщик мулов. А мне нравится этот парень! Упорный парень! Ведь так-таки и не заплатил. Молодец!

Мариторнес. На, попей воды.

Дон Кихот *(за оградой).* Не пей эту воду, Санчо, она отравлена. У меня осталась еще склянка бальзама, она тотчас поставит тебя на ноги.

Санчо. Поберегите, сеньор, ваш бальзам для Рейнальдоса Монтальбана, для золотого идола Магомета и для всех чертей! А меня оставьте в покое!

Дон Кихот. Несчастный! Я не могу видеть, как ты отравляешь себя! Опомнись! *(Отъезжает от ограды.)*

Санчо. Дай-ка мне, девушка, винца. *(Шепотом.)* Тебе я заплачу.

Мариторнес приносит вина.

Погонщик мулов. Давай и мне за компанию.

Санчо. Спасибо тебе. *(Дает монету Мариторнес.)*

Погонщик мулов. Не надо, я тебя угощаю. Ты мне понравился за свой твердый характер.

Санчо. Вы — единственные добрые созданья среди всех мучителей на этом постоялом дворе. Правда, девушка, твое поведение немного предосудительно, но я не люблю осуждать людей. Спасибо вам, прощайте.

Мариторнес. Прощай.

Погонщик мулов *(провожая Санчо к воротам).* Перцу надо больше класть, это ты запомни. Тогда смело продавайте по реалу кружка.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

У Дон Кихота. День. В комнате — Антония, Ключница, Перес и Николас.

Перес. Итак, что же делать нам теперь? Мудрость недаром говорит, что подобное лечится подобным...

Николас. Я совершенно с вами согласен, почтеннейший мой кум.

Перес. Жажда подвигов выгнала бедного идальго из дому. Дадим же ему возможность совершить такой подвиг, который привел бы его домой. И вот что я придумал вместе с сеньором Николасом: вы, Антония, примете на себя роль очарованной принцессы.

Антония. Я не понимаю вас, сеньор лиценциат.

Николас. Стоит развязать этот узел — и вы сразу все поймете! *(Вынимает из узла богатый женский наряд, большую привязную бороду, гитару и маски.)*

Перес. Запомните, Антония, что вы — очарованная принцесса, дочь короля Тинакрио Мудрого и королевы Харамильи, наследница великого королевства Микомикон в Гвинее. Злой великан Пандофиландо Косой отнял у вас царство. Мы поедем вдогонку за вашим безумным дядюшкой, и вы обратитесь к нему со слезной просьбой заступиться за вас и отвоевать это царство у великана.

Ключница. Господи, помилуй нас, грешных!

Николас. И не будь я цирюльник здешнего села, если он не последует за вами куда угодно!

Перес. Но внушите ему, что путь в ваше королевство лежит через Ламанчу.

Антония. Ах, теперь поняла!

Николас *(подает платье и маску Антонии)*. Переодевайтесь, Антония.

Антония. Сейчас. *(Уходит в соседнюю комнату.)*

Ключница. Милосердное небо, на какие уловки приходится пускаться, чтобы возвратить к родному очагу нашего бедного хозяина! Пусть дьявол и разбойник Варрава унесут в преисподнюю рыцарские книги, погубившие самый светлый ум Ламанчи! А вместе с книгами и толстобрюхого Санчо, сманившего сеньора Алонсо из дому! *(Уходит.)*

Перес. Приступим, дорогой кум.

Перес надевает бороду. Николас одевается в женское платье и головной убор, надевает маску, берет гитару, Антония входит в богатом наряде, в маске.

Антония. Вы ли это, маэсе Николас? Кто же вы такой теперь?

Николас. Я — дуэнья, сопровождающая вас в вашем скорбном изгнании. Запомните мое имя — Долорида. *(Наигрывает на гитаре.)*

Перес. Я же, сеньора Антония, ваш дядюшка, брат убитого короля Тинакрио.

Антония. Поняла, поняла!

Перес. Важно только одно — заманить его сюда, а там уж мы что-нибудь придумаем, глядя по обстоятельствам.

Во двор дома в это время въезжает на своем осле Санчо, и в тот же момент из кухни выбегает Ключница.

Ключница. Это он! Да, это он! Меня не обманывают мои бедные глаза!

Санчо. Это я, сеньора ключница.

Ключница. Да это он, смутьян и всесветный бродяга!

Санчо. Да, это она...

Антония, Перес и Николас бросаются к окну, смотрят на эту сцену.

Ключница. Отвечай, поганый попугай, повторяющий чужие слова, где сеньор Кихано? Куда ты девал его? Ты один? Отвечай, ты один вернулся?

Санчо. Я не настолько глуп, сеньора ключница, чтобы утверждать, что нас двое. Вы же видите, что я один.

Ключница. Куда же ты девал, окаянный, сеньора Алонсо?

Санчо. Кто-нибудь, у кого доброе сердце, на помощь! Дорогая ключница, меня били за эти дни много раз, но каждый раз били к концу нашего пребывания где-нибудь, а теперь трепка начинается, лишь только я сунул нос в ворота! Помогите!

Антония. О боже! Она терзает его!

Перес. Погодите, погодите, мы сейчас все узнаем.

Ключница. Куда ты девал моего господина?

Санчо. Спасите меня от адской ключницы! Сеньор цел, жив и здоров! Вы не имеет права бить меня! Не сегодня завтра я стану губернатором!

Ключница. Слыхали вы что-нибудь подобное, добрые люди? Кто вбил тебе в голову эту мысль, алчный чурбан? Где сеньор Кихано? Почему ты молчишь?

Санчо. О боже праведный! И нет никого, кто вырвал бы меня из рук ключницы, терзающей меня, как ястреб куренка!

Перес. Сеньора ключница!.. Почтенная сеньора, подавите свой гнев, который вы обрушиваете на этого ни в чем не повинного человека!

Санчо. Это кто же такой?

Ключница. Пусть он скажет, где он покинул сеньора Алонсо!

Перес. Мы узнаем это скорее, чем вы. Я очень советую вам, сеньора ключница, продолжать готовить нам пищу, нам предстоит неблизкий путь.

Ключница. Ну хорошо, сеньор. Но узнайте, умоляю вас, где бедный мой господин! *(Уходит.)*

Перес. Почтеннейший, оставьте вашего осла и подите сюда.

Санчо *(входя в комнату)*. Доброго здоровья, глубокоуважаемые сеньоры и сеньор!

Перес. Позвольте, да это он!

Николас. Верить ли мне моим глазам?

Перес. Да, принцесса, это он, Санчо Панса, оруженосец прославленного рыцаря Дон Кихота. Я не успокоюсь до тех пор, пока не облобызаю его!

Антония. Нет, нет, первая это сделаю я!

Николас. Нет, уж пустите меня первую! *(Обнимает Санчо.)* Моя душа взволнована, а в этих случаях единственно, что может успокоить меня, — это музыка. *(Играет на гитаре.)*

Перес и Антония обнимают Санчо.

Санчо. Покорнейше вас благодарю за музыку и ласки, которыми вы осыпали меня, но скажите, откуда вы меня знаете?

Перес. Слава вашего рыцаря уже побежала по свету, как огонь бежит по лесу, а следом за ней, конечно, побежала и ваша слава. Садитесь, любимый нами всеми оруженосец, и скажите нам, где же ваш рыцарь?

Санчо. Сяду я с удовольствием, так как очень устал после побоев ключницы, а где находится мой господин, я не скажу.

Перес. Но почему же?

Антония. Что слышу я? Жестокий оруженосец хочет отнять у меня последнюю надежду?

Николас. Почему вы не хотите открыть нам место, где находится ваш господин?

Санчо. Потому, что он приказал мне держать это в тайне.

Николас. Дорогой оруженосец, это странно! Вы

уехали вдвоем, а вернулись один. Люди, чего доброго, могут подумать, что вы убили сеньора Дон Кихота.

Санчо. Пусть каждого, почтенная донья, убивает его судьба, я же не занимался этим никогда, и все знают это.

Антония. Нет, он скажет, где Дон Кихот. Знайте, Санчо, что перед вами принцесса Микомикон!

Санчо. Ага! Это очень интересно. Я никогда в жизни не видел принцессы.

Антония. Теперь, надеюсь, вы сообщите мне местопребывание вашего рыцаря, которого я разыскиваю для того, чтобы просить у него помощи и защиты.

Санчо. Нет, принцесса, не сообщу.

Антония. Так слушайте же, злой оруженосец, печальнейшую повесть моей жизни. Я жила в неописуемой роскоши в королевском дворце моего незабвенного отца Тинакрио Мудрого и безутешного ныне его брата...

Перес. Это я — перед вами.

Антония. Да, это он. Мне воздавали королевские почести, я сидела на золотом троне днем, а по ночам в парке принцы пели под моими окнами серенады.

Николас играет на гитаре.

Санчо. Повесть ваша очень интересна, принцесса, но только я не вижу в ней ничего печального.

Антония. Слушайте, несчастный, дальше! В один ужасный день полчища великана Пандофиландо напали на наше королевство...

Санчо. А! Вот это хуже!.. Это я представляю себе ясно... Небольшое полчище погонщиков-янгуэсов напало однажды... и до сих пор у меня... впрочем, не стоит об этом рассказывать. Ну и что же было дальше?

Антония. Мою мать, королеву Харамилью... и отца моего...

Санчо. Этого Тинакрио?

Антония. Да, да! Зарезали!

Санчо. Насмерть обоих?

Антония. Да, они в могиле оба.

Санчо *(Пересу)*. А как же вы уцелели, королевский брат? Вы, наверно, сдались? В отчаянных положениях самый храбрый бережет себя для лучшего случая.

Николас *(Пересу)*. До чего он придирчиво слуша ет, черт его возьми!

Перес *(Николасу)*. Кажется, он немного растрогался.

Николас играет на гитаре.

Антония. И вот я в сопровождении моей дуэньи бросилась искать Дон Кихота Ламанчского, чтобы найти у него покровительство. Теперь-то уж вы мне, конечно, скажете, где Дон Кихот?

Санчо. Не скажу.

Николас *(швырнув гитару)*. А, чтоб тебя совсем!..

Перес. Милейшая дуэнья Долорида, вы напрасно сердитесь. Мне кажется, что оруженосец поступает правильно, сохраняя тайну, доверенную ему его господином. А скажите, добрейший Санчо Панса, что же вас-то привело сюда одного?

Санчо. Я привез письмо племяннице от моего господина.

Перес. Она уехала вместе с лиценциатом и местным цирюльником...

Санчо. Я его знаю, с Николасом.

Николас. Ну да, с Николасом. Прекрасный человек этот Николас!

Санчо. Хитрый очень.

Николас. Ну-ну-ну...

Перес. Погодите... в город, чтобы узнать что-нибудь о пропавшем дядюшке. А вы привезли важное письмо?

Санчо. Очень важное и, главное, приятное.

Перес. Скажите!..

Санчо. Оно заключает в себе приказание выдать мне в награду за верную службу двух ослят. *(Шарит в карманах.)* Ах! Ах!.. Ах!..

Перес. Что такое?

Санчо. Ах я несчастный олух и дон болван! Ах я скотина и свинья! Будь я проклят! *(Бьет себя по лицу.)* Вот тебе! Вот тебе!

Антония. Что с вами, оруженосец?

Николас. Что с вами, дорогой упрямец?

Санчо. Бейте меня, сеньоры, прошу вас, потому что мне самому бить себя неудобно! Я потерял это письмо, а стало быть, потерял и ослят! Я ехал всю ночь, мечтая о том, как обрадуется им моя Хуана Тереса! Ах, ослятки мои, ослятки! Я дрожал от радости, я как будто уже ощущал вас в своих руках, я ласкал вашу нежную

шерстку, я видел вас в моем хлеву! Кто мне поверит без этого письма, что мой господин действительно подарил мне этих ослят? Пандофиландо, зачем ты не зарезал меня вместо Тинакрио Мудрого?

Перес. Да, это плохо.

Николас. Да, придется вам расстаться с мечтой об ослятах! *(Играет на гитаре.)*

Санчо. Перестаньте играть! Что у вас за ужасная привычка! Как только случится что-нибудь гадкое, вы тотчас беретесь за гитару!

Перес. Успокойтесь, Санчо. Я знаю, кто может помочь в вашем горе. Это она, добросердечная принцесса Микомикон. Стоит ей сказать одно слово ключнице — и ослята будут в ваших руках.

Санчо. Сатанинская ключница послушается ее?

Перес. Ручаюсь вам в этом. Но, само собой разумеется, что после этого великого одолжения вы скажете, где скрывается Дон Кихот.

Санчо *(подумав)*. Скажу.

Антония. Ах добрый оруженосец! *(В окно.)* Сеньора ключница! Сеньора ключница!

Перес, Николас и Санчо высовываются в окно.

Ключница. Что вам угодно?

Антония. Вот что, дорогая ключница: потрудитесь выдать Санчо, по приказу сеньора Алонсо, двух ослят.

Ключница. Что? Что? Что вы сказали? Двух ослят?

Санчо. Ага!

Ключница. Да душу мою скорее вынут из меня, чем я этому негодяю...

Санчо. Ага! Что я говорил!

Перес *(тихо, в окно)*. Если вы хотите увидеть сеньора Алонсо, вы немедленно...

Ключница. Этому... этому... ах, что вы сказали?.. Санчо? Ну, ему-то я охотно выдам двух ослят. Иди сюда, подл... иди сюда, Санчо, открывай хлев, бери ослят! О небо, что же это у нас происходит? *(Скрывается.)*

Санчо. О радость! О радость и еще раз радость! Признаться, я вам не верил, а теперь убедился в том, что вы действительно принцесса Микомикон!

Перес. Да, но вы не забудьте сказать, где находится Дон Кихот.

Санчо. В ущелье, в Сиерра-Морене.

Антонио. Что же он там делает?

Санчо. Он решил безумствовать в горах вследствие жестокости Дульсинеи Тобосской, подражая Роталанду и Амадису. Я покажу вам туда дорогу.

Антония. Немедленно в путь, пока с ним не случилось какой-нибудь беды!

Санчо. Позвольте мне расцеловать вас, дражайший брат Тинакрио Мудрого! *(Заключает Переса в объятия, и у того слезает борода.)* Ах, что это?! Сеньор лиценциат?

Николас *(принимая в объятия Санчо)*. Чего? Кого? Какой такой лиценциат? Где лиценциат?

Перес надевая бороду.

Санчо. У меня от радости помутилось в глазах и показалось, что вдруг Пандофиландо вам оторвал бороду и вместо вас появился лиценциат! Но теперь я вижу, что. мне это померещилось!.. О радость! *(Выбегает во двор, бежит к хлеву, открывает двери его.)* Вот они, вот они, мои драгоценные! *(Кричит.)* Вот теперь, почтенная дуэнья, вы почему-то не играете на гитаре!

Николас играет на гитаре. Слышно, как подкатывает повозка.

Антония. В Сиерра-Морену!

Перес. В Сиерра-Морену!

Конец второго действия.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

У Дон Кихота. День. К калитке подъезжает громадная колымага, на которой помещаются Дон Кихот и переодетые Антония, Перес и Николас. Николас, сидящий рядом с Возницей, играет на гитаре. Вслед за колымагой подъезжает на осле Санчо. Последним появляется Росинант, привязанный к седлу Санчо. Ключница выбегает из кухни.

Ключница. Здравствуйте, сеньор Алонсо! В час добрый! В час добрый! Как рады все любящие вас сердца, что вы наконец соблаговолили вернуться в родной дом! Ах, сеньор Алонсо. В час добрый!

Дон Кихот. Здравствуйте, добрейшая ключница!

Антония, Перес и Николас помогают прихрамывающему Дон Кихоту сойти с колымаги. Колымага отъезжает. Санчо с ослом и Росинантом пробирается к конюшне.

Светлейшая принцесса, позвольте представить вам нашу почтенную ключницу.

Антония. Мне это чрезвычайно приятно.

Дон Кихот *(знакомя)*. Дуэнья... Ключница... Я уверен, что вы полюбите друг друга с первого взгляда.

Николас. Я мечтал об этой встрече! *(Обнимает Ключницу.)*

Дон Кихот. Прошу вас, дорогие гости, пожаловать в мой дом.

Антония, Перес и Николас, раскланиваясь, уходят в дом.

Где же Антония?

Ключница. Антония в доме, сударь, и уже принимает эту принцессу, не знаю, как ее зовут, и этого бородача.

Дон Кихот *(садясь на скамью)*. Тес... это не бородач, как вы выражаетесь, а высокопоставленный, хотя и глубоко несчастный, дядюшка этой принцессы. Я до сих пор под впечатлением трагедии его брата, гвинейского короля, зарезанного Пандофиландо Косым.

Ключница. Да бог с ним, достопочтенный сеньор! Ну зарезали этого гвинейца, что же поделаешь! Туда ему и дорога! Ведь вы его не воскресите? Я же в вашу честь зарезала двух лучших жирных кур, чтобы варить вам бульон, и, право, от этого вы получите больше пользы, чем от гвинейского короля!

Антония *(в обычном своем наряде, выбегает из дома)*. Бесценный дядюшка! Как я счастлива, что вы вернулись!

Дон Кихот. Здравствуй, Антония, ты позаботилась как следует о принцессе и ее дуэнье?

Антония. Как же, дядюшка! Вы слышите, дуэнья уже играет в моей комнате?

Санчо *(выходя из сарая)*. Да, она играет, да не лишит создатель ее вечного спасения! Но если бы какой-нибудь очарованный мавр украл у нее гитару, я был бы счастлив! Ведь она играет по всякому поводу и во всякое время!

Дон Кихот. Твоя натура грубовата.

Санчо. Музыку нельзя не любить. Где музыка, там нет злого.

Санчо. Даже жареные голуби могут надоесть, сеньор, если ими кормить человека с утра до вечера. А от этой музыки мне иногда хочется прыгнуть через забор. Позвольте, сеньор, мне отлучиться на короткое время, я хочу навестить мою Тересу.

Ключница. Ступай, ступай, Санчо, тебя никто не задерживает.

Дон Кихот. Ступай, мой друг, но возвращайся поскорее.

Ключница *(шепотом)*. Ступай и не возвращайся больше сюда. Ты меня понял?

Санчо. Но мой господин...

Ключница *(шепотом)*. Не возвращайся, если не хочешь лишиться и остатков бороды. Ты меня знаешь?

Санчо. Кто же вас не знает... Вот в какие клещи я попал! *(Уходит.)*

Дон Кихот. Ну что же, Антония, пойдем в дом. *(Идет в сопровождении Антонии в дом.)*.

Ключница уходит в кухню. В комнате Антония помогает Дон Кихоту снять доспехи, усаживает его в кресло. Из внутренней двери появляется Перес в своем обычном виде.

Перес. Здравствуйте, дорогой кум. Мы с маэсе Николасом узнали, что вы возвращаетесь, и немедленно явились, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение.

Дон Кихот. Как я рад видеть вас, дорогой лиценциат. Антония, пригласи сюда королевского брата! Я хочу познакомить его с сеньором Перо Пересом.

Антония. Сейчас, дядюшка! *(Начинает целовать Дон Кихота.)*

В это время Перес ускользает во внутренние комнаты.

Я сейчас позову его, дядюшка. *(Уходит во внутренние комнаты.)*

Перес *(выглянув из дверей в бороде)*. Сеньор Дон Кихот...

Дон Кихот. А, ваше высочество! Прошу вас, пожалуйте к нам сюда!

Перес *(в дверях)*. Я не совсем одет, сеньор Дон Кихот.

Дон Кихот. Ничего, ничего, вы в дороге, никто вас не осудит.

Перес скрывается.

Сеньор лиценциат, познакомьтесь с королевским братом. Позвольте, а где же лиценциат? Ведь он только что был здесь! *(Идет к выходным дверям.)*

Перес без бороды выходит из внутренних дверей.

Перес. Я здесь, сеньор Дон Кихот.

Дон Кихот. Что за чудеса! А я вас потерял! Вы отлучились куда-нибудь?

Перес. И не думал.

Дон Кихот. Э-э... я все более убеждаюсь в том, что в доме моем нечисто! Антония, куда же ты ушла?

Антония *(в костюме принцессы и в маске)*. Прошу извинить меня, доблестный рыцарь, что я задержалась...

Дон Кихот. Позвольте мне, очаровательная принцесса Микомикон, представить вам моего друга — сеньора Перо Переса.

Перес. Я счастлив, принцесса.

Антония. Я так много слышала о вас!

Николас *(в костюме дуэньи)*. Вот и я, доблестный рыцарь!

Дон Кихот. А, наконец-то все собрались! Ах, нет, не хватает почтенного, но своенравного королевского брата.

Перес. Я сию минуту приведу его. *(Уходит во внутренние комнаты.)*

Дон Кихот. А где же маэсе Николас?

Перес *(в виде королевского брата)*. Вот наконец и я.

Николас ускользает во внутренние комнаты.

Дон Кихот. Я хочу познакомить вас, господин королевский брат, с друзьями моими — лиценциатом и цирюльником. Маэсе Николас!

Николас выходит в своем обычном виде. Антония скрывается за пологом.

Перес. Так это он, добродетельный цирюльник, о котором вы мне так много говорили! Точно таким я представлял его себе!

Николас. А я, в свою очередь, горько плакал, слушая рассказы об ужасах, которые натворил Пандофиландо в королевстве вашего брата!

Дон Кихот. Антония, да иди же наконец сюда!

Антония *(входя в своем обычном виде из-за полога).* Я здесь, дядюшка!

Перес скрывается за креслом Дон Кихота.

Дон Кихот. Я хотел бы, чтобы ты выслушала из уст королевского брата о тех бедствиях, которые поразили королевскую семью. Сеньор лиценциат, пожалуйте поближе !

Перес *(выглянув из-за кресла без бороды).* Я слушаю внимательнейшим образом. *(Прячется за кресло, потом выглядывает в бороде.)* Да, этот отвратительный великан до сих пор стоит у меня перед глазами! *(Прячется за кресло, снимает бороду, становится перед Дон Кихотом.)* Что вы говорите, почтенный королевский брат!

Николас *(Антонии).* Мы пропали!

Антония *(Николасу).* Давай скорее волшебника! *(Дон Кихоту.)* Да, да... Какой ужас, дядюшка!

Перес *(выходя из-за кресла в бороде).* Я лучше прекращу свой рассказ, любезнейшая сеньора племянница, если он вас волнует.

Антония. Ах, нет, нет, продолжайте!

Дон Кихот. Да, продолжайте, но я попросил бы всех сесть, а то должен сознаться, что у меня почему-то рябит в глазах...

Николас ускользает в соседнюю комнату. Перес бросается к окну.

...и по временам я даже не понимаю, кто передо мной.

За сценой раздается гром разбитой посуды. Перес опускает жалюзи, в комнате темнеет.

Что такое? Что здесь?

Николас *(за сценой).* На помощь! Здесь волшебник!

Перес. На помощь!

Дон Кихот *(схватывается за меч).* Где он?

Николас *(вбегая).* Волшебник похитил принцессу Микомикон на моих глазах!

Перес. А где же королевский брат?

Антония. Дуэньи тоже нет!

Дон Кихот. Этого следовало ожидать! Мы увлеклись беседой, и коварный прилетел неожиданно! Оруженосца мне! В погоню!

Перес. Бесполезно, бесполезно, сеньор Дон Кихот! Ведь не можете же вы лететь за ним по воздуху!

Николас. Я сам видел, как он, в черной мантии, пролетел над домом, волоча за бороду королевского брата!

Дон Кихот. Почему же вы не отрубили ему руку?

Николас. Промахнулся!

Дон Кихот. Ах, я не прощу себе этого! Где была стража? Щит и коня мне!

Антония. Дядюшка, молю вас, успокойтесь!

Дон Кихот. Принцесса была под защитой моего слова! Расступитесь! Вы поражены страхом, а я не боюсь его и догоню его, хотя бы он летел по воздуху с быстротой ветра! Пустите меня! *(Роняет меч, опускается, в кресло.)*

Антония. Дядюшка, что с вами?!

Дон Кихот. Ах, открылись раны... Бессилие поразило меня вдруг... он очаровал меня...

Антония. Дядюшка, послушайтесь голоса любящей вас племянницы, вам нужно окрепнуть и отдохнуть. Драгоценный дядюшка, послушайтесь меня!

Перес. Послушайтесь нас, сеньор рыцарь, ложитесь в постель, благодетельный сон укрепит вас.

Дон Кихот. Да... я не в состоянии сейчас двигаться с места... колдовство сковало меня, как цепями...

Антония и Перес ведут Дон Кихота к постели и укладывают его.

Антония *(задергивая полог)*. Он заснул. Бедный, бедный дядюшка!

Перес. Не надо отчаиваться, сеньора племянница. Сон освежит его, и, быть может, проснувшись, он станет спокойнее. Идемте отсюда, маэсе Николас. Прощайте, сеньора племянница, вечером мы придем его навестить.

Антония. До свидания, сеньоры, от всей души благодарю вас за все то, что вы сделали для дяди.

Перес. Мы лишь исполнили свой долг. *(Уходит с Николасом.)*

Антония уходит вниз, в кухню. Через некоторое время через калитку, ведущую с дороги, появляется Сансон Карраско.

Сансон. Вот он, милый моему сердцу двор! Два года я не был в родных местах, и ничего не изменилось здесь за время моего отсутствия... Вот и скамейка, на которой я сидел с Антонией два года тому назад... Кто дома? Отзовитесь!

Входят Ключница и Антония.

Антония. Ах!..

Ключница. Да неужто это он?

Сансон. Я, я, милейшая сеньора ключница!

Ключница. Праведный боже, кто бы мог подумать, что сын Бартоломео Карраско, простого крестьянина, станет ученым и важным господином! Ах, Сансон, до вас теперь рукой не достанешь!

Антония. Вы, пожалуй, не захотите теперь знаться с нами, Сансон, то есть я хотела сказать, сеньор Карраско?

Сансон. Многоуважаемая ключница, вы правы только в одном: я действительно стал ученым. Перед вами — бакалавр Саламанкского университета, у меня за пазухой четыре ученые степени, и я украшен лавровой ветвью! Но, ключница, я не стал важным, нет! И в доказательство позвольте мне обнять вас!

Ключница. Ах, Сансон, как радуется сердце, что вас не обуяла гордыня и вы по-прежнему ласковы с земляками!

Сансон. Антония! Как вы похорошели! Нет, нет, Я чужд гордыни, будь я хоть двадцать раз бакалавр! *(Обнимает Антонию.)*

Антония. Сеньор бакалавр!

Ключница. Ах, в этом нет дурного, ведь он не чужой, он из нашей деревни. Вас вскормила одна и та же земля, одно и то же солнце грело вас!

Сансон. Нет, душа моя в волнении оттого, что я опять в родном селе, и в особенности оттого, что я вижу вас, Антония! *(Устремляется, чтобы обнять Антонию, но та ускользает, и Сансон обнимает Ключницу.)* И вас, почтенная Ключница! *(Протягивает руку Антонии, целует ей руку.)* Я не раз видел вас во сне.

Ключница. И я вас, дорогой Сансон!

Сансон. А у вас-то, Антония, есть ли хоть капелька радости оттого, что я приехал?

Антония. Я рада... рада...

Ключница. И я рада...

Неожиданно обе начинают плакать.

Сансон. Никогда не видел, чтобы радость выражалась в рыданиях? Что с вами?

Антония. Дядюшка помешался.

Сансон. Да что вы говорите?!

Ключница. Проклятые книги помрачили рассудок умнейшего и добрейшего сеньора!

Антония. Надел на себя заржавленные латы и убежал из дому, чтобы бороться с какими-то гигантами и спасать принцесс... Надел на голову цирюльный таз, размахивает мечом... Он совершенно замутил мозги нашему соседу Санчо Панса, назвав его своим оруженосцем, и тот убежал вместе с ним! Мы еле вернули его при помощи хитрости... Сансон, наверно, голоден, сеньора ключница, может быть, вы накормите нашего гостя?

Ключница. Как же не поесть, придя к родным и близким? Обед скоро будет готов. *(Уходит в кухню.)*

Сансон. Ваше горе меня глубоко тронуло, дорогая Антония!

Антония. Вы всегда были умным, а теперь еще стали и ученым. Если бы вы придумали, как нам избавиться от беды, я бы расцеловала вас, Сансон!

Сансон. Как вы говорите? Расцеловали бы? А знаете, у меня есть план! Целуйте меня, Антония!

Антония. Вы правду говорите?

Сансон. Я никогда не слыл лгуном в нашей деревне, Антония.

Антония. Я верю, что вы не обманываете меня, Сансон!

Антония целует Сансона, и в то же время голова Санчо показывается над забором.

Сансон. Ах, черт возьми! Да ведь это Санчо!

Антония. Он самый.

Сансон. Да, у меня зреет план. Оставьте меня с ним наедине, Антония.

Антония. Хорошо, хорошо, я верю в вас, Сансон! *(Оглядывается в дверях кухни.)* Сансон...

Сансон. Поцелуйте меня еще раз, Антония!

Голова Санчо опять появляется над забором.

Антония. Потом. *(Скрывается.)*

Сансон. А что же вы стесняетесь, почтеннейший? Входите, раз пришли.

Санчо. Аспид здесь?

Сансон. Про кого вы говорите?

Санчо. Про кого же это можно сказать? Про ключницу, конечно.

Сансон. Она в кухне.

Санчо вводит своего осла и ставит его в уголок.

Да это вы, уважаемый Санчо Панса?

Санчо. Если только это не штуки поганого волшебника Фристона, передо мной Сансон, земляк, сын старого Бартоломео?

Сансон. Да спасет нас небо от волшебников, это я!

Санчо. Черт побери, вы — бакалавр, Сансон! *(Целует его.)*

Сансон. Но скажите мне, дорогой сосед, куда же девалась половина вашей бороды?

Санчо. В доме повешенного не говорят о веревке, сеньор Карраско, или этого вы еще не проходили в вашем университете? Дай бог, чтобы у вас в кармане бренчало столько монет, сколько пучков волос надрали из моей бороды за последнюю неделю!

Сансон. Это грустно, сеньор Панса, но я надеюсь, что вы отрастите новую и она будет еще пышнее прежней.

Санчо. В свою очередь желаю, чтобы ваша ученость была так же пышна, как моя будущая борода.

Сансон. Э, как ловко вы отвечаете! Уж не учились ли и вы в Саламанке?

Санчо. Мне нет надобности учиться в Саламанке, и без этого я надеюсь получить губернаторство в самом скором времени.

Сансон. Как? Научите меня! Я тоже хочу стать губернатором.

Санчо. Сколько бы я ни учил вас, это вам не поможет. Для этого нужно стать оруженосцем великого рыцаря Дон Кихота Ламанчского!

Сансон. Да, сумасшествие заразительно, как я это теперь вижу.

Санчо. Что вы сказали?

Сансон. Я сказал это в сторону.

Санчо. Вы сказали это в мою сторону.

Дон Кихот *(просыпается)*. Санчо! Ко мне!

Санчо. Слышите? Меня зовет мой господин.

Сансон. Очень хорошо. Ведите меня к нему, Санчо. *(Входит вместе с Санчо в дом.)*

Санчо. Сеньор, к вам гость.

Дон Кихот. Я очень рад.

Сансон. Позвольте мне, сеньор Дон Кихот Ламанчский, приветствовать вас! Слава ваша уже распространилась и достигла ушей покорного вашего слуги и скромного земляка — бакалавра Сансона Карраско.

Дон Кихот. Вы — сын Бартоломео Карраско?

Сансон. Точно так, сеньор, это я.

Дон Кихот. Я очень счастлив видеть у себя земляка, достигшего такой высокой ученой степени.

Сансон. Я еще более счастлив быть в гостях у рыцаря, слава о подвигах которого гремит по всей округе.

Дон Кихот. Садитесь, сеньор бакалавр. Вы навестили меня в момент ужасного несчастья...

Сансон. Вы огорчаете меня, сеньор.

Дон Кихот. Вечный враг мой, коварный волшебник Фристон — ученому нечего говорить, кто он, вы, конечно, сто раз читали о нем — только что похитил из моего дома находившихся под моим покровительством несчастную сироту принцессу Микомикон, ее очаровательнейшего королевской крови дядюшку и дуэнью Долориду!

Санчо *(в отчаянии)*. Абиндараэс де Варгас!.. Будь я проклят со всей родней! *(Швыряет шапку.)*

Дон Кихот. Вы видите, сеньор бакалавр, даже эту, довольно черствую, признаюсь, натуру известие повергло в отчаяние!

Санчо. Как же мне не впасть в отчаяние, когда губернаторство ускользнуло из моих рук! А я уже держал в руках хвост губернаторской мантии, я мечтал о том, как вы разобьете войско великана и царство будет наше!

Дон Кихот. Так вот, сеньор бакалавр, что случилось!

Сансон. Я поражен всем этим! Что же вы теперь намерены предпринять?

Дон Кихот. Я немедленно пускаюсь за ним в погоню!

Сансон. И это ваше решение непреложно?

Дон Кихот. Вам ли это спрашивать, бакалавр? Для меня это долг чести!

Санчо. Ну, натурально, вы же не янгуэс какой-нибудь?

Сансон. Что?

Санчо. Ничего... была одна история, не стоит о ней рассказывать... пятнадцать человек лупят двух чем попало, выдирают половину бороды...

Сансон. О боже!.. *(Дон Кихоту.)* Но где же вы намерены искать эту принцессу и ее похитителя?

Дон Кихот. Какой-то добрый чародей послал мне сон, убеждающий меня в том, что злодей направился на северо-восток, во владения герцога. Туда же тронусь и я. Санчо, латы мне!

Санчо начинает надевать доспехи на Дон Кихота.

Сансон. Скажите мне, сеньор, что, если судьба будет благосклонна к вам и кто-нибудь из ваших противников победит вас?..

Дон Кихот. Что же, если я буду повергнут в поединке, я приму условия моего противника точно так же, как он примет мои в случае моей победы.

Сансон. Немедленно поезжайте, рыцарь Дон Кихот!

Дон Кихот. Сеньор бакалавр, вы — человек, понимающий вопросы чести так же, как и я! Санчо, коня мне!

Выходят во двор. Из кухни выходят Ключница с блюдом и Антония.

Ключница. О горе! Сеньор Алонсо опять в латах! И этот толстый выродок уже выводит своего осла, чтобы ему переломили все четыре ноги!..

Санчо. Сеньора ключница... покорнейше прошу вас.. *(Проворно выезжает в ворота.)*

Дон Кихот. Прощай, Антония! Прощайте, сеньора ключница!

Ключница. О горестная жизнь! Опять перед ним распахнулись ворота безумия и он бросается в них, чтобы погибнуть, закрыв глаза.

Антония. Что вы делаете, сеньор Алонсо, опомнитесь! Сансон, вы обещали мне, отговорите его!

Дон Кихот *(в седле)*. Как, сеньор бакалавр, вы станете отговаривать меня совершить то, чего требует честь?

Сансон. Никогда в жизни! Поезжайте, рыцарь Дон Кихот Ламанчский, я горячо желаю вам удачи!

Дон Кихот. Прощайте же, мои верные дети! Я знаю, что вы любите меня, но не задерживайте меня больше и не горюйте обо мне! *(Уезжает.)*

Ключница. Какие слова найти мне, бакалавр, чтобы отплатить вам за то, как вы отнеслись к нашему горю! Вы своими руками толкаете несчастного безумца в калитку! Видно, ученость съела у вас последнюю совесть, и вы не только не посочувствовали бедным людям, попавшим в беду, но вы еще насмеялись над ними!

Сансон. Не спешите меня осуждать, не выслушав!

Ключница. Я не хочу вас слушать! Будь он проклят, ваш Саламанкский университет! *(Убегает в калитку вслед за Дон Кихотом.)* Сеньор Алонсо! Заклинаю вас всем святым, остановитесь!..

Сансон. Антония!

Антония. Не подходите ко мне, Сансон! Я не верю ни глазам, ни ушам! Неужели вы хотели умышленно причинить нам зло? Скажите — за что? Что мы сделали вам, бедные?

Сансон. Антония!

Антония. Я знаю, вы из трусости, чтобы угодить сеньору Алонсо, вместо того чтобы его остановить, сами толкнули его на новое безрассудство! Вы обманули меня, Сансон!

Сансон. Да замолчите же! Я трус? Вы увидите, Антония, каков я трус, и горько раскаетесь в этих своих словах! Ведь я же сказал вам, неразумная девушка, что я хочу его спасти, и я его спасу!

Антония. Я не верю вам больше!

Сансон. Не впадайте в безумие, Антония, и не оскорбляйте меня! Я поеду за ним и верну его домой, но навсегда! Если же мне не удастся это сделать, то сам я не вернусь никогда! Это будет печально, Антония, потому что я летел сюда домой, чтобы увидеть вас! Ну что же! Значит, мне больше вас не видать! У меня нет вре-

мени разговаривать сейчас, я боюсь потерять его след. Прощайте, Антония! *(Убегает.)*

Антония. Сансон! Сансон! Я вам верю. Скажите мне, что вы задумали?

Сансон *(издалека)*. Не скажу...

Ключница *(далеко)*. Сеньор Алонсо, остановитесь!..

КАРТИНА ШЕСТАЯ

День. Зал во дворце Герцога.

Герцог *(входит)*. Ко мне! Сюда!

Сбегается свита.

Сейчас в замке будет гость, тот самый сумасшедший идальго, именующий себя Дон Кихотом Ламанчским, со своим оруженосцем. Принять его со всеми почестями, и чтобы никто не смел подать и виду сомнений в том, что он странствующий рыцарь. *(Мажордому.)* А вас прошу и *(доктору Агуэро)* вас отправиться в загородный замок и приготовить все для приема оруженосца в качестве губернатора. Сказать ему, что он находится на острове Баратария. Мы с герцогиней приедем туда через несколько дней посмотреть на его чудачества.

Мажордом. Слушаю, ваша светлость.

Доктор Агуэро и Мажордом с несколькими пажами уходят. Остается дуэнья Родригес, еще несколько дуэний и пажей. Звуки рогов. Появляется Герцогиня, отдает своего сокола Пажу. За Герцогиней входят Дон Кихот и Санчо.

Герцогиня. Милости просим, рыцарь Дон Кихот, в наш дом!

Дон Кихот *(у дверей)*. После вас, ваша светлость!

Санчо входит первым.

Великодушная герцогиня, простите этого неуча!

Герцогиня. Не беспокойтесь, сеньор, его простодушие и непосредственность очень милы.

Герцог. Я рад, сеньор Дон Кихот, вам будет оказан прием, приличествующий рыцарю.

Дон Кихот. Я счастлив, ваша светлость. *(Санчо.)* Если ты, вечный олух и шут гороховый, осрамишь еще раз меня, я отрублю тебе голову!

Санчо. Я сделал что-нибудь не так, сеньор? Обещаю впредь держать себя самым приличным образом, и если выйдет какая-нибудь промашка, то уж, во всяком случае, не я буду виноват.

Дон Кихот. Молчи!

Герцог. Прошу вас, рыцарь, в эту комнату — умыться с дороги.

Герцогиня уходит.

Санчо, помоги своему господину.

Санчо. После вас, ваша светлость. *(Обращается к дуэнье Родригес.)* Ваша милость, там у ворот остался мой ослик. Велите его отвести в конюшню, а еще лучше — сделайте это сами, я никому его не доверяю. Только имейте в виду, что он очень пуглив.

Родригес. Вы с ума сошли!

Санчо. Я? Нет. Мой господин рассказывал мне, что за рыцарем Ланцаротом ухаживали сеньоры, а дуэньи — за его конем. Правда, я приехал на осле, но, ей-богу, он стоит любого коня!

Родригес. Вот напасть! К нам в замок на осле приехал другой осел! Я, дуэнья Родригес, поведу осла в конюшню? Вот вам за это! *(Показывает Санчо фигу.)*

Санчо. Ах так? Очень хорошо. *(Дон Кихоту.)* Погодите, сеньор, не уходите. *(Тихо.)* Вот эта старушка сейчас мне фигу показала.

Дон Кихот. Ты лжешь, негодяй!

Санчо. Я сказал правду, сеньор. Как прикажете мне быть: оставить эту обиду без ответа?

Дон Кихот. Ты поклялся с меня голову снять, разбойник?

Герцог. Что такое, сеньор Дон Кихот?

Дон Кихот. Ах, ваша светлость, не слушайте его!

Санчо. Нет, как же не слушать? *(Герцогу.)* Фигу мне показала.

Герцог. Родригес? Да, у нее скверный характер. Ну что же, покажите такую же ей.

Санчо. Конечно, потому что мне обидно.

Дон Кихот. Ваша светлость!..

Герцог. Ничего, ничего, пойдемте умываться, сеньор Дон Кихот. *(Уходит с Дон Кихотом.)*

Санчо *(Родригес)*. Вот вам от меня такая же.

Родригес. Ах!.. Ах!.. Ах!.. *(Убегает.)*

Санчо уходит вслед за Дон Кихотом. Музыка. Свита подает вино. Через несколько времени возвращается Дон Кихот, Герцогиня, Герцог и садятся за стол. Санчо становится возле кресла Дон Кихота. Входит Духовник Герцога, садится поодаль.

Герцогиня. Скажите нам. Дон Кихот, давно ли вы имели известия от прелестной, очарованной Дульсинеи Тобосской?

Дон Кихот. Ах, светлейшая сеньора, мои несчастья бесконечны! Я победил уже не одного гиганта и всех их посылал к ней для коленопреклонения, но они не могут разыскать ее, так как злые волшебные силы превратили ее в простую безобразную крестьянку.

Герцог. Это печально.

Духовник. Что я слышу? *(Герцогу.)* Ваша светлость, а ведь вам придется за это дать ответ на Страшном суде. Вы, к общему соблазну, поощряете этих двух сумасшедших? *(Дон Кихоту.)* А вы? Как могли вы вбить себе в голову, что вы странствующий рыцарь, побеждающий гигантов и берущий их в плен? Перестаньте шататься по свету, глотая ветер и служа посмешищем добрых людей! Бросьте ваши безумства, вернитесь в свой дом, учите ваших детей, если они у вас есть, заботьтесь о хозяйстве!.. Где в Испании вы видели странствующих рыцарей, гигантов и очарованных принцесс? Где все эти нелепости, которыми вы смешите людей?

Герцог. Погодите, святой отец!..

Герцогиня. Святой отец, я умоляю вас!..

Дон Кихот. Нет, ваша светлость, разрешите ответить мне! *(Духовнику.)* Имейте в виду, что только то, что я нахожусь в гостях у герцога, да еще ваш сан сдерживают мою ярость, иначе вам пришлось бы плохо. Ну что же, я буду сражаться с вами вашим оружием — языком. Скажите мне, за какое именно из моих безумств вы осуждаете меня больше всего и приказываете мне учить детей, которых у меня никогда не было? Вы считаете, что человек, странствующий по свету не в поисках наслаждений, а в поисках терний, безумен и праздно тратит время? Люди выбирают разные пути. Один, спотыкаясь, карабкается по дороге тщеславия, другой ползет по тропе унизительной лести, иные пробираются по дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по одной из этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь! За кого я мстил, вступая

в бой с гигантами, которые вас так раздражили? Я заступался за слабых, обиженных сильными! Если я видел где-нибудь зло, я шел на смертельную схватку, чтобы побить чудовищ злобы и преступлений! Вы их не видите нигде? У вас плохое зрение, святой отец! Моя цель светла — всем сделать добро и никому не причинить зла. И за это я, по-вашему, заслуживаю порицания? Если бы меня сочли сумасшедшим рыцари, я был бы оскорблен до глубины души, но ваши слова я не ставлю ни в грош, они мне кажутся смешными!

Санчо. Прекрасно сказано, клянусь губернаторством, которое завоюет мне мой господин!

Духовник *(Санчо)*. Опомнись, жалкий безумец! О каком губернаторстве мечтаешь ты, темный невежда?

Санчо *(тихо, Дон Кихоту)*. Сеньор, он обругал меня!

Герцог. О нет, нет, тут уж вы ошибаетесь, святой отец! Тут же, при всех, я объявляю, что назначаю оруженосца Санчо Панса губернатором острова Баратария, входящего в мои владения.

Герцогиня. Я восхищена вашим поступком, герцог!

Санчо *(Духовнику)*. Вот вам и темный невежда! Ах, как жаль, что нет ее здесь, моей жены Хуаны Тересы, она окоченела бы от радости.

Дон Кихот. Благодари, Санчо, светлейшего герцога за то, что наконец исполнились твои заветные мечтания!

Духовник. Ваша светлость, теперь я вижу, что вы проявляете такое же безрассудство, как и они сами! Но так как не в моей власти изменить ваши поступки, а порицать их бесплодно я не намерен, я ухожу! *(Уходит.)*

Герцогиня *(Дон Кихоту)*. Вы хорошо ответили духовному отцу, сеньор! Все видят, что гнев его был безрассуден.

Герцог. Истинно так. Отправляйтесь же, Санчо, на остров, жители которого ждут вас, как майского дождя.

Дон Кихот. Разрешите мне, ваша светлость, дать ему несколько наставлений, чтобы в новом своем высоком положении он мог бы уберечься от ложных шагов.

Герцог. Это очень хорошая мысль, сеньор.

Герцогиня. Мы удаляемся и оставляем вас наедине.

Уходят все, кроме Дон Кихота и Санчо,

Дон Кихот. Слушай меня, Санчо, внимательно. Я взволнован, душа моя потрясена. Ты внезапно получил то, для получения чего иной тратит неимоверные усилия и, гонимый честолюбием или алчностью, прибегает ко всяким, порой нечистым средствам и, бывает, все же не добивается своего. Это я сказал тебе для того, чтобы счастье, свалившееся на тебя, ты не приписывал бы собственным заслугам, чтобы ты не надувался, как лягушка, и избежал бы насмешек над собой, а может быть, и злой клеветы, от которой не спасает никакое, даже самое высокое, положение. Гордись, Санчо, тем, что ты простой крестьянин, и не считай унизительным признаваться в этом кому бы то ни было. Нет надобности тебе доказывать, что бедный, но честный человек ценнее знатного грешника и негодяя. Не отрекайся ни от своего происхождения, ни от своих родных. Что еще мне хотелось сказать? Ах да! Ведь ты будешь судить людей! Это трудно, Санчо. Слушай же меня и не позабудь ничего. Когда будешь судить, не прибегай к произволу. Запомнил ты это?

Санчо. Запомнил, сеньор.

Дон Кихот. Ищи истину повсюду неутомимо, и пусть слезы бедного больше действуют на тебя, чем уверения богача, а в особенности его посулы. Руководись законом, но помни: если этот закон суров, не старайся придавить всей его тяжестью осужденного! Знай, что слава строгого судьи никак не громче славы судьи милостивого. Все может быть на суде. Например, перед тобой может предстать твой враг. Что должен ты сделать в таком случае? Немедленно забыть обиду, нанесенную им тебе, и судить его так, как будто ты видишь его впервые в жизни. Бывают случаи, Санчо, когда судейский жезл вдруг задрожит в руке судьи, и, если это случится с тобой, не вздумай склонить его потому, что кто-то шепнул тебе что-нибудь и сунул звякнувший мешок к тебе в капюшон. Последнее в особенности запомни, Санчо, если ты не хочешь, чтобы я стал презирать тебя. И если ты когда-нибудь, в состоянии малодушия, вздумаешь склонить жезл судьи, то только из сострадания! Что еще мне сказать тебе? Не будь грубым с низшими, Санчо, и — прошу тебя — перестань ты болтать! Знай, что болтовня может довести тебя до виселицы, и... будь опрятен. Если ты исполнишь эти мои советы, ты будешь счастлив в новом положении. Ты понял меня? Понял ли ты меня?

Санчо. Не тревожьте больше свою душу, сеньор, я вас понял.

Дон Кихот. Погляди мне в глаза. Я верю тебе. Ну что же, давай попрощаемся. Мы больше с тобой не увидимся, дороги наши разошлись. Я отдохну здесь, в замке герцога, и тронусь в путь, туда, куда влечет меня мой долг.

Санчо. Эх, сударь...

Дон Кихот. Чего ты вздыхаешь?

Санчо. Я думаю о том, как это вы будете без оруженосца?

Дон Кихот. Я найду какого-нибудь другого.

Санчо. Пойдет ли еще кто-нибудь с вами, вот вопрос в чем! Знаете что, сеньор, я вам посоветую — вы тоже ему посулите остров. Я бы остался с вами, но...

Дон Кихот. Нет, нет, я хорошо понимаю.

Санчо. И позвольте мне, сеньор, на прощанье дать вам несколько наставлений. Что я хотел сказать вам? Да. Мое сердце чувствует, что вас будут бить, сеньор. Поэтому во время драки в особенности берегите голову, не подставляйте ее под удар. Она у вас полна очень умных мыслей, и жалко будет, если она разлетится, как глиняный горшок. Пусть уж палки гуляют по вашим бокам, одно-два ребра — куда ни шло!.. Что еще, сеньор? Да, там у вас осталась еще одна склянка этого Фьерабрасова бальзама. Вылейте вы ее, сеньор, к дьяволу, потому что если вас не прикончат в бою, то уж, наверно, прикончит этот бальзам. Исполните мои заветы, сударь, — будете счастливы в вашем новом положении! А я о вас буду очень скучать.

Дон Кихот. Спасибо тебе, что ты позаботился обо мне. Прощай и поезжай!

Послышались звуки труб, двери распахнулись, появляются Герцогиня, Герцог, пажи с губернаторским одеянием.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Зал в загородном замке Герцога. Судейский трон. Кровать под балдахином. Слышны трубы. Санчо, в губернаторском наряде, входит в сопровождении свиты и садится.

Мажордом. Сеньор губернатор, на вашем острове Баратария издревле существует обычай, согласно которому новый губернатор, вступая в исполнение своих

обязанностей, должен публично разрешить два или три головоломных дела для того, чтобы население узнало, умен ли новый губернатор или же он бесповоротный и окончательный идиот, и, в зависимости от этого, знало бы, что делать ему, то есть ликовать или сразу впадать в отчаяние.

Санчо. Давайте же сюда ваши дела!

Мажордом. Слушаю, ваша светлость!

Входят двое тяжущихся стариков, у Второго в руках палка.

Санчо. Что скажете, друзья мои?

Первый старик. Я, ваша честь, дал ему взаймы десять золотых и, когда настал срок, попросил его вернуть мне их. И тогда он ответил, что он отдал мне их. А на самом деле это неправда, а свидетелей у меня нет. И сколько я ни ходил по судам, я ничего не могу поделать, потому что он клятвенно утверждает, что эти деньги мне вернул. Заступитесь, сеньор губернатор!

Санчо *(Второму старику)*. Он давал тебе десять золотых взаймы?

Второй старик. Давал, ваша милость, давал, но я их вернул ему.

Первый старик. Лжет он, ваша честь, никогда он мне их не возвращал!

Второй старик. Нет, он лжет, я вернул ему деньги сполна.

Санчо *(Второму старику)*. И ты готов присягнуть в этом?

Второй старик. Готов в любую минуту.

Санчо. Хорошо, присягай.

Второй старик *(Первому старику)*. Будь добр, сосед, подержи мою палку.

Первый старик берет палку.

(Взявшись за жезл Санчо.) Клянусь в том, что я вернул ему десять золотых, которые он дал мне взаймы.

Первый старик. Как же небо его не покарает?

Второй старик протягивает руку, чтобы взять у Первого палку.

Санчо. Нет, друг, ты сказал правду, когда присягал, но палка-то пусть останется у него навсегда.

Первый старик. Но разве она стоит десять червонцев, ваша честь?

Санчо. Стоит! Стоит, или вместо мозгов у меня кирпичи! Взломать сейчас же эту палку!

Палку взламывают, и из нее выкатываются деньги.

Первый старик. Мои денежки! О мудрейший из всех губернаторов!

Второй старик *(падая на колени)*. Простите меня, сеньор губернатор!

Санчо. Уходи, хитроумный мошенник! Но помни, что, если ты вздумаешь еще раз околпачить кого-нибудь, тебе придется худо!

Первый старик. О великий губернатор!

Мажордом.
Свита. } Великий губернатор!

Старики уходят. Появляется Женщина, за ней — Свиновод.

Женщина. Правосудия! Правосудия! И если мне откажут в нем здесь, на земле, я буду искать его на небесах!

Санчо. А что случилось с тобой, голубка?

Женщина. Ваша милость, этот негодяй, встретив меня сегодня в поле, силой отнял у меня честь!

Санчо *(Свиноводу)*. Э-э, да ты, как я вижу!..

Свиновод *(в отчаянии)*. Ваша светлость! Я, изволите ли видеть, свиновод...

Санчо. Ну так что же, что ты свиновод? Из этого ничего, дружочек, не следует... это... не...

Свиновод. Я к тому говорю, ваша милость, что я действительно встретил ее сегодня в поле. Я, изволите ли видеть, продал сегодня четырех свиней... и... точно, случился грех... но с обоюдного согласия... и я даже заплатил ей.

Женщина. Лжет он!

Санчо. Ну, дорогой свиновод, есть ли у тебя при себе деньги?

Свиновод. Есть, ваша милость. Двадцать дукатов серебром.

Санчо. Ну что же, друг мой, плати.

Свиновод с отчаянием отдает кошелек Женщине.

Женщина. Да продлит господь жизнь нашего губернатора, защитника всех угнетенных! *(Уходит.)*

Санчо *(Свиноводу)*. Чего горюешь, друг?

Свиновод. Душа моя тоскует при мысли о моих погибших денежках!

Санчо. Ну, если тоскует, то ты отними у нее кошелек.

Свиновод бросается вон. Послышался крик, потом вбегает Женщина, волоча за собой Свиновода.

Женщина. Сеньор губернатор! Этот разбойник среди бела дня при всех пытался отнять у меня кошелек, который вы мне присудили!

Санчо. Ну что же, отнял?

Женщина. Да я скорей расстанусь с душой моей, чем с этими деньгами! Он львиными когтями не вырвет их у меня!

Свиновод. Отказываюсь от денег!

Санчо *(Женщине)*. Дай-ка сюда кошелек.

Женщина. Сеньор губернатор, как же так?

Санчо. Давай сейчас же кошелек сюда! Если бы ты с такой же силой защищала свою честь, как эти деньги, Геркулес не отнял бы ее у тебя. Уходи отсюда, жадная лгунья! *(Свиноводу.)* На́ тебе твой кошелек.

Свиновод. Благодарю вас, великодушный сеньор губернатор!

Санчо. Ну нечего, нечего, уходи отсюда и впредь не будь так легкомыслен.

Свиновод *(удаляясь)*. Да здравствует наш губернатор!

Мажордом. Население в восторге от вас, сеньор губернатор! Дела закончены, и ужин готов.

Санчо. Тогда и я в восторге, давайте его сюда!

Появляется богато накрытый стол. Санчо усаживается за него. За креслом Санчо появляется доктор Агуэро. Лишь только Санчо прикасается к какому-нибудь блюду, Агуэро касается тарелки жезлом, и ее тотчас убирают.

Это что же значит?

Агуэро. Сеньор губернатор, я — доктор, назначенный специально для того, чтобы состоять при вашей особе и следить за тем, чтобы вы не съели чего-нибудь, что может повредить вашему драгоценному здоровью. Это блюдо вредно вам.

Санчо. Так дайте кусок куропатки!

Агуэро. Ни-ни-ни! Гиппократ, отец медицины и учитель всех врачей, говорит, что...

Санчо. Хорошо, хорошо, если он говорит. Дайте мне кусок кролика!

Агуэро. Что вы, сеньор губернатор?

Санчо. Позвольте спросить, как вас зовут, господин доктор, и где вы учились?

Агуэро. Я — доктор Педро Ресио де Агуэро, уроженец местечка, находящегося между Каракуэлой и Альмадавар дель Кампо, а докторскую шапку я получил в Оссунском университете.

Санчо. Вот что, дорогой доктор Педро Ресио де Агуэро, уроженец местечка Альмадавар дель Кампо! Вон отсюда ко всем чертям вместе с шапкой, полученной в Оссунском университете! Вон!

Агуэро. Сеньор губернатор!

Санчо. Вон!!

Агуэро убегает.

Подать мне кролика!

Мажордом. Слушаю, сеньор губернатор.

Санчо начинает есть. Слышен звук трубы.

(Подает Санчо письмо.) Письмо вашей светлости от герцога.

Санчо. Кто тут мой секретарь?

Мажордом. Я, ваша светлость.

Санчо. Читать умеете?

Мажордом. Помилуйте, ваша светлость!

Санчо. Читайте, хотя бы по складам, я разберу.

Мажордом *(читает)*. «Дорогой губернатор, до меня дошли сведения, что в одну из ближайших ночей враг намерен напасть на вверенный вам остров. Примите соответствующие меры...»

Санчо. Отодвиньте от меня кролика. Пропал аппетит. *(Мажордому.)* Очень вам благодарен за прочитанное. Искренне сожалею, что вас выучили читать.

Мажордом. Тут есть еще кое-что.

Санчо. Добивайте меня сразу.

Мажордом *(читает)*. «Кроме того, извещаю вас, дорогой губернатор, что враги покушаются на вашу жизнь. Будьте осторожны во время еды, вас могут отравить. Ваш герцог».

Санчо. Я так и думал, что конец будет еще лучше начала. Убрать немедленно этот стол! Все убрать! *(Встает.)* Боже мой, боже мой! Дайте же мне хоть поспать спокойно, если уж мне не дают есть после всех трудов!

Мажордом. Слушаю, сеньор губернатор!

Темнеет. Санчо ведут к пологу, за которым он и скрывается; стол убирают. Зал пустеет. Слышна тихая музыка. Потом тревожный колокол, шум вдали.

Санчо *(выглянув из-за полога)*. Это что же такое?

В отдалении выстрел.

Ну так и есть, сбылось написанное в этом проклятом письме! *(Скрывается за пологом.)*

Мажордом *(вбегая со шпагой)*. Сеньор губернатор! Сеньор губернатор!

Санчо *(выглянув)*. Что такое? Я надеюсь, что на острове все благополучно?

Мажордом. Никак нет! Враг внезапно напал на остров! К оружию, сеньор губернатор, к оружию! Становитесь во главе войска, иначе нас всех перережут, как цыплят!

Санчо. К оружию? Ах, если бы здесь был мой господин! Чума меня возьми! *(Скрывается за пологом.)*

Мажордом *(отдергивая полог)*. Ваша светлость, что же вы медлите?

Свита *(врываясь с факелами)*. К оружию!

Мажордом. Подать сюда большие щиты!

Санчо запаковывают в два огромных щита, так что он становится похож на громадную черепаху.

Вперед, сеньор губернатор, вперед!

Санчо. Какое там вперед, когда я не могу двинуться с места!

Мажордом. Поднять губернатора!

Санчо поднимают и выносят. Шум боя, блеск факелов. Щиты вкатываются обратно, и беспомощный Санчо остается лежать неподвижно, втянув голову в щиты. Вокруг него бешено топочет свита, за окнами крики и выстрелы.

Мажордом *(вскочив на верхний щит Санчо, командует)*. Вперед, островитяне, вперед! Давайте сюда кипящее масло! Так, хорошо! Поливайте их! Сбрасывайте со

штурмовых лестниц! Вперед! Вперед! Ага, они дрогнули! Перевяжите раненых! Сюда! Ко мне! *(Танцует на щите.)*

Свита. Неприятель дрогнул!

— Он бежит?
— Победа!
— Победа!..

Бой затихает.

Мажордом *(соскочив со щита)*. Победа! Развяжите губернатора!

Санчо развязывают и поднимают.

Поздравляю вас, ваша светлость! Под вашим предводительством армия островитян отразила неприятеля! Вы можете торжествовать!

Санчо. Дайте мне глоток вина.

Санчо подают вино.

Или, впрочем, не надо. Быть может, и вино у вас отравлено? Не надо. Приведите сюда моего осла.

Мажордом. Слушаю, сеньор губернатор.

Санчо. Расступитесь сеньоры!

Свита расступается, и Санчо скрывается за пологом. К террасе, которая находится за залом, подводят осла.

(Выходит из-за полога, одетый в свою обычную одежду.) Ко мне, мой ослик! Ко мне, мой верный серый друг! *(Обнимает осла.)* Когда-то мы жили друг для друга: ты для меня, я для тебя. И тогда у меня не было никакой заботы, кроме одной — напитать твое маленькое тело. И как счастливо текли тогда наши годы и дни и дома, и в скитаниях! А теперь, когда я из честолюбия поднялся на эту высоту, тысяча беспокойств, две тысячи печалей начали терзать мою душу и тело! Дорогу мне, сеньоры! Верните мне мою прежнюю жизнь! Я возвращаюсь к моему рыцарю, я не рожден быть губернатором! Я умею подрезать виноградные лозы, а управлять островами не умею. Я привык держать в руках серп, и мне он нравится больше, чем губернаторский жезл. Я спокойнее сплю на траве, чем на тончайшей губернаторской простыне, и в моей куртке мне теплее, чем в губернаторской мантии. Прощайте же, сеньоры, прощайте! Но подтвердите

перед герцогом, что я ушел отсюда таким же бедняком, как и явился к вам. Я ничего не потерял, но ничего и не присвоил. Смотрите, карманы мои пусты, я ничего здесь не украл! Прощайте! *(Садится на осла.)*

Мажордом. Сеньор губернатор, мы просим вас остаться с нами!

Свита. Останьтесь с нами!

Санчо. О нет, ни за что! Душа моя избита и изломана так же, как и мое тело.

Агуэро. Я дам вам, сеньор губернатор, наилучшие пластыри и лекарства!

Санчо. О нет! Никакими пластырями вам не вытянуть из меня моего упрямства! Я из рода Санчо, и если я сказал что-нибудь, значит, сказал твердо!

Мажордом. Мы полюбили вас, губернатор, за ваш ум и находчивость. Останьтесь с нами!

Санчо. Нет, нет, дорогу мне!

Мажордом. Ну что же поделать! Прощайте, Санчо Панса! Вы были самым честным и самым лучшим из всех губернаторов, управлявших этим островом! Прощайте!

Санчо. Прощайте! *(Уезжает.)*

Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Терраса и сад у Герцога. Огни в саду. Слышна музыка. Герцог и Герцогиня сидят на террасе.

Дон Кихот *(за сценой)*. «О ревность, жестокая владычица в стране любви, обвей цепями руки!..»

Герцогиня. Опять им овладел припадок. Вы слышите, как он выкрикивает стихи под музыку? Мне жаль его. Я думаю, что, если бы не это злосчастное безумие, он был бы одним из умнейших людей. Когда его оставляют видения, он рассуждает здраво, мысли его светлы.

Герцог. Вы ошибаетесь, дорогая, он неизлечим, и остается желать только одного — чтобы его безумие хоть чем-нибудь развлекало людей.

Послышались звуки труб, входит Паж.

Паж. Ваша светлость, в замок приехал какой-то рыцарь и просит принять его.

Герцог. Какой рыцарь?

Паж. Его никто не знает, ваша светлость, он в латах и в забрале.

Герцог. А, плуты пажи! Конечно, это шутка мажордома!

Паж. Нет, ваша светлость, право, нет! Этот человек не известен никому, а назвать себя он отказывается.

Герцог. Ну хорошо, хорошо, во всяком случае, это забавно. Зови его сюда.

Паж уходит, послышались трубы, входит Сансон, в доспехах, с мечом и со щитом. На груди у него изображение луны.

Сансон. Простите меня, ваша светлость, за то, что я, непрошеный, явился к вам в замок.

Герцог. Я очень рад. Кто вы такой?

Сансон. Я — рыцарь Белой Луны.

Герцог. А, это очень интересно! *(Герцогине.)* Значит, в замке теперь двое сумасшедших. *(Сансону.)* Какая же, причина вас привела сюда, рыцарь? Впрочем, какова бы она ни была, я рад вас видеть.

Сансон. Мне сообщили, что Дон Кихот гостит у вас. Я приехал для встречи с ним.

Герцог. Да, Дон Кихот здесь у меня, и я охотно дам возможность вам увидаться с ним. *(Пажу.)* Проси сюда Дон Кихота.

Паж. Слушаю. *(Уходит.)*

Герцогиня. У меня какая-то смутная тревога, герцог, нет ли чего опасного в этой встрече?

Герцог. Не беспокойтесь, дорогая, ручаюсь вам, что это шутка придворных.

Дон Кихот *(за сценой декламирует)*. Да, смерть моя близка... Я умираю. И ни на что я больше не надеюсь как в жизни, так и в смерти!.. *(Входит в доспехах, но без шлема. Увидев Сансона.)* Кто это? *(Герцогу.)* А, ваша светлость! Отчего же вы не пригласите сюда вашего духовника? Ведь он же говорил, что нет в Испании ни рыцарей, ни чудовищ! Он убедился бы теперь, что странствующие рыцари существуют! Вот, кроме меня, второй стоит перед вами! Вот стоит второй! Вы видите, огни плавают в его панцире и боевой отвагой горят его глаза — я вижу их в щели забрала! Итак, зачем же меня позвали сюда?

Сансон. Я приехал к вам. Дон Кихот Ламанчский.

Дон Кихот. Я здесь.

Сансон. Дон Кихот! Меня зовут рыцарем Белой Луны.

Дон Кихот. Что же привело вас ко мне?

Сансон. Я приехал, чтобы бросить вам вызов. Дон Кихот! Я заставлю вас признать, что моя дама, как бы она ни называлась, прекраснее вашей Дульсинеи Тобосской! И если вы не признáете этого, вам придется сражаться со мной. Один из нас будет повержен и примет повеления победителя. Я жду ответа.

Дон Кихот. Рыцарь Белой Луны, я, правда, ничего не читал и не слыхал о ваших подвигах, чтобы поражаться ими, но ваше высокомерие поражает меня. Нет сомнений в том, что вы никогда не видели Дульсинеи Тобосской, иначе вы бы не осмелились заговорить о ней так!

Сансон. Я смею говорить о ней, как я хочу, раз я вас вызываю! Отвечайте мне: принимаете вы мой вызов или нет?

Дон Кихот. Довольно, рыцарь Белой Луны, ваш вызов принят! *(Пажу.)* Подайте мне мой шлем и щит! Герцог, разделите между нами солнце!

Герцогиня. Будет поединок? Я боюсь!

Герцог. Что вы, герцогиня, это чрезвычайно интересно! Эй, факелы сюда!

Вносят факелы. Паж подает Дон Кихоту цирюльный таз и щит.

Где вы хотите стать, рыцарь Белой Луны?

Сансон. Там, где стою.

Герцог. Становитесь здесь, Дон Кихот.

Дон Кихот. Моя дама, помоги тому из нас, кто прав!

Герцог. Сходитесь.

Дон Кихот бросается на Сансона, успевает ударить его мечом. Левая рука Сансона повисает.

Сансон. Ах!.. *(Устремляется на Дон Кихота, в ярости переламывает его меч, разбивает его щит и панцирь, сбивает с головы цирюльный таз.)*

Дон Кихот падает.

Герцогиня. Довольно! Довольно! Он повержен!

Герцог. Остановитесь!

Сансон. Нет, отойдите все! У нас с ним свои счеты! *(Приставляет острие меча к горлу Дон Кихота.)* Сдавайтесь, рыцарь Печального Образа, вы побеждены! Исполняйте условия поединка и повторяйте за мной: да, ваша дама, рыцарь Белой Луны, прекраснее Дульсинеи. Повторяйте!

Дон Кихот. Да, ваша дама... Нет, не могу! Я побежден, я побежден, я признаю это... но не могу признать, что есть на свете что-нибудь прекраснее Дульсинеи! Нет никого прекраснее ее! Но вот что вдруг стало страшить меня гораздо больше, чем острие вашего меча! Ваши глаза!.. Ваш взор холоден и жесток, и мне вдруг стало казаться, что Дульсинеи вовсе нет на свете! Да, ее нет!.. Мой лоб покрывается холодным потом при этой мысли!.. Ее нет!.. Но все равно, я не произнесу тех слов, которые вы хотите у меня вырвать. Прекраснее ее нет! Впрочем, вашему железному сердцу этого не понять. Колите меня, я не боюсь смерти.

Сансон. Я убью вас!

Герцог. Остановитесь, я приказываю!

Санчо *(появляется)*. Сеньор Дон Кихот!.. Мой дорогой сеньор... Я вовремя поспел... я бежал с острова, я более не губернатор! Послушайтесь же совета своего оруженосца — признайте себя побежденным! *(Герцогу.)* Ваша светлость, не дайте отнять жизнь у честнейшего и мудрейшего идальго!

Герцогиня. Остановите поединок! Я не позволяю.

Сансон. Еще раз повторяю — оставьте нас! *(Дон Кихоту.)* Я освобождаю вас от этих слов. Живите со своим мечтанием о Дульсинее, ее на свете нет, и я удовлетворен: моя дама живет на свете, и уже потому она прекраснее вашей! Повторяйте за мной другое: я готов по требованию победившего меня рыцаря Белой Луны удалиться навсегда в свое поместье в Ламанче, подвигов более не совершать и никуда не выезжать!

Дон Кихот. Каменное сердце...

Сансон. Клянитесь, моему терпению приходит конец!

Герцогиня. Клянитесь!

Санчо. Клянитесь!

Дон Кихот. Я клянусь... я побежден...

Сансон вкладывает меч в ножны, отходит.

Кто же со мной?.. Санчо... Санчо, помоги мне, у меня разбита ключица.

Санчо. Помогите поднять его!

Пажи бросаются к Дон Кихоту, поднимают его.

Герцогиня. Послать за доктором!

Дон Кихота уносят, и на сцене остаются Герцог и Сансон.

Герцог. Шутка зашла слишком далеко, и теперь я требую, чтобы вы подняли забрало и назвали свое имя.

Сансон *(поднимая забрало)*. Я — бакалавр Сансон Карраско из Ламанчи, рыцарем я никогда не был и быть им не желаю. Мне жаль было бедного идальго Алонсо Кихано, я его уважаю и люблю, и я решил положить конец его безумствам и страданиям.

Герцог. Гм... Ваш поступок благороден, бакалавр, я вижу, вы поплатились рукой за него. Ну что же, это делает вам честь! Но все же не могу не пожалеть о том, что похождения Кихано прекратились. Они были забавны, и он и его оруженосец развлекали людей.

Сансон. Не будем жалеть об этом, ваша светлость. Разве мало иных развлечений на свете! Соколиная охота, танцы при свете факелов, пиры и поединки... У знатных людей нет во всем этом недостатка, и нужно ли для развлечения рядить в шуты, увеличивая число шутов природных, человека, который этого совершенно не заслуживает?

Герцог. В ваших словах, почтенный бакалавр, мне чудится дыхание какого-то нравоучения, а к ним я вовсе не привык.

Сансон. Да сохранит меня небо от этого, герцог! Я не настолько дерзок, чтобы осмелиться вас учить. Считайте, что я рассуждаю сам с собой.

Герцог. Так знайте же, бакалавр, что для таких рассуждений наиболее удобным местом является ваш собственный дом. Если бы я знал о вашем замысле, я бы не допустил вас в замок!

Сансон. О, я догадался об этом и поэтому проник в замок в виде развлечения, желая этим угодить вашей светлости.

Герцог. Довольно! Прощайте.

Сансон поворачивается и уходит.

Эй! Выпустите из замка рыцаря Белой Луны!

Трубы.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Двор дома Дон Кихота, Закат. И комнаты и двор пусты. На холме, на дороге, за калиткой появляются сгорбленный и опирающийся на палку Дон Кихот с перевязанной рукой и Санчо, ведущий Росинанта и осла. На Росинанта нагружены доспехи, так что кажется, что верхом на лошади едет пустой внутри рыцарь со сломанным копьем

Санчо. Вот она, наша деревня, сеньор! О желанная родина! Взгляни на своего сына Санчо Панса, открой ему свои объятия. Он возвращается к тебе незнатным, но чрезвычайно обогащенным опытом, полученным благодаря бедствиям, волнениям и несчастиям всякого рода. Он испытал все, начиная от града палочных ударов, сыпавшихся на его бедное, беззащитное тело, насмешек и издевательств людей, не понимающих, что такое оруженосец, и вплоть до неслыханных почестей, свалившихся ему на голову, когда он стал губернатором! И вот разлетелось это губернаторство как дым, прошла боль от палочных ударов, и сын своей родины явился туда, откуда он вышел, — под сень этих деревьев, к родному колодцу! *(Привязывает Росинанта и осла.)*

Дон Кихот в это время стоит неподвижно на холме, над двором и смотрит вдаль.

Племянница! Сеньора ключница! Я безбоязненно оглашаю воздух криками, потому что знаю, что вы, сеньора ключница, теперь уже не вцепитесь в меня своими острыми когтями и не осыплете меня бранью, от которой холодеет сердце у самого храброго. Мы возвратились навсегда!.. Сегодня суббота, она в церкви... Сеньор Дон Кихот, что же вы не входите к себе? Куда вы смотрите, сеньор?

Дон Кихот. На солнце. Вот он, небесный глаз, вечный факел вселенной, создатель музыки и врач людей! Но день клонится к ночи, и неудержимая сила тянет его вниз. Пройдет немного времени, и оно уйдет

под землю. Тогда настанет мрак. Но этот мрак недолог, Санчо! Через несколько часов из-за края земли брызнет свет и опять поднимется на небо колесница, на которую не может глядеть человек. И вот я думал, Санчо, о том, что, когда та колесница, на которой ехал я, начнет уходить под землю, она уже более не поднимется. Когда кончится мой день — второго дня, Санчо, не будет. Тоска охватила меня при этой мысли, потому что я чувствую, что единственный день мой кончается.

Санчо. Сеньор, не пугайте меня! У вас открылись раны. Всем известно, что когда начинает ныть тело, ноет и душа. Вы больны, сударь, и вам нужно как можно скорее лечь в постель.

Дон Кихот входит во двор, садится на скамью.

Идемте, сударь, я уложу вас, вас накормят, а сон принесет вам исцеление.

Дон Кихот. Нет! Я хочу поглядеть на деревья... Смотри, листва пожелтела... Да, день кончается, Санчо, это ясно. Мне страшно оттого, что я встречаю мой закат совсем пустой, и эту пустоту заполнить нечем.

Санчо. Какую пустоту, сеньор? Я ничего не понимаю в этих печальных и мудреных мыслях, несмотря на то что я необыкновенно отточил свой ум в то время, когда был губернатором. Неужели этот проклятый рыцарь Белой Луны — чтоб его раскололи в первом же бою, как перезревшую дыню! — своим мечом попортил не только ваше грешное тело, но и бессмертную душу?

Дон Кихот. Ах, Санчо, Санчо! Повреждения, которые нанесла мне его сталь, незначительны. Также и душу мою своими ударами он не изуродовал. Я боюсь, не вылечил ли он мою душу, а вылечив, вынул ее, но другой не вложил... Он лишил меня самого драгоценного дара, которым награжден человек, — он лишил меня свободы! На свете много зла, Санчо, но хуже плена нету зла! Он сковал меня, Санчо!.. Смотри, солнце срезано наполовину, земля поднимается все выше и выше и пожирает его. На пленного надвигается земля! Она поглотит меня, Санчо!

Санчо. Ах, сударь, чем больше вы говорите, тем меньше я что-либо понимаю. Я вижу только одно — что вы тоскуете, и не знаю, чем вам помочь! Чем мне развеселить вас? Где прежний рыцарь? Ну хорошо, он побе-

дил вас, и больше вам не странствовать и меч не обнажать. Но вспомните, сударь, вы же хотели на крайний случай стать пастухом! И я охотно пойду с вами, сударь, если вы мне подарите еще парочку ослят, потому что я к вам очень привык... Да не молчите же, сударь! Ах, вот сама судьба приходит ко мне на помощь! А вот теперь я посмотрю, как загорятся сейчас огнем ваши глаза. Сударь, встаньте, идет ваше мечтание, к вам приближается Дульсинея Тобосская!

Из калитки, которая ведет в деревню, выходит Альдонса Лоренсо с корзиной. Увидев Дон Кихота, пугается.

Альдонса. Ах ты, горе какое! Вот он опять, сумасшедший идальго, на моем пути!

Санчо. Принцесса красоты и королева величия! Перед вами покоренный рыцарь Дон Кихот Ламанчский!

Альдонса. И ты уже сошел с ума, толстый Санчо Панса? Или ты хочешь подшутить надо мной? Если так, то прибереги свои шутки для кого-нибудь другого, а мне дай дорогу! И не смей меня называть Дульсинеей! Я Альдонсой была и Альдонсой останусь. И так надо мной все смеются по вине твоего господина, несчастного дона Алонсо! Отдай эту корзину ключнице, а меня выпусти!

Санчо. Не слушайте ее, сеньор, она все еще очарована!

Дон Кихот. Альдонса!

Альдонса. Что вам угодно, сударь?

Дон Кихот. Вы боитесь меня?

Альдонса. Да, боюсь. Вы, сударь, так странно говорите и никого не узнаете...

Дон Кихот. Я вам скажу, кто вы такая. Вы — Альдонса Лоренсо, крестьянка из соседней деревни. Вы никогда не были Дульсинеей Тобосской, это я вас так прозвал, но в помрачении ума, за что прошу простить меня. Ну, теперь вы не боитесь меня?

Альдонса. Нет, не боюсь. Неужто вы узнали меня?

Дон Кихот. Узнал, Альдонса... Идите спокойно своей дорогой, мы вас не обидим. Санчо, не держи ее.

Альдонса убегает.

Санчо. Ну, сударь, теперь я вижу, что Белая Луна действительно все перевернула в голове у вас! Пусть меня повесят, если и мне не мерещится все время этот рыцарь... и, когда мы подходили с вами к деревне, мне все казалось. что он крадется за нами по полям.

Дон Кихот. Тебе не померещилось, Санчо, это так и было. Он действительно шел по полям за нами, хоть он и не рыцарь и никогда им не был. Да, он не рыцарь, и тем не менее он наилучший рыцарь из всех, которых мы с тобой встретили во время наших скитаний. Но он жестокий рыцарь.

Санчо. Клянусь детьми, этой загадки не поймет даже лучший губернатор!

Дон Кихот. Идем домой.

Идут в дом, причем Санчо несет доспехи. В комнате Санчо ставит их в угол, отдергивает полог.

Санчо. Ох, вот теперь я вижу, что вы больны, сударь! Ложитесь немедленно, а я сейчас слетаю за сеньором лиценциатом и цирюльником, они помогут вам. Я сейчас же вернусь, сударь! *(Убегает во двор и уходит, уводя осла.)*

Через некоторое время показывается Антония, входит во двор, а на холме за оградой, на дороге, возникает фигура Сансона в доспехах. Сансон идет медленно, и рука его, так же как и у Дон Кихота, на перевязи.

Антония. Помилуй нас, господи! Кто же это там? Дядюшка? Нет, это не он! Уж не лишилась ли я от горя и сама рассудка? Я вижу рыцаря на закате, или это заходящее солнце играет со мной? Луна горит на груди у него, и перья колышутся на шлеме! Или мы все сумасшедшие, а дядюшка один здравомыслящий? Неужели он был прав, когда утверждал, что странствующие рыцари существуют?.. Кто вы такой?

Сансон *(входя)*. Антония, это я. *(Снимает шлем.)*

Антония. Сансон!

Сансон. Осторожнее, Антония, рука моя болит.

Антония. Вы ранены, Сансон? Что с вами?

Сансон. Нет, нет. *(Освобождается от доспехов.)* В преисподнюю щит с изображением луны и туда же меч!

Антония. Сансон, вы говорили, что вы вернетесь только в том случае... Где дядюшка? Он не погиб?

Сансон *(указывая на дом)*. Он дома. Я сдержал свое слово, Антония, и Алонсо Кихано никогда больше не покинет родной очаг.

Антония. Дома?.. Дома?! Если это так, Сансон, вы настоящий колдун! Недаром вас сделали бакалавром! Как же не сделать бакалавром самого умного человека на свете! Ах, что я говорю!.. У меня путаются мысли... Но это от радости, Сансон! Как же вы сделали это? Сансон! Сансон! *(Целует Сансона.)*

Сансон. Зачем же вы целуете труса и обманщика?

Антония. Не говорите так, Сансон. Какой вы злой, зачем вы мстите мне? Ведь я была тогда в горе, оттого и вырвались у меня эти слова. Нет, нет, Сансон, вы лучший друг наш, вы самый замечательный и благородный человек! *(Целует Сансона и убегает в дом.)*

Солнца уже нет, темнеет.

Дядюшка! Где вы?

Дон Кихот *(за пологом.)*. Кто тут?

Антония. Это я, сеньор Алонсо, я, Антония! *(Отдергивает полог.)*

Дон Кихот. Мне что-то душно, Антония...

Антония. Ложитесь! Ложитесь скорей опять!

Дон Кихот. Нет, нет, мне душно... и беспокойно... я лучше сяду здесь... и позови кого-нибудь, Антония, позови!..

Антония. Дядюшка, здесь бакалавр Сансон, позвать его?

Дон Кихот. Ах, он явился? Я ждал этого, зови его сюда, но зови скорее.

Антония. Сансон! Сансон!

Сансон. Я здесь, сеньор Дон Кихот.

Дон Кихот. Зачем вы так называете меня? Ведь вы же прекрасно понимаете, что я не Дон Кихот Ламанчский, а тот самый Алонсо Кихано, прозванный Добрым, так же, как и вы — бакалавр Сансон Карраско, а не рыцарь Белой Луны.

Сансон. Вы все знаете?

Дон Кихот. Да, знаю. Я узнал ваши глаза в забрале и голос, безжалостно требовавший повиновения... тогда, на поединке. Мой разум освободился от мрачных теней. Это случилось со мной тогда, Сансон, когда вы

стояли надо мной в кровавом свете факелов в замке... Словом, теперь я вижу вас, я вижу все.

Сансон. Простите меня, сеньор Кихано, что я напал на вас!

Дон Кихот. Нет, нет, я вам признателен. Вы своими ударами вывели меня из плена сумасшествия. Но я жалею, что эта признательность не может быть продолжительной. Антония, солнце село?.. Вот она!..

Антония. Сеньор Алонсо, успокойтесь! Здесь никого нет!

Дон Кихот. Нет, нет, не утешай меня, Антония, дочка моя, я не боюсь. Я ее предчувствовал и ждал сегодня с утра. И вот она пришла за мной. Я ей рад. Когда Сансон вспугнул вереницу ненавистных мне фигур, которые мучили меня в помрачении разума, я испугался, что останусь в пустоте. Но вот она пришла, и заполняет мои пустые латы, и обвивает меня в сумерках...

Сансон. Вина ему, Антония, вина!..

Дон Кихот. Антония... Ты выйди замуж за того, кто не увлекался рыцарскими книгами, но у кого рыцарская душа... Сансон, у вас есть дама, и эта дама действительно прекраснее Дульсинеи... Она жива, ваша дама... Ключницу позовите... Нет, нет, Санчо!.. Санчо мне! Санчо!.. *(Падает.)*

Через двор пробегает Санчо, появляется в доме.

Санчо. Сеньор бакалавр! Помогите ему!

Сансон. Антония, вина ему! Санчо, огня!

Антония убегает.

Санчо. Сеньор Кихано! Не умирайте! Сеньор Дон Кихот, вы слышите мой голос? Взгляните на меня! Это я, Санчо!.. Мы станем пастухами, я согласен идти с вами!.. Почему вы не отвечаете мне?..

Антония *(вбегает со светильником)*. Что делать, Сансон? Что делать?

Санчо. Он не отвечает мне!

Сансон. Я сделать больше ничего не могу. Он мертв.

Конец

РАШЕЛЬ

Либретто оперы по Мопассану

Москва, 1938—1939

Действующие лица:

Граф фон Фарльсберг, командир прусского кирасирского полка.
Барон фон Кельвейнгштейн. } Офицеры кирасирского полка.
Отто фон Гросслинг. } Офицеры кирасирского полка.
Фриц Шейнаубург. } Офицеры кирасирского полка.
Маркиз фон Эйрик («Фифи») } Офицеры кирасирского полка.
Ледевуар, унтер-офицер кирасирского полка.
Шантавуан, кюре.
Пономарь.
Госпожа Телье.
Памела.
Блондина.
Аманда.
Ева.
Рашель.
Люсьен, студент.
Гость.
Кирасирские солдаты, гости в доме Телье, женщины.

Действие происходит во Франции, в самых первых числах марта 1871 года.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

День. За окнами хлещет дождь. Зал в замке д'Ювиль, покинутом его владельцами и занятом пруссаками. Музейная роскошь, но всюду умышленная порча и разрушение. У портретов прорезаны дыры на месте ртов, в них вставлены фарфоровые трубки. У женщин на портретах пририсованы углем усы. Разрубленные гобелены, простреленные окна.

Роскошно накрытый стол для завтрака. В камине огонь.

Фарльсберг сидит, положив ноги на каминную доску, читает корреспонденцию,

Стук в дверь. Входит Ледевуар с конвертом.

Ледевуар. Господин командир полка, вам срочная депеша.

Фарльсберг *(прочитав депешу)*. Унтер-офицер, кричите — ура!

Ледевуар. Ура! Ура! Ура!

Фарльсберг. Ступайте, а ко мне пришлите трубача!

Ледевуар уходит.

Победа! Мир! Победа! Мир!
Господь Германию благословляет!
Сам император армию благодарит!
Германские войска в Париж вступают!
Париж, ты — наш! Париж, ты — наш!
Пусть побежденный враг трепещет,
Кляня в отчаяньи судьбу.
В Париже наши сабли блещут,
Враг слышит прусскую трубу!
В Париж сейчас идут гусары,
Дрожит под конницей земля,
Молчат в смятении бульвары
И Елисейские Поля!
Париж, ты — наш, ты побежден!
Замри в волнении, без гласа,
О, побежденная земля!
Ты видишь прусские кирасы
И на вальтрапах вензеля!
Там валом валят легионы,
И небо колют их штыки.
Ведут бесстрашные тевтоны
В Париж пехотные полки!
О, город-светоч! О, Париж!
Теперь ты жалок, ты молчишь!
Тебя сковал безумный страх,
Ты пред тевтоном лег во прах!

За окнами послышался кавалерийский марш.
Фарльсберг распахивает окно.

Здорово, кирасиры!

Хор за окном: Здравие желаем, господин командир!
Марш удаляется, Фарльсберг закрывает окно.
Входит Трубач, вытягивается перед Фарльсбергом, тот жестом показывает ему, что нужно стать возле стола. Трубач становится. Входит Ледевуар.

Ледевуар. На завтрак к вам явились адъютанты.
Фарльсберг. Проси.

Входят Кельвейнгштейн, Гросслинг, Шейнаубург и Эйрик — в мокрых плащах, в забрызганных грязью ботфортах.

Кельвейнгштейн. Имеем честь явиться, граф.
Фарльсберг. Я рад вас видеть, господа.

Офицеры снимают плащи.

Сейчас депеша поступила,
Армия в Париж вступает,
Наш император заключает мир!
(Кельвейнгштейну): Прочесть депешу в эскадронах! *(Трубачу):* Труби!

Трубач трубит.

Да здравствуют непобедимые германские войска!
Офицеры. Да здравствует Германия!
Фарльсберг. Здоровье императора!
Офицеры. Вильгельм! Вильгельм! Вильгельм!
Фарльсберг *(Трубачу.)* Ступай!

Трубач уходит.

Гросслинг.
Как счастливы гусарские полки,
Они сейчас идут в столицу!
Шейнаубург.
А мы здесь умираем от тоски!
Доколе нам в Нормандии томиться?
Эйрик.
Здесь скука сердце ранит,
Дождь целый месяц барабанит,
Повсюду только грязь и лужи,
И с каждым днем погода хуже.
Все ставни жалобно скрипят.
В окно противно бросить взгляд!
И в сердце скука, как игла!
Туман и водяная мгла...
Какая скверная пора!
О, гнусная нормандская дыра!
Фи дон! Фи дон!

Фарльсберг. А как прикажете быть мне? Велеть убрать все облака на небосклоне?

Эйрик.

Я этот замок презираю,
Я в нем от сплина умираю...
Фи дон! Фи дон!

Фарльсберг. Опять фи-фи! Вы все слыхали? Недаром вас в полку прозвали Фифи, Фифи, мамзель Фифи!

Кельвейнгштейн. Фифи! Фифи! Мамзель Фифи!

Эйрик. Фи дон!

Кельвейнгштейн.

Она грустит, она одна!
Мамзель Фифи, глоток вина!

Эйрик. Я осушу бокал до дна!

Фарльсберг. Фифи скучает, ах, беда!

Эйрик. Здоровье ваше, господа!

Все вместе. Фи-фи! Фи дон! Фи-фи!

Эйрик. Глоток, и вдребезги бокал! (Разбивает бокал.)

Фарльсберг. Ну, что ж, теперь вам легче стало? Эй, вестовые, новые бокалы!

Вестовые подают новый сервиз,

Эйрик.

Ах, эта дама на стене,
Как надоела она мне!
Ее хочу я ослепить!

Фарльсберг. Я вас готов развеселить, что ж, ослепите!

Эйрик стреляет два раза из револьвера и пробивает глаза портрету.

Офицеры. Ах, браво, браво, выстрел меткий! Она ослепла! Браво, детка! Фифи, Фифи, мамзель Фифи! Браво, браво, браво! Стрелку Фифи и честь и слава!

Эйрик.

Нет-нет, не кончена расправа!
Коль кирасир ты боевой,
Будь первым и в стрельбе и в рубке!
Эй, ты, французская голубка,
Прощайся с бедной головой!

Вынимает палаш, отрубает Венере голову.

Гросслинг. } Она мертва, она мертва!
Шейнаубург. } За упокой ее души! *(Пьют.)*

Эйрик.

Но что всего сильнее бесит,
Повсюду гробовая тишина.
Колокола молчат окрест!
Проклятые французы!
Они молчат нарочно,
В молчаньи этом их протест!

Шейнаубург. Граф, это совершенно верно!

Эйрик.

Упрямство их пора сломить.
Граф, прикажите им звонить!

Офицеры.

Пора развеять скуки сон!
Один дин-дон! Один дин-дон!

Кельвейнгштейн. Что делать в этакой норе?

Фарльсберг. Эй, вестовые, пригласить ко мне кюре!

Офицеры.

Нас развлечет звон колокольный,
Он оживит кружок застольный.
Лишь он прогонит скуки сон!
Один дин-дон! Один дин-дон!

Входит Шантавуан.

Фарльсберг. Почтеннейший кюре, прошу садиться. Я пригласил вас, чтоб спросить — зачем нет звона в вашей церкви? Скучает кирасирский полк.

Шантавуан. Бог поразил мое отечество войной, войною тяжкой и кровавой. И многие из наших прихожан убиты, другие без вести пропали, родные их все в трауре. Живем в страданьи и печали. Наш колокол умолк.

Фарльсберг.

Да, это грустно!
Но, может быть, велите вы
Хоть раз ударить в колокол,
Чтобы рассеять гнет могильной тишины?

Шантавуан. Не властен это сделать, граф. Мой пономарь, он человек упорный, по сыну носит траур он. Я знаю, он откажется звонить.

Фарльсберг.

Печально! Но, может быть,
Вы нам ключи дадите?
На колокольню мы пошлем солдат,
Пусть колокол немного нас повеселит.

Шантавуан. Простите, граф! На колокольню вход забит, пустить туда чужих я не могу. Мне прихожане скажут, что без нужды я в церковь вход открыл врагу.

Эйрик *(как бы про себя).*

Я знал кюре в другом селеньи,
Он был упрям и злонамерен,
В один прекрасный день он был расстрелян
Перед церковною стеной.

Фарльсберг. Маркиз фон Эйрик, извольте замолчать!

Шантавуан *(Эйрику).* Был расстрелян? Не знаю я, какое преступленье он совершил против отчизны. Но если он виновен, я уверен, что бог его рассудит в иной, нездешней жизни. И здесь пусть будет скорый суд прославлен! И если я виновен, я чашу осушу до дна. Виновен? Пусть, как это изваянье, я буду обезглавлен *(указывает на обезглавленную Венеру),* хоть и не знаю, в чем его вина! Но волю прихожан я не нарушу и не пойду я против совести моей. Так делал я всегда, свою спасая душу, и буду поступать так до последних дней. Мне душу жаль, но мне не жаль дряхлеющего тела. Маркиз, я не боюсь расстрела!

Фарльсберг. Кюре, маркиз шутил, и очень неудачно!

Кельвейнгштейн. Да, неудачно, и сам он это видит.

Гросслинг.
Шейнаубург. } Обидел вас он шуткой мрачной.

Эйрик *(в сторону).* Я не шутил, кюре нас ненавидит!

Шантавуан. Я не в претензии, о, нет! Но если вы дадите повеленье на колокольню силою войти, мы не окажем вам сопротивленья. Вам безоружные не станут на пути.

Фарльсберг.

Кюре, задели вас невольно.
Не будем поднимать вопрос больной.
Никто к вам не пойдет на колокольню,
Живите мирно за своей стеной!
Мое почтенье!

Шантавуан. А вам мое благословенье. *(Эйрику.)* А вам, маркиз, особенно желаю, пусть небо вас хранит на жизненной дороге! *(Уходит.)*

Фарльсберг *(Эйрику)*. Лейтенант, я накажу вас строго, я не позволю страсти разжигать!

Эйрик. Своих врагов я ненавижу!

Фарльсберг. Я сам аббата не люблю, но смысла в спорах с ним не вижу.

Эйрик. Слушаю, господин командир полка! Один дин-дон... один дин-дон...

Шейнаубург. Один дин-дон!..

Кельвейнгштейн.

Позвольте, господа!
Меня вдруг охватило вдохновенье.
Блестящая идея!

Гросслинг. Идея? Говорите, мы — в волненьи!

Эйрик. Обрадуйте, барон, нас поскорее!

Кельвейнгштейн. Прогнать нам надо скуку прочь. И вот вам мой проект — веселый и приличный: пошлем за дамами в Руан, там славный дом публичный. И будем пировать всю ночь!

Эйрик. Великая идея!

Гросслинг.
Шейнаубург. } Один дин-дон! Один дин-дон!

Фарльсберг.

Да вы затейник, мой барон!
Вы опьянели от французской водки?
Представьте, в замке — штаб полка.
А в нем — кокотки!

Шейнаубург. О, граф, мы молим — разрешите!

Гросслинг. О, граф! О, граф! Ну, прикажите!

Эйрик. Мы можем пировать всю ночь!

Фарльсберг.

И слушать не хочу — подите прочь.
Привести в штаб полка жриц любви?
Что же вы, в самом деле, взбесились?

Офицеры. Господин командир! Господин командир!

Кельвейнгштейн. Уверяю, все будет прилично!

Офицеры.

Озарится огнем опостылевший зал,
Мы поднимем с шампанским бокал,
Мы разгоним печальный туман!
Господин командир, разрешите!

Фарльсберг. Ну, довольно, я спорить устал, разрешаю.

Офицеры. Да здравствует наш командир, друг младших офицеров! Да здравствует блестящий пир, веселие без меры!

Кельвейнгштейн. Эй, вахмистра ко мне!

Входит Ледевуар.

Вы возьмете здесь крытый фургон
И отправитесь срочно в Руан,
В дом публичный Телье.
Пусть хозяйка пошлет
К нам на ужин сюда пять девиц,
Но сказать — наилучших!

Ледевуар. Точно так, понимаю!

Кельвейнгштейн.
И скажите хозяйке,
Что я шлю ей привет
И от сердца всего обнимаю!
Ну, ступайте! Марш! Марш!

Ледевуар уходит.

Дин-дон!

Офицеры. Ура! Дин-дон! Ура!
Поднимем выше кубки!
За женские веселые глаза,
За пухленькие губки!

Фарльсберг. Фи-дон! Стыдитесь, кирасиры! Ну, так и ждешь, что вы начнете кувыркаться!

Офицеры.
Подать парадные мундиры!
Эй, вестовые, одеваться!

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Ночь. Зал в веселом доме госпожи Телье. В углу маленький оркестр. За буфетной стойкой — Телье. Женщины и гости пляшут канкан.

Женщины и гости.
Гром и грохот, вой, движенье...
Не забил ли вдруг вулкан?
Нет, то грянул в бальном зале

Оглушительный канкан!
С первым звуком фортепиано
Кровь у каждого кипит!
И я мчусь с девчонкой пьяной,
Как сорвавшийся с цепи!

Телье.

Антуан, скорее пива,
Надо быстро подавать!
(Гостю.)
Ваша дама не спесива,
Вам не следует зевать!

Женщины и гости.

Ручки, ножки, глазки, плечи...
Укажите, где изъян?
Ваши глазки искры мечут,
Зажигает их канкан!

Телье.

Даже мой покойник милый
Прерывает смертный сон,
Если рявкнет над могилой
Позолоченный тромбон!

Женщины и гости.

Всяк прервет свои объятья,
Как бы ни был он влюблен,
Если грянет вдруг в гостиной
Оглушительный тромбон!
Ах, у дамы ножки стройны
И на диво гибкий стан!
Все мы страстно любим знойный,
Упоительный канкан!

Танец кончается, гости и женщины расходятся, у стойки остается только один гость с одной женщиной.

Гость.

Шартрезу рюмочку, мадам!
Хочу я угостить красотку,
Не пить же ей простую водку,
А деньги я в четверг отдам.

Телье.

Э, нет, мой сударь, без затей!
Мой дом весьма приличен,
И угощаю я гостей,
Но только за расчет наличный.

Гость.

Я пошутил, мадам Телье.
Люблю я точную расплату.
Красотка, пей! Мадам Телье,
У вас сегодня скучновато!

Телье.

Что делать, сударь, все они,
Проклятые пруссаки!
Живем мы худо в эти дни,
Скучают женщины-бедняжки!
Бывали грустные года,
Но этот год был самый тяжкий!

Гость.

Мадам Телье, вы — патриотка!
Вы правы! Дайте рюмку водки!

Телье.

Прошу вас, сударь, не шутить
Над тем, что дорого и свято!

В зал входит Люсьен — он в потертом солдатском мундире. Лишь только оркестр увидел Люсьена, заиграл веселое.

Люсьен. Не надо... Замолчите!

Телье. Эге... Да, это он, студент влюбленный... Дай бог поменьше нам таких гостей! *(Люсьену.) Я* рада, сударь, видеть вас! А мы уж думали, что вас убили!

Люсьен. Скажите мне, Рашель по-прежнему у вас?

Телье. Конечно, сударь! Зачем же уходить оттуда, где хорошо? А вы, я вижу, как прежде, страстно влюблены, вы исхудали, превратились в тень! Я успокою вас — Рашель жива, Рашель здорова, Рашель горит, как майский день!

Люсьен. Прошу вас, позовите ее сюда!

Телье. Охотно, сударь. Но прошу, не задержите... *(Протягивает ладонь, Люсьен дает Телье монету. Та обращается к лакею.)* Попроси сюда Рашель.

Рашель входит в зал.

Рашель. Ужели ты? Ты, Люсьен?

Люсьен. Да, это я.

Рашель. Ты вернулся? А я уж думала, что ты убит иль в плен попал. Ты возвратился!.. Ты вернулся!.. Я очень рада, очень рада! Но как ты страшно изменился!

Люсьен. Я ранен был, Рашель. Но, впрочем, это

все пустое. Я счастлив тем уж, что я жив, что я вернулся в город свой родной... Я счастлив тем, что вновь стою перед тобой!

Рашель. Ты, значит, не забыл меня?

Люсьен. Забыть тебя? О, нет! Я не забыл тебя и, видно, никогда уж не забуду. Да, такова моя судьба! Рашель, Рашель! Я возвратился, чтобы говорить с тобой серьезно, чтоб говорить в последний раз. Рашель! Ты знаешь, я люблю тебя! Люблю безмерно, крепко, нежно, люблю навеки, безнадежно! Мечты моей живое воплощенье, ты — мой соблазн, мое блаженство и мученье! Рашель, Рашель, ведь это ты!

Рашель. Мой бедный мальчик, мой Люсьен, здесь засмеются над тобой, когда узнают, о чем ты шепчешь женщине продажной в вертепе грязном в час ночной!

Люсьен. Мне смех не страшен, я их презираю, Рашель! Я за тобой пришел! Я умоляю, покинь навеки дом разврата, пойди со мной дорогою иной. Рашель! Уйди отсюда, стань моей женой!

Рашель. От слов твоих моя душа в мученьи стонет. Куда тебя твое мечтанье гонит? Ты обезумел, мой Люсьен!

Люсьен. Безумен я? О, нет, о, нет! Люблю тебя и в этом лишь мое безумье! Зову тебя! Покинь скорей свой путь опасный, идем со мной дорогою иной. Погибнешь ты, в разврате жизнь твоя угаснет! Скажи мне — да! Скажи мне — да!

Рашель. Нет, ни за что и никогда!

Люсьен. Несчастная! Зачем ты юность свою губишь? Зачем глуха к моим словам? Так, значит, ты меня не любишь...

Рашель. К несчастью, я люблю тебя.

Люсьен. Одно, одно лишь слово молви, и будем счастливы навек!

Рашель. Нет, я боюсь! Не дам тебе связать свою судьбу с судьбою женщины продажной! Ты за спиной услышишь шепот, услышишь злобный грязный смех. Такой, как я, возврата к жизни нету! Пойти с тобою — это грех! Настанет срок, ужасный срок, когда, не выдержав мучений, в порыве злобы, раздраженья, ты кинешь мне в лицо язвительный упрек. Ты попрекнешь меня ужасным, позорным прошлым ремеслом! Нет, нет, Лю-

сьен, мой мальчик нежный, я не войду, я не войду в твой дом!

Люсьен. Клянуся всем, что в мире свято, ты не услышишь этих слов!

Рашель. Нет, нет, не мучь меня, не мучь себя!

Люсьен. Люблю тебя, Рашель!

Рашель. И я люблю тебя!

Телье. Слов нет, приятно толковать с подругой милой, но я должна вас, к сожалению, прервать. Мой сударь, время истекло, Рашель пора идти к гостям.

Люсьен. Нет, этой ночью она к гостям уж не пойдет!

Телье. Что ж, сударь, это очень просто. Один лишь золотой, и до утра красотка ваша. Поверьте, к ней не подойдет другой.

Люсьен. Прошу вас, подождите, я скоро деньги принесу...

Телье. Час подожду, не задержите.

Люсьен *(уходя, Рашели)*. Жди меня!

Телье *(Рашели)*. А ты глупа, моя бедняжка. А, впрочем, в молодости кто не глуп!

Рашель уходит. В зал входит Ледевуар. Лишь только оркестр его увидел, заиграл веселенькое, но на Ледевуара это не производит никакого впечатления, и оркестр умолкает.

Мое почтенье, господин военный!

Ледевуар. Я из замка д'Ювиль. Послан к вам полковым адъютантом, бароном фон Кельвейнгштейн. Он просит вас прислать на ужин пять хорошеньких девчонок.

Телье. Какая честь! Я знаю хорошо барона, очаровательный мужчина! Присядьте, унтер-офицер. Угодно рюмочку шартреза?

Ледевуар. Мерси.

Телье. Эй, деточки! Сюда скорей, мои красотки!

Выходят женщины.

Вот, деточки, какой сюрприз приятный. Есть приглашение на ужин в замок под Руан, в немецкий кирасирский полк. Прелестнейшие люди офицеры, все титулованы. Э, деточки, я рассержусь, вы знаете, я не люблю капризов!

Женщины. Нас изобьют потом французы, изменницами назовут!

Телье. Довольно глупостей! Не забываться! Вам захотелось на тротуар? В порту матросам продаваться? Молчать!

Молчание.

Итак, поедут пять. Поедешь ты, Памела, ты, Блондина, Аманда, Ева и Рашель! Не прячь свой носик, выходи!

Рашель. Я не поеду...

Телье. Сию минуту замолчи! Не забывай, что ты в долгу, как в клетке! Ты хочешь познакомиться с тюрьмой? Ты бойся рассердить меня, очаровательная детка!

Рашель. Пусть будет так, я не поеду. Не будьте так жестоки, ведь я дала другому слово!

Памела. Ах, вот как! Хороша подруга! Нас гонят к немцам, мы покоряемся, поедем, а она... Чем лучше нас она?

Женщины. Это нечестно! Хороша подруга!

Телье. Ты дура! Денег он не принесет.

Женщины. Любимица хозяйки! Фаворитка!

Рашель. Довольно! Не смейте оскорблять меня! Я еду!

Телье. Ну, вот и славно! Люблю, когда кончают дело миром.

Ледевуар. Что я вам должен за шартрез?

Телье. О, сударь, пустяки!..

Ледевуар дает монету Телье.

Но, деточки, без шалостей, все деньги честно сдать!

Рашель. Не беспокойтесь!

Ледевуар уводит Памелу, Блондину, Аманду, Еву и Рашель. Все женщины уходят из зала. Через некоторое время торопливо входит Люсьен.

Люсьен. Вот золотой... Рашель всю эту ночь свободна!

Телье. Прошу прощенья, дорогой! Вы опоздали. Рашель уехала на ужин в гости...

Люсьен. Вы обманули меня! Это бесчестно! Что это значит? Я заплатил, она моя!

Телье. Прошу вас, сударь, не шуметь, вы не в порту, не на базаре! Эй, Жак! Эй, Теодор!

Входят двое подручных Телье.

Люсьен. Куда уехала она?

Телье. Прошу вас не кричать? К пруссакам в гости, в кирасирский полк!

Люсьен. К пруссакам в гости?! Сводня!!! Я тебя зарежу!

Бросается к Телье. Теодор и Жак набрасываются на Люсьена. Выбегает встревоженный гость со своей женщиной.

Телье. Мне дурно... В полицию его! Но только тихо, тихо! Я не хочу скандала!..

Гость, Теодор и Жак выводят Люсьена.

Играйте же, играйте, что вы замолчали? Я не хочу скандала!..

Оркестр заиграл весело.

Занавес

Москва, 22 января 1939 года.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Опять зал в замке д'Ювиль, Ночь. Много света. Кирасиры в нетерпении всматриваются в окна. А за окнами по-прежнему ненастье. Послышался стук подъехавшей повозки.

Гросслинг. Это они! Они!

Шейнаубург. Они, они! О, радость!

Кельвейнгштейн. Они! Они! *(Подражает трубе.)* Трам-та-та-там!

Входят Блондина, Памела, Аманда, Ева и Рашель.

Ну, наконец-то! Мы счастливы вас видеть, милые мои! Снимайте ваши грязные плащи.

Женщины снимают плащи.

Ну, вот, это иное дело! Ну, что ж теперь вы скажете нам, граф?

Фарльсберг. Гм... Да, черт возьми, они недурны!

Кельвейнгштейн. Они прелестны?

Шейнаубург *(Гросслингу)*. Девчонки, правда, первый сорт!

Гросслинг. Да здравствует барон!

Шейнаубург целует Блондину.

Кельвейнгштейн. Нет, нет, не торопитесь! Все нужно делать по ранжиру. *(Шутливо)*. Эй, по росту строиться прошу!

Женщины *(шутливо)*. Слушаем, господин офицер!

Кельвейнгштейн *(Памеле)*. Как звать тебя, очаровательная дама?

Памела. Меня зовут Памела.

Кельвейнгштейн. Памела, номер первый, командиру.

Фарльсберг. Я очень рад.

Памела. Ах, боже мой, какая борода!

Кельвейнгштейн. А ты, красоточка, ко мне сюда! Как имя?

Блондина. Я — Блондина.

Кельвейнгштейн. Целуй меня! А ты?

Аманда. Меня зовут Аманда.

Кельвейнгштейн. Аманда — лейтенанту Отто! Ты счастлива, прелестная вострушка! Уверен, что лейтенант понравится тебе!

Аманда. Он очень мил!

Кельвейнгштейн. Как звать тебя?

Ева. Я называюсь Евой.

Кельвейнгштейн *(Шейнаубургу)*. Вам достается Ева! И наконец, последняя... Смугляночка, как имя?

Рашель. Рашель.

Кельвейнгштейн. Маркизу Эйрику Рашель! Его зовут мамзель Фифи. Всмотритесь, Рашель, в его глаза. Как небо ясное, они лазурны. Но все же ты остерегись его. Он тих на вид, но темперамент бурный!

Эйрик.

Иди, красоточка, ко мне!
Я расцелую алый ротик.
Утопим горе мы в вине,
Иди, не бойся, черный котик!

Целует Рашель, пускает ей в рот сигарный дым.

Рашель. Ах!.. Что вы... Я задыхаюсь, я дыму не переношу...

Эйрик. Ну, ну, не дуйся, это шутка!

Кельвейнгштейн. Там-там-там! К столу прошу! Нас ждет приятный ужин! *(Вестовому)*. Ступай, ты больше нам не нужен.

Фарльсберг.

Да, ваша мысль, майор, блестяща!
Теперь я вижу это сам.
Да, это пир, пир настоящий!
Пью за здоровье наших дам!

Шейнаубург. За дам, за дам, за наших дам!

Кельвейнгштейн. Еще бокал, еще! Пей смело, моя крошка! Да, не промокли ль твои ножки?

Блондина. Ах, вы шалун! Прочь руки, прочь.

Кельвейнгштейн. Ну что ж, я буду терпелив, ведь впереди у нас вся ночь, ночь наслажденья с чудной девой!

Гросслинг. Я за Аманду пью!

Шейнаубург. А я за Еву!

Все вместе. Мы пьем за дам, за наших дам!

Фарльсберг. А ты бы спела нам что-нибудь, прекрасная Памела!

Памела. Я все забыла, я давно уже не пела. А вот Рашель у нас поет.

Аманда.
Ева. } Она поет прекрасно!

Эйрик. Ах, так скорей сюда! Сюда ее, на стол! *(Гросслингу)*. Лейтенант, садитесь к фортепиано! Красотка, не стесняйся!

Рашель. Я не стесняюсь, я привыкла...

Призналась бабушка однажды,
Качая головой седой:
«Томилась я любовной жаждой,
Когда была я молодой!
Ах, промчались времена!
Где ты, буйная весна?
Где вы, звезды яркие?
Поцелуи жаркие?»
«Бабуся, что вы говорите?
Вы, значит, не были святой?»
«Тсс... внучки, только вы молчите,
Чтоб не подслушал кто чужой!»

Ах, промчались времена!
Где ты, буйная весна?
Где вы, звезды яркие?
Поцелуи жаркие?
Семнадцать лет мне ровно было,
Я миг тот помню до сих пор,
Когда на первое свиданье
Ко мне явился мой Линдор!

Шейнаубург.
Гросслинг. }

Ах, промчались времена!
Где ты, буйная весна?
Где вы, звезды яркие?
Поцелуи жаркие?

Рашель.

Мне не забыть очей Линдора,
Мне не забыть его манер!
Но, детки, очень, очень скоро
Его сменил другой — Валер...

Все вместе.

Ах, умчались времена!
Где ты, буйная весна?
Где вы, звезды яркие?
Поцелуи жаркие?

Рашель.

«Ах, бабушка, что ты сказала?
Ужель любила ты двоих?!»
«Эх, детки, то ль еще бывало!..
Эх, детки милые мои!..»

Все вместе.

Ах, умчались времена!
Где ты, буйная весна?
Где вы, звезды яркие?
Поцелуи жаркие?

Рашель.

Но вот я деда повстречала,
Надела платьице к лицу.
Его недолго обольщала
И привела его к венцу...

Все вместе.

Ах, умчались времена!
Где ты, буйная весна?
Где вы, звезды яркие?
Поцелуи жаркие?

Рашель.

«Но деду вы не изменяли?
Вы были скромною женой?»
«Конечно... Как же... выйдя замуж.
Ха-ха... я сделалась иной!..»

Все вместе.

Ах, умчались времена!
Где ты, буйная весна?
Где вы, звезды яркие?
Поцелуи жаркие?

Рашель.

Эх, внучки, внучки дорогие,
Наивны вы, как погляжу...
О том, что было в нашем браке,
Я сатане не расскажу!..

Все вместе.

Ах, умчались времена!
Где ты, буйная весна?
Где вы, звезды яркие?
Поцелуи жаркие?

Гросслинг. }
Шейнаубург. } Браво, браво!

Эйрик. Да ты — артистка! Браво, браво!

Все вместе. Да у нее большой талант!

Эйрик. Иди ко мне, моя смуглянка, ты разбудила жар в крови! Иди ко мне скорее, жрица продажной легонькой любви! *(Целует Рашель.)*

Рашель. Отпусти меня, мне больно, ты груб, жесток, и я тебя боюсь!

Эйрик. Ну, пустяки, это невольно! Дай в губки алые вопьюсь!

Рашель. Что это, кровь? Я поцелуи продаю, но ты не смеешь меня мучить! Смотри, когда-нибудь тебе придется поплатиться!

Эйрик. Ну, что же, я охотно заплачу! *(Высыпает из кошелька на голову Рашели золотые монеты.)*

Блондина. Он мучает Рашель!

Кельвейнгштейн. Вздор! Он просто слишком страстен, как каждый храбрый офицер! За офицеров!

Аманда. }
Ева. } За офицеров!

Гросслинг. Нет, громче тост! Полней бокалы! Да здравствует победа! Мы Францию разбили!

Эйрик. Долой французов! Они все трусы!

Рашель. Мне приходилось знать французов, при которых ты этих слов не произнес бы!

Эйрик. Ах, вот как! Вот с этим палашом в руках всю Францию прошел я, таких французов я не встретил.

Лишь только германские рати
Пришли от восточных границ,
Французы пред ними бежали
И в ужасе падали ниц.
Германец наносит смертельный удар.
Вспомни, красоточка, Мец и Седан!
Все наше теперь, и леса и поля,
Французские жирные пашни,
Все наше! Вода и земля
И островерхие башни!
С германцем в боях
Не уйти от судьбы!
Мы вами владеем,
Вы — наши рабы!

Рашель. Замолчи! Замолчи! Не смей над побежденною страною издеваться! Вы нас разбили, но наши братья защищались и за Седан своею кровью заплатили!

Эйрик. Нет, ты замолчи! Ты — рабыня моя! Все женщины Франции — рабыни!

Рашель. Несчастный! Ты лжешь! Никогда, никогда не будут рабынями женщины наши!

Эйрик. Не будут? Да это смешно! А как же ты здесь оказалась?

Рашель. Я?.. Я?.. Ты ошибаешься, мой кирасир, я не женщина, нет, я проститутка. Мое дело — за деньги любить, меня всякий на улице может купить. Но тебя хорошо я узнала теперь: бесплатно никто тебя не полюбит! Так пусть хоть продажная девка тебя приголубит, тупой, омерзительный зверь!

Эйрик. Что ты сказала? Ах, дрянь! *(Ударяет Рашель по лицу.)*

Памела.
Блондина.
Аманда.
Ева.
} Граф, заступитесь! Он женщину бьет! За что же нас обижать, ведь мы беззащитны.

Фарльсберг. Маркиз!

Гросслинг.
Шейнаубург. } Она оскорбила его!

Рашель. Я вижу теперь, ты действительно храбр, непобедимый германец! Ну, что же, ударь еще раз... Ну, ударь!

Эйрик *(замахиваясь)*. Вот тебе, тварь!

Рашель *(ударяет Эйрика в горло десертным ножом)*. От женщин французских тебе мой привет!

Эйрик. А... *(Ловит воздух руками, падает и затихает.)*

И кирасиры и женщины застывают в оцепенении.
Рашель бросается к окну, выбивает стекло и выскакивает в завесу дождя.

Памела.
Блондина. } О, боже! О, боже!

Кельвейнгштейн *(стреляет из револьвера в окно)*. Часовой! По беглянке огонь! *(За сценой ружейный выстрел.)* В ружье, караул! Трубите тревогу! *(Выбегает.)*

Фарльсберг. Будь она проклята, эта затея! *(Наклоняется к Эйрику.)* Неужели?..

Гросслинг.
Шейнаубург. } Он мертв, он мертв...

Убить! Убить потаскушек поганых! Убить!
Смерь им, смерть! *(Хватаются за палаши.)*

Аманда.
Ева. } Милосердие к нам! Милосердие! О, пощадите нас, бедных девчонок! За что же нас убивать?

Блондина. Пощадите!

Памела. У меня есть ребенок!

Фарльсберг. Эй, лейтенанты, назад!.. Черти бы, черти бы взяли!..

Вбегает Кельвейнгштейн, с ним Ледевуар.

Схватили? Скажите, схватили?

Кельвейнгштейн. Нет, ускользнула во тьму!

Фарльсберг. Будите в казарме второй эскадрон! Облаву немедля, облаву! Взвод один на дорогу в Руан!.. Ведь видел же я, что он пьян!.. Награду тому, кто убийцу найдет! *(Наклоняясь к Эйрику.)* О, идиот!..

Кельвейнгштейн.
Гросслинг.
Шейнаубург.
Ледевуар.
} Она не уйдет! Она не уйдет!

За сценой тревожно запели трубы.

Занавес

Москва, 26 января 1939 года.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Ночь в домике Шантавуана. Шантавуан в одиночестве, сидит за письменным столом и пишет. Зашумел ливень.

Шантавуан. Опять разверзлись небеса! Благословенна ночь ненастья! Лей, ливень, лей и смой всю кровь с лица земли моей несчастной! Благословенна ночь уединенья, здесь в тишине меня покинула тоска, и мысль моя значительна и голова моя легка. Ко мне нисходит вдохновенье... К рассвету проповедь закончу. *(Пишет.)* Гром и град и огонь на земле, и погибло, что было в полях, и вселились в сердца унынье и страх... *(Два дальних ружейных выстрела.)* Что это значит? В селеньи было все спокойно. Тревога? Нет, это случайно стрелял какой-нибудь солдат. *(Пишет.)* О, верьте, свет придет в обитель, сердца покинет вечный страх. Не бойтесь, дети, ваш хранитель стоит незримый на часах... *(Стук в дверь.)* Кто там? Кто там?

Рашель *(за сценой)*. Откройте, или я погибла!

Шантавуан *(открывает дверь. Вбегает Рашель, и Шантавуан отшатывается. Платье Рашели изорвано, с него бежит вода.)* Что с вами, дочь моя?

Рашель. Закройте дверь!! Закройте дверь... Скорее!

Шантавуан. У вас в глазах безумие и страх. Кто гонится за вами?

Рашель. Смерть!.. Смерть!.. И если вы не скроете меня, она меня настигнет!

Шантавуан. Кто вы такая?

Рашель. Я убийца. Меня зовут Рашель, я проститутка из Руана и полчаса тому назад во время пира в замке убила немца-лейтенанта... маркиза Эйрика... За мною гонится облава... Во имя неба, спрячьте, спрячьте!

Шантавуан. О, боже праведный! О, боже! О, дочь греха, о, дочь разврата! Теперь погибнет тихий край. Я

знаю немцев! Они жестоки и свирепы, теперь они нам станут мстить. О, горе бедным прихожанам!

Рашель. О, сжальтесь надо мной! Спасите! Вы — служитель бога!

Шантавуан. Да, верно, я служитель бога, вы ж покорились сатане! Зачем проклятая дорога вас ночью привела ко мне? Вы совершили преступленье, я не могу вас прятать, нет! Здесь вас они легко найдут, вас схватят, а меня убьют! Меня за что? Зачем покину прихожан? Кто их от немцев оградит? О, злая ночь! О, роковая ночь! Бегите! Я не могу ничем помочь!

Рашель. Я ухожу навстречу смерти. Они меня повесят! И я качнуся, как язык на колокольне, ударю в медь и прокричу о том, что я одна — ничтожное, порочное созданье, одна вступилась за поруганную честь моей страны! Потом затихну, и вы увидите висящий неподвижно груз, но знайте же, служитель бога, что вы, вы — не француз! *(Бросается к дверям.)*

Шантавуан. Остановитесь! И повторите все, что вы сказали! За что убили вы его?

Рашель. Он мне сказал, что мы теперь — рабы пруссаков, что женщины французские теперь продажные рабыни, что все французы — трусы! Когда ж я крикнула ему, что он — палач, что он клевещет, он грязною рукой меня ударил по лицу! И я ему вонзила в горло нож! Теперь он плавает в крови!

Шантавуан. И это правда?

Рашель. Правда. Прощайте.

Шантавуан. Нет, о, нет! Я вас не отпущу! *(Подбегает к шкафу, отодвигает его от стены, вскрывает потайную дверь.)* Вот тайный ход на колокольню, о нем никто не знает. Бегите вверх и скройтесь там! Забейтесь в угол, сидите там беззвучно, неподвижно, замрите, словно мышь!

Рашель. Нет, я за вас боюсь, они убьют вас!

Шантавуан. Бегите же, бегите скорее вверх!

Рашель скрывается. Шантавуан закрывает за нею дверь и придвигает шкаф к стене.

Ах, все это бесцельно, бесполезно, здесь все равно найдут ее. О чуде я молю тебя, о чуде, боже! Да, следы! Следы... *(Затирает тряпкой следы у порога, выбрасывает тряпку. Садится к столу. Послышался стук в окно и в дверь.)*

Ледевуар *(за сценой)*. Немедленно откройте дверь!

Шантавуан открывает дверь, появляются Кельвейнгштейн, Ледевуар и взвод солдат.

Шантавуан. Что значит это, господин барон? Ужель я заслужил такое обращенье? Я поражен, я поражен.

Кельвейнгштейн. Оставим церемонии, кюре! Скажите, где она?

Шантавуан. Я вас не понимаю.

Кельвейнгштейн. Смотрите, вы играте с огнем!

Шантавуан. Я вас не понимаю.

Кельвейнгштейн. Сейчас свершилось преступленье: публичная девчонка убила маркиза Эйрика и убежала!

Шантавуан. Несчастный лейтенант!

Кельвейнгштейн. Ее следы ведут сюда! Она должна быть здесь, в дворе церковном!

Шантавуан. Сюда никто не прибегал.

Кельвейнгштейн. Кюре, вы правду говорите?

Шантавуан. Я никогда еще не лгал.

Кельвейнгштейн *(солдатам)*. Ну, что же, ищите!

Ледевуар. За мною, на чердак!

Солдаты рассыпаются повсюду, открывают шкафы.

Шантавуан. Я знаю, мой протест бессилен, и все же протестую я! *(Садится к столу.)*

Ледевуар *(входит)*. Все помещенья обыскали. Ее нигде нет, господин барон.

Кельвейнгштейн. Так, черт возьми, куда же она девалась?

Ледевуар. Эй, осмотреть конюшни во дворе! *(Уходит с солдатами.)*

Кельвейнгштейн ходит взад и вперед по комнате, нервничает. Вдруг замечает шов на обоях — кюре неплотно прикрыл дверь тайника, вздрагивает, но овладевает собою и не подает виду, что заметил.

Ледевуар *(входит)*. В конюшне и в сараях пусто. На колокольню ход забит.

Кельвейнгштейн. Да, это чудеса! Напрасно вас мы потревожили, кюре, но, сами понимаете, долг службы. Вы можете поклясться мне, что не было ее у вас?

Шантавуан. Клянуся богом всемогущим — пусть он накажет, если лжив ответ! — клянуся богом вездесущим, — ее здесь не было и нет!

Кельвейнгштейн. Смотрите, прусские солдаты, как лжет священник нам в лицо! Кюре, вы сильно рисковали, вам надлежало б это знать! Скорее к стенке становитесь!

Шантавуан. За что?!

Кельвейнгштейн. Молчать! Чутье меня не обмануло! Эй, вахмистр, проститутка там! Эй, вскрыть тайник! А мне сюда шеренгу!

Ледевуар и двое солдат бросаются к тайнику, вскрывают его. Шесть солдат выстраиваются в шеренгу.

А вас я расстреляю, лишь только выведут ее! Платок ему, чтоб завязать глаза!

Шантавуан. Не надо.

Кельвейнгштейн. Как угодно!

Ледевуар с двумя солдатами скрывается за дверью тайника.

Взять ее живой!

За дверями тайника послышались два выстрела.

Аббат! Там никого нет, вы сказали? А это что? *(Шеренге.)* Раз!

За дверью тайника шаги спускающихся с лестницы.

Два!

Ледевуар *(выходя с солдатами)*. На колокольне пусто, там никого нет.

Кельвейнгштейн. Быть не может! А кто ж стрелял?

Ледевуар. Там за оградою мелькнула темная, бегущая фигура. Бежал мужчина, я стрелял!

Кельвейнгштейн. За ним в погоню!

Ледевуар выбегает с частью солдат.

Кельвейнгштейн *(шеренге)*. Эй, отставить! Марш!

Шеренга выходит.

Ну, что ж, я очень счастлив, что дело приняло хороший оборот. Не унывайте, мы ее разыщем! И утром зав-

тра мы ее повесим под колокольней у ворот! До свидания! *(Уходит.)*

Шантавуан. Что это было?.. Я не знаю... Я разум потерять боюсь...

На колокольне слышен шум падения тела.

Да, она там...

Бросается к входной двери и закрывает ее. Рашель появляется в дверях тайника. Она хромает.

Рашель. Кюре...

Шантавуан. Несчастная! Не выходите!

Рашель. Мне все равно, я больше не могу висеть...

Шантавуан. Как вы спаслись?

Рашель. Я поднялася по стене, цепляяся за гвозди. Достигла перекладин, вцепилась в язык и в колоколе повисла, как мышь летучая... как мышь... Кюре, не правда ли, я мышь?.. А впрочем, все равно... *(Падает на пороге тайника.)*

Шантавуан подбегает к ней, потом схватывает графин с водой, мочит платок, наклоняется над Рашелью. В это время — стук в дверь. Шантавуан втаскивает Рашель в глубь тайника, закрывает ее дверью и открывает входную дверь.

Пономарь *(появляется в дверях)*. Вы живы, мой отец? Они деревню разгромили, они соседа застрелили и все ж нигде убийцу не нашли! Она бежала!

Шантавуан. Пьер, слушайте меня... Пьер! *(Манит пальцем пономаря, приоткрывает дверь тайника.)* Она здесь.

Занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Через два дня у Шантавуана в домике. Следов разгрома, произведенного Кельвейнгштейном, уже нет. Дверь тайника закрыта, но шкаф не придвинут. Утро, Непогода кончилась. Солнце. В камине огонь. Шантавуан за столом.

Пономарь *(входит, подает Шантавуану связку ключей)*. Какой-то человек приехал из Руана, вас хочет видеть, мой отец. *(Впускает Люсьена и уходит.)*

Люсьен. Простите мне, что я тревожу вас. Меня к вам привело простое человеческое горе.

Шантавуан. В чем ваше горе?

Люсьен. Я любил. Любовь моя была горька, любовь моя была несчастна. И вот теперь судьба меня лишает и ее. В публичном доме я встретил ту, которая моим мечтаньем стала, и страсть замучила меня! Моей заветной целью стало ее оттуда увести! Из мира гнусного порока в мир светлый, чистый, мир иной! Ужель мое мечтанье не глубоко? Ведь я хотел ее заставить стать моей женой! И вот я потерял ее!

Шантавуан. О ком вы говорите?

Люсьен. О ней, о ней, о той, что в замке совершила преступленье! Я под арестом был и лишь меня освободили, я кинулся за ней сюда и здесь узнал о том, что совершилась великая и страшная беда! Кюре, скажите мне, куда она девалась?

Шантавуан. Мне жаль вас, но — увы! — теперь утешить нечем вас. Несчастное, порочное созданье! Свершивши в замке злодеянье, она исчезла в тот же час. Ее судьба после убийства неизвестна.

Люсьен. Кюре, скажите, где моя невеста?

Шантавуан. Вы удивляете меня! Есть слух, что в ночь погони она здесь, в речке утонула...

Люсьен. Есть слух, кюре, есть слух... он, как огонь, под пеплом, но он есть... из уст в уста он переходит... он, как лесной огонь, по низу бродит... есть слух о том, что вы ее спасли!

Шантавуан. Покиньте этот дом!

Люсьен. За что вы гоните того, кто уж и так несчастен безнадежно?

Шантавуан. За то, что ваш рассказ есть ложь, да, ложь презренная от слова и до слова! Но то, что вы свершаете, не ново! Но, сударь мой, стыдитесь, вы молоды... А ремесло немецкого шпиона французскому солдату не к лицу!

Люсьен. Не смейте оскорблять меня! За что мне это, за что? Нет справедливости ни на небе, ни на земле! Весь мир лежит во зле!..

Вдали послышалась военная похоронная музыка и конский топот.

И счастья нет, спасенья нет и нет надежды! Клянусь, что все, что я сказал здесь, правда! Я вам ее сказал и по-

вторять не буду, я молчу! И знайте, что и мои страданья были столь безмерны, что больше жить я не хочу!

Люсьен поворачивается, чтобы уйти. Наружная дверь открывается и входит Кельвейнгштейн в походной форме, а за ним пономарь.

Шантавуан *(Люсьену)*. Нет, подождите!

Кельвейнгштейн. Я вас прерву, кюре, но не надолго. Сейчас опустят в могилу маркиза Эйрика. Извольте приказать, чтоб в церкви зазвучал орган, затем — чтоб колокол ударил!

Шантавуан. Я вам охотно повинуюсь. *(Пономарю, отдавая ключ.)* Скорее к органисту! И возвращайтесь, чтоб звонить.

Кельвейнгштейн. Я объявляю вам, кюре, что мир сегодня заключен. Наш полк из Франции уходит.

Шантавуан. Благословляю мир, пусть будет мир для всех.

Кельвейнгштейн. Победоносный мир! *(Проходя.)* Так вот он, вход в тайник, который вас едва не погубил! Как интересно!

Шантавуан *(открывая дверь тайника)* Угодно поглядеть?

Кельвейнгштейн. Я не просил вас открывать, кюре!

Прощайте! *(Уходит.)*

Вдали зазвучал орган.

Люсьен. Кюре...

Шантавуан. Погодите!

Вдали послышались залпы, а потом кавалерийский марш.
Пономарь *(Входит.)*

Шантавуан. Они уходят! Звоните, Пьер, звоните!

На колокольне внезапно ударил колокол.

О, как она неосторожна! Бегите, Пьер, наверх, звоните!

Пономарь убегает в тайник, а из тайника появляется Рашель.

Люсьен. О сердце, ты меня не обмануло! Рашель! Моя Рашель!

Рашель. О, мой Люсьен, я верила, я знала, что ты придешь за мной, придешь! О, как, Люсьен, я тоскова-

ла! Под колоколом вечность пролетела надо мной! О, как тебя я вспоминала! И ты пришел! И ты со мной!

Люсьен. Рашель! Моя Рашель! Отчаянье меня гнало сюда, но верил я, но верил я!.. И все сбылось, и ты со мной! Не отпущу тебя! Рашель моя, навек моя!

Колокол мерно звонит. За сценой слышится нарастающий шум и обрывки Марсельезы: «Вперед, сыны своей родной земли!..»

(Шантавуану.) О, как мне вас благодарить? Какие мне найти слова?

Рашель. О, смерть! Смерть! Ты меня не догнала!.. Они уходят, я жива!

Люсьен. Они уходят! Ты жива!

Шантавуан. Свободна бедная земля! Моя порабощенная земля, свободна ты!

Рашель. О, верь мне, я его убила за то, что он нанес нам оскорбленье! Я совершила преступленье, но я ему за всех нас мстила!

Шантавуан. Покончил Эйрик путь земной, уходит он на суд иной. И ни его, ни вас, о, дочь моя, мы более не судим! Забудет ваше преступленье мир, и мы его забудем! Забудем ночи той предсмертное томленье и окровавленный ваш нож! Услышат небеса мое моленье, простят убийство вам, меня простят за ложь! Вас любит этот человек. Покиньте прежний путь и будьте счастливы навек!

Ближе послышался шум толпы и обрывки Марсельезы: «Свободна родина моя...»

Открывая дверь, Шантавуан выходит наружу.

«Свободна родина моя!..»

Рашель. Свободен ты! Свободна я!

Люсьен. О, повтори эти слова! О, повтори в минуту счастья!

Рашель. О, солнце светлое, гори! Гони с земли моей ненастье! Над нами небо голубое! Люсьен, навеки я с тобою!

Люсьен. Рашель, навеки я с тобой!

Конец

26 марта 1939 г.

Приложение

МАСТЕР И МАРГАРИТА

Главы романа из пятой, незаконченной рукописной редакции (1928—1937 гг.)

ГЛАВА 1

НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ!

Весною, в час заката на Патриарших прудах появилось двое мужчин.

Один из них, трядцатипятилетний приблизительно, был преждевременно лыс, лицо имел бритое, одет был в серенькую летнюю пару, шляпу пирожком нес в руке. Другой лет на десять моложе первого, в синей блузе, в измятых белых брюках, в тапочках, в кепке.

Оба, по-видимому, проделали значительный путь по Москве пешком и теперь изнывали от жары.

У второго, не догадывавшегося снять кепку, пот струями тек по загоревшим небритым щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, секретарь московской ассоциации литераторов (Массолит) и редактор двух художественных журналов, а спутник его — входящий в большую славу поэт-самородок Иван Николаевич Понырев.

Оба, как только попали под липы, первым долгом бросились к весело раскрашенной будочке с надписью «Прохладительные напитки».

Да, следует отметить первую странность этого страшного вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Бронной улице, не было ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил нет больше дышать, когда солнце в пыли, в сухом тумане валится, раскалив Москву, куда-то за Садовое кольцо, когда у собак языки висят почти до земли, под начинавшими зеленеть липами не было никого. Это, право, странно, это как будто нарочно!

— Нарзану дайте, — попросил Берлиоз.

— Нарзану нет, — ответила женщина в будочке.

— А что есть? — спросил Берлиоз.

— Абрикосовая.

— Давайте, давайте, давайте, — нетерпеливо сказал Берлиоз.

Абрикосовая дала обильную желтую пену, пахла одеколоном. Напившись, друзья немедленно начали икать, и Понырев тихо выбранил абрикосовую скверными словами, затем оба направились к ближайшей скамейке и поместились на ней лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут случилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он перестал икать, но сердце его внезапно стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, в сердце тупо кольнуло, после чего Берлиоза охватил необоснованный страх, и захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки.

Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его встревожило. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было... Я переутомился. Пожалуй, пора бросить все и в Кисловодск...»

И тут знойный воздух перед ним сгустился совершенно явственно, и соткался из воздуха прозрачный тип престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый, кургузый, воздушный же пиджачок, ростом в сажень, но худ неимоверно... жердь какая-то, а морда глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Он еще больше побледнел, глаза вытаращил, подумал: «Этого не может быть!?» Но это, увы, могло быть, потому что длинный, сквозь которого видно, жокей качался перед ним и влево, и вправо. «Что же это?! Удар?» — смятенно подумал Берлиоз и в полном ужасе закрыл глаза. А когда он их открыл, все кончилось — марево растворилось, клетчатый исчез. И тут же тупая игла выскочила из сердца.

— Фу ты, черт! — воскликнул Берлиоз. — Ты знаешь, Иван, у меня сейчас от жары едва удар не сделался, даже что-то вроде галлюцинации было, — он попытался весело посмеяться, но глаза его еще были тревожны, руки дрожали. Однако постепенно он оправился, обмах-

нулся платочком и сказал уже бодро: — Ну-с, итак... — повел речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как дознались впоследствии, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что Берлиоз заказывал Ивану Николаевичу большую поэму о Христе для своего второго антирелигиозного журнала и вот теперь читал поэту нечто вроде лекции с тем, чтобы дать ему кое-какие установки, необходимые для сочинения поэмы.

Надо заметить, что редактор был образован и в речи его появлялись имена не только Эрнеста Ренана и Штрауса, но и имена древних историков. Тут были и Филон Александрийский, знаменитый богослов, и блестяще образованный Иосиф Флавий, и великий Корнелий Тацит. На всех них Михаил Александрович очень умело, показывая большую начитанность, ссылался, чтобы доказать Понырему, что Иисуса Христа никогда на свете не существовало.

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, было новостью, внимательно слушал, уставив на Михаила Александровича свои буйные зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом проклиная абрикосовую воду.

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и поэт узнал много чрезвычайно интересного и о египетском Озирисе, благостном боге, сыне Неба и Земли, и о финикийском боге Фаммузе, и о пророке Иезекииле, и о боге Мардуке, о грозном боге Вицлипуцли, которого так почитали ацтеки в Мексике.

Чем больше говорил Берлиоз, тем яснее становилась картина: хочешь — не хочешь, а приходилось признать, что все рассказы о существовании Христа выдумка, самый обыкновенный миф.

И вот как раз в тот момент, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, многие учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Вторая сообщает, что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на

левую ногу. Третья лаконически сообщала, что у человека особых примет нет. Так что приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится. Во-первых, ни на одну ногу он не хромал и росту был не маленького и не громадного, а высокого, и коронки у него с левой стороны были платиновые, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных в цвет костюма туфлях. Серый берет он заломил лихо на правое ухо, под мышкой нес трость с золотым набалдашником в виде головы пуделя. Он не хромал, а как бы из кокетства немного волочил левую ногу.

Лет сорока с лишним. Рот кривой начисто. Лицо кирпичного цвета, выбритое гладко. Один глаз черный, а другой зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой сидели редактор и поэт, иностранец покосится на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке в двух шагах от приятелей.

«Немец...» — подумал Берлиоз.

«Англичанин, — подумал Понырев, — ишь, и не жарко ему в перчатках?»

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймляющие пруды, причем заметно стало, что видит это место он впервые, а также, что оно его заинтересовало. Сперва он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражавших в стеклах изломанное солнце, затем перевеют его вниз, где стекла печально почернели, почему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, развязно положил нога на ногу, а подбородок на набалдашник.

— Итак, резюмирую, — говорил Берлиоз, — нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Христа, взяв его у других! И если ты спросишь меня...

Но Понырев ничего не спросил, а вместо этого сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче. И тут Берлиоз вынужден был прекратить свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к нему. Литераторы поглядели на него удивленно.

— Извините меня, пожалуйста, — заговорил иностранец с легким акцентом, — что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как пожать протянутую руку, с которой иностранец ловко сдернул серую перчатку.

«Нет, скорее, француз...» — подумал Берлиоз.

«Поляк», — подумал Понырев.

Необходимо добавить, что на Понырева иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу, наоборот, очень понравился.

— Разрешите мне немного сесть? — также вежливо попросил незнакомец, и приятели как-то неловко раздвинулись, а иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор.

— Если я не ослышался, — заговорил он, поглядывая то на Берлиоза, то на поэта, переставшего икать, — вы изволили говорить, что Иисуса Христа не было на свете?

— Нет, вы не ослышались, — учтиво ответил Берлиоз, — именно это я говорил.

— Ах, как интересно! — воскликнул иностранец.

«Какого черта ему надо?» — подумал Понырев и нахмурился.

— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведомился неизвестный, повернувшись к Понырему.

— На все сто! — подтвердят Понырев, любящий выражаться вычурно и фигурально.

— Изумительно! — вскричал непрошеный собеседник. После этого он, воровски почему-то оглянувшись и снизив почти до шепота голос, сказал: — Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы вообще не верите в Бога? — Он сделал испуганные глаза и прибавил: — Клянусь, я никому не скажу.

— Мы не верим в Бога, — улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз, — и не боимся, если об этом кто-нибудь узнает.

Иностранец на спинку откинулся и спросил, даже привизгнув от любопытства:

— Вы — атеисты?!

— Да, мы атеисты, — весело ответил Берлиоз, а По-

нырев подумал, рассердившись: «Вот болван заграничный прицепился!»

— Ах, какая прелесть! — вскричал странный иностранец и завертел головой, глядя на приятелей.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, —большинство нашего населения сознательно и давно уже перестало верить сказкам о Боге. У нас имеет место обратное явление: величайшей редкостью является верующий человек.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному Берлиозу руку, произнося при этом такие слова:

— Позвольте вас поблагодарить от души!

— Это за что же вы его благодарите? — заморгав глазами, осведомился Понырев.

— За очень важное сведение, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, произвело на него сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...» — подумал Берлиоз.

«Где он так насобачился говорить по-русски?» — подумал Понырев и нахмурился. Ему захотелось курить, а папиросы все вышли.

— Но позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья осведомился заграничный гость, — как же быть с доказательствами бытия божия, коих существует ровно пять?

— Увы, — с сожалением ответят Берлиоз, — ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и их давно уже человечество сдало в архив. Согласитесь, что в области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может.

— Браво! — вскричал иностранец. — Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старикашки Иммануила по этому поводу! Но вот курьез: он начисто разрушил все доказательства, а затем, как бы в насмешку над собою, соорудил собственное шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный Берлиоз, сразу сообразивший, о

ком идет речь, — также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому поводу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил и в это время думал: «Но все-таки, кто же он такой? Он великолепно говорит по-русски!»

— Взять бы этого Канта, да за эти самые доказательства года на три в Соловки! — неожиданно бухнул Иван Николаевич.

— Иван! — сконфузившись, шепнул Берлиоз.

Но предложение направить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, а, напротив, привело в восторг.

— Именно! Именно!—закричал он, и глаз его, обращенный к Ивану, засверкал. — Ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком — ты, профессор, какую-то чепуху придумал, ведь над тобой смеяться будут!

Берлиоз вытаращил глаза, глянул на иностранца. «За завтраком... Канту?..» — подумал он.

— Но, — продолжая иностранец, не смущаясь изумлением Берлиоза, — водрузить его в Соловки невозможно, по той причине, что он уже сто двадцать пять лет находится в местах, гораздо более отдаленных от Патриарших прудов, чем Соловки.

— Жаль! — отозвался Иван, не совсем разобравшись в последних словах своего противника, а просто испытывая раздражение против него и не обращая внимания на укоризненное подмигивание и гримасы Берлиоза.

— И мне жаль! — подтвердил неизвестный и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нету, то, спрашивается, кто же управляет жизнью на земле? — и он повел рукой, указывая на дома.

— Человек! — сурово ответил Иван Николаевич.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как всем понятно, составить точный план на некоторый хоть сколько-нибудь приличный срок. И вот, позвольте вас спросить, как же может управлять жизнью человек, если он такого плана не может составить даже на смехотворный срок лет в сто, скажем, и вообще не может ручаться даже хотя бы за свой завтрашний день? И в самом деле,—тут неизве-

стный обратился к Берлиозу, — вообразите, только что вы начнете управлять, распоряжаться другими и собою, вообще входить во вкус... и вдруг у вас... кхе, кхе... саркома! — Тут иностранец сладко хихикнул, как будто мысль о саркоме доставила ему удовольствие. — Саркома, — повторил он, щурясь, звучное слово. — И вот, какое уж тут управление! Ничья судьба вас более не интересует... К гадалкам, бывали случаи, обращались образованнейшие люди! И через некоторое время тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, уже не сидит за своим столом, а лежит в деревянном ящике, и оркестр играет над ним, и плохо играет, марш Шопена. И окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, выбрасывают его в печку. А бывает и хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, ведь пустяковое, казалось бы, дело, и этого сделать не может, потому что вдруг поскользнется да и попадет под трамвай! Что же, вы скажете, это он сам собой управлял? Не лучше ли думать, что кто-то управился с ним другой?

И здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.

Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и тревожные какие-то мысли начали мучить его. «Он не иностранец! Он не иностранец, — напряженно размышлял он, — он престранный тип! Но, позвольте, кто же он такой?»

— Вы хотите курить? — внезапно обратился к Понырему иностранец и взялся за карман. — Вы какие предпочитаете?

— А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил Иван Николаевич.

— Какие предпочитаете? — учтиво повторил неизвестный.

— «Нашу марку», — злобно ответил Иван.

Иностранец немедленно вытащил из кармана портсигар и галантно преложил Понырему:

— «Наша марка»!

Поэта и редактора не столько поразила «Наша марка», сколько портсигар. Он был громадных размеров, чистого золота, и на крышке его сверкнула синим и белым огнем алмазная буква «F».

«Нет, иностранец»! — подумал Берлиоз.

Закурили.

«Надо будет ему возразить, а то уж очень он бойко разговорился! — думал Берлиоз. — И возразить так: да, человек смертен, но это ничего не значит...»

Однако он не успел ничего сказать, как сказал иностранец:

— Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

«Какая-то дурацкая постановка вопроса!» — помыслил Берлиоз и вслух сказал:

— Ну, здесь уж есть некоторое преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что если на Бронной мне свалится на голову кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно заговорил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, что вам он ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другой смертью.

— Может быть, вы знаете, какой, — с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, — и скажете мне?

— Охотно, — отозвался незнакомец. Он прищурился на Берлиоза, смерил его взором, как будто собирался сшить ему костюм, и сквозь зубы пробормотал: — Раз... Меркурий во втором доме... ушла луна... шесть — несчастье, вечер семь... — и громко добавил: — Вам отрежут голову!

— А кто? — спросил Берлиоз. — Интервенты? — Он усмехнулся. — Немцы?

— Нет, — ответил неизвестный, — русская комсомолка.

— Гм... — криво ухмыльнувшись неловкой шутке иностранца, сказал Берлиоз, — простите, но это маловероятно.

— Итак, позвольте вас спросить, что вы будете делать сегодня вечером, если не секрет?

— Секрета нет. Сегодня в 10 часов в Массолите будет заседание, и я буду председательствовать на нем.

— Нет, этого быть никак не может, — твердо заявил иностранец.

— Это почему? — спросил Берлиоз, на сей раз с раздражением.

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили птицы, — что Аннушка уже купила постное масло, и не только купила, но уже и разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, понятное дело, под липами наступило молчание.

— Простите, — сказал Берлиоз, дико глядя на иностранца, — я ничего не понял. При чем здесь постное масло?

— Постное масло здесь вот при чем, — вдруг заговорил Иван Николаевич, очевидно, решив объявить войну незваному собеседнику, — вам, гражданин, не приходилось бывать в сумасшедшем доме?

— Иван! — воскликнул Берлиоз.

Но иностранец ничуть не обиделся, а, наоборот, безумно развеселился.

— Бывал! Бывал! И не раз! — вскричал он со смехом, но не сводя несмеющегося глаза с Ивана Николаевича. — Где я только не бывал. Досадно только, что я не удосужился спросить у профессора толком, что такое мания фурибунда. Так что вы уж сами спросите об этом у него, Иван Николаевич!

Понырев изменился в лице.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, дорогой Иван Николаевич, кто же вас не знает? — сказал иностранец и вынул из кармана вчерашний номер еженедельного иллюстративного журнала, и Иван Николаевич тут же узнал на первой же странице и свои буйные вихры, и глаза, и собственные стихи. Однако на этот раз еще одно доказательство славы и популярности не обрадовало Понырева.

— Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело, — вы не можете подождать минуточку, я хочу товарищу пару слов сказать...

— О, с удовольствием! — с резким акцентом воскликнул иностранец. — Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.

— Вот что, Миша, — заговорил поэт тихо, оттащив в сторону Берлиоза, — это никакой не интурист, а шпион, это белый, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет.

— Почему шпион? — шепнул неприятно пораженный Берлиоз.

— Верь чутью, — засипел ему в ухо Иван Николаевич, — он дураком притворяется, чтобы выспросить кой-что. Идем, идем, а то уйдет...

И поэт за руку потянул расстроенного Берлиоза к скамейке. Незнакомец не сидел, а стоял возле скамейки, держа в руках визитную карточку.

— Извините меня, что я в пылу нашего интересного спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, а в кармане у меня и паспорт, подтверждающий то, что написано на карточке, — веско сказал иностранец, проницательно глядя на обоих друзей.

Те сконфузились, а иностранец спрятал карточку. Ивану Николаевичу удалось прочесть только начало первого слова «Professor» и начальную букву фамилии, опять-таки «F».

— Очень приятно, — сказал смущенно Берлиоз, — Берлиоз!

Опять произошли рукопожатия и опять сели на скамью.

— Вы в качестве консультанта, наверно, приглашены к нам, профессор? — спросят Берлиоз.

— Да, консультанта, — подтвердил профессор.

— Вы — немец? — спросил Иван.

— Я-то? — переспросил профессор и задумался. — Да, пожалуй, неметц... — сказал он.

— А у вас какая специальность? — ласково осведомился Берлиоз.

— Я специалист по черной магии.

«На тебе!» — воскликнул мысленно Иван.

— И... и вас по этой специальности пригласили к нам? — вытаращив глаза, спросят Берлиоз.

— По этой пригласили, — подтвердил профессор, — тут в государственной библиотеке нашли интересные рукописи Бэкона и бенедиктинского монаха Гильдебранда, тринадцатый и одиннадцатый век... Захотели... я их чтобы разбирают немного... Я специалист... первый в мире...

— А-а! Вы — историк? — с большим уважением спросят Берлиоз.

— Я — историк, — охотно подтвердил ученый и добавят: — Сегодня вечером будет смешная история.

Опять удивились и редактор, и поэт, а профессор пальцами обеих рук поманил их и, когда они наклонились к нему, прошептал:

— Имейте в виду, что Христос существовал.

— Видите ли, профессор, — смущенно улыбаясь, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши несомненно большие знания, но сами придерживаемся другой точки зрения...

— А не надо никаких точек зрения, — ответил профессор, — просто он существовал!

— Но какое же доказательство?..

— А никакого доказательства не надо, — заговорил профессор без всякого акцента, — просто в десять часов утра...

ГЛАВА 2

ЗОЛОТОЕ КОПЬЕ

В десять часов утра шаркающей кавалерийской походкой в перистиль под разноцветную колоннаду вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все предвещало нехороший день, потому что розовым маслом пропах весь мир. Казалось, что пальма пахнет розовым маслом, конвой, ненавистный балкон. Из недальней кордегардии заносило дымком — легионные кашевары начали готовить обед для дежурного манипула. Но прокуратору казалось, что и к запаху дыма примешивается поганая розовая струя.

«Пахнет маслом от головы моего секретаря, — думал прокуратор, — я удивляюсь, как моя жена может терпеть при себе такого вульгарного любовника... Моя жена дура... Дело, однако, не в розовом масле, а в том, что это мигрень. От мигрени же нет никаких средств в мире... попробую не вертеть головой...»

Из зала выкатили кресло, и прокуратор сел в него. Он протянул руку, ни на кого не глядя, и секретарь тотчас же вложил в нее кусок пергамента. Гримасничая, прокуратор проглядел написанное и сейчас же сказал:

— Приведите его.

Через некоторое время по ступенькам, ведущим с балкона в сад, двое солдат привели и поставили на бал-

коне молодого человека в стареньком, многостиранном и заштопанном таллифе. Руки молодого человека были связаны за спиной, рыжеватые вьющиеся волосы растрепаны, а под заплывшим правым глазом сидел громадных размеров синяк. Левый здоровый глаз выражал любопытство.

Прокуратор, стараясь не поворачивать головы, поглядел на приведенного.

— Лицо от побоев надо оберегать, — сказал по-арамейски прокуратор, — если думаешь, что это тебя украшает...

И прибавил:

— Развяжите ему руки. Может быть, он любит болтать ими, когда разговаривает.

Молодой человек приятно улыбнулся прокуратору.

Солдаты тотчас освободили руки арестанту.

— Ты в Ершалаиме собирался царствовать? — спросил прокуратор, стараясь не двигать головой.

Молодой человек развел руками и заговорил.

— Добрый человек...

Но прокуратор тотчас перебил его:

— Я не добрый человек. Все говорят, что я злой, и это верно.

Он повысил резкий голос:

— Позовите кентуриона Крысобоя!

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.

Крысобой на голову был выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что заслонил невысокое солнце.

Прокуратор сделал какую-то гримасу и сказал Крысобою по-латыни:

— Вот... называет меня «добрый человек»... Возьмите его на минуту в кордегардию, объясните ему, что я злой... Но я не терплю подбитых глаз перед собой!..

И все, кроме прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который жестом показал, что арестованный должен идти за ним. Крысобоя вообще все провожали взглядами, главным образом из-за его роста, а те, кто видел его впервые, — из-за того, что лицо Крысобоя было изуродовано: нос его в свое время был разбит ударом германской палицы.

Во дворе кордегардии Крысобой поставил перед собою арестованного, взял бич, лежащий на козлах, и, не сильно размахнувшись, ударил арестанта по плечам. Движение Крысобоя было небрежно и незаметно, но арестант мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, и некоторое время не мог перевести дух.

— Римский прокуратор, — заговорил гнусаво Марк, плохо выговаривая арамейские слова. — называть «Игемон»... Другие слова нет, Не говорить!.. Понимаешь?.. Ударить?

Молодой человек набрал воздуху в грудь, сбежавшая с лица краска вернулась; он протянул руку и сказал.

— Я понял. Не бей.

И через несколько минут молодой человек стоял вновь перед прокуратором.

— В Ершалаиме хотел царствовать? — спросил прокуратор, прижимая пальцы к виску.

— Я, до... Я, игемон, — заговорил молодой человек, выражая удивление здоровым глазом, — нигде не хотел царствовать.

— Лгуны всем ненавистны, — ответил Пилат, —а записано ясно: самозванец, так показывают свидетели, добрые люди.

— Добрые люди, — ответил, оживляясь, молодой человек и прибавил торопливо, — игемон, ничему не учились, поэтому перепутали все, что я говорил.

Потом помолчал и добавил задумчиво:

— Я полагаю, что две тысячи лет пройдет ранее... — он подумают еще, — да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной.

Тут на балконе наступило постное молчание.

Прокуратор поднял голову и, скорчив гримасу, поглядел на арестанта.

— За тобой записано немного, — сказал он, ненавидя свою боль и даже помышляя о самоубийстве, — но этого достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, ходит один с таблицей и пишет, — заговорил молодой человек, — достойный и добрый человек. Но однажды, заглянув в эту таблицу, я ужаснулся. Ничего этого я не говорил. И прошу его — сожги эту таблицу. Но он вырвал ее у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — спросил Пилат.

— Левий Матвей, — охотно пояснил арестант, — он был сборщиком податей, а я его встретил на дороге и разговорился с ним. Он послушал, деньги бросил на дорогу и сказал: я с тобой пойду путешествовать.

— Ершалаим, — сказал Пилат, поворачиваясь всем корпусом к секретарю, — город, в котором на Пасхе не соскучишься... Сборщик податей бросил деньги на дорогу!

— Подарил, — пояснил молодой человек, — шел мимо старичок, нес сыр. Он ему сказал: подбирай.

— Имя? — спросил Пилат.

— Мое? — спросил молодой человек, указывая себе на грудь.

— Мое мне известно, — ответил Пилат, — твое.

— Ешуа, — ответил молодой человек.

— Прозвище?

— Га-Ноцри.

— Откуда родом?

— Из Эн-Назира, — сказал молодой человек, указывая рукой вдаль.

Секретарь пристроился с таблицей к колонне и записывал на ней.

— Кто ты по национальности? Кто твои родители?

— Я — сириец.

— Никакого языка, кроме арамейского, не знаешь?

— Нет, я знаю латинский и греческий.

Пилат круто исподлобья поглядел на арестованного. Секретарь попытался поймать взгляд прокуратора, но не поймал и еще стремительнее начал записывать. Прокуратор вдруг почувствовал, что висок его разгорается все сильнее. По горькому опыту он знал, что вскоре вся его голова будет охвачена пожаром. Оскалив зубы, он поглядел не на арестованного, а на солнце, которое неуклонно ползло вверх, заливая Ершалаим, и подумал, что нужно было бы прогнать этого рыжего разбойника, просто крикнуть: «Повесить его!» Его увели бы. Выгнать конвой с балкона, припадая на подагрические ноги, притащиться внутрь, велеть затемнить комнату, лечь, жалобным голосом позвать собаку, потребовать холодной воды из источника, пожаловаться собаке на мигрень.

Он поднял мутные глаза на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на

проклятом ершалаимском солнцепеке стоит перед ним этот бродяга с избитым лицом и какие ненужные и глупые вопросы еще придется ему задавать.

— Левий Матвей? — хрипло спросил больной прокуратор и закрыл глаза, чтобы никто не видел, что происходит с ним.

— Да, добрый человек Левий Матвей, — донеслись до прокуратора сквозь стук горячего молота в виске слова, произнесенные высоким голосом.

— А вот, — с усилием и даже помолчав коротко, заговорил прокуратор, — что ты рассказывают про царство на базаре?

— Я, игемон, — ответил, оживляясь, молодой человек, — рассказывал про царство истины добрым людям и больше ни про что не рассказывал. После чего прибежал один добрый юноша, с ним другие, и меня стали бить и связали мне руки.

— Так, — сказал Пилат, стараясь, чтобы его голова не упала на плечо. «Я сказал «так», — подумал страдающий прокуратор. — что означает, что я усвоил что-то, но я ничего не усвоил из сказанного», — и он сказал:

— Зачем же ты, бродяга, на базаре рассказывал про истину, не имея о ней никакого представления? Что такое истина?

И подумал: «О, боги мои, какую нелепость я говорю. И когда же кончится эта пытка на балконе?»

И он услышал голос, сказавший по-гречески:

— Истина в том, что у тебя болит голова и болит так, что ты уже думаешь не обо мне, а об яде. Потому что, если она не перестанет болеть, ты обезумеешь. И я твой палач, о чем я скорблю. Тебе даже и смотреть на меня не хочется, а хочется, чтобы пришла твоя собака. Но день сегодня такой, что находиться в состоянии безумия тебе никак нельзя, и твоя голова сейчас пройдет.

Секретарь замер, не дописав слова, глядел не на арестанта, а на прокуратора. Каковой не шевелился.

Пилат поднял мутные глаза и страдальчески поглядел на арестанта и увидел, что солнце уже на балконе, печет голову арестанту, он щурит благожелательный глаз, а синяк играет радугой.

Затем прокуратор провел рукою по лысой голове, и муть в его глазах растаяла. После этого прокуратор при-

поднялся с кресла, голову сжал руками, и на обрюзгшем его лице выразился ужас.

Но этот ужас он подавил своей волей.

А арестант между тем продолжал свою речь, и секретарю показалось, что он слышит не греческие хорошо знакомые слова, а неслыханные, неизвестные.

— Я, прокуратор, — говорил арестант, рукой заслоняясь от солнца, — с удовольствием бы ушел с этого балкона, потому что, сказать по правде, не нахожу ничего приятного в нашей беседе...

Секретарь побледнел, как смерть, и отложил таблицу.

— То же самое я, впрочем, советовал бы сделать и тебе, — продолжал молодой человек, — так как пребывание на нем принесет тебе, по моему разумению, несчастия впоследствии. Мы, собственно говоря, могли бы отправиться вместе. И походить по полям. Гроза будет, — молодой человек отвернулся от солнца и прищурил глаз, — только к вечеру. Мне же пришли в голову некоторые мысли, которые могли бы тебе понравиться. Ты к тому же производишь впечатление очень понятливого человека.

Настало полное и очень долгое молчание. Секретарь постарался уверить себя, что ослышался, представил себе этого Га-Ноцри повешенным тут же у балкона, постарался представить, в какую именно причудливую форму выльется гнев прокуратора, не представил, решил, что что-то нужно предпринять, и ничего не предпринял, кроме того, что руки протянул по швам.

И еще помолчали.

После этого раздался голос прокуратора:

— Ты был в Египте?

Он указал пальцем на таблицу, и секретарь тотчас поднес ее прокуратору, но тот отпихнул ее рукой.

— Да, я был.

— Ты как это делаешь? — вдруг спросил прокуратор и уставил на Ешуа зеленые, много видевшие глаза. Он поднес белую руку и постучал по левому желтому виску.

— Я никак не делаю этого, прокуратор, — сказал, светло улыбнувшись единственным глазом, арестант.

— Поклянись!

— Чем? — спросил молодой человек и улыбнулся пошире.

— Хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, причем добавил, что ею клясться как раз время — она висит на волоске.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил юноша. — Если это так, то ты ошибаешься.

— Я могу перерезать этот волосок, — тихо сказал Пилат.

— И в этом ты ошибаешься. Но об этом сейчас, я думаю, у тебя нет времени говорить. Но пока еще она висит, не будем сотрясать воздух неумными и бессмысленными клятвами. Ты просто поверь мне — я не врач.

Секретарь искоса заглянул в лицо Пилату и мысленно приказал себе ничему не удивляться.

Пилат усмехнулся.

— Нет сомнения в том, что толпа собиралась вокруг тебя, стоило тебе раскрыть рот на базаре?

Молодой человек улыбнулся.

— Итак, ты говорил о царстве истины?

— Да.

— Скажи, пожалуйста, существуют ли злые люди на свете?

— Нет.

— Я впервые слышу об этом, и, говоря твоим слогом, ты ошибаешься. К примеру — Марк Крысобой-кентурион — добрый?

— Да, — ответил [юноша], — он несчастливый человек. С тех пор, как ему переломили нос добрые люди, он стал нервным и несчастным. Вследствие этого дерется.

Пилат стал хмур и посматривал на Ешуа искоса.

Потом проговорил:

— Добрые люди бросались на него со всех сторон, как собаки на медведя. Германцы висели на нем. Они вцепились в шею, в руки, в ноги, и, если бы я не дорвался до него с легионерами Марка Крысобоя не было бы на свете. Это было в бою при Идиставизо. Но не будем спорить о том, добрые ли люди германцы или недобрые... Так ты бродяга, стало быть, ты должен молчать!

Арестант моргнул испуганно глазом и замолчал.

Тут внезапно и быстро на балкон вошел молодой офицер из легиона с таблицей и передал ее секретарю.

Секретарь бегло проглядел написанное и тотчас подал таблицу Пилату со словами:

— Важное дополнение из Синедриона.

Пилат, сморщившись, не беря в руки таблицу, прочел написанное и изменился в лице.

— Кто этот из Кериота? — спросил он тихо.

Секретарь пожал плечами.

— Слушай, Га-Ноцри! — заговорил Пилат. — И думай, прежде чем ответить мне: в своих речах ты упоминал имя великого кесаря? Отвечай правду!

— Правду говорить приятно, — ответил юноша.

— Мне неинтересно, — придушенным голосом отозвался Пилат, — приятно тебе это или нет. Я тебя заставлю говорить правду. Но думай, что говоришь, если не хочешь непоправимой беды.

— Я, — заговорил молодой человек, — познакомился на площади с одним молодым человеком по имени Иуда, он из Кериота...

— Достойный человек? — спросил Пилат каким-то певучим голосом.

— Очень красивый и любознательный юноша, но мне кажется, — рассказывал арестант, — что над ним нависает несчастье. Он стал меня расспрашивать о кесаре и пожелал выслушать мои мысли относительно государственной власти...

Секретарь быстро писал в таблице.

— Я и высказал эти мысли.

— Какие же это были мысли, негодяй? — спросил Пилат.

— Я сказал, — ответил арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда никакой власти не будет. Человек перейдет в царство истины, и власть ему будет не нужна.

Тут с Пилатом произошло что-то страшное. Виноват ли был в этом усиливающийся зной, били ли ему в глаза лучи, отражавшиеся от белых колонн балкона, только ему померещилось, что лицо арестанта исчезло и заменилось другим — на лысой голове, криво надетый, сидел редкозубый венец; на лбу — смазанная свиным салом с какой-то специей — разъедала кожу и кость круг-

лая язва; рот беззубый, нижняя губа отвисла. Пилату померещилось, что исчезли белые камни, дальние крыши Ершалаима, вокруг возникла каприйская зелень в саду, где-то тихо проиграли трубы, и сиплый больной голос протянул:

— Закон об оскорблении...

Пилат дрогнул, стер рукой все это, опять увидел обезображенное лицо арестанта и подумал: «Боги, какая улыбка!»

— На свете не было, нет и не будет столь прекрасной власти, как власть божественного кесаря, и не тебе, бродяга, рассуждать о ней! Оставьте меня здесь с ним одного, здесь оскорбление величества!

В ту же минуту опустел балкон, и Пилат сказал арестанту:

— Ступай за мной!

В зале с золотым потолком остались вдвоем Пилат и арестант. Было тихо, но ласточка влетела с балкона и стала биться под потолком — вероятно, потеряв выход. Пилату показалось, что она шуршит и кричит: «Караван — караван».

Молчание нарушил арестант.

— Мне жаль, — сказал он, — юношу из Кериота. У меня есть предчувствие, что с ним случится несчастье сегодня ночью, и несчастье при участии женщины, — добавил он мечтательно.

Пилат посмотрел на арестанта таким взглядом, что тот испуганно заморгал глазом. Затем Пилат усмехнулся.

— Я думаю, — сказал он придушенным голосом, — что есть кой-кто, кого бы тебе следовало пожалеть еще ранее Искериота. Не полагал ли ты, что римский прокуратор выпустит негодяя, произносившего бунтовщические речи против кесаря? Итак, Марк Крысобой, Иуда из Кериота, люди, которые били тебя на базаре, и я, это все — добрые люди? А злых людей нет на свете?

— Нет, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, — сказал арестант.

— В греческих ли книгах ты вычитал это или дошел своим умом?

— Своим умом дошел, — ответил арестант.

— Оно не настанет, — вдруг закричал Пилат боль-

ным голосом, как кричал при Идиставизо: «Крысобой попался!» — Сейчас, во всяком случае, другое царство, и, если ты рассчитывал проповедовать и дальше, оставь на это надежду. Твоя проповедь может прерваться сегодня вечером! Веришь ли ты в богов?

— Я верю в Бога, — ответил арестант.

— Так помолись же ему сейчас, да покрепче, чтобы он помутил разум Каиафы. Жена, дети есть? — вдруг тоскливо спросил Пилат и бешеным взором проводил ласточку, которая выпорхнула.

— Нет.

— Ненавистный город, — заговорил Пилат и потер руки, как бы обмывая их, — лучше бы тебя зарезали накануне. Не разжимай рот! И если ты произнесешь хотя одно слово, то поберегись меня!

И Пилат закричал:

— Эй! Ко мне!

Тут же в зале Пилат объявил секретарю, что он утверждает смертный приговор Синедриона, приказал Ешуа взять под стражу, кормить, беречь, как зеницу ока, и Марку Крысобою сказал:

— Не бить!

Затем Пилат приказал пригласить к нему во дворец председателя Синедриона, первосвященника Каиафу.

Примерно через полчаса под жгучим уже солнцем у балкона стояли прокуратор и Каиафа. В саду было тихо, но вдали ворчало, как в прибое, море и доносило изредка к балкону слабенькие выкрики продавцов воды, — верный знак, что ершалаимская толпа тысяч в пять собралась у лифостротона, ожидая с любопытством приговора.

Пилат начал с того, что вежливо пригласил Каиафу войти во дворец.

Каиафа извинился и отказался, сославшись на то, что закон ему не позволяет [сделать это] накануне праздника.

— Я утвердил приговор мудрого Синедриона, — заговорил Пилат по-гречески, — итак, первосвященник, четверо приговорены к смертной казни. Двое числятся за мной, и о них здесь речь идти не будет. Но двое — за Синедрионом — Варраван Иисус, приговоренный за попытку возмущения в Ершалаиме и убийство двух городских стражников, и второй — Га-Ноцри Ешуа, или

Иисус. Завтра праздник Пасхи. Согласно закону, одного из двух преступников нужно будет выпустить на свободу в честь праздника. Укажи же мне, первосвященник, кого из двух преступников желает освободить Синедрион — Варравана Иисуса или Га-Ноцри Иисуса? Прибавлю к этому, что я, как представитель римской власти, ходатайствую о выпуске Га-Ноцри. Он — сумасшедший, а особенно дурных последствий его проповедь не имела. Храм оцеплен легионерами и охраняется, ершалаимские зеваки и врали, — вяло и скучным голосом говорил Пилат, — ходившие за Га-Ноцри, разогнаны, Га-Ноцри можно выслать из Ершалаима; между тем в лице Варравана мы имеем дело с очень опасным человеком; не говоря уже о том, что он убийца, но взяли его с бою и в то время, когда он призывал к прямому бунту против римской власти. Итак?

Чернобородый Каиафа ответил прокуратору:

— Великий Синедрион в моем лице просит выпустить Варравана.

— Даже после моего ходатайства? — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну. — Повтори, первосвященник.

— Даже после твоего ходатайства прошу за Варравана, — твердо повторил Каиафа.

— Подумай, первосвященник, прежде чем в третий раз ответить, — глухо сказал Пилат.

— В третий раз прошу за Варравана, — отозвал <...>[1] <...> неповинного бродячего философа! Темным изуверам от него — беда! Вы предпочитаете иметь дело с разбойником! Но, Каиафа, дешево ты не купишь Га-Ноцри, это уж я тебе говорю! Увидишь ты легионы в Ершалаиме, услышишь ты плач!

— Знаю, знаю, Пилат, — сказал тихо Каиафа, — ты ненавидишь народ иудейский и много зла ему еще причинишь, но вовсе ты его не погубишь!

Наступило молчание.

— О, род преступный! О, темный род! — вдруг негромко воскликнул Пилат, покривив рот и качая головою.

---

[1] В этом месте два листав рукописи вырваны. Сохранились лишь узкие полоски с обрывками слов.

Каиафа побледнел и сказал, причем губы его тряслись:

— Если ты, игемон, еще что-нибудь оскорбительное скажешь, уйду и не выйду с тобой на лифостротон!

Пилат поднял голову, увидел, что раскаленный шар как раз над головой и тень Каиафы съежилась у него под ногами, и сказал спокойным голосом:

— Полдень — пора на лифостротон.

Через несколько минут на каменный громадный помост поднялся прокуратор Иудеи, следом за ним первосвященник Каиафа и охрана Пилата.

Многотысячная толпа взревела, и тотчас цепи легионеров подались вперед и оттеснили ее. Она взревела еще сильнее, и до Пилата донеслись отдельные слова, обрывки хохота, вопли придавленных, свист.

Сжигаемый солнцем, прокуратор поднял правую руку, и шум словно сдунуло с толпы. Тогда Пилат набрал воздуху и крикнул, и голос, сорванный военными командами, понесло над толпой:

— Именем императора!

В ту же секунду над цепями солдат поднялись лесом копья, сверкнули, поднявшись, римские орлы, взлетели на копьях охапки сена.

— Бродяга и тать, именуемый Иисус Га-Ноцри, совершил преступление против кесаря!..

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце, и оно выжгло ему глаза. Зеленым огнем загорелся его мозг, и опять над толпой полетели хриплые слова:

— Вот он, этот бродяга и тать!

Пилат не обернулся, ему показалось, что солнце зазвенело, лопнуло и заплевало ему уши. Он понял, что на помост ввели Га-Ноцри и, значит, взревела толпа. Пилат поднял руку, опять услышал тишину и выкрикнул:

— И вот этот Га-Ноцри будет сейчас казнен!

Опять Пилат дал толпе выдохнуть вой и опять послал слова:

— Чтобы все знали, что мы не имеем царя, кроме кесаря!

Тут коротко, страшно прокричали в шеренгах солдаты, и продолжал Пилат:

— Но кесарь великодушен, и поэтому второму преступнику Иисусу Вар-Раввану...

«Вот их поставили рядом», — подумал Пилат и, когда стихло, продолжал; и слова, выкликаемые надтреснутым голосом, летели над Ершалаимом:

— ...осужденному за призыв к мятежу, кесарь император в честь вашего праздника, согласно обычаю, по ходатайству великого Синедриона, подарил жизнь!

Вар-Равван, ведомый за правую руку Марком Крысобоем, показался на лифостротоне между расступившихся солдат. Левая сломанная рука Вар-Раввана висела безжизненно. Вар-Равван прищурился от солнца и улыбнулся толпе, показав свой с выбитыми передними зубами рот.

И уже не просто ревом, а радостным стоном, визгом встретила толпа вырвавшегося из рук смерти разбойника и забросала его финиками, кусками хлеба, бронзовыми деньгами.

Улыбка Раввана была настолько заразительна, что передалась и Га-Ноцри.

И Га-Ноцри протянул руку, вскричал:

— Я радуюсь вместе с тобой, добрый разбойник! Иди, живи!

И тут же Раввана Крысобой легко подтолкнул в спину, и Вар-Равван, оберегая больную руку, сбежал по боковым ступенькам с каменного помоста и был поглощен воющей толпой.

Тут Ешуа оглянулся, все еще сохраняя на лице улыбку, но отражения ее ни на чьем лице не встретил. Тогда она сбежала с его лица. Он повернулся, ища взглядом Пилата. Но того уже не было на лифостротоне.

Ешуа попытаются улыбнуться Крысобою, но и Крысобой не ответил. Был серьезен так же, как и все кругом.

Ешуа глянул с лифостротона, увидел, что шумящая толпа отлила от лифостротона, а на се место прискакал конный сирийский отряд, и Ешуа услышал, как каркнула чья-то картавая команда.

Тут Ешуа стал беспокоен. Тревожно покосился на солнце. Оно опалило ему глаза, он закрыл их и почувствовал, что его подталкивают в спину, чтобы он шел.

Он заискивающе улыбнулся какому-то лицу. Это лицо осталось серьезным, и Ешуа двинулся с лифостротона.

И было десять часов утра.

ГЛАВА 3

СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

— И было десять часов утра, многоуважаемый Иван Николаевич, — сказал профессор.

Иван провел рукой по лицу, как человек, только что очнувшийся после сна, и увидел, что на Патриарших прудах вечер.

Дышать стало полегче, вода в пруде почернела, легкая лодочка скользила по ней, слышался всплеск весла. Небо как бы выцвело над Москвой, и видна уже была в высоте луна, но не золотая еще, а белая. Голоса под липами зазвучали мягче, по-вечернему.

«Как это я не заметил, что он наплел целый рассказ? — подумал Иван. — Вот уже и вечер, а может, это и не он рассказывал, а просто я заснул?»

Но, очевидно, рассказывал профессор, или Берлиозу приснилось то же, что и Ивану, потому что Берлиоз сказал, всматриваясь в лицо иностранцу:

— Ваш рассказ очень интересен, хотя и не совпадает с евангельскими рассказами...

— Ну уж кому же лучше знать это происшествие, чем мне, — ответил очевидец самонадеянный профессор.

— Боюсь, — сказал Берлиоз, — что никто не может подтвердить, что все это так и происходило...

— Нет, это может кто подтвердить, — ломаным языком отозвался профессор и вдруг таинственно поманил обеими руками приятелей к себе.

Те наклонились к нему, и он сказал, но уж без всякого акцента:

— Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. Был на балконе у Понтия Пилата и на лифостротоне, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что, пожалуйста, — никому ни слова и полнейший секрет! Т-сс!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.

— Вы... вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим голосом спросил он.

— Я сейчас только что приехал в Москву, — растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему в глаза и увидели — Берлиоз, что левый зеленый глаз у него совершенно безумен, а Понырев, что правый — мертв и черен.

«Вот все и разъяснилось! — подумал Берлиоз. — Приехал сумасшедший немец! Или только что спятил. Вот так история!»

Берлиоз был решительным и сообразительным человеком. Прежде всего, откинувшись на спинку скамьи, он замигал за спиной профессора Ивану Николаевичу — мол, не противоречь ему! — и Иван его понял.

— Да, да, да! — заговорил Берлиоз возбужденно. — Впрочем, все это возможно... очень возможно... и Понтий Пилат и балкон... А вы один приехали или с супругой?..

— Один, один, я всегда один, — горько ответил профессор.

— А ваши вещи где, профессор? — вкрадчиво продолжал осведомляться Мирцев. — В «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я — нигде, — ответил немец, тоскливо и дико блуждая зеленым глазом по Патриаршим прудам.

— Как?! А где же вы будете жить?

— В вашей квартире, — вдруг, развязно подмигнув, ответил сумасшедший.

— Я... очень рад, но, право, вам будет у меня неудобно... В «Метрополе» чудные номера, первоклассная гостиница...

— А дьявола тоже нет? — вдруг раздраженно спросил сумасшедший у Ивана.

— И дьявола...

— Не противоречь! — шепнул Мирцев.

— Нету никакого дьявола! — растерявшись, закричал Иван не то, что нужно. — Вот вцепился! Перестаньте вы психовать!

Безумный расхохотался так, что из липы над головами сидящих выпорхнул воробей.

— Ну уж это положительно интересно, — трясясь от хохота, проговорил немец, — что ж это у вас действительно ничего нету! Что ни спросишь — нету! Нету!

— Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор, — бормотал Мирцев, — вы посидите минуточку с товарищем Поныревым, а я только сбегаю на угол, позвоню по телефону, а потом мы вас проводим, ведь вы не знаете города!..

План Мирцева был правилен: добежать до ближайшего телефона-автомата и позвонить куда следует, что,

вот, приезжий из-за границы консультант бродит по Патриаршим прудам в состоянии ненормальном. Так вот, чтобы приняли меры, а то получается какая-то неприятная чепуха.

— Позвонить? Пожалуйста, позвоните, — отозвался бойкий профессор, — но умоляю вас на прощание, поверьте хоть в то, что дьявол существует! Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство!

— Хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково проговорил Мирцев и, подмигнув расстроенному Ивану, которому вовсе не улыбалось караулить сумасшедшего, устремился по аллее к выходу на угол Бронной и переулка.

А профессор тотчас как будто и выздоровел и посвежел.

— Михаил Александрович! — крикнул он вдогонку Мирцеву.

Мирцев, вздрогнув, остановился, но вспомнил про журнал и несколько успокоился.

— А?

— Не прикажете ли, я велю дать телеграмму вашему дяде в Киев?

Опять дрогнул Мирцев. «Откуда же он знает, что у меня дядя в Киеве? Эге... ге... Уж не прав ли Иван... Это не иностранец! Ой, какая история! Звонить, звонить! Его быстро разъяснят!» И, уже не слушая больше, он побежал дальше.

И тут со скамейки у самого выхода поднялся навстречу редактору в точности тот самый субъект, что совсем недавно соткался из жирного зноя. Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, так что Мирцев в наступающем предвечерьи отчетливо разглядел, что усишки у него как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, жокейский картузик, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки.

Михаил Александрович содрогнулся, попятился даже, но утешил себя мыслью, что это глупое совпадение, что вообще сейчас думать об этом некогда.

— Турникет ищете, гражданин? — треснувшим тенором осведомился субъект. — Вы аккуратны, секунда в секунду, и хорошо... Ваш срок истекает, гражданин... Сюда пожалуйте! Прямо попадете, куда надо... С вас бы

за указание на четверть литра, — кривляясь, кричал субъект, — бывшему регенту!..

Но Мирцев не стал кушать назойливого ломаку-попрошайку и быстро тронулся к турникету.

Он повернул его и собрался шагнуть, как вдруг в темнеющем воздухе над ним вспыхнул красный и белый свет — загорелся стеклянный ящик с надписью: «Берегись трамвая!»

Тотчас и подлетел этот трамвай, вышедший с Садовой на Бронную. Выйдя на прямую, он внезапно осветился электричеством, наддал, взвыл.

Осторожный Мирцев. хоть и стоял безопасно, решил попятиться за турникет. Он переложил руку на турникете, переступил, и сейчас же рука его скользнула и сорвалась, нога поехала по булыжникам неудержимо, как по льду, другую подбросило, и Мирцев оказался лежащим на рельсах. Он упал навзничь, успел повернуться и, повернувшись, увидел в высоте где-то сбоку уже позлащенную луну, а над собою в стекле — белое от смертельного ужаса девичье лицо вожатой. Она была в красной повязочке.

Мирцев не успел ни крикнуть, ни простонать. Вожатая ударила по тормозу, взвизгнула, вагон сел носом в землю, подпрыгнул потом и сразу накрыл Мирцева. Стекла вылетели. Луна сбоку прыгнула и разлетелась в куски, чей-то голос в мозгу крикнул: «О, Боже! Неужели!» Тело скомкало, и с рельса выбросило на Бронную круглый, темный предмет— отрезанную голову Мирцева.

ГЛАВА 4

ПОГОНЯ

Утихли безумные женские визги на Бронной, отсверлили свистки милиционеров, отвыли сирены двух машин, увезших — одна обезглавленное тело, а другая — раненных стеклами вожатую и милиционера, бывшего на передней площадке, а Иван Николаевич Понырев, как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней сидеть.

Он несколько раз пытаются подняться, но ноги его не послушались, с Иваном случилось что-то вроде паралича.

Вспоминая, как голова подскакивала в сумерках по мостовой, Иван несколько раз укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он забыл и старался понять только одно, как это может быть, что вот только что, только что он говорил с этим человеком и через минуту... голова... голова... О, Боже, как же это может быть?

Народ бежал по аллее мимо обезумевшего Ивана, возбужденно перебрасываясь словами, но Иван никаких слов не воспринимал.

Но, неожиданно, у самой скамьи Ивана столкнулись две женщины, и одна из них, взволнованная, востроносая, над самым ухом поэта закричала так:

— Аннушка! Аннушка! Говорю тебе, ее работа. Аннушка Гречкина с Садовой. Взяла в бакалее на Бронной постное масло, да банку-то об вертушку эту и разбей! Уж она ругалась, ругалась! А он, бедный, стало быть, поскользнулся, да и поехал из-под вертушки!..

Дальнейших слов Иван не слыхал, женщины пробежали. Из всего выкрикнутого женщиной в больной мозг Ивана вцепилось почему-то только одно слово «Аннушка». Несчастный напряг голову, мучительно вспоминая, что связано с этим именем.

— Аннушка... Аннушка... — забормотал Иван Николаевич, безумно глядя в землю, — позвольте, позвольте...

Тут к слову «Аннушка» прицепились слова «постное масло», затем почему-то вспомнился Понтий Пилат и опять померещилась отрезанная голова.

В голове Ивана вдруг стало светлеть, светлеть, и в несколько секунд он подобрал цепь из этих слов, и цепь эта — ужасная цепь — привела прямо к сумасшедшему профессору.

Силы вдруг вернулись к Ивану, он не сидел уже, а стоял.

Позвольте! Позвольте! Да ведь он же, профессор, сказал, что Аннушка разлила уже постное масло... Да он прямо же сказал... «Вам отрежет голову...» И вожатая-то ведь женщина была, женщина, поймите!

Да, не оставалось и тени, зерна сомнения в том, что этот таинственный консультант знал, точно знал заранее всю картину ужасной смерти Мирцева! Да как же это может быть?!

Тогда две мысли пронизали мозг Ивана Николаевича: «Нет, он не сумасшедший!» — и другая: «Он подстроил это все, он убил Мирцева». Но как?!

— Э, нет, это мы узнаем!— сквозь зубы сам себе сказал Иван Николаевич. Все существо его сосредоточилось на одном: сию же минуту найти этого профессора, а найдя его, — арестовать. Но, ах, ах... не ушел бы он! Где он?

Но профессор не ушел.

Озираясь, Иван отбежал от скамейки и тотчас увидел его.

Он — профессор, а может быть, и не профессор, а страшный, таинственный убийца стоял там, где Иван его покинул. Золотая луна светила над Патриаршими, Иван его хорошо разглядел в профиль. Да, это он, и трость он взял под мышку.

Отставной втируша-регент сидел неподалеку на скамейке. Теперь он нацепил себе на нос явно ненужное ему пенсне, в котором одного стеклышка совсем не было, а другое треснуло. От этого регент стал еще гаже, чем был тогда, когда указал Мирцеву путь на рельсы.

Чувствуя, что ноги дрожат, Иван с пустым и холодным сердцем приблизился к профессору, и тот повернулся к Ивану. Тогда Иван глянул ему в лицо и понял, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет.

— Сознавайтесь, кто вы такой? — глухо спросил Иван.

Иностранец насупился и сказал неприязненно:

— Их ферштейн нихт.

— Они не понимают, — ввязался пискливо со скамейки регент, хоть его никто и не просил перевозить.

— Не притворяйтесь! — грозно сказал Иван и почувствовал холод под ложечкой. — Вы только [что] говорили по-русски!

Иностранец глядел на Ивана, и тот видел, отчетливо видел, что в глазах у него глумление.

— Вы не немец, вы не профессор, — тихо продолжал Иван. — вы — убийца! Вы знали про постное масло! Знали? Документы! — вдруг яростно крикнул Иван.

Неизвестный отозвался, брезгливо кривя и без того кривой рот:

— Вас ист ден лос?..

— Гражданин! — опять ввязался мерзавец регент. — Не беспокойте интуриста!

Неизвестный сделал надменное лицо и, повернувшись, стал отходить.

Иван почувствовал, что теряется. Он кинулся было следом за неизвестным, но, почувствовав, что один не управится, и задыхаясь, обратился к регенту:

— Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны!

Регент тотчас оживился чрезвычайно и вскочил:

— Который преступник? Где он? Иностранный преступник? — закричал он, причем глазки его радостно заиграли. — Этот? Гражданин! Ежели он преступник, то первым долгом кричите — караул! А то он уйдет! Давайте вместе! А ну!

Растерявшийся Иван послушался штукаря-регента и крикнул «Караул!», но регент его надул, ничего не крикнув.

А одинокий крик Ивана никаких хороших результатов не дал. Две девицы шарахнулись от него, и Иван услышал слово «ишь пьяные».

— А, ты с ним заодно! — в бешенстве обратился Иван к регенту. — Ты что ж, глумишься надо мною? Пусти!

Иван кинулся вправо и регент вправо, Иван — влево и тот туда же.

— Ты что, под ногами путаешься нарочно! — закричал Иван регенту, который плясал перед ним, дыша Ивану в лицо луком и подмигивая сквозь треснувшее стеклышко. — Я тебя самого предам милиции, — и сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но не поймал ничего.

Регент как сквозь землю провалился. Тогда Иван глянул вдаль и в сумерках увидел своего неизвестного. Он уже был в конце аллеи у самого выхода и не один. Более чем сомнительный регент присоединился к нему, и даже издали видна была на его роже подхалимская улыбочка.

Но это еще не все. Третьим был неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как грач, с кавалерийскими отчаянными усами.

Вся тройка повернулась и решительно стала уходить.

Иван устремился за ними, задыхаясь, и очень скоро убедился в том, что догнать злодеев будет не так легко. Тройка вышла на Садовую, Иван прибавил шагу, тройка не прибавила, а между тем расстояние между преследуемыми и преследователем ничуть не сократилось. Иван сделал попытку прибегнуть к содействию прохожих, но его искусанные руки, дикий блуждающий взор и, главное, слова «помогите задержать иностранца с шайкой» были причиной того, что Ивана приняли за пьяного и никто не пришел ему на помощь.

На Садовой произошла совершенно невероятная сцена. Видя, что Иван неотступно следует сзади, компания применила излюбленный бандитский прием — уходить врассыпную.

Регент с великой ловкостью на ходу вскочил в трамвай «Б», как ветер летящий к Смоленскому рынку, и тот унес негодяя, как змея ввинтившегося на площадку и никем не оштрафованного. Странный же кот попытался сесть во встречный «Б» на остановке. Иван ошалел, видя, как кот на задних лапах подошел к подножке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку передать кондукторше гривенник. Иван был поражен поведением кота, но гораздо более поведением кондукторши. Лишь только кот устроился на подножке, кондукторша с остервенелым лицом высунулась в открытое окно и со злобой, от которой даже тряслась, закричала:

— Котам нельзя! Нельзя котам! Слезай, не то милицию позову!

Ни кондукторшу, ни кого из пассажиров, набивших вагон до того, что он готов был лопнуть, не поразила самая суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, а то, что он собирается платить.

Всяк был занят своим делом, всякому было некогда, и в вагоне не прекратились болезненные стоны и оханья тех, кому отдавили ноги, и так же слышались возгласы ненависти и отчаяния, так же давили друг друга и умоляли передать деньги, и крали кошельки, и поливали полотерской краской.

Самым дисциплинированным показал себя все-таки кот. При первом визге кондукторши он прекратил сопротивление, снялся с подножки и сел на мостовой, потирая гривенником усы.

Но лишь только кондукторша рванула ремень и трамвай тронулся, кот поступил как раз так, как поступил бы каждый, кого изгоняют из трамвая, а кому ехать, между тем, надо. Именно, пропустив мимо себя прицепные вагоны, он сел на заднюю дугу, лапой уцепился за какую-то кишку, выходящую из задней стенки, и укатил, сэкономив гривенник.

Видя, что двое ушли, Иван сосредоточился на том, чтобы поймать третьего и самого главного — консультанта.

Правда, теперь у Ивана уже блуждала в голове еще не оформившаяся как следует мысль, что он имеет дело с какой-то если не сверхъестественной, то во всяком случае необычной силой, но он решил ни перед чем не останавливаться и догнать врага, чего бы это ни стоило.

Серый берет плыл над головами малорослых прохожих уже по залитой светом Тверской, Иван прибавлял шагу, [пытаясь] иногда бежать, толкая встречных, и ничего не выходило: он ни на шаг не приближался к иностранцу.

Ускользнуло от внимания умственно расстроенного Ивана то обстоятельство, что двигался он вслед за злодеем с необыкновенной быстротою. Так, не прошло и двадцати секунд, как оба оказались в Газетном переулке. Здесь иностранец ушел в освещенный телеграф, неизвестно зачем обошел его кругом и вышел в сопровождении неотступного Ивана вновь на улицу. Еще прошло несколько секунд, и Иван увидел себя уже в Савеловском переулке на Остоженке. Здесь беглец ушел в подъезд большого дома № 12. Иван ворвался туда. Из пещеры, помешавшейся в полутьме, рядом с недействующим лифтом, вышел запущенный, небритый швейцар, тоскливо спросил у Ивана:

— Вы к Ивану Николаевичу? — И, видимо, желая получить на чай, прибавил: — Не извольте ходить, их дома нету, они в шахматы ушли играть.

— Не путай ты меня, — зарычал на него поэт, — я сам Иван Николаевич. Пусти! Иностранца ловлю!

Швейцар испугался почему-то и ушел в пещеру, а Иван побежал вверх по широким ступеням. Почему-то он догадался, что беглец скрылся в квартире «67», и длинно позвонил.

Ивану открыл маленький самостоятельный ребенок лет пяти, не удивился, что пришел неизвестный, впустил Ивана, а сам куда-то исчез. Иван увидел в тусклом свете слабой лампочки под потолком облезлую шапку на вешалке, велосипед без шин, висящий на стене, сундук, окованный жестью, словом, все то, что бывает в каждой передней, и устремился в коридор. «В ванной спрятался, понимаю», — подумал он и рванул дверь. Крючок соскочил, и Иван действительно оказался в ванной комнате, где было еще меньше света, чем, в передней. В ванне, некогда белой, а теперь выщербленной, выбитой, покрытой черными язвами, стояла голая гражданка, вся в мыле. Она близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и сказала, очевидно, не узнав его:

— Бросьте трепаться, Кирюшка! Сейчас муж придет. Вон сейчас же! — и засмеялась, мокнув мочалкой Ивана.

Иван, как ни был воспален его мозг, понял, что влопался, что произошел страшнейший конфуз, но, не желая признаваться в этом, сказал укоризненно:

— Ах, развратница, развратница!

Через секунду он был уже в кухне. Там никого не было. В окно светил фонарь и луна. На необъятной плите стояли примусы и керосинки. Иван понял, что преступник ушел на черный ход.

Он сел, чтобы отдышаться, на табурет, и тут ему особенно ясно стало, что, пожалуй, обыкновенным способом такого, как этот иностранец, не поймаешь.

Сообразив это, он решил вооружиться свечечкой и иконкой. Пришло это ему в голову потому, что фонарь осветил как раз тот угол, где висела забытая, в пыли и паутине, икона в окладе, из-за которой высовывались концы двух венчальных свечей, расписанные золотыми колечками. Под большой иконой помещалась маленькая бумажная, изображающая Христа. Иван присвоил одну из свечей, а также и бумажную иконку, нашарил замок в двери и вышел на черный ход, оттуда в огромный двор и опять в переулок.

Новая особенность теперь появилась у Ивана Николаевича: он начал соображать необыкновенно быстро. Так, например, выйдя в переулок и видя, что беглеца нету, Иван тотчас же вскричал: «А! Стало быть, он на Москве-реке! Вперед!» Хотя почему на Москве-реке, стало быть, нужно было бы спросить у Ивана? Спро-

сить, однако, было некому, тротуары были пустынны, и Иван побежал по лабиринту переулков и тупиков, стремясь к реке.

Неизвестно, через сколько времени и каким образом Иван оказался на громадном гранитном амфитеатре, спускающемся к воде. Амфитеатр был весь усеян снятой одеждой и голыми или полуголыми людьми. Меж них Иван пробрался к самой воде. Он чувствовал, что очень, очень вымотался, что физические силы его покидают, и решил искупаться.

Огненные полосы от фонарей шевелились в черной воде, от нее поднимался легкий запах нефти. Слышались всплески, люди по-лягушачьи прыгали в воду и плавали, фыркая и вскрикивая от наслаждения.

Бормоча что-то, Иван дрожащими руками совлек с себя одежду и опустился в воду. Тело его получило облегчение в ней, ожило и окрепло, но голове вода не помогла, сумасшедшие мысли бушевали в ней.

Когда Иван вышел на гранит, он сразу убедился, что оставленной им без присмотра одежды его и тапочек нету. На их месте лежали совсем другие вещи, именно — грязные полотняные кальсоны и сорочка, продранный локоть которой был заколот английской булавкой. Из вещей же, принадлежавших Ивану, некурящий похититель оставил лишь свечу, иконку и спички.

Иван, не волнуясь и не жалуясь никому на то, что его обокрали, будучи теперь равнодушен [к тому], во что одеваться, надел сорочку и кальсоны, взял свечу, иконку и спички и покинул гранитные террасы. Вскоре он вышел на Остоженку. Наряд Ивана был странен, но прохожие мало обращали на него внимания — дело летнее, а тут еще человек, наверное, выпивши.

— К Грибоедову, вот куда, — хрипло сказал Иван, — убежден, что он там! — и тронулся дальше.

Теперь в Москве уже был полный майский вечер. Все круглые часы на углах горели, все окна были раскрыты, во всех виднелись оранжевые абажуры, отовсюду неслись звуки оперы «Евгений Онегин», передаваемой по радио, грузовики, неугомонные и ночью, носились с грохотом по улицам, из подворотен слышались балалайки и гармоники, из дверей — детские голоса.

Иван, которого уже пугали вспышки зеленые, желтые и красные, Иван, оглушаемый гудками и густым

хриплым ревом генерала Гремина из каждого окна, с каждого столба, углубился в переулок, где было не так страшно, и тут следы его пропали.

ГЛАВА 5

ДЕЛО БЫЛО В ГРИБОЕДОВЕ

Белый, большой, двухэтажный дом старинной постройки помещался в глубине небольшого и чахлого сада на бульварном кольце и носил название «Дома Грибоедова». Говорили, что некогда он принадлежал тетке Грибоедова, хотя, сколько помнится, никакой тетки у Грибоедова не было. Так что надо полагать, что рассказы о том, как Грибоедов в этом самом доме, в круглом зале с колоннами, читал старухе сцены из «Горе от ума», представляют собою обыкновенные московские враки.

Но как бы то ни было, в настоящее время дом был во владении той самой московской ассоциации литераторов, или Массолит, секретарем которой и был Александр Александрович Мирцев до своего появления на Патриарших прудах. Комнаты верхнего этажа были заняты различными отделами Массолита и редакциями двух журналов, вверху же находящийся круглый зал отошел под зал заседаний, а весь нижний этаж был занят популярнейшим в столице писательским рестораном.

В половину одиннадцатого вечера в довольно тесной комнате вверху томилось человек двенадцать литераторов разных жанров, ожидающих опоздавшего Александра Александровича. Компания, рассевшаяся на скрипящих рыночных стульях, отчаянно курила и томилась. В открытое в сад окно не проникала ни одна свежая струя. Москва накалила за день свой гранитный, железный и асфальтовый покров, теперь он весь жар отдавал в воздух, и было понятно, что ночь не принесет облегчения.

Драматург Бескудников вынул часы. Стрелка ползла к одиннадцати.

— Однако, он больно здорово запаздывает, — сказал поэт Двубратский, сидящий на столе и от тоски болта-

ющий ногами, обутыми в желтые туфли на толстенной каучуковой подошве.

— Хлопец на Клязьме застрял, — сорванным голосом отозвалась поэтесса Настасья Савишна Храмкина.

— Позвольте, все это хорошо, что он на Клязьме, — заговорил автор популярных скетчей Загривов, — я и сам бы сейчас на веранде чайку попил, вместо того чтобы здесь сидеть. Ведь он же знает, что заседание в десять? — В голосе Загривова слышалась справедливая злоба.

— А хорошо сейчас на Клязьме, — подзудила присутствующих Храмкина.

— Третий год вношу денежки, однако до сих пор ничего в волнах не видно, — отозвался новеллист Поприхин.

— Клязьма место генеральское, — послышался из угла голос Водопаева.

— Словом, это безобразие! — воскликнул Денискин, человек неопределенного жанра, пишущий и стихи, и пьесы, и критические статьи, и рецензии. — Пять минут двенадцатого!

Его поддержали и Буздяк и Глухарев. В комнате назревало что-то вроде бунта. Решили звонить. Звонили на Клязьму, в литераторский дачный поселок. Попали не на ту дачу — к Семуковичу. Потом попали на ту, на какую надо, узнали, что товарищ Мирцев и вовсе не бывал сегодня на Клязьме.

Стали звонить в комитет искусства, науки, литературы — Исналит, в комнату 918. Никого в этой комнате не было.

Тогда началось возмущение. Храмкина заявила напрямик, что при всем уважении ее к товарищу Мирцеву она осуждает такое поведение — мог бы и позвонить! Ведь его двенадцать человек ждут!

— Мог бы позвонить! — гудел Буздяк.

Но товарищ Мирцев никому позвонить не мог. Далеко, далеко от дома Грибоедова, в громадном зале с цементным полом, под сильным светом прожекторов на трех цинковых столах лежало то, что было когда-то Мирцевым.

На первом — обнаженное, в засохшей крови тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на втором — голова с выбитыми передними зубами, с бес-

смысленным глазом, которого не пугал режущий свет тысячесвечовой лампы, с слипшимися в крови волосами, на третьем — груда заскорузлых тряпок, в которых и узнать нельзя было костюм Мирцева.

У стола стояли седой профессор и молодой прозектор, оба в кожаных халатах и резиновых перчатках, и двое в защитных блузах, в крагах с маленькими браунингами на поясах. Стоявшие тихо совещались о том, как лучше поступить: закрыть ли наглухо черным покрывалом останки Мирцева и так уложить их в гроб, который завтра будет выставлен в круглом зале Массолита, или же пришивать струнами голову к туловищу, черной повязкой закрыть только глаза, а другою шею и так выставить для того, чтобы члены Массолита могли попрощаться со своим секретарем.

Решили сделать второе, и прозектор крикнул сторожу:

— Иглы! Струны!

Да, он не мог позвонить! И в половину двенадцатого опустела комната, где должно было быть заседание, и не состоялось оно, как раз как и предсказал неизвестный на Патриарших прудах.

Все двенадцать литераторов спустились вниз, чтобы поужинать в ресторане. Тут опять недобрым словом помянули Александра Александровича: мест на веранде под тентом, где кое-как можно было дышать, уже не оказалось, и пришлось идти в низкие сводчатые залы зимнего помещения.

Без четверти двенадцать, как гром, ударил вдруг рояль, ему ответили прыгающие скачущие звуки на тонких клавишах, захромали синкопы, завыли в рояле какие-то петухи — пианист заиграл бравурный зверский фокстрот. От музыки засветились лоснящиеся в духоте лица, показалось, что заиграли на потолке листовые с завитыми по-ассирийски гривами лошади, кто-то пропел что-то, где-то покатился со звоном бокал, и через минуту весь зимний зал заплясал, а за ним заплясала веранда.

Заплясал Глухарев с девицей — архитектором Тамарой Сладкой, заплясал Буздяк с женой, знаменитый романист Жукопов с киноактрисой. Плясали Драгунский, Чапчачи, Водопоев с Храмкиной, плясала Семейки-

на-Галл, схваченная крепко неизвестным рослым в белых брюках.

Плясали свои и приезжие в Москву: Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер.

Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, в пиджаках с подбитыми ватой плечами.

Плясал пожилой с бородой, в которой застряло перо зеленого лука, топчась, как медведь, перед хилой девушкой в зеленом шелковом платьишке.

Официанты с оплывающими лицами несли над головой кружки с пивом, хрипло и ненавистно говорили «виноват», продираясь между танцующими, где-то кто-то кричал в рупор: «Карский — раз!»

Словом — ад. И перед самой полночью было видение: вышел на веранду черноглазый красавец с острой, как кинжал, бородой, во фраке и царственным благосклонным взглядом окинул свои владения. Утверждал, утверждал беллетрист Избердей, известнейший мистик и лгун, что этот красавец не носил раньше фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, за которым торчали пистолеты, а воронова крыла волосы красавца были повязаны алым шелком, и плыл под его командой не ресторан на Кольце, а бриг в Караибском море под страшным флагом — черным с Адамовой головой.

Но нет, нет! Лжет, лжет, склоняясь к рюмке, Избердей! Нет никаких Караибских морей на свете, и не плывут отчаянные флибустьеры, не гонится за ними корвет, не слышно пушечного его грохота, не стелется над волнами пушечный дым.

Ничего этого нет, не было! И плавится лед в вазочке, и видны налитые кровью глаза Избердея, и тоскливо мне!

Ровно в полночь фокстрот прекратился внезапно, как будто кто-то ударил пианиста в сердце ножом, и тотчас за всеми столами загремело слово «Мирцев», «Мирцев!». Конечно, вскакивали, вскрикивали: «Да не может быть!» Не обошлось и без некоторой чепухи, вполне понятной в ресторане. Так, кто-то, залившись слезами, тут же предложил спеть вечную память. Уняли. Кто-то суетился и кричал, что необходимо сейчас же,

тут же, не сходя с места, составить коллективно телеграмму и немедленно послать ее...

Но куда и зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна эта телеграмма тому, чей затылок сейчас сдавлен в руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами, струнит профессор?

Да, убит... Но мы-то живы? Волна горя высоко всплеснулась, но стала опадать, и уж кто-то вернулся к столику и украдкой выпил водочки и закусил, не остывать же киевским котлетам... Ведь мы-то живы?

Рояль закрыли, танцы отменили, трое журналистов спешно покинули дом тетки. Им уже звонили на вешалку ресторана из редакций — нужно было сейчас же писать некрологи.

Итак, гости вернулись к своим столам, обсуждая страшное событие и споря по поводу сплетни, пущенной Храмкиной и Избердеем, именно, что Мирцев не случайно попал под трамвай, а бросился под него умышленно, потому что...

Но не успела сплетня разбухнуть, как произошло второе, что поразило публику в ресторане побольше, чем известие о смерти Мирцева.

Первыми взволновались лихачи, всегда дежурящие на бульваре у входа в грибоедовский сад. Один из них даже с козел слез, причем послышался его иронический возглас: «Тю! Вы поглядите!»

Вслед за тем от решетки отделился маленький огонечек, а с ним вместе — беленькое тощее привидение, которое и направилось по асфальтовой дорожке под деревьями прямо к веранде. За столиками стали подниматься, всматриваться, и чем больше всматривались, тем больше изумлялись.

Привидение же тем временем подошло к веранде, и тогда уж все на ней как закоченели за столиками. Швейцар, вышедший из зимней вешалки ресторана на угол к веранде покурить, вдруг, тревожно всматриваясь в привидение, подбежал было к нему с ясною целью преградить ему доступ на веранду, но, всмотревшись, не посмел этого сделать и вернулся к веранде, растерянно и глупо улыбаясь.

Привидение же тем временем вступило на веранду, и все увидели, что это не привидение, а всем известный

Иван Николаевич Понырев. Но от этого не стало легче, и изумление перешло в смятение.

Иван Николаевич был бос, в кальсонах, в разодранной ночной рубашке. На груди Ивана Николаевича прямо к коже была приколота английской булавкой иконка с изображением Христа, а в руках находилась венчальная позолоченная зажженная свеча. Правая щека Ивана Николаевича была свеже изодрана и покрыта запекшейся кровью.

На веранде воцарилось молчание, и видно было, как у одного из официантов пиво текло на пол из покосившейся в руке кружки.

Иван поднял свечу над головой и сказал так:

— Здорово, братья!

От такого приветствия молчание стало глубже, а Иван заглянул под первый столик, на котором стояла вазочка с остатками зернистой икры, посветил под него, причем какая-то дама пугливо отдернула ноги, и сказал тоскливо:

— Нету его и здесь!

Тут послышались два голоса, и первый из них, бас, сказал тихо и безжалостно:

— Готово дело. Белая горячка.

А второй, женский, испуганно:

— Как же милиция-то пропустила его по улицам?

Второе Иван услыхал и отозвался:

— На Бронной хотели задержать, да я махнул через забор и всю щеку об проволоку изодрал.

Тут все увидели, что некогда зеленые и нагловатые глаза Ивана теперь как бы затянуты пеленою, как бы перламутровые, и страх вселился в сердца.

— Братья во литературе! — вдруг вскричал Иван и взмахнул свечой, и огонь взметнулся над его головой, и на голову капнул воск. — Слушайте меня! Он появился! — Осипший голос Ивана окреп, стал горяч.—Он появился! Ловите же его немедленно, иначе натворит он неописуемых бед.

— Кто появился? — отозвалась испуганно женщина.

— Консультант! — вскричал Иван. — И этот консультант убил сегодня Сашу Мирцева на Патриарших прудах!

Внутри ресторана на веранду повалил народ.

— Виноват, скажите точнее, — послышался над ухом

Ивана тихий и вежливый голос, — скажите, товарищ Понырев, как это убил?

Вокруг Ивана стала собираться толпа.

— Профессор и шпион! — закричал Иван.

— А как его фамилия? — тихо спросили на ухо.

— То-то фамилия! — в тоске отозвался Иван. — Эх, если б я знал его фамилию! Не разглядел я на визитной карточке фамилию! Помню только букву «эф». На «эф» фамилия! Граждане! Вспоминайте сейчас же, какие фамилии бывают на «эф»! — И тут Иван, безумно озираясь, забормотал: — Фролкин, Фридман, Фридрих... Фромберг... Феллер... Нет, не Феллер!.. Нет! Фу... фу... — Волосы от напряжения ездили на голове Ивана.

— Фукс? — страдальчески крикнула женщина

— Да никакой не Фукс! — раздражаясь, закричал Иван. — Это глупо! При чем тут Фукс? Ну вот что, граждане: бегите кто-нибудь сейчас к телефону, звоните в милицию, чтобы выслали пять мотоциклеток с пулеметами профессора ловить! Да! Скажите, что с ним еще двое: длинный какой-то, пенсне треснуло, и кот, черный, жирный. А я пока что дом обыщу, я чую, что он здесь!

Тут Иван проявил беспокойство, растолкал окружающих, стал размахивать свечой, заглядывать под столы.

Народ на веранде загудел, послышалось слово «доктора», и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых очках, появилось у Иванова лица:

— Товарищ Понырев, — заговорило это лицо юбилейным голосом, — успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого Александра Александровича, нет!.. просто Саши Мирцева. Мы все это отлично понимаем... Вам нужен покой! Сейчас товарищи проводят вас в постель и вы забудетесь...

— Ты, — оскалившись, ответил Иван, — ты понимаешь, что профессор убил Мирцева? Понимаешь, что делаешь, задерживая меня? Кретин!

— Товарищ Понырев! Помилуйте! — ответило лицо, расстраиваясь и уже жалея, что вступило в разговор.

— Нет! Уж кого-кого, а тебя-то я не помилую, — с тихой ненавистью сказал Иван и, неожиданно широко размахнувшись, ударил по уху это лицо.

Тут догадались броситься на Ивана и бросились. Свеча его угасла, а очки, соскочившие с участливого

лица, немедленно были раздавлены. Иван испустил визг, слышный, к общему соблазну, на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела битая посуда. Пока Ивана вязали полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром.

— Ты видел, что он в подштанниках? — спросил холодно пират.

— Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, — труся, отвечал швейцар, — как я их могу не допустить... Они член Массолита!

— Ты видел, что он в подштанниках? — холодно повторил пират.

— Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович, — багровея, гудел швейцар, — что ж я-то могу поделать. Давеча приходят гражданин Буздяк из бани, у них веник за пазухой. Я говорю — неудобно, а они смеются, веником в меня тычут. Потом мыло раскрошили по веранде, дамы падают, а им смешно!

— Ты видел, что он в подштанниках, я тебя спрашиваю, а не про Буздяка! — раздельно сказал пират.

Тут швейцар умолк, и лицо его приняло тифозный цвет, а в глазах вспыхнул ужас. Он видел ясно, как черные волосы покрылись шелковой косынкой. Исчез фрак, за ременным поясом показались пистолеты. Швейцар представил себя повешенным на фор-марса-рее. Он видел свой собственный высунутый язык, голову, свесившуюся на плечо, услышал даже плеск волны у борта. Колени швейцара затряслись. Но тут флибустьер сжалился над ним.

— Смотрите, Николай, в последний раз. Такого швейцара нам не нужно, — сказал пират и скомандовал точно, ясно и быстро:

— Пантелея! Милиционера! Протокол! Таксомотор! В психиатрическую!

Через четверть часа публика на бульваре видела, как из ворот грибоедовского сада выводили босого и окровавленного человека в белье, поверх которого было накинуто Пантелеево пальто. Человек, руки которого были связаны за спиною, горько плакал и изредка делал попытки укусить за плечо то милиционера, то Пантелея. Поэт Рюхин, добровольно вызвавшийся сопровождать несчастного Ивана Николаевича, шел сзади, держа в руках разорванную иконку и сломанную свечу.

Лихачи горячили лошадей, кричали с козел:

— А вот на резвой! Я возил в психическую!

Но Ивана Николаевича погрузили в приготовленный таксомотор и увезли, а на лихача вконец расстроенная дама посадила своего мужа, того самого, который получил плюху и лишился очков исключительно за свою страсть к произнесению умиротворяющих речей.

Лихач, слупивший двадцать пять рублей с седоков, только передернул синими вожжами по крупу разбитой беговой серой лошади, и та ударила так, что сзади моментально остались два трамвая и грузовик.

Публика разошлась, и на бульваре наступило спокойствие.

ГЛАВА 6

МАНИЯ ФУРИБУНДА

Круглые электрические часы на белой стене показали четверть второго ночи, когда в приемную психиатрической лечебницы вошел чернобородый человек в белом халате, из кармана которого торчал черный кончик стетоскопа.

Двое санитаров, стоявшие у дивана и не спускавшие глаз с Ивана Николаевича, руки которого уже были развязаны, подтянулись.

Рюхин взволновался, поправил поясок на толстовке и произнес:

— Здравствуйте, доктор. Позвольте познакомиться: поэт Рюхин.

Доктор поклонился Рюхину, но, кланяясь, глядел не на Рюхина, а на Ивана Николаевича.

Поэт не шевельнулся на диване.

— А это... — почему-то понизив голос, сказал Рюхин, — известный поэт Иван Понырев, — потом помялся и совсем тихо добавил: — Мы опасаемся, не белая ли горячка...

— Пил очень сильно? — сквозь зубы тихо спросил доктор.

— Да нет, доктор...

— Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?

— Нет, — испуганно ответил Рюхин, — я его вчера видел, он был здоров. Он стихи свои с эстрады читал.

— А почему он в белье? С постели взяли?

— Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде.

— Ага, — удовлетворенно сказал доктор и спросил:

— А почему окровавлен? Дрался?

— Он с забора упал, а потом ударил в ресторане гражданина и еще кое-кого.

— Ага, — сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил: — Здравствуйте!

— Здорово, вредитель! — ответил громким голосом Иван, и Рюхин сконфузился. Ему стыдно было поднять глаза на вежливого и чистого доктора.

Тот, однако, не обиделся на Ивана, привычным ловким жестом снял пенсне с носа и спрятал его, подняв полу халата, в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана:

— Сколько вам лет?

— Поди ты от меня к чертям, в самом деле, — злобно ответил Иван и отвернулся.

А доктор, щуря близорукие глаза, спросил по-прежнему вежливо:

— Почему же вы сердитесь на меня? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?

— Мне двадцать пять лет, — заговорил, злобно косясь, Иван, — а завтра, между прочим, я на всех вас подам жалобу. А на тебя в особенности, гнида! — отнесся он уже специально к Рюхину.

— А на что вы хотите пожаловаться?

— На то, что меня, здорового человека, силой схватили и приволокли в сумасшедший дом, — сурово ответил Иван.

Тут Рюхин всмотрелся в Ивана и похолодел: в глазах у того не было никакого безумия и из мутных они опять превратились в ясно-зеленые. «Батюшки, — подумал испуганно Рюхин, —да он и впрямь, кажется, нормален! Вот чепуха какая! Зачем же мы его в самом деле сюда притащили? Нормален, ей-богу, нормален, только рожа расцарапана...»

— Вы находитесь, — спокойно заговорил врач, — не в сумасшедшем доме, а в психиатрической клинике, оборудованной по последнему слову техники. Кстати,

добавлю: где вам не причинят ни малейшего вреда и где никто не собирается вас задерживать силой.

Иван покосился недоверчиво, но все-таки пробурчал:

— Слава те, Господи! Кажется, нашелся один нормальный человек среди идиотов, из которых первый бездарность и балбес Пашка.

— Кто этот Пашка-бездарность? — осведомился врач.

— А вот он — Рюхин! — ответил Иван Николаевич, вытянув указательный палец.

Рюхин покраснел, глаза его вспыхнули от негодования. «Это он мне вместо спасибо, — горько подумал он, — за то, что я принял в нем участие. Какая все-таки сволочь!»

— Типичный кулачок по своей психологии, — ядовито заговорил Иван Николаевич, которому приспичило обличить Рюхина, — и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария, — посмотрели бы вы, какие он стишки сочинил к 1-му мая... хе, хе... «взвейтесь, развейтесь...», а загляните в него, что он думает! — И Иван рассмеялся зловеще.

Доктор повернулся к Рюхину, красному и тяжело дышащему, и сказал тихо:

— У него нет белой горячки, — а затем спросил у Ивана:

— Почему же вас, собственно, доставили к нам?

— Да черт их возьми, олухов! Схватили, втащили в такси и привезли!

— Гм... — отозвался врач, — но вы почему, собственно, в ресторан, вот как говорит гражданин Рюхин, пришли в одном белье?

— Вы Москву знаете?— ответил вопросом Иван.

Доктор неопределенно мотнул головой.

— Ну, как вы полагаете, — возбужденно заговорил Иван, — мыслимо ли подумать, что вы оставите что-нибудь на берегу и чтобы эту вещь не попятили? Ну, купаться я стал, и, понятно, украли и блузу, и штаны, и туфли. А я спешил в ресторан!

— Свидание какое-нибудь, деловое? — спросил врач.

— Не свидание, а я ловлю консультанта.

— Какого консультанта?

— Консультанта, который убил Сашу Мирцева на Патриарших прудах.

Врач вопросительно поглядел на Рюхина, и тот хмуро отозвался:

— Секретарь Массолита Мирцев сегодня под трамвай попал.

— Он, вот говорят, под трамвай попал?

— Не ври, чего не знаешь! — рассердился на Рюхина Иван Николаевич. — Я был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил!

— Толкнул?

— Да не толкнул! — все больше сердился Иван. — Такому и толкать не надо. Он его пальцем не коснулся! Они такие штуки могут делать. Он заранее знал, что Мирцев поскользнется!

— А кто-нибудь кроме вас видел этого консультанта?

— То-то и беда, что один я! Да что за допросы такие! — вдруг обиделся Иван. — Мы не в уголовном розыске! Подите к черту!

— Помилуйте, — воскликнул доктор, — у меня и в мыслях не было допрашивать вас! Но ведь вы сообщаете такие важные вещи, об убийстве, которого вы были свидетелем... Быть может, здесь можно чем-нибудь помочь?.. Скажите, какие же вы меры приняли, чтобы поймать этого консультанта-убийцу?

Здесь опять недоверие к врачу сменилось у Ивана Николаевича доверием, и настолько, что он встал и поцеловал врача в щеку, прибавив при этом:

— Нет, теперь окончательно убедился — ты не вредитель и не из этой шайки!

Доктор ловко и незаметно, делая вид, что сморкается, вытер щеку, повернулся и сделал какой-то знак глазами женщине в белом, которая неподвижно сидела в стороне за большим столом. Та тотчас же взяла перо.

— Итак, какие же меры? — повторил врач.

— Меры вот какие, — заговорят Иван, — я на кухне взял свечечку...

— Вот эту? — спросил врач, указывая на свечку, лежавшую перед женщиной на столе рядом с иконкой.

— Эту самую!

— А иконка? — мягко спросил врач.

Иван покраснел.

— Видишь ли, — ответил он, — эти дураки, — он

указал на Рюхина, — больше всего этой иконки испугались, а между тем, без нее его не поймаешь...

Женщина стала писать на листе.

— Он, — продолжал возбужденно Иван, — по моему соображению, кой с кем знается, ты понимаешь меня?.. Гм... А с иконкой и со свечечкой...

Санитары держали руки по швам, глаз не сводили с Ивана, женщина тихо писала.

— Ну-те-с, ну-те-с, — поощрил Ивана врач, — так с собой и несли иконку?

—Я ее на грудь пришпилил, — говорил Иван.

— Зачем на грудь?

— Чтобы рука была свободна, — объяснил Иван, — в одной свечка, а другой — хватать. — Он становился все откровеннее.

— Виноват, у вас на коже груди кровь, — сказал участливо врач, — вы прямо к коже ее прицепили?

— Ну конечно! — ответил Иван. — А то рубаха-то чужая, гнилая, еще, думаю, сорвется...

Тут часы пробили два без четверти. Иван засуетился в тревоге.

— Эге-ге, два часа, — воскликнул он, — а я тут с вами время теряю. Будьте любезны, где телефон?

— Пропустите к телефону, — сказал врач санитару, который спиной старался загородить аппарат на стене.

Иван ухватился за трубку и сказал в нее:

— Милицию!

Женщина в это время тихо спросила у Рюхина:

— Женат он?

— Холост, — испуганно ответил Рюхин.

— Член профсоюза?

Рюхин кивнул, и женщина подчеркнула что-то в разграфленном листе.

— Милиция? — громко спросил Иван. — Алле? Милиция? Товарищ дежурный! Распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклеток с пулеметами, консультанта преступника искать! И заезжайте за мной, я с вами сам поеду. Алле? Говорит поэт Понырев. Из сумасшедшего дома. Как ваш адрес? — шепотом спросил Иван Николаевич у доктора, но тот не успел ничего ответить, как Иван стал сердито кричать в телефон: — Алле, алле! Куда вы ушли? Безобразие! — громко завопил Иван и швырнул трубку на рычаг.

— Зачем сердиться, — заметил миролюбиво доктор, — вы можете сломать аппарат, а он нам поминутно нужен...

— Ничего! Ничего! Ответят они, голубчики милейшие, за такое отношение, — вскричал Иван и погрозил кулаком телефону, затем протянул руку доктору и попрощался: — До свидания.

— Помилуйте, куда вы хотите идти, — заговорил врач, — ночью, в одном белье! Переночуйте у нас, а завтра видно будет.

— Пропустите меня, — глухо сказал Иван Николаевич санитарам, сомкнувшимся у дверей.

— Дружески говорю вам, останьтесь!

— Пустите или нет?! — страшным голосом крикнул Иван санитарам.

Те не шевельнулись, и Иван наотмашь ударил одного из них в грудь. Другой поймал его за руку.

— Ах так, ах так, — хрипло крикнул Иван, и, вырвав руку, он травленно и злобно озирался.

Женщина нажала кнопку в столике, и на поверхность его выскочила блестящая коробка шприца и стеклянные запаянные ампулы.

— Ну, если так, — отчаянно вскричал Иван, — так не поминайте же лихом!

И тут он головой вперед бросился в белую штору окна, явно целясь сквозь нее и стекла выброситься наружу. Но коварная металлическая специальная сеть за шторой даже до стекла не допустила Ивана. Она мягко спружинила и мягко отбросила бедного поэта назад прямо на руки к санитарам. В ту же минуту у доктора в руках оказался шприц.

— Ага, — захрипел Иван, бьющийся в руках санитаров, — так вот вы какие шторочки завели у себя? Ладно, ладно! Пусти... Пу...

— Одну минуту, одну минуту, — бормотал врач.

Женщина тоже подбежала на помощь, одним взмахом разорвала рукав ветхой рубахи и с неженской силой сжала руку Ивана. Тот ослабел, перестал биться, врач воспользовался этим и содержимое шприца вспрыснул Ивану в плечо. Его подержали еще немного в руках, он в это время крикнул:

— На помощь!

Бледный Рюхин жалобно вскрикнул:

— Иван!

Ивана выпустили.

— Бандиты! — прокричал он, но уже слабее. — Всех предам правосудию, — добавил он, но еще тише, зевнул и сел на кушетку. — Заточили все-таки, — зевая, добавил он без злобы, улыбнулся бессмысленно и кротко и вдруг прилег на кушетке, по-детски подложив кулак под щеку. — Ну, очень хорошо, — бормотал он совсем сонный голосом, — сами же и поплатитесь, а я свое дело сделал... Интересно мне теперь... только одно, что было с Понтием Пилатом.

И через мгновение он уже спал.

Доктор сказал сущую правду относительно того, что клиника была устроена по последнему слову техники. Стена приемной вдруг раскрылась, и из коридора выехала на резиновых шинах кровать. Санитары подкатили ее к кушетке, спящего Ивана переодели в больничную рубашку, уложили, и он уехал в коридор, где, через дверь, на стенках горели слабые синие ночники. Стена сомкнулась.

— Доктор, — спросил шепотом потрясенный Рюхин, — он, значит, болен?

— О да, — ответил доктор, надевая пенсне.

— Какая же это болезнь? — робко спросил Рюхин.

— Точно пока сказать не могу, — устало зевая, ответил доктор, — похоже, что мания фурибунда. — И, видя, что Рюхин испуганно смотрит, пояснил: — Яростная мания.

Доктор расписался в листе, поданном женщиной в белом.

— А что это за консультант, которого он все время поминает? Видел он кого-нибудь?

— Трудно сказать. Может быть, видел кого-нибудь, кто поразил его больное воображение...

Рюхин прекратил расспросы, неуклюже раскланялся. Через несколько минут он был на шоссе, ведущем в Москву. Светало. Небывало дурное расположение духа овладело Рюхиным. Он ехал в пустом ночном троллейбусе, съежившись, уставившись, как мышь на крупу. Многое терзало его. С одной стороны, жаль было Понырева и страшно было вспомнить про дом скорби. А с другой, терзали его оскорбления, нанесенные ему помешанным. Хуже всего было то, что в словах бедного По-

нырева было то, что сам от себя скрывал Рюхин, что отгонял от себя даже ночью, когда не спалось. В этих словах была правда. Мысль о собственных стихах до того терзала Рюхина в троллейбусе, что он, скорчившись, морщился как от боли и даже раз проронил что-то. Рюхин сейчас только и как-то особенно отчетливо вспомнил, что ему уже тридцать четыре года и что, по сути дела, будущее его совершенно темно. Да, он будет писать по несколько стихотворений в год, стихотворений, как он теперь признался сам себе, ничуть не радующих его. «Он правду говорит, — глубоко, глубоко в себе, так, чтобы никто не мог подслушать его, подумал Рюхин... — Я не верю в то, что пишу, я — лгун, — терзал сам себя Рюхин, как палач. — Лгун, лгун. И за это буду страшно наказан. В самом деле, что дальше? Я пишу эти стихотворения, кое-как поддерживаю свое существование. Одна комната, и надежд на то, что будет когда-нибудь квартира, очень мало. Вечные авансы, вечные компромиссы, боязнь и дурные, дурные стихи! И старость! Старость бедная, безрадостная, одинокая. Уважение? Кой черт! Кто будет меня уважать, если я сам, сам себя не уважаю».

Было совсем светло, когда больной и постаревший Рюхин вышел из троллейбуса и оказался у подножия Пушкина. С бульвара тянуло свежестью, к утру стало легче. Злобными и горькими глазами Рюхин поглядел на Пушкина и почему-то подумал так: «Тебе хорошо!»

Он поморщился и побрел к дому тетки. Ресторан торговал до четырех. На веранде, где еще горели некоторые лампионы, раздражая своим неуместным светом при свете рождающегося дня, почти никого не было. В углу сидящий режиссер Квант поил даму «Абрау-Дюрсо».

Арчибальд Арчибальдович, вечно бессонный, встретил Рюхина приветливо. Не будь Рюхин так истерзан, он получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было, придумывая интересные подробности, описывая удивительную лечебницу. Сейчас он почувствовал, что ему не до этого, а кроме того, как он ни был ненаблюдателен и пуст, впервые всмотрелся в лицо пирата и понял, что тот, хоть и спрашивает о Понырева и даже склоняется к Рюхину, держась за спинку стула, и даже сказал: «Ай, ай», — в ответ на слова Рюхина «Мания

фурибунда», что он совершенно не интересуется судьбой Понырева, и не только не интересуется, но и презирает и Понырева, и самого Рюхина. «И молодец! И правильно», — с циничной самоуничтожающей злобой помыслил Рюхин и сказал бойким голосом:

— Арчибальд Арчибальдович, водочки мне...

Пират сделал понимающие глаза, скомандовал что-то, и через полчаса, когда никого из посетителей уже не было на веранде, в утреннем рассвете сидел Рюхин в одиночестве. Мрачные мысли его задавило дурманом, он с аппетитом закусывал рыбцом. День разгорался над городом, край неба золотило.

ГЛАВА 7

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Если бы Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!», Степа ответил бы чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не встану».

Не то что встать, ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если откроет, то тут же сверкнет молния и голову ему разнесет на куски.

В голове этой гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и при этом тошнило, причем казалось, что тошнит от звуков какого-то патефона. Степа старался что-то припомнить, но припомнить мог только одно, что, кажется, вчера неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и делал попытки поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день (то есть, значит, сегодня) придет к ней в гости днем. Дама от этого отказывалась, говорила: «Нет, меня не будет дома», а Степа настаивал, говорил: «А я вот возьму и приду».

Ни какая это была дама, ни который час сейчас, ни даже какое число и, что хуже всего, где он находится, Степа понять не мог.

Прежде всего он постарался узнать хотя бы последнее. Для этого пришлось разлепить слипшиеся веки одного глаза. Степа так и сделал, узнал в полутьме итальянское окно и понял, что он лежит у себя, то есть в

бывшей ювелиршиной спальне, и тотчас веки сомкнул, потому что так ударило в голову, что он застонал

Дело было вот в чем: Степа Лиходеев, директор театра «Кабаре», того самого, что открылся недавно в помещении бывшего цирка, в утро, последовавшее за тем страшным вечером, когда убило Мирцева, и ночью, когда Понырева отвезли в лечебницу, очнулся у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с Мирцевым на Садовой улице в громадном пятиэтажном доме.

Надо сказать, что квартира эта пользовалась, и давно уже, если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад ее занимала вдова покойного ювелира де-Фужере Анна Францевна, пятидесятилетняя почтенная и деловая дама, сдававшая три комнаты из пяти двум жильцам: Беломуту, кажется, служащему в банке, и другому, фамилия которого утрачена и которого звали в доме по его профессии — «финансист».

И вот именно два года назад произошло действительно необъяснимое событие. Однажды в выходной день пришел милиционер и сказал финансисту, что того просят на одну минуту зайти в милицию в чем-то расписаться. Финансист ушел, сказав Анфисе, что если кто-нибудь будет звонить, чтобы она сказала, что он вернется через полчаса. Но не вернулся не только через полчаса, он вообще не вернулся. Хуже всего было то, что с ним пропал и милиционер.

Суеверная и глупая Анфиса так и заявила, что это колдовство. Колдовству же стоит только начаться, а уж там его ничем не остановишь. Финансист пропал в понедельник, а в пятницу исчез Беломут. Тот при иных обстоятельствах. Именно, заехала за ним, как обычно, утром машина и увезла его на службу, а назад никого не привезла и сама не приехала. Допустим, что была это колдовская машина, как и тут утверждала Анфиса.

Но вот за самой Анной Францевной никто не приходил и машина никакая не заезжала, а просто Анна Францевна, изнервничавшаяся, как она рассказывала, с этим исчезновением двух очень культурных жильцов, решила поправить свои нервы и для этого съездить на два месяца в Париж к сестре. Подав соответствующее заявление, Анна Францевна сильно хлопотала по устройству каких-то житейских дел. Ежедневно много

звонила по телефону, много ездила по Москве, в естественном и радостном волнении, что вскоре увидит и обнимет сестру, с которой не виделась четырнадцать лет. А увидеться должна была, потому что заявление Анны Францевны было встречено очень хорошо, как она говорила, все показатели для поездки были самые благоприятные. И вот в среду — опять-таки постный день — Анна Фраицевна вышла из дому, чтобы повидаться со знакомой, которая хотела приобрести у нее каракулевое манто, ненужное Анне Францевне, и не вернулась.

Тут Анфиса про колдовство уже ничего не говорила, а впала в тревогу и даже в отчаяние, в котором ей, впрочем, пришлось пребывать только двенадцать часов. Хозяйка ее пропала в полдень, а в полночь приехали в квартиру де-Фужере три неизвестных и, пробыв в ней до утра, отбыли, увезя с собою и Анфису. После чего никто ни из четырех жильцов квартиры, ни из этих приехавших никогда более не возвращался на Садовую улицу, в квартиру № 50. Да и возвратиться в нее нельзя было, потому что последние навестившие ее, уезжая, запечатали двери ее сургучными печатями.

В доме потом рассказывали всякие чудеса, вроде того, что будто бы под полом в кухне заколдованной квартиры нашли какие-то несметные сокровища и что якобы сама Анфиса носила на груди у себя, никогда не снимая, маленький мешочек с бриллиантами и золотом и прочее. Фантазия у жильцов больших домов, как известно, необузданная, а врать про своих ближних каждому сладко.

Но как бы там ни было, квартира простояла запечатанной только неделю, после чего в нее с ордерами и въехали в две комнаты, которые налево от коридора и ближе к кухне, директор кабаре Лиходеев, а в три, в одной из которых был когда-то провалившийся сквозь землю финансист, Мирцев, оба холостые, и зажили.

Итак, Степа застонал, и то, что он определил свое местонахождение, ничуть ему не помогло, и болезнь его достигла наивысшего градуса. Он вспомнил, что в квартире должна быть сейчас приходяшая домработница Груня, хотел позвать ее, чтобы потребовать у нее пирамидону, но с отчаянием сообразил, что никакого пирамидону у Груни нет, конечно, и не позвал. Хотел крикнуть, позвать Мирцева, сказать ему, что накануне отра-

вился чем-то, попросить пирамидону, слабо простонал — «Мирцев!» Никакого ответа не получил. В квартире стояла полная тишина.

Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. «Интересно знать, брюки на мне есть?» — подумал несчастный и трясущейся рукою провел по бедру, но не мог определить —не то в брюках, не то нет.

Наконец, видя, что он брошен и совершенно одинок, Степа решил, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило, самому себе помочь, для этого прежде всего открыть глаза и сесть. И Степа разлепил опухшие веки и увидел прежде всего в полумраке затемненной спальни пыльное зеркало в ювелиршином трюмо, а в этом зеркале самого себя с торчащими в разные стороны волосами, со щеками, покрытыми черной щетиной, с заплывшими глазами, без единой складки на лице, в сорочке, кальсонах и носках.

А рядом с трюмо в кресле увидел неизвестного, одетого в черное. В затемненной шторами спальне лицо неизвестного было плохо видно, и показалось Степе только, что лицо это кривое, но что неизвестный был в берете, в этом сомневаться не приходилось.

Тут Степа поднялся на локтях, сел на кровати и, сколько мог, вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Это было естественно, потому что, каким образом и зачем в интимную спальню проник посторонний человек в черном берете, не только больной, но, пожалуй, и здоровый не объяснил бы.

Молчание было нарушено неизвестным, произнесшим тяжелым басом и с иностранным акцентом следующие слова:

— Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!

Произошла пауза, после которой Степа, сделав над собою героическое усилие, произнес такие слова:

— Что вам угодно?

И при этом поразился, не узнав своего собственного голоса. Это не только был не его голос, но вообще такого голоса не бывает: слово «что» было произнесено дискантом, «вам» басом, а «угодно» вообще не вышло.

Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул золотые часы, причем те прозвонили двенадцать раз, и сказал:

— Двенадцать! И ровно час я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо назначили вы мне быть у вас в одиннадцать. Вот и я!

Степа моргнул, протянул руку, нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул: «Извините...» — и, сам не понимая, как ему это удаётесь, надел их и хриплым голосом спросил:

— Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?

Говорить ему было трудно. Казалось, что при каждом слове кто-то тычет ему иголкой в мозг, что причиняло адские страдания.

Незнакомец улыбнулся.

— Как, вы и фамилию мою забыли?

— Простите... — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то вниз и что сию минуту он головой вниз слетит в какую-то бездну.

— Дорогой Степан Богданович, — заговоры посетитель, улыбаясь проницательно, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственно, что может вас вернуть к жизни, — это две стопки водки с острой и горячей закуской.

Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что самое правильное — признаться во всем.

— Откровенно сказать... — начал он, едва ворочая языком, — вчера я немножко...

— Ни слова больше! — ответил визитер и отъехал вместе с креслом от трюмо.

Степа, тараща глаза, увидел, что на трюмо сервирован поднос, на коем нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, маринованные белые грибы на тарелочке, что-то в закрытой кастрюльке и объемистый хрустальный ювелиршин графин с водкой. Особенно поразило Степу то, что графин был запотевший от холода, да и немудрено, он помещался в полоскательной чашке, набитой льдом. Накрыто было аккуратно, умело, чисто.

Незнакомец не дал развиться Степиному изумлению до степени болезненной и ловким жестом налил ему полстопки водки.

— А вы?.. — намекнул Степа.

— Отчего же, с удовольствием, — ответил гость и налил себе громадную стопку до краев.

Степа трясущейся рукою поднес стопку к устам, глотнул и увидел, что незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевав кусок икры, Степа выдавил из себя слова:

— А вы что же?.. закусить?..

— Благодарю вас, я не закусываю, — отозвался незнакомец и тут же налил Степе и себе по второй, открыл крышку кастрюли, из нес повалил пар, запахло лавровым листом — в кастрюле оказались сосиски в томате.

Через пять минут Степу узнать было нельзя. Проклятая зелень перед глазами исчезла, Степа стал хорошо выговаривать слова и, главное, кой-что припомнил. Именно, что дело вчера происходило в гостях у Хустова, на даче его на Клязьме, куда сам Хустов, автор скетча, и возил его. Степа припомнил даже, как нанимали таксомотор возле «Метрополя», и еще был при этом какой-то актер и именно с патефоном, от которого потом, помнится, страшно выли собаки. Вот только поцелованная дама осталась неразгаданной. Во всяком случае, это была не жена Хустова, а какая-то неизвестная, кажется, с соседней дачи, а впрочем, черт ее знает откуда, но была.

Вчерашний день помаленьку разъяснялся, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний — появление в спальне неизвестного, да еще с водкой и закуской, — вот что интересно было бы объяснить.

— Ну что же, теперь вы, надеюсь, вспомнили мою фамилию? — спросил незнакомец.

Степа опохмелился настолько, что даже нашел в себе силу игриво улыбнуться и развести руками.

— Однако, — заметил незнакомец, — я чувствую, почтеннейший Степан Богданович, что вы после водки пили портвейн. Ах, разве можно это делать!

— Я хочу вас попросить, чтобы это было между нами... — искательно попроси Степа.

— О, помилуйте, конечно! Вот за Хустова я, конечно, не ручаюсь!

— Разве вы знаете Хустова?

— Вчера у вас в кабинете видел его мельком, но достаточно одного взгляда на его лицо, чтобы сразу понять, что сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.

«Совершенно верно». — подумал Степа, пораженный верным, кратким, точным определением Хустова. Вчерашний день, таким образом, складывался как бы из кусочков, но тревога Степы ничуть не уменьшалась: во вчерашнем этом дне все же зияла преогромная черная дыра.

Вот этого самого незнакомца в черном берете, в черном костюме, в лакированной обуви, со странным лицом с разными глазами и кривым ртом во вчерашнем дне не было, и Степа откровенно вздрогнул, когда незнакомец упомянул о встрече в кабинете.

Тут незнакомец решил прийти Степе на помощь.

— Профессор черной магии Фаланд, — представился он и стал все объяснять по порядку. Вчера он явился к Степе днем в служебный кабинет и предложил выступить в кабаре. Степа позвонил в зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал, после чего подписали контракт на семь выступлений (Степа дрогнул). Как раз, когда прощались, в кабинете директора появился этот самый Хустов и Степу увез. На прощание условились, что в одиннадцать иностранный артист придет к Степе подробнее оговорить программу. В одиннадцать, как он уже докладывал, он явился и был встречен растерянной домработницей Груней, которая сказала, что с Александром Александровичем Мирцевым что-то случилось, что дома он не ночевал, что ночью приходил председатель правления Никанор Иванович с какими-то военными и что бумаги Мирцева увезли (Степа побледнел), а что если незнакомцу нужен Степан Богданович, то его на рассвете привезли двое каких-то совершенно пьяным и что он еще спит, как колода, и что она не знает, что делать, потому что обеда никто не заказывал... Тут иностранный артист позволил себе распорядиться самому: именно, послал Груню в ближайший магазин «Гастроном», и вот Груня и закупила все и сервировала...

— Позвольте мне с вами рассчитаться, — сказал Степа и пошарил под подушкой, ища бумажник

— О, помилуйте, какой вздор! — воскликнул гастролер и даже и смотреть не захотел на бумажник.

Итак, водка и закуска тоже разъяснились, но все-таки на Степу жалко было смотреть: никакого контракта он не заключал вчера и, хоть убейте, не видел вчера этого Фаланда.

— Разрешите взглянуть на контракт, — попросил пораженный Степа.

— Пожалуйста! — воскликнул гость и вынул контракт.

У Степы в глазах позеленело, но уж не от похмелья. Он узнал свою подпись на несомненном контракте, составленном по всей форме, и не только составленном, но уже и выполняемом, потому что из надписей на контракте видно было, что из четырнадцати тысяч господин Фаланд пять уже получил.

«Что же это такое?!» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась, но уже после того, как контракт был показан, дальнейшее удивление выражать было бы просто неприлично, и Степа, попросив разрешения на минуту отлучиться, как был в носках побежал в переднюю к телефону.

По дороге завернул в кухню и крикнул:

— Груня!

Никто не отозвался.

Из передней заглянул тревожно в кабинет Мирцева, но ничего там особенного не обнаружил.

Тогда он, прикрыв дверь в коридор из передней, набрал номер телефона в кабинете финансового директора кабаре Григория Даниловича Римского. Положение Степы было щекотливое: и иностранец мог обидеться, что Степа проверяет его уверения (да и контракт, черт возьми, показан!), и с финдиректором трудно было говорить.

Нельзя же спросить: «Заключал ли я вчера контракт на четырнадцать тысяч?!»

— Да! — резко крикнул в трубку Римский.

— Здравствуйте, Григорий Данилович, — смущенно заговорил Степа, — это я, Лиходеев. Тут вот какое дело: у меня сидит... гм... артист Фаланд... Как насчет сегодняшнего вечера?..

— Ах, черный маг? Все готово, — ответил Римский, — афиши будут через полчаса.

— Ага, — слабым голосом сказал Лиходеев, — ну, пока.

— Скоро придете? — спросил Римский.

— Через полчаса, — ответил Степа и, повесив трубку, сжал голову руками. Она была горячая. Сомнений больше не было. Контракт был заключен. Римский в

курсе дела. Но штука выходила скверная! Что же это за такой провал в памяти? И водка здесь ни при чем. Можно забыть то, что было после нее, но до нее?

Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, гость ждал. Степа тогда составил такой план — скрыть от всего мира свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом расспросить артиста хорошенько хоть о том, что он, собственно, сегодня на первом выступлении будет делать?

Степа двинулся по коридору к спальне и, поравнявшись с дверью, ведущей из коридора в гостиную, вздрогнул и остановился. В гостиной, отразившись в зеркале, прошла странная фигура — длинный какой-то худой, в шапчонке. Степа заглянул в гостиную — еще больше поразился — никого там не было.

Где-то хлопнула дверь, кажется, в кухне, и тотчас в гостиной случилось второе явление: громадный черный кот на задних лапах прошел по гостиной, также отразившись в зеркале, и тотчас пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «С ума я, что ли, схожу? Что это такое?» И, думая, что дверь хлопнула в кухне потому, что Груня вернулась, закричал испуганно и раздраженно:

— Груня! Какой тут кот у нас? Откуда он?

— Не беспокойтесь, Степан Богданович, — отозвался вдруг из спальни гость, — кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет. Я услал ее в Воронежскую губернию.

Слова эти были настолько дики и нелепы, что Степа решил, что он ослышался. В полном смятении он заглянул в спальню и буквально закоченел у дверей на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу выступил холодный пот.

Гость был уже не один в спальне. В другом кресле сидел тот самый тип, что померещился в гостиной. Теперь он был яснее виден — усы-перышки, мутно блестит стеклышко в пенсне, а другого стеклышка нету. Но хуже всего было третье: на пуфе сидел черный кот со стопкой водки в одной лапе и с вилкой, на которую он поддел маринованный гриб, в другой.

Свет и так слабый в спальне, начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как сходят с ума», — подумал он и ухватился за притолоку.

— Я вижу, вы немного удивлены, драгоценнейший? — осведомился гость. — А между прочим, удивляться нечему. Это моя свита.

Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолоке.

— Свита эта требует места в квартире, — продолжал гость, — так что кто-то здесь лишний в квартире. И мне кажется, что это именно вы!

— Он, — вдруг ввязался козлиным голосом в разговор длинный, в котором Мирцев мгновенно узнал бы незабвенного регента, — они, —продолжал он, явно подразумевая под этим словом самого Степу, — вообще в последнее время жутко свинячат в Москве. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое служебное положение, лгут начальству...

— Машину зря гоняет казенную, — добавил кот, прожевывая гриб.

И тут случилось четвертое и последнее явление тогда, когда Степа, сползший совсем уже на пол, негнущейся рукой царапал притолоку.

Из трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в шелке и с длиннейшим клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию, рыжий.

И вышедший сразу вступил в разговор.

— Я, — заговорил он гнусаво, — вообще не понимаю, как он попал в директора. Он такой же директор, как я архиерей. Ему давно уже надо проветриться. Разрешите, мессир, выкинуть его к чертовой матери из Москвы!

— Брысь! — рявкнул кот, вздыбив шерсть.

И тогда сперва спальня, а затем и вся квартира завертелась вокруг Степы, так что все смешалось в угасающих глазах. Степа ударился головой о низ притолоки и потерял сознание. Последняя мысль его была: «Я — умираю!»

Но он не умер. Открыв глаза, он увидел себя в тенистой аллее под липами, и первое, что ощутил, — это сладкое свежее дуновение в лицо от реки. И эта река, зашитая в гранит, река бешеная, темная, как бы графитовая, не текла, а неслась, бешено прыгая через камни, разбрасывая пену и грохоча. На противоположном берегу виднелась хитро и пестро разрисованная мечеть, а

когда Степа поднял голову, увидел в блеске солнечного дня вдали за городом большую гору с плоской, косо срезанной, вершиной.

Шатаясь, Степа поднялся со скамейки, на которой очнулся, и оглянулся. Приближался какой-то человек; приблизившись, он диковато уставился на Степу. Это было естественно: Степа стоял перед ним в сорочке, брюках, носках, с опухшим лицом, с сумасшедшими глазами и пошатывался.

— Умоляю, — выговорил, наконец, Степа жалким, молящим, чистым голосом, — скажите, какая это гора?

Человек усмехнулся и ответил:

— Однако! — и хотел пройти.

Тогда Степа пошел на все. Стал на колени, моляще протянул руки и заговорил:

— Я не пьян! Поверьте, я не пьян... Я болен... Со мною что-то случилось страшное. Скажите мне, где я? Какой это город?

Человек остановился, все еще недоверчиво косясь на растерзанного Степу, поправил кепку и, наконец, ответил, нахмурясь:

— Ну, Владикавказ.

Степа качнулся с колен влево, тихо простонал и упал лицом в песок аллеи. Сознание покинуло его.

ГЛАВА 8

ОШИБКА ПРОФЕССОРА СТРАВИНСКОГО

Несколько ранее, чем со Степой случилась беда, Иван Николаевич проснулся после глубокого и долгого сна и некоторое время соображал, как он попал в эту необыкновенную комнату с белейшими стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого и легкого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце.

Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль, естественно, потянула за собой воспоминание о гибели Мирцева, но она не вызвала в Иване вчерашнего потрясения.

Вообще, выспавшись, он стал спокойнее, и хоть своей миссии поймать таинственного на букву «Ф» или

оповестить о нем хотя бы и не забыл, но решил действовать сдержаннее, так как было ясно, что силой ничего не возьмешь.

Увидев на стене над постелью кнопку звонка, Иван нажал ее, и тотчас появилась толстая, приветливая женщина в белом и сказала: «Доброе утро!»

Иван не ответил, так как счел это приветствие неуместным: в самом деле — засадить здорового человека в лечебницу, да еще делать вид, как будто это так и нужно!

Женщина, оставаясь по-прежнему приветливой, опять-таки при помощи одного нажима кнопки увела широкую штору вверх. В комнату хлынуло солнце через металлическую широкопетлистую решетку, за которой открывался балкон, опять-таки с решеткой, но в мелкую петлю — скорее сеткой, чем решеткой. За решетками виден был бор на высоком берегу извивающейся реки.

— Пожалуйте ванну брать, — пригласила женщина; стена под ее руками раздвинулась, обнаружилось ванное отделение с белой ванной с блестящими кранами, с душем.

Иван решил с женщиной не разговаривать — ведь она-то его выпустить не может, но не удержался и, глядя, как широкими струями вода хлещет в ванну, сказал с иронией:

— Ишь ты! Как в «Астории».

Толстая женщина на это ответила с гордостью:

— Ну нет, гораздо лучше. За границей нигде нет такого оборудования. Ученые и врачи специально приезжают осматривать. Каждый день интуристы бывают.

При слове «интуристы» Ивану сразу вспомнился вчерашний консультант. Он затуманился, посмотрел на женщину исподлобья и сказал:

— Интуристы... До чего вы все интуристов любите! А среди них разные бывают. Вот вчера, например, мне такой попался интуристик...

И чуть было не рассказал, но опять-таки вспомнил, что толку от этого не будет, умолк.

Вымытого Ивана повели по коридору, ослепительно чистому, пустому, куда-то.

Одна встреча, впрочем, здесь произошла. Попался по дороге тоже куда-то направляющийся пациент в со-

провождении другой женщины и поравнявшись с Иваном, высунул ему язык и показал кукиш.

Иван обиделся и уж хотел затеять историю, но спутница его успокоила, сказавши, что это больной и уж на него обижаться никак не приходится.

Вскоре Иван оказался в кабинете необыкновенной величины. Иван, решивший мысленно относиться ко всему, что есть в этом на диво оборудованном здании, где он находится противу своей воли, с иронией, тут же окрестил кабинет «фабрикой-кухней».

И было за что.

Здесь находились и шкафы с блестящими инструментами, и какие-то сложные кресла, и разноцветные лампы с блестящими колпаками, и провода электрические, и неизвестные приборы. Тут трое принялись за Ивана — женщина и двое мужчин. Началось с того, что его отвели в уголок и усадили перед столиком, с явной целью расспрашивать.

Иван обдумал свое положение: перед ним было три пути — первый — кинуться на все эти приборы, а к этому очень подмывало, что можно — поломать и таким образом обратить, наконец, на себя внимание и доказать, что он здоров и задержан зря. Подумав всего несколько мгновений, Иван этот путь решил отринуть. Путь второй — рассказать о человеке, бывшем у Понтия Пилата на балконе, и о том, что он заранее знал о постном масле. Вчерашний опыт, однако, показал, что рассказу этому или не верят, или как-то понимают его извращенно, поэтому Иван и от этого пути отказался, а избрал третий — замкнуться в гордом молчании.

Полностью этого осуществить не удалось, потому что пришлось отвечать на множество вопросов. У Ивана выспросили все решительно насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда он болел скарлатиной. Исписав за Иваном целую страницу, ее перевернули, и женщина-врач перешла к родителям Ивана. Когда кто умер, да отчего, да пил ли и сколько и прочее и прочее.

Наконец, узнав все, что хотелось, принялись за Ивана с другой стороны. Смерили температуру, посчитали пульс, смотрели зрачки, светили в глаза, кололи не больно чем-то спину, рисовали рукоятью молоточка какие-то буквы на груди, из пальца на стеклышко взяли каплю крови, но этим не удовольствовались и пососали

крови из жилы в шприц, надевали какие-то резиновые браслеты на руки, в какие-то груши вдували воздух, отчего браслеты давили руку. Заставляли стоять на одной ноге, закрыв глаза.

Иван безропотно подчинялся всему и только вздыхал, размышляя о том, как иногда чудно получается в жизни. Казалось бы, хотел принести пользу, хотел задержать важнейшего и весьма странного преступника и, вот на поди, оказался за городом, и у него за все его старания кровь берут на исследование.

Вскоре мучения Ивана кончились, и он препровожден был обратно к себе в номер и получил там завтрак, состоящий из чашки кофе, двух яиц всмятку и белого хлеба с маслом. Съев все предложенное, Иван решил ждать терпеливо какого-то главного и уж у него добиться и внимания и справедливости.

И этого главного он дождался немедленно после завтрака. Стена, ведущая из номера в коридор, разошлась, и вошло к Ивану множество народу в белых халатах. Впереди всех вошел выбритый, без усов и бороды, человек лет сорока пяти, с приятными темными глазами и вежливыми манерами. Вся свита его, в которой были и женщины и мужчины, оказывала вошедшему всевозможные знаки внимания, от чего вход получился очень торжественным.

«Как Понтий Пилат...» — подумалось Ивану.

Появились откуда-то табуреты, и кое-кто сел вслед за главным, а кто остался в дверях стоять.

— Доктор Стравинский, — представился, усевшись на табурет, главный и дружелюбно поглядел на Ивана.

— Вот, Александр Николаевич, — негромко сказал какой-то с опрятной бородкой и подал профессору тот самый лист, который после кабинета был исписан кругом.

«Целое дело сшили», — подумал Иван.

Главный привычными глазами пробежал по листу, что-то ногтем подчеркнул, «угу, угу» пробормотал и обмолвился несколькими словами с окружающими на неизвестном языке... Однако одно слово из сказанного заставило Ивана неприятнейшим образом вздрогнуть. Это было слово «фурибунда», увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших. Иван потемнел лицом и беспокойно поглядел на главного.

Тот, по-видимому, поставил себе в правило соглашаться со всем, что бы ему ни говорили, все, по возможности, одобрять, на все со светлым лицом говоря: «Славно! Славно». Так он поступил, дочитав лист и поговорив со свитой.

— Славно! — сказал Стравинский, отдал лист кому-то и обратился к Ивану:

—Вы — поэт?

— Поэт, — мрачно ответил Иван. И вдруг тут впервые в жизни почувствовал отвращение к поэзии, и стихи его вдруг показались ему сомнительными.

В свою очередь, он спросил Стравинского:

— Вы — профессор?

Стравинский вежливо наклонил голову.

— Вы здесь главный? — спросил Иван.

Стравинский и на это поклонился, а в свите улыбнулись.

— Так вот, мне с вами нужно поговорить, — многозначительно сказал Иван.

— Я для этого и пришел, — сказал Стравинский.

— Вот что, — начал Иван, чувствуя, что, наконец, настал час все выяснить, — меня никто не хочет слушать, в сумасшедшие вырядили...

— О нет, мы вас выслушаем очень внимательно, — серьезно и успокоительно отозвался Стравивинский — в сумасшедшие ни в коем случае вас рядить не будут.

— Так слушайте же! Вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранец не иностранец, который заранее знал о смерти Саши Мирцева и лично видел Понтия Пилата.

Свита затихла, никто не шелохнулся.

— Пилата? Пилат — это который жил при Христе? — прищурившись на Ивана, спросил Стравинский.

— Тот самый, — подтвердил Иван.

— А кто это Саша Мирцев? — спросил Стравинский. — Мирцев — известный редактор и секретарь Массолита, — пояснил Иван.

— Ага, — сказал Стравинский, — итак, вы говорите, он умер, этот Саша?

— Вот же именно вчера его и зарезало трамваем на Патриарших прудах, причем этот самый загадочный гражданин...

— Знакомый Понтия Пилата? — спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью.

— Именно он, — подтвердил Иван, глядя мрачными глазами на Стравинского, — сказал заранее, что Аннушка разлила постное масло... а он и поскользнулся как раз на этом месте через час. Как вам это понравится? — многозначительно спросил Иван и прищурился на Стравинского.

Он ожидал большего эффекта, но его не последовало, и Стравинский при полном молчании врачей задал следующий вопрос:

— А кто же эта Аннушка?

Этот вопрос расстроил Ивана, лицо его передернуло.

— Аннушка здесь не важна, — проговорил Иван, нервничая, — черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что он заранее знал о постном масле... Вы меня понимаете?

— Отлично понимаю, — серьезно сказал Стравинский и коснулся колена Ивана, — продолжайте.

— Продолжаю, — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что только спокойствие поможет ему, — этот страшный тип отнюдь не профессор и не консультант, а убийца и таинственный субъект, а может, и черт его знает кто еще, обладает какой-то необыкновенной силой... Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности! Да он лично был на балконе у Пилата! Ведь это что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед.

— И вы хотите добиться, чтобы его арестовали? Я правильно вас понял? — спросит Стравинский.

«Он умен! — подумал Иван. — Среди интеллигентов попадаются на редкость умные!»

— Как же этого не добиваться — согласитесь сами! — воскликнул Иван. — А меня силою задержали здесь, тычут мне в глаза лампы, в ванне купают! Я прошу выпустить меня немедленно!

— Ну что же, славно, славно, — покорно согласился Стравинский, — я вас не держу. Какой же смысл задерживать вас в больнице, если вы здоровы? И я немедленно выпишу вас отсюда, если только вы мне скажете, что

вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны?

Тут наступила полнейшая тишина, и толстая женщина, ухаживавшая за Иваном утром, благоговейно посмотрела на профессора, а Иван еще раз растерянно подумал: «Положительно — умен!»

Прежде чем ответить, он, однако, очень подумал и наконец сказал:

— Я — нормален.

_ Ну вот и славно! — с облегчением воскликнул Стравинский. — Ну, а если так, то будем рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день... — Тут Стравинский обернулся, и ему немедленно подали Иванов лист. — В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия... — Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая в исписанный лист, — прикололи себе к коже груди английской булавкой иконку. Было?

— Было...

— Упали с забора, лицо разбили. Явились в ресторан со свечкой в руке, в одном белье и в ресторане подрались. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы... Затем сделали попытку выброситься в окно и ударили санитара. Спрашивается: возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? Вы человек нормальный? Так вы сами ответите: никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Пожалуйста. Только позвольте вас спросить, куда вы направитесь отсюда?

— В милицию, конечно, — ответил Иван.

— Непосредственно отсюда?

— Непосредственно, — ответил Иван твердо, но все-таки теряясь под взглядом Стравинского.

— А на квартиру к себе не заедете? — вдруг спросил Стравинский.

— Некогда мне заезжать! Пока я буду разъезжать по квартирам, он улизнет.

— Так! Что же вы скажете в милиции в первую голову, так сказать?

— Про Понтия Пилата, — ответил Иван, и в глазах его появился сумрачный огонь.

— Ну вот и славно! — воскликнул покоренный Стра-

винский и, обратившись к тому, что был с бородкой и стоял у самого его плеча, приказал:

— Иван Петрович, выпишите, пожалуйста, гражданина Понырева в город. Эту комнату прошу не занимать, постельное белье не менять. Через два часа гражданин Понырев опять будет здесь. Ну что ж, мне остается только пожелать вам успеха, хоть, признаюсь, в этот успех я нисколько не верю. До свидания!

С этими словами Стравинский поднялся, свита зашевелилась.

— На каком основании я опять буду здесь? — тревожно спросил Иван.

Стравинский немедленно уселся опять.

— На том основании, — сказал он, — что как только вы явитесь в кальсонах в милицию, скажете, что вы вчера виделись с человеком, который был знаком с Понтием Пилатом, как тотчас же вас привезут туда, откуда вы уехали, то есть в эту комнату.

— При чем здесь кальсоны? — спросит, смятенно оглядываясь, Иван..

— Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь на вас казенное белье, мы его снимем и выдадим вам ваше одеяние. А вы доставлены были в рубашке и кальсонах, а домой вы не собирались заехать, хоть я вам и намекнул на это. Далее последует Пилат... и дело готово!

Тут что-то странное случилось с Иваном. Его воля вдруг пропала. Он почувствовал, что слаб и нуждается в совете.

— Так что же делать? — спросил он робко.

— Ну вот и славно! — отозвался Стравинский. — Это резоннейший вопрос. Поймите, что вас кто-то вчера сильно напугал и расстроил. Зачем вам, спрашивается, изнервничавшемуся, издерганному вконец человеку, бегать по городу, рассказывая про Понтия Пилата? Вас, конечно, все примут за сумасшедшего, не могут не принять. Для вас в покое сейчас спасение. Останьтесь здесь и прежде всего отдохните...

— Его надо поймать! — уже моляще сказал Иван.

— Хорошо-с. Самому бегать-то зачем? Изложите на бумаге все ваши обвинения и подозрения против этого человека. Ничего нет проще, как передать этот документ куда следует, и, если мы имеем дело с преступле-

нием, как вы говорите, все это разъяснится, и очень быстро, уверяю вас. Но только прошу вас, не напрягайте головы и меньше думайте о Понтии Пилате. Я не спорю с вами, но все-таки напоминаю вам, что рассказы бывают и сомнительные... Мало ли чего может кто рассказать про Понтия Пилата. Не всему же можно верить.

— Понял, — твердо сказал Иван, — остаюсь, но прошу выдать мне бумагу, чернила и евангелие.

— А зачем евангелие?

— Хочу проверить, правду ли он говорил.

— Ну что ж, — Стравинский обратился к толстой женщине, — выдайте евангелие.

— Евангелия нету у нас в библиотеке, — сконфуженно ответила та.

— Напрасно нет, — сказал Стравинский. — Видите, понадобилось. Купите у букинистов.

— Слушаю, — ответила женщина.

— Оно и к лучшему, впрочем, что сейчас нет, — обратился Стравинский к Ивану, — вам сегодня читать нельзя. Пока будут искать, вы успокоитесь и тогда можете навести справку о том, что вас интересует. Писать сегодня я вам тоже не советую...

— Нет, нет, сегодня же нужно написать! — воскликнул Иван и встревожился.

— Хорошо-с. Не настаиваю. Прошу только об одном — не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, выйдет завтра.

— Он уйдет, — жалобно воскликнул Иван.

— О нет, — уверенно сказал Стравинский, — он никуда не уйдет, ручаюсь вам за это. И помните, вам здесь помогут всемерно, а без этой помощи у вас ничего не выдает! Вы меня слышите? — вдруг многозначительно сказал Стравинский и, взяв руки Ивана в свои руки, несколько секунд смотрел ему в глаза в упор.

— Да, — чуть слышно сказал Иван.

— Ну вот и славно, — воскликнул Стравинский, — выдать бумагу и коротенький карандаш, — приказал он женщине, — все так, — сказал он бородатому, указывая на лист Ивана, — до свидания, — обратился он к Ивану, — если станет скучно, печально или что-нибудь встревожит, позвоните. К вам придет врач, и поможет, и все устроит, и все объяснит. До свидания.

И через несколько мгновений перед Иваном не было Стравинского и его свиты.

За сеткой в окне был бор, сверкала под солнцем река.

ГЛАВА 9

НЕГОДЯЙ КОРОВЬЕВ

Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества в том самом доме, где проживал покойный Мирцев, находился в больших хлопотах, начиная с предыдущей полуночи, когда ему вместе с комиссией пришлось производить осмотр комнат покойного.

Комиссия эта, как и рассказывала Груня, опечатала и увезла с собою рукописи покойного, насчет жилплощади покойника объявила, что она переходит в распоряжение жилтоварищества, а насчет вещей, лично принадлежащих покойному, что они подлежат сохранению на месте, впредь до обнаружения наследников, буде такие явятся. Вследствие этого Никанор Иванович тут же запечатал печатью товарищества книжный шкаф, шкаф, где было белье покойного и осеннее его пальто и два костюма.

Слух о гибели Мирцева распространился мгновенно по всему дому, и с семи часов утра к Босому начали звонить по телефону, а потом и приходить на квартиру с заявлениями. В течение двух часов Никанору Ивановичу подали тридцать девять заявлений лица, претендующие на площадь убитого.

В заявлениях этих заключались и мольбы, и угрозы, и кляузы, и доносы, обещания произвести ремонт на свой счет, указания на тесноту, на невозможность жить в одной квартире с бандитами, обещания покончить жизнь самоубийством, замечательные по художественной силе описания безобразий, творящихся в некоторых квартирах, и признания в беременностях.

К Никанору Ивановичу звонили в квартиру, вызывали его в переднюю, требовали выслушать или униженно просили, грозились пожаловаться, хватали за рукава, шептали что-то и подмигивали, обещали не остаться в долгу.

Мука эта продолжалась до начала первого дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в

правление, но, когда увидел, что и там его уже подкарауливали, ушел и оттуда. Отбившись кое-как от тех, что шли за ним по пятам через двор, Никанор Иванович скрылся в шестом подъезде и поднялся в четвертый этаж, где помещалась эта проклятая квартира № 50.

Еле отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонит еще и еще, начал ругаться и ворчать. Не открыли. Терпение Никанора Ивановича лопнуло, и он дубликатом ключа самолично открыл переднюю дверь и вошел.

В передней был полумрак, на властный зов Босого — «Эй, кто тут, работница Груня, что ли?» — никто не отозвался.

Тогда Никанор Иванович вынул из кармана складной метр и прямо из передней шагнул в кабинет Мирцева. Тут он остановятся в изумлении.

За столом покойного сидел неизвестный тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджаке, в жокейской шапочке и в пенсне с треснувшим стеклом.

— Вы кто такой будете, гражданин? — спросил Никанор Иванович и почему-то вздрогнул.

— Ба! Никанор Иванович! — заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием.

Приветствие это Никанор Иванович встретил недоверчиво и хмуро.

— Я извиняюсь, — заговорил он, — вы кто такой будете? Вы лицо официальное?

— Эх, Никанор Иванович! — воскликнул задушевно неизвестный гражданин. — Что такое «официальный» и «неофициальный»! Все это условно и зыбко, все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Сегодня я — неофициальное лицо, а завтра, смотришь, официальное, а бывает и наоборот!

Это объяснение совершенно не удовлетворило Никанора Ивановича: из него он усвоил, что находящийся перед ним именно лицо неофициальное.

— Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия? — все суровее спрашивал председатель.

— Фамилия моя, — ничуть не смущаясь неприветливостью, отозвался гражданин, — ну, скажем... Коровьев. Да не хотите ли закусить без церемоний?

— Я извиняюсь, какие тут закуски, — уже негодуя, заговорил Никанор Иванович, нужно признаться, что председатель был по натуре грубоват, — на половине покойника сидеть не разрешается! Вы что делаете здесь?

— Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, — опять-таки не смущаясь, орал гражданин и заюлил, предлагая кресло, которым Никанор Иванович, уже освирепев, не воспользовался, — я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире!

Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца в квартире явилась совершеннейшим сюрпризом для председателя, и он потребовал объяснений.

Переводчик объяснился. Оказалось, что господин Фаланд — артист, заключивший контракт на выступления в кабаре, был любезно приглашен директором кабаре Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, в его квартире, о чем еще вчера Степан Богданович при переводчике написал Никанору Ивановичу и просил прописать иностранца временно.

— Ничего он мне не писал — сказал пораженный Босой.

— А вы поройтесь в портфеле, Никанор Иванович, — сладко сказал назвавший себя Коровьевым.

Босой подчинился этому предложению. Впоследствии он утверждал, что уж с этого момента он действовал в помрачении ума, но ему конечно, никто не верил.

К величайшему изумлению Никанора Ивановича, в портфеле обнаружилось письмо Степы, в котором тот действительно просил о прописке иностранца и заявлял, что сам срочно уезжает во Владикавказ.

Никанор Иванович тупо глядел на письмо, бормоча:

— Как же это я его сюда засунул?

— То ли бывает! То ли бывает! — трещал Коровьев. — Рассеянность, рассеянность, милейший Никанор Иванович! Я сам рассеян до ужаса, до ужаса! Я вам как-нибудь расскажу за рюмкой несколько фактов, вы обхохочетесь!

— Позвольте, когда же он едет во Владикавказ? — озабоченно спросил Никанор Иванович, чувствуя, что

на него валится еще новая обуза, какого-то иностранца устраивать в доме — тоже удовольствие!

— Да он уж уехал, уехал! — закричал переводчик. — Он, знаете ли, уж катит черт его знает где! — И замахал руками.

Никанор Иванович изъявил желание увидеть иностранца, но получил вежливый отказ. Переводчик объяснил, что невозможно никак — кота дрессирует.

— Кота, ежели угодно, могу показать! — предложил Коровьев.

От этого отказался изумленный Босой, а переводчик тут же сделал предложение председателю, которое заключалось в следующем.

Ввиду того, что господин Фаланд привык жить просторно, то не сдаст ли жилтоварнщество на эту недельку иностранцу всю квартиру, то есть и комнаты покойного?

— Ведь ему безразлично — покойнику-то! — утверждал переводчик. — Его квартирка теперь, знаете ли, темная, маленькая, а иностранец этот капризуля, скажу вам по секрету, — сипел шепотом Коровьев.

Никанор Иванович в недоумении возразил, что иностранцам надлежит жить в «Метрополе», но переводчик не сдался.

— Говорю же вам, капризуля, — хрипел Коровьев, — не желает! Не любит гостиниц. Вот они у меня где сидят, эти интуристы, — пожаловался интимно Коровьев, — всю душу вымотали! Приедет... и то ему не так, и это не так... А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода. За деньгами он не постоит. Миллионер!

Полнейший практический смысл заключался в том, что предложил переводчик, и говорил он дело, и тем не менее, удивительно несолидное было что-то и в манере его говорить, и в этом клетчатом пиджачке, и в никуда не годном пенсне.

Что-то неясное терзало душу председателя, и все-таки он решил предложение принять. В товариществе был большой дефицит, а к осени нужно было покупать нефть для парового отопления. На иностранцевы деньги можно было бы извернуться.

Но деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что эти дела так не делаются и что он должен увязать этот вопрос с конторой «Интуриста».

— Обязательно! — закричал Коровьев, даже взвизгнув. — Обязательно! Как же без увязки? Я понимаю. Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте. А насчет денег не стесняйтесь, — шепотом прибавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону, — с кого же и взять, как не с него. У него такая вилла в Ницце... приедете как-нибудь, зайдите посмотреть нарочно — ахнете!

Дело с «Интуристом» уладилось с необыкновенной быстротой. Оказалось, что в конторе знают о намерении Фаланда жить на частной квартире и не возражают против этого. Условия же такие: жилтоварищество сдает пятикомнатную квартиру на семь дней за плату по сто долларов в день. Плата вперед. Валюту примет специально отправляющийся сейчас же на квартиру товарищ Кавунев, снабженный соответствующим полномочием. Жил же товариществу контора вручит плату в советской валюте по банковскому курсу немедленно по отъезде иностранца из Москвы.

Кавунев появился с феерической быстротой — через пять минут — и оказался маленького роста, но широкоплечим человеком, поразившим Никанора Ивановича клыком, торчащим изо рта, и огненностью шевелюры. Кавунев предъявил полномочие, привез составленный в трех экземплярах договор на наем квартиры, снабженный уже подписями и печатями со стороны «Интуриста», заставил Никанора Ивановича подписать его в свою очередь. Коровьев слетал в спальню, вернулся с договором, во всех трех экземплярах подписанным господином Фаландом. Коровьев вынул пачку валюты, тут же отсчитал 750 долларов, Кавунев тщательно проверил отсчитанное, Никанор Иванович выдал тогда расписку о том, что от господина Фаланда за квартиру 750 долларов принял, а Кавунев на бланке со штампом и с печатью расписался в том, что сумму в 750 долларов принял от Никанора Ивановича Босого. Экземпляры договора разошлись по рукам как подобает: один — Никанору Ивановичу, другой — Кавуневу, третий исчез в боковом кармане у Коровьева, и Кавунев покинул квартиру.

В асфальтированном дворе дома хрипло и сердито рявкнуло, и председатель, выглянув в окно, увидел, как Кавунев укатил в открытом «линкольне», прижимая к сердцу портфель с валютой и договором.

— Ну вот и все в порядочке! — радостно объяснил Коровьев.

Никанор Иванович не удержался и попросил контрамарочку на вечер, которую с каким-то даже восторгом Коровьев тут же написал, вскрикивая: «Об чем разговор!», а затем поступил так: собственноручно положил контрамарку в карман пиджака Никанора Ивановича и тут же, нежно обхватив председателя за полную талию, вложил ему в руку приятно хрустнувшую пачку.

— Я извиняюсь, — сказал ошеломленный Никанор Иванович, — этого не полагается! — и стал отпихивать от себя пачку.

— И слушать не стану, — зашептал в самое ухо Коровьев, — у нас не полагается, а у интуристов полагается. Обидите, нельзя!

— Строго преследуется, — сказал почему-то тихо Босой и оглянулся.

— А где свидетели? — шепнул Коровьев. — Я вас спрашиваю, где они? Что вы! Не беспокойтесь, наши, советские...

И тут, сам не понимая, как это случилось, Никанор Иванович увидел, что пачка вползала к нему в портфель, и через минуту Никанор Иванович, какой-то расслабленный и мятущийся, спускался по лестнице. Мысли в его голове крутились вихрем, тут была и вилла в Ницце, и какой-то кот дрессированный, и что нужно будет сегодня с женою побывать в кабаре, и что дело с нефтью устроилось, и что голос говорившего по телефону из «Интуриста» почему-то похож на голос этого Коровьева.

Лишь только Никанор Иванович ушел, из спальни Степы донесся голос артиста:

— Однако этот Никанор Иванович — гусь, как я погляжу! Он мне надоел. Вообще, нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил?

— Стоит вам приказать, мессир! — почтительно отозвался Коровьев, отправился в переднюю, повертел номер и сказал в трубку плаксивым и дрожащим голосом:

— Алло! Считаю долгом сообщить, что председатель жилтоваришества по Садовой № 302-бис Никанор Иванович Босой широко спекулирует валютой, часть которой держит у себя в квартире № 35, в уборной, в старом дымоходе. Говорит жилец этого дома, который имя свое

держит в строжайшей тайне, опасаясь гнусной мести вышеизложенного председателя.

И повесил трубку.

— Этот вульгарный человек не придет больше, мессир, — доложил Коровьев, проходя в гостиную.

Туда же вошел из столовой другой, увидев которого Никанор Иванович ужаснулся бы, ибо это был не кто иной, как называвший себя Кавуневым. Он, он. Глаз с бельмом, рыжие волосы, клык.

— Ну что ж, идем завтракать, Азазелло? — обратился к нему Коровьев.

— Сейчас, — в нос отозвался Азазелло и, в свою очередь, крикнул:

— Бегемот!

На этот зов из спальни Степы вышел кот-толстяк, и через несколько минут вся свита иностранца сидела в гостиной у весело потрескивавшего камина, пила красное вино.

А Никанор Иванович, проскользнув по двору, скрылся в своей квартире. Там первым долгом он пришел в уборную, заперся в ней и заглянул в портфель. Сомнений не было: Коровьев всучил ему тысячу рублей очаровательными белоснежными десятичервонными купюрами. Посидев некоторое время в уборной в каком-то расслаблении тела и духа, Никанор Иванович, чтобы избежать резонного вопроса супруги: «Откуда?» — решил их спрятать в дымоходе, а потом сдать на сберкнижку. И пачка червонцев, завернутая в газетную бумагу, исчезла в дымоходе.

Через полчаса Никанор Иванович сидел за столом, собираясь пообедать. Борщ уже дымился перед ним в кастрюле. Никанор Иванович уже вытащил из кастрюли кусок вареного мяса с золотистым жирком, уже взялся за лафетничек, как раздался в квартиру звонок.

— А что б тебе провалиться! Поесть не дадут, — прорычал Никанор Иванович, отставив лафетничек, и крикнул супруге: — Скажи, что квартира покойника сдана иностранцу на неделю! Чтоб хоть неделю не трепались!

Супруга шмыгнула в переднюю. Оттуда послышался ее голос, в ответ чьи-то голоса, громыхнула снимаемая цепочка.

— Что ж она, ведь я ж сказал, — забормотал, рассердившись, Никанор Иванович.

Тут вошла взволнованная супруга, а за нею следом двое незнакомых граждан! Никанор Иванович загородил кастрюлей лафетничек, встал навстречу в недоумении.

— Где уборная? — спросят озабоченно первый из граждан в белой косоворотке.

— Здесь, — шепнул Никанор Иванович, меняясь в лице, — а в чем дело, товарищи?

Ему не объяснили, в чем дело, а прямо проследовали в уборную.

— А в чем дело? — тихо спросил еще раз Никанор Иванович, следуя за пришедшими. В хвосте мыкалась супруга.

Первый из вошедших сразу встал ногами на судно, руку засунул в дымоход и вытащил сверток. В глазах у Никанора Ивановича потемнело и в голове пронеслось только одно слово — «Беда!».

Сверток развернули, и в нем вместо червонцев оказались совсем другие деньги. Они были какие-то зеленоватые с изображениями какого-то старика.

Лицо Никанора Ивановича и широкая шея налились темной кровью. И как он избежал удара — непонятно.

— Ваш пакетик? — мягко спросил второй.

— Никак нет, — глухим голосом ответил Никанор Иванович.

— А чей же?

— Не могу знать, — еще глуше ответил Никанор Иванович и вдруг завопил: — Подбросили враги!

— Бывает, — ответил тот, что был в косоворотке, и миролюбиво добавил: — Ну, гражданин, показывайте, где другие держите?

— Нету у меня! Нету! — прохрипел Никанор Иванович. — В руках никогда валюты не держал!

И тут супруга его, уже неизвестно, что ей померещилось, вдруг вскричала, всплеснув руками:

— Покайся, Иванович! Тебе легче будет.

С налитыми кровью глазами Никанор Иванович занес над головою кулак и шатнулся к супруге.

Но его удержали.

— Зачем же драться? — мирно опять-таки молвил не тот, что в косоворотке, а другой.

— Богом клянусь! — вскричал несчастный председатель, в самом деле никогда не державший в руках долларов, и вдруг смолк и утих, подчиняясь неизбежному.

Минут через [пять] через подворотню дома проследовали к дожидавшейся машине двое пришедших граждан и с ними Никанор Иванович Босой. Рассказывали потом, что на нем не было лица, что он пошатывался и что-то бормотал, усаживаясь в машину.

ГЛАВА 10

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА И ГИБЕЛЬ ВАРЕНУХИ

В это время на той же Садовой в кабинете дирекции кабаре находились двое ближайших помощников Степы — финансовый директор Близнецов и администратор Варенуха.

Близнецов сидел за письменным столом и, раздраженно глядя сквозь очки, читал и подписывал какие-то бумаги, а Варенуха, укрывавшийся в кабинете дирекции от контрамарочников, особенно досаждавших ему в дни перемены программы, в ответ на телефонные звонки беспрерывно лгал в телефон, что Варенуха вышел из театра.

В кабинет, как обычно, текла вереница посетителей. Побывал главный бухгалтер Прохоров с ведомостью, за ним пришел дирижер, и Близнецов, обладавший странной манерой стараться никому и никогда не выдать денег, да к тому же еще с утра бывший в дурном расположении духа, тотчас же поругался.

— Не я рвал кожу на барабане! — кричал Близнецов. — Так теперь пусть он хоть собственную кожу натягивает на барабан! У меня нет этого в смете!

— Так нельзя работать! — вспылил дирижер. — Я заявлю Лиходееву!

— Кому хотите заявляйте! — дерзко ответил Близнецов, и дирижер, красный от обиды, ушел.

Телефон трещал постоянно, и Варенуха кричал неприятным голосом:

— Нету его! Вышел! Неизвестно!

Вошел курьер и внес толстую кипу свежеотпечатанных афиш. Варенуха обрадовался и развернул ее.

На афише в числе прочего стояло крупными буквами:

ДОКТОР МАГИИ ФАЛАНД.
СЕАНСЫ ЧЕРНОЙ МАГИИ С ПОЛНЫМ ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕМ.

— Хорошо! Броско, — заметил Варенуха, отходя и любуясь буквами.

— Не нравится мне эта затея, — пробурчал Близнецов, косясь на афишу, — удивляюсь, как ему это вообще разрешили поставить...

— Нет, нет, Григорий Максимович! — возразит Варенуха. — Не скажи, это очень умный шаг. — И тотчас велел пустить афиши в расклейку.

Побывала актриса, умильно просила пропуск на сегодня, получила отказ от Варенухи, совравшего, что он выдал уже все, что было. Побывал какой-то лысый человек в грязном воротничке, сказал робко, что принес скетч.

— Оставьте здесь, — буркнул ему Близнецов, и человек положил засаленную рукопись на стол. Осведомился униженно, когда приходить за ответом.

— Через две недели, — буркнул Близнецов.

Человек стал кланяться Близнецову и Варенухе, отступая задом к дверям. Ни тот, ни другой ему не ответили на поклоны, и он скрылся с мученическим лицом.

Прошло еще некоторое время, и Близнецов начал злиться и нервничать из-за Степиной неаккуратности. Ведь сказал по телефону, что явится сейчас же, и пропал.

А на столе росла гора неотложных дел.

— Позвони, Василий Васильевич, ему, — нервно сказал Близнецов.

Варенуха позвонил, подождал, положил трубку на рычаг, сказал:

— Никто не отвечает. Значит, вышел.

— Безобразие! — рычал Близнецов.

Время текло, а Степы все не было. Так продолжалось до двух часов дня, и в два Близнецов совершенно остервенился. И тут дверь в кабинет отворилась, и вошла женщина в форменной куртке и фуражке, в тапочках, вынула из маленькой желтой сумки на поясе конвертик и сказала:

— Где тут кабаре? Распишитесь. Молния.

Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, когда та вышла, вскрыл конвертик. Прочитав написанное, он сказал: «Гм!», поднял брови и передал телеграмму Близнецову.

В телеграмме же было напечатано следующее. «Владикавказа Москву Кабаре Молнируйте Владикавказ гормилицию Масловскому точно ли блондин ночной сорочке брюках без сапог психический явившийся сегодня гормилицию директор московского кабаре Лиходеев точка Масловский».

— Здравствуйте, я ваша тетя! — злобно сказал Близнецов.

— Лжедимитрий! — весело сказал Варенуха и тут же, взяв трубку, проговорил в нее:

— Телеграф? Молния. Владикавказ гормилиция Масловскому Лиходеев Москве Финдиректор кабаре Римский администратор Варенуха.

Независимо от сообщения о владикавказском самозванце принялись разыскивать Степу. Квартира его упорно не отвечала. Варенуха начал наобум звонить в разные учреждения, но нигде, конечно, Степы не нашел.

— Уж не попал ли он, как Мирцев, под трамвай? — высказал предположение Варенуха.

— А хорошо было бы, — чуть слышно сквозь зубы буркнул Близнецов.

И тут дверь опять открылась, и вошла та самая женщина, что принесла первую молнию, и вручила Варенухе новый конвертик.

Варенуха прочитал ее и свистнул

— Что еще? — спросил Близнецов.

В телеграмме стояло следующее.

«Умоляю верить Брошен Владикавказ силой гипноза Фаланда Примите меры наблюдения за ним Молнируйте Масловскому что я Лиходеев точка Лиходеев».

Близнецов и Варенуха, касаясь друг друга головами, молча перечитывали телеграмму, а перечитав, уставились друг на друга.

— Граждане! — вдруг рассердилась женщина. — Расписывайтесь, а потом уж молчать будете! Я молнии разношу!

— Телеграмма-то из Владикавказа? — спросил Варенуха, расписавшись.

— Ничего я не знаю, не мое дело, — ответила женщина и ушла.

— Ты же с ним в двенадцать часов разговаривал по телефону! — заговорил возбужденно Варенуха.

— Да смешно говорить! — воскликнул Близнецов. — Разговаривал, не разговаривал! Он не может быть во Владикавказе. Это смешно!

— Он пьян! — сказал Варенуха.

— Кто пьян? — спросил Близнецов, и опять дико уставились друг на друга.

Что телеграфировал из Владикавказа какой-то сумасшедший или самозванец, это было несомненно, но вот что было странно — это слово «Фаланд» в телеграмме. Откуда же это владикавказский субъект знает о существовании артиста, вчера только приехавшего в Москву, и о связи между ним и директором Степой Лиходеевым?

— «Примите меры»... — повторяют Варенуха слова телеграммы. — Откуда он знает о нем и зачем меры?.. Да нет! Это мистификация!

— А где он остановился, этот Фаланд, черт его возьми? — спросил Близнецов.

Варенуха соединился с конторой «Интуриста», и оттуда ответили, что Фаланд остановился в квартире Лиходеева.

— Квартира не отвечает? — заговорил Близнецов. — Значит, они оба куда-то вышли? Позвони-ка...

Он не договорил. В дверях появилась та же самая женщина, и Близнецов с Варенухой даже с мест поднялись навстречу ей, и она вынула из сумки, но уже не белый конвертик, а темный листок.

— Это становится интересным, — сказал Варенуха, яростно расчеркиваясь в книжке.

На фотографической бумаге отчетливо выделялись писанные строчки:

«Вот доказательство фотография моего почерка Молнируйте Масловскому подтверждение моей личности Строжайшее наблюдение Фаландом Лиходеев».

За двадцать лет своей административной деятельности Варенуха видал всякие виды. Но тут он почувствовал, что ум его как бы застилает пелена, и он ничего не произнес, кроме житейской и совершенно нелепой фразы:

— Этого не может быть!

Близнецов же поступил не так. Он поднялся, рявкнул в дверь курьерше:

— Никого, кроме почтальонов! — и собственноручно запер дверь на ключ. Затем достал из письменного стола пачку бумаг и начал тщательно сличать буква за буквой почерк в залихватских подписях Степы и его резолюциях с тем почерком, которым была исписана фотограмма.

Варенуха, навалившись на стол, жарко дышал в щеку Близнецову.

— Это почерк его, — наконец твердо выговорил Близнецов, и Варенуха, глянув финдиректору в лицо, удивился перемене, происшедшей в нем. Близнецов как будто постарел лет на десять, и глаза его в роговой оправе утратили свою колючесть и уверенность, и появилась в них не только тревога, но даже как будто печаль.

Варенуха проделал все, что делает человек в минуты великого изумления, то есть и по кабинету прошелся, и руки вздымал, как распятый, и выпил целый стакан желтой воды из графина, и восклицал:

— Не понимаю!

Близнецов же смотрел в окно и напряженно думал. Положение финдиректора было затруднительным. Нужно было тут же, не сходя с места, добыть обыкновенные объяснения для явления совершенно необыкновенного.

Зажмурившись, Близнецов представил себе Степу в ночной сорочке сегодня в полдень влезающим в какой-то сверхбыстроходный аэроплан, а через час, стало быть, он — Степа — стоит... и горы, покрытые снегом... и черт знает что!

Может быть, не Степа сегодня говорил с ним по телефону из собственной квартиры? Нет, это говорил Степа! Да если бы и не говорил, ведь вчера под вечер он сидел в этом самом кабинете, раздражая Близнецова своим легкомыслием и порываясь удрать в Покровское пьянствовать с Хустовым.

Опять представился Близнецову Степа в носках посреди Владикавказа...

— Сколько километров до Владикавказа? — спросил вдруг Близнецов, щурясь в окно.

Варенуха прекратил беготню по кабинету и заорал:

— Думал! Думал! До Минеральных по воздуху тысяча шестьсот километров!

Истребитель? В какой истребитель, кто пустит Степу без сапог? Сапоги пропил, прилетев? Истребитель тоже не покроет в один час, в сапогах ли, без сапог будет Степа, полторы тысячи километров!!

Шутки? Пьяные шутки при участии телеграфа? А почерк?

В голове у Близнецова рухнуло все, и остались только одни черепки.

Ручку двери крутили и дергали, слышно было, как курьерша отчаянно кричала за дверьми:

— Нельзя! Нельзя! Заседание!

— Он не может быть во Владикавказе! — крикнул Варенуха и хлопнул кулаком по столу.

Помолчали, а после этого Близнецов сказал глухо и серьезно:

— Да, он не может быть во Владикавказе, но это писано рукою Лиходеева из Владикавказа.

— Так что же это такое?!

Близнецов, не отвечая, снял трубку и сказал:

— Дайте сверхсрочный разговор с Владикавказом.

«Умно», — подумал Варенуха.

Но разговор с Владикавказом не состоялся. Близнецов положил трубку и сказал:

— Как назло, линия испортилась.

Он опять взялся левой рукой за трубку, а правой начал записывать то, что говорил в трубку:

— Примите молнию: «Владикавказ Гормилиция Масловскому Сегодня до двенадцати часов дня Лиходеев был Москве от двенадцати до... (Близнецов посмотрел на часы) трех на службу не явился по телефону разыскать не можем Почерк подтверждаю Меры наблюдения указанным лицом принимаю Финдиректор Близнецов».

«Очень умно», — подумал Варенуха, и тотчас в голове у него грянуло: «Глупо! Не может он быть во Владикавказе!»

Близнецов же аккуратно сложил полученные молнии и копию со своей, всю пачку положил в конверт, заклеил его, надписал на нем несколько букв и вручил Варенухе со словами:

— Лично сейчас же отвези, Василий Васильевич, и сам изложи дело. Пусть они разбирают.

«Вот это действительно умно!» — мысленно воскликнул Варенуха и спрятал в портфель таинственный пакет. Потом он навертел номер Степиной квартиры, и Близнецов насторожился, потому что Варенуха вдруг радостно замигал и сделал знак свободной рукой.

— Мосье Фаланд? — сладко спросил Варенуха.

Близнецов затаил дыхание.

— Да, это я, — ответил в трубке бас.

— Добрый день, — сказал Варенуха, — говорит администратор кабаре Варенуха.

— А! Как ваше здоровье? — спросили в трубке.

— Мерси, — подивившись иностранной вежливости, поблагодарил Варенуха.

— Мне показалось вчера, — продолжал бас, — когда я видел вас в дирекции, что вы выглядели плохо, и я вам советовал бы сегодня никуда не ходить.

Варенуха удивился. Близнецов шепотом спросил: «Что?»

— А, простите, что, товарища Лиходеева нету дома?

— Он поехал кататься за город в машине, сказал, что вернется через два часа, — сообщил иностранец.

— Мерси, мерси! — воскликнул Варенуха, в то же время делая радостные знаки финдиректору. — Итак, ваше выступление сегодня в десять часов с половиной.

— О да, я помню, — ответила трубка.

— Нашелся! — радостно вскричал Варенуха, оставив трубку. — Я так и думал! Уехал за город и, конечно, застрял.

— Если это так, — бледнея от негодования, сказал Близнецов, — то это черт знает что такое! Позволь... но молнии?

— Вспомнил! Вспомнил! — вдруг заорал Варенуха. — В Покровском есть ресторан «Владикавказ»! Он напился и оттуда и телеграфирует.

— Нет, это чересчур, — озлобившись, заговорил Близнецов, — ну, дорого ему эта поездка обойдется!..

— А как же, Григорий Максимович, пакет нести?

— Обязательно нести, обязательно, — ответил Близнецов.

И опять открылась дверь, и оба вздрогнули.

«Она!» — с какой-то тоскою подумал Близнецов. Вошла та самая женщина с сумкой.

На этот раз в телеграмме были слова:

«Спасибо подтверждение Переводите срочно пятьсот гормилицию мне Завтра вылетаю Москву Лиходеев».

— Он с ума со... — начал Варенуха и сел в кресло, не договорив.

Близнецов же позвонил, появившемуся курьеру вручил пятьсот рублей и послал его на почту.

Варенуха в изумлении глядел на финдиректора, до того это не было похоже на него.

— Помилуй, Григорий Максимович, — неуверенно заговорил администратор, — по-моему, ты напрасно деньги послал. Он в Покровском.

— Деньги придут обратно, — веско ответил Близнецов, — а он дорого ответит за этот пикник, — через два часа все будет ясно. Поезжай, Василий Васильевич, не теряй времени.

Варенуха забрал пакет и вышел. Он спустился вниз, увидел, что перед кассой нарастает очередь, узнал от кассирши, что та ждет через час аншлага, что публика страшно заинтересовалась черной магией, порадовался, поглядел, как кассирша орудует ножницами, тут же у кассы отшил от себя назойливого молодого человека, который просил приставить стул на вечер, и нырнул к себе в кабинетик, чтобы захватить кепку.

Лишь только он водрузил кепку на голову, затрещал телефон.

— Да! — пронзительно крикнул Варенуха в трубку.

— Василий Васильевич? — спросил в трубке препротивный гнусавый голос и продолжал:

— Вот что. Вы телеграммы эти никуда не носите. А спрячьте их поглубже в карман и никому об них даже не заикайтесь.

— Кто это говорит? — яростно заорал Варенуха. — Гражданин, прекратите ваши штуки! Вас сейчас обнаружат! Вы сильно пострадаете! Ваш номер?

— Варенуха, — отозвался все тот же препротивный голос, — ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы, повторять больше не буду.

— Ага! Вы не унимаетесь? — закричал Варенуха, захлестываемый злобой. — Ну, смотрите же! Ой, поплати-

тесь вы... вы слу?.. — и вдруг понял, что трубку еще до начала его слов повесили и никто его не слушает.

Тогда Варенуха схватил портфель и через боковой выход устремился в летний сад, примыкавший к зимнему зданию кабаре.

Администратор был возбужден и полон энергии. Теперь он не сомневался в том, что какая-то шайка наглых негодяев проделывает сквернейшие шуточки с администрацией кабаре и что все это связано с таинственным исчезновением Лиходеева. Желание изобличить злодеев и распутать клубок душило администратора, и, как это ни странно, таинственные происшествия вызвали в нем предвкушение чего-то приятного, что всегда бывает, когда человек попадает в центр внимания, принеся сенсационное сообщение.

В голове Варенухи зазвучали не только целые отрывки из будущего его разговора, но даже и какие-то комплименты по его адресу:

«Садитесь, товарищ Варенуха... что такое?.. Гм... Владикавказ? Гм... Очень хорошо, что вы дали знать вовремя, товарищ Варенуха!.. Так вы полагаете? Голос гнусавый, вы говорите? Так... Варенуха открыл... Варенуха — свой парень... Варенуху мы знаем!»

И слово «Варенуха» так и прыгало в голове у Варенухи.

Ветер дунул в лицо администратору, и в верхушках лип прошумело. Потемнело. Сильно посвежело. Варенуха поднял голову и увидел, что над Москвой уже близко, почти задевая краем летний сад, [несется] грозовая туча.

Как ни торопился администратор, как ни хотел до грозы проскочить, ему пришлось на секунду заглянуть в уборную в летнем саду, чтобы проверить — исполнили ли монтеры приказание провести в нее электричество. Мимо только что отремонтированного тира Варенуха пробежал к дощатому зданьицу, окрашенному в голубой цвет, и ворвался в мужское отделение. Провод уже был на месте, оставалось только ввинтить лампу в патрон. Но огорчило тут же старательного администратора то, что третьего дня окрашенные стены уже оказались исписанными неприличными словами, из которых одно было особенно старательно выведено углем прямо над сиденьем.

— Что за мерз... — начал было Варенуха и вдруг услышал за собою голос:

— Варенуха?

Администратор вздрогнул, оглянулся и увидел перед собой какого-то небольшого толстяка в кепке и, как показалось Варенухе, с кошачьей как бы физиономией.

— Ну, я, — ответил Варенуха неприязненно, решив, что этот толстяк в уборную даже за ним полез, чтобы, конечно, выклянчить пропуск на вечер.

— Ах, вы? Очень, очень приятно, — пискливым голосом сказал котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху по уху так, что кепка с администратора слетела и исчезла в отверстии сиденья, а сам администратор с размаху сел на него.

Удару толстяка отозвался громовой удар в небе, в уборной блеснуло, отчего особенно ярко выделилось черное слово на стене, и в ту же секунду в крышу ударил густой ливень. Еще раз сверкнуло, и в зловещем свете перед администратором возник второй — маленького роста, но с атлетическими плечами, рыжий, как огонь, один глаз с бельмом, рот с клыком.

Этот второй, будучи, очевидно, левшой, развернулся с левой и съездил администратора по другому уху. И опять трахнуло в небе и хлынуло сильнее. Крик «Караул!» не вышел у Варенухи, потому что захватило дух.

— Что вы, товари... — прошептал ополоумевший администратор, но тут же сообразил, что слово это никак не подходит к бандитам, избивающим человека в общественной уборной, прохрипел «Граждане!!», сообразил, что и названия граждан эти двое не заслуживают, и получи третий страшный удар от того с бельмом, но уж не по уху, а по середине лица, так что кровь хлынула на толстовку.

Темный ужас поразил несчастного администратора, ему почудилось, что его хотят бить до смерти. Но ударов больше не последовало.

— Что у тебя в портфеле, паразит? — пронзительным голосом, перекрикивая шум грозы, осведомился похожий на кота. — Телеграммы?

— Те... телеграммы, — ответил полумертвый администратор.

— А тебя предупреждали по телефону, чтобы ты не смел их никуда носить? Предупредили, я тебя спрашиваю?

— Предупре... ждали... дили. — задыхаясь, ответил администратор.

— А ты все-таки пошел? Дай сюда портфель, гад! — гнусаво крикнул второй и одним взмахом выдрал у Варенухи портфель из рук.

— Ах ты, ябедник поганый! — возмущенно заорал похожий на кота. — Ну ладно, пойдем-ка с нами, мы тебя устроим для поручений!

И оба подхватили бедного администратора под руки и с быстротой, с которой никогда еще не приходилось двигаться Василию Васильевичу, выволокли его на улицу.

Гроза бушевала над Садовой, мостовая была затоплена, вода с грохотом и воем низвергалась в канализационные решетки. Из водосточных труб хлестало, бурные потоки выкатывались из подворотен, с крыш лило и мимо труб, уже не вмещавших воды. Все живое скрылось в подъездах, подворотнях над выступами. Спасти Василия Васильевича было некому. Прыгая через мутные реки, двое бандитов в секунду проволокли администратора до дома № 302, влетели с ним в подворотню, где жались к стенке две женщины, снявшие чулки и туфли. Василий Васильевич не посмел крикнуть им ничего и сам не понял, как оказались на лестнице, как поднялись и как его, мокрого до нитки, швырнули в переднюю, увы, очень хорошо ему знакомой квартиры Лиходеева. Трясясь от страху, близкий к безумию, он повалился на пол, и лужа распространилась по полу.

Оба разбойника исчезли, а вместо них появилась обнаженная девица, рыжая, со сверкающими в полутьме передней глазами. Варенуха понял, что это самое страшное из того, что с ним приключилось, вскочил, пытаясь скрыться от нее, но бежать было некуда, и он только вскрикнул слабо и прислонился к стене.

А девица подошла вплотную к администратору, положила ладони ему на плечи, и волосы Варенухи поднялись дыбом, потому что даже сквозь мокрую ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти холодны, как лед.

— Э, да он славненький, — тихо сказала девица, — дай-ка я тебя поцелую...

И у самых глаз Варенухи оказались горящие глаза и красный рот. Тогда сознание покинуло Варенуху.

ГЛАВА 11

РАЗДВОЕНИЕ ИВАНА

Бор на высоком берегу реки, еще недавно освещенный майским солнцем, стал неузнаваем сквозь белую решетку, он помутнел, размазался и растворился. Вода сплошною пеленой валила за окном. Время от времени в небе вспыхивала нитка, небо лопалось, и тогда на мгновение трепещущим светом обливало всю комнату больного, и листки его, которые сдуло на пол порывом ветра, залетевшим за решетку перед началом грозы, и самого больного, сидящего на кровати.

Иван тихо плакал, глядя на смешавшийся бор и кипящую в пузырях реку, а при каждом громовом ударе тихо вскрикивал и закрывал глаза руками.

Попытки Ивана сочинить заявление относительно страшного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил бумагу и огрызок карандаша, он хищно потер руки и пристроился к столику, чтобы писать.

Он бодро вывел начало:

«Члена Массолита Ивана Николаевича Понырева заявление.

Вчера вечером я пришел с покойным Александром Александровичем Мирцевым на Патриаршие пруды...»

И тут Иван запутался, именно из-за слова «покойный». Выходила сразу же какая-то нелепица: как это так с покойным пришел на Патриаршие пруды? Покойники не ходят! «Еще, действительно, чего доброго, за сумасшедшего примут», — думал Иван и стал исправлять написанное.

Вышло так: «...с А. А. Мирцевым, который попал под трамвай...» Это также не удовлетворило автора заявления, и он решил начать с чего-то самого сильного, что сразу остановило бы внимание читающего, и написал про кота, садящегося в трамвай, потом про постное масло и отрезанную голову. После этого он обратился к

Понтию Пилату и для вящей убедительности решил весь рассказ изложить полностью, с того момента, как Пилат шел шаркающей кавалерийской походкой на балкон.

Иван перечеркивал написанное и сверху строк надписывал и даже попытался нарисовать таинственного консультанта и кота с монетой в руке, но чем дальше, тем путанее и непонятнее становилось это заявление. И к тому времени, как появилась за рекой страшная туча с дымящимися краями и желтоватым мутным брюхом, и проворчало далеко, и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что с заявлением ему не совладать, и разлетевшиеся листки даже не стал поднимать и заплакал.

Добродушная женщина в белом неслышно вошла в комнату, увидела, что поэт плачет, встревожилась, сказала, что сейчас же вызовет доктора и что все будет хорошо.

И вот прошло часа два, и бор заречный опять изменился. Он вырисовался до последнего дерева, и небо расчистилось до прежней голубизны, и успокоилась река, и лежал Иван, притихший и неплачущий, смотрел за решетку.

Доктор, вызванный женщиной, сделал укол в руку Ивану, собрал с полу листки и унес их с собою, уверив, что Иван больше плакать не будет, что его расстроила гроза, а теперь после укола все пройдет, все изменится в самом наилучшем смысле.

И оказался прав. Тоска оставила Ивана, пролежав до вечера, он как-то и не заметил, как и когда небо полиняло, как загрустило и потемнело, и как почернел бор.

Иван выпил горячего молока, прилег, опять приятно зевая, и сам подивился, до чего изменились его мысли.

Воспоминание о той женщине, что прокричала про постное масло и тем открыла тайну, уже не жгло больную душу Ивана, размазался в памяти кот под липами, не пугала отрезанная голова, и, вместо всего этого, стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике неплохо, что Стравинский очень умен, что воздух, текущий сквозь решетку, и сладостен после грозы и свеж.

Дом скорби засыпал. В тихих коридорах потухли белые матовые лампы, вместо них загорелись дежурные слабые голубые ночники.

В комнатах засыпали больные, умолкали и бреды и шепоты, все реже слышались осторожные шажки фельдшериц на резиновом полу коридора, все реже они навещали своих больных. И только в стороне от главного корпуса стоящий, не переставал светиться во всех окнах беспокойным светом корпус неудержимо буйных.

Иван лежал в сладкой истоме и, полуопустив веки, глядел, как льет свой свет поднимающаяся над черным бором луна, и думал о том, почему он, собственно, так взволновался из-за того, что Мирцев попал под трамвай?

— В конечном счете, ну его в болото! — прошептал Иван и даже усмехнулся. — Что я ему, кум или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, то выходит, что я, в сущности, даже и не знал покойника. В самом деле, что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса. И далее, товарищи, — продолжал кому-то свою речь Иван, — разберемся вот в чем: чего это я взбесился на этого загадочного консультанта, этого мага и профессора с пустым и черным глазом? К чему вся эта нелепая погоня со свечечкой в руках и дикая петрушка в ресторане?

— Но, но, но! — вдруг сказал где-то прежний Иван новому Ивану. — Про то, что голову отрежет, он знал заранее! Как же не взволноваться?

— Об чем, товарищ, разговор! — возражал новый Иван Ивану прежнему, ветхому. — Здесь дело нечисто, личность он, вне сомнений, незаурядная и таинственная. Но ведь в этом-то самое интересное и есть! Человек видел Пилата! Это ли не интересно! Вместо того, чтобы устраивать дикую бузу с криками, беготней, а потом и с драками, лучше было бы расспросить о том, что было дальше и с этим арестованным Га-Ноцри, и с Пилатом. А я чепухой занялся! Важное, в самом деле, происшествие — редактора задавило. Ну, будет другой редактор, в чем дело!

Подремав еще немного, Иван новый ехидно спросил у старого Ивана:

— Так кто же я такой, в этом случае?

— Дурак! — отчетливо сказал где-то бас, не принадлежащий ни одному из Иванов и очень похожий на бас консультанта. Иван, почему-то не только не обидевшись, но даже приятно изумившись слову «дурак», хи-

хикнул в полусне, и померещилось ему, что пальма перед ним появилась на толстейшей ноге и качнула шапкой, и кот пришел веселый и не страшный, и сон уже совсем было накрыл его сознание, как вдруг балконная решетка двинулась в сторону и возникла на балконе таинственная от луны фигура в белом и, таинственно погрозив Ивану, севшему без всякого испуга на кровати, пальцем, прошептала:

— Т-сс!

ГЛАВА 12

ЧЕРНАЯ МАГИЯ

Высоко приподнятая над партером сцена кабаре была освещена так сильно, что казалось, будто на ней солнечный полдень.

И на эту сцену маленький человечек в дырявом котелке, с грушевидным малиновым носом, в клетчатых штанишках и лакированных ботинках на пуговках выехал на двухколесном велосипеде. Сделав один круг, он испустил победный крик, отчего его велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся кверху ногами, на ходу отвинтил переднее колесо, причем оно убежало за кулисы, и покатил, вертя педали руками.

Тут пол звуки вальса, исходящего из оркестровой ямы, где сидел джаз-оркестр, выехала на сцену на высокой штанге, под которой было только одно колесо, толстая блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по сцене. Встречаясь с нею, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал котелок. Затем выехал молодой человек с выпирающими из-под трико мускулами, тоже на высокой мачте, и заездил по сцене, но не сидя в сиденьи, а стоя на нем на руках и едва не касаясь ярких ламп в верхних софитах. Наконец, прикатил и малютка лет восьми со старческим лицом и зашнырял на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок, между взрослыми. Звуки его гудка вызвали раскат смеха и аплодисмент.

В заключение вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сце-

ны, и в первых рядах ахнули и двинулись, потому что публике показалось, что вся четверка со своими машинами грохнется в оркестр. Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда колеса уже грозили соскользнуть в бездну на головы джазбандистов, велосипедисты с громким криком «Ап!» соскочили с машин и раскланялись, причем блондинка послала публике воздушный поцелуй, а малютка протрубил сигнал на своем гудке.

Грохот нескольких тысяч рук потряс здание до самого купола, занавес пошел и скрыл велосипедистов, зеленые огни в проходах угасли, в паутине трапеций под куполом, как солнца, вспыхнули белые шары. Наступил антракт.

Единственный человек, которого ни в какой мере не интересовали подвиги велосипедной семьи Джулли, выписанной из Вены, был финдиректор кабаре Григорий Максимович Близнецов. В то время, когда шло предпоследнее отделение, он сидел в директорском кабинете в полном одиночестве, молчал, курил и думал о столь неприятных вещах, что по лицу его то и дело проходила судорога. Думал он, конечно, об исчезновении директора, осложнившемся совершенно непредвиденным, немыслимым, страшнейшим исчезновением администратора, который как ушел перед самой грозой днем, так и по сей момент не вернулся. Близнецов находился в крайней степени недоумения и расстройства, кусал тонкие губы и изредка шептал что-то сам себе. Он знал, куда и по какому делу отправился Варенуха, и... раз этот Варенуха не вернулся, то догадаться было нетрудно, что с ним случилось... И Близнецов, подымая плечи, шептал сам себе: «Но за что?!»

И странное дело: такому деловому человеку, как Близнецов, проще всего было, конечно, догадаться позвонить туда, куда ушел Варенуха, узнать, что с тем стряслось, а между тем Григорий Максимович до девяти часов вечера не мог принудить себя это сделать. В девять, сделав над собою насилие, он все-таки взялся за трубку. И тут выяснилось, что телефон испорчен. Вызванный звонком курьер доложил, что испортились и все остальные аппараты в кабаре. Это, казалось бы, незначительное событие почему-то окончательно потрясло Близнецова.

Когда над головой его вспыхнул красный сигнал, возвещающим конец отделения, и когда донесся гул публики, вошел курьер и доложил, что господин маг прибыл. Финдиректора почему-то передернуло, и он пошел за кулисы, чтобы принять гастролера.

В большую уборную, где поместили иностранного артиста, под разными предлогами уже заглядывали любопытные. Мимо дверей уборной, в коридоре, где уже трещали первые сигнальные звонки, прошли фокусники в ярких халатах и с веерами в руках, появился конькобежец в белой вязанке, побывал бритый и бледный от пудры рассказчик, все, кончившие свои номера.

Прибывшая знаменитость поразила всех, во-первых, своим невиданным по длине фраком дивного покроя и добротного материала, во-вторых, тем, что явилась в черной полумаске. И в-третьих, своими спутниками.

Их было двое: один — длинный, тонкий, в клетчатых брючонках и в треснувшем пенсне... ну, словом, он — Коровьев, которого в одну секунду узнал бы, ну, хотя бы тот же Никанор Иванович Босой, но, увы, контрамарка пропала зря — Никанора Ивановича не было на представлении.

Второй был неимоверных размеров черный кот, который как вошел в уборную, так и сел непринужденно на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы.

В уборную то и дело заглядывали или толклись у дверей. Был тут помощник режиссера, побывала дрессировщица под тем предлогом, что забыла взять пудру.

Близнецов с большим принуждением пожал руку магу, а длинный развязный в пенсне и сам отрекомендовался как «ихний помощник». Близнецов опять-таки принужденно осведомился у артиста, где его аппаратура, на что артист ничего не ответил, и вместо него ввязался в разговор все тот же длинный.

— Наша аппаратура, товарищ драгоценный директор, — дребезжащим голосом заговорил он, — всегда при нас! Вот она! Эйн, цвей, дрей! — И тут, повертев перед глазами отшатнувшегося Близнецова узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха кота собственные Близнецова золотые часы, которые до этого были в жилетном кармане у владельца под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой.

Присутствовавшие ахнули, а заглядывавший в дверь гример одобрительно крякнул.

— Ваши часики? Прошу получить, — развязно сказал длинный помощник и подал на ладони Близнецову часы. И опять почему-то финдиректор содрогнулся. Но кот отмочил штуку, которая оказалась почище номера с чужими часами. Он неожиданно встал с дивана, на задних лапах подошел к подзеркальному столу, лапой снял пробку с графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы. Тут даже никто и не ахнул, а только рты раскрыли и в дверях кто-то шепнул:

— Ай, класс!

Тут повсюду затрещали сигналы к началу последнего отделения, и все пошли из уборной вон.

Через минуту в зрительном зале погасли шары, загорелись зеленые надписи «Запасной выход» и в освещенной щели голубой завесы предстают полный, веселый, как дитя, человек в помятом фраке и несвежем белье. Публика тотчас узнала в нем конферансье Жоржа Бенгальского.

— Итак, граждане, — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — сейчас перед вами выступит знаменитый иностранный маг герр Фаланд. Ну, мы-то с вами понимаем, — хитро подмигнув публике, продолжал Бенгальский, — что никакой черной магии в природе не существует. Просто мосье Фаланд в высокой степени владеет техникой фокуса. Ну, а раз так, то двух мнений быть не может. Мы все, начиная от любого уважаемого посетителя... Виноват! — сам себя перебил Бенгальский и обратился к какому-то опоздавшему, который, согнувшись в три погибели, пробирался под шиканье к своему месту. — Вы, кажется, опоздать изволили? Вы извините нас, не правда ли, что мы начали без вас? — ядовито спрашивал Бенгальский, и опоздавший от конфуза не знал, куда деваться. — Итак... мы все, от любого посетителя галерки и вплоть до почтеннейшего Аркадия Аполлоновича, — тут Бенгальский послал привет рукой в ложу, где сидел с двумя дамами заведующий акустикой московских капитальных театров Аркадий Аполлонович Семплеяров, — все, как один, за овладение техникой и против всякой магии. Итак, попросим мистера Фаланда!

Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский отступил на шаг, сцепил обе ладони и стал махать ими в прорез занавеса, который и разошелся в разные стороны.

Выход мага с его длинным помощником и котом, выступившим из кулис на задних лапах, понравился публике. Прокатился аплодисмент. Коровьев и кот подошли к рампе и раскланялись. Это уже вызвало большой аплодисмент, и сотни лиц заулыбались, глядя на кота.

— Кресло мне, — приказал Фаланд, и в ту же секунду, неизвестно как и каким образом, на сцене появилось большое кресло, в которое и сел замаскированный артист. Развалившись на полинявшей подушке, маг не спешил ничего показывать публике, пораженной появлением кресла из воздуха. Он оглядывал публику, а та не сводила глаз с кота.

Наконец послышались слова Фаланда:

— Скажи мне, Фагот, — осведомился маг у клетчатого гаера, который, очевидно, носил и другое название, кроме «Коровьев», — так это и есть московское народонаселение?

— Точно так, — почтительно ответил Фагот-Коровьев.

— Так, так, так, — отозвался Фаланд, — я, как ты знаешь, давненько не видел москвичей... Признаться, некогда было... Надо сказать, что внешне они сильно изменились, как и сам город, впрочем... Не говорю уже о костюмах... Но появились эти трамваи, автомобили...

— Троллейбусы! — подсказал Фагот.

— Да... да...

Публика внимательно слушала, полагая, что это словесная прелюдия к магическим фокусам.

Кулисы были полны артистов, между их лицами виднелось бледное лицо Близнецова.

На физиономии Бенгальского, приютившегося сбоку возле портала, мелькало выражение некоторого недоумения, и он чуть-чуть приподнял бровь. Воспользовавшись паузой, он вступил со словами:

— Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, которая так изумительно выросла в техническом отношении, а равно также и москвичами.

Бенгальский приятно улыбнулся и потер руки.

Фаланд, клетчатый и кот повернули головы в сторону конферансье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил маг у Коровьева-Фагота.

— Никак нет, метр, вы никакого восхищения не выражали, — почтительно изгибаясь, доложил клетчатый гаер.

— Так... что же он говорит?

— А он просто соврал, — звучно, на весь зал сообщил клетчатый и, повернувшись к Бенгальскому, прибавил:

— Поздравляю вас, гражданин соврамши!

На галерее рассмеялись, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.

— Ну, меня, конечно, не столько интересуют эти автобусы, телефоны и прочая...

— Аппаратура, — угодливо подсказал клетчатый.

— Совершенно верно, благодарю, — отозвался артист, — сколько более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренно?

— Важнейший вопрос, сударь, — озабоченно подтвердил Фагот.

Тут в кулисах стали переглядываться и пожимать плечами. Бенгальский стоял красный, как рак, но, как бы отгадав тревогу за кулисами, маг сказал снисходительно:

— Но мы, однако, заболтались, дорогой мой, а публика начинает скучать. Покажи ей что-нибудь... простенькое.

Тут зал облегченно шевельнулся. Пять тысяч глаз сосредоточились на Коровьеве. Тот немедленно выступил к одному концу рампы, кот перебрался к другому. Клетчатый щелкнул пальцами, залихватски крикнул:

— Три, четыре!

Тотчас поймал из воздуха атласную колоду карт, стасовал ее и лентой пустил по воздуху, кот немедленно ее поймал, в свою очередь стасовал, выпустил обратно клетчатому. Атласная лента фыркнула, клетчатый раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карта за картой, заглотал. А кот раскланялся с партнером, шаркнув задней лапой.

Аплодисмент ударил, как залп.

— Класс! — воскликнули за кулисами, потрясенные ловкостью кота. А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил:

— Колода эта таперича, уважаемые граждане, в седьмом ряду, место 17-е, в боковом кармане, в бумажнике у гражданина Порчевского, между трехрублевкой и повесткой, коей Порчевского вызывают в суд по делу об уплате алиментов гражданке Скобелевой.

В партере зашевелились, стали привставать, и, наконец, гражданин, которого точно звали Порчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.

— Пусть она останется у вас на память! — козлиным голосом прокричал Фагот. — Вы не зря говорили вчера, что ваша жизнь в Москве без покера была бы совершенно несносна!

— Стара штука! — раздался голос на галерке. — Это из той же компании!

— Вы полагаете? — заорал Фагот, щурясь на галерку сквозь разбитое стеклышко. — В таком случае, она у вас в кармане!

На галерке произошло движение, послышался радостный голос:

— Тут! Тут! Только... стой! Это червонцы!

Головы повернулись к галерке, туда, где кричали. Там смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью: «Одна тысяча рублей». Соседи навалились на него, а он начал ковырять обложку пальцем, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.

— Настоящие! Ей-Богу, червонцы! — кричали с галерки.

— Сыграйте и со мною в такую колоду! — весело попросил женский голос в ложе.

— Авек плезир, мадам, — отозвался клетчатый, — только почему же с одной вами? Все примут участие! — И скомандовал: — Прошу глядеть в потолок.

Головы поднялись, Фагот рявкнул:

— Пли!

В руке у него оказался пистолет, сверкнуло, бухнул выстрел, и тотчас из-под купола, ныряя между нитями подтянутых трапеций, начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало и в оркестр и на сцену.

Через несколько секунд бумажный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители стали бумажки эти ловить. Сперва веселье, а потом недоумение разлилось во всем театре. Сотни рук поднимались, сквозь бумажки зрители глядели на освещенную сцену и видели самые праведные, самые верные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений: это был единственный в мире, ни с чем по прелести не сравнимый запах свежеотпечатанных денег.

И слово «червонцы, червонцы» загудело по всему театру, послышались вскрикивания «ах... ах!..», кой-кто уж ползал в проходе, некоторые стояли ногами на сиденьях, ловили вертлявые бумажки. Один сорвался при этом. На лицах милиции в проходах выражалось тягостное недоумение, артисты уже без церемонии стали высовываться из-за кулис, Аркадий Аполлонович в ложе мял в руках червонец, стараясь выразить на лице снисходительное отношение к этой шутке фокусников, но оно не получалось как-то.

С галереи вдруг донесся голос: «Ты чего хватаешь? Это моя, ко мне летела!» — и другой голос: «Да ты не толкайся! Я тебя сам так толкану!..» — и грянула плюха, завязалась возня. На галерее появится шлем милиционера, слышно было, как кого-то повлекли с галереи вон.

Трое молодых людей в пиджаках с преувеличенными плечами и с бойкими глазами, поминутно почему-то подмигивающими, бесшумно снялись со своих мест и, обменявшись многозначительными какими-то знаками, исчезли из партера, направившись к той двери, которая вела в буфет. Возбуждение разрасталось и неизвестно к чему привело бы, если бы кот внезапно не прекратил денежный дождь, дунув в воздух.

Тут только Бенгальский нашел в себе силы и шевельнулся. Стараясь овладеть собою, он потер руки и голосом, по возможности звучным, заговорил так:

— Итак, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес не существует. Итак, попросим мосье Фаланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки, что у вас у всех в руках, исчезнут так же внезапно, как и появились.

Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. На лице при этом у него было выражение уверенности, но в глазах ее не было ни капли, скорее выражалась мольба.

Публике речь Бенгальского не понравилась; наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.

— Это опять-таки так называемый случай вранья, — прокричал он козлиным тенором, — бумажки, граждане, настоящие!

— Браво! — восторженно крикнули на галерее.

— Между прочим, этот, — и тут клетчатый нахал указал на Бенгальского, — надоел мне! Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс. Что бы с ним такое сделать?

— Голову ему оторвать! — сказал кто-то сурово на галерке.

— Как вы говорите? Ась? — тотчас отозвался Фагот на это безобразное предложение. — Голову оторвать? Это — идея! Бегемот! — закричал он коту. — Эйн, цвей, дрей!

И произошла вещь невиданная. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем прыгнул, как пантера, прямо на грудь к Бенгальскому, а оттуда на голову, пухлыми лапами вцепился в жидкую шевелюру и в два поворота, дико завывая, сорвал голову с пухлой шеи.

Две с половиной тысячи человек в кабаре как один вскрикнули. Безглавое тело нелепо загребло ногами и село на пол. Кровь потоками из растерзанной шеи бежала по манишке и фраку.

Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и она плаксиво крикнула:

— Доктора!

В партере послышались истерические крики женщин, а на галерее кто-то невольно рассмеялся.

— Ты будешь всякую чушь собачью [молоть] в другой раз? — грозно спросил Фагот.

— Не буду! — ответила голова, и слезы покатились из ее глаз.

— Ради Бога, не мучьте его! — вдруг на весь театр прозвучал женский голос в партере, и видно было, как замаскированный повернул в сторону голоса лицо.

— Так что же, граждане, простить, что ли, его? — спросил клетчатый у публики.

— Простить, простить! — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в дружный хор с мужскими.

— Ну что же, все в порядке, — тихо проговорил замаскированный, — узнаю их. И алчны, и легкомысленны, но милосердие все-таки стучится в их сердца. — И громко сказал: — Наденьте голову!

Кот и Фагот во мгновение ока нахлобучили голову на окровавленную шею, и голова, к общему изумлению, прочно и крепко села на место, как будто никогда и не отлучалась. Клетчатый мгновенно нахватал из воздуха червонцев, всунул их в руку бессмысленно глядящему Бенгальскому, подпихнул его в спину и выпроводил со сцены со словами:

— Катитесь отсюда, без вас веселей!

Бенгальский, бессмысленно улыбаясь, дошел только до пожарного поста и возле него упал в обморок.

К нему кинулись, в том числе и Близнецов, лицо которого было буквально страшно. Пока возились с Бенгальским и растерянный доктор совал в нос бедному конферансье склянку с нашатырным спиртом, Фагот показал новый номер, вызвавший неописуемый восторг в публике.

Объявив:

— Таперича, граждане, мы открываем магазин, — он всю сцену осветил разноцветными лампионами. Появились громадные зеркала, по бокам которых засверкали гроздьями огни, а меж зеркал публика увидела парижские модели разных цветов и фасонов. В застекленных витринах появились сотни дамских туфель — черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, с пряжками и без пряжек, с камушками на пряжках. Выше них заиграли шляпки.

Сладко ухмыляясь, Фагот объявил, что производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские, и притом всем гражданкам совершенно бесплатно.

Публика таращила глаза на сцену, веселые улыбки играли на лицах.

— Прошу! — орал Фагот. — Без стеснения. Пожалуйте, медам!

Колебание продолжалось еще некоторое время, пока какая-то хорошенькая блондинка не вышла из деся-

того ряда и, улыбаясь улыбкой, которая показывала, что ей наплевать, не проследовала на сцену по боковому трапу.

— Браво! — вскричал Фагот и тут же раскрыл перед смелой женщиной витрину с платьями.

Блондинка деловито прищурилась, потрогала одно, потом другое и наконец решительно указала на сиреневое платье.

— Уй, мадам! — орал Фагот, явно изображая приказчика, и подвел блондинку к витрине с обувью.

Та бойко сняла туфли, и Бегемот вывалил перед нею целый ассортимент туфель. Блондинка примерила сиреневую, потопала в ковер, деловито повернулась, осматривая каблук, спросила:

— А они не велики мне? Посмотрите, мосье, будьте любезны!

Фагот обиженно вскрикнул:

— Помилуйте, мадам!

И кот от обиды мяукнул.

— Я беру эту пару, мосье,— сказала блондинка, надела и вторую туфлю.

Бегемот с сиреневым платьем кинулся за нею за шелковую занавеску. Публика, затаив дыхание, смотрела на сцену.

Через минуту из-за занавески вышла блондинка в таком платье, что в публике прокатился вздох. Блондинка с каменным лицом, удивительно похорошевшим, остановилась у зеркала, тронула волосы, изогнулась, оглядывая спину, и затем проследовала к рампе.

Но тут ее перехватил Фагот и, изгибаясь, как червь, подал ей сумочку, сверкающую лаком, и красный футляр с духами.

— А это фирма просит вас принять на память! — сказал Фагот.

— Мерси, мосье, — надменно ответила блондинка, приняла дары и проследовала в партер.

Через минуту на сцену вереницей двинулись женщины.

— Я не позволяю тебе! — послышалось в общем говоре.

— Дурак, деспот и мещанин, не ломайте мне руку, — ответил женский голос.

На сцене шла суета, партер гудел в восторге. Какой-то мужчина сунулся было на сцену со словами, что

у него жена дома и нездорова, так он передаст ей, и получил от Фагота две пары шелковых чулок.

Дамы возвращались со сцены в жакетах, бальных открытых платьях, в пижамах, разрисованных драконами, в халатах, несли в руках футляры, сумки, сверкающие пудреницы.

Неожиданно Фагот объявил, что магазин закрыт на ужин. Стон прокатился по залу, огни в лампах стали таять, витрины исчезли, шелковая занавеска провалилась сквозь землю, и за нею оказалась груда брошенных старых платьев и истоптанной обуви.

Фагот выстрелил в воздух, и вся эта груда провалилась сквозь землю.

И здесь вмешался в дело Аркадий Аполлонович Семплеяров.

— Все-таки нам было бы приятно, гражданин артист, — приятным баритоном проговорил Аркадий Аполлонович, и театр затих, слушая его, — если бы вы незамедлительно разоблачили бы технику ваших фокусов, построенных, конечно, на гипнозе, и в частности денежные бумажки.

И чувствуя на себе взоры сотен людей, Аркадий Аполлонович приосанился и поправил пенсне на носу.

— Пардон. — отозвался клетчатый, — это не гипноз, я извиняюсь. И в частности разоблачать тут нечего!

— Браво! — крикнул бас на галерке.

— Виноват. — настойчиво сказал Аркадий Аполлонович, — все же это совершенно необходимо. Без объяснения ваши номера оставят самое тягостное впечатление у зрителя. Зрительская масса требует объяснения...

— Зрительская масса. — перебил его нагло клетчатый, — ничего как будто не заявляла? Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, извольте, я произведу разоблачение, драгоценный Аркадий Аполлонович. Но для этого начнем с частности. Один номерочек еще позволите?

— Отчего же, — отозвался Аркадий Аполлонович.

— Слушаюсь! — воскликнул Фагот и, потирая руки, осведомился у Аркадия Аполлоновича: — Вы где вчера вечером изволили быть, Аркадий Аполлонович?

При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском

вопросе лицо Аркадия Аполлоновича очень изменилось.

— Аркадий Аполлонович вчера вечером был в заседании акустической комиссии. — сказала презрительно пожилая дама, сидящая рядом с Аркадием Аполлоновичем и, как выяснилось вскорости в конторе при составлении протокола, оказавшаяся супругой Аркадия Аполлоновича.

— Нон, мадам, — решительно воскликнул наглый Коровьев, он же Фагот, — вы в полном заблуждении. Выехав на заседание, которое, к слову сказать, вовсе и не было назначено, Аркадий Аполлонович переменил маршрут и поехал на Елоховскую площадь и провел три часа в гостях у очаровательной Клавдии Никоновны Альберт, с которой предварительно уговорился днем по телефону.

— Ай! — воскликнул кто-то в бельэтаже.

И тут в той же ложе сидевшая молодая дама, как выяснилось из того же протокола, троюродная сестра Аркадия Аполлоновича, приехавшая в Москву для продолжения артистического образования, воскликнула:

— Давно подозревала этого негодяя!

И с этими словами, размахнувшись лиловым коротким зонтиком, ударила им Аркадия Аполлоновича по голове.

В публике ахнули, а подлый Коровьев вскричал:

— Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так упорно добивался Аркадий Аполлонович!

— Как ты смела ударить моего мужа! — вскричала исступленно супруга Аркадия Аполлоновича.

— Ну, уж кто-кто, а я-то смею, — ответила молодая дама и ударила второй раз Аркадия Аполлоновича, который, не протестуя, сидел у барьера.

— Милиция! Взять ее! — страшным голосом вскричала супруга Аркадия Аполлоновича.

А кот неожиданно подошел к рампе и вдруг рявкнул человеческим голосом на весь театр:

— Сеанс окончен! Маэстро, прошу марш!

И ополоумевший дирижер, сам не понимая, что он делает, взмахнул палочкой, и оркестр грянул залихватский, нелепый и неуместный марш, после чего уже все смешалось.

Видно было только, что к ложе Аркадия Аполлоновича спешит милиция, что в партере вскакивают и что все три артиста, то есть замаскированный, клетчатый Фагот и кот Бегемот, бесследно исчезли.

ГЛАВА 13

ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

Погрозив Ивану пальцем, фигура прошептала:

— Т-сс!

Иван изумился и сел на кровати. Перед ним оказался вошедший с балкона человек, лет 38-ми примерно, худой и бритый, с висящим темным клоком волос и длинным острым носом.

Он повторил «т-сс!» и сел в кресло у Ивановой постели и запахнул свой больничный халат.

— Как же это вы сюда попали? — шепотом спросил Иван, повинуясь длинному, сухому пальцу, который продолжал грозить. — Ведь решетки-то на замках?

— Решетки на замках, — повторил гость, — но Прасковья Васильевна человек рассеянный. Я у нее связку ключей стащил и таким образом получил возможность и на балкон выходить, и даже, как видите, иногда навестить соседа. Итак,— сидим? — спросил он.

— Сидим, — ответил Иван, с любопытством всматриваясь в живые карие глаза пришельца.

— Но вы, надеюсь, не буйный? — вдруг спросил тот. —А то я не люблю драк, шума и всяких таких вещей.

Преображенный Иван мужественно признался:

— Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил.

— Основание? — строго спросил гость.

— Да, признаться, без основания, — ответил Иван, конфузясь, — там буза вышла...

— Советую вам это бросить, — сказал гость, — вы перестаньте рукам волю давать. — И опять осведомился:

— Профессия?

— Поэт, — неохотно признался Иван.

Пришедший огорчился.

— Ой, как мне не везет, — воскликнул он, но тотчас спохватился, — извините, не обращайте внимания... А как ваша фамилия?

— Понырев.

— Ай, яй, яй, — сказал гость.

— А вам мои стихи не нравятся? — без всякой обиды спросил Иван.

— Ужасно не нравятся.

— А вы какие читали?

— Да никаких я не читал! — воскликнул нервно гость.

— А как же?.. — изумился Иван.

— Что как же? Как будто я других не читал! А эти, даю вам голову наотрез, такие же самые! Ну, будем откровенны, сознайтесь — ведь ужасные ваши стихи?

— Чудовищные! — внезапно смело и откровенно сказал Иван.

— Не пишите больше, — сказал пришедший умоляюще.

— Обещаю, — торжественно заявил Иван, — обещаю и клянусь!

Клятву скрепили рукопожатием.

— Из-за чего попали сюда? — спросил [гость].

— Из-за Понтия Пилата, — ответил Иван.

— Как? — воскликнул шепотом гость и даже привстал. — Потрясающее совпадение! Расскажите, умоляю!

Иван, почему-то испытывая полное доверие к неизвестному гостю, вначале скупо и робко, а потом все более расходясь, рассказал всю историю про Патриаршие пруды, причем испытал впервые полное удовлетворение.

Его слушатель не только не выразил ему недоверия, но, наоборот, пришел от рассказа в полный восторг. Он то и дело прерывал Ивана восклицаниями: «Ну, ну! Дальше, умоляю!.. не пропускайте ничего!»

Когда шел рассказ про Понтия Пилата, глаза у гостя разгорелись, как фонари. Однажды он потряс кулаком и вскричал шепотом:

— О, как я угадал! О, как я угадал!

Когда Иван дошел до описания ужасной смерти Мирцева, гость выразился так:

— Эх, жаль, что на месте Мирцева не было критика Латунского! Но продолжайте, умоляю!

Кот, садящийся в трамвай, привел в состояние веселья гостя. Он беззвучно хохотал, даже давился, сам

себе грозил пальцем, восклицал: «Прелестно! Прелестно!»

Когда Иван, поощренный до крайности своим благодарным слушателем, честно и откровенно изложил историю в Грибоедове и дальнейшее, гость стал серьезен, затуманился, Ивана пожалел, но при этом сказал:

— Вы, голубчик мой, сами виноваты. Нельзя себя держать с ним столь развязно и, сказал бы, даже нагловато. Вот и поплатились! Ну, вам простительно, вы меня извините, вы — человек невежественный...

— Бесспорно, — согласился Иван.

— А Мирцеву я положительно удивляюсь. Как же так, все-таки, не узнать его?

— Кто же он такой? — со страхом и любопытством спросил Иван.

Гость сказал, что охотно объяснил бы это Ивану сразу и тут же, но не сделает этого только потому, что боится потрясти Ивана, а тот, как бы там ни было, психически явно ущербен.

— Но, ах, ах, — восклицал гость. — что бы я дал, чтобы быть на вашем месте! Ах, ах, — он даже по комнате заходил, восклицая, — ах, ах! Ведь это какой случай!

— А он действительно был тогда у Понтия Пилата? — спросил Иван, потирая лоб. — Мне, конечно, не верят, думают, что я сумасшедший.

— Стравинский первоклассный психиатр, — отозвался гость, — но здесь он совершил ошибку, приняв ваши рассказы за бред. Вы не сумасшедший, вы все это действительно видели и слышали, как и рассказываете, но то, что случилось на Патриарших, настолько необычно, бывает так редко, что, конечно, ошибка его извинительна.

— А может, этот с дырявым глазом сумасшедший?

Гость рассмеялся.

— Не беспокойтесь, мой друг, — ответил он, — я искренно позавидовал бы вам, если бы вы имели одну десятую часть, слышите — одну десятую его ума.

— Так, стало быть, он был у Пилата.

— Без сомнения, — отрезал гость, — и я, клянусь, отдал бы связку ключей Прасковьи Васильевны, ибо больше мне отдавать нечего, это все, что у меня имеется в жизни, за то, чтобы послушать его.

— А зачем он вам так понадобился?

Тут гость рассказал свою печальную историю.

— Дело, видите ли, в том, что я написал роман как раз про этого самого Га-Ноцри и Пилата, — заговорил гость и явно взволновался.

— Вы — писатель? — спросил с великим интересом Иван.

— Я — мастер, — ответил гость, и стал горделив, и вынул из кармана засаленную шелковую черную шапочку, надел ее, также надел и очки, и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он действительно мастер.

Затем, взяв с Ивана честное слово, что тот поступит как джентльмен и никому ничего не повторит, гость рассказал дальнейшее.

Выяснилось, что он написал этот роман, над которым просидел три года в своем уютном подвале на Пречистенке, заваленном книгами, и знала об этом романе только одна женщина. Имени ее гость не назвал, но сказал, что женщина умная, замечательная...

МАСТЕР И МАРГАРИТА

Главы романа из шестой (второй полной) рукописной редакции, законченной 22—23 мая 1938 г.

ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

— Я — мастер, — сурово ответил гость и вынул из кармана засаленную черную шапочку. Он надел ее и показался Ивану— и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он мастер. — Она своими руками сшила ее мне, — таинственно добавил он.

— А как ваша фамилия?

— У меня нет больше фамилии, — мрачно ответил странный гость, — я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней!

Иван умолк, а гость шепотом повел рассказ.

История его оказалась действительно не совсем обыкновенной. Историк по образованию, он лет пять тому назад работал в одном из музеев, а кроме того, занимался переводами. Жил одиноко, не имея родных нигде и почти не имея знакомых. И представьте, однажды выиграл сто тысяч рублей.

— Можете вообразить мое изумление! — рассказывал гость, — я эту облигацию, которую мне дали в музее, засунул в корзину с бельем и совершенно про нее забыл. И тут, вообразите, как-то пью чай утром и машинально гляжу в газету. Вижу — колонка каких-то цифр. Думаю о своем, но один номер меня беспокоит. А у меня, надо вам сказать, была зрительная память. Начинаю думать: а ведь я где-то видел цифру «13», жирную и черную, слева видел, а справа цифры цветные и на розоватом фоне. Мучился, мучился и вспомнил! В корзину — и, знаете ли, я был совершенно потрясен!..

Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил на пять тысяч книг и из своей комнаты на Мясницкой переехал в переулок близ Пречистенки, в две комнаты в подвале маленького домика в садике. Музей бросил и начал писать роман о Понтии Пилате.

— Ах, это был золотой век, — блестя глазами, шептал рассказчик. — Маленькие оконца выходили в садик, и зимою я редко видел чьи-нибудь черные ноги, слышал хруст снега. В печке у меня вечно пылал огонь. Но наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем зеленеющие кусты сирени. И тогда весною случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение ста тысяч рублей. А сто тысяч, как хотите, колоссальная сумма денег!

— Это верно, — согласился внимательный Иван.

— Я шел по Тверской тогда весною. Люблю, когда город летит мимо. И он мимо меня летел, я же думал о Понтии Пилате и о том, что через несколько дней я допишу последние слова, и слова эти будут непременно — «шестой прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

Но тут я увидел ее, и поразила меня не столько даже ее красота, сколько то, что у нее были тревожные, одинокие глаза. Она несла в руках отвратительные желтые цветы. Они необыкновенно ярко выделялись на черном ее пальто. Она несла желтые цветы. Она повернула с Тверской в переулок и тут же обернулась. Представьте себе, что шли по Тверской сотни, тысячи людей, я вам ручаюсь, что она видела меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как-то болезненно.

И я повернул за нею в переулок и пошел по ее следам, повинуясь. Она несла свой желтый знак так, как будто это был тяжелый груз.

Мы прошли по кривому скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, она по другой. Я мучился, не зная, как с нею заговорить, и тревожился, что она уйдет и я никогда ее более не увижу.

И тогда заговорила она.

— Нравятся ли вам эти цветы?

Отчетливо помню, как прозвучал ее низкий голос и мне даже показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от грязных желтых стен.

Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил:

— Нет.

Она поглядела на меня удивленно, а я вгляделся в нее и вдруг понял, что никто в жизни мне так не нравился и никогда не понравится, как эта женщина.

— Вы вообще не любите цветов? — спросила она и поглядела на меня, как мне показалось, враждебно.

Я шел с нею, стараясь идти в ногу, чувствовал себя крайне стесненным.

— Нет, я люблю цветы, только не такие, — сказал я и прочистил голос.

— А какие?

— Я розы люблю.

Тогда она бросила цветы в канаву. Я настолько растерялся, что было поднял их, но она усмехнулась и оттолкнула их, тогда я понес их в руках.

Мы вышли из кривого переулка в прямой и широкий, на углу она беспокойно огляделась. Я в недоумении поглядел в ее темные глаза. Она усмехнулась и сказала так:

— Это опасный переулок, — видя мое недоумение, пояснила, — здесь может проехать машина, а в ней человек...

Мы пересекли опасный переулок и вошли в глухой, пустынный. Здесь бодрее застучали ее каблуки.

Она мягким, но настойчивым движением вынула у меня из рук цветы, бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли тесно рядом.

Любовь поразила нас как молния, как нож. Я это знал в тот же день уже, через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет.

На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило приветливо нам.

И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой.

Она приходила ко мне днем, я начинал ее ждать за полчаса до срока. В эти полчаса я мог только курить и переставлять с места на место на столе предметы. Потом я садился к окну и прислушивался, когда стукнет ветхая калитка. Во дворик наш мало кто приходил, но теперь мне казалось, что весь город устремился сюда. Стукнет калитка, стукнет мое сердце, и, вообразите, грязные сапоги в окне. Кто ходил? Почему-то точильщики какие-то, почтальон, ненужный мне.

Она входила в калитку один раз, как сами понимаете, а сердце у меня стучало раз десять, я не лгу. А потом, когда приходил ее час и стрелка показывала полдень, оно уже и не переставало стучать до тех пор, пока без стука почти, совсем бесшумно не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, стянутыми стальными пряжками.

Иногда она шалила и, задержавшись, у второго оконца постукивала носком в стекло. Я в ту же секунду оказывался у этого окна, но исчезала туфля, черный шелк, заслонявший свет, исчезал, я шел ей открывать.

Никто не знал о нашей связи, за это я вам ручаюсь, хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, не знали знакомые. В стареньком особняке, где мне принадлежал этот подвал, знали, конечно, видели, что приходит ко мне какая-то женщина, но имени ее не знали.

— А кто же такая она была? — спросил Иван, заинтересовавшись этой любовной историей.

Гость сделал жест, означавший «ни за что, никогда не скажу», и продолжал свой рассказ.

Ивану стало известно, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что не могли уже жить друг без друга. Иван представлял себе уже ясно и две комнаты в подвале особняка, в которых были всегда сумерки из-за сирени и забора. Красную потертую мебель в первой, бюро, на нем часы, звеневшие каждые полчаса, и книги, книги от крашеного пола до закопченного потолка, и печку.

Диван в узкой второй, и опять-таки книги, коврик возле этого дивана, крохотный письменный стол.

Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек.

Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день возлюбленные. Она приходила и надевала фартук, и в той узкой передней, где помещался умывальник, а на деревянном столе керосинка, готовила завтрак и завтрак этот накрывала в первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и завтракали при огненных отблесках, игравших на

хрустальных рюмках с красным вином. Кончились грозы, настало душное лето, и в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы.

Герой этого рассказа работал как-то лихорадочно над своим романом, и этот роман поглотил и героиню.

— Право, временами я начинал ревновать ее к нему, — шептал пришедший с лунного балкона ночной гость Ивану.

Как выяснилось, она, прочитав исписанные листы, стала перечитывать их, сшила из черного шелка вот эту самую шапочку.

Если герой работал днем, она, сидя на корточках у нижних полок или стоя на стуле у верхних в соседней комнате, тряпкой вытирала пыльные корешки книг с таким благоговением, как будто это были священные и бьющиеся сосуды.

Она подталкивала его и гнала, сулила славу и стала называть героя мастером. Она в лихорадке дожидалась конца, последних слов о прокураторе Иудеи, шептала фразы, которые ей особенно понравились, и говорила, что в этом романе ее жизнь.

И этот роман был дописан в августе. Героиня сама отнесла его куда-то, говоря, что знает чудную машинистку. Она ездила к ней проверять, как идет работа.

В конце августа однажды она приехала в таксомоторе, герой услышал нетерпеливое постукивание руки в черной перчатке в оконце, вышел во двор. Из таксомотора был выгружен толстеннейший пакет, перевязанный накрест, в нем оказалось пять экземпляров романа.

Герой долго правил эти экземпляры, и она сидела рядом с резинкой в руках и шепотом ругала автора за то, что он пачкает страницы, и ножичком выскабливала кляксы. Настал наконец день и час покинуть тайный приют и выйти с этим романом в жизнь.

— И я вышел, держа его в руках, и тогда кончилась моя жизнь, — прошептал мастер и поник головой, и качалась долго черная шапочка.

Мастер рассказал, что он привез свое произведение в одну из редакций и сдал его какой-то женщине, и та велела ему прийти за ответом через две недели.

— Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда все уже кончилось и гибель моя налицо, вспоми-

наю его с содроганием и ненавистью! — прошептал торжественно мастер и поднял руку.

Действительно, того, кто называл себя мастером, постигла какая-то катастрофа.

Он рассказал Ивану про свою встречу с редактором. Редактор этот чрезвычайно изумил автора.

— Он смотрел на меня так, как будто у меня флюсом раздуло щеку, как-то косился и даже сконфуженно хихикал. Без нужды листал манускрипт и крякал. Вопросы, которые он мне задавал, показались сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он стал спрашивать, кто я таков и откуда взялся, давно ли я пишу, и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал совсем идиотский вопрос: как это так мне пришла в голову мысль написать роман на такую тему?

Наконец он мне надоел, и я спросил его напрямик: будет ли он печатать роман или не будет?

Тут он как-то засуетился и заявил, что сам он решить этот вопрос не может, что с этим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии, именно критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович.

Я ушел и через две недели получил от той самой девицы со скошенными к носу от постоянного вранья глазами...

— Это Лапшенникова, секретарь редакции, — заметил Иван, хорошо знающий тот мир, что так гневно описывал его гость.

— Может быть, — отрезал тот и продолжал: — ...да, так вот от этой девицы получил свой роман, уже порядочно засаленный и растрепанный. Девица сообщила, водя вывороченным глазом мимо меня, что редакция обеспечена материалом уже на два года вперед и поэтому вопрос о напечатании Понтия Пилата отпадает.

И мой роман вернулся туда, откуда вышел. Я помню осыпавшиеся красные лепестки розы на титульном листе и полные раздражения глаза моей жены.

Далее, как услышал Иван, произошло нечто внезапное и странное. Однажды герой развернул газету и увидел в ней статью критика Аримана, которая называлась «Вылазка врага» и где Ариман предупреждал всех и каждого, что он, то есть наш герой, сделал попытку притащить в печать апологию Иисуса Христа.

— А, помню, помню! — вскричал Иван, — но я забыл, как ваша фамилия?

— Оставим, повторяю, мою фамилию, ее нет больше, — ответил гость, — дело не в ней. Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить и крепко ударить по Пилатчине и тому богомазу, который вздумал ее протащить (опять это проклятое слово!) в печать.

Остолбенев от этого неслыханного слова «Пилатчина», я развернул третью газету. Здесь было две статьи: одна Латунского, а другая подписанная буквами «М.З.».

Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец». Я так увлекся чтением статей о себе, что не заметил, как она (дверь я забыл закрыть) предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и с мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем хриплым голосом и, стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского!

Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал.

— Настали безрадостные осенние дни, — продолжал гость, — чудовищная неудача с этим романом как бы вынула у меня часть души. По существу говоря, мне больше нечего было делать, и жил я от свидания к свиданию.

И вот в это время случилось что-то со мною. Черт знает что, в чем Стравинский, наверное, давно уж разобрался. Именно нашла на меня тоска и появились какие-то предчувствия. Статьи, заметьте, не прекращались. Клянусь вам, что они смешили меня. Я твердо знал, что в них нет правды, и в особенности это отличало статьи Мстислава Лавровича (а он писал о Пилате и обо мне еще два раза). Что-то удивительно фальшивое, неуверенное чувствовалось буквально в каждом слове его статей, несмотря на то что слова все были какие-то пугающие, звонкие, крепкие и на место поставленные. Так вот, я, повторяю, смеялся, меня не пугал ни Мстислав, ни Латунский. А между тем, подумайте, снизу где-то под этим подымалась во мне тоска. Мне казалось, в особенности когда я засыпал, что какой-то очень гиб-

кий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу.

Моя возлюбленная изменилась. Она похудела и побледнела и настаивала на том, чтобы я, бросив все, уехал бы на месяц на юг. Она была настойчива, и я, чтобы не спорить, совершил следующее — вынул из сберегательной кассы последнее, что оставалось от ста тысяч — увы — девять тысяч рублей. Я отдал их ей, на сохранение до моего отъезда, сказав, что боюсь воров. Она настаивала на том, чтобы я послезавтра же взял бы билеты на юг, и я обещал ей это, хотя что-то в моей душе упорно подсказывало мне, что ни на какой юг и никогда я не уеду.

В ту же ночь я долго не мог заснуть, и вдруг, таращa глаза в темноту, понял, что я заболел боязнью. Не подумайте, что боязнью Мстислава, Латунского, нет, нет. Сквернейшая штука приключилась со мною. Я стал бояться оставаться один в комнате. Я зажег свет. Передо мною оказались привычные предметы, но легче мне от этого не стало. Симптомы атаковали меня со всех сторон, опять померещился спрут. Малодушие мое усиливалось, явилась дикая мысль уйти куда-нибудь из дому. Но часы прозвенели четыре, идти было некуда. Я попробовал снять книгу с полки. Книга вызвала во мне отвращение. Тогда я понял, что дело мое плохо. Чтобы проверить себя, я отодвинул занавеску и глянул в оконце. Там была черная тьма, и ужас во мне возник от мысли, что она сейчас начнет вливаться в мое убежище. Я тихо вскрикнул, задернул занавеску, зажег все огни и затопил печку. Когда загудело пламя и застучала дверца, мне как будто стало легче. Я открыл шкаф в передней, достал бутылку белого, ее любимого, вина и стал пить его стакан за стаканом. Мне полегчало, не от того, что притупились страшные мысли, а оттого, что они пришли вразброд. Тогда я, понимая, конечно, что этого быть не может, пытался вызвать ее. Я знал, что это она — единственное существо в мире — может помочь мне. Я сидел, съежившись на полу у печки, жар обжигал мне лицо и руки, и шептал:

— Догадайся, что со мною случилась беда. Приди, приди, приди!

Но никто не шел. Гудело в печке, и в оконца нахлестывал дождь.

Тогда случилось последнее. Я вынул из ящиков стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их

жечь. Это не так-то просто сделать. Исписанная бумага горит неохотно. Ломая изредка ногти, я разодрал тетради, вкладывая их между поленьями, ставил стоймя, кочергой трепал листы. Ломкий пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман погибал. Покончив с тетрадями, я принялся за машинные экземпляры. Я отгреб гору пепла в глубь печки и, разняв толстые манускрипты, стал погружать их в пасть. Знакомые слова мелькали предо мною, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх, но слова все-таки виднелись на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и кочергой я яростно добивал мои мысли. Мне стало как бы легче.

В это время в окно тихо постучались, как будто кто-то царапался. Сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последние слои в огонь, пошел отворять.

Кирпичные ступеньки вели из подвала к двери наверх, пахнуло сыростью. У двери я с тревожным сердцем спросил тихо:

— Кто там?

И голос, ее голос ответил мне:

— Это я.

Не помня себя, не помня как, я совладал с цепью и ключом.

Она лишь только шагнула внутрь, припала ко мне вся мокрая, с мокрыми щеками, развившимися волосами, дрожащая.

Я мог произнести только слова:

— Ты... ты, — и голос мой прервался, и мы вбежали в переднюю. Она освободилась от пальто и подошла к огню. Она тихо вскрикнула, голыми руками выбросила из печи последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил комнату мгновенно. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно. Отдельные слова прорывались сквозь горький плач.

— Я чувствовала... знала... Я бежала... я знала, что беда... Опоздала... он уехал, его вызвали телеграммой... и я прибежала... я прибежала!

Тут она отняла руки и, глядя на меня страшными глазами, спросила:

— Зачем ты это сделал? Как ты смел погубить его?

Я помолчал, глядя на валявшиеся обожженные места, и ответил:

— Я все возненавидел и боюсь... Я даже тебя звал. Мне страшно.

Слова мои произвели необыкновенное действие. Она поднялась, утихла и спросила, и в голосе ее был ужас:

— Боже, ты нездоров? Ты нездоров... Но я спасу тебя, я тебя спасу... Что же это такое? Боже!

Я не хотел ее пугать, но я обессилел и в малодушии признался ей во всем, рассказал, как обвил меня черный спрут, сказал, что я знаю, что случится несчастье, что романа своего я больше видеть не мог, он мучил меня.

— Ужасно! Ужасно! — бормотала она, глядя на меня, и я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза, я чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб, — но ничего. О, нет! Ты восстановишь его! Я тебя вылечу, не дам тебе сдаться, ты его запишешь вновь! Проклятая! Зачем я не оставила у себя один экземпляр!

Она скалилась от ярости, что-то еще бормотала. Затем, сжав губы, она принялась собирать и расправлять обгоревшие листы. Она сложила их аккуратно, завернула в бумагу, перевязала лентой. Все ее действия показывали, что она полна решимости, что она овладела собой. Выпив вина, она стала торопливо собираться. Это было мучительно для нее, она хотела остаться у меня, но сделать этого не могла.

Она солгала прислуге, что смертельно заболела ее близкая приятельница, и умчалась, изумив дворника.

— Как приходится платиться за ложь. — говорила она, — и я больше не хочу лгать. Я приду к тебе и останусь навсегда у тебя. Но, быть может, ты не хочешь этого?

— Ты никогда не придешь ко мне, — тихо сказал я, — и первый, кто этого не допустит, буду я. У меня плохие предчувствия, со мною будет нехорошо, и я не хочу, чтобы ты погибала вместе со мною.

— Клянусь, клянусь тебе, что так не будет, — с великою верою произнесла она, — брось, умоляю, печальные мысли. Пей вино! Еще пей. Постарайся уснуть, через несколько дней я приду к тебе навсегда. Дай мне только разорвать цепь, мне жаль другого человека. Он ничего дурного не сделал мне.

— И наконец мы расстались, и расстались, как я и предчувствовал, навсегда. Последнее, что я помню в

жизни — это полосу света из моей передней и в этой полосе света развившуюся прядь из-под шапочки и ее глаза, молящие, убитые глаза несчастного человека. Потом помню черный силуэт, уходящий в непогоду с белым свертком.

На пороге во тьме я задержал ее, говоря:

— Погоди, я пойду проводить тебя. Но я боюсь идти назад один...

— Ни за что! — это были ее последние слова в жизни.

— Тсс! — вдруг сам себя прервал больной и поднял палец, — беспокойная ночка сегодня. Слышите?

Глухо послышался голос Прасковьи Васильевны в коридоре, и гость Ивана, согнувшись, скрылся на балконе за решеткой.

Иван слышал, как прокатились мягкие колесики по коридору, слабенько кто-то не то вскрикнул, не то всхлипнул...

Гость отсутствовал некоторое время, а вернувшись, сообщил, что еще одна комната получила жильца. Привезли кого-то, который вскрикивает и уверяет, что у него оторвали голову.

Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному.

— Дальше! — попросил Иван.

Гость раскрыл было рот, но ночка была действительно беспокойная, неясно из коридора слышались два голоса, и гость поэтому начал говорить Ивану на́ ухо так тихо, что ни одного слова из того, что он рассказал, не стало известно никому, кроме поэта. Но рассказывал больной что-то, что очень взволновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу, в них была то ярость, то ужас, то возникало что-то просто болезненное, а в глазах плавал и метался страх. Рассказчик указывал рукой куда-то в сторону балкона, и балкон этот уже был темен, луна ушла с него.

Лишь тогда, когда перестали доноситься какие-нибудь звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил погромче:

— Я стоял в том же самом пальто, но с оторванными пуговицами, и жался от холода, вернее не столько от холода, сколько от страху, который стал теперь моим вечным спутником. Сугробы возвышались за моею спиной под забором, из-под калитки, неплотно прикрытой,

наметало снег. А впереди меня были слабенько освещенные мои оконца: я припал к стене, прислушался — там играл патефон. Это все, что я расслышал, но разглядеть ничего не мог, и так и не удалось мне узнать, кто живет в моих комнатах и что сталось с моими книгами, бьют ли часы, гудит ли в печке огонь.

Я вышел за калитку, метель играла в переулке вовсю. Меня испугала собака, я перебежал от нее на другую сторону. Холод доводил меня до исступления. Идти мне было некуда, и проще всего было бы броситься под трамвай, покончив всю эту гнусную историю, благо их, совершенно заледеневших, сколько угодно проходило по улице, в которую выходил мой переулок. Я видел издали эти наполненные светом ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но, дорогой мой сосед, вся штука и заключалась в том, что страх пронизывал меня до последней клеточки тела. Я боялся приближаться к трамваю. Да хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас!

—Но вы же могли дать знать ей, — растерянно сказал Иван, — ведь она, я полагаю, сохранила ваши деньги?

— Не сомневаюсь в этом, — сухо ответил гость, — но вы, очевидно, не понимаете меня? Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, не жаль этой способности, она мне больше не нужна. Перед моей женой предстал бы человек, заросший грязной бородой, в дырявых валенках, в разорванном пальто, с мутными глазами, вздрагивающий и отшатывающийся от людей. Душевно больной. Вы шутите, мой друг! Нет, — оскалившись, воскликнул больной, — на это я не способен. Я был несчастный, трясущийся от душевного недуга и от физического холода человек, но сделать ее несчастной... нет! На это я не способен!

Иван умолк. Новый Иван в нем сочувствовал гостю, сострадал ему.

А тот кивал в душевной муке воспоминаний головой и говорил с жаром и слезами:

— Нет... Я верю, я знаю, что вспоминала она меня всякий день и страдала... Бедная женщина! Но она страдала бы гораздо больше, если бы я появился перед нею

такой, как я был! Впрочем, теперь она, я полагаю, забыла меня. Да, конечно...

— Но вы бы выздоровели... — робко сказал Иван.

— Я неизлечим, — глухо ответил гость, — я не верю Стравинскому только в одном: когда он говорит, что вернет меня к жизни. Он гуманен и просто утешает меня. Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше.

Тут глаза гостя вспыхнули, и слезы исчезли, он вспомнил что-то, что вызвало его гнев.

— Нет, — забывшись, почти полным голосом вскричал он, — нет! Жизнь вытолкнула меня, ну, так я и не вернусь в нее. Я уж повисну, повисну... — он забормотал что-то несвязное, встревожив Ивана. Но потом поуспокоился и продолжал свой горький рассказ.

— Да-с... так вот, летящие ящики, ночь, мороз и... куда? Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пешком пошел... Безумие. За городом я наверно замерз бы... Но меня спасла случайность, как любят думать... Что-то сломалось в грузовике, я подошел, и шофер, к моему удивлению, сжалился он надо мною... Машина шла сюда. Меня привезли... Я отделаются тем, что отморозил пальцы на ноге и на руке, но это вылечили.

И вот я пятый месяц здесь... И знаете, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Не надо задаваться большими планами. Право! Я хотел объехать весь земной шар под руку с нею... Ну что ж, это не суждено... Я вижу только незначительный кусок этого шара... Это далеко не самое лучшее, что есть на нем, но для одного человека хватит... Решетка, лето идет, на ней завьется плющ, как обещает Прасковья Васильевна. Кража ключей расширила мои возможности. По ночам луна... ах... она уходит... Свежеет, ночь валится через полночь... Пора... До свидания!

— Скажите мне, что было дальше, дальше, — попросил Иван, — про Га-Ноцри...

— Нет, — опять оскалившись, отозвался гость уже у решетки, — никогда. Он, ваш знакомый на Патриарших, сделал бы это лучше меня. Я ненавижу свой роман!

Спасибо за беседу.

И раньше, чем Иван опомнился, с тихим звоном закрылась решетка, и гость исчез.

ПОЛЕТ

Свобода! Свобода! Первое, что ощутила Маргарита Николаевна, проскочив над гвоздями, что полет представляет наслаждение, которое ни с чем вообще сравнить нельзя.

Она пронеслась по переулку и вылетела в другой, пересекавший первый. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружечками продают керосин и жидкость от клопов во флаконах, она перерезала в одно мгновение и тут усвоила второе, именно, что, даже будучи совершенно свободной, нужно быть хоть крошечку благоразумной. Что по городу и ходить, и ездить, и летать нужно медленно. Только чудом затормозившись, она едва не разбилась насмерть о старый покосившийся газовый фонарь на углу. Вильнув в сторону, Маргарита сжала покрепче щетку и полетела медленно, всматриваясь в электрические провода и вывески, выступающие поперек тротуаров.

Третий переулок вел прямо к Арбату. Вылетая на него, Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой и поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук и ног и что нужно только одно — быть внимательной, не буйствовать... Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие ее не видят. Никто не задирал голову, не кричал: «Гляди! Гляди!», не шарахался в сторону, не визжал, не падал в обморок, не улюлюкал, не хохотал диким смехом.

Маргарита летела беззвучно и не очень высоко.

Да, буйствовать не следовало, но именно буйствовать-то и хотелось больше всего. При самом влете на сияющий Арбат освещенный диск с черной конской головой преградил всаднице дорогу.

Маргарита осадила послушную щетку, отлетела, подняла щетку на дыбы и, бросившись назад, внезапно концом вдребезги разбила эту конскую голову. Посыпались осколки, тут прохожие шарахнулись, засвистели свистки, а Маргарита, совершив этот ненужный поступок, припала к жесткой щетине и расхохоталась.

«А на Арбате надо быть еще повнимательнее, — подумала ведьма, — тут черт знает что».

И действительно. Под Маргаритой плыли крыши

троллейбусов, автобусов и легковых машин, по тротуарам, сколько хватало глаз, плыли кепки, миллионы кепок, как показалось Маргарите. В кепочной реке вскипали изредка водоворотики. От реки отделялись ручейки кепок и вливались в огненные пасти универмагов, и выливались из них. Весь Арбат был опутан какими-то толстыми проводами, затруднявшими летящую, и вывески торчали на каждом шагу.

— Фу, какое месиво! — раздраженно вскричала Маргарита, — повернуться нельзя!

Рассердившись, она сползла к концу щетки, взяла поближе к окнам над самыми головами и высадила головой щетки стекло в аптеке. Грохот, звон и визг были ей наградой.

В разрушении есть наслаждение тоже мало с чем сравнимое. Нагло хохоча, Маргарита приподнялась повыше и видела, как тащили кого-то и кто-то кричал: «Держите сукина сына! Он, он! Я видел!»

— Да ну вас к черту! — опять раздражилась Маргарита. Засмотревшись на скандал, она стукнулась головой о семафор с зеленым волнистым глазом.

Захотелось отомстить. Маргарита подумала, прицелилась, снизилась и на тихом ходу сняла с двух голов две кепки и бросила на мостовую. Первый, лишившись кепки, ахнул, повернулся, в свою очередь прицелился, сделал плачущее лицо и ударил по уху шедшего за ним какого-то молодого человека.

— Не он, дурак ты! — захохотав над его головой, вскричала Маргарита, — не того треснул!

Драчун поморгал глазами и послушно ударил другого.

Маргарита под тот же неизбежный свист отлетела от драки в сторону.

Приятно разрушение, но безнаказанность, соединенная с ним, вызывает в человеке исступленный восторг. Через минуту по обеим сторонам Арбата гремели разбиваемые стекла, кричали и бежали пешеходы, вскипали драки. Троллейбус, шедший к Смоленскому, вдруг погас и остановился, загромоздив дорогу машинам. Кто-то снял ролик с провода. На укатанном асфальте валялись раздавленные помидоры и соленые огурцы.

Но опять-таки все на свете приедается. Арбат надоел Маргарите, и, взмыв, она мимо каких-то сияющих зеле-

ным ослепительным светом трубок на угловом здании театра вылетела в переулок.

— Царствую над улицей! — прокричала Маргарита, и кто-то выглянул в изумлении из окна четвертого этажа.

Зажав щетку ногами, Маргарита сдирала кожуру с копченой колбасы и жадно вгрызалась в нее, утоляя давно уже терзавший ее голод. Колбаса оказалась неслыханно вкусная. Кроме того, придавало ей еще большую прелесть сознание того, как легко она досталась Маргарите. Маргарита просто спустилась к тротуару и вынула сверток с колбасой из рук у какой-то гражданки.

Теперь Маргарита медленно плыла на уровне четвертого этажа в узком, но сравнительно хорошо сохранившемся переулке, причем и по левую и по правую руку у нее были громадные, высокие дома, по левую — старой стройки, по правую — недавно отстроенные. И в тех и в других окна были раскрыты, из многих из них слышалось радио — музыка.

Маргарите захотелось пить после колбасы. Она повернулась и мягко высадилась на подоконнике в четвертом этаже и убедилась, что попала в кухню. Два примуса грозно ревели на громадной плите, заваленной картофельными очистками. Голубовато-зеленое пламя хлестало из них и лизало дно кастрюлек, и казалось, что еще секунду и примусы лопнут. Две женщины стояли у кастрюль и, отворачивая носы, ложками мешали одна кашу, другая зловонную капусту, ведя между собою беседу.

Маргарита прислонила щетку к раме, взяла грязный стакан со столика, сполоснула его над засоренной спитым чаем раковиной и, с наслаждением напившись, прислушалась к тому, что говорили две домохозяйки.

— Вы, Пелагея Павловна, — грустно покачивая головой, говорила та, что кашу мешала, — и при старом режиме были стервой, стервой и теперь остались!..

— Свет, свет тушить, тушить надо в клозете за собою! Тушить надо, — отвечала резким голосом Пелагея Павловна, — на выселение на вас подадим! Хулиганье!

— Пельмени воруешь из кастрюль, — бледнея от ненависти, ответила другая, — стерва!

— Сама стерва! — ответила та, что якобы воровала пельмени.

— Обе вы стервы! — сказала Маргарита звучно.

Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита повернула краники, и сразу оба примуса, зашипев, умолкли.

— Ты... ты чужой примус... будешь тушить? — глухим и страшным голосом спросила Пелагея Павловна и вдруг ложкой спихнула кастрюлю соседки с примуса. Пар облаком поднялся над плитой. Та, у которой погибла каша, швырнула ложку на плиту и с урчанием вцепилась в жидкие светлые волосы Пелагеи Павловны, которая немедленно испустила высокий крик «Караул!». Дверь кухни распахнулась, и в кухню вбежал мужчина в ночной сорочке и с болтающимися сзади подтяжками.

— Жену бить?! — страдальчески спросил он и кинулся к сцепившимся женщинам, но Маргарита подставила ему ножку, и он обрушился на пол с воплем.

— Опять дерутся! — провизжал кто-то в коридоре, — звери!

Еще кто-то влетел в кухню, но уж трудно было разобрать кто — мужчина или женщина, потому что слетела кастрюля с другого примуса и зловонным паром как в бане затянуло всю кухню.

Маргарита перескочила через катающихся по полу в клубке двух женщин и одного мужчину, схватила щетку, ударила по стеклу так, что брызнуло во все стороны, вскочила на щетку и вылетела в переулок. Вслед ей полетел дикий уже совершенно вой, в который врезался вопль «Зарежу!» и хрустение давленого стекла.

Хохоча, Маргарита галопом пошла вниз и поплыла в переулке, раздумывая о том, куда бы еще направиться. Так доплыла она до конца переулка, и тут ее внимание привлекла роскошная громада вновь отстроенного дома.

Маргарита приземлилась и увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклом виднеется фуражка и пуговицы швейцара, что над дверьми золотом наложена надпись «Дом Драмлита».

Что-то соображая, Маргарита щурилась на надпись, ломая голову над вопросом, что означает слово «Драмлит».

Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела лифт, а возле лифта на табуретке женщину, голова которой была обвязана, несмотря на теплое время, пуховым платком.

И вот тут Маргарите бросилась в глаза черная громадная доска на стене и на этой доске выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов.

Венчающая список крупная надпись «Дом Драматурга и Литератора» заставила Маргариту испустить хищный, задушенный вопль.

Подпрыгнув, она жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, Латунский...

— Латунский! — визгнула Маргарита. — Латунский!

Глаза ее побежали дальше:

...Семейкина-Галл, Мстислав Лавровский...

— Лавровский?! — зарычала Маргарита...

Швейцар у дверей вертел головой и даже подпрыгивал, стараясь понять чудо — заговоривший список жильцов.

— Ах, я дура, ах, я дура! — шипела Маргарита, — я теряла время... я, я...

Через несколько мгновений она подымалась вверх, в каком-то упоении повторяя:

— Латунский, 34, Латунский, 34...

В лифте она не нуждалась, щетка плавно несла ее вверх, отщелкивая концом палки ступени...

Маргарита мурлыкала по-кошачьи, напевала: «34, сейчас, сейчас...»

Вот 32 налево, 33 направо, сейчас, сейчас!

Вот налево — он, 34-й номер! Карточка «О. Латунский».

Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила каменная площадка.

Маргарита позвонила раз, другой. Но никто не открывал. Маргарита стала жать кнопку и сама слышала трезвон, который поднялся в квартире Латунского. Да, по гроб жизни должен быть благодарен обитатель квартиры № 34 покойному Берлиозу за то, что тот попал под трамвай и траурное заседание было назначено как раз на этот вечер. Никто не открывал, и Маргарита с размаху ударила щеткой в дверь, но тут же сама себя сдержала.

Во весь мах она неслась вниз, считая этажи, во весь мах вырвалась на улицу, опять поразив швейцара тем, что дверь открылась и захлопнулась сама собой, и, прыгая и приплясывая возле машин, стоявших у шикарного подъезда, мерила и отсчитывала этажи.

Отсчитав, взвилась и через мгновение через раскрытое окно входила в темную комнату.

Пол серебрился дорожкой от луны. По ней пробежала Маргарита, нашарила выключатель, и тотчас осветилась комната. Через минуту вся квартира полыхала светом. Щетка стояла, прислоненная к роялю. Маргарита обежала все углы. В квартире не было никого.

Тогда она сделала проверку, открыв дверь и глянув на карточку. Убедившись, что попала в самую точку, заперла дверь и ринулась в кухню.

Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая этот страшный вечер. До сих пор он с благоговением произносит имя Берлиоза. И недаром. Темной гнусной уголовщиной мог ознаменоваться этот вечер — в руках у Маргариты по возвращении из кухни оказался тяжелый, сплошь железный молоток.

Теперь ведьма сдерживала и уговаривала себя. Руки ее тряслись, в помутневших глазах плавало бешенство... рот кривился улыбкой.

— Организованно, организованно, — шептала Маргарита, — и спокойно... — и, вскрикнув тихо: «Ля бемоль!» —— она ударила молотком по клавише.

Попала она, правда, в чистое белое ля, и по всей квартире пронесся жалобный стон. Потом клавиши завопили. Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши вдавливались, костяные накладки полетели во все стороны. Инструмент гудел, выл, хрипел.

Со звуком выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная крышка.

Тяжело дыша, красная и растрепанная Маргарита мяла и рвала молотком струны.

Наконец отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы перевести дыхание, и прислушалась. В кухне гудела вода, в ванной тоже. «Кажется, уже пошла на пол, — подумала Маргарита и добавила вслух: — Однако, засиживаться нечего! Надо работать...» И работа кипела в руках распаренной Маргариты. Шлепая босыми ногами по лужам, ведрами она носила из кухни воду в уютный кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола и в пышно взбитые постели в спальной.

Выбившись из сил, взялась за более легкое: топила костюмы в ванне, топила там же книги, поливала черни-

лами паркет, а сверху посыпала землей из разбитого вазона с фикусом. Со сладострастием поглядывала на люстру, зеркальный шкаф и шептала: «Ну это на закуску...»

В то время, когда Маргарита Николаевна, сидя в спальне, ножницами резала наволочки и простыни, вынутые из шкафа, прислуга драматурга Кванта пила чай, сидя в кухне на табуретке, недоумевая по поводу топота и буханья, глухо слышавшихся сверху из квартиры Латунских.

Подняв голову к потолку, она вдруг увидела, что он на глазах ее меняет свой белый цвет на какой-то мертвенно-синеватый. Пятно расширялось на глазах, и вдруг на нем взбухли капли. Минуты две сидела домработница, дивясь такому явлению, пока наконец из потолка не пошел настоящий дождь и не застучал по полу. Тут она вскочила, подставила таз под струи, но дождь пошел шире, полилось на газовую плиту, на стол с посудой.

Тут, вскрикнув, домработница Кванта выбежала из квартиры, и тотчас в квартире Латунских начались звонки.

— Ну, гора, стало быть! — сказала Маргарита и поднялась.

Через минуту она садилась на щетку, слушая, как женский голос кричит в скважину двери:

— Откройте! Откройте! Дуся, открой! У нас вода течет!

Маргарита поднялась на аршин от полу, подъехала к окну, ударила молотком, взвилась, ударила по люстре. Разорвало две лампочки, полетели подвески.

Крики в скважине смолкли. На лестнице затопотали.

Маргарита выплыла в окно и увидела внизу людей, глядящих вверх. Из машины вылезал шофер. Снаружи было удобнее бить стекла, и Маргарита, покачиваясь, поехала вдоль пятого этажа... Взмах, всхлипывание стекла и затем каскадом по стене осколки. Крик в окне. В переулке внизу забегали, две машины загудели и отъехали. Из подъезда выбежал швейцар, всунул в рот свисток, надул щеки и бешено засвистел.

— Гроза гнула и ломала гранатовые деревья, — в упоении прокричала Маргарита, — гнула! Трепала розовые кусты!

С особенным азартом рассадив крайнее стекло, Маргарита переехала в следующий этаж и начала крушить стекла в нем.

Измученный долгим бдением за зеркальными дверями подъезда, швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргаритой. В паузах, когда она перелетала от подоконника к подоконнику, он набирал духу, в то же время оглядывая верхние этажи. Удар Маргариты — и он заливался кипящим свистом, буравя ночной воздух в переулке до самого неба.

Его усилия, соединенные с усилиями ведьмы, дали замечательные результаты. В доме уже шла паника, цельные еще окна распахивались, в них появлялись головы людей, раскрытые, наоборот, закрывались. В противоположных домах во всех окнах возникли темные силуэты людей, старавшихся понять, почему без всякой причины лопаются окна в новом доме Драмлита.

Народ сбегался к дому, но не подбегал к подъездам, а глазел с противоположного тротуара. По всем лестницам топали бегущие то вверх, то вниз без всякого смысла люди.

Домработница Кванта поступала теперь так: она то вбегала в квартиру и любовалась на то, как взбухает и синеет штукатурка в кухне и как дождь хлещет, наполняя вымытые чашки на столе, как из кухни выкатывается волна в коридор, то выбегала на лестницу и там кричала пробегавшим, что их залило.

Через некоторое время к ней присоединилась домработница Хустовых из квартиры № 30, помещавшейся под квантовской квартирой. Хлынуло с потолка у Хустовых и в кухне, и в уборной.

Наконец у Квантов обрушился большой пласт штукатурки, после чего с потолка хлынуло широкой струей между клетками обвисшей дранки.

Проезжая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита заглянула в него и увидела человека, в панике напялившего на себя противогаз. Ударив молотком в стекло, Маргарита вспугнула его, и он исчез из комнаты.

В последнее окно Маргарита заглянула и спросила:

— Уж не Лавровского ли это квартира?

— Семейкиной! Семейкиной! — отчаянно ответил женский голос и в испуге прокричал: — Аэропланы! Да? Аэропланы?

— Семейкиной, так Семейкиной, — ответила Маргарита и во всех четырех рамах не оставила ни куска стек-

ла. И вдруг дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в окно, завешенное легонькой темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с зашнурованными боками сидел мальчик лет четырех и испуганно прислушивался.

— Стекла бьют, — проговорил он робко и позвал: — Мама! Мама, я боюсь!

Ему никто не ответил, очевидно, из квартиры все выбежали.

Маргарита откинула штору и влетела в окно.

— Я боюсь, — повторил мальчик и оглянулся.

— Не бойся, не бойся, маленький, — сказала Маргарита, стараясь смягчить осипший на ветру голос, — это мальчишки стекла били.

— Из рогатки? — спросил мальчик.

— Из рогатки, из рогатки, — подтвердила Маргарита, — ты спи, маленький.

— Это Ситник, — сказал мальчик, — у него есть рогатка.

— Конечно, он. Он, наверное!

Мальчик поглядел лукаво куда-то в сторону и спросил:

— А ты где, тетя?

— А меня нету, — ответила Маргарита, — я тебе снюсь.

— Я так и думал, — сказал мальчик.

— Ты ложись, ложись, — приказала Маргарита, — подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться.

— Ну, снись, снись, — согласился мальчик и моментально лег, и руку подложил под щеку.

— Я тебе сказку расскажу, — заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженую голову, — была одна тетя. И у нее не было детей и счастья, вообще, тоже не было, и она тогда стала зла...

Маргарита смолкла, сняла руку — мальчик спал.

Маргарита подошла к окну и выскользнула вон.

Она попала в самую гущу и кутерьму. На асфальтированной площадке перед домом, усеянной битым стеклом, бегали и суетились жильцы. Между ними мелькали милиционеры. Тревожно ударил колокол, и с Арбата въехала в переулок красная пожарная машина с лестни-

цей. Сидящие спинами друг к другу на линейке пожарные были исполнены решимости и хладнокровия.

Но дальнейшая судьба дома уже не интересовала Маргариту.

Прицелившись, чтобы не задеть за провода, она покрепче вцепилась в щетку и во мгновение ока оказалась выше злополучного дома.

Переулок под нею покосился и провалился вниз, вместо одного переулка под ногами у Маргариты возникло скопище крыш, перерезанное под углами сверкающими дорожками. Все это скопище поехало в сторону, цепочки огней смазались и слились.

Маргарита сделала еще один рывок, и тогда скопище крыш провалилось сквозь землю, а вместо него появилось озеро дрожащих электрических огней, и это озеро стало вертикально стеной, а затем появилось над головой у Маргариты, а луна блеснула под ногами. Поняв, что она перекувыркнулась, Маргарита приняла нормальное положение и, обернувшись, увидела, что и озера уже нет, а что сзади нее только розовое зарево на горизонте. И оно исчезло через секунду, и Маргарита увидела, что она наедине с летящей над ее головой луною.

От парикмахерской завивки не осталось ничего, волосы Маргариты взбило копной, и лунный свет со свистом побежал по ее телу.

По тому, как внизу два ряда редких огней слились в две непрерывные огненные черты, по тому, как они вовсе пропали, Маргарита догадалась о том, что она летит со сверхчудовищной скоростью, и поразилась тому, что она не задыхается.

По прошествии нескольких секунд новое озерцо электрического света повалилось под ноги ведьме и сгинуло. Через несколько секунд на земле внизу слева блеснуло еще одно. «Города!» — крикнула Маргарита и не успела ничего разглядеть, как озерцо исчезло.

Огни света вспыхивали то по сторонам, то с боков и уходили в землю. Маргариту вдруг забеспокоило то обстоятельство, что она, собственно, не знает маршрута, летит черт знает куда, но по поведению щетки, уверенно пожирающей пространство, догадалась, что та несет ее правильно по маршруту.

И так она летела в течение минуты примерно. Раза два-три видела тусклые, отсвечивающие какие-то клин-

ки, лежащие в земной черноте, решила, что это реки. Поворачивая голову кверху, любовалась тем, что луна летит над нею как сумасшедшая обратно в Москву и в то же время стоит на месте и отчетливо виден на ней загадочный рисунок: какой-то не то дракон, не то конек-горбунок темный и острой мордой обращенный к покинутой Москве.

Предалась размышлениям о летании и очень осудила аэропланы и под свист разрываемого воздуха беззвучно посмеялась над человеком, который летает в воздухе воровато, норовя пронырнуть повыше и поскорее в воздухе, ежесекундно опасаясь полететь вверх тормашками вместе со своей сомнительной машинкой или вместе с нею же сгореть в высотах, куда его никто решительно не приглашал подниматься.

Такие размышления навели ее на мысль о том, что, по сути дела, она зря исступленно гонит щетку. Что-то подсказывало ей, что там, куда она летит, ее прекрасным образом и подождут и незачем ей терпеть скуку быстрого полета.

Она затормозила щетку, и тотчас все под нею изменилось. Все безличное черное месиво внизу, до сих пор стоявшее как бы неподвижно, теперь поплыло медленно под Маргаритой, в то же время поднимаясь к ней и начиная выдавать свои контуры, детали, тайны. Через несколько мгновений Маргарита была невысоко над землей и убедилась в том, что, как бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима.

Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так, что хвост ее поднялся вверх, и тихо пошла к самой земле. Она как бы скользила на салазках с крутой горы. Когда земля была так близка, что можно было коснуться травы рукою, Маргарита пролетела над росистым лугом и высадилась на плотине, чтобы отдохнуть. Сзади нее показывала свои толстые освещенные бревна мельница, впереди блестел пруд. Слышно было, как у колеса журчит струйка, где-то далеко, волнуя душу, шумел поезд.

С наслаждением разминая ноги, Маргарита походила по широкой песчаной дороге, держа щетку на плече, рассматривая окрестности и прислушиваясь. На холме за прудом виднелся красноватый огонек. Он светился в

каком-то большом доме, темно громоздившемся под луной рядом с лесом. Оттуда доносился негромкий собачий лай, под вербами близ плотины стрекотали лягушки. Маргарите нравилось, что здесь пустынно, ей захотелось погулять, и тут же она сказала сама себе, что летать можно только одним способом — низко и очень медленно, изредка вот так высаживаясь на землю.

Однако щетка вела себя странно. Она была какая-то напряженная, как будто тянула руку вверх, стремилась подняться. Тут беспокойство охватило наездницу. Подумалось о том, что, по сути дела, ей бы следовало не прерывать полета и не прохлаждаться здесь, потому что залетела она неизвестно куда, не зная никакого адреса, находится, по-видимому, ой-ой как далеко от Москвы, легко может опоздать и никуда не поспеть.

Она оседлала щетку, дала ей волю, и та сразу понесла ее над прудом, потом над крышей дома, все больше забирая ходу. Маргарита успокоилась — щетка знала дорогу. Она заботилась только об одном, чтобы щетка не забирала высоко, к луне поближе, и чтобы не струилось под ногами так, что ничего нельзя разобрать, кроме мелькания каких-то пятен.

И щетка, осаживаемая наездницей, несла ее над самыми верхушками сосен, над лугами, над линией какой-то железной дороги, на которой сыпал искрами прилипший как бы к месту гусеница-поезд, над водны— ми зеркалами, в которых показывалась на мгновение луна, над реками и ручьями.

Тяжкий шум вспарываемого воздуха послышался сзади и стал настигать Маргариту. Потом к этому шуму чего-то летящего присоединился слышный на много верст хохот. Маргарита оглянулась и увидела, что ее догоняет темный предмет. Наконец он поравнялся с Маргаритой, уменьшил ход, и Маргарита увидела Наташу. Та была нагая и растрепанная, и тело ее отражало лунные лучи, в руке у Наташи светилось что-то золотое. Наташа летела верхом на толстом борове, в передних копытцах зажимавшем портфель, а задними ожесточенно молотящем воздух. Сбившееся с носа пенсне летело на шнурке рядом с боровом, и шляпа то и дело наезжала ему на глаза. Всмотревшись хорошенько, Маргарита Николаевна узнала в борове Николая Ивановича, и хохот ее загремел над лесом, смешался с хохотом Наташи.

— Наташа! — визгнула Маргарита, — ты кремом намазалась?!

— Душенька! Королева моя! — долетел до Маргариты голос Наташи, — И ему, подлецу, намазала лысину! И ему!

— Королева! — плаксиво проорал боров, галопом неся всадницу.

— Душенька, Маргарита Николаевна! — кричала Наташа, скача рядом с Маргаритой, — намазалась! Ведь и мы жить-летать хотим. Не вернусь, нипочем не вернусь! Ах, хорошо, Маргарита Николаевна! Предложение мне делал! — Наташа тыкала пальцем в шею сконфуженного пыхтящего борова, — предложение! Ты как меня называл, а? А? — кричала она в ухо борову.

— Богиня! — завывал боров. — Не могу я так быстро лететь! Я бумаги могу важные растерять! Наталья Прокофьевна!

— Знаешь, где твоим бумагам место? — дерзко хохоча, кричала Наташа.

— Что вы, Наталья Прокофьевна! Услышит кто-нибудь, — моляще орал боров.

Задыхаясь от наслаждения, Наташа рассказала бессвязно о том, что произошло после того, как Маргарита улетела. Как только Наташа увидела, что хозяйка исчезла, не прикасаясь ни к каким подаренным вещам, сбросила с себя одежду и кинулась к крему и помаде. С нею произошло то же, что и с хозяйкой. В то время как Наташа, хохоча от радости, упиваясь своею красой, стояла перед зеркалом, дверь открылась, и перед Наташей явился Николай Иванович. В руках у него была сорочка Маргариты и собственные шляпа и портфель. Николай Иванович обомлел. Придя в себя, весь красный как рак, он объявил, что счел долгом поднять рубашечку, лично принести...

— Предложение сделал мне! Предложение! — визжала и хохотала Наташа, — клялся, что с Клавдией Акимовной разведется! Что, скажешь, вру? — кричала она борову, и тот сконфуженно отворачивал морду.

Расшалившись, Наташа мазнула кремом Николая Ивановича и оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятачок, руки-ноги превратились в копытца. Глянув в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. Через не-

сколько секунд он, оседланный, летел куда-то к черту над Москвой, рыдая от горя.

— Требую возвращения нормального облика моего, — вдруг не то исступленно, не то моляще прокричал боров и захрюкал от негодования, — не намерен лететь на незаконное сборище! Маргарита Николаевна! Вы обязаны унять вашу домработницу!

— Ах, теперь я тебе домработница? Домработница? — вскричала Наташа, накручивая ухо борову.—А то была богиня? Богиня? Ты как меня звал? А?

— Венера! — плаксиво ответил боров, пролетая над ручьем, шумящим меж камней, копытцами задевая за кусты орешника.

— Венера! Венера! — победно прокричала Наташа, подбоченившись и грозя луне кулаком, в котором было зажато что-то блестящее.

— Маргарита Николаевна, коробки я захватила, берите! Мне не нужно чужого золота!

Она разжала кулак и протянула Маргарите футляр и коробочку.

— Возьми на память себе!

— Спасибо! Спасибо! — отозвалась Наташа и, содрав шляпу с борова, зажала в ней золотые вещи.

Потом, пролетая над вершинами безмолвных сосен, указала свободной рукой на луну и сказала:

— Поторапливайтесь, Маргарита Николаевна! Ждут вас! Мне велено сказать, что вы будете на купанье! Королевой вас сделали! А я — принцесса Венера!

И тут Наташа закричала:

— Эгей! Эгей! Эгей! Ну-ка надбавь!

Она сжала пятками похудевшие в безумной скачке бока борова, и тот рванул так, что опять зашумел воздух, и через мгновение Наташа превратилась в черную точку впереди и пропала, и шум затих.

Маргарита ускорила лет, и вновь заструилась и побежала под нею ночная земля.

Потом щетка сама стала замедлять ход, и Маргарита поняла, что цель близко. Она оглянулась. Щетка несла ее над холмами, усеянными редкими валунами, валяющимися между отдельных громадных сосен. Природа была какая-то незнакомая, и Маргарита подумала о том, что очень далеко от Москвы.

Сосны сдвинулись, но щетка полетела не над верши-

нами, а между стволами, посеребренными светом. Легкая тень ведьмы скользила впереди, луна светила Маргарите в спину.

Почувствовалась близость воды. Опять разошлись сосны, и Маргарита тихо подъехала к обрыву. Внизу была река в тени от холма. Туман висел по берегам, противоположный берег был плоский, низменный. На нем под группой раскидистых деревьев метался огонек от костра, виднелись движущиеся фигурки. Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая музыка. А далее, сколько хватает глаз, на посеребренной равнине не виднелось ни признаков жилья, ни людей.

Маргарита прыгнула с обрыва вниз и вдоль утеса плавно опустилась к воде. Телу ее после воздушной гонки хотелось в воду. Отбросив щетку, она разбежалась и прыгнула. Легкое ее тело вынесло почти до середины неширокой реки. Маргарита перевернулась вниз головой и как стрела вонзилась в воду. Столб воды выбросило почти до самого неба. Сердце Маргариты замерло в тот момент, когда она кидалась в воду. Ей показалось, что ее насмерть сожжет холодная вода. Но вода оказалась теплой, как в ванне, и, вынырнув из бездны, необыкновенное наслаждение испытала Маргарита, ныряя и плавая в одиночестве ночью в реке.

Впрочем, в отдалении изредка слышались всплески и фырканье, там за кустами кто-то купался.

Поплавав, Маргарита выбралась на берег и начала плясать на росистой траве, прислушиваясь к музыке, доносящейся с островка, приглядываясь к непонятным фигурам, мечущимся вокруг пламени костра.

После купания тело ведьмы пылало, усталости не осталось и следа, и мысли в голове проносились пустые, легкие. Тут фырканье объяснилось. Из-за ракитовых кустов вылез какой-то голый толстяк, в черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок. Ступни ног его были в илистой грязи, так что казалось, будто он в ботинках.

Судя по тому, как он отдувался и икал, был он порядочно выпивши. Маргарита прекратила пляску. Толстяк стал вглядываться, потом заорал:

— Ба! ба! ба! Ее ли я вижу. Клодина? Неунывающая вдова! И ты здесь?

И полез здороваться.

Маргарита отступила и с достоинством ответила:

— Пошел ты к чертовой матери. Какая я тебе Клодина? Смотри, с кем разговариваешь! — подумав мгновение, она прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство.

Все это произвело на легкомысленного толстяка отрезвляющее действие.

— Ой! — тихо вскрикнул он и вздрогнул, — простите великодушно, светлая королева Марго! Обознался я! Коньяк, будь он проклят!

Он опустился на одно колено, цилиндр отнес в сторону, сделал поклон и залопотал по-французски какую-то чушь про кровавую свадьбу какого-то своего друга Гессара, про коньяк, про то, что он подавлен грустной ошибкой, объясняющейся единственно тем, что он давно не имел чести видеть изображений королевы...

— Ты бы брюки надел, сукин сын. — сказала, смягчаясь, Маргарита.

Толстяк радостно осклабился, видя, что Маргарита не сердится, и восторженно сообщил, что оказался без брюк в данный момент лишь потому, что оставил их на реке Енисее, где купался перед тем, но что он сейчас же летит туда, благо это рукой подать, и затем, поручив себя расположению и покровительству, начал отступать задом и отступал до тех пор, пока не поскользнулся и не плюхнулся в воду. Но и плюхнувшись, сохранил на окаймленной бакенбардами физиономии улыбку восторга и преданности.

Маргарита же пронзительно свистнула и, вскочив на подлетевшую щетку, перенеслась над водной гладью на островок.

Сюда не достигала тень от горы высокого берега, и весь островок был освещен луною.

Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музыка ударила сильней и веселей взлетел сноп искр от костра. Под вербами, усеянными нежными пушистыми сережками, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь как резиновые, играли бравурный марш на дудочках. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках, и свет их, призрачный и мягкий, смешивался с адским, мечущимся светом от костра.

Марш играли в честь Маргариты. Об этом она сразу догадалась по необыкновенному приему, который оказали ей на островке.

Прозрачные русалки остановили свой хоровод над речкой и замахали Маргарите руками, и застонали над пустынными окрестностями их приветствия. Нагие ведьмы выстроились в ряд и стали кланяться придворными поклонами. Какой-то козлоногий подлетел, припал к руке, раскинул на траве шелк, предложил раскинуться отдохнуть после купания.

Маргарита так и сделала. Прилегла, и на теле ее заиграли отблески огня. Ей поднесли бокал с шампанским, она выпила, и сердце ее радостно вскипело. Она осведомилась о том, где же верная ее Наташа, и получила ответ: Наташа уже выкупалась и полетела на своем борове вперед, чтобы предупредить о том, что Маргарита скоро будет, и приготовить для нее наряд.

Короткое пребывание Маргариты под ивами ознаменовалось еще одним эпизодом. В воздухе раздался свист, и черное тело, явно промахнувшись мимо острова, обрушилось в воду.

Через минуту предстал перед Маргаритой тот самый толстяк-бакенбардист, что так неудачно представился ей на том берегу. Он успел, по-видимому, смотаться на Енисей и обратно, ибо был во фрачном наряде, но мокрый с головы до ног. Коньяк подвел его: высаживаясь, он все-таки попал в реку. Но улыбки своей не утратил и в этом печальном случае и был Маргаритою допущен к руке.

Затем все стали торопиться. И многие улетели с острова. Растаяли в лунном свете призрачные зеленоватые русалки. Козлоногий почтительно осведомился у Маргариты, на чем прилетела госпожа. Узнав, что она явилась верхом на щетке, всплеснул руками и отнес это к нераспорядительности Азазелло и тут же, крикнув кого-то с раздутой харей, возившегося у погасшего костра, велел сию минуту доставить из «Метрополя» «линкольн».

Это было исполнено действительно и точно в одну минуту. И на остров обрушилась буланого цвета открытая машина, на шоферском месте коей сидел черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами.

Островок опустел. В лунном пылании растворились последние точки отлетевших ведьм.

Костер догорал, на глазах угли одевались седою золой.

Бакенбардист и козлоногий распахнули дверцу перед Маргаритой, и она села на широкое заднее сиденье. Машина взвыла, и тотчас остров ухнул вниз, машина понеслась на большой высоте.

Теперь два света светили Маргарите. Льющийся с лунного диска сверху и бледный фиолетовый от приборов в машине, которою сосредоточенно управлял клеенчатый грач.

ПРИ СВЕЧАХ

Ровное гудение машины убаюкивало Маргариту, лунный свет приятно согревал. Закрыв глаза, она отдала лицо ветру и думала с какою-то грустью о покинутом ею неизвестном островке на далекой реке. Она прекрасно догадывалась, куда именно в гости ее везут; и это волновало ее. Ей хотелось вернуться на этот обрыв над рекой.

Долго ей мечтать не пришлось. Грач отлично знал свое дело, и метрополевская машина была хороша. Внезапно Маргарита открыла глаза и увидела, что под нею пылает электрическим светом Москва.

Однако шофер не повез ее в город, а поступил иначе. На лету он отвинтил правое переднее колесо, а затем снизился на каком-то кладбище в районе Дорогомилова. Высадив покорную и ни о чем не спрашивающую Маргариту вместе с ее щеткой на какой-то дорожке, грач почтительно раскланялся, сел на колесо верхом и улетел.

Маргарита оглянулась, и тотчас от одного из надгробных памятников отделилась черная фигура. Азазелло нетрудно было узнать, хотя он был закутан в черный плащ и черная же шляпа его была надвинута на самые брови. Выдавал его в лунном свете его поразительный клык.

Безмолвно Азазелло указал Маргарите на щетку, сам сел верхом на длиннейшую рапиру. Они взвились и, никем не замеченные, через несколько секунд высаживалась у ворот дома № 302-бис на Садовой улице.

Когда проходили подворотню, Маргарита увидела томящегося в ней человека в кепке, толстовке и высоких сапогах. Услыхав шаги, человек обеспокоенно дернулся, но ничего не увидел, а Азазелло покосился на него из-под шляпы почему-то иронически.

Второго, до удивительности похожего на первого, человека встретили у подъезда во дворе. И опять повторилась та же сцена. Шаги, человек беспокойно обернулся, нахмурился, когда дверь открылась и закрылась за входящими.

Третий, точная копия второго, а стало быть, и первого, дежурил на скамейке, украшавшей площадку третьего этажа. Он курил, и Маргарита невольно кашлянула, пройдя мимо него. Третий тотчас поднялся, как будто его кольнули, на цыпочках подошел к перилам, глянул вниз.

Сердце Маргариты учащенно забилось, когда она и спутник ее оказались перед скромной дверью с дощечкой «Квартира № 50». Теперь, конечно, Маргарита понимала, что никакой пошлый вечерок с радиолой, играющей фокстроты и блюзы, ей не угрожает. Маргарита знала, что ее ожидает нечто необыкновенное, и силилась это нечто себе представить. Но представить не могла.

Первое, что поразило Маргариту, это та тьма, в которую она попала. Было темно, как в подземелье, так что она невольно уцепилась за плащ Азазелло, опасаясь споткнуться. Издалека, впрочем, маячил огонек, слабый, похожий на огонек лампады.

Второе, что удивило ее, это что передней обыкновенной московской квартиры конца нет и не чувствуется. Третье, что под ногами у нее ступеньки, покрытые, как чувствовали ее босые ноги, очень толстым ковром, и что по этим ступеням она бесконечно поднимается вверх.

Еще сбоку мелькнул и уплыл огонь лампады. Азазелло на ходу вынул у Маргариты из рук щетку и как будто провалился. Наконец подъем кончился, и Маргарита ощутила себя находящейся на площадке. Тут приплыла в воздухе лампада в чьей-то невидимой руке и, как казалось Маргарите, из-за колонны черной как уголь вышел некто. Рука поднесла к нему лампаду поближе, и Маргарита увидела тощего высокого мужчину. Те, кому он уже попался на дороге в эти дни, конечно, всмотревшись даже при слабом и неверном освещении, которое давал язычок пламени в лампаде, узнали бы его. Это был Коровьев, он же Фагот.

Но, правда, изменился он очень сильно. Не было на нем ни пенсне, которое давно следовало бы выбросить

на помойку, ни клетчатых брючек, ни грязных носков. Усишек куриных не стало. Усы Коровьева были подстрижены коротко.

Пламя мигало и освещало белую крахмальную грудь и галстук, отразилось внизу в лакированных туфлях, отразилось в широком и тонком стекле монокля, всаженного в правый глаз.

Коровьев почтительнейше раскланялся и жестом пригласил Маргариту следовать далее.

«Удивительно странный вечер, — думала Маргарита, — электричество, что ли, у них потухло? Но самое главное, что поражает, это размеры этого помещения. Каким образом все это может поместиться в московской квартире? То есть просто-напросто не может никак!»

Следуя за Коровьевым, Маргарита попала в совершенно необъятный зал. Здесь на золоченой тумбе горела одинокая свеча. Коровьев пригласил жестом Маргариту сесть на диванчик и сам поместился на краю его.

— Разрешите мне представиться вам теперь, — заговорил он, — Коровьев. Вас, без сомнения, удивляет отсутствие света? Но не думайте, чтобы мы из экономии не зажигали ламп.

Просто мессир не любит электрического света. Когда же начнется бал, свет дадут сразу, и недостатка в нем не будет, уверяю вас.

Несколько скрипучий голос Коровьева действовал успокоительно на Маргариту. А папироса, предложенная Коровьевым, окончательно утихомирила ее нервы, и, осмелев, она сказала:

— Нет, более всего меня поражает, где все это помещается? — она повела рукой, подчеркивая этим необъятность зала.

Коровьев вежливо усмехнулся, и тени от свечи шевельнулись в складках у носа. — О, это самое несложное из всего, — снисходительно сказал он, — тем, кто изучил пятое измерение, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов.

Профиль Коровьева осветился, он закурил от свечи, окружаясь дымом, уплывавшим во тьму.

— Я, впрочем, — продолжал Коровьев, — знал людей, не имевших никакого представления не только о пятом измерении, но даже и о четвертом и, тем не ме-

нее, проделавших чудеса в смысле расширения помещения. Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном Валу, превратил ее в четырехкомнатную, поселив домработницу в кухне возле газовой плиты. Затем он обменял эту квартиру на две отдельных в разных районах — одну в две, другую в три комнаты. Их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем шести комнат, правда, рассеянных в причудливом беспорядке по всей Москве. Он уже собирался сделать последний и самый блестящий вольт, именно поместить объявление в газете: «Меняю шесть комнат в разных районах Москвы на одну шестикомнатнуто квартиру желательно на Земляном Валу», как его деятельность прекратилась, и он остался без единой комнаты.

— Ну, это другое дело, — возразила Маргарита, которую болтовня Коровьева забавляла и успокаивала.

— О! Уверяю вас, то, что проделал этот проныра сложнее, чем это... — и Коровьев указал в темную даль, где черт знает где возвышались темные колонны.

Докурили, и Коровьев поднес Маргарите пепельницу.

— Итак, позвольте перейти к делу, — заговорил Коровьев серьезно, — до начала бала у нас полчаса. Вы, Маргарита Николаевна, женщина весьма умная и, конечно, уже догадались, кто наш хозяин.

Маргарита опять ощутила свое сердце и только молча кивнула головой.

— Ну, вот и прекрасно. Так позвольте же вас поставить в курс дела, — продолжал Коровьев, опуская веки и из-под них наблюдая Маргариту, — без всяких недомолвок. Ежегодно Воланд дает один бал, малых приемов я не считаю. Этот бал называется весенним балом полнолуния, и на него съезжаются... Ну, словом, очень большое количество народу. Хозяин мой холост, и установилась традиция, согласно которой хозяйкой на балу должна быть женщина по имени Маргарита...

Под сердцем Маргариты стало холодно.

— Мы путешествуем, — продолжал Коровьев, — но бал должен быть, где бы мы ни находились, а женщина должна быть жительницей местной. В Москве мы обнаружили девяносто шесть Маргарит, и только одна из них, а именно вы, были признаны вполне достойной

исполнить роль хозяйки. Я надеюсь, что вы не откажетесь взять на себя это?

— Нет, не откажусь, — твердо сказала Маргарита.

Коровьев просиял, встал, почтительно поклонился, показав как по шнуру ровный пробор, и пригласил Маргариту идти с ним.

— Я представлю вас ему сейчас, — говорил Коровьев, ведя под руку Маргариту в тьму, — вы позволите мне... несколько наставлений... — шепот Коровьева слышался у самого уха Маргариты, — ничего лишнего в смысле вопросов... вы не сердитесь на меня, Маргарита Николаевна, мы прекрасно знаем, что вы воспитаны... но условия уж очень необычны...

Голос Коровьева был мягок и вкрадчив, но в нем слышались не советы, а, скорее, категорическое приказание, настойчивые внушения...

Во тьме сильно пахло лимонами, что-то задело Маргариту по голове, она вздрогнула...

— Не пугайтесь, это листья растений, — шептал ласково Коровьев и стал продолжать наставления.

— На балу будут лица, объем власти которых в свое время, да и теперь еще был очень, очень велик... Я говорю о лицах королевской крови, которые будут здесь... но по сравнению с возможностями хозяина бала, в свите которого я имею честь состоять, их возможности, я бы сказал, микроскопически малы... Следует учесть масштаб, Маргарита Николаевна... И подчиняться этикету... Повторяю: только ответы на вопросы, и притом абсолютно правдивые!

Глаза Маргариты, привыкающие к тьме, теперь различали смутный переплет ветвей и широких листьев над собою и вокруг себя, уши Маргариты не проронили ничего из того, что говорил Коровьев.

А тот шептал и шептал, увлекая Маргариту все дальше и дальше... «Нет, нет этого гражданину с Земляного Вала не сделать, — думала Маргарита. — Где же конец?»

— Почтительность... но не бояться... ничего не бояться... Вы сами королевской крови, — чуть слышно свистел Коровьев...

— Почему королевской крови? — испуганно шепнула Маргарита.

— Если разрешите... потом... это долго, — голос Коровьева становился все тише, — тут вопрос переселения

душ... В шестнадцатом веке вы были королевой французской... Воспользуюсь случаем принести вам сожаления о том, что знаменитая свадьба ваша ознаменовалась столь великим кровопролитием...

Тут Коровьев прервал сам себя и сказал:

— Королева, мы пришли.

Впереди блеснул свет. Он выходил из широкой щели наполовину открытой тяжелой окованной двери. Из-за двери слышались голоса...

— Одну минуту прошу обождать, королева, — тихо сказал Коровьев и ушел в дверь... От стены отлепилась тотчас темная фигура и преградила путь Маргарите. Когда она мелькнула в освещенной полосе, Маргарита разобрала только одно, что это мужчина с белой грудью, то есть тоже во фраке, как и Коровьев, что он худ, как лезвие ножа, черен, как черный гроб, необыкновенно траурен.

Отделившийся всмотрелся в Маргариту странными, пустыми глазами, но тотчас отступил почтительно и шепнул глухо:

— Одну минуту! — и слился опять со стеной.

Тотчас вышел Коровьев и заулыбался в широкой полосе уже настежь открытой двери.

— Мессир извиняется, что примет вас без церемонии в спальне, — медово говорил Коровьев и тихо, тихо добавил: — Подождите, пока он заговорит с вами сам... — (затем) громко: — Мессир кончает шахматную партию...

Маргарита вошла, неслышно стуча зубами. Ее бил озноб.

В небольшой комнате стояла широкая дубовая кровать со смятыми и скомканными грязными простынями и подушками. Перед кроватью дубовый же на резных ножках стол с шахматной доской и фигурками. Скамеечка у постели на коврике. В тускло поблескивающем канделябре, в гнездах его в виде птичьих лап, горели, оплывая, толстые восковые свечи.

Другой канделябр, в котором свечи были вложены в раскрытые пасти золотых змеиных голов, горел на столике под тяжелой занавеской. Тени играли на стенах, перекрещивались на полу. В комнате пахло серой и смолой.

Среди присутствующих Маргарита узнала одного знакомого — это был Азазелло, так же, как и Коровьев,

уже одетый во фрак и стоящий у спинки кровати. Увидев Маргариту, он поклонился ей, показав в улыбке клыки.

Нагая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфетчика Варьете, сидела на коврике на полу у кровати, возясь с каким-то месивом в кастрюльке, из которой валил серный пар.

Кроме этих был еще в комнате, сидящий спиной к Маргарите, громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня.

Гелла приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот. Он шаркнул лапой и уронил коня и полез под кровать его искать.

Замирая от страху, все это Маргарита разглядела в колышущихся тенях кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой, что было несомненно, сидел Воланд.

Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый, с золотою искрой на дне, сверлящий до дна души, и левый, пустой и черный, вроде как вход, узкое игольное ухо в царство теней и тьмы.

Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол оттянут книзу, брови черные острые на разной высоте, высокий облысевший лоб изрезан морщинами параллельными бровям, кожа лица темная, как будто сожженная загаром.

Воланд сидел, раскинувшись на постели в одной ночной рубашке, грязной и на плече заштопанной. Одну ногу он поджал под себя, другую вытянул. Колено этой темной ноги и натирала какой-то дымящейся мазью Гелла.

Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди темного камня искусно вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке.

Несколько секунд продолжалось молчание. «Он экзаменует меня...» — подумала Маргарита и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах.

Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись, отчего глаз его как бы вспыхнул.

— Приветствую вас, светлая королева, и прошу меня извинить.

Голос Воланда был так низок, что на некоторых слогах давал оттяжку в хрип.

Он взял с простыни длинную шпагу, погремел ею под кроватью и сказал:

— Вылезай. Партия отменяется... Прибыла дорогая гостья.

— Ни в каком слу... — тревожно свистнул суфлерски над ухом Коровьев.

— Ни в каком случае... — сказала Маргарита.

— Мессир! Мессир! — дохнул Коровьев в ухо.

— Ни в каком случае, мессир! —— ясным, но тихим голосом ответила Маргарита и, улыбнувшись, добавила: — Я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы бешеные деньги заплатили бы за то, чтобы ее напечатать у себя.

Азазелло тихо, но восторженно крякнул.

Воланд поглядел внимательно на Маргариту и затем сказал как бы про себя:

— Кровь! Кровь всегда скажется...

Он протянул руку, Маргарита подошла. Тогда Воланд наложил ей горячую как огонь руку на плечо, дернул Маргариту к себе и с размаху посадил на кровать рядом с собой.

— Если вы так очаровательно любезны, — заговорил он, — а я другого ничего и не ожидал, так будем же без церемонии. Простота наш девиз! Простота!

— Великий девиз, мессир, — чувствуя себя просто и спокойно, ничуть не дрожа больше, ответила Маргарита.

— Именно, — подтвердил Воланд и закричал, наклоняясь к краю кровати и шевеля шпагой под нею: — Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный Ганс!

— Коня не могу найти, — задушенным и фальшивым голосом отозвался из-под кровати кот, — вместо него какая-то лягушка попадается.

— Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? — притворяясь суровым, спрашивал Воланд. — Никакой лягушки не было под кроватью! Оставь эти дешевые фокусы для Варьете! Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался.

— Ни за что, мессир! — заорал кот и в ту же секунду вылез из-под кровати, держа коня в лапе.

— Рекомендую вам... — начал было Воланд и сам себя перебил, делая опять-таки вид, что возмущен. — Нет, я видеть не могу этого шута горохового!

Стоящий на задних лапах кот, выпачканный в пыли, раскланивался перед Маргаритой.

Все присутствующие заулыбались, а Гелла засмеялась, продолжая растирать колено Воланда.

На шее у кота был надет белый фрачный галстук бантиком, а на груди висел на ремешке перламутровый дамский бинокль. Кроме того, усы кота были вызолочены.

— Ну что это такое! — восклицал Воланд. — Зачем ты позолотил усы и на кой черт тебе галстук, если на тебе нет штанов?

— Штаны коту не полагаются, мессир, — с большим достоинством отвечал кот, — уж не скажете ли вы, чтобы я надел и сапоги? Но видели ли вы когда-либо кого-нибудь на балу без галстука? Я не намерен быть в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею. Каждый украшает себя чем может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир!

— Но усы?!

— Не понимаю, — сухо возражал кот, — почему, бреясь сегодня, Азазелло и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой и чем она лучше золотой? Я напудрил усы, вот и все! Другой разговор, если бы я побрился! Тут я понимаю. Бритый кот — это безобразие, тысячу раз подтверждаю это. Но вообще, — тут голос кота дрогнул, — по тем придиркам, которые применяют ко мне, я вижу, что передо мною стоит серьезная проблема — быть ли мне вообще на балу? Что скажете вы мне на это, мессир? А?

И кот от обиды так раздулся, что, казалось, он лопнет сию секунду.

— Ах, мошенник, мошенник, — качая головою, говорил Воланд, — каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, как самый последний шарлатан на мосту, оттягивая момент поражения. Садись и прекрати эту словесную пачкотню!

— Я сяду, — ответил кот, садясь, — но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволили выразиться, а великолепную вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Мартиан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель!

— Прекрати словесную окрошку, повторяю, — сказал Воланд, — шах королю!

— Пожалуйста, пожалуйста, — отозвался кот и стал в бинокль смотреть на доску.

— Итак, — обратился к Маргарите Воланд, — рекомендую вам, госпожа, мою свиту. Этот, валяющий дурака с биноклем, кот Бегемот. С Азазелло вы уже знакомы, с Коровьевым также. Мой первый церемониймейстер. Ну, «Коровьев» — это не что иное, как псевдоним, вы сами понимаете. Горничную мою Геллу весьма рекомендую. Расторопна, понятлива. Нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать...

Красавица Гелла улыбалась, обратив к Маргарите свои зеленые глаза, зачерпывала пригоршней мазь, накладывала на колено.

— Кроме того, — продолжал Воланд, и в комнату неслышно вскользнул тот траурный, что преградил было Маргарите путь в спальню, — Абадонна. Командир моих телохранителей, заместителем его является Азазелло. Глаза его, как видите, в темных очках. Приходится ему их надевать потому, что большинство людей не выдерживает его взгляда.

— Я знаком с королевой, — каким-то пустым бескрасочным голосом, как будто простучал, отозвался Абадонна, — правда, при весьма прискорбных обстоятельствах. Я был в Париже в кровавую ночь 1572-го года.

Абадонна устремил черные пятна, заменяющие ему глаза, на Маргариту, и той показалось, что в спальне потянуло сыростью.

— Ну вот и все, — говорил Воланд, морщась, когда Гелла особенно сильно сжимала колено, — общество, как изволите видеть, небольшое, смешанное и бесхитростное. Прошу любить и жаловать...

Он замолчал и стал поворачивать перед собою какой-то диковинный глобус на ножке. Глобус, представляющий точную копию земного шара, сделанную столь искусно, что синие океаны на нем шевелились и шапка на полюсе лежала, как настоящая ледяная и снежная.

На доске тем временем происходило смятение, и Маргарита с любопытством наблюдала за живыми шахматными фигурками.

Совершенно расстроенный и испуганный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая

руки... Три белые пешки, ландскнехты с алебардами, растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, сидели черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки, конях.

Кот отставил от глаз бинокль и тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот, одною рукою придерживая зубчатую корону, а другою поднимая полу мантии, в ужасе оглядываясь, перебрался с черной на соседнюю белую клетку.

Воланд, не спуская глаз с глобуса, коснулся черной шеи одного из коней. Всадник поднял лошадь на дыбы, перескочил через клетку, взмахнул мечом, и белый ландскнехт упал.

— Шах, — сказал Воланд.

Маргарита, увлеченная живыми фигурками, видела, как белый король в отчаянии закрыл лицо руками.

— Дельце плоховато, дорогой Бегемот, — сказал Коровьев.

— Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное, — отозвался Бегемот, — больше того: я вполне уверен в победе. Стоит хорошенько проанализировать положение.

Анализ положения он начал проводить довольно странным способом, именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать белому своему королю.

— Ничего не помогает, — ядовито заметил Коровьев.

— Ай! — вскричал Бегемот, — попугаи разлетелись, что я и предсказывал! — Действительно, где-то в отдалении послышался шорох и шум крыльев. Коровьев и Азазелло бросились вон.

— А черт вас возьми с вашими бальными затеями! — буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса.

Лишь только Коровьев и Азазелло скрылись, мигание Бегемота приняло усиленные размеры. Король вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски и скрылся в толпе убитых фигур. Слон-офицер накинул на себя королевскую мантию и занял место короля.

Коровьев и Азазелло вернулись.

— Враки, как и всегда, — бурчал Азазелло.

— Мне послышалось, — сказал кот, — и прошу мне не мешать, я думаю.

— Шах королю! — сказал Воланд.

— Я, вероятно, ослышался, мой мэтр, — сказал кот, глядя в бинокль на переодетого офицера, — шаха королю нет и быть не может.

— Повторяю: шах королю!

— Мессир! Молю вас обратить внимание на себя, — сказал в тревоге кот, — вы переутомились: нет шаха королю.

— Король на клетке g2, — сказал Воланд.

— Мессир! Я в ужасе! — завыл кот, изображая ужас на морде, — вас ли слышу я? Можно подумать, что перед собой я вижу одного из сапожников-гроссмейстеров!

— Что такое? — в недоумении спросил Воланд, обращаясь к доске, где офицер стыдливо отворачивался, прикрывая лицо мантией.

— Ах ты, подлец, — задумчиво сказал Воланд.

— Мессир! Опять обращаюсь к логике, — заговорил кот, прижимая лапы к груди, — если игрок объявляет шах королю, а короля, между тем, нету и в помине, шах признается недействительным?

— Ты сдаешься или нет! — вскричал страдальчески Воланд.

— Разрешите подумать, — ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать.

Думал он долго и наконец сказал:

— Сдаюсь.

— Убить упрямую сволочь! — шепнул Азазелло.

— Да сдаюсь, — сказал кот, — но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников.

Он встал, и фигурки полезли в ящик.

— Гелла, пора, — сказал Коровьев.

Гелла удалилась.

— Охота пуще неволи, — говорил Воланд, — нога разболелась, а тут этот бал.

— Позвольте мне, — тихо шепнула Маргарита.

Воланд пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено.

Горячая как огонь жижа обжигала руки, но Маргарита не морщась, стараясь не причинить боли, ловко массировала колено.

— Близкие говорят, что это ревматизм, — рассказывал Воланд, — но я сильно подозреваю, что эта боль в

колене оставлена мне на память одною очаровательнейшей ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокенских горах на Чертовой Кафедре.

— Какая негодяйка! — возмутилась Маргарита.

— Вздор! Лет через триста это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я придерживаюсь бабушкиных средств по старинке, не любя современных патентованных лекарств... Кстати: не страдаете ли вы чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу. — спрашивал Воланд, глядя на огни свечей, — тоска? Я бы помог вам... Поразительные травы оставила в наследство поганая старуха бабушка...

— Я никогда не чувствовала себя так хорошо, как у вас, мессир, — тихо, отвечала умная Маргарита, — а предчувствие бала меня волнует...

— Кровь, кровь... — тихо сказал Воланд.

После молчания он заговорил опять:

— Я вижу, вас интересует мой глобус

— О, да.

— Очень хорошая вещь. Она заменяет мне радио. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, говорящие в нос и перевирающие названия мест. Кроме того, каждая третья из них косноязычна, как будто таких нарочно подбирают. Если же к этому прибавить, что они считают обязательным для себя о радостных событиях сообщать мрачным до ужаса тоном, а о печальных, наоборот, игриво, можно считать эти их голоса в помещении по меньшей мере лишними.

А при помощи моего глобуса можно в любой момент знать, что происходит в какой хотите точке земного шара. Вот например... — Воланд нажал ножку шара и тот медленно повернулся... — видите этот зеленый кусок, квадратный кусок, бок которого моет океан? Глядите... глядите... вот он наливается огнем, как будто светится изнутри. Там началась война. А если вы приблизите глаза и начнете всматриваться, то увидите и детали...

Маргарита, горя от любопытства, наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, распался многокрасочно и превратился в рельефную карту. Она увидела горы, ленточку реки и какое-то селение возле нее. Маленькие с горошину домики взбухали, и

один из них разросся до размеров спичечной коробки. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыму, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки дымящихся кирпичей. Маргариту заинтересовало поведение какой-то малюсенькой фигурочки в полсантиметра вышиной, которая перед взрывом промчалась перед домиком, а теперь оказалась горизонтальной и неподвижной. Она сосредоточила свой взор на ней и, когда та разрослась, увидела, как в стереоскопе, маленькую женщину, лежащую на земле, разметав руки, а возле нее в луже крови ребенка, уткнувшегося в землю.

— Вот и все, — сказал Воланд и повернул глобус, — Абадонна только сегодня оттуда. По традиции он лично сам несет службу при мне во время весеннего бала, а поэтому и приехал. Но завтра же он опять будет там. Он любит быть там, где война.

— Не желала бы я быть на той стороне, против которой он, — сказала Маргарита, догадываясь об обязанностях Абадонны на войне. — На чьей он стороне?

— Чем дальше говорю с вами, — любезно отозвался Воланд, — тем более убеждаюсь в том, что вы очень умны. Он удивительно беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результат для обеих сторон бывает одинаков.

Воланд вернул глобус в прежнее положение и подтолкнул голову Маргариты к нему. Мгновенно разросся квадратик земли. Вот уже вспыхнула в солнце какая-то дымящаяся желтая равнина, и в этом дыму Маргарита разглядела лежащего неподвижно человека в одежде, потерявшей свой цвет от земли и крови. Винтовка лежала шагах в двух от него. Равнина съежилась, ушла, перед глазами у Маргариты проплыл голубой качающийся океан.

— Вот и он, легок на помине, — весело сказал Воланд, и Маргарита, увидев черные пятна, тихо вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда.

— Да ну вас! — крикнул тот, — какая нервность у современных людей! — Воланд с размаху шлепнул Маргариту по спине, — ведь видите же, что он в очках! Я же говорю вам... И кроме того, имейте в виду, что не было случая с того времени, как основалась земля, чтобы Абадонна появился где-нибудь преждевременно или не

вовремя. Ну и, наконец, я же здесь... Вы у меня в гостях!..

— А можно, чтобы он на минутку снял очки, — спросила Маргарита, прижимаясь к Воланду и вздрагивая, но уже от любопытства.

— А вот этого нельзя, — очень серьезно ответил Воланд, — и вообще забыть все это сразу и глобус... и очки... Раз! Два! Три! Что хочешь сказать нам, ангел бездны?

— Я напугал, прошу извинить, — глухо сказал Абадонна, — тут, мессир, есть один вопрос. Двое посторонних... девушка, которая хнычет и умоляет, чтобы ее оставили при госпоже... и кроме того, с нею боров...

— Наташа! — радостно воскликнула Маргарита.

— Оставить при госпоже не может быть и разговоров. Борова на кухню!

— Зарезать? — визгнула Маргарита, — помилуйте, мессир, — это Николай Иванович!.. Тут недоразумение... Видите ли, она мазнула его...

— Да помилуйте! — воскликнул Воланд, — на кой черт и кто его станет резать? Кто возьмет хоть кусок его в рот! Посидит с поварами и этим, как его, Варенухой, только и всего. Не могу же я его пустить на бал, согласитесь!

— Да уж, — добавил Абадонна и, покачав головой, сказал: — Мессир, полночь через десять минут.

— А! — Воланд обратился к Маргарите: — Ну-с, не теряйте времени. И сами не теряйтесь. Ничего не бойтесь. Коровьев будет при вас безотлучно. Ничего не пейте кроме воды, а то разомлеете. Вам будет трудно. Пора!

Маргарита вскочила, и в дверях возник Коровьев.

ВЕЛИКИЙ БАЛ У САТАНЫ

Пришлось торопиться. В одевании Маргариты принимали участие Гелла, Наташа, Коровьев и Бегемот. Маргарита волновалась, голова у нее кружилась, и она неясно видела окружающее. Понимала она только, что в освещенной свечами ванной комнате, где ее готовили к балу, не то черного стекла, не то какого-то дымчатово камня ванна, вделанная в пол, выложенный самоцветами, и что в ванной стоит одуряющий запах цветов.

Гелла командовала, исполняла ее команды Наташа.

Начали с того, что Наташа, не спускающая с Маргариты влюбленных, горящих глаз, пустила из душа горячую густую красную струю. Когда эта струя ударила и окутала Маргариту, как мантией, королева ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Кровавая струя сменилась густой, прозрачной розоватой, и голова пошла кругом у королевы от одуряющего запаха розового масла. После крови и масла тело у Маргариты стало розоватым, блестящим, и еще до большего блеска ее натирали раскрасневшиеся мохнатыми полотенцами. Особенно усердствовал кот с мохнатым полотенцем в руке. Он уселся на корточки и натирал ступни Маргариты с таким видом, как будто чистил сапоги на улице.

Пугая Маргариту, над нею вспыхнули щипцы, и в несколько секунд ее волосы легли покорно.

Наташа припала к ногам и, пока Маргарита тянула из чашечки густой, как сироп, кофе, надела ей на обе ноги туфли, сшитые тут же кем-то из лепестков бледной розы. Туфли эти как-то сами собою застегнулись золотыми пряжками.

Коровьев нервничал, сквозь зубы подгонял Геллу и Наташу: «Пора... Дальше, дальше». Подали черные по локоть перчатки, поспорили (кот орал: «Розовые! Или я не отвечаю ни за что!»), черные отбросили и надели темно-фиолетовые. Еще мгновение — и на лбу у Маргариты на тонкой нити засверкали бриллиантовые капли.

Тогда Коровьев вынул из кармана фрака тяжелое в овальной раме и в алмазах изображение черного пуделя и собственноручно повесил его на шею Маргарите. Украшение чрезвычайно обременило Маргариту. Цепь натирала шею, пудель тянул согнуться.

— Ничего, ничего не поделаешь... надо, надо, надо... — бормотал Коровьев, и во мгновение ока и сам оказался в такой же цепи. Задержка вышла на минутку примерно и все из-за борова Николая Ивановича. Ворвался в ванную какой-то поваренок-мулат, а за ним сделал попытку прорваться и Николай Иванович. При этом прорезала цветочный запах весьма ощутительная струя спирта и луку. Николай Иванович почему-то оказался в одном белье. Но его ликвидировали быстро, разъяснив дело. Он требовал пропуска на бал, отчего и совлек с себя одежду в намерении получить фрак. Ко-

ровьев мигнул кому-то, мелькнули какие-то чернокожие лица, что-то возмущенно кричала Наташа, словом, борова убрали.

В последний раз глянула на себя в зеркало нагая Маргарита, в то время как Гелла и Наташа, высоко подняв канделябры, освещали ее.

— Готово! — воскликнул Коровьев удовлетворенно, но кот все же потребовал еще одного последнего осмотра и обежал вокруг Маргариты, глядя на нее в бинокль.

В это время Коровьев, склонившись к уху, шептал последние наставления:

— Трудно, будет трудно... Но не унывать! И главное полюбить... Среди гостей будут различные, но никакого никому преимущества... Ни, ни, ни! Если кто-нибудь не понравится, но только, конечно, нельзя подумать об этом... Заметит, заметит в то же мгновение! Но необходимо изгнать эту мысль и заменить ее другою — что вот этот-то и нравится больше всех... Сторицей будет вознаграждена хозяйка бала! Никого не пропустить... Никого! Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть поворот головы! Невнимание не прощает никто! Это главное... Да еще... — Коровьев шепнул, — языки, — дунул Маргарите в лоб, — ну, пора!

И из ванной Коровьев, Маргарита и Бегемот выбежали в темноту.

—Я! Я!— шептал кот, — я дам сигнал. — Давай! — послышался в темноте голос Коровьева.

— Бал! — пронзительно взвизгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и закрыла на секунду глаза. Коровьев подхватил ее под руку.

На Маргариту упал поток света и вместе с ним — звука, а вместе — и запаха. Испытывая кружение головы, уносимая под руку Коровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые, зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы и оглушительно трещали: «аншанте!»... Банная духота сменилась тотчас прохладой необъятного бального зала, окаймленного колоннами из какого-то желтоватого искрящегося самоцвета. Зал был пуст совершенно, и лишь у колонн стояли неподвижно в серебряных тюрбанах голые негры. Лица их от волнения стали грязно-бурыми, когда в зале показалась Маргарита со свитой, в которую тут включился и Азазелло.

Тут Коровьев выпустил руку Маргариты, шепнул: «Прямо на тюльпаны...» Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках и перед ними белые груди и черные плечи фрачников. Оглушительный рев труб придавил Маргариту, а вырвавшийся из-под этого рева змеиный взмыв скрипок потек по ее телу. Оркестр человек в полтораста играл полонез. Человек во фраке, стоявший выше всего оркестра, увидев Маргариту, побледнел, и заулыбался, и вдруг рывком поднял весь оркестр. Ни на мгновение не прерывая музыки, оркестр стоя окатывал Маргариту как волнами.

Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко разбросив руки, и Маргарита, улыбаясь, потрясла рукой.

— Нет, мало, мало, — зашептал Коровьев, — что вы, он не будет спать всю ночь! Крикните ему что-нибудь приятное! Например: «Приветствую вас, король вальсов!» Маргарита крикнула и подивилась, что голос ее, полный как колокол, был услышан сквозь вой оркестра.

Человек от счастья вздрогнул, руку прижал к крахмальной груди.

— Мало, мало, — шептал Коровьев, глядите на первые скрипки и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали отдельно... Так, так... Вьетан за первым пультом! Рядом с ним Шпор, Массар, Оль-Булль! Крейцер, Виотти, вот хорошо! Дальше! Дальше! Спешите!

— Кто дирижер? — на лету спросила Маргарита.

— Иоганн Штраус! — ответил кот, — и пусть меня повесят сегодня вечером, если где-нибудь еще есть такой оркестр. А приглашал я!

В следующем зале не было видно колонн. Их закрывала стена из роз, красных, как венозная кровь, розовых, молочно-белых, возникшая по левую руку, а по правую — стена японских махровых камелий.

Между стенами уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых первый был прозрачный фиолетовый, второй — рубиново-красный, третий — хрустальный.

В этом зале метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наливая из бассейнов опаловые чаши.

Хрустальные столики были завалены зернами жареного миндаля.

В розовой стене был пролом, и там на эстраде метался человек во фраке с ласточкиным хвостом. Перед ним гремел, квакал, трещал джаз. Музыканты в красных куртках остервенело вскочили при появлении Маргариты и ударили сумасшедшую дробь ногами. Дирижер их согнулся вдвое, так что руками коснулся эстрады, затем выпрямился и, наливаясь кровью, пронзительно прокричал:

— Аллилуйя!

После чего музыканты ударили сильнее, а дирижер хлопнул себя по коленам раз, потом — два, потом сорвал тарелку у крайнего музыканта, ударил ею по колонне. В спину тек страшной мощной рекой под ударами бесчисленных смычков полонез, а этот джаз уже врезался в него сбоку, и в ушах бурлила какофония.

— Кивок и дальше! — крикнул Коровьев.

Откуда-то грянули развязные гармоники и «светит месяцем» залихватским страшным залили джаз.

Улетая, Маргарита, оглянувшись, видела только, что виртуоз джазбандист, борясь с полонезом и «светит месяцем», бьет по головам тарелкой джазбандистов и те, приседая в комическом ужасе, дуют в свои дудки.

Вылетели, наконец, на площадку и остановились. Маргарита увидела себя над лестницей, крытой красным ковром. Внизу она видела, как бы держа перед глазами бинокль обратным способом, швейцарскую темного дуба с двумя каминами: маленьким, в котором был огонь, и громадным, в темную холодную пасть которого мог легко въехать пятитонный грузовик. Раззолоченная прислуга строем человек в тридцать стояла лицом к холодному отверстию, не спуская с него глаз. Лестница пылала белым заревом, потому что на стене по счету ступенек висели налитые электрическим светом виноградные гроздья.

Маргарита чувствовала, что ее глушит новая какая-то музыка, но уже не пропавший где-то в тылу «светит месяц», а другая — медная, мощная.

Маргариту устанавливали на место. Под рукой левой у нее оказалась срезанная аметистовая колонка.

— Руку можно положить будет, если очень станет трудно, — шептал Коровьев.

Кто-то чернокожий, нырнув под ноги, подложил мягкую скамеечку, и на нее Маргарита, повинуясь

чьим-то рукам, поставила правую ногу, немного согнув ее в колене.

Кто-то поправил сзади волосы на затылке. Маргарита, встав, огляделась. Коровьев и Азазелло стояли возле нее в парадных позах, в одной линии с ними выстроились два молодых человека, смутно чем-то напоминавших Абадонну, тоже с затененными глазами. Сзади били и шипели струи; покосившись, Маргарита увидела, что и там шампанский буфет. Из бледно-розовой стены шампанское лилось по трем трубкам в ледяной бассейн. Шеренга негров уже стояла с подносами с плоскими, широкими, покрытыми инеем чашами. Двое держали на подносах горки миндалю.

Музыка обрушивалась сверху и сбоку из зала, освещенного интимно; там горели лампы настольные, прикрытые цветным шелком. Трубы доносились с хор.

Осмотревшись, Маргарита почувствовала теплое и мохнатое у левой ноги. Это был Бегемот. Он волновался и в нетерпении потирал лапы.

— Ой, ой, — восторженно говорил Бегемот, — ой, сейчас, сейчас. Как ударит и пойдет!

— Да уж ударит, — бормотал Коровьев, так же как и все глядя вниз, — я предпочел бы рубить дрова... По-моему, это легче.

— Я предпочел бы, — с жаром отвечал кот, — служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этого нет работы на свете!

Волнение кота заразило и Маргариту, и она шепнула Коровьеву:

— Но ведь никого нет, а музыка гремит...

Коровьев усмехнулся и тихо ответил:

— Ну, за народом дело не станет...

— Музыка гремит, — почтительно сказал кот, обращая к Маргарите сверкающие усы, — я извиняюсь, правильно. Ничего не может быть хуже, чем когда гость мыкается, не зная точно, что делать, куда идти и зачем, и сморкается. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева!

— Первым приехавшим очень трудно, — объяснял Коровьев.

— Пилят очень после бала мужей. «Зачем спешили?.. Видишь, никого нету! Это унизительно...» — писклявым голосом изображал пилящих жен неугомонный кот, и

вдруг остановился, и переменил интонации: — Раз, два... десять секунд до полночи! Смотрите, что сейчас будет!

Но десять секунд пробежали, и ничего ровно не произошло. Маргарита, капризно оттопырив губу, презрительно щипнула за ухо кота, но тот мигнул и ответил:

— Ничего, ничего, ничего. Еще запроситесь отсюда с поста!

И еще десять секунд протащились медленно, как будто муха тащилась по блюдечку с вареньем.

И вдруг золотая прислуга внизу шевельнулась и устремилась к камину, и из него выскочила женская фигура в черной мантии, а за нею мужчина в цилиндре и черном плаще. Мантия улетела куда-то в руки лакеев, мужчина сбросил на руки им свой плащ, и пара — нагая женщина в черных туфельках, черных по локоть перчатках, с черными перьями в прическе, с черной сумочкой на руке, и мужчина во фраке — стали подниматься по лестнице.

— Первый! — восторженно шепнул кот.

— Господин Жак Ле-Кёр с супругой, — сквозь зубы у уха Маргариты зашептал Коровьев, — интереснейший и милейший человек, убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник и недурной алхимик. В 1450 году прославился тем, что ухитрился отравить королевскую любовницу.

— Мы так хохотали, когда узнали, — шепнул кот, и вдруг взвыл: —Аншантэ!

Ле-Кёр с женой были уже вверху, когда из камина внизу появились две фигуры в плащах, а следом за ними — третья.

Жена Ле-Кёра оказалась перед Маргаритой, и та улыбнулась ей ясно и широко, что самой ей стало приятно.

Госпожа Ле-Кёр согнула колени, наклонилась и поцеловала колено Маргариты холодными губами.

— Вотр мажесте, — пробормотала госпожа Ле-Кёр...

— Вотр мажесте, — повторил Ле-Кёр, и опять холодное прикосновение губ к колену поразило Маргариту...

— Вотр мажесте, жэ лопнёр... — воскликнул Коровьев и, даже не сочтя нужным продолжать, затрещал, — эн верри...

— Милль мерси! — крикнул в ответ Ле-Кёр...

— Аншантэ! — воскликнул Азазелло.

Молодые люди уже теснили мадам Ле-Кёр к подносу с шампанским, и Коровьев уже шептал:

— Граф Роберт Лейчестер... По-прежнему интересен... Здесь история несколько иная. Этот был сам любовником королевы, но не французской, а английской, и отравил свою жену.

— Граф! Мы рады! — вскричал Коровьев.

Красавец блондин в изумительном по покрою фраке уже целовал колено.

— Я в восхищении! — заговорила Маргарита.

— Я в восхищении! — орал кот, варварски выговаривая по-английски.

— Бокал шампанского, — шептали траурные молодые люди, — мы рады... Графа давно не видно...

Из камина тем временем одни за другими появлялись черные цилиндры, плащи, мантии. Прислуга уже не стояла строем, а шевелилась, цилиндры летали из рук в руки и исчезали где-то, где, вероятно, была вешалка.

Дамы иногда задерживались внизу у зеркала, поворачиваясь и пальцами касаясь волос, потом вдевали рука в руку кавалера и легко начинали подниматься на лестницу.

— Почтенная и очень уважаемая особа, — пел Коровьев в ухо Маргарите и в то же время махая рукою графу Лейчестеру, пившему шампанское, — госпожа Тофана.

Дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная поднималась по лестнице, опираясь на руку какого-то черненького человека небольшого роста.

Дама, по-видимому, любила зеленый цвет. На лбу у нее поблескивали изумруды, на шее была зачем-то зеленая лента с бантом, и сумочка зеленая, и туфли из зеленого листа водяной линии. Дама прихрамывала.

— Была чрезвычайно популярна, — рассказывал Коровьев, — среди очаровательных неаполитанок, а ранее — жительниц Палермо, и именно тех, которым надоели их мужья. Тофана продавала таким... Ведь может же в конце концов осточертеть муж?

— О, да— смеясь ответила королева Маргарита.

— Продавала, — продолжал Коровьев, какую-то водичку в баночках, которая прямо чудесно помогала от всех болезней... Жена вливала эту водичку в суп, муж его съедал и чувствовал себя прекрасно, только вдруг

начинал хотеть пить, затем жаловался на усталость, ложился в постель, и через два дня прекрасная неаполитанка была свободна, как ветер.

— До чего она вся зеленая! — шептала Маргарита, — и хромая. А зачем лента на шее? Блеклая шея?

— Прекрасная шея, — пел Коровьев, делая уже приветственные знаки спутнику Тофаны и улыбаясь во весь рот, — но у нее неприятности случились. Хромает потому, что на нее испанский сапог надевали, а узнав, что около пятисот неудачно выбранных мужей, попробовав ее воды, покинули и Палермо, и Неаполь навсегда, сгоряча в тюрьме удавили, — я в восхищении! — завыл он.

— Госпожа Тофана! Бокал шампанского... — ласково говорила Маргарита, помогая хромой подняться с колена и в то же время всматриваясь в плаксиво улыбающегося ее спутника.

— Королева! — тихо воскликнула Тофана.

— Как ваша нога? — участливо спрашивала Маргарита, восхищаясь своею властью легко говорить на всех языках мира, сама вслушиваясь в певучесть своей итальянской речи.

— О, добрейшая королева! Прекрасно! — искренне и благодарно глядя водяными зеленоватыми глазами в лицо Маргариты...

Молодой человек уже вкладывал в сухую ручку госпожи Тофаны бокал.

— Кто этот с нею? — торопливо справилась Маргарита, — с богомерзкой рожей? Муж?

— Не знаю я этого сукиного сына, — озабоченно шептал Коровьев, — кажется, какой-то неаполитанский аптекарь... У нее всегда была манера ронять себя и связываться со всякой сволочью. Ну, Азазелло пропустил... Все в порядке... Он должен по должности знать всех.

— Как рады мы, граф! — вскричал он по-французски и, пока очень беспокойный какой-то фрачник целовал колени Маргариты, говорил ей:

— Не правда ли, светлейшая королева, граф Алессандро Феникс очень, очень понравился Калиостро, — вдунул он в ухо Маргарите...

Поцелуи теперь шли один за другим...

— С этой чуть нежней, — одним дыханием проговорил Коровьев, — она мрачная. Неврастеничка. Обожает

балы, носится с бредовой мыслью, что мессир ее увидит, насчет платка ему что-то хочет рассказать...

— Где? Где?

— Вон между двумя, — взглядом указывал Коровьев.

Маргарита поймала взглядом женщину лет двадцати, необыкновенную по красоте сложения, с дымными топазами на лбу и такими же дымными глазами.

— Какой платок? Не понимаю! — под рев музыки, звон и начинающий уже нарастать гул голосов говорила Маргарита довольно громко.

— Камеристка к ней приставлена, — пояснял Коровьев, в то же время пожимая руки какому-то арабу, — и тридцать лет кладет ей на ночь на столик носовой платок с каемочкой... Как проснется она, платок тут. Она сжигала его в печке, топила в реке, но ничего не помогает.

— Какой платок?

— С синей каемочкой. Дело в том, что, когда она служила в кафе, хозяин ее как-то завел в кладовую, а через девять месяцев она родила мальчика. И унесла его в лес, и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде плакала, говорила, что кормить нечем ребенка. Ничего не понимает.

— А хозяин кафе где? — каким-то странным голосом спросила Маргарита. — Где хозяин?

— Ваше величество, — заскрипел снизу кот, — позвольте вас спросить, при чем же здесь хозяин? Он платка младенцу не совал в рот!

Маргарита вдруг скрутила острыми когтями ухо Бегемота в трубку и зашептала, в то же время улыбаясь кому-то:

— Если ты, сволочь, еще раз это скажешь...

Бегемот как-то не по-бальному пискнул и захрипел:

— Ваше... ухо вспухнет... зачем портить бал?.. я говорил юридически... с юридической точки... Молчу, молчу! Как рыба молчу!

Маргарита выпустила ухо кота и глянула сверху вниз. Мрачные глаза взмолились ей, но рот шептал по-немецки:

— Я счастлива, королева, быть приглашенной на великий бал полнолуния или ста королей...

— А я,— отвечала по-немецки Маргарита, — рада вас видеть... Очень рада... Любите ли вы шампанское?

— Что вы делаете, королева?! — на ухо беззвучно взревел Коровьев, — затор получится!

— Я люблю, — моляще говорила женщина.

— Так вот вы...

— Фрида, Фрида, Фрида, — жадно глядя на Маргариту, шептала женщина, — меня зовут Фрида, о, королева!

— Так вот, напейтесь сегодня пьяной, Фрида, — сказала Маргарита, —и ни о чем не думайте!

Фрида, казалось, хотела войти в глаза Маргарите, тянулась к ней, но кот уже помогал ей подняться и увлекал в сторону.

Затор действительно мог получиться. Теперь уже на каждой ступеньке было по двое человек. Снизу из бездны на Маргариту по склону, как будто штурмуя гору, подымался народ.

Из швейцарской снизу уже послышалось жужжанье голосов. Прислуги там прибавилось... Там была толчея.

Маргарита теперь уже не имела времени для того, чтобы произносить что-либо, кроме слов:

— Я рада вас видеть...

— Герцог! — подсказывал Коровьев и пел теперь за двух на всех языках.

Голые женские тела, вкрапленные меж фрачных мужчин, подвигались снизу как стеной. Шли смуглые и белотелые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные и сверкающие, как будто смазанные маслом. В волосах рыжих, черных, каштановых, светлых как лен в ливне света играли снопами, рассыпали искры драгоценные камни. И как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин, брызгали светом с грудей бриллиантовые капли запонок.

Маргарита теперь ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в вечную улыбающуюся маску привета.

— Но разнообразьте глаза... глаза, — теперь уже в громе музыки и жужжанье и с лестницы и сзади, в реве труб и грохоте, не стесняясь, говорил Коровьев, — ничего не говорите, не поспеете, только делайте вид, что каждого знаете... Я восхищен! Маркиза де Бренвиллье... Отравила отца, двух братьев и двух се стер и завладела наследством... Господин де Годе, вас ли мы видим? В

карты играют в том зале, через площадку... Госпожа Минкина, ах, хороша! Не правда ли, королева, она красива... Излишне нервна... зачем же было жечь лицо горничной щипцами и вырывать мясо... Впрочем... Настасья Федоровна! Бокал шампанского... Маленькая пауза... Пауза... Ему несколько слов... Что-нибудь о его чудесах на...

— Кто? Кто?

— Паганини... играет сегодня у нас...

Горящие, как угольки, глаза, изжеванное страстью лицо склонилось перед Маргаритой...

— Я счастлива услышать дивные звуки...

— Барон Паганини! — Коровьев кричал и тряс руки Паганини, — все мы будем счастливы услышать ваши флажолеты после этой чертовской трескотни, которую устроил профан Бегемот... Как, ни одного стакана шампанского?.. Ну, после концерта, я надеюсь... Не беспокойтесь, ваш Страдиварий уже в зале... он под охраной... Ни одно существо в мире не прикоснется к нему... За это я вам ручаюсь!..

Лица плыли, качались, и казалось, что одна огромная, как солнце, улыбка разлилась по ним всем...

— Все одинаковы во фраках... но, вот и император Рудольф...

— У которого безумные глаза?..

— Он, он... Алхимик и сошел с ума... Еще алхимик, тоже неудачник, повешен. Еще алхимик, опять-таки неудача... Рад видеть вас, господин Сендзивей! Вот эта... чудесный публичный дом держала в Страсбурге, идеальная чистота, порядок... Он? Ударил по лицу друга, а на другой день на дуэли его же заколол... Кровосмеситель...

Этот лысый — господин Руфо, идеальный сводник... Бегемот, пора! Давай своих медведей, которыми ты так хвастался. Видишь, в зале у первого буфета скопился народ. Отсасывай их своими медведями, а то на площадке нельзя будет повернуться. Господин Казанова, королева рада вас видеть... Московская портниха, приятнейшая женщина, мы все ее любим за неистощимую фантазию. Держала ателье и придумала страшно смешную штуку — провертела круглые дыры в стене той комнаты, где дамы примеривали туалеты. Бокал шампанского! Я в восхищении!

— И они не знали?

— Все до единой знали. Я в восхищении!.. Этот двадцатилетний мальчуган всегда отличался дикими фантазиями. Мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, красавица, и он продал ее в публичный дом. Рядом с ним отцеубийца. За ними госпожа Калиостро, с нею высокий, обрюзгший, — князь Потемкин. Да, тот самый, ее любовник.

По лестнице текла снизу вверх людская река — чинно, медленно и ровно. Шорох лакированных туфель стоял непрерывный, монотонный. И главное, что конца этой реке не было видно. Источник ее — громадный камин — продолжал питать ее.

Так прошел час, и пошел второй час. Тогда Маргарита стала замечать, что силы ее истощаются. Цепь стала ненавистна ей, ей казалось, что с каждой минутой в ней прибавляется веса, что она впивается углами в шею. Механически она поднимала правую руку для поцелуя и, подняв ее более тысячи раз, почувствовала, что она тяжела и что поднимать ее просто трудно. Интересные замечания Коровьева перестали занимать Маргариту. И раскосые монгольские лица, и лица белые, и черные сделались безразличны, сливались по временам в глазах, и воздух почему-то начинал дрожать и струиться.

Несколько, не ненадолго оживили Маргариту обещанные Бегемотом медведи. Стена рядом с площадкой распалась, и тайна «светит месяца» разъяснилась. Возник ледяной зал, в котором синеватые глыбы были освещены изнутри, и пятьдесят белых медведей грянули на гармониках. Один из них, вожак и дирижер, надев на голову картуз, плясал перед ними.

— Глупо до ужаса, — бормотал Коровьев, — но цели достигло. Туда потянулись, здесь стало просторнее... Я в восхищении!

Маргарита не выдержала и, стиснув зубы, положила локоть на тумбу. Какой-то шорох, как бы шелест крыльев по стенам, теперь доносился из зала сзади, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища, и даже казалось, будто массивные мраморные мозаичные хрустальные полы в этом диковинном здании ритмично пульсируют.

Ни Гай Цезарь Калигула, ни Чингисхан, прошедшие в потоке людей, ни Мессалина уже не заинтересовали

Маргариту. Как не интересовали ни десятки королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников, сводниц, тюремщиков, убийц, шулеров, палачей, доносчиков, изменников, куртизанок, безумцев, сыщиков, растлителей, мошенников, названных Коровьевым. Все их имена спутались в голове, лица стерлись в лепешку, из которых назойливо лезло в память только одно: окаймленное действительно огненной бородой лицо Малюты Скуратова. Маргарита чувствовала только, что поясницу ее нестерпимо ломит, что ноги подгибаются.

Она попросила пить, и ей подали чашу с лимонадом. Наихудшие страдания ей причиняло колено, которое целовали. Оно распухло, кожа посинела, несмотря на то что несколько раз рука Наташи появлялась возле этого колена с губкой, чем-то душистым и смягчающим смачивала она измученное тело.

В конце третьего часа Маргарита глянула безнадежными глазами в бездну и несколько ожила; поток редел, явно редел.

— Законы бального съезда одинаковы, королева Маргарита — заговорил Коровьев, — я мог бы вычертить кривую его. Она всегда одинакова. Сейчас волна начнет спадать, и, клянусь этими идиотскими медведями, мы терпим последние минуты. Я восхищен!

Медведи доиграли рязанские страдания и пропали вместе со льдом.

Маргарита стала дышать легче. Лестница пустела. Было похоже на начало съезда.

— Последние, последние, — шептал Коровьев, — вот группа наших брокенских гуляк.

Он еще побормотал несколько времени: эмпузы, мормолика, два вампира. Все.

Но на пустой лестнице еще оказались двое пожилых людей. Коровьев прищурился, узнал, мигнул подручным и сказал Маргарите:

— А, вот они...

— У них почтенный вид, — говорила, щурясь, Маргарита.

— Имею честь рекомендовать вам, королева, директора театра и доктора прав господина Гёте и также господина Шарля Гуно, известнейшего композитора.

— Я в восхищении, — говорила Маргарита.

И директор театра, и композитор почтительно поклонились Маргарите, но колено не целовали.

Перед Маргаритой оказался круглый золотой поднос и на нем два маленьких футляра. Крышки их отпрыгнули, и в футлярах оказалось по золотому лавровому веночку, который можно было носить в петлице, как орден.

— Мессир просил вас принять эти веночки, — говорила Маргарита одному из артистов по-немецки, а другому по-французски, —на память о сегодняшнем бале.

Оба приняли футляры и проследовали к подносам.

— Ах, вот и самый последний, — сказал Коровьев, кивая на последнего, очень мрачного человека с малюсенькими, коротко подстриженными под носом усиками и тяжелыми глазами.

— Новый знакомый, — продолжал Коровьев, — большой приятель Абадонны. Как-то раз Абадонна навестил его и нашептал за коньяком совет, как избавиться от одного человека, проницательности которого наш знакомый весьма боялся. И вот, он велел своему секретарю обрызгать стены кабинета того, кто внушал ему опасения, ядом.

— Как его зовут? — спросила Маргарита.

— Право, еще не спросил, Абадонна знает.

— А с ним кто?

— Этот самый, исполнительный его секретарь. Я восхищен! — привычным голосом закричал Коровьев.

Лестница опустела. Маргарита, Коровьев в сопровождении кота покинули свой пост. Они сбежали вниз по лестнице, юркнули в камин и оттуда какими-то окольными и темными путями проникли в ту самую ванную комнату, где Маргариту одевали для бала.

— О, как я устала! — простонала Маргарита, повалившись на скамейку.

Но Гелла и Наташа опять повлекли ее под кровавый душ, тело ее размяли и размассировали, и Маргарита ожила вновь.

Неумолимый Коровьев дал только три минуты на то, чтобы полежать на скамье. Теперь Маргарите предстояло облететь бал, чтобы почтенные гости не чувствовали себя брошенными.

Бал дал себя знать, лишь только Маргарита, чуть касаясь мраморного пола, скользя по нему, вылетела в

тропический сад. Ей показалось, что рядом идет сражение. Сотни голосов сливались в мощный гул, и в этом гуле слышались страшные удары металлических тарелок, какое-то мощное буханье и даже выстрелы. Иногда вырывался смех, его выплескивало, как пену с волны.

Но в самой оранжерее было тихо... В густейшей зелени сидело несколько парочек с бокалами, да еще бродил одинокий человек, с любопытством изучающий отчаянно орущих на всех языках попугаев.

Человек этот оказался директором театра Гёте, и ему Маргарита успела послать только обольстительную улыбку и одну фразу — что-то о попугаях.

В соседнем зале уже не было оркестра Штрауса, на эстраде за тюльпанами его место занял обезьяний джаз. Громадная горилла, мохнато-бакенбардная горилла в красном фраке, с трубой в руке, приплясывая, дирижировала громадным и стройным джазом. В одни ряд сидели орангутанги с блестящими трубами и дули в них. На плечах у них сидели веселые шимпанзе с гармониями. В гриве, похожей на львиную, два гамадрила играли на роялях, и роялей этих не было слышно в громе и писке, буханьях и вое инструментов в лапах гиббонов, мандрилов и мартышек со скрипками.

На зеркальном полу пар пятьсот, словно слившись, поражая Маргариту ловкостью и чистотой движения, стеною, вертясь в одном направлении, шли, угрожая смести все с своего пути.

Свет менялся через каждые десять секунд. То светили с хор разноцветные прожектора, и женские тела то блистали розово и тетю, то становились трупно-зелеными, то красно-мясными. Атласные живые бабочки ныряли над танцующими полчищами, с потолков сыпался цветочный дождь. То погасали прожекторы, и тогда на капителях колонн загорались мириады светляков, а в воздухе плыли болотные огни.

Лишь только Маргариту увидели, полчище распалось само собою, и, проходя по образовавшемуся коридору, Маргарита слышала восхищенный шепот, разросшийся до гула:

— Королева Марго!

Как в танцевальном зале одурял запах цветов, духов и драгоценных цветочных масел, здесь вертел голову запах шампанского, клокочущего в бассейнах. Сверкаю-

щие чаши взлетали в руках у фрачников, сотни женских глаз провожали Маргариту. Смех словно сдуло с уст, и здесь шепот разросся до громового крика:

— Здоровье королевы!

Из зала, где били шампанские фонтаны, Маргарита попала в чудовищных размеров бассейн, окаймленный колоннадой. Из пасти десятисаженного Нептуна хлестала широкая розовая струя. Одуряющий запах шампанского поднимался из бассейна. Здесь царствовало бурное веселье. Дамы, хохоча, сбрасывали туфли, отдавали сумочки своим фрачным кавалерам или неграм, мечущимся с нагретыми простынями меж колонн, и ласточкой бросались в воду. Столбы игристого вина взметало вверх. Хрустальное дно бассейна играло светом, свет пронизывал толщу вина, в котором пыряли, как рыбки в аквариуме, дамы.

Они выскакивали из воды, держась за золотые поручни, хохоча и шатаясь, совершенно пьяные. От хохота и крика звенело над колоннами, фрачники отскакивали от брызг, негры укутывали купальщиц в простыни, и, не будучи в силах перекрыть звенящий в колоннах крик, лягушки со своими саксофонами, сидящие на плечах Нептуна, бешено играли фокстрот.

В честь Маргариты шесть дам выстроились в ряд и под звуки лягушачьего марша вскочили на плечи своим кавалерам и с них взвились в воздух, а оттуда — головами вниз в бассейн. Маргарита видела, как их сверкающие тела разлетались над водой как вспугнутая рыбья золотая стая.

Запомнилось ей в этой кутерьме одно совершенно пьяное женское лицо с бессмысленными, но и в бессмысленности своей молящими глазами, и одно короткое слово вспомнилось: «Фрида». Затем пробежали коротенькие мыслишки житейского порядка: «Интересно, сколько может стоить такой бал?», «никогда в гости ходить не буду... гости... чушь собачья... балы надо уметь устраивать...». Голова ее начинала кружиться, но кот устроил и в бассейне номер, задержавший Маргариту со свитой. Резким пронзительным голосом он провыл предложение джентльменам искупаться и сделал какой-то повелительный жест неграм.

Тотчас с шипеньем и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну темно-желтого цвета.

Дамы с визгом и воплями «Коньяк!» кинулись от краев бассейна за колонны. Через несколько секунд бассейн был полон и кот, перевернувшись трижды в воздухе, обрушился в колыхающийся коньяк. Вылез он, отфыркиваясь, с раскисшим галстуком, со слезшей с усов позолотой, потеряв бинокль. Но он объявил, что он ни в одном глазу.

Та самая портниха-затейница оказалась единственной особой женского пола, отважившейся искупаться в коньяке. Кавалер ее, мулат, вмиг освободился от фрачной одежды и шелкового белья и вместе с нею прыгнул в бассейн.

Но тут Коровьев властно подхватил под руку хозяйку бала и увлек ее вон.

Они оказались в буфете. Сотни гостей осаждали каменные ванны. Пахло соленым морем. Прислуга бешено работала ножами, вскрывая аркашонские устрицы, выкладывая их на блюда, поливая лимонным соком. Маргарита глянула под ноги и невольно ухватилась за руку Коровьева, ей показалось, что она провалится в ад. Сквозь хрустальный пол светили бешеные красные огни плит, в дыму и пару метались белые дьявольские повара. Тележки на беззвучных колесиках ездили между столиками, и на них дымились и сочились кровавые горы мяса. Прислуга на ходу тележек резала ножами это мясо, и ломти ростбифа разлетались по рукам гостей. Снизу из кухни подавали раскроенную розовую лососину, янтарные балыки. Серебряными ложками проголодавшиеся гости глотали икру.

Снизу по трапам подавали на столиках столбы тарелок, груды серебряных вилок и ножей, откупоренные бутылки вина, коньяков, водок.

Пролетев через весь буфет, Маргарита, посылая улыбки гостям, попала в темный закопченный погреб с бочками. Налитый жиром, с заплывшими глазками хозяин погреба в фартуке наливал вино любителям пить в погребах из бочек. Прислуга была здесь женская. Разбитные девицы подавали здесь пряные блюда на раскаленных сковородках, под которыми светили красным жаром раскаленные угли.

Из погреба перенеслись в пивную, здесь опять гремел «светит месяц», плясали на эстраде те же белые медведи. Маргарита слышала рычащий бас:

— Королева матушка! Свет увидели. Вот за пивко спасибо!

В табачном дыму померещилась ей огненная борода Малюты и, кажется, кривоглазая физиономия Потемкина.

Из пивной толпа стремилась в бар... Но дамы взвизгивали, кидались обратно. Слышался хохот. За ослепляющей отражением миллионов свечей зеркальной стойкой помещались пять громадных тигров. Они взбалтывали, лили в рюмки опаловые, красные, зеленые смеси, изредка испускали рык.

Из бара попали в карточные. Маргарита видела бесчисленное множество зеленых столов и сверкающее на них золото. Возле, одного из них сгрудилась особенно большая толпа игроков, и некоторые из них стояли даже на стульях, жадно глядя на поединок. Обрюзгшая, седоватая содержательница публичного дома играла против черноволосого банкомета, перед которым возвышались две груды золотых монет. Возле хозяйки же не было ни одной монеты, но на сукне стояла, улыбаясь, нагая девчонка лет шестнадцати с развившейся во время танцев прической, племянница почтенной падуанки.

— Миллион против девчонки, — шептал Коровьев, — вся она не стоит ста дукатов.

Почтительно раздавшаяся толпа игроков восторженно косилась на Маргариту и в то же время разноязычным вздохом: «бита... дана... бита... дана...» сопровождала каждый удар карты.

— Бита! — простонал круг игроков.

Желтизна тронула скулы почтенной старухи, и она невольно провела по сукну рукой, причем вздрогнула, сломав ноготь. Девчонка оглянулась растерянно.

Маргарита была уже вне карточной. Она почти не задерживаясь пролетела мимо гостиной, где на эстраде работал фокусник-саламандра, бросающийся в камин, сгорающий в нем и выскакивающий из него вновь невредимым, и вернулась в танцевальный зал.

Как раз когда она подлетала к дверям, оркестр обезьян ударил особенно страшно, и танец немедленно прекратился. Пары распались, и гости выстроились в две шеренги, и шеренги эти стали бесконечны, потому что выстроились гости и в зале с шампанскими фонтанами.

— Последний выход, — шепнул озабоченно Коровьев.

Между стен гостей шел Воланд, за ним Абадонна и несколько стройных подтянутых копий Абадонны. Воланд был во фраке и двигался чуть прихрамывая и опираясь на трость.

Молчание стало мертвым.

Маргарита стояла неподвижно. Воланд шел прямо на нее, улыбаясь.

Подойдя, он протянул ей руку и сказал негромко:

— Благодарю вас, — и стал рядом с нею.

Тотчас перед группой Воланда появился слуга с блюдом, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека в засохших и замытых потеках крови, с приоткрытым ртом, с выбитыми передними зубами.

Тишина продолжала стоять полнейшая, и ее прервал только где-то далеко послышавшийся звонок, как бывает с парадного хода.

— Александр Александрович, — негромко сказал Воланд, и тогда веки убитого приподнялись и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза.

— Вот все и сбылось, — продолжал Воланд, глядя в глаза голове, — и голова отрезана женщиной, не состоялось заседание, и живу я в вашей квартире. Самая упрямая в мире вещь есть факт. Но теперь и вас и нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он уходит в темное небытие, в золу. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна, и остроумна. Во всяком случае, одна теория, как говорится, стоит другой. Есть и такая, согласно которой каждому дано будет по его вере. Да сбудется! Вы уходите в небытие, и мне радостно сообщить вам, что из чаши, в которую вы превращаетесь, я выпью за бытие! Итак, чашу!

И тут же потухли глаза и закрылись веками, покровы головы потемнели и съежились, отвалились кусками, исчезли глаза, и перед Маргаритой на блюде оказался череп желтоватый, с изумрудными глазами, с зубами из жемчуга, на золотой ноге. Крыша черепа откинулась.

— Где же он? — спросил Воланд, повернувшись к Коровьеву — церемониймейстеру.

— Сию секунду, мессир, он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его лакированные туфли, как звенит бокал, который он поставил на стол в последний раз в этой жизни выпив шампанского. Да вот и он!

Между шеренгами гостей в зал, направляясь к Воланду, вступал новый гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей — мужчин. И также безукоризненно был одет. Но величайшее волнение выдавали, даже издали видные, пятна на его щеках и неустанно бегающие его глаза. Гость был ошарашен, это было очевидно. И, конечно, не только нагими дамами, но и многим другим, например тем, что он, ухитрившись как-то опоздать, и теперь входит нелепым образом один-одинешенек, встречаемый любопытными взорами гостей, которых, собственно, даже и сосчитать трудно! Встречен был поздний гость отменно.

— А, милейший барон Майгель! — приветливо вскричал Воланд гостю, который решительно не знал, на что ему глядеть — на череп ли, лежащий на блюде в руках у голого негра, на голую ли Маргариту? Голова его стала кружиться. Но кое-как справившись с собою, благодаря своей долголетней практике входить в гости и не теряться, Майгель пробормотал что-то о том, что он восхищен, и приложился к руке Маргариты.

— Вас, как я вижу, поражают размеры помещений? — улыбаясь и выручая гостя, продолжал Воланд, — мы здесь произвели кое-какую перестройку, как видите. Как вы находите ее?

Майгель проглотил слюну и, вертя левой рукой брелок, свешивающийся из кармана белого жилета, сообщил, что перестройку он находит грандиозной и что она его приводит в восхищение.

— Я очень счастлив, что она вам нравится! — галантно отозвался Воланд и звучно обратился к толпам замерших неподвижно гостей:

— Я счастлив, месье, медам, рекомендовать вам почтеннейшего барона Майгеля, служащего комиссии по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями столицы.

Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Майгеля. Он несколько раз попадался ей в театрах Москвы и ресторанах. «Позвольте... — подумала Маргарита, — стала быть, он умер? Ничего не понимаю!»

Но дело разъяснилось тут же.

— Милый барон, — говорил Воланд, расплываясь в улыбке радости, — был так очарователен, что, узнав о моем приезде, тотчас позвонил ко мне, предлагая мне свои услуги по ознакомлению меня с достопримечательностями столицы. Я счастлив был пригласить его. Кстати, барон, — вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она превосходит все до сих пор виденное в этом направлении и равняется вашей разговорчивости. Параллельно с этим дошел до меня страшный слух о том, что именно ваша разговорчивость стала производить неприятное впечатление и не позже чем через месяц станет причиной вашей смерти.

Желая избавить вас от томительного ожидания скучной развязки, мы решили прийти вам на помощь...

Тут Воланд перестал улыбаться, а Абадонна вырос перед Майгелем и, подняв очки на лоб, глянул барону в лицо.

Барон сделался смертельно бледен, вздохнул и стал валиться набок. Показалось еще Маргарите, что что-то сверкнуло огнем в руках Азазелло, оказавшегося рядом с Абадонной, что-то стукнуло или как будто в ладоши хлопнуло, и алая кровь хлынула из груди барона, заливая белый жилет.

Как обвал в горах, ударил аплодисмент гостей, барона подхватили, и чаша до краев наполнилась его кровью.

— За жизнь! — крикнул Воланд, поднимая чашу, и прикоснулся к ней губами.

И тогда произошла метаморфоза. Фрак Воланда исчез. Воланд оказался не то в черном плаще, не то в сутане. Перед глазами Маргариты все закружилось, когда рука в перчатке с раструбом приблизила к ней чашу и загорелся перед ней один глаз.

Маргариту шатнуло, но ее поддержали, и чей-то голос, кажется Коровьева, зашептал:

— Не бойтесь, не бойтесь... Кровь давно ушла в землю... Пейте! В чаше вино!

Маргарита, закрыв глаза, дрожа, сделала глоток. Сладкий ток пробежал по ее жилам, в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат петухи, что оглушительный оркестр играет марш. Тут толпа гостей стала видоизменяться. Фраки мужчин рассыпались в прах и почернели, и сгнили тела женщин, показались кости, стали сыпаться на пол. Тление охватило зал, потек печальный запах склепа. А потом и колонны распались, и угасли огни, и все съежилось, и не стало никаких фонтанов и бальных зал и цветов... А просто была скромная гостиная ювелирши, и в камине пылал огонь, а из приоткрытой двери виднелся свет свечей. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСТЕРА

Все в комнате оказалось таким, каким и было до бала. Воланд в сорочке сидел на кровати, но Гелла не растирала ему ногу, а ставила на стол рядом с глобусом поднос с закуской и графином. Коровьев, сняв надоевший фрак, сидел на стуле, плотоядно потирая руки. Кот помещался на соседнем стуле. Галстук его, превратившийся в серую тряпку, съехал за ухо, но Бегемот с ним расстаться не желал.

Абадонны не было, но был Азазелло. Сидящие встретили Маргариту приветливо, заулыбались ей, а Воланд указал ей место рядом с собою на кровати. ... — сказал Воланд, погля... погашая свой прожигающий глаз, — вас замучили эти затейники?

— Нет, нет, бал был превосходный, — ответила живо Маргарита.

— Ноблесс оближ, — сказал кот и налил Маргарите прозрачной жидкости в лафитный стакан.

— Это водка? — спросила Маргарита.

— Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил бы себе налить даме водки? Это исті спирт!

Маргарита захохотала и оттолкну стакан себя.

— Пейте смело! — сказал Воланд.

Маргарита стакан

— Нет, погодите, — заметил Воланд и сквозь свой стакан поглядел на Маргариту, причем той показалось, что красный далекий огонек сем... еще раз благод... в восхищении.

— Потрясающе! Очарованы, влюблены, раздавлены! — орал Коровьев.

— Гелла, садись! — приказал Воланд, — эта ночь предпраздничная у нас, — пояснил он Маргарите, — и мы держим себя попросту.

— Вотр санте! — вскричал Коровьев, обращаясь к Маргарите.

Маргарита глотнула, думая, что тут же ей и будет конец от спирту. Но ничего этого не произошло. Живительное тепло потекло по ее животу, что-то стукнуло в затылок, она почувствовала волчий голод. Тут же перед пей оказалось золотое блюдце, и после первой же ложки икры тепло разлилось и по рукам и по ногам.

Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел и после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирту, что все ахнули.

Маргарита ела жадно, и все казалось необыкновенно вкусным, да и в самом деле было необыкновенно вкусно.

После второй стопки огни в канделябрах загорелись как будто поярче, в камине прибавилось пламени. Никакого опьянения Маргарита не чувствовала. Только сила и бодрость вливались в нее и постепенно затихал голод. Ей не хотелось спать, а мысли были не связанные между собою, но приятные. Кроме всего прочего смешил кот.

Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как Бегемот намазывал горчицей устрицу и посыпал ее сахаром.

— Ты еще винограду положи, — говорила ему Гелла, — и сверху сам сядь.

— Попрошу меня не учить, — огрызался Бегемот, — сиживал за столом, сиживал!

— Ах, как приятно ужинать вот этак при огоньке камелька, запросто, — дребезжал Коровьев, — в интимном кругу...

— Нет, Фагот, — возражал кот, — в бальном буфе имеется своя прелесть и размах!

— Никакой прелести в этом нет, — сказал Воланд, — и менее всего ее в этих тиграх, рев которых едва не довел меня до мигрени.

— Слушаю, мессир, — сказал дерзкий кот, — если вы находите, что нет размаха, и я немедленно буду держаться того же мнения.

— Ты у меня смотри, — ответил на это Воланд.

— Я пошутил, — смиренно сказал кот, — что касается тигров, я велю их зажарить.

— Тигров нельзя есть! — заметила Гелла.

— Нельзя-с? Тогда прошу послушать, — оживился кот и, переселившись к камину с рюмочкой ликеру, жмурясь от удовольствия, рассказал, как однажды оказался в пустыне, где один-одинешенек скитался девятнадцать дней и питался мясом убитого им тигра. Все с интересом слушали занимательное описание пустыни, а когда Бегемот кончил повесть, все хором воскликнули: «Вранье!»

— Интересно то, что вранье это от первого до последнего слова, — сказал Воланд.

— История рассудит нас, — ответил кот, но не очень уверенно.

— А скажите, — обратилась Маргарита к Азазелло, — вы его застрелили? Этого барона?

— Натурально, — ответил Азазелло.

— Я так взволновалась... Так неожиданно...

— Как же не взволноваться, — взвыл Коровьев, — у меня у самого поджилки затряслись. Бух! Раз! Барон набок!

— Со мною едва истерика не сделалась. — подтвердил и кот, облизывая ложку с икрой.

— Вот что мне непонятно, — заговорила Маргарита оживленно, и золотые искры от золота и хрусталя прыгали у нее в глазах, — неужели снаружи не слышно было ни грохота музыки, ни голосов?

— Мертвая тишина, — ответил Коровьев.

— Ах, как это интересно все, — продолжала Маргарита. Дело в том, что этот человек на лестнице... и другой у подъезда... Я думаю, что он...

— Агент! Агент! — вскричал Коровьев, — дорогая Маргарита Николаевна, вы подтверждаете мои подозрения! Агент. Я сам принял было его за рассеянного приват-доцента или влюбленного, томящегося на лестнице,

но нет, но нет. Что-то сосало мое сердце! Ах! Он — агент. И тот у подъезда тоже! И еще хуже в подворотне — тоже!

— Интересно, а если вас придут арестовывать? — спросила Маргарита, обращая к Воланду глаза.

— Непременно придут, непременно! — вскричал Коровьев, — чует сердце, что придут! В свое время, конечно, но придут!

— Ну что же в этом интересного, — отозвался Воланд и сам налил Маргарите играющее иглами вино в чашу.

— Вы, наверное, хорошо стреляете? — кокетливо спросила у Азазелло Маргарита.

— Подходяще, — ответил Азазелло.

— А на сколько шагов? — спросила Маргарита.

— Во что, смотря по тому, — резонно ответил Азазелло, — одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому, и совсем другое — ему же в сердце.

— В сердце! — сказала Маргарита.

— В сердце я попадаю на сколько угодно шагов и по выбору в любое предсердие его или в желудочек, — ответил Азазелло, исподлобья глядя на Маргариту.

— Да ведь... они же закрыты!

— Дорогая. — дребезжал Коровьев, — в том-то и штука, что закрыты! В этом вся соль! А в открытый предмет...

Он вынул из стола семерку пик. Маргарита ногтем наметила угловое верхнее очко. Азазелло отвернулся. Гелла спрятала карту под подушку, крикнула «готово!»

Азазелло, не оборачиваясь, вынул из кармана фрачных брюк черный револьвер, положил его на плечо дулом к кровати и выстрелил.

Из-под простреленной подушки вытащили семерку. Намеченное очко было прострелено.

— Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер!

— Королева драгоценная, — завыл Коровьев, — я никому не рекомендую встретиться с ним, даже если у него и нету револьвера в руках! Даю слово чести бывшего регента и запевалы! От всей души не поздравляю того, кто встретится!

— Берусь перекрыть рекорд с семеркой, — заявил кот.

Азазелло прорычал что-то. Кот потребовал два револьвера. Азазелло вынул и второй револьвер. Наметили два очка на семерке. Кот отвернулся, выставил два дула. Выстрелил из обоих револьверов. Послышался вопль Геллы, а с камина упала убитая наповал сова, и каминные часы остановились. Гелла, у которой одна рука была окровавлена, тут же вцепилась в шерсть коту, а он ей в ответ в волосы, и они покатились клубком по полу.

— Оттащите от меня эту чертовку, — завыл кот.

Дерущихся разняли, Коровьев подул на простреленный палец Геллы, и тот зажил.

— Я не могу стрелять, когда под руку говорят! — кричал кот и старался приладить на место выдранный у него из спины порядочный клок шерсти.

— Держу пари, — тихо сказал Воланд Маргарите, — что проделал он эту штуку нарочно. Он очень порядочно стреляет.

Геллу с котом помирили, и в знак этого примирения они поцеловались. Достали карту, проверили. Ни одного очка не было затронуто.

Ужин такой же веселый пошел дальше. Свечи оплывали в канделябрах, по комнате волнами ходило тепло от камина. Маргарита наелась, и чувство блаженства охватило ее. Она смотрела, как сине-серые кольца от сигареты Азазелло уплывали в камни и как кот ловил их на конец шпаги. Ей никуда не хотелось уходить, но было по ее расчетам поздно, судя по всему, часов около шести утра. Воспользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко сказала:

— Пожалуй, мне пора...

— Куда же вы спешите? — спросил Воланд, и Маргарита потупилась, не будучи в силах вынести блеска глаза.

Остальные промолчали и сделали вид, что увлечены дымными кольцами.

— Да, пора, — смущаясь повторила Маргарита и обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота вдруг стала стеснять ее.

Воланд молча снял с кровати свой вытертый засаленный халат, а Коровьев закутал Маргариту.

— Благодарю вас, мессир, — чуть слышно сказала Маргарита, и черная тоска вдруг охватила ее. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды, по-ви-

димому, ей никто не собирался предлагать, никто ее и не удерживал. А между тем ей ясно представилось, что идти ей некуда. Попросить, как советовал Азазелло? «Ни за что», — сказала она себе и вслух добавила:

— Всего хорошего... — а сама подумала: «Только бы выбраться, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

Мысль о том, что она придет домой и навсегда останется наедине со своим сном, показалась ей нелепой, больной, нестерпимой.

— Сядьте! — повелительно сказал Воланд.

Маргарита села.

— Что-нибудь хотите сказать на прощание? — спросил Воланд.

— Нет, ничего, мессир, — голос Маргариты прозвучал гордо, — впрочем, если я нужна еще, то я готова исполнить все, что надобно.

Чувство полной опустошенности и скуки охватило ее. «Фу, как мерзко все».

— Вы совершенно правы! — гулко и грозно сказал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего и ни у кого. Сами предложат! Сами!

Потом он смягчил голос и продолжают:

— Мне хотелось испытать вас. Итак, Марго, чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Что вы хотите за то, что были нагой? Чего стоит ваше истерзанное поцелуями колено? Во что цените созерцание моих клиентов и друзей? Говорите! Теперь уж без стеснений: предложил я!

Сердце замерло у Маргариты, она тяжело вздохнула.

— Вот шар, — Воланд указал на глобус, — в пределах его. А? Ну, смелее! Будите свою фантазию. Одно присутствие при сцене с этим отпетым негодяем бароном стоит того, чтобы человека наградили как следует. Да-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уже хотела выговорить заветные, давно хранимые в душе слова, как вдруг остановилась, даже раскрыла рот, изменилась в лице.

Откуда-то перед мысленными глазами ее выплыло пьяное лицо Фриды и ее взор умученного вконец человека.

Маргарита замялась и сказала спотыкаясь:

— Так, я, стало быть, могу попросить об одной вещи?..

— Потребовать, потребовать, многоуважаемая Маргарита Николаевна, — ответил Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать одной вещи!

Да, никак слово «вещь» не переходило во множественное число! А лицо Фриды назойливо колыхалось перед глазами в сигарном дыму.

Маргарита заговорила:

— Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка, — и вздохнула.

Кот послал Коровьеву неодобрительный взгляд, но, очевидно, помня накрученное ухо, не промолвил ни слова.

— Гм, — сказал Воланд и усмехнулся. — ввиду того, что возможность получения вами взятки от этой Фриды совершенно, конечно, исключена, остается обзавестись тряпками и заткнуть все щели в моей спальне!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — не выдержал кот, — именно тряпками! — Он с раздражением запустил лапу в торт и стал выковыривать из него апельсинные корки.

— О милосердии говорю, — объяснил Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. — иногда, совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узкие щели. Вот я и говорю о тряпках!

— И я об этом же говорю! — сурово сказал кот и отклонился на всякий случай от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши.

— Пошел вон! — сказал ему Воланд.

— Я еще кофе не пил, — ответил кот, — как же я уйду? Неужели, мессир, в предпраздничную ночь гостей за столом у нас разделят на два сорта? Одни первой, а другие, как выражался этот печальный негодяй буфетчик, второй свежести?

— Молчи! — сказал Воланд и обратился к Маргарите с вежливой улыбкой: — Позвольте спросить, вы, надо полагать, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек?

— Нет! — с силой ответила Маргарита. — И, так как я все-таки не настолько глупа, чтобы, разговаривая с вами, прибегать ко лжи, скажу вам со всею откровенно-

стью: я прошу у вас об этом потому, что, если Фриду не простят, я не буду иметь покоя всю жизнь. Я понимаю, что всех спасти нельзя, но я подала ей твердую надежду. Так уж вышло. И я стану обманщицей.

— Ага, — сказал Воланд, — понимаю.

А кот, закрывшись лапой, что-то стал шептать Коровьеву.

— Так вы сделаете? — спросила неуверенно Маргарита.

— Ни в каком случае, — ответил Воланд.

Маргарита побледнела и отшатнулась.

— Я ни за что не сделаю, — продолжал Воланд, — а вы, если вам угодно, можете сделать сами. Пожалуйста.

— Но по-моему исполнится?

Азазелло вытаращил иронически кривой глаз на Маргариту, покрутил рыжей головой и тихо фыркнул.

— Да делайте же! Вот мучение, — воскликнул Воланд и повернул глобус, бок которого стал наливаться огнем.

— Фрида! — крикнул пронзительно кот.

Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, без всяких признаков хмеля женщина с исступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите.

Та сказала:

— Прощают тебя. Платок больше подавать не будут.

Фрида испустила вопль, упала на пол и простерлась крестом перед Маргаритой.

Воланд досадливо махнул рукой, и Фрида исчезла.

— Прощайте, благодарю вас, — твердо сказала Маргарита и поднялась, запахнув халат.

— По улице в таком виде идти нельзя. Сейчас дадим вам машину, — сказал Воланд сухо и затем добавил, — поступок ваш обличает в вас патологически непрактичного человека. Пользоваться этим мы считаем неудобным, поэтому Фрида не в счет. Говорите, что вы хотите?

— Драгоценное сокровище, Маргарита Николаевна! — задребезжал Коровьев, — на сей раз советую вам быть поблагоразумнее! А то фортуна может ускользнуть!

— Верните мне моего любовника, — сказала Маргарита и вдруг заплакала.

— Маргарита Николаевна! — запищал Коровьев в отчаянии.

— Нет, не могу! — возмущенно отозвался кот и выпил объемистую рюмку коньяку.

Занавеска на окне отодвинулась, и далеко в высоте открылась полная луна. От подоконника на пол упал зеленоватый платок ночного света. Сидящие, на лицах которых играл живой свет свечей, повернули головы к лунному косому столбу. В нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером.

Он был в своем больничном одеянии, в халате, туфлях и черной шапочке. Небритое лицо его дергало гримасой, он пугливо косился на огни свечей.

Маргарита узнала его, всплеснула руками, подбежала и обняла. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и слезы бежали по ее лицу.

Она произносила только одно слово:

— Ты... ты...

Мастер отстранил ее наконец и сказал глухо:

— Не плачь, Марго. Я тяжко болен.

Он ухватился за подоконник рукою, оскалился, всматриваясь в сидящих, и сказал:

— Мне страшно, Марго. У меня галлюцинация.

Маргарита подтащила его к стулу, усадила и, гладя плечи, шею, лицо, зашептала:

— Ничего, ничего не бойся. Я с тобою. Не бойся ничего.

Коровьев ловко и незаметно подпихнул к Маргарите второй стул, и она опустилась на него, обняла пришедшего за шею, голову положила на плечо и так затихла, а мастер опустил голову и стал смотреть в землю больными угрюмыми глазами. Наступило молчание, и первый прервал его Воланд.

— Да, хорошо отделали человека, — проговорил он сквозь зубы и приказал Коровьеву: — Дай-ка, рыцарь, ему выпить.

Через секунду Маргарита дрожащим голосом просила мастера:

— Выпей, выпей... Нет, нет. Не бойся. Тебе помогут, за это я ручаюсь. Сразу, сразу пей!

Больной взял стакан и выпил содержимое. Рука его дрогнула, и пустой стакан разбился у его ног.

— К счастью! К счастью, милейшая Маргарита Николаевна! К счастью, — зашептал трескучий Коровьев.

Маргарита с ложечки кормила мастера икрой. Лицо его менялось, по мере того как он ел, порозовели скулы и взор стал не так дик и беспокоен.

— Но это ты, Марго? — спросил он.

— Я! Я!— ответила Маргарита.

— Еще, — строго сказал Воланд.

Коровьев подают Воланду стакан, и Воланд бросил в него щепотку какого-то черного порошку. Больной выпил поданную ему жидкость и глянул живее и осмысленнее.

— Ну вот, это — другое дело, — сказал Воланд, прищурившись, —теперь поговорим. Кто вы такой? — обратился он к пришедшему.

— Я теперь никто, — ответил оживающий больной, и улыбка искривила его рот.

— Откуда вы сейчас?

— Из дома скорби. Я душевнобольной, — ответил пришелец.

Маргарита заплакала и проговорила сквозь слезы:

— Он — мастер, мастер, верьте мне! Вылечите его!

— Вы знаете, с кем вы сейчас говорите? — спросил Воланд, — у кого находитесь?

— Знаю, — ответил мастер, — соседом моим в сумасшедшем доме был Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас.

— Как же, как же. Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах, — ответил Воланд, — и вы верите, что это действительно я?

— Верю, — сказал пришелец, — но, конечно, спокойнее мне было бы считать вас плодом галлюцинаций. Извините меня...

— Если спокойнее, то и считайте галлюцинацией, — вежливо ответил Воланд.

— Нет, нет, — испуганно обратилась к мастеру Маргарита, — перед тобою мессир!

— Это не важно, обаятельнейшая Маргарита Николаевна! — встрял в разговор Коровьев, а кот увязался вслед за ним и заметил горделиво:

— А я, действительно, похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль... — кот хотел еще что-то сказать, но его попросили замолчать, и он ответил: — Хорошо, хорошо. Готов молчать. Я буду молчаливая галлюцинация! — замолчал.

— Верно ли, что вы написали роман? — спросил Воланд.

— Да.

— О чем?

— Роман о Понтии Пилате.

Воланд откинулся назад и захохотал громовым образом, но так добродушно и просто, что никого не испугал и не удивил. Коровьев стал вторить Воланду, хихикая, а кот неизвестно зачем зааплодировал. Отхохотавшись, Воланд заговорил, и глаз его сиял весельем.

— О Понтии Пилате? Вы?.. В наши дни? Это потрясающе! И вы не могли найти более подходящей темы? Позвольте-ка посмотреть...

— К сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — я сжег его в печке...

— Этого нельзя сделать, простите, не верю, — снисходительно ответил Воланд, — рукописи не горят, — и обратившись к коту, велел ему: — Бегемот, дай-ка роман сюда!

Тут кот вскочил со стула, и все увидели, что сидел он на толстой пачке рукописей в нескольких экземплярах. Верхний экземпляр кот подал Воланду с поклоном.

Маргарита задрожала, вскрикнула, потом заговорила, волнуясь до слез:

— Вот он, вот он! О, верь мне, что это не галлюцинация! — и, повернувшись к Воланду: — Всесильный, всесильный повелитель!

Воланд проглядел роман с такой быстротой, что казалось, будто вращает страницы струя воздуха из вентилятора. Перелистав манускрипт, Воланд положил его на голые колени и молча, без улыбки, уставился на мастера.

Но тот впал в тоску и беспокойство, встал со стула, заломил руки и пошел в лунном луче к луне, вздрагивая, бормоча что-то.

Коровьев выскочил из-под света свечей и темною тенью закрыл больного, и зашептал:

— Вы расстроились? Ничего, ничего... До свадьбы заживет!.. Еще стаканчик... И я с вами за компанию...

И стаканчик подмигнул — блеснул в лунном свете и помог стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо его теперь стало спокойно.

— Ну, теперь все ясно, — сказал Воланд и постучал длинным пальцем с черным камнем на нем по рукописи.

— Совершенно ясно, — подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, — теперь

главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азазелло? — спросил он у молчащего Азазелло.

— Я говорю, — прогнусавил тот, — что тебя хорошо бы утопить.

— Будь милосерден, Азазелло, — смиренно сказал кот, — и не наводи моего господина на эту мысль. Поверь мне, что я являлся бы тебе каждую ночь в таком же лунном покрывале, как и бедный мастер, и кивал бы тебе и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, Азазелло? Не пришлось бы тебе еще хуже, чем этой глупой Фриде? А?

— Молчание, молчание, — сказал Воланд и, когда оно наступило, сказал так:

— Ну, Маргарита Николаевна, теперь говорите все, что вам нужно.

Маргарита поднялась и заговорила твердо, и глаза ее пылали. Она сгибала пальцы рук, как бы отсчитывая на них все, чтобы ничего не упустить.

— Опять вернуть его в переулок на Арбате, в подвал, и чтобы загорелась лампа, как было.

Тут мастер засмеялся и сказал:

— Не слушайте ее, мессир. Там уже давно живет другой человек. И вообще, нельзя сделать, чтобы все «как было»!

— Как-нибудь, как-нибудь, — тихо сказал Воланд и потом крикнул: — Азазелло! — И Азазелло очутился у плеча Воланда.

— Будь так добр, Азазелло, — попросил его Воланд.

Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный, близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом и в кепке. От страху человек трясся и приседал.

— Могарыч? — спросил Азазелло.

— А... Алоизий Могарыч, — дрожа ответил гражданин.

— Это вы написали, что в романе о Понтии Пилате контрреволюция, и после того, как мастер исчез, заняли его подвал? — спросил Азазелло скороговоркой.

Гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

Маргарита вдруг как кошка кинулась к гражданину и завывая и шипя:

— А! Я — ведьма! — и вцепилась Алоизию Могарычу в лицо ногтями.

Произошло смятение.

— Что ты делаешь! — кричал мастер страдальчески. — Ты покрываешь себя позором!

— Протестую, это не позор! — орал кот.

Маргариту оттащил Коровьев.

— Я ванну пристроил, — стуча зубами, нес исцарапанный Могарыч какую-то околесицу, — и побелил... один купорос...

— Владивосток, — сухо сказал Азазелло, — подавая Могарычу бумажку с адресом, — Банная, 13, квартира 7. Там ванну пристроишь. Вот билет, плацкарта. Поезд идет через 2 минуты.

— Пальто? А пальто?! — вскрикнул Могарыч.

— Пальто и брюки в чемодане, — объяснил расторопный Азазелло, — остальное малой скоростью уже пошло. Вон!

Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни. Слышно было, как грохнула дверь, выводящая на лестницу.

Мастер вытаращил глаза, прошептал:

— Однако! Это, пожалуй, почище будет того, что рассказывал Иван... А, простите, это ты... это вы... — сбился он, не зная, как обратиться к коту, «на ты» или «на вы», — вы — тот самый кот, что садились в трамвай?

— Я, — подтвердил кот и добавил: — Приятно слышать, что вы обращаетесь ко мне на «вы». Котам всегда почему-то говорят «ты».

— Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот, —нерешительно ответил мастер.

— Что же еще, Маргарита Николаевна? — осведомился Воланд у Маргариты.

— Вернуть его роман и... — Маргарита подбежала к Воланду, припала к его коленям и зашептала: — ...верните ему рассудок...

— Ну, это само собой, — шепотом ответил Воланд, а вслух сказал: — И все?

— Все, — подтвердила Маргарита, розовея от радости.

— Позвольте мне сказать, — вступил в беседу мастер, — я должен предупредить, что в лечебнице меня хватятся. Это раз. Кроме того, у меня нет документа. Кроме того, хозяин-застройщик поразится тем, что ис-

чез Могарыч... И... И главное то, что Маргарита безумна не менее, чем я. Марго! Ты хочешь уйти со мною в подвал?

— И уйду, если только ты меня не прогонишь, — сказала Маргарита.

— Безумие! Безумие, — продолжал мастер, — отговорите ее.

— Нет, не будем отговаривать, — покосившись на мастера, ответил Воланд, — это не входило в условие. А вот насчет чисто технической стороны дела... документ этот и прочее. Азазелло!

Азазелло тотчас вытащил из кармана фрака книжечку, вручил ее мастеру со словами:

— Документ!

Тот растерянно взял книжечку, а Азазелло стал вынимать из кармана бумаги и даже большие прошнурованные книги.

— Ваша история болезни...

Маргарита подвела мастера к свечам со словами «ты только смотри, смотри...»

— ... прописка в клинике...

— Раз, и в камин! — затрещал Коровьев, — и готово! Ведь раз нет документа — и человека нет? Не правда ли?

Бумаги охватило пламя.

— А это домовая книга, — пояснил Коровьев, — видите, прописан Могарыч Алоизий... Теперь: эйн, цвей, дрей...

Коровьев дунул на страницу, и прописка Могарыча исчезла.

— Нету Могарыча, — сладко сказал Коровьев, — что Могарыч? Какой такой Могарыч? Не было никакого Могарыча. Он снился.

Тут прошнурованная книга исчезла.

— Она уже в столе у застройщика, — объяснил Коровьев. — И все в порядочке.

— Да, — говорил мастер, ошеломленно вертя головой, — конечно, это глупо, что я заговорил о технике дела...

— Больше я не смею беспокоить вас ничем, — начала Маргарита, — позвольте вас покинуть... Который час?

— Полночь, пять минут первого, — ответил Коровьев.

— Как? — вскричала Маргарита, — но ведь бал шел три часа...

— Ничего неизвестно, Маргарита Николаевна!.. Кто, чего, сколько шел! Ах, до чего все это условно, ах, как условно! — эти слова, конечно, принадлежали Коровьеву.

Появился портфель, в него погрузили роман, кроме того, Коровьев вручил Маргарите книжечку сберкассы, сказав:

— Девять тысяч ваши, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо! Мы не заримся на чужое.

— У меня пусть лапы отсохнут, если к чужому прикоснусь, — подтвердил и кот, танцуя на чемодане, чтобы умять в него роман.

— Все это хорошо, — заметил Воланд, — но, Маргарита Николаевна, куда прикажете девать вашу свиту? Я лично в ней не нуждаюсь.

И тут дверь открылась, и вошли в спальню взволнованная и голая Наташа, а за нею грустный, не проспавшийся после бала Николай Иванович.

Увидев мастера, Наташа обрадовалась, закивала ему головой, а Маргариту крепко расцеловала.

— Вот, Наташенька, — сказала Маргарита, — я буду жить с мастером теперь, а вы поезжайте домой. Вы хотели выйти замуж за инженера или техника. Желаю вам счастья. Вот вам тысяча рублей.

— Не пойду я ни за какого инженера, Маргарита Николаевна, — ответила Наташа, не принимая денег, — я после такого бала за инженера не пойду. У вас буду работать. Вы уж не гоните.

— Хорошо. Сейчас вместе и поедем, — сказала Маргарита Николаевна и попросила Воланда, указывая на Николая Ивановича: — А этого гражданина я прошу отпустить с миром. Он случайно попал в это дело.

— То есть с удовольствием отпущу, — сказал Воланд, — с особенным. Настолько он здесь лишний.

— Я очень прошу выдать мне удостоверение, — заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, — о том, где я провел упомянутую ночь.

– На какой предмет? — сурово спросил кот.

– На предмет представления милиции и супруге, — объяснил Николай Иванович.

— Удостоверений мы не даем, — кот насупился, — но для вас сделаем исключение.

И тут появилась пишущая машинка. Гелла села за нее, а кот продиктовал:

— Сим удостоверяется, что предъявитель сего Николай Иванович Филармонов провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен в качестве перевозочного средства, в скобках — боров ведьмы Наташи. Подпись Бегемот.

— А число? — пискнул Николай Иванович.

— Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, — отозвался кот, подписал бумагу, вынул откуда-то печать, подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил ее Николаю Ивановичу. И тот немедля исчез, и опять стукнула передняя дверь.

В ту же минуту еще одна голова просунулась в дверь.

— Это еще кто? — спросил, заслоняясь от свечей, Воланд.

Варенуха всунулся в комнату, стал на колени, вздохнул и тихо сказал:

— Поплавского до смерти я напугал с Геллой... Вампиром быть не могу, отпустите...

— Какой такой вампир? Я его даже не знаю... Какой Поплавский? Что это еще за чепуха?

— Не извольте беспокоиться, мессир, — сказал Азазелло и обратился к Варенухе:

— Хамить не надо по телефону, ябедничать не надо, слушаться надо, лгать не надо.

Варенуха просветлел лицом и вдруг исчез, и опять-таки стукнула парадная дверь.

Тогда, управившись наконец со всеми делами, подняли мастера со стула, где он сидел безучастно, накинули на него плащ. Наташа, тоже уже одетая в плащ, взяла чемодан, стали прощаться, выходить и вышли в соседнюю темную комнату. Но тут раздался голос Воланда:

— Вернитесь ко мне, мастер и Маргарита, а остальные подождите там.

И вот перед Воландом, по-прежнему сидящим на кровати, оказались оба, которых он позва...

Маргарита стояла, уставив на Воланда блестящие, играющие от радости глаза, а мастер, утомленный и потрясенный всем виденным и пережитым, с глазами потухшими, но не безумными. И теперь в шапочке, заку-

танный в плащ, он казался еще худее, чем был, и нос его заостренный еще более как-то заострился на покрытом черной щетиной лице.

— Маргарита! — сказал Воланд.

Маргарита шевельнулась.

— Маргарита! — повторил Воланд, — вы довольны тем, что получили?

— Довольна, и ничего больше не хочу! — ответила Маргарита твердо.

Воланд приказал ей:

— Выйдите на минуту и оставьте меня с ним наедине.

Когда Маргарита, тихо ступая туфлями из лепестков, ушла, Воланд спросил:

— Ну, а вы?

Мастер ответил глухо:

— А мне ничего и не надо больше, кроме нее.

— Позвольте, — возразил Воланд, — так нельзя. А мечтания, вдохновение? Великие планы? Новые работы?

Мастер ответил так:

— Никаких мечтаний у меня нет, как нет и планов. Я ничего не ищу больше от этой жизни и ничто меня в ней не интересует. Я ее презираю. Она права, — он кивнул на Маргариту, — мне нужно уйти в подвал. Мне скучно на улице, они меня сломали, я хочу в подвал.

— А чем же вы будете жить? Ведь вы будете нищенствовать?

— Охотно, — ответил мастер.

— Хорошо. Теперь я вас попрошу выйти, а она пусть войдет ко мне.

И Маргарита была теперь наедине с Воландом.

— Иногда лучший способ погубить человека — это предоставить ему самому выбрать судьбу, — начал Воланд, — вам предоставлялись широкие возможности, Маргарита Николаевна! Итак, человека за то, что он сочинил историю Понтия Пилата, вы отправляете в подвал в намерении его там убаюкать?

Маргарита испугалась и заговорила горячо:

— Я все сделала так, как хочет он... Я шепнула ему все самое соблазнительное... и он отказался...

— Слепая женщина! — сурово сказал Воланд, — я прекрасно знаю то, о чем вы шептали ему. Но это не

самое соблазнительное. Ну, во всяком случае, что сделано, то сделано. Претензий вы ко мне не имеете?

— О, что вы! Что вы?

— Так возьмите же это на память, — и Воланд подал Маргарите два темных платиновых кольца — мужское и женское.

— Прощайте, — тихо шепнула Маргарита.

— До свидания, — ответил Воланд, и Маргарита вышла.

В передней провожали все, кроме Воланда. На площадку вышли Маргарита и мастер, Наташа с чемоданом и Азазелло.

Маргарита сделала знак Азазелло глазами «там, мол, агент»... Азазелло мрачно усмехнулся и кивнул «ладно, мол».

Шелковые плащи зашумели, компания тронулась вниз. Тут Азазелло дунул в воздух, и, когда проходили мимо окна, на следующей площадке лестницы, Маргарита увидела, что человека в сапогах там нету.

Тут что-то стукнуло на полу, никто не обратил на это внимания, спустились к выходной двери, возле которой опять-таки никого не оказалось. У крыльца стояла темная закрытая машина с потушенными фарами...

ПОГРЕБЕНИЕ

Громадный город исчез в кипящей мгле. Пропали висячие мосты у храма, ипподром, дворцы, как будто их и не было на свете.

Но время от времени, когда огонь зарождался и трепетал в небе, обрушившемся на Ершалаим и пожравшем его, вдруг из хаоса грозового светопреставления вырастала на холме многоярусная как бы снежная глыба храма с золотой чешуйчатой головой. Но пламя исчезало в дымном черном брюхе, и храм уходил в бездну. И грохот катастрофы сопровождал его уход.

При втором трепетании пламени вылетал из бездны противостоящий храму на другом холме дворец Ирода Великого, и страшные безглазые золотые статуи простирали к черному вареву руки. И опять прятался огонь, и тяжкие удары загоняли золотых идолов в тьму.

Гроза переходила в ураган. У самой колоннады в саду переломило, как трость, гранатовое дерево. Вместе с водяной пылью на балкон под колонны забрасывало сорванные розы и листья, мелкие сучья деревьев и песок.

В это время под колоннами находился только один человек. Этот человек был прокуратор.

Он сидел в том самом кресле, в котором вел утром допрос. Рядом с креслом стоял низкий стол и на нем кувшин с вином, чаша и блюдо с куском хлеба. У ног прокуратора простиралась неубранная красная, как бы кровавая, лужа и валялись осколки другого разбитого кувшина.

Слуга, подававший красное вино прокуратору еще при солнце до бури, растерялся под его взглядом, чем-то не угодил, и прокуратор разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив:

— Почему в лицо не смотришь? Разве ты что-нибудь украл?

Слуга кинулся было подбирать осколки, но прокуратор махнул ему рукою, и тот убежал.

Теперь он, подав другой кувшин, прятался возле ниши, где помещалась статуя нагой женщины со склоненной головой, боясь показаться не вовремя на глаза и в то же время боясь и пропустить момент, когда его позовут.

Сидящий в грозовом полумраке прокуратор наливал вино в чашу, пил долгими глотками, иногда притрагивался к хлебу, крошил его, заедал вино маленькими кусочками.

Если бы не рев воды, если бы не удары грома, можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, разговаривает сам с собою. И если бы нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными от последних бессонниц и вина глазами выражает нетерпение, что он ждет чего-то, подставляя лицо летящей водяной пыли.

Прошло некоторое время, и пелена воды стала редеть, яростный ураган ослабевал и не с такою силою ломал ветви в саду. Удары грома, блистание становились реже, над Ершалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая туча. Грозу сносило к Мертвому морю.

Теперь уже можно было расслышать отдельно и шум низвергающейся по желобам и прямо по ступеням воды с лестницы, по которой утром прокуратор спускался на площадь. И наконец зазвучал и заглушенный доселе фонтан. Светлело, в серой пелене неба появились синие окна.

Тут вдали, прорываясь сквозь стук уже слабенького дождика, донеслось до слуха прокуратора стрекотание сотен копыт. Прокуратор шевельнулся, оживился. Это ала, возвращаясь с Голгофы, проходила там внизу за стеною сада по направлению к крепости Антония.

И наконец он услышал и долгожданные шаги, шлепание ног на лестнице, ведущей к площадке сада перед балконом. Прокуратор вытянул шею, глаза его выражали радость.

Показалась сперва голова в капюшоне, а затем и весь человек, совершенно мокрый в прилипающем к телу плаще. Это был тот самый, что сидел во время казни на трехногом табурете.

Пройдя, не разбирая луж, по площадке сада, человек в капюшоне вступил на мозаичный пол и, подняв руку, сказал приятным высоким голосом:

— Прокуратору желаю здравствовать и радоваться.

— Боги! — воскликнул Пилат по-гречески, — да ведь на вас нет сухой нитки! Каков ураган? Прошу вас немедленно ко мне. Переоденьтесь!

Пришедший откинул капюшон, обнаружив мокрую с прилипшими ко лбу волосами голову, и, вежливо поклонившись, стал отказываться переодеться, уверяя, что небольшой дождик не может ему ничем повредить.

Но Пилат и слушать не захотел. Хлопнув в ладоши, он вызвал прячущихся слуг и велел им позаботиться о пришедшем, а также накрыть стол.

Немного времени понадобилось пришельцу, чтобы в помещении прокуратора привести себя в порядок, высушить волосы, переодеться, и вскорости он вышел в колоннаду в сухих сандалиях, в сухом военном плаще, с приглаженными волосами.

В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем утонуть в Средиземном море, посылало прощальные лучи, золотившие ступени балкона. Фонтан ожил и пел замысловато, голуби выбрались на песок, гулькали,

расхаживали, что-то клюя. Красная лужа была затерта, черепки убраны, стол был накрыт.

— Я слушаю приказания прокуратора, — сказал пришедший, подходя к столу.

— Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина, — любезно ответил Пилат, указывая на другое кресло.

Пришедший сел, слуга налил в чашу густое красное вино. Пока пришедший пил и ел, Пилат, смакуя вино, поглядывал прищуренными глазами на своего гостя.

Гость был человеком средних лет, с очень приятным округлым лицом, гладко выбритым, с мясистым носом. Основное, что определяло это лицо, это, пожалуй, выражение добродушия, нарушаемое, в известной степени, глазами. Маленькие глаза пришельца были прикрыты немного странными, как будто припухшими веками. Пришедший любил держать свои веки опущенными, и в узких щелочках светилось лукавство. Пришелец имел манеру во время разговора внезапно приоткрывать веки пошире и взглядывать на собеседника в упор, как бы с целью быстро разглядеть какой-то малозаметный прыщик на лице.

После этого веки опять опускались, оставались щелочки, в которых и светились лукавство, ум, добродушие.

Пришедший не отказался и от второй чаши вина, с видимым наслаждением съел кусок мяса, отведал вареных овощей.

Похвалил вино:

— Превосходная лоза. Фалерно?

— Цекуба, тридцатилетнее, — любезно отозвался хозяин.

После этого гость объявил, что сыт. Пилат не стал настаивать. Африканец наполнил чаши, прокуратор поднялся, и то же сделал его гость.

Оба они отлили немного вина из своих чаш, и прокуратор сказал громко:

— За нас, за тебя, Кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!

После этого допили вино, и африканцы вмиг убрали чуть тронутые яства со стола. Жестом прокуратор показал, что слуги более не нужны, и колоннада опустела.

Хозяин и гость остались одни.

— Итак, — заговорил Пилат негромко, — что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?

Он невольно обратил взор в ту сторону, где за террасой сада видна была часть плоских крыш громадного города, заливавшегося последними лучами солнца.

Гость, ставший после еды еще благодушнее, чем до нее, ответил ласково:

— Я полагаю, прокуратор, что настроение в этом городе теперь хорошее.

— Так что можно ручаться, что никакие беспорядки не угрожают более?

— Ручаться можно, — проговорил гость, с удовольствием поглядывая на голубей, — лишь за одно в мире — мощь великого кесаря...

— Да пошлют ему боги долгую жизнь, — сейчас же продолжил Пилат, — и всеобщий мир. Да, а как вы полагаете, можно ли увести теперь войска?

— Я полагаю, что когорта Громоносного легиона может уйти, — ответил гость и прибавил: — Хорошо бы, если бы еще завтра она продефилировала по городу.

— Очень хорошая мысль, — одобрил прокуратор, — послезавтра я ее отпущу и сам уеду, и, клянусь пиром двенадцати богов, дарами клянусь, я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня.

— Прокуратор не любит Ершалаима? — добродушно спросил гость.

— О, помилуйте, — светски улыбаясь, воскликнул прокуратор, — нет более беспокойного места на всей земле! Маги, чародеи, волшебники, фанатики, богомольцы... И каждую минуту только и ждешь, что придется быть свидетелем кровопролития. Тасовать войска все время, читать доносы и ябеды, из которых половина на тебя самого. Согласитесь, что это скучно!

— Праздники, — снисходительно отозвался гость.

— От всей души желаю, чтобы они скорее кончились, — энергично добавил Пилат, — и я получил бы возможность уехать в Кесарию. А оттуда мне нужно ехать с докладом к наместнику. Да, кстати, этот проклятый Вар-Равван вас не тревожит?

Тут гость и послал этот первый взгляд в щеку прокуратору. Но тот глядел скучающими глазами вдаль, брезгливо созерцая край города, лежащий у его ног и угаса-

ющий перед вечером. И взгляд гостя угас, и веки опустились.

— Я думаю, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок, — заговорил гость, и морщинки улыбки появились на круглом лице, — ему неудобно бунтовать теперь.

— Слишком знаменит? — спросил Пилат, изображая улыбку.

— Прокуратор как всегда тонко понимает вопрос, — ответил гость. — он стал притчей во языцех.

— Но во всяком случае... — озабоченно заметил прокуратор, и тонкий длинный палец с черным камнем в перстне поднялся вверх.

— О, прокуратор может быть уверен, что в Иудее Вар не сделает шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам.

— Теперь я спокоен, — ответил прокуратор, — как, впрочем, и всегда спокоен, когда вы здесь.

— Прокуратор слишком добр.

— А теперь прошу сделать мне доклад о казни, — сказал прокуратор.

— Что именно интересует прокуратора?

— Не было ли попыток выражать возмущение ею, попыток прорваться к столбам?

— Никаких, — ответил гость.

— Очень хорошо, очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла?

— Конечно. Прокуратор может быть уверен в этом.

— Скажите. Напиток им давали перед повешением на столбы?

— Да. Но он, — тут гость метнул взгляд, — отказался его выпить.

— Кто именно? — спросил Пилат, дернув щекой.

— Простите, игемон! — воскликнул гость, — я не назвал? — Га-Ноцри.

— Безумец! — горько и жалостливо сказал Пилат, гримасничая. Под левым глазом у него задергалась жилка, — умирать от ожогов солнца, с пылающей головой... Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону? В каких выражениях он отказался?

— Он сказал, — закрыв глаза, ответил гость, — что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.

— Кого? — глухо спросил Пилат.

— Этого он не сказал, игемон.

— Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?

— Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственно, что он сказал,— это что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.

— К чему это было сказано? — услышал гость треснувший внезапно голос.

— Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.

— В чем странность?

— Он улыбался растерянной улыбкой и все пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих.

— Больше ничего? — спросил хриплый голос.

— Больше ничего.

Прокуратор стукнул чашей, наливая гостю и себе вина.

После того как чаши были осушены, он заговорил.

— Дело заключается в следующем. Хотя мы и не можем обнаружить каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, никто не может.

Гость внимательно слушал, наклонив голову.

— И вот, предположим, — продолжал прокуратор, — что кто-нибудь из тайных его последователей овладеет его телом и похоронит. Нет сомнений, это создаст возле его могилы род трибуны, с которой, конечно, польются какие-либо нежелательные речи.

Эта могила станет источником нелепых слухов. В этом краю, где каждую минуту ожидают мессию, где головы темны и суеверны, подобное явление нежелательно. Я слишком хорошо знаю этот чудесный край!

Поэтому я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех и похоронить их так, чтобы о них не было ни слуху ни духу.

Я думаю, что какой-нибудь грот в совершенно пустынной местности пригоден для этой цели. Вам это виднее, впрочем.

— Слушаю, игемон, — отозвался гость и встал, говоря, — ввиду сложности и ответственности дела, разрешите мне ехать немедленно.

— Нет, сядьте, — сказал Пилат, — есть еще два вопроса. Второй: ваши громадные заслуги, ваша исполни-

тельность и точность на труднейшей работе в Иудее заставляют меня доложить о вас в Риме. О том же я сообщу и наместнику Сирии. Я не сомневаюсь в том, что вы получите повышение или награду.

Гость встал и поклонился прокуратору, говоря:

— Я лишь исполняю долг императорской службы.

— Но я хотел просить вас, если вам предложат перевод отсюда, отказаться от него и остаться здесь. Мне не хотелось бы расстаться с вами. Пусть наградят вас каким-нибудь иным способом.

— Я счастлив служить под вашим начальством, игемон.

— Итак, третий вопрос, — продолжал прокуратор, — касается он этого, как его... Иуды из Кериафа.

Гость послал прокуратору свой взгляд и как всегда убрал его.

— Говорят, что он, — понизив голос, говорил прокуратор, — что он деньги получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа.

— Получит, — негромко ответил гость.

— А велика ли сумма?

— Этого никто знать не может, игемон.

— Даже вы? — изумлением своим выражая комплимент, сказал игемон.

— Даже я, — спокойно ответил гость, — но что он получит деньги сегодня вечером, это я знаю.

— Ах, жадный старик, — улыбаясь заметил прокуратор, — ведь он старик?

— Прокуратор никогда не ошибается, — ответил гость, — но на сей раз ошибся. Это молодой человек.

— Скажите. У него большая будущность, вне сомнений.

— О, да.

— Характеристику его можете мне дать?

— Трудно знать всех в этом громадном городе.

— А все-таки?

— Очень красив.

— А еще. Страсть имеет ли какую-нибудь?

— Влюблен.

— Так, так, так. Итак, вот в чем дело: я получил сведения, что его зарежут этой ночью.

Тут гость открыл глаза и не метнул взгляд, а задержал его на лице прокуратора.

— Я не достоин лестного доклада прокуратора обо мне, — тихо сказал гость, — у меня этих сведений нет.

— Вы — достойны, — ответил прокуратор, — но это так.

— Осмелюсь спросить — от кого эти сведения?

— Разрешите мне покуда этого не говорить, — отметил прокуратор. — тем более что сведения эти случайны, темны и недостоверны. Но я обязан предвидеть все, увы, такова моя должность, а пуще всего я обязан верить своему предчувствию, ибо никогда еще оно меня не обманывало.

Сведение же заключается в том, что кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенных поступком этого человека из Кериафа, сговариваются его убить, а деньги его подбросить первосвященнику с запиской: «Иуда возвращает проклятые деньги».

Три раза метал свой взор гость на прокуратора, но тот встретил его, не дрогнув.

— Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок? — спросил прокуратор, нервно потирая руки.

— Не только неприятно, — почему-то улыбнувшись прокуратору, сказал гость, — но это будет скандал.

— Да, да! И вот, я прошу вас заняться этим делом, — сказал прокуратор, — то есть принять все меры к охране Иуды из Кериафа. Иудейская власть и их церковники, как видите, навязали нам неприятное дело об оскорблении величества, а мы — римская администрация — обязаны еще за это заботиться об охране какого-то негодяя! — голос прокуратора выражал скуку и в то же время возмущение, а гость не спускал с него своих закрытых глаз.

— Приказание игемона будет исполнено, — заговорил он, — но я должен успокоить игемона, замысел злодеев чрезвычайно трудно выполним. Ведь подумать только: выследить его, зарезать, даете узнать сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Каиафе! Да еще в одну ночь!

— И тем не менее его зарежут сегодня! — упрямо повторил Пилат, — зарежут этого негодяя! Зарежут!

Судорога прошла по лицу прокуратора, и опять он потер руки.

— Слушаю, слушаю, — покорно сказал гость, не желая более волновать прокуратора, и вдруг встал, выпрямился и спросил сурово:

— Так зарежут, игемон?

— Да! — ответил Пилат, — и вся надежда только на вас и вашу изумительную исполнительность.

Гость обернулся, как будто искал глазами чего-то в кресле, но не найдя, сказал задумчиво, поправляя перед уходом тяжелый пояс с ножом под плащом:

— Я не представляю, игемон, самого главного: где злодеи возьмут деньги. Убийство человека, игемон, — улыбнувшись, пояснил гость, — влечет за собою расходы.

— Ну, уж это чего бы ни стоило! — сказал прокуратор, скалясь, — нам до этого дела нет.

— Слушаю, — ответил гость, — имею честь...

— Да! — вскричал Пилат негромко, — ах, я совсем и забыл! Ведь я вам должен!..

Гость изумился:

— Помилуйте, прокуратор, вы мне ничего не должны.

— Ну, как же нет! При въезде моем в Ершалаим толпа нищих... помните... я хотел швырнуть им деньги... у меня не было... я взял у вас...

— Право, не помню. Это какая-нибудь безделица...

— И о безделице надлежит помнить!

Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на третьем кресле, вынул из-под него небольшой кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая и пряча его под плащ.

— Слушайте, — заговорил Пилат, — я жду доклада о погребении, а также и по делу Иуды из Кериафа сегодня же ночью, слышите, сегодня! Я буду здесь, на балконе. Мне не хочется идти внутрь, ненавижу это пышное сооружение Ирода! Я дал приказ конвою будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас!

— Прокуратору здравствовать и радоваться! — молвил гость и, повернувшись, вышел из-под колоннады, захрустел по мокрому песку. Фигура его вырисовывалась четко на фоне линяющего к вечеру неба. Потом пропала за колонной.

Лишь только гость покинул прокуратора, тот резко изменился. Он как будто на глазах постарел и сгорбил-

ся, стал тревожен. Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал отброшенный его рукою плащ. В надвигающихся сумерках, вероятно, прокуратору померещилось, что кто-то третий сидел и сидит в кресле.

В малодушии пошевелив плащ, прокуратор забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к столу, хватаясь за чашу, то останавливаясь и глядя страдальчески в мозаику, как будто стараясь прочитать в ней какие-то письмена. На него обрушилась тоска, второй раз за сегодняшний день. Потирая висок, в котором от адской утренней боли осталось только тупое воспоминание, прокуратор старался понять, в чем причина его мучений. Он понял это быстро, но старался обмануть себя. Он понял, что сегодня что-то было безвозвратно упущено и теперь он, это упустивший, какими-то мелкими и ничтожными действиями старается совершенное исправить, внушая себе, что действия эти большие и не менее важные, чем утренний приговор. Но они не были серьезными действиями, увы, он это понимал.

На одном из поворотов он остановился круто и свистнул, и прислушался. На этот свист в ответ послышался грозный низкий лай и из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес серой шерсти, в ошейнике с золочеными бляшками.

— Банга... Банга... — слабо крикнул прокуратор.

Пес поднялся на задние лапы, а передние опустил на плечи своему хозяину, так что едва не повалил его на пол, хотел лизнуть в губы, но прокуратор уклонился от этого и опустился в кресло. Банга, высунув язык, часто дыша, улегся у ног своего хозяина, и в глазах у пса выражалась радость от того, во-первых, что кончилась гроза, которой пес не любил и боялся, и от того, что он опять тут, рядом с этим человеком, которого любил, уважал и считал самым главным, могучим в мире повелителем, благодаря которому и себя считал существом высшим.

Но, улегшись и поглядев в вечереющий сад, пес сразу понял, что с хозяином его случилась беда. Поэтому он переменил позу, подошел сбоку и передние лапы и голову положил на колени прокуратору, вымазав полы палюдаментума мокрым песком. Вероятно, это должно было означать, что он готов встретить несчастье вместе со своим хозяином. Это он пытался выразить и в глазах,

скошенных к хозяину, и в насторожившихся, навостренных ушах.

Так оба они, и пес и человек, и встретили вечер на балконе.

В это время гость, покинувший прокуратора, находился в больших хлопотах. Покинув балкон, он отправился туда, где помещались многочисленные подсобные службы великого дворца и где была расквартирована часть когорты, пришедшей в Ершалаим вместе с прокуратором, а также та, не входящая в состав ее, команда, непосредственно подчиненная гостю.

Через четверть часа примерно пятнадцать человек в серых плащах верхом выехали из задних черных ворот дворцовой стены, а за ними тронулись легионные дроги, запряженные парой лошадей. Дроги были загружены какими-то инструментами, прикрытыми рогожей. Эти дроги и конный взвод выехали на пыльную дорогу за Ершалаимом и под стенами его с угловыми башнями направились на север к Лысой Горе.

Гость же, через некоторое время переодетый в старенький невоенный плащ, верхом выехал из других ворот дворца Ирода и поехал к крепости Антония, где квартировали вспомогательные войска. Там он пробыл некоторое, очень незначительное время, а затем след его обнаружился в Нижнем Городе, в кривых его и путаных улицах, куда он пришел уже пешком.

Придя в ту улицу, где помещались несколько греческих лавок, он подошел к той из них, где торговали коврами. Лавка была уже заперта. Гость прокуратора вошел в калитку, повернул за угол и у терраски, увитой плющом, негромко позвал:

— Низа!

На зов этот на террасе появилась молодая женщина без покрывала. Увидев, кто пришел, она приветливо заулыбалась, закивала. Радость на ее красивом лице была неподдельна.

— Ты одна? — по-гречески негромко спросил Афраний.

— Одна, — шепнула она, — муж уехал. Дома только я и служанка.

Она сделала жест, означающий «входите». Афраний оглянулся и потом вступил на каменные ступени. И он и женщина скрылись внутри.

Афраний пробыл у этой женщины недолго, не более пяти минут. Он вышел на террасу, спустил пониже капюшон на глаза и вышел на улицу.

Сумерки надвигались неумолимо быстро. Предпраздничная толчея была велика, и Афраний потерялся среди снующих прохожих, и дальнейший путь его неизвестен.

Женщина же, Низа, оставшись одна, стала спешить, переодеваться, искать покрывало. Она была взволнована, светильника не зажгла.

В несколько минут она была готова, и послышался ее голос:

— Если меня спросят, скажи, что я ушла в гости к Энанте. — Ее сандалии застучали по камням дворика, старая служанка закрыла дверь на террасу.

В это же время из домика в другом переулке Нижнего Города вышел молодой чернобородый человек в белом чистом кефи, ниспадавшем на плечи, в новом голубом таллифе с кисточками внизу, в новых сандалиях.

Горбоносый красавец, принарядившийся для великого праздника, шел бодро, обгоняя прохожих, спеша к дворцу Каиафы, помещавшемуся недалеко от храма.

Его и видели входящим во двор этого дворца, в котором пробыл недолгое время.

Посетив дворец, в котором уже стали загораться светильники, молодой человек вышел еще бодрее, еще радостнее, чем раньше, и заспешил в Нижний Город.

На углу ему вдруг пересекла дорогу идущая как бы танцующей походкой легкая женщина в черном, в покрывале, скрывающем глаза. Женщина откинула покрывало, метнула в сторону молодого человека взгляд, но не замедлила легкого шага.

Молодой человек вздрогнул, остановился, но тотчас бросился вслед женщине. Нагнав ее, он в волнении сказал:

— Низа!

Женщина повернулась, прищурилась, холодно улыбнулась и молвила по-гречески:

— А это ты, Иуда? А я тебя не узнала...

Иуда, волнуясь, спросил шепотом, чтобы не слышали прохожие:

— Куда ты идешь, Низа?

Голос его дрожал.

— А зачем тебе это знать? — спросила Низа, отворачиваясь.

Сердце Иуды сжалось, и он ответил робко:

— Я хотел зайти к тебе...

— Нет, — ответила Низа, — скучно мне в городе. У вас праздник, а мне что делать? Сидеть и слушать, как ты вздыхаешь? Нет. И я ухожу за город слушать соловьев.

— Одна? — шепнул Иуда.

— Конечно, одна.

— Позволь мне сопровождать тебя, — задохнувшись, сказал Иуда.

Сердце его прыгнуло, и мысли помутились.

Низа ничего не ответила и ускорила шаг.

— Что же ты молчишь, Низа? — спросил Иуда, равняя по ней свой шаг.

— А мне не будет скучно с тобой? — вдруг спросила Низа и обернулась к Иуде.

В сумерках глаза ее сверкнули, и мысли Иуды совсем смешались.

— Ну, хорошо, — вдруг смягчилась Низа, — иди. Но только отойди от меня и следуй сзади. Я не хочу, чтобы про меня сказали, что видели меня с любовником.

— Хорошо, хорошо, — зашептал Иуда, — но только скажи, куда мы идем.

Тогда Низа приблизилась к нему и прошептала:

— В масличное имение, в Гефсиманию за Кедрон... Иди к масличному жому, а оттуда к гроту. Отделись, отделись от меня и не теряй меня из виду.

И она заспешила вперед, а Иуда, делая вид, что идет один, что он сам по себе, пошел медленнее.

Теперь он не видел окружающего. Прохожие спешили домой, праздник уже входил в город, в воздухе слышалась взволнованная речь. По мостовой гнали осликов, подхлестывали их, кричали на них. Мимо мелькали окна, и в них зажигались огни.

Иуда не заметил, как пролетела мимо крепости Антония. Конный патруль с факелом, обливавший тревожным светом тротуары, проскакал мимо, не привлекши внимания Иуды.

Он летел вперед, и сердце его билось. Он напрягался в одном желании не потерять черной легкой фигурки, танцующей впереди. Когда он был у городской восточной, стены, луна выплыла над Ершалаимом. Народу

здесь было мало. Проскакал конный римлянин, проехали двое на ослах. Иуда был за городской стеной.

Дорогу над стеною заливала луна. Воздух после душного города был свеж, благоуханен.

Черная фигурка бежала впереди. Иуда видел, как она оставила дорогу под стеной и пошла прямо на Кедронский ручей. Иуда хотел прибавить шагу, но фигурка обернулась и угрожающе махнула рукою.

Тогда Иуда отстал.

Фигурка вступила на камни ручья, где воды было по щиколотку, и перебралась на другую сторону.

Немного погодя то же сделал и Иуда. Вода тихо журчала у него под ногами. Перепрыгивая с камешка на камешек, он вышел на гефсиманский берег. Фигурка скрылась в полуразрушенных воротах имения и пропала.

Иуда прибавил шагу.

Ко всему прибавился одуряющий запах весенней ночи. Благоухающая волна сада накрыла Иуду, лишь только он достиг ограды. Запах мирта и акаций, тюльпанов и орхидей вскружил ему голову.

И он после пустынной дороги, сверкающей в лунном неудержимом сиянии, проскочив за ограду, попал в таинственные тени развесистых, громадных маслин. Дорога вела в гору, и Иуда подымался тяжело дыша, из тьмы попадая в узорчатые лунные ковры. Он увидел на поляне по левую руку от себя темное колесо масличного жома и груду бочек... Нигде не было ни души.

Над ним теперь гремели и заливались соловьи.

Цель его была близка. Он знал, что сейчас он услышит тихий шепот падающей из грота воды. И услыхал его. Теперь цель была близка

И негромко он крикнул:

— Низа!

Но вместо Низы, отлепившись от толстого ствола маслины, передним выпрыгнула на дорогу мужская коренастая фигура, и что-то блеснуло тускло в руке у нее и погасло.

Как-то сразу Иуда понял, что погиб, и слабо вскрикнул: «Ах!»

Он бросился назад, но второй человек преградил ему путь.

Первый, что был впереди, спросил Иуду:

— Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь!

Надежда вспыхнула в сердце Иуды. Он отчаянно вскричал:

— Тридцать денариев, тридцать денариев. Вот они! Берите! Но сохраните жизнь!

Передний мгновенно выхватил у него из рук кошель. В то же мгновение сзади него взлетел нож и как молния ударил его под лопатку. Иуду швырнуло вперед, и руки со скрюченными пальцами он выбросил вверх. Передний размахнулся и по рукоять всадил кривой нож ему в сердце. Тело Иуды тогда рухнуло наземь.

Передний осторожно, чтобы не замочить в крови сандалий, приблизился к убитому, погрузил кошель в кровь. Тот, что был сзади, торопливо вытащил кусок кожи и веревку.

Третья фигура тогда появилась на дороге. Она была в плаще с капюшоном.

— Всё здесь? — спросил третий.

— Всё, — ответил первый убийца.

— Не медлите, — приказал третий.

Первый и второй торопливо упаковали кошель в кожу, перекрестили веревкой. Второй сверток засунул за пазуху, и затем оба устремились из Гефсимании вон. Третий же присел на корточки и глянул в лицо убитому. В тени оно представилось ему белым как мел и неземной красоты.

Через несколько секунд на дороге никого не осталось. Бездыханное тело лежало с раскинутыми руками. Одна нога попала в лунное пятно, так что отчетливо был виден каждый ремешок сандалии.

Человек в капюшоне, покинув зарезанного, устремился в чащу и гущу маслин, к гроту и тихо свистнул. От скалы отделилась женщина в черном, и тогда оба побежали из Гефсимании, по тропинкам в сторону, к югу.

Бежавшие удалились из сада, перелезли через ограду там, где вывалились верхние камни кладки, и оказались на берегу Кедрона. Молча они пробежали некоторое время вдоль потока и добрались до двух лошадей и человека на одной из них. Лошади стояли в потоке. Мужчина, став на камень, посадил на лошадь женщину и сам поместился сзади нее. Лошади тогда вышли на ер-

шалаимский берег. Коновод отделился и поскакал вперед вдоль городской стены.

Вторая лошадь со всадником и всадницей была пущена медленнее и так шла, пока коновод не скрылся. Тогда всадник остановился, спрыгнул, вывернул свой плащ, снял с пояса свой плоский шлем без гребня перьев, надел его. Теперь на лошадь вскочил человек в хламиде, с коротким мечом.

Он тронул поводья, и горячая лошадь пошла рысью, потряхивая всадницу, прижимавшуюся к спутнику.

После молчания женщина тихо сказала:

— А он не встанет? А вдруг они плохо сделали?

— Он встанет, — ответил круглолицый шлемоносный гость прокуратора, — когда прозвучит над ним труба Мессии, но не раньше, — и прибавил: — Перестань дрожать. Хочешь, я тебе дам остальные деньги?

— Нет, нет, — отозвалась женщина, — мне сейчас их некуда деть. Вы передадите их мне завтра.

— Доверяешь? — спросил приятным голосом ее спутник.

Путь был недалек. Лошадь подходила к южным воротам. Тут военный ссадил женщину, пустил лошадь шагом. Так они появились в воротах. Женщина стыдливо закрывала лицо покрывалом, идя рядом с лошадью.

Под аркой ворот танцевало и прыгало пламя факела. Патрульные солдаты из 2-й кентурии второй когорты Громоносного легиона сидели, беседуя, на каменной скамье.

Увидев военного, вскочили; военный махнул им рукою, женщина, опустив голову, старалась проскользнуть как можно скорее. Когда военный со своей спутницей углубился в улицу, солдаты перемигнулись, захохотали, тыча пальцами вслед парочке.

Весь город, по которому двигалась парочка, был полон огней. Всюду горели в окнах светильники, и в теплом воздухе отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали славословия.

Над городом висела неподвижная полная луна, горевшая ярче светильников.

Где разделилась пара, неизвестно, но уже через четверть часа женщина стучалась в греческой улице в дверь домика неунывающей вдовы ювелира Энанты. Из от-

крытого окна виден был свет, слышался мужской и женский смех.

— Где же ты была? — спрашивала Энанта, обнимая подругу, — мы уже потеряли терпение.

Низа под строгим секретом шепотом сообщила, что ездила кататься со своим знакомым. Подруги обнимались, хихикали. Энанта сообщила, что в гостях у нее командир манипула, очаровательный красавец.

Гость же прибыл в Антониеву башню и, сдав лошадь, отправился в канцелярию своей службы, предчувствуя, что пасхальная ночь может принести какие-либо случайности.

Он не ошибся. Не позже чем через час по его приезде явились представители храмовой охраны и сделали заявление о том, что какие-то негодяи осквернили дом первосвященника, подбросив во двор его окровавленный пакет с серебряными деньгами.

Гостю пришлось поехать с ними и на месте произвести расследование. Точно, пакет был подброшен. Храмовая полиция волновалась, требовала розыска, высказывала предположение, что кого-то убили, а убив, уже нанесли оскорбление духовной власти.

С последним предположением гость согласился, обещая беспощадный поиск начать немедленно с рассветом. Тут же пытался добиться сведений о том, не были ли выплачены какие-либо деньги представителями духовной власти кому-либо, что облегчило бы нахождение следа. Но получил ответ, что никакие деньги никому не выплачивались. Взяв с собою пакет с вещественным доказательством, пакет, запечатанный двумя печатями — полиции храма и его собственной, гость прокуратора уехал в Антониеву башню, чтобы там дожидаться возвращения отряда, которому было поручено погребение тел трех казненных. Он знал, что ему предстоит бессонная и полная хлопот ночь в городе, где как светляки горели мириады светильников, где совершалось волнующее торжество праздничной трапезы.

Дворец Ирода не принимал участия в этом торжестве. Во второстепенных его покоях, обращенных на юг, где разместились офицеры римской когорты, пришедшей с прокуратором в Ершалаим, светились огни, было какое-то движение и жизнь, передняя же часть, парадная, где был единственный и невольный жилец — про-

куратор, вся она со своими колоннадами как ослепла под ярчайшей луной.

В ней была тишина, мрак внутри и насторожившееся отчаяние.

Прокуратор бодрствовал до полуночи, все ждал прихода Афрания, но того не было. Постель прокуратору приготовили на том же балконе, где он вел допрос, где обедал, и он лег, но сон не шел. Луна висела оголенная слева и высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов.

Около полуночи сон сжалился над ним; он снял пояс с тяжелым широким ножом, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и вытянулся на ложе. Банга тотчас поднялся к нему на ложе и лег рядом, голова к голове, и смежил наконец прокуратор глаза. Тогда заснул и пес.

Ложе было в полутьме, но от ступеней крыльца к нему тянулась лунная дорога. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он тронулся по этой дороге и пошел прямо вверх и к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до того все сложилось прекрасно и неповторимо на светящейся голубой дороге. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили о чем-то сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Конечно, сегодняшняя казнь оказалась чистым недоразумением — ведь вот же философ, выдумавший невероятно смешные вещи, вроде того что все люди добры, шел рядом, значит, был жив. И конечно, совершенно ужасно было бы даже подумать, что такого человека можно казнить. Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия по лестнице луны ввысь!

Времени свободного сколько угодно, а гроза будет только к вечеру и трусость один из самых страшных пороков. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!

Ведь не трусил же ты в Долине Дев, когда германцы едва не загрызли Крысобоя-великана! Но помилуйте меня, философ! Неужели вы допускаете мысль, что из-за вас погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

«Да, да, — стонал и всхлипывал во сне Пилат. — Конечно, погубит, на все пойдет, чтобы спасти от казни

ни в чем, решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!»

«Мы теперь вместе всегда», — говорил ему во сне бродячий оборванный философ, неизвестно откуда взявшийся.

Раз я, то, значит, и ты! Помянут меня, помянут и тебя! Тебя, сына короля-звездочета и дочери мельника красавицы Пилы!

«Помяни, помяни меня, сына короля-звездочета», — просил во сне Пилат. И, заручившись кивком идущего рядом бедняка из Эн-Назиры, от радости плакал и смеялся.

Тем ужаснее, да, тем ужаснее было пробуждение прокуратора. Он услышал рычание Банги, и лунная дорога под ним провалилась. Он открыл глаза и сразу же вспомнил, что казнь была! Он больными глазами искал луну. Он нашел ее: она немного отошла в сторону и побледнела. Но резкий неприятный свет играл на балконе, жег глаза прокуратора. В руках у Крысобоя-кентуриона пылал и коптил факел, кентурион со страхом косился на опасную собаку, не лежащую теперь, а приготовившуюся к прыжку.

— Не трогать, Банга, — сказал прокуратор и охрипшего голоса своего не узнал.

Он заслонился от пламени и сказал:

— И ночью, и при луне мне нет покоя. Плохая у вас должность, Марк. Солдат вы калечите...

Марк взглянул на прокуратора удивленно, и тот опомнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесенные со сна, он добавил:

— Не обижайтесь, Марк, у меня еще хуже... Что вам надо?

— К вам начальник тайной службы, — сказал Марк.

— Зовите, зовите. — хрипло сказал прокуратор, садясь.

На колоннах заиграло пламя, застучали калиги кентуриона по мозаике. Он вышел в сад.

— И при луне мне нет покоя, — скрипнув зубами, сказал сам себе прокуратор.

Тут на балконе появился Афраний.

— Банга, не трогать, — тихо молвил прокуратор и прочистил голос.

Афраний, прежде чем начать говорить, оглянулся по своему обыкновению и, убедившись, что, кроме Банги, которого прокуратор держал за ошейник, лишних нет, тихо сказал:

— Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кериафа. Его зарезали.

Четыре глаза в ночной полутьме глядели на Афрания, собачьи и волчьи.

— Как было? — жадно спросил Пилат.

Афраний вынул из-под хламиды заскорузлый от крови мешок с двумя печатями.

— Вот этот мешок с деньгами Иуды подбросили убийцы в дом первосвященника, — спокойно объяснял Афраний, — кровь на этом мешке Иуды.

— Сколько там? — спросил Пилат, наклоняясь к мешку.

— Тридцать денариев.

Прокуратор рассмеялся, потом спросил:

— А где убитый?

— Этого я не знаю, — ответил Афраний, — утром будем его искать.

Прокуратор вздрогнул, глянул на пришедшего.

— Но вы, наверное, знаете, что он убит?

На это прокуратор получил сухой ответ:

— Я, прокуратор, пятнадцать лет на работе в Иудее. Я начал службу еще при Валерии Грате. И мне не обязательно видеть труп, чтобы сказать, что человек убит. Я официально вам докладываю, что человек, именуемый Иудой из города Кериафа, этою ночью убит.

— Прошу простить, Афраний, — отозвался вежливый Пилат, — я еще не проснулся, оттого и говорю нелепости. И сплю я плохо и вижу лунную дорогу. Итак, я хотел бы знать ваши предположения по этому делу. Где вы собираетесь его искать? Садитесь, Афраний.

— Я собираюсь его искать у масличного жома в Гефсиманском саду.

— Почему именно там?

— Игемон, Иуда убит не в самом Ершалаиме и не далеко от него. Он убит под Ершалаимом.

— Вы замечательный человек. Почему?

— Если бы его убили в самом городе, мы уже знали бы об этом, и тело уже было бы обнаружено. Если бы

его убили вдалеке от города, пакет с деньгами не мог быть подброшен так скоро. Он убит вблизи города. Его выманили за город.

— Каким образом?

— Это и есть самый трудный вопрос, прокуратор, — сказал Афраний, — и даже я не знаю, удастся ли его разрешить.

— Да, — сказал Пилат во тьме, ловя лицо Афрания, — это действительно загадочно. Человек в праздничный вечер уходит неизвестно зачем за город и там погибает. Чем, как и кто его выманил?

— Очень трудно, прокуратор...

— Не сделала ли это женщина? — вдруг сказал прокуратор и поверх головы Афрания послал взгляд на луну.

А Афраний послал взгляд прокуратору и сказал веско:

— Ни в каком случае, прокуратор. Это совершенно исключено. Более того скажу: такая версия может только сбить со следу, мешать следствию, путать меня.

— Так, так, так, — отозвался Пилат, — я ведь только высказал предположение...

— Это предположение, увы, ошибочно, прокуратор. Единственно, что в мире может выманить Иуду, это деньги...

— Ага... но какие же деньги, кто и зачем станет платить ночью за городом?

— Нет, прокуратор, не так. У меня есть другое предположение, и пожалуй, единственное. Он хотел спрятать свои деньги в укромном, одному ему известном месте.

— Ага... ага... это, вероятно, правильно. Еще: кто мог убить его?

— Да это тоже сложно. Здесь возможно лишь одно объяснение. Очевидно, как вы и предполагали, у него были тайные поклонники. Они и решили отомстить Каиафе за смертный приговор.

— Так. Ну, что же теперь делать?

— Я буду искать убийцу, а меня тем временем вам надлежит отдать под суд.

— За что, Афраний?

— Моя охрана упустила его в Акре.

— Как это могло случиться?

— Не постигаю. Охрана взяла его в наблюдение немедленно после нашего разговора с вами. Но он ухитрился на дороге сделать странную петлю и ушел.

— Так. Я не считаю нужным отдавать вас под суд, Афраний. Вы сделали все, что могли, и больше вас никто не мог бы сделать. Взыщите с сыщика, потерявшего его. Хотя и тут я не считаю нужным быть особенно строгим. В этой каше и путанице Ершалаима можно потерять верблюда, а не то что человека.

— Слушаю, прокуратор.

— Да, Афраний... Мне пришло в голову вот что: не покончил ли он сам с собою?

— Гм... гм, — отозвался в полутьме Афраний, — это, прокуратор, маловероятно.

— А по-моему, ничего невероятного в этом нет. Я лично буду придерживаться этого толкования. Да оно, кстати, и спокойнее всех других. Иуду вы не вернете, а вздувать это дело... Я не возражал бы даже, если бы это толкование распространилось бы в народе.

— Слушаю, прокуратор.

Особенно резких изменений не произошло ни в небе, ни в луне, но чувствовалось, что полночь далеко позади и дело идет к утру. Собеседники лучше различали друг друга, но это происходило оттого, что они присмотрелись.

Прокуратор попросил Афрания поиски производить без шума и ликвидировать дело, и прежде всего погребение Иуды, как можно скорее.

А затем он спросил, сделано что-либо для погребения трех казненных.

— Они погребены, прокуратор.

— О, Афраний! Нет, не под суд вас надо отдавать, нет! Вы достойны наивысшей награды! Расскажите подробности.

Афраний начал рассказывать. В то время как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи достигла Голгофы еще засветло. И не обнаружила одного тела.

Пилат вздрогнул, сказал хрипло:

— Ах, как же я этого не предвидел!

Афраний продолжал повествовать. Тела Дисмаса и Гестаса, с выклеванными уже хищными птицами глазами, подняли и бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили очень скоро. Некий человек...

— Левий Матвей, — тихо, не вопросительно, а как-то горько, утвердительно сказал Пилат.

— Да, прокуратор...

Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне Голгофы, дожидаясь тьмы. Голое тело убитого Иешуа было с ним. Когда стража вошла в пещеру, Левий впал в отчаяние и злобу. Он кричал, что не совершил никакого преступления, что всякий по закону имеет право похоронить казненного преступника, если желает. Что он не желает расставаться с этим телом. Он говорил бессвязно, о чем-то просил и даже угрожал и проклинал...

— Меня, — сказал тихо Пилат, — ах, я не предвидел... Неужели его схватили за это?

— Нет, прокуратор, нет, — как-то протяжно и мягко ответил Афраний, — дерзкому безумцу объяснили, что тело будет погребено.

Левий Матвей, услыхав, что речь идет об этом, поутих, но заявил, что он не уйдет и желает участвовать в погребении. Что его могут убить, но он не уйдет, и предлагал даже для этой цели хлебный нож, который был с ним.

— Его прогнали? — сдавленным голосом спросил Пилат.

— Нет, прокуратор, нет.

Что-то вроде улыбки в полутьме мелькнуло на лице Афрания.

Левию Матвею было разрешено участвовать в погребении. Тут Афраний скромно сказал, что не знал, как поступить, и что если он сделал ошибку, допустив к участию этого Левия Матвея, то она поправима. Левий Матвей, свидетель погребения, может быть легко так или иначе устранен.

— Продолжайте, — сказал Пилат, — ошибки не было. И вообще, я начинаю теряться, Афраний. Я имею дело с человеком, который, по-видимому, никогда не делает ошибок. Этот человек — вы.

Левия Матвея взяли на повозку, так же как и тела, и через два часа уже в сумерках, достигли пустынного ущелья. Там команда, работая посменно по четыре человека, в течение часа выкопала глубокую яму и похоронила в ней трех казненных.

— Обнаженными?

— Нет, прокуратор. Хитоны были взяты командой. На пальцы я им надел медные кольца. Ешуа с одною нарезкою, Дисмасу с двумя и Гестасу с тремя.

Яма зарыта, завалена камнями. Поручение ваше исполнено.

— Если бы я мог предвидеть... Я хотел бы видеть этого Левия Матвея.

— Он здесь, прокуратор, — ответил Афраний, вставая и кланяясь.

— О, Афраний!..

Пилат поднялся, потер руки, заговорил так:

— Вы свободны, Афраний. Я вам благодарен. Прошу вас принять от меня это, — и он достал из-под плаща, как тогда днем, спрятанный мешок.

— Раздайте награды вашей команде. А лично от меня вот вам на память... — Пилат взял со стола тяжелый перстень и подал его Афранию.

Тот склонился низко, говоря:

— Такая честь, прокуратор...

— Итак, Афраний, — заговорил Пилат, плохо слушая последние слова своего гостя, нервничая почему-то и потирая руки, что, по-видимому, становилось привычкой прокуратора, — вы свободны, я не держу вас. Мне пришлите сюда этого Левия сейчас же. Я поговорю с ним. Мне нужны еще кое-какие подробности дела Иешуа.

— Слушаю, прокуратор, — отозвался Афраний и стал отступать и кланяться, а прокуратор обернулся, хлопнул в ладоши и вскричал:

— Эй! Кто там? Свету в колоннаду мне! Свету!

Из тьмы у занавеса тотчас выскочили две темные как ночь фигуры, заметались, а затем на столе перед Пилатом появились три светильника.

Лунная ночь отступила с балкона, ее как будто унес с собою уходящий Афраний, а через некоторое время громадное тело Крысобоя заслонило луну.

Вместе с ним на балкон вступил другой человек, маленький и тощий по сравнению с кентурионом.

Кентурион удалился, и прокуратор остался наедине с пришедшим.

Огоньки светильников дрожали, чуть-чуть коптили.

Прокуратор смотрел на пришедшего жадными, немного испуганными глазами, как смотрят на того, о ком

слышали много, о ком сами думали и кто наконец появился.

Пришедший был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи, исподлобья. Он был неприглядeн и скорее всего походил на городского нищего, каких много толпится у террас храма или на базарах Нижнего Города.

Молчание продолжалось долго и нарушилось оно каким-то странным поведением пришельца. Он изменился в лице, шатнулся и, если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы.

— Что с тобой? — спросил его Пилат.

— Ничего, — ответил Левий Матвей и сделал такое движение, как будто что-то проглотил. Тощая, голая, грязная шея его взбухла и опала. — Что с тобою? Отвечай, — повторил Пилат.

— Я устал, — ответил Левий и поглядел мрачно в пол.

— Сядь, — молвил Пилат и указал на кресло.

Левий недоверчиво-испуганно поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, поглядел на сиденье и золотые ручки и сел на пол рядом с креслом, поджав ноги.

— Почему не сел в кресло? — спросил Пилат.

— Я грязный, я его запачкаю, — сказал Левий, глядя в землю.

— Ну хорошо, — молвил Пилат и, помолчав, добавил: — Сейчас тебе дадут поесть.

— Я не хочу есть, — ответил Левий.

— Зачем же лгать? — спросил Пилат тихо. — Ты ведь не ел целый день, а может быть, и больше. Ну, хорошо. Не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя.

— Солдаты взяли его, когда вводили сюда, — ответил Левий и обнаружил беспокойство. — Мне его надо вернуть хозяину, я его украл.

— Зачем?

— Нужно было веревки перерезать, — ответил Левий.

— Марк! — позвал прокуратор, и кентурион вступил под колонны.

— Нож его покажите мне.

Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлебный нож и, подав его прокуратору, ушел.

— Его вернуть надо, — неприязненно повторил Левий, не глядя на прокуратора.

— Где взял его?

— В хлебной лавке у ворот. Жену хозяина Лией зовут.

Пилат утвердительно кивнул головой и сказал, накладывая руку на лезвие ножа:

— Относительно этого будь спокоен. Нож будет в лавке тотчас же. Теперь второе: покажи хартию, которую ты носишь с собою и в которой записаны слова Иешуа.

Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось.

— Все хотите отнять? И последнее? — спросил он.

— Я не сказал тебе — отдай, — сказал Пилат, — я сказал — покажи.

Левий порылся за пазухой и вытащил свиток пергамента.

Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать чернильные знаки.

Это продолжалось довольно долго.

Пилат, с трудом разбираясь в корявых знаках, иногда склонялся к пергаменту, морщась, читал написанное рукою бывшего сборщика податей.

Он быстро понял, что записанное представляет несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и обрывки стихов.

Пилат обратился к концу записанного, увидел и разобрал слова:

«Смерти нет...» — поморщился, пошел в самый конец и прочитал слова:

«...чистую реку воды жизни...», несколько далее.... «кристалл».

Это было последним словом. Пилат свернул пергамент, протянул его Левию со словом:

— Возьми. — Потом, помолчав, заговорил: — Ты книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть библиотека. Я могу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет.

Левий встал и сказал:

— Нет, я не хочу.

Пилат спросил:

— Почему? — И сам ответил: — Я тебе неприятен, и ты меня боишься.

Опять улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:

— Нет, потому что ты будешь меня бояться.

Пилат побледнел, но сдержал себя и сказал:

— Возьми денег.

Левий отрицательно покачал головой.

Тогда прокуратор заговорил так:

— Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо если бы это было не так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь, — лицо Пилата задергалось, он поднял значительно палец вверх, — непременно взял бы. Ты жесток.

Левий вспыхнувшими глазами посмотрел на Пилата, а тот на коптящие огни.

—- Чего-нибудь возьми, — монотонно сказал Пилат, — перед тем как уйти.

Левий молчал.

— Куда пойдешь? — спросил Пилат.

Левий оживился, подошел к столу и, наклонившись к уху Пилата, испытывая наслаждение, прошептал:

— Ты, игемон, знай, что я зарежу человека... Хватай меня сейчас... Казни... Зарежу.

— Меня? — спросил Пилат, глядя на язычок огня.

Левий подумал и ответил тихо:

— Иуду из Кериафа.

Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, усмехнувшись, ответил:

— Не трудись. Иуду этой ночью зарезали уже. Не беспокой себя.

Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул:

— Кто это сделал?

— Не будь ревнив, — скалясь ответил Пилат и потер руки. — ты один, один ученик у него! Не беспокой себя.

— Кто это сделал? — шепотом спросил клинобородый Левий, наклоняясь к столу:

Пилат приблизил губы к грязному уху Левия и шепнул:

— Я...

Левий открыл рот, дико поглядел на прокуратора, а тот сказал тихо;

— Возьми чего-нибудь.

Левий подумал, смягчился и попросил:

— Дай кусочек чистого пергамента.

Прошел час. Левия не было во дворце. Дворец молчал, и тишину ночи, идущей к утру, нарушал только тихий хруст шагов часовых в салу. Луна становилась белой, с края неба с другой стороны было видно беловатое пятнышко утренней звезды.

Светильники погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал, дышал беззвучно. В ногах лежал Банга, спал.

СТРЕЛЬБА В КВАРТИРЕ

Когда Маргарита прочитала последние слова романа «...пятый прокуратор Иудеи...» и «...конец,..», наступало утро. Слышно было, как во дворе на ветвях ветлы и двух лип вели беспокойный, быстрый разговор неунывающие никогда воробьи.

Маргарита поднялась, потянулась и теперь только ощутила, как изломано ее тело, как хочет она спать. Интересно отметить, что душевное хозяйство Маргариты находилось в полном порядке. Мысли ее не были в разброде, ее совершенно не потрясало то, что она провела ночь сверхъестественно, что видела бал у сатаны, что чудом вернулся мастер к ней, что возник из пепла роман ее любовника, что был изгнан поганец и ябедник Алоизий Могарыч и мастер получил возможность вернуться в свой подвал. Словом, знакомство с Воландом не нанесло ей никакого психического ущерба. Все было так, как будто так и должно быть.

Она ощутила радость, а тело ее усталость.

Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит мертвым сном, погасила настольную лампу и сама протянулась на диванчике, покрытом старой простыней. Через минуту она спала, и снов никаких в то утро она не видела.

Подвал молчал, молчал весь маленький домишко застройщика. Тихо было и в переулке.

Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал почти целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом громад-

нейшую площадь, которую специальные машины, разъезжая с гудением, чистили щетками, светились полным ночным светом, борющимся со светом восходящего дня.

Там шло следствие, и занято им было немало народу, пожалуй, человек десять в разных кабинетах.

Собственно говоря, следствие началось уже давно, со вчерашнего дня пятницы, когда пришлось закрыть Варьете вследствие исчезновения его администрации и безобразий, происшедших накануне во время знаменитого сеанса черной магии.

Теперь следствие по какому-то странному делу, отдающему совершенно невиданной не то чертовщиной, не то какою-то особенной, с какими-то гипнотическими фокусами уголовщиной, вступило в тот период, когда из разносторонних и путаннейших событий, происшедших в разных местах Москвы, требовалось слепить единый ком и найти связь между событиями. А затем вскрыть сердцевину этого чертова яблока. А также найти, куда, собственно, тянется нить от этой сердцевины.

Не следует думать, что следствие работало мешкотно, этого отнюдь не было.

Первый, кто побывал в светящемся сейчас электричеством этаже, был злосчастный Аркадий Аполлонович Семплеяров, заведующий акустикой. Днем в квартире его, помещающейся у Каменного моста, раздался звонок. Голос попросил к телефону Аркадия Аполлоновича. Подошедшая к аппарату супруга Аркадия Аполлоновича заявила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почивать и подойти не может. Однако подойти ему пришлось. На вопрос супруги, кто спрашивает Аркадия Аполлоновича, голос назвал свою фамилию.

— Сию секунду... сейчас, сию минуту, — пролепетала обычно надменная супруга Аркадия Аполлоновича и как пуля полетела в спальню поднимать супруга с ложа, на котором лежал он, испытывая адские терзания при воспоминании о вчерашнем вечере.

Правда, не через секунду, но через две минуты Аркадий Аполлонович в одной туфле на левой ноге, в белье уже был у аппарата, внимательно слушая то, что ему говорят.

Супруга, забывшая на эти мгновения омерзительное преступление супруга против верности, с испуганным

лицом высовывалась в дверь коридора, тыкала туфлей в воздух и шептала:

— Туфлю надень!.. Туфлю...

На что Аркадий Аполлонович, отмахиваясь от жены босой ногой и делая зверские глаза ей, бормотал в телефон:

— Да, да... Сейчас же выезжаю...

Совершенно понятно, что после первого же разговора с Аркадием Аполлоновичем все в том же этаже учреждения, разговора тягостного, ибо пришлось, увы, правдиво, как на исповеди, рассказывать попутно и про Милицу Андреевну Покобатько с Елоховской улицы, что, конечно, доставляло Аркадию Аполлоновичу невыразимые мучения...

Само собой разумеется, что сопоставление показаний Аркадия Аполлоновича с показаниями служащих Варьете, и главным образом курьера Карпова, немедленно проложило дорогу куда надо, именно — в квартиру № 50 по Садовой в доме 302-бис.

И, конечно, следствие ничуть не удовольствовалось сообщениями о том, что в квартире Лиходеева никого нет, равно так же как и всякими сплетнями Аннушки о том, что Груня украла мешок рафинаду.

В квартире № 50 побывали еще раз. И не только побывали, но и осмотрели ее чрезвычайно тщательно, не пропустив даже каминов.

Однако никого не нашли в ней. Собственно говоря, достаточно было семплеяровских показаний, карповский показаний, а также показаний раздетых гражданок, чтобы твердо установить короткий путь от сеанса к некоему артисту Воланду, тут же заняться им и так или иначе его разъяснить. Но дело чрезвычайно осложнилось тем, что не только в квартире № 50, не только вообще где-либо в Москве не обнаруживалось следов пребывания этого Воланда со своим ассистентом и черным котом, но, что хуже, никак не устанавливался самый факт его приезда в Москву!

Решительно нигде он не зарегистрировался, нигде не предъявлял ни паспорта, ни каких-либо бумаг и никто о нем ничего не слыхал! Ласточкин из программного отдела зрелищ клялся и божился, что никакой программы, никакого Воланда он не разрешал и не подписывал и ровно ничего не знает о приезде мага Воланда в Мо-

скву. И уж по глазам Ласточкина можно было смело сказать, что он чист как хрусталь.

Тот самый Прохор Петрович — заведующий главным сектором зрелищных площадок...

Кстати, он вернулся в свой костюм так же внезапно, как и выскочил из него. Не успела милиция войти в кабинет, как Прохор Петрович оказался на своем месте за столом к исступленной радости Сусанны Ричардовны, но к недоумению зря потревоженной милиции...

Да, так Прохор Петрович, так же как и Ласточкин, решительно ничего не знал ни о каком Воланде.

Выходило что-то странное: тысячи зрителей, весь состав Варьете, Семплеяров, культурный и интеллигентный человек, видели мага и ассистента и кота, многие пострадали от их фокусов, а следов этого мага, иностранца, никаких в Москве нет!

Оставалось допустить, что он провалился сквозь землю, бежал из Москвы тотчас же после своего отвратительного сеанса или же другое: что он вовсе в Москву не приезжал.

Но если первое, то несомненно, что, исчезая, он прихватил с собою всю головку администрации Варьете, а если второе, то, стало быть, сама администрация, учинив предварительно какую-то пакость, скрылась из Москвы.

Разбитое окно в кабинете, опрокинутое кресло, поведение Тузабубен весьма выразительно свидетельствовало в пользу первого, и все усилия следствия сосредоточились на обнаружении Воланда и его поимке.

Надо отдать справедливость тому, кто вел следствие. Поплавского разыскали с исключительной быстротой. Лишь только дали телеграмму в Ленинград, на нее пришел ответ, что Поплавский обнаружен в гостинице «Астория» в № 412, том самом, что рядом с лифтом и в котором серо-голубая мебель с золотом.

Тут же он был арестован и допрошен. Затем в Москву пришла телеграмма, что Поплавский в состоянии полувменяемом, никаких путных ответов не дает, а плачет и просит спрятать его в бронированную комнату и приставить к нему вооруженную охрану. Была послана телеграмма: под охраной доставить финдиректора немедленно в Москву.

В тот же день, но позже был найден и след Лиходеева. Во все города были разосланы телеграммы с за-

просами о Лиходееве, и из Владикавказа был получен ответ о том, что Лиходеев был во Владикавказе и что он вылетел на аэроплане в Москву. Такие же точно вопросы о Варенухе пока что результатов не принесли. Известный всей столице администратор как в воду канул.

Тем временем тем лицам, которые вели следствие по этому необыкновенному делу, пришлось принимать и рассматривать все новый и новый материал о необычайных происшествиях в Москве. Тут оказались и поющие служащие, из-за которых пришлось останавливать работу целого учреждения, и временно пропавший Прохор Петрович, и бесчисленные происшествия с денежными бумажками, и таинственные превращения их то в иностранную валюту, то в обрывки газет, путаница, неприятности и аресты, связанные с этим, и многое другое все в этом же и очень неприятном роде.

Самое неприятное, самое скандальное и неразрешимое было, конечно, похищение головы покойного Берлиоза прямо из гроба среди бела дня из грибоедовского зала на бульваре, произведенное с поражающей чистотой и ловкостью. Пришитая к шее голова была отшита и пропала.

По ходу работы следствия, нечего и говорить, ему пришлось побывать и в знаменитой клинике Стравинского за городом, и здесь обнаружен был богатейший материал. К первому явились к злосчастному Жоржу Бенгальскому, но у него получили мало. Несчастный плакал, хватался за шею, волновался, нес бредовые путаные речи. Несомненно было только, что показания его совершенно сходились с показаниями Аркадия Аполлоновича и других: да, было трое, этот Воланд, длинный по кличке Фагот и черный кот.

Конферансье оставили в его комнате, успокоив ласковыми словами и пожеланиями скорейшего выздоровления и перешли к другим делам в этой же клинике.

Лучший следователь города Москвы, молодой еще человек с приятными манерами, ничуть не похожий на следователя, лишенный роковой проницательности в глазах, в то время как помощник его занимался с Жоржем Бенгальским, пришел к дежурному ординатору и попросил список лиц, поступивших в клинику за последнее время, примерно за неделю.

Он тот же час обратил внимание на Босого Никанора Ивановича, попросил историю его болезни, и второй помощник его проследовал к Никанору Ивановичу. Бездомный Иван Николаевич заинтересовал следователя еще более, чем Никанор Иванович, хоть он и не жил в доме на Садовой и к происшествиям в Варьете не имел никакого отношения.

Рассказы Ивана о консультанте, о Понтии Пилате, записанные в истории болезни, вызвали в следователе самое сугубое внимание, и к Ивану он отправился сам.

Дверь Иванушкиной комнаты отворилась, и в нее вошел упомянутый уже следователь, круглолицый, спокойный и сдержанный блондин. Он увидел лежащего на кровати побледневшего и осунувшегося молодого человека.

Следователь представился, сказал, что зашел на минутку потолковать именно о тех происшествиях, которых свидетелем был Иван позавчера вечером на Патриарших Прудах.

О, как торжествовал бы Иван, если бы следователь явился к нему раньше, в ночь на четверг, скажем, когда Иван исступленно добивался, чтобы его выслушали, чтобы кинулись ловить консультанта!

Да, к нему пришли, его искали и бегать ни за кем не надо было, его слушали, и консультанта явно, собирались поймать. Но, увы, Иванушка совершенно изменился за то время, что прошло с момента гибели Берлиоза. Он отвечал на мягкие и вежливые вопросы следователя довольно охотно, но равнодушие чувствовалось во взгляде Ивана, его интонациях. Его не трогала больше судьба Берлиоза.

Иванушка спал перед приходом следователя и видел во сне город странный. С глыбою мрамора, изрезанной колоннадами, с чешуйчатой крышей, горящей на солнце, на противоположном холме террасы дворца с бронзовыми статуями, тонущими в тропической зелени. Он видел идущие под древними стенами римские когорты.

И видел сидящего неподвижно, положив руки на поручни, бритого человека в белой мантии с кровавым подбоем, ненавистно глядящего в пышный сад, потом снимающего руки с поручней, без воды умывающего их.

Нет, не интересовали Ивана Бездомного более ни Патриаршие Пруды, ни происшедшее на них трагическое событие!

Следователь получил богатейший материал. Да, проклятый кот оказался и здесь. Длинный клетчатый также!

— Скажите, Иван Николаевич, а вы сами как далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай? — спросил следователь.

Чуть заметная усмешка почему-то тронула губы Ивана, и он ответил:

— Я был далеко.

— А как примерно... в скольких шагах?

Иван поморщился, припоминая, ответил:

— Шагах в сорока...

— Стояли или сидели?

— Сидел.

— А этот клетчатый был возле самого турникета?

— Нет, он сидел на скамеечке, недалеко.

— Хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал?

— Помню. Не подходил. Он, развалившись, сидел.

— Разве так хорошо было видно за сорок шагов?

— Хорошо. Фонарь горел на углу Ермолаевского, и вывеска над турникетом.

Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них он встал, пожал руку Иванушке, пожелал скорее поправиться, выразил надежду, что вскорости вновь будет читать его стихи.

— Нет, — тихо ответил Иван, — я больше стихов писать не буду.

Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность, что поэт сейчас в состоянии депрессии, но это скоро пройдет.

— Нет, — тихо отозвался Иван, глядя вдаль на гаснущий небосклон, — это не пройдет. Стихи, которые я писал, — плохие стихи, и я дал клятву их более не писать.

— Ну, ну, — усмехнувшись ответил следователь и вышел.

Сомнений более не было. На Патриарших Прудах действовал тот же самый со своим помощником, что и в Варьете. Значит, деятельность его началась еще ранее, чем на скандальном сеансе в Варьете. Деятельность эта, увы, началась с убийства. Следователь не сомневался в том, что Иванушка не повинен в ней. Он не толкал под страшные колеса своего редактора. Возможно, что клет-

чатый действительно был в некотором отдалении от турникета и физически не способствовал падению на рельсы.

Но, следователь в этом не сомневался, какая-то шайка во главе с сильнейшим гипнотизером, невиданно сильнейшим гипнотизером, внедрилась в Москву и совершила страшные вещи. Берлиоз шел на смерть загипнотизированным.

Все по сути было уже ясно. Теперь оставалось только одно: взять этого Воланда. А вот брать-то было некого! Хоть и было известно, что гнездо Воланда, вне всяких сомнений, в проклятой квартире № 50!

Днем, как нам известно, бывший барон Майгель напросился по телефону на вечер к Воланду. Ему отвечали. Шайка или кто-то входящий в нее был в квартире. Нечего и говорить, что ее навестили (по времени это было тотчас после ухода буфетчика) и ничего в ней не нашли. А между тем по всем комнатам квартиры прошли с шелковой сеткой, проверили все углы.

Под вечер в квартиру № 50 опять звонили, оттуда отвечал козлиный голос. Опять явились и опять — никого!

Тогда поставили наблюдение на лестнице, во дворе, под воротами. Этого мало: у дымохода на крыше была поставлена охрана. В квартиру время от времени звонили, квартиру время от времени навещали. Но всякий раз никого не заставали.

Так тянулось до полуночи. В полночь на лестнице появился барон Майгель в лакированных туфлях, во фраке, сверх которого было накинуто английского материала светлое пальто.

Барона впустили в квартиру и немедленно затем в квартиру без звонка, открыв дверь ключом, вошли и не обнаружили в ней барона.

Шайка явно шутила шутки, волнуя тех, на чьей обязанности было обнаружить Воланда с его приспешниками. Дело получалось невиданное, скверное. Мнения разделялись. Одни находили, что шайка гипнотизирует входящих и, таким образом, они перестают видеть ее, другие — что в квартирке, давно пользующейся омерзительной репутацией, есть тайник, в котором скрываются преступники при первых звуках открываемых дверей. Второе объяснение, как бы ни было оно хорошо, все-таки имело меньше сторонников, чем первое. Тай-

ник-то тайник... Ну а где же он находится? Ведь квартиру-то выстукивали, осматривали так тщательно, что уж тщательнее и невозможно.

Тот лучший следователь, что разговаривал с Иваном, на вопрос о том, как он объясняет исчезновение Майгеля, сквозь зубы пробормотал прямо, что у него нет ни малейших сомнений в том, что барон убит.

Так дело тянулось вечером в пятницу и ночью в субботу, и, как уже сказано, пылал электричеством до белого дня бессонный встревоженный и, признаться, пораженный этаж.

В восемь часов утра на московском аэродроме совершил посадку шестиместный самолет, из которого вышли еще пьяные от качки трое пассажиров. Двое были пассажиры как пассажиры, а третий какой-то странный.

Это был молодой гражданин, дико заросший щетиной, неумытый, с красными глазами, без багажа и одетый причудливо. В папахе, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких туфлях.

Лишь только он отделился от лесенки, по которой спускаются из кабины, к нему подошли двое граждан, дожидавшихся прилета именно этого аэроплана, и ласково и тихо осведомились:

— Степан Богданович Лиходеев?

Пассажир вздрогнул, глянул отчаянными глазами и зашептал, озираясь, как травленый волк:

— Тсс! Да я... Лиходеев... Прилетел... Немедленно арестуйте меня, но, умоляю, незаметно... Умоляю... И отвезите к следователю...

Просьбу Степана Богдановича дожидавшиеся исполнили с великой охотой, ибо, признаться, за тем и приехали на аэродром.

Через десять минут Степан Богданович уже стоял перед тем самым следователем и внес существенный материал в дело.

После того как Лиходеев закончил свой рассказ о том, как у притолоки в собственной квартире упал в обморок, а после того очутился на берегу Терека во Владикавказе, после того как он описал и Воланда, и клетчатого помощника, и страшного говорящего кота, — решительно все уже разъяснилось. Этот Воланд проник в Москву под видом артиста, заключил договор с Варьете

и внедрился в квартиру №50, и с клетчатым негодяем в пенсне, и с котом, и еще с каким-то гнусавым и клыкастым, о котором следователь узнал впервые от Степы.

Материалу, таким образом, добавилось, но легче от этого не стало. Никто не знал, каким образом можно овладеть фокусником, умеющим посылать людей в течение минуты во Владикавказ или в Воронежскую область, исчезать и опять появляться.

Лиходеев, по собственной его просьбе, был заключен в надежную камеру с приставленной к ней охраной, а перед следствием предстал Варенуха, только что арестованный на своей квартире, в которую он вернулся после безвестного отсутствия в течение почти двух суток.

Варенуха, несмотря на данное им у Воланда обещание более не лгать, именно со лжи перед следователем и начал. Блуждая глазами, он заявлял, что напился у себя в квартире днем в четверг, после чего куда-то попал, а куда — не помнит, где-то еще пил старку, а где — не помнит, где-то валялся под забором, а где — не помнит. Лишь после того, как ему сурово сказали, что он мешает следствию по особо важному делу и за это может поплатиться, Варенуха разрыдался и зашептал, дрожа и озираясь, что он боится, что молит его куда-нибудь запереть, и непременно в бетонированную камеру.

— Далась им эта бетонированная камера, — проворчал один из ведущих следствие.

— Напугали их сильно эти негодяи, — ответил тихо наш следователь.

Варенуху успокоили как умели, поместили в отдельную, правда не бетонированную, но хорошо охраняемую камеру, а там он сознался, что все налгал, что никакой старки он не пил и под забором не валялся, а был избит в уборной двумя, одним клыкастым, а другим толстяком...

— Похожим на кота? — спросил мастер-следователь.

— Да, да, да, — зашептал, в ужасе озираясь, Варенуха.

...Что был вовлечен под ливнем в квартиру № 50 на Садовой, что там был расцелован голой рыжей Геллой, после чего упал в обморок, а затем в течение суток примерно состоял в должности вампира и был наводчиком. Что хотела Гелла расцеловать и Поплавского, но того спас крик петуха...

Таким образом, и тайна разбитого окна разъяснилась. Поплавского, которого после снятия с ленинградской стрелы уже вводили в кабинет следователя, можно было, собственно, и не спрашивать ни о чем.

Тем не менее его допросили. Но этот трясущийся от страху седой человек (в «Астории» он прятался в платяном шкафу) оказался на редкость стойким. Он сказал только, что после спектакля, будучи у себя в кабинете, почувствовал себя дурно, в помутнении ума неизвестно зачем уехал в Ленинград и ничего более не знает и не помнит.

Как ни упрашивали его, как ни старались на него повлиять, он не сознавался в том, что к нему Варенуха явился в полночь, что рыжая Гелла пыталась ворваться в кабинет через окно.

Его оставили в покое, тем более что приходилось допрашивать Аннушку, арестованную в то время, так как она пыталась приобрести в универмаге на Арбате пять метров ситцу и десять кило пшеничной муки, предъявив в кассу пятидолларовую бумажку.

Ее рассказ о вылетающих из окна людях и о дальнейшем на лестнице выслушали внимательно.

— Коробка была золотая, действительно? — спросил следователь.

— Мне ли золота не знать, — как-то горделиво ответила Аннушка.

— Но дал-то он тебе червонцы, ты говоришь? — спрашивал следователь, с трудом сдерживая зевоту и морщась от боли в виске (он не спал уже сутки).

— Мне ли червонцев не знать, — ответила Аннушка.

— Но как же они в доллары превратились? — спрашивал следователь, указывая пером на американскую бумажку.

— Ничего не знаю, какие такие доллары, и не видела никаких долларов, — визгливо отвечала Аннушка, — мы в своем праве. Нам дали, мы ситец покупаем...

И тут понесла околесину о нечистой силе и о том, что, вот, воровок, которые по целому мешку рафинаду прут у хозяев, тех, небось, не трогают...

Следователь замахал на нее пером и написал ей пропуск вон на зеленой бумажке, после чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания.

Потом пошел Загривов, бухгалтер, затем Николай

Иванович, арестованный утром исключительно по глупости своей ревнивой супруги, давшей в два часа ночи знать в милицию о том, что муж ее пропал.

Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол дурацкое удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны. Не очень большое внимание привлекли и его рассказы о том, как он возил по воздуху на себе голую горничную куда-то на реку купаться, но очень большое — рассказ о самом начале событий, именно о появлении в окне обнаженной Маргариты Николаевны, об ее исчезновении. Надо присовокупить к этому, что в рассказе Николай Иванович несколько видоизменил события, ничего не сказав о том, что он вернулся в спальню с сорочкой в руках, о том, что называл Наташу Венерой. По его выходило, что Наташа вылетела из окна, оседлала его и что он...

— Повинуясь насилию... — рассказывал Николай Иванович и тут же просил ничего не говорить его супруге...

Что ему и было обещано.

За Николаем Ивановичем пошли шоферы, потом служащие, запевшие «славное море» (Стравинскому путем применения подкожных впрыскиваний удалось остановить это пение)...

Так шел день в субботу. В городе в это время возникали и расплывались чудовищные слухи. Говорили о том, что был сеанс в Варьете, после которого выскочили из театра в чем мать родила, что накрыли типографию фальшивых бумажек в Ваганьковском переулке, что на Садовой завелась нечистая сила, что кот появился, ходит по Москве раздевает, что украли заведующего в секторе развлечений, но что милиция его сейчас же нашла, и многое еще, что даже и повторять не хочется.

Между тем время приближалось к обеду, и тогда в кабинете следователя раздался звонок. Он очень оживил вконец измученного следователя, сообщали, что проклятая квартира подала признаки жизни. Именно видели, что в ней открывали окно и что слышались из него звуки патефона.

Около четырех часов дня большая компания мужчин частью в штатском, частые в гимнастерках высадилась из трех машин, не доезжая до дома 302-бис по Садовой, подошла к маленькой двери в одном из крыльев дома,

двери, обычно закрытой и даже заколоченной, открыла ее и через ту самую каморку, где отсиживался дядя Берлиоза, вышла на переднюю лестницу и стала подниматься по ней. Одновременно с этим по черному ходу стали подниматься еще пять человек.

В это время Коровьев и Азазелло сидели в столовой ювелиршиной квартиры, доканчивая завтрак. Воланд по своему обыкновению находился в спальне, а кот и Гелла неизвестно где. Но, судя по грохоту кастрюль, доносившемуся из кухни, можно было допустить, что Бегемот развлекался там, валяя дурака по обыкновению.

— А что это за шаги такие внизу на лестнице? — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.

— А это нас арестовывать идут, — ответил Азазелло и выпил коньяку. Он не любил кофе.

— А?.. Ну-ну, — отозвался Коровьев.

Идущие тем временем были уже на площадке третьего этажа. Там двое возились с ключами возле парового отопления. Шедшие обменялись с водопроводчиками выразительными взглядами.

— Все, кажется, дома, — шепнул один из водопроводчиков, постукивая молоточком по трубе.

Тогда шедший впереди откровенно вынул маузер из-за пазухи гимнастерки, а шедший рядом с ним — отмычки.

Вообще шедшие были снаряжены очень хорошо. У двух из них в карманах были тонкие, легко развертывающиеся сети (на предмет кота), у одного аркан, еще у одного под пальто марлевые маски и ампулы с хлороформом. У всех, кроме этого, маузеры.

Вслед за человеком, вынувшим маузер, и другими с отмычками поднимался следователь и другие, а замыкал шествие знаменитый гипнотизер Фаррах-Адэ, человек с золотыми зубами и горящими экстатическими глазами. Он был бледен и, видимо, волновался. Все остальные шли без всякого волнения, стараясь не стучать, и молча.

Поднимаясь из третьего в четвертый этаж, Фаррах вынул из кармана зеленую стеклянную палочку, поднял ее вертикально перед собою, возвел взор сквозь пролет лестницы вверх. Цель его заключалась в том, чтобы загипнотизировать жильцов квартиры № 50 и лишить их возможности сопротивляться. Немножко задержались

на площадке, чтобы Фаррах успел сосредоточиться. Затем он отступил, а вооруженные устремились к дверям. Двери открыли в две секунды, и все один за другим вбежали в переднюю, а затем рассыпались по всей квартире. Хлопнувшие где-то двери показали, что вошла и группа с черного хода через кухню.

На этот раз удача была налицо. Ни в одной из комнат никого не оказалось, как не было никого ни в ванной, ни в кухне, ни в уборной, но зато в гостиной на каминной полке рядом с разбитыми часами сидел громадный черный кот. Он держал в лапах примус.

В молчании вошедшие созерцали кота в течение нескольких секунд.

— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, сказал кот, — и еще предупреждаю, что кот неприкосновенное животное.

— Да, неприкосновенное, но тем не менее, дорогой говорящий кот... — начал кто-то.

— Живым, — шепнул кто-то.

Взвилась шелковая сеть, и бросающий ее промахнулся. Захваченные сетью часы с громом и звоном рухнули на пол.

— Ремиз! — крикнул кот, еще громче вскричал: — ура! — и выхватил, отставив примус, из-за спины браунинг. Он мигом навел его на первого стоящего, но в этот момент в руке у того полыхнуло огнем, и вместе с выстрелом кот шлепнулся вниз головой с каминной полки наземь, уронив браунинг и сбросив примус.

— Все кончено, — слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, — отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О, мой друг Азазелло! — сказал кот, истекая кровью, — где ты? — тут кот зарыдал, — ты не пришел мне на помощь... Завещаю тебе мой браунинг... — тут кот прижал к груди примус.

— Сеть, сеть, — беспокойно шепнул кто-то...

Шевельнулись... Сеть зацепилась у кого-то в кармане, не полезла. Тот побледнел...

— Единственно, что может спасти смертельно раненного кота, — заговорил кот, — это глоток бензина... — И не успели присутствующие мигнуть, как кот приложился к круглому отверстию примуса и напился бензину. Тотчас перестала струиться кровь из-под верхней

левой лопатки кота. Он вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним на камин, оттуда полез, раздирая обои, по стене и через секунду оказался высоко в тылу вошедших сидящим на металлическом карнизе.

Жульнически выздоровевший кот поместился высоко на карнизе и примус поставил на него. Пришедшие метнулись. Но они были решительны и сообразительны. Вмиг руки вцепились в гардину и сорвали ее вместе с карнизом, солнце хлынуло в затененную комнату. Но ни кот, ни примус не свалились вниз. Каким-то чудом кот ухитрился не расстаться с примусом, махнуть по воздуху и перескочить на люстру, висящую в центре комнаты.

— Стремянку! — крикнули внизу, — сеть!

Стекляшки посыпались вниз на пришедших.

— Вызываю на дуэль! — проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре, и опять в лапах у него оказался браунинг. Он прицелился и, летая над головами как маятник, открыл по ним стрельбу.

Вмиг квартира загремела. Полетели хрустальные осколки из люстры, треснуло зеркало в камине, взвилась из штукатурки пыль, звездами покрылись стекла в окнах, из простреленного примуса начало брызгать бензином. Теперь уже не могло быть и речи о том, чтобы взять кота живым, и пришедшие бешено били из маузеров в наглую морду летающему коту, в живот, в грудь, в спину.

Грохот стрельбы из квартиры вызвал сумятицу на асфальте во дворе. Люди кинулись бежать в подворотню и в подъезды.

Но стрельба длилась недолго и сама собою стала затихать. Дело в том, что стало ясно, что ни коту, ни пришедшим она не причиняет никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен, и кот остался совершенно невредим. Один из пришедших, чтобы проверить это, приложился и обстрелял кота накрест в лапы задние и передние и в заключение в голову. Кот в ответ, сменив обойму, выпустил ее в стрелявшего, и ни на кого ни малейшего впечатления это не произвело. Кот покачивался на люстре, дуя зачем-то в дуло браунинга и плюя себе на лапу. У стоящих внизу в молчании пришедших лица изменились. Вся их задача заклю-

чалась лишь в том, чтобы скрыть свое совершенно законное недоумение: это был единственный, пожалуй, в истории человечества случай, когда стрельба оказывалась совершенно недействительной. Ни в одной гимнастерке не было дырочки, ни на ком ни единой царапины. Можно было, конечно, допустить, что браунинг кота какой-нибудь игрушечный, но о маузерах пришедших этого уж никак нельзя было сказать, и, конечно, ясно стало, что первая рана кота была не чем иным, как фокусом и свинским притворством, равно как и питье бензину.

Сделали еще одну попытку добыть кота. Швырнули аркан, зацепились за одну из ветвей люстры, дернули и сорвали ее. Удар ее потряс, казалось, весь корпус дома, но толку от этого не получилось. Присутствующих обдало осколками, и двоим поранило руки, а кот перелетел по воздуху и уселся высоко под потолком на карнизе каминного в золотой раме зеркала. Можно было не спешить. Кот никуда не собирался удирать, а наоборот, сидя на зеркале, повел речь:

— Я протестую, — заговорил он сурово, — против такого обращения со мной...

Но тут раздался тяжелый низкий голос неизвестно откуда:

— Что происходит в квартире?

Другой голос, гнусавый и неприятный, отозвался:

— Ну, конечно. Бегемот...

И третий, дребезжащий:

— Мессир! Суббота, солнце склоняется... Нам пора.

Тут кот размахнулся браунингом и швырнул его в окно, и оба стекла обрушились в нем.

— До свидания, — сказал кот и плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собой вспыхнул, взбросив жаркую волну до самого потолка.

Загорелось как-то необыкновенно и сильно. Сейчас же задымились обои, вспыхнула сорванная гардина на полу, начали тлеть рамы в разбитом окне. Кот спружинился, перемахнул с карниза зеркала на подоконник и скрылся вместе со своим примусом. Снаружи раздались выстрелы. Человек, сидящий на железной противопожарной лестнице, уходящей на крышу, на уровне окон ювелирши, обстрелял кота, когда тот перелетал с подо-

конника на подоконник, а оттуда к водосточной угловой трубе дома, построенного покоем.

На крыше также безрезультатно в него стреляла охрана у дымохода. Кот смылся в заходящем солнце, заливавшем город.

В квартире в это время вспыхнул паркет под ногами и в пламени на том месте, где валялся кот, симулируя тяжкое ранение, из воздуха сгустился труп барона Майгеля с задранным кверху подбородком, со стеклянными глазами.

Вытащить его уже не было возможности. Прыгая по горящим шашкам паркета, хлюпая ладонями по дымящимся гимнастеркам, бывшие в гостиной выбежали в кабинет, оттуда в переднюю.

Те, что были в столовой и спальне, спаслись через коридор. Кто-то успел набрать номер пожарной части в передней, коротко крикнул:

— Садовая, 302-бис!

Гостиная горела, дым, пламя выбивало в кабинет и переднюю. Из разбитого окна повалил дым.

Во дворе и в квартирах слышались отчаянные человеческие вопли:

— Пожар! Горим!

В пламени из столовой в гостиную прошли к окну трое мужчин. Первый рослый темный в плаще, второй клетчатый, третий прихрамывающий и одна нагая женщина. Они появились поочередно на подоконнике, были обстреляны и растаяли в воздухе.

Воланд, нанявший у Никанора Ивановича квартиру в четверг, в субботу на закате покинул ее вместе со своей свитой.

Краткие комментарии

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

(записки покойника)

Михаил Булгаков начал работать над романом о театре и театральной жизни 26 ноября 1936 года. Но впервые Елена Сергеевна в дневнике упоминает об этом 7 февраля 1937 года: «Но самое важное, это роман...» В то же время первые главы были прочитаны друзьям, которые восприняли новый замысел Булгакова с большим интересом.

На первой странице рукописи два названия романа: «Записки покойника» и «Театральный роман». Исследователи считают, что Булгаков, дважды подчеркнув «Записки покойника», отдавал тем самым предпочтение этому названию. Другим исследователям кажется, что следует роман так называть, как это было принято первыми публикаторами: «Театральный роман (Записки покойника)». В публикации рукописи активное участие принимала Елена Сергеевна Булгакова, наследница последней авторской воли.

После первой же читки глав романа по Москве пошли слухи. Мхатчики забеспокоились. 15 апреля 1937 года Елена Сергеевна записывает: «Паша Марков просится слушать театральный роман».

Не раз еще в дневнике будет сказано о чтении глав нового романа. Впервые роман был опубликован в журнале «Новый мир», 1965, № 8, со вступительной статьей В. Топоркова. Публикуется по расклейке книги: «Мастер и Маргарита». Романы, пьесы. М., Современник, 1991. Составитель и автор вступительной статьи В. Петелин.

О романе много написано, прослежена творческая история его возникновения, раскрыты имена и фамилии прототипов булгаковских персонажей, выявлены художественные и идейные особенности.

Приведу здесь еще две дневниковые записи Елены Сергеевны: 12 сентября 1938 года: «...За ужином вахтанговцы стали просить М. А. прочесть из «Записок покойника» — они уже слышали об этом романе.

Успех был громадный, хохотали, как безумные. Еще бы — МХАТ выведен!

Глазунов, больной и усталый, а потом осовевший после ужина, засыпавший, — начисто проснулся, вытаращив глаза, слушал и хохотал чуть ли не больше всех. Долго аплодировали после.

Глазунов сказал:

— Вот, — приглашай вас в театр, — а потом, на поди, что получается!

М. А. сказал:

— Я ведь актеров не трогаю.

М. А. слышал, что вернули в Большой театр арестованных несколько месяцев назад Смольцова и Кудрявцеву — привезли их на линкольне... — что получат жалованье за восемь месяцев и путевки в дом отдыха.

А во МХАТе, говорят, арестован Степун...»

3 мая 1939 года: «Вчера было чтение у Вильямсов «Записок покойника». Давно уже Самосуд просил об этом, и вот наконец вчера это состоялось. Были, кроме нас и Вильямсов, Самосуды, Мордвиновы, Захаровы, Лена Понсова, еще одна подруга Ануси.

Миша прочитал несколько отрывков, причем глава «Репетиция с Иваном Васильевичем» имела совершенно бешеный успех. Самосуд тут же выдумал, что Миша должен прочитать эту главу для всего Большого театра, а объявить можно, что это описана репетиция в периферийном театре.

Ему так понравилась мысль, что он может всенародно опорочить систему Станиславского, что он все готов отдать, чтобы это чтение состоялось. Но Миша, конечно, сказал, что читать не будет».

Не могу согласиться с теми исследователями, которые считают, что образ Измаила Александровича Бондаревского написан «уничижающими», сатирическими красками. Бондаревский — яркий образ талантливого человека, живого, полнокровного, со своими причудами и юмором.

Нужно только объективно, непредвзято прочитать строчки, эпизоды, в которых упоминается этот персо-

наж: «послышался звучный голос, потом звуки лобзаний», вошел «высокий плотный красавец», «стройная, несколько полноватая фигура» его, «чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович...». Ну, действительно рассказы его о своем пребывании в- Париже весьма своеобразны с точки зрения М. А. Булгакова, но эти рассказы одним нравятся, другим не нравятся, как Максудову — Булгакову, мечтавших побывать в Париже, увидеть его культурные и духовные ценности и описать их в книжке воспоминаний... «С необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость» — в этой характеристике Измаила Александровича Бондаренского, в котором действительно легко угадывается А. Н. Толстой, к которому Булгаков относился несколько противоречиво: высоко ценил его художнический дар, но с легкой иронией относился к его умению приспосабливаться к тягостным обстоятельствам тогдашней жизни.

Так что вопрос о взаимоотношениях М. Булгакова и А. Толстого нуждается в более серьезном и глубоком изучении, чем это иной раз кажется ученым-литературоведам.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

Либретто оперы в 4-х актах (9 картинах)

В ОР РГБ хранятся подготовительные материалы и две редакции текста либретто, начатые и законченные, с 7 июня по 1 сентября 1937 года в Москве и Житомире. Автограф в двух тетрадях, чернилами и карандашом. С авторскими пометами красным карандашом. Сохранилась и третья редакция, завершенная 13 сентября 1937 года.

Автограф второй редакции и третья редакция (машинопись) существенно отличаются друг от друга.

Машинописная редакция (третья) либретто была опубликована в журнале «Советская музыка», 1988, № 2; затем: Булгаков М. А. Черное море. М., Советская Россия, 1989; Булгаков М. А. Кабала святош. М., Современник, 1991. (Составители: В. И. Лосев, В. В. Петелин).

Публикуется по расклейке последнего издания, сверенного с машинописью, хранящейся в ОР РГБ, ф. 562, к. 16, ед. хр. 12.

Творческий замысел либретто возник в ходе работы над «Мининым и Пожарским». Мысли о Петре витали в воздухе. Алексей Толстой работал над романом «Петр Первый», — шла дискуссия о его личности и его времени, высказывались различные точки зрения, и вообще, по разным причинам историческая проблематика становилась актуальной.

Работа над «Мининым» была в самом разгаре, а Б. В. Асафьев 12 декабря 1936 года писал Булгакову: «...Намерены ли Вы ждать решения судьбы «Минина» или можно начать думать о другом сюжете уже теперь? Сюжет хочется такой, чтобы в нем пела и русская душевная боль, и русское до всего мира чуткое сердце, и русская

философия жизни и смерти. Где будем искать: около Петра?» (Письма, с. 396).

А 13 февраля 1937 года Булгаков писал Асафьеву: «Ко мне обратился молодой композитор Петунин и сказал, что хочет писать оперу о Петре, для которой просит меня делать либретто.

Я ему ответил, что эта тема у меня давно уже в голове, что я намереваюсь ее делать, но тут же сообщил, что Вы ее уже упомянули в числе тех, среди которых ищете Вы и, что если Вы захотите осуществить Петра, я, — конечно, буду писать либретто для Вас.

Итак, желаете, делать Петра или хотите остановиться на чем-нибудь другом, насчет чего мы с Вами можем подумать?

Если Петра не хотите, я скажу Петунину, что Петр свободен, а так как я все равно либретто это, полагаю, буду делать (если Большой примет тему, то пусть он сговаривается с Большим, пробует, тем более, что он строит свои надежды на этой опере...»

16 февраля 1937 года Асафьев писал Булгакову:

«... Петра обязательно со мной. Я подбираюсь к нему давно и не хотел бы ни его, ни Вас уступить кому-либо...» (Письма, с. 397).

Прежде всего М. А. Булгаков подобрал книги по заинтересовавшей его теме. В ОР РГБ сохранился список источников, которые послужили документальной основой либретто: Это прежде всего С. Соловьев. История России с древнейших времен, т. 14—18, К. Валишевский, А. Брикнер, С. Чистяков, Шубинский, Записки Юста Юля, Дневник камер-юнкера Берхгольца, М. Пыляев о Старом Петербурге, Письма русских государей. С особой тщательностью М. Булгаков изучал книгу А. Брикнера о царевиче Алексея, стараясь разгадать характер царевича, понять его личность, его взаимоотношения со старым боярством и родным отцом.

7 июня 1937 года Булгаков начал работу над либретто. 15 июня Е. С. Булгакова делает очень важную запись: «М. А. сейчас работает над материалом для либретто «Петр Великий».

— Как бы уберечь мне эту тему? Чтобы не вышло, как с «Пугачевым». Несколько месяцев назад М. А. предложил Самосуду тему Пугачев — для либретто. Тот отвел. А потом оказалось — ее будет писать Дзер-

жинский — очевидно, со своим братом-либреттистом.» (с. 154)

В «Дневнике» отмечены и другие даты, когда Булгаков непосредственно работал над либретто, не только в Москве, но и в Житомире, где Булгаков отдыхал и работал летом 1937 года, в июле-августе. 21 августа М. А. Булгаков работает над «Петром».

22 августа Е. С. Булгакова записывает: «Зашла в дирекцию ГАБТ за М. А., слышала конец его разговора с Самосудом — что-то не вышло с «Поднятой целиной». Трудно будет М. А. У Самосуда престранная манера работы, он делает все на ходу. Ничем не интересуется, кроме своих дел. Он обаятелен, но, конечно, предатель. Он явно не хочет пустить Асафьева на «Петра». М. А. волнуется, считает, — что так поступить с Асафьевым нельзя — он переписывался с ним о «Петре». (с. 163).

17 сентября 1937 года Е. С. Булгакова отвезла экземпляр либретто в Комитет по делам искусств, передала секретарю Керженцева.

22 сентября: «Биндлер позвонил из Большого, сказал, что есть письмо Керженцева о «Петре».

Поехали за письмом. Это записка с заголовком «О Петре», состоящая из 10 пунктов. Смысл этих пунктов тот, что либретто надо писать наново....» (с. 167).

Приводим эту «Записку» с некоторыми сокращениями как характерный документ времени:

1. Нет народа (даже в Полтавской битве), надо дать 2—3 соответствующие фигуры (крестьянин, мастеровой, солдат и пр.) и массовые сцены.

2. Не видно, на кого опирался Петр (в частности — купечество), кто против него (часть бояр, церковь).

3. Роль сподвижников слаба (в частности, роль Меншикова).

4. Не показано, что новое государство создавалось на жестокой эксплуатации народа (надо вообще взять в основу формулировку тов. Сталина).

5. Многие картины как-то не закончены, нет в них драматического действия. Надо больше остроты, конфликтов, трагичности.

6. Конец чересчур идилличен — здесь тоже какая-то песнь угнетенного народа должна быть. Будущие государственные перевороты и междуцарствия надо также

здесь больше выявить. (Дележ власти между правящими классами и группами).

7. Не плохо было бы указать эпизодически роль иноземных держав (шпионаж, например, попытки использования Алексея).

8. Надо резче подчеркнуть, что Алексей и компания за старое (и за что именно).

9. Надо больше показать разносторонность работы Петра, его хозяйственную и другую цивилизаторскую работу...

10. Язык чересчур модернизирован — надо добавлять колориты эпохи... Это самое первое приближение к теме. Нужна еще очень большая работа» (ЦГАЛИ, ф. 656, оп. 5, ед. хр. 9661. Цитирую по сборнику: Записки Отдела рукописей, вып. 49. М., Книжная палата, 1990, с. 220. Публикация В. И. Лосева).

После этого удара положение Булгакову казалось безвыходным. 23 сентября Е. С. Булгакова записала: «Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить?

Ничего нельзя сделать. Безвыходное положение» (с. 167).

2 октября Булгаков писал Асафьеву: «Не писал Вам до сих пор по той простой причине, чтодо самого последнего времени не знал, что собственно будет с моим «Петром». А тут еще внезапно навалилась проходная срочная работа, которая съела у меня последние дни.

Начну с конца: «Петра» моего уже нету, то есть либретто-то лежит передо мною переписанное, но толку от этого, как говорится, чуть.

А теперь по порядку: закончив работу, я один экземпляр сдал в Большой, а другой послал Керженцеву для ускорения дела. Керженцев прислал мне критический разбор работы в десяти пунктах. О них можно сказать, — главным образом, — что они чрезвычайно трудны для выполнения и, во всяком случае, означают, что всю работу надо делать с самого начала заново, вновь с головою погружаясь в исторический материал.

Керженцев прямо пишет, что нужна еще очень большая работа и что сделанное мною, это только «самое первое приближение к теме».

Теперь нахожусь на распутье. Переделывать ли, не переделывать ли, браться ли за что-нибудь другое или

бросить все? Вероятно, необходимость заставит переделывать, но добьюсь ли я удачи, никак не ручаюсь.

Со многим, что говорил Пашаев, прочитавший либретто, я согласен. Есть недостатки чисто оперного порядка. Но, полагаю, выправимые. А вот все дело в керженцевских пунктах.

Теперь относительно композитора. Театр мне сказал, что я должен сдать либретто, а вопрос о выборе композитора — дело Комитета и театра. Со всею убедительностью, какая мне доступна, я сказал о том, насколько было бы желательно, чтобы оперу делали Вы. Это все, что я мог сделать. Но, конечно, этот вопрос будет решать Комитет.

Мне кажется, что если бы либретто было бы сделано и принято, Вам следовало бы самому сделать шаги в Комитете. И, конечно, если бы они дали хороший результат, я был бы искренне рад!» (Письма, 408).

16 октября 1937 года Е. С. Булгакова записала: «...Потом — долгий разговор с Керженцевым о «Петре», о «Минине». Смысл всего разговора, что все это надо переделывать...» (с. 172).

А через два месяца Керженцева сняли с работы. Какая уж тут доработка... И Булгаков отложил работу над либретто на неопределенное время, но так и не вернулся к тексту.

Вся беда была в том, что Керженцев не понимал специфику оперного либретто, предъявляя к нему такие претензии, какие можно было бы предъявить, допустим, к роману, драме или кинофильму. Ю. В. Бабичева в статье «М. Булгаков — либреттист в процессе становления литературного жанра» высказала немало интересных мыслей о специфике жанра либретто, которое до сих пор даже почтенные литературоведы считают «жанром-пасынком». «Не всякое явление действительности, — подчеркивала Ю. В. Бабичева, — может быть положено в основу оперного либретто. Музыка почти бессильна в изображении бытовой повседневности. Только мир сильных чувств, поднимающихся над уровнем обыденности, может стать содержанием оперного спектакля, а значит — его либретто. Драматическое действие здесь очень напряжено, но развитие его замедлено и схематизировано, напряжение же создается за счет психологического углубления ситуаций». «В опере, цепь

внешних событий всегда значительно скупее, ограниченнее в сравнении с литературной драмой», ее действие держится на переживании героев» (в кавычки взяты слова Б. Ярустовского из его монографии «Драматургия русской оперной классики. М., 1952 г., с. 80 — В. П.)

Диалог либретто тоже отличает его от других драматургических жанров. Он может быть написан и в стихах и в прозе, но в обоих случаях немногословен, лишен «блесток языка» (П. Чайковский), какими так богата словесная ткань других жанров драмы. Вместе с тем, даже написанными в прозе, он обязан быть в отличие от обычной прозаической речи выразительно ритмизован, подчинен музыкальному строю оперы. Большее место, чем в произведении, предназначенном для драматической сцены, в оперном либретто занимает элемент самовыражения героя, своего рода «внутренний монолог», который составляет словесную основу оперной арии. Условность такого рода передачи чувств человека очевидна. Но такая условность не снижает жизненной правдивости этого вида искусства...

Мировая история оперной либреттистики знает несколько разновидностей жанра. На этой шкале два полюса: с одной стороны малохудожественные «текстовки» для музыкального произведения, созданного мастером и отчасти скрывающего недостатки драматургии; с другой, использование в качестве либретто классического литературного текста без изменений (например, «речитативные оперы» по маленьким трагедиям А. С. Пушкина; «Каменный гость» Даргомыжского, «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова, «Скупой рыцарь» Рахманинова.

Между этими полюсами подвизался «главный» тип либретто: не совсем самостоятельный, но вполне состоятельный по литературным достоинством драматургический текст, создаваемый нередко профессиональными и опытными драматургами: Э. Скриб писал либретто для Мейербера; Г. фон Гофмансталь — для Р. Штрауса; А. Н Островский — для В. Н. Кашперова (опера по драме «Гроза» — В. П.).

На этой линии располагается и творчество М. Булгакова-либреттиста, во многом способствовавшего развитию жанра» (См. Межвузовский сборник научных тру-

дов «Время и творческая индивидуальность писателя. Ярославль, 1990, с 93—94 и др.)

Интересна и статья Н. Шафера «М. А. Булгаков и А. Н. Толстой, год 1937-й», опубликованной в журнале «Музыкальная жизнь», 1991, № 13—14.

Однако сравнивая разнородные драматургические жанры, о различии которых так хорошо высказалась Ю. В. Бабичева, Н. Шафер приходит к поспешным выводам. В частности, Н. Шафер делает вывод после анализа темы Петра в произведениях двух замечательных писателей: «У одного — слезы, у другого — фанфары. Достаточно сравнить концовку булгаковского либретто с концовкой толстовской пьесы, чтобы убедиться в идейно-эмоциональной несовместимости двух драматических произведений, написанных в одно и то же время (1937 г.) и на одну и ту же тему...» Н. Шафер цитирует две концовки произведений Булгакова и Толстого и делает вывод: «В чем разлад между этими двумя концовками?

У Булгакова — трагическое ощущение безысходности, у Толстого — ясная уверенность в завтрашнем дне. У Булгакова — тихий реквием, у Толстого — громогласная ода. У Булгакова — острое чувство личной ответственности каждого в круговерти событий, у Толстого — оправдание жестокости во имя так называемой «высшей цели»... (с. 23—24).

И весь дальнейший ход рассуждений Н. Шафера наполнен конъюнктурными соображениями, желанием Булгаковым «побить» Толстого, доказать, что Булгаков был духовно — «свободен и независим», а Толстой — «духовно зависим от господствующей идеологии».

И главное — «Тема статьи не предусматривала анализа отдельных страниц великого романа А. Н. Толстого «Петр Первый». Здесь преимущественно шла речь о двух разных писателях, создавших драматические произведения на одну и ту же тему — причем в одном и том же году.

А год был — 1937-й...» (с.24).

Удивляет другое: Н. Шафер сравнивает оперное либретто с пьесой, которые коренным образом отличаются друг от друга по своим художественным задачам и по средствам воплощения на сцене, сравнивает бегло, схематично, без учета целей и задач, которые авторы ста-

вили перед собой, без учета творческого замысла того или иного произведения, без учета специфики жанра.

И почему только «тихий реквием» — это хорошо, а «громогласная ода» — это плохо, это свидетельство зависимости от господствующей идеологии?

Мне дорог не только М. А. Булгаков с его оперными либретто, но и А. Н. Толстой с его прекрасными пьесами о Петре, особенно великолепен фильм о Петре по его сценарию.

Но этот разговор еще впереди, тема Петра в творчестве двух выдающихся русских писателей требует более обстоятельного времени. Ценно уже то, что Н. Шафер поставил эту тему на обсуждение.

ДОН КИХОТ

Пьеса по Сервантесу в четырех действиях

После гибели «Мольера», «Александра Пушкина», «Ивана Васильевича», после многократных неудачных попыток поставить в театре «Бег», после многочисленных доделок и переделок либретто оперы «Минин и Пожарский», Булгаков был в отчаянии и твердо заявил, что писать пьесы после «драматургического разгрома» 1936 года он больше не будет.. Но вахтанговцы стали предлагать Булгакову одну тему за другой, по их просьбе Булгаков перечитал Бальзака, Золя, Мопассана. По разным причинам он отказался от этого предложения. Потом возникла тема «Дон Кихота», главный герой которого давно привлекал внимание Михаила Афанасьевича. Перечитал русский текст романа, пытался прочитать по-испански... Вахтанговцы пообещали немедленно заключить договор на инсценировку романа, но Комитет искусств высказал недоумение по поводу этого предложения. Дело затянулось до осени 1937 года. Мучительное безденежье заставило Булгакова снова взяться за драматургию, — хотя весной этого года он пообещал себе, что «на фронте драматических театров» его «больше не будет»,

3 декабря 1937 года Булгаков заключил договор на инсценировку «Дон Кихота», 7 декабря «получили деньги, вздохнули легче» («Дневник Елены Булгаковой», с. 177). С 8 по 19 декабря 1937 года — первые наброски пьесы. 19 декабря Елена Сергеевна записала: «Вечером у нас Ермолинский, Вильямсы, Шебалин. За ужином М. А. выдумал такую игру: М. А. прочитал несколько страничек из черновика инсценировки (»Дон Кихот»), Шебалин должен был тут же, по ходу действия, сочинить музыку и сыграть ее, а Петя Вильямс — нарисо-

вать декорацию. Петин рисунок остался у нас, как память об этой шутке».

22 июня 1938 года в письме Елене Сергеевне Булгаков, занятый завершением работы над романом «Мастер и Маргарита», даже и думать не хочет о «Дон Кихоте»: «Мне нужен абсолютный покой! Никакого Дон Кихота я видеть сейчас не могу»... Но в Лебедянь, где отдыхала в это время Елена Сергеевна с детьми, Булгаков поехал с материалами для «Дон Кихота», и примерно за месяц, с 28 июня по 21 июля, Булгаков завершил первую полную редакцию пьесы (Некоторые исследователи уточняют срок написания: «с 1 по 18 июля»). 15 августа Елена Сергеевна, вернувшись из Лебедяни, записала: «.....Изумительная жизнь в тишине. На третий день М. А. стал при свечах писать «Дон Кихота» и вчерне — за месяц — закончил пьесу. Потом — вместе с Женичкой — уехал в Москву... Жалобы М. А. на Дмитриева, жившего у него неделю и сорвавшего работу над «Дон Кихотом».

4 сентября Елена Сергеевна записала: «...В этот же вечер у нас чтение «Дон Кихота» — Вильямсы, Николай Эрдман, Дмитриев с Мариной (новая его жена).

М. А. выверил на чтении пьесу, будет делать сокращения, есть длинноты...»

Об этом чтении прослышали вахтанговцы, попросили почитать. 4 сентября в полночь пришли Горюнов, Куза, Симонов, Ремизов. «Видимо, понравилось, — записывает Елена Сергеевна. — В некоторых местах валились от хохоту (янгуэсы, бальзам). Но тут же и страхи: как пройдет? Под каким соусом подать? Да как начальство посмотрит?..»

После этого — звонки из Вахтанговского театра: с просьбой прочитать пьесу труппе театра. Булгаков решительно отказался: «Пусть рассматривают экземпляр и дают ответ».

9 сентября: «Переписка «Дон Кихота» закончилась, экземпляр выдан курьеру из Вахтанговского театра».

12 сентября: «Вчера было чтение вахтанговцам, у нас. Были: Захава, — Глазунов, Рапопорт, Орочко, Козловский и Горюнов, — который пришел ко второй половине пьесы.

Неожиданно появились братья Эрдманы.

Очень хорошо слушали Орочко, Рапопорт, Захава. Пьеса, видимо, очень понравилась.

— Но кто же может поставить? — говорит Орочко, — здесь нужен громадный режиссер. Надо Мейерхольда просить.

— Вещь замечательная, — сказал Рапопорт, — но при чем тут Мейерхольд? (Он даже насупился).

Борис Эрдман сказал, что для художника — мечта сделать эту пьесу. 20 сентября: «Сегодня утром пришел Акимов, сказал, что вахтанговцы совершенно очарованы «Дон Кихотом». Он хочет прочесть. Расхвалил свой театр (комедии?).

Прочитал пьесу тут же, сказал, что сейчас ничего не будет говорить, а вечером — надо, чтобы все осело. Позвонил вечером, по словам М. А., разговор был утомительный и нудный. С одной стороны он чего-то не понял, а чего — неизвестно. Но с другой стороны хочет ставить, просит прислать экземпляр пьесы в Ленинград, в дирекцию, и не заключать договора ни с одним ленинградским театром, не предупредив их.

27 сентября «Литературная газета» опубликовала статью Горюнова о репертуаре Вахтанговского театра: в конце статьи упоминание о том, что театр собирается ставить «Дон Кихота» М. Булгакова.

1 октября позвонил Куза и сообщил, что «Дон Кихота читали в надлежащих местах (где?!) и он очень понравился».

18 октября: пьеса была в Реперткоме, теперь находится в ЦК ВКП.

22 октября: «Куза по телефону: они возятся с «Дон Кихотом».

Письмо М. А. их взволновало и они стараются показать, что они яростно хлопочут о проведении этой пьесы.

Ванеева — о том же и о том, что в Реперткоме она произвела благоприятное впечатление.

М. А.:

— Мне не нужны одобрительные отзывы о моей пьесе, мне нужна бумага — разрешена эта пьеса или нет.

Опять Куза:

— 28-го надо ехать в Репертком вместе, разговаривать.

М.А. мне:

— Ох, будет мука мученическая с двух сторон. Репертком будет стараться не дать разрешительной бумаги, а Куза будет стараться испортить пьесу нелепыми вставками.»

29 октября: «Куза — опять с комплиментами по поводу «Дон Кихота»: страшно нравится всем... профессор Дживилегов в восторге....»

5 ноября позвонил В. В. Куза и сообщил, что «Дон Кихот» разрешен Главреперткомом и Комитетом по делам искусств. Булгаков пообещал: как только он получит разрешительную бумагу, так тут же прочитает пьесу труппе..

9 ноября получили из Вахтанговского театра бумагу — «Дон Кихот» разрешен Реперткомом.

10 ноября: «Днем — в два часа было назначено чтение в Вахтанговском театре. Встретили М. А. долгими аплодисментами. Слушали около ста человек. Слушали хорошо. Вся роль Санчо, — эпизод с бальзамом, погонщики — имели дикий успех. Хохотали до слез, так что приходилось иногда М. А. прерывать чтение.

После конца — еще более долгие аплодисменты. Потом Куза встал и торжественно объявил: «Все!», то есть, что никаких обсуждений. Этот сюрприз был ими явно подготовлен для М. А.»

Через несколько дней состоялась встреча с руководителями Реперткома, которые высказали пожелания по доработке пьесы. «—Я на этих днях сократил пьесу на 15 страниц», «и Мерингоф остался с раскрытым ртом».

Но Булгаков и без пожеланий Реперткома продолжал работать над пьесой. Так возникли третья и четвертая редакции «Дон Кихота».

27 декабря пьеса поступила в Репертком, а 17 января 1939 года разрешение наконец-то было получено. Театр включил пьесу в план работы на 1939 год.

Однако постановка «Дон Кихота» затягивалась... Время диктовало свой репертуар, «Дон Кихот» мог и подождать. Вроде бы все началось, как было задумано: газеты «Советское искусство» и «Рабочая Москва» сообщили, что театр приступил к репетициям. Но вскоре выяснилось, что необходимо было срочно поставить

пьесу Алексея Толстого «Путь к победе», в которой действовали Ленин и Сталин. Какой уж тут Дон Кихот...

И Булгаков с горечью писал Вересаеву: «У меня нередко возникает желание поговорить с Вами, — но я как-то стесняюсь это делать, потому что у меня, как у всякого разгромленного и затравленного литератора, мысль все время устремляется к одной мрачной теме о моем положении, а это утомительно для окружающих.

Убедившись за последние годы в том, что ни одна моя строчка не пойдет ни в печать, ни на сцену, я стараюсь выработать в себе равнодушное отношение к этому. И, пожалуй, я добился значительных результатов.

Одним из последних моих опытов явился «Дон Кихот» по Сервантесу, написанный по заказу вахтанговцев. Сейчас он и лежит у них и будет лежать, пока не сгниет, несмотря на то, что встречен ими шумно и снабжен разрешающею печатью реперткома.

В своем плане они его поставили в столь дальний угол, что совершенно ясно — он у них не пойдет. Он, конечно, и нигде не пойдет. Меня это нисколько не печалит, так как я уже привык смотреть на всякую свою работу с одной стороны — как велики будут неприятности, которые она мне доставит? И если не предвидится крупных, и за это уже благодарен от души....» (Письма, с. 464—465).

Премьера «Дон Кихота» в Вахтанговском театре состоялась 8 апреля 1941 года. А до этого, 13 марта 1941 года, была премьера в государственном академическом театре им. Пушкина, где главные роли сыграли Николай Черкасов и Б. Горин-Горяинов.

Впервые же пьеса была сыграна 27 апреля 1940 года в театре им. А. Н. Островского в городе Кинешме, затем в конце января 1941 года — в театре драмы города Петрозаводска.

Из статей о пьесе «Дон Кихот» следует отметить несколько работ О. Д. Есиповой: О пьесе М. Булгакова «Дон Кихот» (Из творческой истории) опубликованной в сборнике «Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова, Л., 1987; «Пьеса «Дон Кихот» в кругу творческих идей М. Булгакова» — в сборнике «М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени», а главное: подготовка текста и комментарии в 4 томе Собрания сочинений в пяти томах, М., Художественная

литература, 1990. Есть интересные наблюдения и у Яновской, Рудницкого, Чудаковой и др.

Впервые опубликована в сборнике: Михаил Булгаков. Пьесы. М., Искусство, 1962; затем в сборнике: Михаил Булгаков. Драмы и комедии. М., 1965; затем — в сборнике: Михаил Булгаков. Пьесы. М., Советский писатель, 1986. Составители: Белозерская Любовь Евгеньевна, Ковалева Ирина Юрьевна.

Публикуется по расклейке книги: Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Романы, пьесы. М .,Современник, 1991. Составитель и автор вступительной статьи В. В. Петелин.

Кроме того, прочитаны тексты, хранящиеся в ОР ГРБ, фонд 562, к. 14, ед. хр. 3, 6.

РАШЕЛЬ

Либретто оперы по Мопассану

В Отделе рукописей РГБ хранится автограф первой и второй редакции либретто для оперы (по новелле Г. де Мопассана «Мадемуазель Фифи»). Начал работу над либретто 23 сентября, закончил в декабре 1938 года. Над третьей редакцией либретто работал с 8 января по 26 марта 1939 г.

Публикуется расклейка либретто из книги: Булгаков М. А. Кабала святош. М., Современник, 1991, сверенная с машинописью третьей редакции с сокращениями, хранящейся в ОР РГБ, ф. 562, к. 16,. ед. хр. 15.

Музыку оперы Большой театр поручил писать популярному в то время И. Дунаевскому, который в одном из интервью определил замысел как «гимн патриотизму народных масс, неугасимому и неукротимому народному духу и величию» (Ленинградская правда, 26 декабря 1938 года).

«Как драматическое произведение «Рашель» выстроена на развитии патриотической идеи, — писала Ю. В. Бабичева, — хотя и не совсем так, как обещал в интервью «Ленинградской правде» соавтор-композитор («гимн патриотизму народных масс»). Это психологическая драма, содержанием которой стало движение, развитие, апофеоз возвышающего и очищающего душу чувства любви к своему отечеству». В основу конфликта заложен своего рода парадокс: взрыв благородных чувств, вылившийся в благородный поступок, происходит в душе, казалось бы , совсем погашенной цинизмом профессии. Закономерность этого «парадокса» драматург-либреттист в отличие от новеллиста Мопассана тщательно обосновывает и предшествующей картиной в доме мадам Телье, и последующей сценой в доме Шантавуана. Здесь Рашель гневно

обличает благородного аббата за бездействие и за колебания, которыеон испытывает, сомневаясь, можно ли оказать помощь патриотке со столь безнравственным родом занятий. Она грозит священнику: «Они меня повесят! И я качнуся, как язык на колокольне, — ударю в медь и прокричу о том, что я — одна, ничтожное, порочное созданье, одна вступилась за поруганную честь моей страны! Потом затихну, и вы увидите висящий неподвижно груз!...» (См.: межвузовский сборник научных трудов «Время и творческая индивидуальность писателя». Вологда, 1990, с. 102).

Исследователи творчества Булгакова относят «Рашель» к «самым совершенным оперным либретто» (Н. Шафер), «более других опытов Булгакова-либреттиста и законченна в своих жанровых формах», может рассматриваться «как существенное явление в истории отечественного оперного либретто» (Ю. В. Бабичева).

Но судьба и этого либретто М. А. Булгакова неутешительная: по переписке Булгакова и Дунаевского, по записям в дневнике Е. С. Булгаковой можно проследить творческую историю этого произведения.

23 сентября 1938 года М. А. Булгаков приступил к работе над «Рашелью», а накануне Яков Леонтьевич Леонтьев, замечательный и преданный друг последних лет, от имени Большого театра предложил М. А. делать либретто по «Мадемуазель Фифи» с Дунаевским: «...М. А. попросил достать из библиотеки Мопассана в подлиннике.» 25 сентября: «М. А. — за «Фифи». 26 сентября: «Вечером — «Фифи». Читал мне первую картину». 3 октября: «Днем М.А. рассказывал Самосуду в театре содержание «Рашели» («Фифи»). Тому понравилось, но он сейчас же, по своему обыкновению, стал делать предложения каких-то изменений.

М. А. грустен, но ничего поделать нельзя. Приходится работать и подчиняться указаниям, делать исправления. Выхода никакого нет». 7 октября: «Вчера приехали: Яков Л., Дунаевский Исаак, еще — какой-то приятель его... Либретто «Рашели» им чрезвычайно понравилось. Дунаевский, вообще экспансивная натура, зажегся, играл, импровизировал польку, взяв за основу несколько тактов, которые М. А. выдумал в шутку, сочиняя слова польки. Дунаевский возбужденно говорил:

— Тут надо будет брать у Бизе, у Пуччини! Что-нибудь такое страстное, эмоциональное! Вот послушайте, это ария Рашели!

Тут же начинал делать парафразы из упомянутых композиторов, блестел глазам, вертелся, как вьюн, подпрыгивал на табуретке.

Рассказал — очень умело — несколько остроумных анекдотов. Объяснялся М. А. в любви. Словом, стояло полное веселье. Как вдруг Яков сказал мне отдельно, что Самосуд заявил:

— Булгаков поднял вещь до трагедии, ему нужен другой композитор!

Ну и предатель этот Самосуд. Продаст человека ни за грош. Это ему нипочем». 8 октября: «Дунаевский прислал громадную корзину цветов мне». 9 октября: «... подсел Самосуд, разговор был о «Рашели». Он стоит на своем: только Кабалевский может сделать эту музыку». 14 октября: «М. А. рассказывал содержание «Рашели». Мелику понравилось очень. Хотя тут же возник вопрос — как же показывать в опере кюре! Но если его заменят кем-нибудь другим — все пропадет. Будет нехудожественно, а сейчас так хорошо.

Дунаевский играл свои вальсы и песенки...»

22 декабря: «Миша прочитал Дунаевскому первую картину и часть второй. Дунаевский (потом) — после обеда — импровизировал — и очень в духе вещи.

Вообще (боюсь ужасно ошибиться!) Дунаевский производит на меня впечатление человека художественной складки, темпераментного, загорающегося и принципиального — а это много значит!

Он хотел, чтобы Миша просто отдал бы ему «Рашель», не связываясь с Большим. Но Миша не может, он должен по своему контракту с Большим, сдать либретто в театр.

Решили, что Дунаевский будет говорить с Самосудом и твердо заявит, что делать «Рашель» будет он...» (с. 232)

А вот несколько фактов из переписки Булгакова и Дунаевского.

1 декабря 1938 года Булгаков писал Дунаевскому: «...Я отделываю «Рашель» и надеюсь, что на днях она будет готова. Очень хочется с Вами повидаться... И «Рашель», и я соскучились по Вас...» В ответ Дунаевский 4 декабря 1938 года сообщает: «...Я счастлив, что Вы

подходите к концу работы, и не сомневаюсь, что дадите мне много подлинного вдохновения блестящей талантливостью Вашего либретто... Я днем и ночью думаю о нашей чудесной «Рашели». 18 января 1939 года Дунаевский писал Булгакову: «...Считаю первый акт нашей оперы с текстуальной и драматургической сторон шедевром. Надо и мне теперь подтягиваться к Вам. Я получил письмо Якова Леонтьевича — очень хорошее, и правильное письмо. Я умоляю Вас не обращать никакого внимания на мою кажущуюся незаинтересованность. Пусть отсутствие музыки не мешает Вашему прекрасному вдохновению. Дело в том, что я всегда долго собираюсь в творческий путь...»

Булгаков призывал Дунаевского ковать железо, пока горячо, писать, писать музыку, но Дунаевский почувствовал, что писать музыку на либретто Булгакова — это зря марать бумагу и «терять время».

Наконец 7 апреля 1939 года Булгаков написал Дунаевскому: «Посылаю при этом 4 и 5 картины «Рашели». Привет!»

А Е. С. Булгакова приписала в том же письме: «Миша мне поручил отправить Вам письмо, и я пользуюсь случаем, чтобы вложить мою записку. Неужели и «Рашель» будет лишней рукописью, погребенной в красной шифоньерке! Неужели и Вы будете очередной фигурой, исчезнувшей, как тень, из нашей жизни? У нас было уже много таких случаев. Но почему-то в Вас я поверила. Я ошиблась?» (Письма, с. 460—462).

В дневнике Е. С. Булгакова рассказывает о том, как еще в феврале 1939 года Булгаков и Дунаевский работали над оперой, в марте она перепечатала готовый текст и сдала в театр.

На этом творческая история «Рашели» завершилась.

В 1943 году композитор Глиэр и М. Алигер подготовили оперу, учитывая ее патриотическое звучание, ее разрешили к постановке. «К сожалению, никаких свидетельств того, что «Рашель» увидела свет, найти не удалось», — писал Н. Павловский (Театр, 1981, № 5).

Приложение

«Мастер и Маргарита», главы романа (1937—1938 гг.)

Как читатель помнит, М. А. Булгаков в июле 1936 года, казалось бы, завершил роман и в конце главы «Последний путь» поставил слово: «Конец». И после этого рукопись романа была отложена на неопределенное время.

«Следующий этап работы над романом — это переписывание набело, сообщает В. И. Лосев, тщательно изучивший по материалам ОР РГБ творческую историю романа. — Одновременно вносятся изменения и дополнения, иногда весьма существенные. Изменяется также структура романа, переименовываются некоторые главы.

О сроках начала этой работы можно говорить предположительно, поскольку рукопись не датирована, а в письмах писателя и в дневнике. Е. С. Булгаковой это событие никак не отражено. Скорее всего, это — вторая половина 1936—1937 гг.

Первая чистовая рукопись была названа так: «Михаил Булгаков. Роман». Она включает первые три главы и незаконченную главу «Дело было в Грибоедове». На этом переписывание романа прекратилось. Возможно, одна из причин та, что в тексте не раз упоминались лица, принадлежавшие к «верхушке» тогдашнего руководства страны (например, К. Радек), кроме того, слишком «натурально» описывались представители писательского цеха.

Весной 1937 г. Булгаков вновь приступил к переписыванию романа, но уже в новой тетради. На титульном листе он записал: «М. Булгаков. Князь тьмы. Роман. Москва. 1928—1937». Структура глав та же, что и в предыдущем незаконченном беловике. Вторая же глава, «Золотое копье», вообще оставлена без изменений, пе-

ределаны лишь начальные фразы» (См.: «Неизвестный Булгаков. Москва, издательство «Книжная палата», 1993, с. 409).

М. О. Чудакова писала об этой рукописи: «На этот раз было написано 13 глав — немногим более трети романа. Эта — пятая, незаконченная редакция составила две тетради — 299 страниц текста (7.5—6) — и оборвалась на главе «Полночное явление» следующими словами: «Выяснилось, что он написал этот роман, над которым просидел три года в своем уютном подвале на Пречистенке, заваленном книгами, и знала об этом романе только одна женщина. Имени ее гость не назвал, но сказал, что женщина умная, замечательная...» (7.6, 298—299). (См.: «Записки отдела рукописей». Книга, 1976, с. 128).

Эти тринадцать глав «пятой» незаконченной редакции» впервые опубликовал В.И. Лосев под названием «Князь тьмы» в сборнике «Неизвестный Булгаков». В этой публикации 13 глава называется «Явление героя», а не «Полночное явление», как утверждает М. Чудакова.

На это разночтение следует обратить внимание текстологам, которые будут, надеюсь, готовить академическое издание романа. Да и сам В. И. Лосев в другой публикации сообщает: «Всего было написано тринадцать глав, причем последняя глава — «Полночное явление» — была оборвана на фразе: «Имени ее гость не назвал, но сказал, — что женщина умная, замечательная...» (См.: Михаил Булгаков. Великий канцлер. Черновые редакции романа «Мастер и Маргарита». М., Новости, 1992, с. 17). Значит, речь идет об одних тех же двух тетрадях, которые хранятся в фонде 562, к. 7, ед. хр. 5, 6 в ОР РГБ.

Здесь публикуется по расклейке книги «Неизвестный Булгаков» (Составление и комментарии Виктора Лосева. Текстологическая подготовка Виктора Лосева, Владимира Волкова, Михаила Маливанова, Татьяны Назаровой).

Дальнейшая творческая история романа отражена в скупых строчках «Дневника Елены Булгаковой»:

9 мая 1937 года Михаил Афанасьевич «читал первые главы своего романа о Христе и дьяволе»; 11 мая: «А вечером — к Вильямсам. Петя говорит — не могу работать, хочу знать, как дальше в романе. М. А. почитал

несколько глав. Отзывы — вещь громадной сила, интересна своей философией, помимо того, что увлекательна сюжетно и блестяща». 13 мая: «М. А. сидит и правит роман — с самого начала (О Христе и дьяволе с литературной точки зрения. За ужином узнали...» 15 мая Булгаков продолжил чтение романа. 17 мая: «Вечером М. А. работал над романом о Воланде». 18 мая: «Вечером М. А. опять над романом».

Почти месяц Елена Сергеевна не упоминала о романе, лишь 17 июня записала: «Вечером у нас Вильямсы. М. А. читал главы романа («Консультант с копытом»). 24 июня М. А. прочитал Вильямсам «кусочек романа». После трехмесячного перерыва снова упоминание о романе: 23 сентября: «Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить?» 23 октября: «У М. А. из-за всех этих дел по чужим и своим либретто начинает зреть мысль — уйти из Большого театра, выправить роман («Мастер и Маргарита»), представить его наверх». Так впервые в опубликованном дневнике Елены Сергеевны упоминается название романа — «Мастер и Маргарита». В рукописном дневнике, который хранится в ОР РГБ, эта фраза звучит чуть-чуть по другому: «Выправить роман (дьявол, мастер, Маргарита) и представить». 27 октября Михаил Афанасьевич продолжает править роман.

12 ноября: «Вечером М. А. работал над романом о Мастере и Маргарите.»

С этого времени, считают исследователи, начинается работа над шестой (второй полной) редакцией романа, законченной 22—23 мая 1938 года. Шесть толстых тетрадей рукописного текста хранятся в ОР РГБ, фонд 562, к. 7, ед. хр. 7—12.

О творческой истории шестой редакции романа — в «Дневнике Елены Булгаковой». 9 февраля 1938 года. «М. А. урывками, между «Мининым» и надвигающимся Седым, правит роман о Воланде». 16 февраля: «Вечерами он — урывками — над романом». 23 февраля: «Вечером поздно М. А. читал мне черновую главу из романа».

1 марта 1938 года: «М. А. днем у Ангарского. Сговорились, что М. А. почитает роман. У М. А. установилось название для романа — «Мастер и Маргарита». Надежды на напечатание его — нет. И все же М. А. правит его, гонит вперед, в марте хочет кончить. Работает по

ночам.» 6 марта: «М. А. все свободное время — над романом». 8 и 9 марта: «Роман». 11 марта: «Роман». 17 марта: «Вечером к нам пришли Вильямсы. М. А. прочитал им главы «Слава петуху» и «Буфетчик у Воланда» — в новой редакции». И 19 и 20 марта Булгаков, больной гриппом, работал над романом. 4, 5, 6 апреля работает над романом.

7 апреля: «Сегодня вечером — чтение. М. А. давно обещал Цейтлину и Арендту, что почитает им некоторые главы (относящиеся к Иванушке и его заболеванию). Сегодня придут Цейтлины, Арендты, Леонтьевы и Ермолинские.»

8 апреля: «Неожиданно вчера вечером позвонил Николай Эрдман и сказал, что приехал, хочет очень повидаться. Позвали его с женой, также и Петю с Анусей.

Роман произвел сильное впечатление на всех. Было очень много ценных мыслей высказано Цейтлиным. Он как-то очень понял весь по этим главам. Особенно хвалили древние главы, поражались, как М. А. уводит властно в ту эпоху.

Коля Эрдман остался ночевать. Замечательные разговоры о литературе ведут они с М. А. Убила бы себя, что не знаю стенографии, все это надо было бы записывать...»

23 апреля: «Дома, одни. Роман. Слава Богу!». 27 и 28 апреля: «Роман».

3 мая Булгаков читал три первые главы романа Ангарскому, который категорически заявил, что печатать роман нельзя.

На все лето Елена Сергеевна уехала в Лебедянь, записи в дневнике появились лишь 15 августа.

Семь глав из тридцати шестой рукописной редакции впервые напечатаны в книге: Михаил Булгаков. Великий канцлер, М., Новости, 1992. Публикатор В. И. Лосев.

Публикуется по расклейке этой книги, сверенной с автографами и машинописью.

Просмотрены все рукописи романа: ф. 562, 6/1—8, 7/—12, 8/1—2, 9/1—2, 10/1—2.

Предстоит еще огромная работа по изданию рукописей романа, которую начал В. И. Лосев. Он же, надеюсь, и подготовит академическое издание романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Петелин. Художник и диктат времени. 5
Театральный роман (Записки покойника).. 57
Петр Великий. Либретто. 204
Дон Кихот. Пьеса по Сервантесу в четырех действиях, девяти картинах. 229
Рашель. Либретто оперы по Мопассану.. 301
Приложение
Мастер и Маргарита. Главы романа из пятой, незаконченной рукописной редакции (1928—1937 гг.) 329
Глава 1. Не разговаривайте с неизвестными... 329
Глава 2. Золотое копье... 340
Глава 3. Седьмое доказательство... 353
Глава 4. Погоня... 356
Глава 5. Дело было в Грибоедове... 364
Глава 6. Мания Фурибунда... 372
Глава 7. Нехорошая квартира... 380
Глава 8. Ошибка профессора Стравинского... 390
Глава 9. Негодяй Коровьев.. 399
Глава 10. Вести из Владикавказа и Гибель Варенухи... 407
Глава 11. Раздвоение Ивана.... 418
Глава 12. Черная магия... 421
Глава 13. Явление героя..... 434
Мастер и Маргарита. Главы романа из шестой (второй полной) рукописной редакции, законченной 22—23 мая 1938 г. 438
Явление героя.... 438
Полет... 451
При свечах... 468
Великий бал у Сатаны... 482
Извлечение Мастера.... 504
Погребение.... 521
Стрельба в квартире... 549
Краткие комментарии. 566

Булгаков М. А.

Б 90 Собрание сочинений в 10 томах. Т. 8. Театральный роман. Роман, пьеса, либретто. «Мастер и Маргарита» (1937 – 1938 гг.) – М.: Голос, 1999. – 592 с.

ISBN 5-7117-0311-0

В восьмой том Собрания сочинений Михаила Булгакова включены «Театральный роман (Записки покойника)», пьеса «Дон Кихот», либретто «Петр Великий» и «Рашель», роман «Мастер и Маргарита» в редакции 1937 – 1938 гг.

УДК 882
ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-44

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

Собрание сочинений

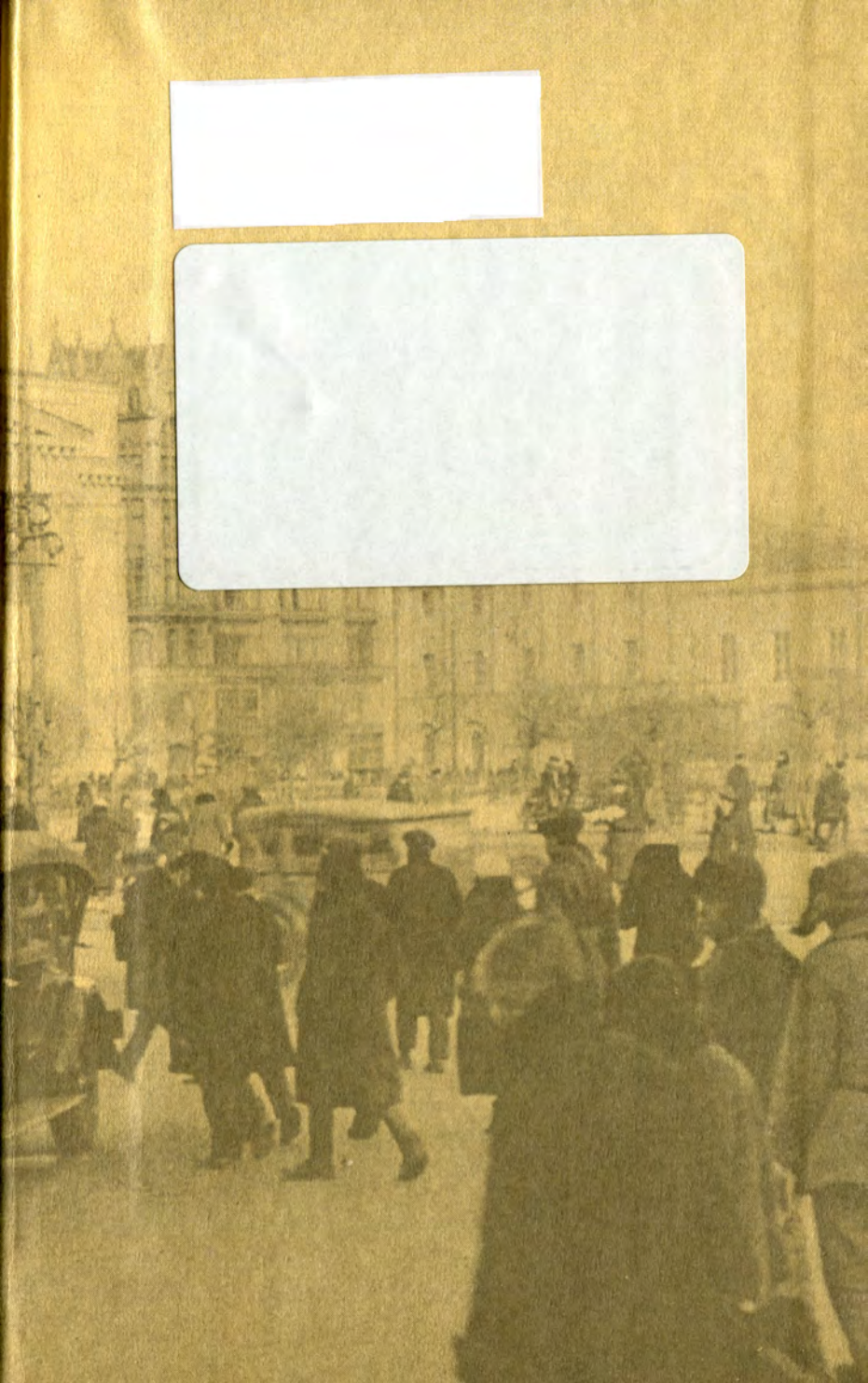
Том 8

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Редактор *А. Меньков*
Художественный редактор *В. Голубев*
Технический редактор *А. Морозова*
Корректор *О. Петелина*

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 040020 от 07.02.97

Сдано в набор 10.03.98. Подписано в печать 15.09.99.
Формат 84×108 1/32. Бумага газетная. Печать высокая.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 31,08.
Тираж 10 000 экз. Заказ 1915

Издательство «Голос». 113184, Москва, ул. Пятницкая, 52,
тел/факс (095) 953-02-25

Отпечатано с оригинала-макета на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, Новгородский пр., 32, тел. 65-37-65